ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ
ЛИТЕРАТУРА»

М.Е. САЛТЫКОВ-ЩЕДРИН

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ

В двадцати томах

Редакционная коллегия:

А. С. БУШМИН, В. Я. КИРПОТИН,
С. А. МАКАШИН *(главный редактор)*, Е. И. ПОКУСАЕВ,
К. И. ТЮНЬКИН

Издание осуществляется
совместно с Институтом русской литературы
(Пушкинский дом) Академии наук СССР

ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»
МОСКВА 1970

М. Е. САЛТЫКОВ-ЩЕДРИН

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ

Том девятый

*

КРИТИКА

И

ПУБЛИЦИСТИКА

(1868—1883)

ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»
МОСКВА 1970

Pl
C16

Примечания

Д. И. Золотницкого, Н. Ю. Зограф, В. Я. Лакшина,
Р. Я. Левита, П. С. Рейфмана, С. А. Макашина,
Л. М. Розенблюм, К. И. Тюнькина

Оформление художника
И. ЖИХАРЕВА

7—3—1
Подп. изд.

СТАТЬИ

НАПРАСНЫЕ ОПАСЕНИЯ

(По поводу современной беллетристики)

В последнее время все чаще и чаще случается слышать в обществе сетование на бедность нашей литературы (разумея под этим словом собственно беллетристику). С одной стороны, читающую публику поражает отсутствие новых замечательных талантов, которых появление составляло бы более или менее яркое событие; с другой стороны, не меньше приводит в недоумение и то обстоятельство, что беллетристика заговорила каким-то новым, совершенно отличным от прежнего языком, да и предметы для своих исследований стала почерпать из чуждого или, по крайней мере, мало известного для публики мира. Конечно, общество и ныне с удовольствием останавливает свое внимание на новых произведениях своих давнишних любимцев: Тургенева, графа Л. Н. Толстого и немногих других, но так как эти писатели действуют на литературном поприще уже довольно продолжительное время, то публика не без горечи предусматривает тот момент, когда, вследствие естественного или случайного прекращения их деятельности, она надолго останется без хорошего литературного чтения.

Чтобы оценить эти сетования по достоинству, необходимо прежде всего взглянуть на состав нашей читающей публики. Элементы, составляющие эту публику, так неразнообразны и притом обновляются с такою медленностью, что можно сказать почти утвердительно, что современный русский читающий люд совершенно тот же, какой был десять — двадцать лет тому назад. Ядро его находится и доныне в той небольшой и замкнутой среде, к которой мы издавна до такой степени привыкли приурочивать все проявления нашей умственной деятельности, что, в строгом смысле, и самую литературу нашу можно почти назвать кастическим достоянием. Нет сомнения,

что семена самосознания, брошенные в последнее время на почву русской жизни, значительно расширят границы этой среды в будущем, но покамест мы можем говорить об этом только гадательно. В настоящем, читают и интересуются судьбами русской литературы все те же (или, по крайней мере, того же закала) люди, которые читали, интересовались во времена самого сильного разгара славы автора «Рудина» и «Дворянского гнезда».

Воспитание, образ жизни и общественное положение кладут неизгладимую печать на политические и литературные убеждения людей. Наше общество сороковых годов (или, лучше сказать, мыслящая его часть), составляющее и доныне главный контингент читающей публики, не могло похвалиться особенною ясностью своих стремлений. В людях того времени (все-таки в лучших) было в высшей степени развито чувство неудовлетворенности окружающею средой, но в этом чувстве замечалось так много смутного и беспредметного, что мысль, не будучи в состоянии определенно наметить для себя ясные исходные пункты, не могла не только прийти к каким-либо разрешениям, но даже не чувствовала потребности и доискиваться их. Недовольство питало само себя; оно служило самому себе и причиной и разрешением; это было не более как приличное занятие, тщету которого мы начинаем понимать только теперь, когда в мнении читающей публики вдруг совершился крутой поворот и прежнее недовольство внезапно превратилось в самое невозмутимое довольство.

По-видимому, в нашем обществе сороковых годов чувствовался известного рода умственный и нравственный разрыв, который проводил между поколениями границу довольно резкую, но, в сущности, разрыв этот далеко не был так глубок, как это кажется с первого взгляда. Этот кажущийся разрыв не дотрогивался до оснований, а ограничивался одними внешними формами. Оба поколения, то есть и отцы и дети тогдашние, стояли на одной и той же идеально-политической почве, и вся разница, их разделяющая, заключалась только в том, какое имя носила та нравственная или политическая утопия, которой держались в том или другом лагере. Если одних еще удовлетворяли патриархальные отношения даже в такой форме, как крепостное право, и если другие начинали уже тяготиться ими, то это не мешало сходиться обеим сторонам в том чувстве кастической отчужденности, которая, даже в самых порывах великодушия, не идет далее отвлеченной справедливости и никогда не отождествляет себя живому делу настолько, чтобы нельзя было приметить в их попытках в этом смысле признаков свойства чисто механического. Если одни

*подчиняли все свои действия посредничеству внешних сверхъ*естественных сил и ежели другие уже не удовлетворялись объяснениями такого рода, то это нимало не мешало этим другим прибегать к объяснениям, хотя и имеющим внешний вид, различный от первых, но, в сущности, столь же нетвердым и произвольным. Одним словом, если не сходились люди в подробностях, степени развития и формулах своих убеждений, то основания, из которых выходили эти убеждения, и сфера, в которой они замыкались, были вполне одинаковы.

Вспомним типы, созданные литературой того времени, и мы увидим, что все они носят отпечаток касты; одни из них осуществляют ее уродливости, другие — ее неопределенные стремления к чему-то лучшему, но, во всяком случае, не подлежит сомнению, что и те и другие должны были народиться и перейти в литературу только из такой среды, которая обильна досугом. Трудно было ожидать, чтобы в этой среде, навсегда обеспеченной от черной работы (по крайней мере, она *полагала себя навсегда обеспеченною*), *могла серьезно воз*никнуть мысль о деловом, реальном отношении к жизни, но, взамен того, в ней могли и должны были постепенно возрастать требования характера эстетического и отвлеченного. Чем отвлеченнее ставились вопросы, чем менее вторгалось в них жизненных счетов и подробностей, тем успокоительнее было их действие, тем большую полноту придавали они человеческому времяпрепровождению. Это было какое-то праздничное существование, нечто среднее между сном и бодрствованием, в котором не чувствовалось потребности ни в деятельности, ни в практических применениях. Даже типы Гоголя — и те нравились именно потому, что в них проводились, в отрицательной форме, те же эстетические и отвлеченные требования, которые, в более положительной и привлекательной форме, проводились и в типах Тургенева. Это же объясняет, почему могли привлекать внимание публики даже такие произведения, как псевдонародные романы и повести г. Григоровича, *несмотря на то что в них трактовалось о рекрутских наборах*, оброках, неурожаях и тому подобных мужицких невзгодах, то есть о реальнейших из реальных. Вокруг этих реальностей царствовал такой мягко-идиллический тон, что, казалось, недоставало только пирожного, чтобы сделать их вполне привлекательными. Читатель сладко вздыхал и, разнеженный идиллическими горестями Антона-горемыки, внутренно радовался, что на нем лично не лежит никаких недоимок, и что он, не опасаясь рекрутских наборов, может вполне беспечно удовлетворять своим эстетическим и умственным потребностям.

Никто полнее не выразил стремлений этого времени, как Тургенев; никто не показал нам с большею ясностью, на что способен и до каких рубежей может дойти умственный дилетантизм, составляющий естественное последствие слишком обеспеченного досуга. Сомнение — вот та крайняя грань, далее которой он не может идти; сомнение и, вместе с тем, полнейшее бессилие. Лучшие люди этого царства досуга не находят иного выхода, кроме сомнения, и хотя с первого же раза ясно, что тут нет, собственно, никакого выхода, но те отвлеченные извороты, та умственная игра, которые являются неизбежными спутниками неустановившейся и не имеющей прочной опоры мысли, до того привлекательны, что очень многих заставляют забывать о бессилии, которое ими прикрывается. Происходит умственный мираж; кажется, что сомнение уже само по себе составляет известную поправку к жизни, что можно прожить целую жизнь, не имея никакой иной ноши, кроме болезненных колебаний мысли, и что в результате получится не просто зубоскальство, но нечто существенное, имеющее все признаки серьезной и плодотворной работы. Трудно найти в какой-либо литературе типы более блестящие, нежели Рудин, Лаврецкий и множество других, созданных талантливым пером Тургенева; скажем даже: трудно найти типы, более способные возбудить симпатию; но взгляните на них пристальнее, взвесьте их поступки и действия, и вы легко убедитесь, что это не более как люди распутия, люди скучающие, не видящие в жизни целей, не потому, чтобы этих целей не было в действительности, и даже не потому, чтобы очень трудно было определить их, а потому просто, что они не находят особенной надобности вызывать их наружу. Конечно, им до известной степени уже неловко жить в той обязательной среде, которая их окружает, но иго этой нравственной неловкости, по-видимому, не настолько еще нестерпимо, чтобы разрешиться чем-нибудь иным, кроме легкого и, в сущности, очень незлобивого будирования.

Публику привлекали тургеневские типы потому, что они принадлежали к той среде, которая ей всего ближе была знакома. Она видела в этих типах себя саму, да, пожалуй, еще в таких праздничных одеждах, о которых знала только понаслышке. Ни Рудин, ни Лаврецкий не противоречили никаким основным ее убеждениям, не оспаривали ее права на досуг; они только вносили в этот досуг новый и очень приятный элемент изящества. Насколько чувствовал себя бессильным каждый член читающей толпы, настолько же оказывались бессильными и герои Тургенева; но эти последние представлялись в таком всеоружии изящества, что читатель, вместо того

чтобы анализировать и доискиваться, привыкал видеть в них свои идеалы. Притом же в этом будировании слышалось столько хороших и честных слов, что на людей, свободно произносивших эти слова, нельзя было смотреть без особенной сердечной симпатии. Это были слова, несомненно, новые, впервые произносившиеся в нашем обществе, но не такие, однако ж, которые озадачивали бы это общество, которые не нашли бы в нем некоторой подготовки. Умственному взору настроенного этими словами читателя открывалась целая обширная область, целая безграничная картина, в которой, на общем фоне досуга, красовались слова: «изящное» и «интеллигенция». Таким образом, право на досуг не только не отрицалось, но даже как бы оправдывалось. А ежели мы еще припомним ту обаятельную обстановку, которою так богаты произведения Тургенева, то без труда поймем, почему этот писатель так всецело завладел вниманием нашей читающей публики.

Мы нимало не желаем обвинить Тургенева в том, что у него везде на первом плане стоит «лишний человек». Он сам придумал такое меткое определение для своих героев, и, конечно, придумал его не с тем, чтобы льстить. Среда, которую изображал этот писатель, действительно ничем так не изобильна, как «лишними людьми», а взаимная разница между этими людьми заключается единственно в том, что одни сознают себя лишними, а другие не сознают. Сознание своей ненужности, успокоивающееся в самом себе, конечно, не заключает в себе ничего особенно плодотворного, но оно уже имеет то несомненное преимущество, что человек, обладающий им, по крайней мере затрудняется своею ненужностью, совестится видеть в ней нечто непреложное, к чему должно обязательно прилаживаться все остальное, не страдающее умственными и нравственными колебаниями. Мы, конечно, знаем по опыту, что и это сознание может со временем обратиться в привычку и в этом качестве утратить все признаки совестливости, но покуда эта метаморфоза не совершилась, покуда сознание живо и искренно, и покуда, сверх того, в нем заключается последнее слово, до которого додумалось цивилизованное общество, оно может даже принести известную долю пользы. Уяснение типа ненужного человека необходимо должно вызвать потребность в уяснении типа человека нужного; правдивое изображение среды, страдающей болезненными раздражениями мысли, неизбежно приведет к представлению возможности такой среды, где подобные раздражения допускаются только как исключения. Какими бы симпатичными чертами ни рисовали мы «лишнего человека» — все же это явление болез-

ненное, а не нормальное. Здравый смысл человека никак не примирится с тем, чтобы судьбы мира могли находиться в руках людей, останавливающихся перед всяким живым делом в положении хемницеровского «Метафизика». Ведь идет же как-нибудь этот мир, делается же в нем какое-нибудь дело, непременно подскажет этот здравый смысл, стало быть, есть в нем какие-то другие люди, которые хотя не сильны по части метафизики, но могут делать настолько, что и сами живут, да и метафизикам жить дают. Но, повторяем, независимо даже от этого отдаленного результата, тип человека, сознающего себя лишним, имел право на симпатию по одному тому, что сознание это само по себе уже к чему-то обязывало, и с этой точки зрения Тургенев, конечно, имел полное право относиться к нему сочувственно.

Такова была наша публика сороковых годов. Обеспеченная относительно твердости внешних рамок, в которых замыкалось ее существование, проникнутая убеждением, что на ее долю выпало представлять собою интеллигенцию страны, напитанная совершенно своеобразными понятиями о существе и обязанностях этой интеллигенции, она вынесла из своего воспитания полнейшее чувство гадливости ко всему, что напоминало о так называемом черном труде. Отсюда безграничное благоговение пред искусством, отсюда — страсть к метафизической гимнастике. Предполагалось, что это занятие благородное, чистоплотное, способное не только украсить, но и оправдать досуг. Никто не вспоминал о предках, никому не приходило на мысль, что и они не без услад проводили досужую жизнь, что и у них были: и псовая охота, и медвежьи травли. Нравы настолько смягчились, что для всех стал ясен «звериный обычай» этих услад; неясно было только одно: что на первом плане новых услад стояло все то же слово «украшение», все то же понятие «досуг», что из них, этих новых, изящных услад, как ни усиливайтесь, никаких иных слов и понятий не выжмете.

Доказать, что и те и другие украшения различествовали только в форме, а не в сущности, очень нетрудно. Эти доказательства представила нам самая жизнь. Все эти «лишние люди», так меланхолически сетовавшие на свою ненужность, покуда ничто не препятствовало им услаждать себя этими сетованиями, оказались, как только время предъявило некоторые притязания на их досуг, такими преестественными зверобоями, что сразу сделалось ясно, что способность эта только спала в них, окончательно же никогда не умирала...

Те внешние причины, совокупность которых обусловливает тот или другой характер вкусов и требований публики, всегда

оказывают свое действие с чрезвычайною медленностию. Мы часто видим, что формы жизни существенно изменяются, но тот живой состав, который (иногда даже по преимуществу) привлекается к этим новым формам, остается прежний, то есть тот же, который присутствовал и при измененных порядках. Измените общественное положение человека, ограничьте условия, которые обеспечивали его досуг, поставьте его в необходимость признавать правоспособность там, где он ее никогда не признавал,— вы этим не достигнете нравственного перерождения человека, вы не сделаете его ни трудолюбивым, ни предусмотрительным, не оградите его от поползновений вторгаться в пределы чужой правоспособности. В более или менее отдаленном будущем все эти результаты, конечно, и возможны и неизбежны, но на первый раз все, чего можно ожидать — это того, что представление созданного Тургеневым типа «лишнего человека» встанет перед человеком с большею отчетливостью, нежели прежде, и притом обнаженное от тех украшений, которые когда-то сообщали ему некоторый кажущийся живой смысл. Предположим даже самый благоприятный случай: предположим, что человек, которого коснулась жизненная реформа, настолько развит, что понимает всю законность и справедливость ее; может ли он, за всем тем, идти далее признания этой справедливости, может ли подчиниться ей в такой степени, чтоб она стала для него не сегодняшним, а давним делом, вошедшим в его плоть и кровь? Очевидно, такое предположение само по себе уже так рискованно, что ответа на него не может быть другого, кроме отрицательного. Конечно, высокое чувство справедливости, да и то не иначе как при помощи постоянной работы над собственным своим развитием, может до известной степени сгладить те привычки, которые укореняются в нас жизнью, но отказаться от старых привычек, прийти к убеждению в необходимости согласовать их с новым строем жизни — все это еще не значит принять *новые* привычки, сделаться *новым* человеком. Притом же не следует забывать, что, заводя речь о чувстве справедливости, мы тем самым ограничиваем наш кругозор весьма немногими единицами и неизбежно исключаем из него большинство, которое этого чувства не сумело или не успело в себе воспитать. Мы часто видим людей, не только обладающих одинаковыми внешними формами, но даже стоящих, в сущности, на одинаковой ступени умственного развития, которые, за всем тем, очень мало интересуются друг другом потому только, что их разделяет какая-то совершенно незаметная, метафизическая кляуза — что же должно ожидать от со-

поставления друг другу таких элементов, которые ни по внешним формам, ни по характеру интересов, ни по внутренней их сущности никаких общих точек соприкосновения между собою не допускают. Ясно, что тут может идти речь только о чувстве справедливости — не более не менее. Положим, что на первый раз мы ничего больше и требовать не вправе, но самое это присутствие и даже преобладание идеи справедливости, *одной* этой идеи, уже доказывает, что обладающий ею человек может удовлетворять своим ближайшим интересам, вовсе не ощущая нужды привлекать к этому те новые формы жизни, которые вызваны требованиями справедливости. Он может оставаться при прежних привычках, при прежних вкусах и наклонностях, и ежели ограничит их в угоду голоса жизни, то сделает это не без тайного огорчения. Он как будто говорит: хорошо! я признаю за новыми стихиями то право на жизнь, которого они до сих пор не имели, я признаю за ними даже право устроить эту жизнь на совершенно иных основаниях, но оставьте меня в покое, не требуйте, чтоб я смешивался с этими стихиями, дайте мне умереть посреди тех привычек и верований, которые воспитало мое прошлое. Необходимо родиться в известном порядке вещей или, по крайней мере, войти в него из условий сравнительно неблагоприятных, чтобы усвоить себе его совершенно просто и естественно. Иначе, на какой бы недосягаемой нравственной высоте мы ни стояли, даже если бы мы сами, всею своею предыдущею деятельностью, призывали новый порядок вещей, все же найдется известная капля горечи, которая, против нашего желания, отравит теоретическую непогрешимость наших сбывшихся надежд.

Таково отношение к новым формам жизни даже той части публики, которая хотя и воспитана в преданиях, понятиях и привычках старого времени, но все-таки не может не возбуждать наших симпатий своею относительною нравственною развитостью. Эти отношения исчерпываются всецело словом «справедливость», нимало не захватывая в себя всего человека. Но, как мы сказали выше, в подобного рода отношения может свободно стать только очень незаметное меньшинство; затем, есть еще большинство, которое относится к этому делу несколько иначе. Это большинство (опять-таки предупреждаем, что и под этим словом мы разумеем только бывшее, мыслящее меньшинство читающей публики сороковых годов), быть может, с не меньшим нетерпением звало новые порядки, но вместе с тем показало совершенное отсутствие теоретической твердости и последовательности и совершенно неожиданное обилие практической чувствительности относительно

тех существенных изменений, которые привели за собой эти порядки.

Дело в том, что это большинство меньшинства если и призывало какие-то новые порядки, то делало это бессознательно, с чужого голоса. Члены этого большинства были даже не «лишние люди» тургеневского закала, а только прихвостни их. Притом же, ограничиваясь предположениями и выводами свойства исключительно априористического, эти люди легко могли и не предвидеть тех практических последствий, которые необходимо влекло за собой исполнение их желаний. Так, например, в великой реформе, упразднившей крепостное право в России, их пленяла только красивая сторона дела, то есть устранение безнравственных и бесправных отношений человека к человеку; затем, личность народа, его практическое устройство оставались в тумане по-прежнему, а о тех ограничениях, которые естественно вытекали из устранения бесправных отношений, не могло быть и помину. Казалось, что останется то же самое, что было и прежде, только прежние принудительные отношения примут характер добровольный, что, конечно, несравненно приятнее. Относительно судебной реформы опять то же пристрастие не к существенной, а к красивой стороне дела, то есть к гласности и устности, которые дают больший простор талантам. Понятно, с каким изумлением должны были увидеть эти господа, что живое дело никогда не ограничивается одними красивыми сторонами, а прежде всего выступает наружу тем внутренним существом, которое в нем заключается. Наиболее смелые и рискованные их предположения вдруг оказались настолько опереженными самою скромною действительностию, что на некоторое время недоумение было исключительным чувством, овладевшим этою псевдолиберальною толпою. Но ежели люди до того близоруки, что не могут предвидеть самых простых последствий призываемого ими дела, то ясно, что они не могут и руководить им, что они не в силах овладеть им настолько, чтобы привести его к доброму концу. Отсюда первое кровное оскорбление в бессилии и неумелости. Мы призывали, мы бились изо всех сил, и вот это самое детище, которое мы так лелеяли, оказалось, при самом рождении своем, вышедшим из меры того роста, который мы ему предназначали! Однако и с этим бы еще можно примириться; но оказывается, что детище наше не только чересчур долговязо, но еще неблагодарно. Оно не признает за нами способности воспитывать его,— пусть так! Но оно не хочет даже благоговеть перед нами, не хочет понять, что мы все-таки статья особая, которая всем этим жизненным дрязгам ни под каким видом причастна быть не дол-

жна. Это вторая кровная обида. И вот все эти люди, столь недавно еще казавшиеся самыми несомненными либералами, вдруг делаются еще более несомненными злопыхателями и начинают поносить те самые явления, в которых они когда-то усматривали украшение и культ всей своей жизни.

Такова другая часть нашей мыслящей публики, той публики, с понятием о которой мы привыкли связывать представление о всех проявлениях нашей умственной жизни. Ясно, что если первая часть этой публики, не подчиняясь вполне новым явлениям жизни, все-таки сохраняет к ним отношения справедливости, то в другой ее части не может быть речи даже и об этих последних отношениях. Тут просто является чувство слепого негодования, которое тем более разжигается, чем сильнее в прошедшем питалось чувство самонадеянности в каждом отдельном субъекте ее.

Таковы отношения к новым формам жизни той публики, которой мнения считаются имеющими какой-нибудь авторитет в обществе. Теперь посмотрим, каковы должны быть эти отношения со стороны литературы, и каковы они суть на самом деле.

Говоря теоретически, требования литературы относительно какого бы то ни было жизненного вопроса не могут оставаться позади требований публики. Взятая в общем фокусе, литература есть тот очаг общественной мысли, который служит представителем не только насущной физиономии и насущных потребностей общества, но и тех стремлений, которые в данную минуту хотя и не вошли еще в сознание общества, но тем не менее существуют бесспорно и должны определить *будущую* его физиономию. Она приводит эти стремления в ясность, она отыскивает для них надлежащие формы, и в особенности важны ее заслуги в этом смысле там, где замечается недостаток в публичности и где, следовательно, общество представляет собой не что иное, как собрание разрозненных единиц. Очень понятно, что такого рода задача может быть выполнена только под условием известной умственной подготовки, и потому весьма естественно, что к литературному труду привлекаются лучшие силы общества и что, в строгом смысле, общественною интеллигенцией может быть названа не другая какая-нибудь среда, а именно и исключительно среда литературная.

Поэтому, если мы замечаем в обществе движение в смысле расширения сферы его самодеятельности, то можем сказать безошибочно, что литература не только относится к нему сочувственно, но что и самое движение, прежде всего, было вызвано ею. В литературах самых забитых, самых бедных ини-

циативой, мы замечаем несомненные признаки этого почина, и ежели они не бросаются нам в глаза со всею яркостью, то потому только, что мы не всегда обладаем способностью обобщения и применения. Но этого мало: возбудив в обществе потребность самосознания и самодеятельности, литература не успокоивается на тех видимых явлениях, которые возникают как естественное следствие ее пропаганды. Прежде всего, она определяет действительное значение и объем возникшего, а затем указывает на его способность к дальнейшему развитию и на те новые стихии, которые оно призывает к жизни. В этомто, собственно, и заключается самая существенная и плодотворная сторона ее деятельности. Таким образом, работа литературы представляется нам тою непрерывною, самооплодотворяющею работою, в которой одно определившееся явление неизбежно вызывает целый ряд иных, еще не определившихся, но уже возможных явлений. Те новые стихии, которые после каждой победы мысли призываются литературой к участию в жизни, могут дать повод к таким бесчисленным общественным комбинациям, которые в глазах непосвященной уличной публики должны казаться не более как безобразными призраками, но которые литература обязана не только предусматривать, но и регулировать.

Таковы нормальные отношения литературы к явлениям жизни. Признаки этих отношений мы замечаем и в русской литературе; они проходят через нее непрерывно с самого начала ее существования, они длятся и теперь. В прошедшем мы можем указать на таких деятелей, как Фонвизин, Новиков, Белинский, Гоголь, Тургенев, которые, без сомнения, оказали русскому самосознанию услуги неоцененные; в настоящем... но об этом речь впереди. Во всяком случае, если и можно назвать таких отдельных представителей современной нашей литературы, которые, ввиду нового фазиса движения русской мысли, не находят ничего более, как разделять по поводу его недоумение публики, то это все-таки не более как единицы, присутствие которых нимало не изменяет инициаторского характера русской литературной деятельности.

Теперь сделаем общий вывод из всего сказанного нами. С одной стороны, в нашей жизни в течение последнего десятилетия произошли такие существенные изменения, которые отчасти превзошли ожидания цивилизованного меньшинства, отчасти же хотя и встретили его сочувствие, но только в смысле справедливости и законности. С другой стороны, мы видим те же изменения и рядом с ними литературу, которая не только сочувствует им, но усматривает в них несомненную способность к дальнейшему развитию. Таким образом, относительно

одного и того же явления образуются двоякого рода отношения, совершенно противоположные. Ясно, что они не могут стать друг к другу иначе, как враждебно, или, по малой мере, индифферентно. Что для одних представляется торжеством разума и справедливости, то для других однозначаще с победою безумия, насильства и других темных сил. А так как тот общественный элемент, в котором заметно наименее сочувствия к новым формам русской жизни, составляет вместе с тем и главный контингент читающей публики, то понятно, с какой точки зрения должна смотреть эта последняя на нашу литературу, то есть на ту ее часть, которая с особенным вниманием следит за общественным движением. Все в этой литературе должно казаться странным нашей туго поддающейся публике сороковых годов: и ее симпатии, и те новые люди, которых она выводит на сцену, и тот новый язык, которым она начинает говорить. Все это или до крайности мало интересует ее, кажется мелким, не захватывающим ни в глубину, ни в ширину, или же представляется чем-то задорным, вызванным с единственною целью тревожить ее самолюбие, разбережи-вать ее раны. Отсюда жалобы на бедность литературы, на то, что силы ее видимо иссякают, а на поверку, очень может статься, выйдет, что не литературные силы беднеют и поражаются бессилием, а чутье читающей публики делается все менее и менее состоятельным.

Но, скажут нам, каким образом могло случиться, что новые основания жизни, которые вывели на сцену столько новых стихий, скрывавшихся доселе за кулисами, не оказали в то же время почти никакого влияния на обновление состава читающей публики? Нет ли тут преувеличения? Или, быть может, эти новые стихии такого сорта, что для них литература даже вовсе не составляет необходимого условия жизни?

Ответ на эти вопросы заключается в некоторых особенностях, под влиянием которых воспитывается и выделяется читающая публика вообще.

Выше мы указали на те причины, вследствие которых публика, дотоле обнаруживавшая видимое участие к судьбам литературы, может сделаться совершенно равнодушною к ней; те же самые причины, аналогически, оказывают свое действие и относительно той *новой* публики, которая имеет образоваться вследствие *нового* строя жизни. Если в первом случае главным агентом равнодушия является недостаток живой связи с измененными основами жизни, то во втором таким агентом представляется недостаток самосознания. Не следует забывать, что хотя за всякими новыми порядками необходимо врываются в жизнь и новые делатели, но нужно немало времени,

чтобы эти последние, так сказать, натурализировались в неизвестном и непривычном для них мире, чтобы они усвоили себе его основания и извлекли из них все выгоды, которые они могут дать. Первый предмет, который в этом случае привлекает внимание нового человека,— это выгода непосредственная, выгода, которую можно понимать и осязать, не имея надобности прибегать к каким-нибудь отдаленным соображениям. Но так как этих простых, кидающихся в глаза выгод очень много, так как без достижения их невозможно думать ни о каких иных выгодах и так как это достижение дается не совсем легко, то проходит довольно много времени, прежде чем переход от выгод непосредственных к выгодам более сложным сделается естествен и возможен. Скажем более: эти простые выгоды, которые представляются наиболее доступными самому неразвитому пониманию, суть в то же время и те, которые на практике всего более возбуждают затруднений. Мы поймем это, если примем в соображение, что эти простые выгоды вместе с тем и самые дорогие, то есть такие, без которых нельзя сделать в жизни шагу. Среда, которая обладает ими, поступается ими гораздо туже, нежели выгодами гораздо более сложными, каковы, например, выгоды образования, различных политических прав и т. п. Но, с другой стороны, понятно и то, что на них-то преимущественно напирает и та среда, от которой, до случая, эти выгоды были заперты на ключ. Она не может идти дальше, прежде нежели запасется этими простыми и на первый взгляд грубыми выгодами. Это первая причина, вследствие которой новые люди остаются равнодушными не только к литературе, но и к другим, менее сложным, но тем не менее существенным стихиям жизни цивилизованного общества. Вторая причина заключается в недостаточной умственной подготовке новых участников жизни. Гораздо труднее объяснить равнодушие к судьбам новой русской литературы со стороны тех людей, которые все-таки дошли хоть до понимания типа «лишнего человека», нежели со стороны тех, которые воспитаны на сказаниях о «пупе земли» и «голубиной книге». Литература, как высшее выражение стремлений общества, требует задатков весьма разнообразных от тех, которые хотят в ней найти для себя поучение, и хотя для того, чтобы принять духовное участие в ее интересах, нет особенной необходимости пострадать на практике, в виде переходной меры, бессилием и сомнениями «лишнего человека», но все же необходимо, по малой мере, освободиться от ошеломляющей теории «трех китов» и других подобных несообразностей. Подготовительная работа подобного рода идет довольно медленно, и по большей части от нее совершен-

но ускользают ближайшие поколения, по той причине, что у них, как сказано выше, и без того много насущного дела. И, таким образом, оказывается, что если старая публика успела уже утратить чутье к интересам литературы, то публика новая не успела еще воспитать его.

Одним словом, дело принимает оборот совершенно другой, нежели тот, который дают ему наши литературные соболезнователи. Бедность действительно существует, но не там, где ее предполагают. Она поразила не литературные силы, а саму публику, которая не хочет или не может изменить свои взгляды на жизнь даже тогда, когда сама эта жизнь изменяет себя во всех своих подробностях.

То, что отстраняет от новой литературы наших мистиков сороковых годов, то именно и дает ей право на живучесть и силу. Это — новые типы, которые она пробует выводить, это — новое дело, о котором она говорит, это — новый язык, с которым она нас знакомит. Все, что проходило перед нами в тумане, весь этот люд, который представлялся нам не иначе как в качестве декорации и мимо которого мы проходили без всякой мысли,— все это встает перед нами живое и своеобразное, все это, несмотря на грубость форм, предъявляет свое несомненное право на признание в нем человеческого образа, а в этом качестве — и на самую жизнь.

Читатель, может быть, спросит: где же эти новые талантливые деятели, на которых можно бы сослаться, как на представителей действительности литературного поворота? Отвечаем: этими деятелями прежде всего являются, во-первых, общее направление современной молодой литературы и, во-вторых, то служение правде, которым оно всецело проникнуто.

Читатель сороковых годов, который примирялся с литературой только под тем условием, чтобы она изображала ему человека, посвящающего свой досуг упражнениям в благородстве чувств, не хочет принять в соображение, что тип этот исчерпан до дна и, следовательно, потерял даже право на самостоятельное существование. А между тем это самая вопиющая истина. С благородным досугом мы дошли до глухой стены, до совершенной невозможности приладиться к какому-нибудь делу. Бессилие привело нас к бесконечным сетованиям, и сетования эти оказались до того однообразными, до того бессодержательными, что даже нас самих по временам приводят в негодование. Мало того что мы везде чужие, что куда бы мы ни обратили наши взоры, всюду как будто «не наше дело», мы до того безразлично смотрели до сих пор на все окружающее, что не можем даже указать, откуда следует ждать

нам помощи, где та среда, в которой делается какое-нибудь дело. Мы не можем делать сами, не можем указать и другим на дело. И это бессилие еще тем усугубляется, что даже и оно не оригинальное, а бледный сколок с различных Ренè, Оберманов, Чайльд-Гарольдов и Вертеров. В этой игре сомнениями для сомнений, в этом гордо выставляемом напоказ разочаровании слышалась какая-то наглая комедия, в которой не было ни одного своего чувства, ни одного своего слова. Спрашивается: при всем пристрастии к этому типу, можно ли развивать его далее?

Нет, нельзя. Он сделал свое дело, он даже принес свою посильную пользу, в том смысле, что выставил в настоящем свете то так называемое целное миросозерцание, представителями которого служили Собакевичи и Ноздревы, и положил ему предел. Далее он идти не мог, потому что дальше уже почувствовалась потребность в правде, в той живой правде, к которой некогда стремился Гоголь, безуспешно отыскивая положительные стороны русской жизни и русского человека.

Литература наша — и это приносит ей величайшую честь — никогда не предавалась неправде сознательно; напротив того, она постоянно обнаруживала в этом отношении похвальную брезгливость. Типы, созданные Гоголем и Тургеневым, были, несомненно, представителями реальной правды своего времени; все дело в том, что круг этой правды был слишком ограничен, чтобы дать место достаточному разнообразию мотивов. Нам могут возразить, что человек сам по себе, в каком бы тесном кругу мы его ни заключили, представляет такой разнообразный нравственный мир, в котором легко найдется место для всевозможных качественных определений. Но это положительно несправедливо, ибо, исходя из этой теории, мы можем дойти наконец до дикого человека, до тюрьмы. Чем меньше разнообразия представляет среда, в которой обращается человек, тем менее дает она ему впечатлений и тем скуднее становится его нравственный мир. Некоторые качественные определения могут развиться не вполне, другие — получить развитие фальшивое, третьи — совсем заглохнуть. Постепенно уединяясь, человек может наконец дойти до крайней умственной и нравственной ограниченности, которая едва ли и не составляет единственный источник разочарования и озлобления, нередко замечаемого в людях, к удивлению, признаваемых даже стоящими выше толпы. Следовательно, не вина писателей, а ограниченность самого круга правды, трудность, с которою сопряжен был доступ в него освежающей струе,-- вот действительная причина бедности мотивов, кото-

рою страдала наша литература сороковых годов. Но приемы их были верны, отношение к изображаемому миру честно, и в этом смысле предания, которые она оставила молодому литературному поколению, заслуживают полного уважения. Эти предания гласят нам: во-первых, что с словом надобно обращаться честно; во-вторых, что есть нечто худшее, нежели самая худая действительность,— это преднамеренная ложь на нее. Можно ли сказать что-нибудь более этого? Можно ли наметить задачу более серьезную и более трудную для выполнения?

Молодая наша литература приняла и сохранила эти предания вполне. Если мы и видим в области печати уклонения от честного обращения с словом и от правдивого отношения к действительности, то уклонения эти принадлежат исключительно остаткам старой литературы. Они одни, по какому-то горькому недоразумению, явились отступниками от завещанных ими же самими нравов и обычаев литературной честности, на них же одних должна пасть и вся ответственность за такое отступничество. Это отступничество может со временем тоже составить своего рода предание, но будем думать лучше, что прецедент этот умрет вместе с теми, которые вольно или невольно явились его создателями.

Положение современной русской литературы можно сравнить с положением исследователя, которому предстоит уяснить совершенно новый вопрос. Отправный пункт найден, правильные приемы для исследования сознаны, но в то же время материал, находящийся под руками, так разнороден и так мало подвергался даже поверхностной разработке, что проникнуть в ту сокровенную сущность, которую заключает в себе каждое звено его, составляет затруднение очень существенное. Для литературы стало ясно, что дело отрицания утратило не только свою относительную жизненную полезность, но даже перестало быть привлекательным, и что тип человека, задумавшегося на распутии, исчерпан сполна; потом, сделалось не менее ясно, что затем следует уже искать типов положительных и деятельных и отнестись к ним с тою же правдивостью, с которою литература предшествующего периода относилась к типу человека, страдающего излишним досугом. Весь вопрос в том, где искать этих деятельных и положительных типов. Очень может статься, что та среда, в которой они обретаются, представляет собою грубую и неприятную на взгляд массу, изнемогающую под игом разнородных темных сил; очень может быть, что это даже и не масса, а просто безобразная агломерация единиц, тянущих в разные стороны и не сознающих никакой общей цели. Все это, по-

жалуй, очень вероятно и даже несомненно, но не менее несомненно и то, что иной среды, от которой можно было бы ждать живого, не заеденного отрицанием слова, покуда еще не найдено, а потому литература не только имеет право, но даже обязана обратиться прежде всего к исследованию именно этой грубой среды и принимать даваемый ею материал в том виде, как он есть, не смущаясь некрасивою внешностью и не отвращаясь от темных сторон, которые ее обусловливают.

Такого рода работа отнюдь не заключает в себе признаков отрицания, как это обыкновенно истолковывается недоброжелательным к литературе меньшинством; нет, это просто работа подготовительная, разъясняющая публике, на первый раз, ту слишком часто забываемую истину, что всякое дело следует начинать с начала. Необходимо прежде всего опознаться в материале, уяснить его частности, а потом уже отыскивать в нем ту объединяющую нить, которая создает типы. Этих типов еще нет, или, лучше сказать, они не найдены, но литература, уважающая свое народное и общечеловеческое призвание, никогда не забывает, что возможность типических очертаний не может иссякнуть, покуда не иссякнет самая жизнь, точно так же как естествоиспытатель не может сказать, что то или другое открытие, как бы громадно ни было его значение, закрывает собою книгу природы и полагает предел дальнейшим исследованиям. В строгом смысле, нельзя даже безоговорочно утверждать, что *нет* типов; а можно сказать только, что они нам неизвестны и что их необходимо вызвать из мрака, в котором они ютятся, необходимо очистить от случайных наносов для того, чтобы разглядеть то нравственное изящество, которое они в себе заключают.

Новая русская литература не может существовать иначе, как под условием уяснения тех положительных типов русского человека, в отыскивании которых потерпел такую громкую неудачу Гоголь. В этом предприятии ей значительно споспешествует то расширение арены правды, арены реализма, о котором мы говорили выше. Как бы скептически мы ни относились к успехам последнего времени, все-таки невозможно не признать, что, в виду всех, рост русского человека несомненно увеличился, и ежели мы и доныне относимся к этой истине с недоверием, то источником такого недоверия служит то, что мы этого увеличения роста ищем совсем не там, где его искать следует. Мы все чего-то ждем от валаамовой ослицы, все думаем, что именно она, а не другой кто может заговорить, и оттого упускаем из вида тот подлинный источник, из которого должна источиться струя нового, живого русского

слова. Об этом-то источнике мы и намерены поговорить с нашими читателями.

Рассматривая общество в его составных элементах, мы убеждаемся, что эти элементы двоякого рода: во-первых, элемент, скопляющий знания, распространяющий их и воспитывающий, и, во-вторых, элемент воспитываемый и в то же время дающий материал для знания и поправляющий его. Общество сороковых годов не представляло никаких признаков подобного различения. В нем не имелось воспитывающего элемента, потому что не было иного знания, кроме стоящего на метафизической основе и, следовательно, для воспитываемой среды мало пригодного. С другой стороны, воспитываемая среда была безмолвна и равнялась нулю. Нечего было воспитывать, да и нечем. Бессилие всех общественных сфер было одинаково, и давление их одной на другую было возможно только в одном смысле — в смысле бессилия. В настоящее время хотя полнота и достоверность накопленного знания и может подлежать спору, но несомненно, что отыскан путь для уяснения истины, и, следовательно, сделалось доступным и самое знание. Вместе с тем та среда, которая необходима для того, чтобы знание не осталось достоянием кастической исключительности, и которая доставляет для него наибольшую массу материала, сделалась гораздо доступнее вследствие освобождения ее от внешних тенет, которые спутывали ее движения.

Вот в каком виде представляется нам современное русское общество, как предмет изучения для литературы. Посмотрим теперь, в какой степени этот материал способен выделять из себя положительные типические определения.

Начнем с той части общества, которую мы назвали воспитывающею. Направление, которое приняла ее деятельность в последнее время, неутомимость, с которою она всю себя посвящает распространению в публике положительных знаний, составляют явление до того общеизвестное и фактически засвидетельствованное, что долго останавливаться на нем излишне. Для одних это явление представляет лишь пищу для безобразных и злобных глумлений, для других оно составляет предмет самых серьезных надежд; во всяком случае, оно слишком типично само по себе, чтобы можно было сделать малейший шаг в деле изучения общества, не коснувшись его. Люди, наиболее чуждающиеся современного направления русской мысли, очень хорошо понимают, что тут уже есть живой и своеобразный тип, на который они охотно клевещут и взводят небылицы, но которого обойти не могут. Попытки их по части уяснения этого типа, хотя всегда сопровождаемые

некрасивою заднею мыслью, можно назвать, в известном смысле, даже полезными. Правда нуждается иногда даже в клевете и в преувеличениях, чтобы вполне определить себя, а так как положительные признаки этого нового типа покуда намечены еще весьма слабо, то отрицательное отношение к нему может послужить весьма нелишнею подготовительною работой. Как ни велико озлобление, как ни сильно старание забросать грязью современное молодое поколение, все-таки и сквозь мутную воду, столь тщательно собираемую нашею положительно-нигилистическою беллетристикою из всех петербургских подземных труб, видно нечто такое, что заставляет наших enfants terribles[1] сороковых годов останавливаться в недоумении и прерывать начатую фразу на половине. Отбросьте комки грязи (они очень легко отчищаются), и перед вами откроются признаки весьма почтенные, над которыми могут глумиться или только очень близорукие люди, или люди преднамеренно озлобленные. Возьмем, например, хоть один из этих признаков: непринятие на веру тех или других предположений потому только, что они принадлежат известному авторитету. Признак этот в современной положительно-нигилистической литературе известен под именем «неуважения к авторитетам», а в литературе полицейско-нигилистической под именем «неуважения к начальству». Под этими характерными наименованиями он, конечно, представляется чем-то дерзким, необычным и потому пугает. А в сущности, тут вовсе нет никакого «неуважения», а просто одно естественное желание относиться к авторитетам сознательно и сознательно же усвоивать себе то, что они утверждают. Мы полагаем, что от привлечения этого элемента сознательности выигрывают обе стороны: и та, которая сознает, и та, которую сознают, ибо только та связь и может считаться прочно установившеюся, из которой, по возможности, устранены недоразумения и колебания — эти неизбежные спутники всякой бессознательности. Сознательное отношение к авторитету даже нимало не подрывает уважения к общему характеру его деятельности, ибо авторитет утверждается на основании не одного какого-нибудь факта, не одного какого-либо подвига, но на основании целого ряда фактов и подвигов, и, следовательно, случайная или частная ошибка нимало не может повредить общему, достойному уважения, характеру деятельности авторитета. Конечно, если авторитет вдруг почему-нибудь свихнется и начнет врать изобильно и систематически, это может подорвать и самое уважение к нему, но и тут не произойдет ничего дру-

---

[1] сорванцов.

гого, кроме совершенно естественного и должного. Возьмем другой признак: искание более твердой почвы для человеческих убеждений и действий и, как следствие этого искания, стремление в область естествознания и недоверие к метафизике. В современной положительно-нигилистической литературе признак этот известен под именем непризнания благороднейшей, духовной природы человеческого существа, в полицейско же нигилистической литературе — опять-таки под именем «неуважения к начальству». А в действительности, тут вовсе нет никакого непризнания духовной природы, а есть только иной взгляд на нее и иное ее разъяснение. Теряет ли сущность дела от того, что проводимый метафизиками дуалистический взгляд на природу человека будет заменен другим, более рациональным? До того ли сладки плоды, к которым привели нас метафизические увлечения, сущность которых заключается в том, что они держат общество в постоянном брожении, чтобы следовало держаться за них всеми силами, даже вопреки свидетельству здравого смысла? И, наконец, возможно ли, по совести, видеть что-то угрожающее и анархическое в тех попытках, которых единственная цель в том только и заключается, чтобы положить предел умственным и нравственным колебаниям и внести в общественные отношения характер твердости и прочности? Возьмем третий признак — это бодрость и смелость, с которою деятель нового закала приступает к вопросам жизни и которая на литературно-нигилистическом языке называется нахальством, а на языке полицейско-нигилистическом опять-таки неуважением к начальству. Но мы, конечно, очень долго не кончили бы с исчислением подобных признаков, если бы для наших целей не было достаточно и этих. Повторяем: за комками грязи, за восторженностью дурацкого удивления всегда можно различить очень простую и вовсе не заслуживающую удивления действительность, и результат этот тем легче будет достигнут, чем гуще тот слой красок, к которым обыкновенно прибегают клевета и непонимание. Следовательно, в строгом смысле, на обличения, направленные против нового типа русского человека, не только нельзя быть в претензии, но можно даже не без пользы эксплуатировать их. Положим, что в основании их лежат почти исключительно одни наносные слова без смысла и без содержания; но если среди ливня лжесвидетельств мы можем найти хотя малейшую крупицу правды, то и ею не имеем права пренебрегать и ее обязаны принять в соображение.

Со стороны той части русской литературы, которая сочувственно относится к новому типу русского человека, также

были сделаны некоторые попытки к объяснению его, но должно сказать правду, что попытки эти были не весьма удачны. Причина этих неудач скрывается главнейшим образом в том, что литература наша и до сих пор не может вполне освободиться от отрицательного отношения к жизни, которое столько времени властвовало в ней. На положительные типы мы до сих пор смотрели с недоверием, и с представлением об них связывалось представление о какой-то добродетели, над которою так язвительно и резонно смеялся Гоголь. Поэтому новые литературные деятели, поставленные между необходимостью создавать положительные типы и тем рутинным понятием о добродетели, которое при этом навязывается само собою, приходят к результатам не только совершенно неожиданным, но и противоречащим тому основному убеждению, в силу которого искусство должно иметь в виду только реальную правду. Герои положительного закала являются перед публикой или преждевременно состарившимися кадетами, которые не могут приступить к делу по той причине, что не умеют даже назвать его, или какими-то очень нищими духом аскетами, которые всю суть дела видят в нелепой проповеди воздержания. Все эти люди очень мало выражают себя в действии и, напротив того, слишком много предаются теоретизированию различных поступков и действий; они *не поступают,* а только толкуют о том, *как поступать должно,* и этим справедливо навлекают на себя упрек в безжизненности и невыношенности. Таким образом, классическое понятие о том, что истинный герой должен быть непременно снабжен добродетелями, остается во всей силе, да и самое изображение этих добродетелей не только не противоречит учению Гоголя о тех приязненных отношениях, в которых находится добродетель с пошлостью, но даже в значительной степени подтверждает его.

Но, кроме укоренившихся привычек, препятствующих отысканию положительных типов в той среде, которую мы назвали воспитывающею, немаловажное затруднение в этом случае представляет, во-первых, сравнительная сложность этих типов, а во-вторых, те условия, среди которых развивается их деятельность. Автор, желающий изобразить положительного русского человека, должен не только стоять на известной нравственной высоте, но и обладать достаточною суммою знаний, без помощи которых невозможно объяснить те особенности языка, приемов и отношений, совокупность которых собственно и составляет живое лицо. Насколько незначителен внутренний запас человека отрицательного направления и насколько эта внутренняя бедность облегчает изучение его,

настолько богат реальным содержанием внутренний мир нового человека и настолько делается менее доступным его изучение. Первое и самое обязательное условие для каждого писателя-художника — это стоять, по малой мере, на одном уровне с изображаемым лицом. Объяснение типа человека праздного легко достигается при помощи одной талантливости, но объяснение типа человека дела, человека профессии уже требует, кроме талантливости, еще известной подготовки. Для пояснения нашей мысли возьмем вопрос, который еще очень недавно привлекал к себе внимание нашей мыслящей публики,— вопрос о положении женщины в обществе. Для полного разъяснения этого вопроса недостаточно одних априористических построений, а также недостаточно ни благодушия, ни даже отвлеченной идеи справедливости. Эти общедоступные, паллиативные приемы могут, конечно до известной степени, видоизменить положение дела, но окончательно устроить его не могут, потому что в настоящем случае разрешение достигается только путем положительного наблюдения, то есть тем единственным путем, который исключает всякую бессознательность. Теперь представьте себе человека, который пришел к уяснению себе этого вопроса именно этим последним путем — очевидно, что те общие выводы, которых он при этом достиг, необходимо должны отразиться и на его собственных, личных отношениях к женщине и что отношения эти будут несколько иные, нежели те, которые мы привыкли видеть и которые образовались под влиянием известных исторических преданий. С другой стороны, представьте себе этого человека, как предмет наблюдения в глазах такого наблюдателя, который совершенно чужд предварительному процессу, послужившему основанием для нового взгляда на женщину,— что может из этого выйти? Ясно, что под углом зрения этого наблюдателя новые формы отношений мужчины к женщине легко примут размеры странности, так что ежели это наблюдатель, настроенный враждебно, то у него, как результат наблюдений, выйдут картины циничесного разврата; если же это наблюдатель, расположенный симпатически, то у него выйдут картины не менее нелепого аскетизма. В обоих случаях ложь и совершенное непонимание той средней, естественной свободы отношений, в которой и заключается вся сущность дела. Точь-в-точь такие же затруднения встретим мы, конечно, и по всем другим подробностям жизненной обстановки нового человека. Везде необходимость стоять на одном уровне с изображаемым предметом, везде необходимость дойти до этого уровня путем личной серьезной подготовки,— вот те затруднения, которые прежде всего обязан устранить наблюдатель. Мы не гово-

рим, чтобы эти затруднения были непреодолимы; они даже и теперь, по мере постепенного распространения в обществе положительных знаний, уже делаются менее и менее существенными, но, во всяком случае, существования их весьма достаточно, чтобы объяснить, почему среда наблюдающая оказала еще слишком мало успехов в разъяснении положительного типа русского человека.

Не менее, ежели не более, затруднений к уловлению типических черт представляет и та внешняя обстановка, среди которой действует новый человек. Эта обстановка почти не существует, или, лучше сказать, она до такой степени стеснена, что представляет собой только раздражающую и преисполненную всяких опасностей приманку. Общество слишком неприязненно к новому типу, чтобы предоставить ему какое-нибудь деятельное участие в жизни, оно слишком мало подготовлено к тому, чтобы допустить, что те жизненные отношения, которые сознаны новым человеком, не только рациональны, но и вполне практичны. При таком настроении большинства новый человек делается невольным теоретиком, то есть таким лицом, которое недостаток практической деятельности невольно возмещает теоретическими об ней рассуждениями. А так как искусство, имеющее предметом объяснение человеческого образа, ведает исключительно поступки, а не абстрактные взгляды, то понятно, какую ощутительную пустоту должно представить для него то фаталистическое условие, которое преградило или, по малой мере, затруднило для изучаемого субъекта возможность свободного внешнего проявления. За какие типические черты может ухватиться художник-наблюдатель, когда эти черты почти неприступны в своей абстрактности, когда для них немыслима та свободная игра, которая могла бы служить им воплощением? Да хорошо еще, если эти черты только неприступны, а если они, сверх того, еще до известной степени извращены отсутствием света и воздуха? как угадать их, как восстановить их действительный характер? как отличить действительность наносную от истинной? Очевидно, что если подобного рода работа и возможна, то для нее требуется такая сумма проницательности, которая нигде не встречается иначе, как в виде исключения...

Итак, с одной стороны, укоренившееся преданием предубеждение в пользу типа отрицательного, с другой стороны, внутренняя сложность нового типа и бедность его внешней обстановки — вот те препятствия, с которыми боролась и до сих пор борется новая русская литература в своих поисках за положительными сторонами русской жизни. Борьба трудная, и потому очень естественно, что результаты, которые до-

быты ею до сих пор в этом направлении, не могут назваться вполне удовлетворительными. Но не надобно забывать, что литература всегда и неизбежно отражает на себе признаки своего времени. Наше время, по справедливости, называется переходным, то есть таким, которое не столько дает готовые ответы на вопросы, сколько собирает материалы для этих ответов. Этот же переходный характер необходимо признать и за литературным движением последнего времени. Результаты его не поражают блеском — это правда; но важно то, что сознана необходимость положительного отношения к жизни, что уже намечены основные черты нового типа и в то же время неутомимо собирается материал, необходимый для дальнейшего всестороннего определения его. Этих результатов совершенно достаточно, чтобы признать за современным литературным движением характер движения плодотворного. Остальное придет само собою, оно придет как естественное последствие усилий той самой жизни, возбуждение которой принадлежит бесспорно литературной инициативе.

Но для того, чтобы убедиться, что ожидания наши нимало не преувеличены, необходимо коснуться здесь отношений новой русской литературы к той части нашего общества, которую мы назвали выше воспитываемою.

Попытки знакомить читающий люд с народными русскими типами или, лучше сказать, с элементами этих типов, ведут в нашей литературе свое начало довольно издалека. Еще Державин приглашал публику взглянуть:

Как в лугу весной бычка
Пляшут девицы российски
Под свирелью пастушка...

Но должно думать, что танец российских девиц был или не к месту, или слишком неотчетливо вытанцовывался — во всяком случае, публика того времени не могла вынести от него никаких для себя поучений, да и для потомства не прибавилось от того никаких мужицко-хореографических данных. Затем, последовательно «показывали» русского мужика писатели карамзинской школы, но и у них слово «мужик» как-то не выговаривалось, и публика пришла к убеждению, что слово это неудобное и что таково свойство литературы, что она одним прикосновением к мужику немедленно превращает мужика в пейзанина. Первый писатель, которому удалось возбудить в публике вкус к мужику, был г. Григорович. Он первый дал почувствовать, что мужики не всё хороводы водят, но пашут, боронят, сеют и вообще возделывают землю; что, сверх того, беспечная поселянская жизнь очень нередко оттеняется

такими явлениями, как барщина, оброки, рекрутские наборы и т. д. Но такова была елейная ограниченность этого писателя, до того несомненно было жорж-зандовское происхождение его повествований, что даже те бесспорно русские явления, около которых, по-видимому, сосредоточивается весь интерес рассказанных им драм и о которых мы сейчас упомянули, никого не заставили задуматься. Дворянину-читателю казалось, что все это пишется только к примеру, что рассказы эти не более как попытка ввести в русскую литературу новый жанр, уже пользующийся успехом за границей, и что все эти оброки, барщины и наборы представляют собой лишь своеобразные средства для построения драмы. И действительно, общий фон измышленных г. Григоровичем повествований о судьбе и быте русского крестьянина был до того безразличен, что русские слова утопали в нем почти бесследно, и ежели публика останавливалась перед этими картинами, то обнаруживала при этом не более участия, как и при виде литографий вроде: «Le convoi du pauvre» или «Le violon brisé» [1], выставляемых в окошках магазинов эстампов. Наконец, г. Григорович до того надоел своим идиллически-пейзанским хныканьем, что вызвал реакцию; на сцену явился г. Н. Успенский. Этот писатель вышел из принципов, совершенно противоположных Григоровичу; он находил, по-видимому, что действительность требует не украшения, а правды, и начал говорить эту правду настолько, насколько хватало у него сил. Но и тут вышло нечто совершенно неожиданное: оказалось, что под углом зрения г. Н. Успенского русский крестьянский мир представляет собою не более не менее как обширное подобие дома умалишенных. Мужик этого писателя не имеет в голове ни одной мысли, ни одной серьезной заботы; это какое-то нелепое животное, которое вечно празднует, вечно пьянствует, а в промежутках говорит глупые слова. Автора еще спасала несколько та веселая струя, которая была разлита во всех его рассказах, но и за всем тем изображение организованной бессмыслицы, без начала и без конца, оказалось до того смелым, что даже самые смешливые люди с трудом мирились с ним. Подражателей у г. Н. Успенского не нашлось, а если таковые и были, то вовремя остановились.

Кроме этих двух писателей, мы должны бы были упомянуть еще о Тургеневе, но, к сожалению, бесспорно талантливая деятельность этого писателя на поприще разработки народных типов проявилась эпизодически и была слишком заслонена последующею литературною его деятельностью, что-

[1] «Похороны бедняка» или «Разбитая скрипка».

бы оказать решительное влияние на характер и направление нашей литературы в этом смысле.

Результаты всех упомянутых попыток, как в идиллическом так и в юмористическом роде, были самые скудные. Физиономия русского простолюдина не только не выяснилась, но еще более утонула в тумане, благодаря балетно-идиллическим украшениям с одной стороны и поверхностно-карикатурным обличениям с другой. А вместе с тем осталась скрытою от глаз читателей и тайна русской жизни, та горькая тайна, которая до того спутывает все понятия, до того морочит глаза, что и впрямь дозволяет первому встречному наблюдателю утверждать, что русский крестьянский мир есть мир бессмысленных и ничем не объяснимых движений. Поэтому, как ни усиливались писатели разжалобить или развеселить публику насчет русского мужика, впечатление, производимое их усилиями, было слабое и скоро проходящее. Лишенные всякой цельности, а следовательно, и художественной правды, измышленные ими образы столь же мало трогали нас за живое, как и те зипунники, мимо которых мы безучастно проходим каждый день по городским улицам и площадям. Все это не более как картина, в которой шевелятся и группируются какие-то фигуры, но что это за фигуры и имеют ли какой-нибудь внутренний смысл их движения, мы этого не знаем, да, признаться, не очень-то и добиваемся знаний такого рода.

Первым толчком, который вывел русского простолюдина на арену деятельности, который показал, что в физиономии этого субъекта есть нечто осмысленное, дозволяющее ему пользоваться благами свободы, была реформа 19-го февраля 1861 года. В виду ее, со стороны литературы оказалось уже совершенно немыслимым то бессознательное отношение к простолюдину, которым она пробавлялась до тех пор. Потребовалось взглянуть на него пристальнее и притом признать предварительно, что та внутренняя его сущность, которая подлежит изучению, не есть какая-нибудь особенная и курьезная, а сущность общечеловеческая, почерпающая свою оригинальность исключительно из внешней обстановки.

И действительно, со времени крестьянской реформы русский мужик делается в нашей литературе как бы героем дня. Целая фаланга молодых писателей исключительно посвящает ему всю свою деятельность; большинство старых писателей тоже считает долгом сказать об нем несколько лестных слов. Посмотрим теперь, легка ли была для литературы подобная задача и в какой степени она успела овладеть ею.

Прежде всего, мы должны сказать, что, несмотря на то что крестьянский мир всегда у нас перед глазами и что мы уже

имеем в прошлом некоторые попытки, сделанные с целью исследовать его, он все-таки имеет для нас всю приманку новизны. Много было таких предметов, на которые мы *смотрели* и не *видели,* таких слов, которые мы знали наизусть и не понимали. *Amnis, anguis, axis... все это были латинские* грамматические исключения, все это было какое-то сонное видение. Сучок, Ермолай, Бирюк, Касьян и другие типы, созданные рукою Тургенева, нимало не знакомили нас с крестьянскою средою, не потому чтоб это не были типы вполне живые, а потому что они представлялись нам уединенными, стоящими в положении исключительном и преисполненном недомолвок. Нужна была целая крестьянская среда, нужна была такая картина, в которой крестьянин являлся бы у себя дома и настолько свободным, чтобы стесняющие его искусственные грани, по крайней мере, не делали для него обязательною немоту языка, не заставляли его на всяком шагу озираться и оговариваться. Очень могло случиться, что такого рода картина напишется рукою мастера второстепенного, что в ней поразит знатока отсутствие изящества, но, во всяком случае, не подлежало сомнению, что даже и тогда картина должна дать более полное и отчетливое понятие об искомом предмете, нежели даже мастерские типы Тургенева, при помощи которых перед нами раскрывалась только какая-то таинственная, недоступная глубь.

Проникнуть в эту среду, постичь побудительные поводы, которые обусловливают ее движения, определить ее жизненные цели — дело далеко не легкое. Хотя крестьянская реформа и сняла с нее то иго, которое наиболее тяготело над нею, все же эта среда таинственная, по преимуществу зараженная недоверием. Над нею лежит бремя бедности, бремя невежества, бремя предрассудков и множество других зол, совокупность которых составляет своего рода завесу, делающую ее почти недоступною для непосвященного человека. И ежели за всем тем литература нашла-таки искомый доступ, если она успела проникнуть в сокровенное святилище этой бедной и темной жизни, то это одно уже составляет с ее стороны заслугу неоцененную.

Мы очень хорошо понимаем, что стремиться к этой задаче *было для литературы вполне обязательно,* так как в противном случае она изменила бы своему воспитательному призванию и, кроме того, рисковала бы оставить неразработанным единственный элемент, который был способен внести в нее живую струю; но дело не в том, вольна ли была литература идти или не идти по этому пути, а в том, что она пошла по нем, и пошла с тою бодростью, которая служит ручатель-

ством за совершенный успех в будущем. Не надо забывать, что среда литературная и та среда, которую она в настоящее время исследует, почти не имеют между собой никаких точек соприкосновения, и что, следовательно, единственная основа, на которой они могут сходиться, есть основа общечеловеческая. Но это-то именно и дает нам меру той нравственной высоты, на которой должен стоять деятель, чтобы сквозь грубые покровы, застилающие исследуемый предмет, суметь показать человеческий образ во всей его полноте.

Но, могут опять-таки спросить нас, где же эти пресловутые литературные деятели, на которых мы имели бы право указать, как на подтверждение сказанного нами выше? На это мы опять-таки ответим: главным деятелем в этом случае является *вся* молодая русская литература, ее общий тон и общее направление. Если нельзя без оговорок указать на тот или другой роман, ту или другую повесть, в которых вполне уяснялись бы нам положительные типы русского простолюдина, то можно сказать без оговорок, что уяснение это вполне достигается *совокупностью* множества литературных произведений, беспрерывно следующих одно за другим. В этом отношении молодая наша литература достигла результатов гораздо более действительных, нежели относительно типа русского человека, принадлежащего к среде воспитывающей. Она познакомила нас не только с тою обстановкой, в которой живет наш простолюдин, но и с тем, как выносится эта обстановка и какое оказывает воздействие на нравственный мир живущего в ней человека.

Повторяем: русская литература нашла уже путь, и путь прямой и правильный; если же на этом пути мало встречается деятелей, поражающих своими талантами, то это еще беда небольшая. Главное дело современных литературных деятелей заключается в подготовлении почвы, в собирании материала и в честной разработке его, и эта скромная, но нелегкая задача исполняется ими с полным сознанием и с замечательною добросовестностью.

Но этого мало даже сказать: с добросовестностью. Если мы взглянем на литературу глазами непредубежденными, то без труда найдем в ней такие отдельные таланты, которые даже теперь, в наше трудное время собирания, стоят выше обыкновенного уровня. С особенным основанием мы можем указать в этом смысле на г. Решетникова, которого литературная деятельность, как нам кажется, далеко не ценится нашею публикой по достоинству.

Мы, конечно, взялись за перо не с тем, чтобы слагать хвалу кому бы то ни было из новых вкладчиков нашей лите-

ратуры, тем более что не скрывали и не скрываем, что преобладающий характер их деятельности очень скромный, но не считаем себя вправе пройти молчанием такие замечательные попытки, как, например, «Подлиповцы», «Где лучше?» и многие другие, в которых, по преимуществу, сказался тот плодотворный поворот нашей беллетристики, о котором идет речь в настоящей статье. Мы понимаем, что в людях прихотливых, избалованных яркими картинами беллетристики сороковых годов, произведения г. Решетникова не должны встретить большого сочувствия. Беллетристы сороковых годов сами помогали читателю, сами предрасполагали его к тем или другим ощущениям; они сознательно прибегали к известным вспомогательным средствам, которые сообщали их произведениям тот тон, который в данном случае был желателен. Г-н Решетников подобной помощи не дает вовсе; скорее можно даже сказать, что неуменнем распорядиться своим материалом он положительно вредит самому себе; но, в то же время, он чувствует правду, он пишет правду, и из этой правды до того естественно вытекает трагическая истина русской жизни, что она становится понятною даже и без особенных усилий со стороны автора.

На этом покамест мы остановимся. Цель нашей статьи заключалась не в характеристике деятельности того или другого из современных писателей, а в разъяснении вопроса, насколько основательны и справедливы те сетования на бедность нашей литературы, которые раздаются в обществе. Думаем, что мы вполне достигли этой цели, указав, что никогда еще деятельность русской литературы не была так плодотворна и так правильно поставлена, как в настоящее время, и что ежели и за всем тем она не удовлетворяет вкусам и требованиям читающей публики, то причина такого явления заключается едва ли не в недостаточной умственной подготовке самой этой публики.

НОВАТОРЫ ОСОБОГО РОДА*

Жертва вечерняя. Роман в двух книгах и четырех частях П. Боборыкина («Всемирный труд», 1868 г.)

Могут ли представлять для литературы достаточный интерес биографии пустых и ничтожных людей? Вопрос этот разрешается нашей современною беллетристикою весьма разнообразно; должно, однако ж, сознаться, что в последнее время в ней заметна была наклонность разрешить его скорее в отрицательном, нежели в утвердительном смысле.

Как ни переворачивайте умственный и нравственный хлам человека, все же это будет не более как хлам, то есть явление простое и малосодержательное. Исследуя его, анализ слишком скоро истощается и приходит к своему последнему слову; искусство, воспроизводящее жизнь, также не находит в нем достаточного материала для объяснения разнообразия жизненных положений. Есть такие положения, в которых присутствие ничтожества даже немыслимо, и именно те положения, которые представляют собою наиболее плодотворную сторону человеческой деятельности. Не лучше ли же оставить в стороне и предать забвению это бесполезное ничтожество, тем более что на изучение его и без того потрачено не мало труда и времени?

Несмотря на абсолютную верность этого взгляда, мы думаем, однако ж, что в нем есть весьма важная недомолвка, а именно: в нем упущено из вида то влияние, которое оказывает на жизнь общества присутствие в нем всякого рода праздных, скучающих, исковерканных и пораженных язвою мельчайшего самолюбия людей. Сам по себе взятый, хлам, конечно, не больше как хлам, но замечательна его историческая устойчивость, важно то, что нельзя сделать шагу в жизни, чтобы не запутаться в нем или, по крайней мере, не почувствовать его под ногами. Все это заставляет думать, что мир ни-

чтожества стремлений, пошлости идеалов и распущенности мысли далеко не упразднен окончательно. Все, что можно допустить в этом смысле,— это то, что он постепенно разлагается и утрачивает ту кажущуюся творческую силу, которую он некогда выставлял вперед, как оправдание своего бытия; но отрицательное влияние его на успехи общества все еще громадно и даже едва ли не увеличивается в той же мере, в какой уменьшается влияние положительное.

Если мы примем на себя труд определить главные жизненные принципы, выработанные этим умирающим миросозерцанием, то легко убедимся, что все они вращаются около самого ограниченного числа представлений, между которыми едва ли не самую видную роль играют: необузданность воли, стремление подавить сознательную работу мысли, трудобоязнь и, наконец... клубника во всех видах и формах, как отдохновение от подвигов по части необузданности. Конечно, с таким запасом нельзя рассчитывать на многое в смысле положительном и творческом, но можно и даже очень можно воспользоваться им, как метательным орудием, весьма пригодным для затруднения общественного хода. Мало сознавать, что истина и право, в окончательном результате, всегда торжествуют; не надо упускать из вида, что за правом и истиной стоят живые люди, которые могут страдать и погибать, и что самый мир истины и права есть мир нарождающийся и потому окруженный обстановкою настолько колеблющеюся, что она еще слишком мало ограждает его от притязаний своеволия и необузданности.

Сопоставить эти два мира, показать их взаимное друг на друга давление — это задача не только не лишняя, но и поучительная. Почему пошлость и необузданность всегда и неизменно торжествуют? почему, за всем тем, это торжество только кажущееся, выражающееся исключительно во внешних результатах? Почему сознательное искание истины и права всегда и неизменно затрудняется? почему, за всем тем, оно столь же неизменно торжествует? Все это такие вопросы, уяснение которых далеко не может быть безынтересным для общества. Самая борьба, которая неминуемо возникает из этого сопоставления, представляет такой животрепещущий материал, из которого сама собою зиждется драма со всеми ее потрясающими и воспитывающими поучениями.

В этом смысле, несомненно, нет того нищего духом нахала, который не был бы достоин изучения, нет такого страдающего разжижением спинного мозга эстетика-клубничиста, которого изображение можно было бы счесть излишним. Все они не только существуют, но и торжествуют и, следовательно, имеют полное право удержать свое место в общей картине. Не

один придаток они составляют в ней, не в роли действующих лиц без речей являются они, но в роли героев, защищающих право, признанное преданием. Трагическая судьба этих сторонников отжившего предания и бессознательности столь же несомненна, как и таковая ж судьба тех, которые борются с бессознательностью; она только менее бросается в глаза. Если последние гибнут непосредственно под грубыми, почти механическими ударами судьбы, то первые погибают путями более косвенными: они гибнут в своих детях, гибнут жертвою той горькой очевидности, что сколько они ни употребляли усилий для защиты своих пенатов, все-таки, в их глазах, в их собственные святилища успели проникнуть и водвориться иные пенаты.

Предмет романа, сочиненного г. Боборыкиным, составляет именно тот хлам, о котором мы сейчас говорили. Но мы сомневаемся, чтобы он руководился высказанными нами соображениями относительно значения этого материала; напротив того, нам кажется, что он взглянул на хлам совсем не так, как на признак известного общественного строя, а просто как на хлам, и в этом качестве нашел его достойным изучения. Сверх того, из всего ныне действующего хлама он признал наиболее любопытным тот, который, по-видимому, всего меньше дает материала для каких бы то ни было выводов, а именно: нимфоманию и приапизм.

Прежде всего, будем справедливы: г. Боборыкин исполнил свою задачу, по мере возможности, довольно удовлетворительно, и роман его читается очень легко. Есть известные рутинные приемы, несоблюдение которых делает чтение некоторых беллетристических произведений (особенно начинающих писателей) чрезвычайно затруднительным. Таковы, например: самоповторение, излишество подробностей, несоразмерность частей, желание остановить внимание читателя на известных взглядах и мыслях, облюбованных автором, и т. д. Всех этих недостатков г. Боборыкин избежал весьма счастливо. Роман его проглатывается почти мгновенно, сколько благодаря своему веселому содержанию, столько же благодаря и тому, что он не представляет совершенно никаких преткновений для мысли. Автор не повторяется, потому что ему нечего повторять; он избегает несоразмерности частей, потому что там, где, в строгом смысле, нет целого, не может быть и частей; он не допускает излишества в подробностях, потому что в вопросе о нимфомании чем больше подробностей, тем удобнее делается он для проглатывания; наконец, он не навязывает насильно читателю никаких взглядов, потому что какие же могут быть взгляды, когда весь интерес романа рассчитан на

то, чтобы помутить в читателе рассудок и возбудить в нем ощущение пола? Повторяем: всею этою рутиной автор овладел вполне; роман его не тяготит, не ломает рук и может читаться и страница за страницею, и через страницу, и с начала до конца, и с конца до начала, во всяком месте, во всякое время, лишь бы нечего было делать другого. Действие будет наверное всегда одинаковое, ибо, что̀ в нем всего драгоценнее — это та чрезвычайная определенность и ясность слога, та завидная прозрачность мысли, до которой можно возвыситься только при совершенно тщательном изучении и даже, так сказать, самоотождествлении того беспокровного мира, в котором владычествует петербургская лоретка под благосклонною сению божка Приапа.

Роман написан в форме дневника молодой вдовы. Она дебютирует тем, что вспоминает о покойном своем муже, и первое, на чем останавливается ее мысль,— это его ласки. «Не знаю, пишет она, говорил ли он мне что-нибудь про себя, когда ухаживал. Все, кажется, больше поводил зрачками. Я сейчас же *всем своим телом* поняла, что̀ это такое значит, когда мужчина *так* на вас смотрит... Он был такой неистовый в своих ласках, *так все и кидался*». Затем, она рассуждает о том, как глупо, что русские женщины делаются матерями «оттого только, что гвардейскому адъютанту понравились их перси». «Я думаю даже, прибавляет она, что если бы этих самых «персей» у женщин не было, мужчины были бы гораздо умнее». Рядом с этими игриво-философскими мыслями идут воспоминания о канкане, сравнение русского канкана с французским, причем отдается решительное предпочтение последнему.

Таким образом, с первого же раза вы видите перед собой женщину, которой образ мыслей установился вполне и которая в нравственном отношении совершенно *созрела*. Эта женщина не только *всем своим телом* понимает безделицу, но даже любит посмаковать ее, любит порассказать об ней себе самой. Вам делается любопытно знать, какой будет роман этой женщины: поведет ли ее автор по каким-нибудь мытарствам или же сразу водворит в доме терпимости и там бросит.

Молодая вдова принадлежит к числу тех обыкновенных русских досужих женщин, у которых с ранней молодости все помыслы направлены к «срыванию цветов удовольствия». Конечно, мы не имеем повода отвергать, что такого рода барыни, по большей части, предаются этому занятию до самозабвения, но тем не менее, ежели бы мы сказали, что в этом усердном служении участвует хоть капля сознательности, то, конечно, сочли бы себя виновными в преувеличении. По нашему мнению, при обыкновенном ходе вещей телесный раз-

врат есть результат праздности, распущенности и темперамента — и ничего больше. С этой точки зрения, героиня романа г. Боборыкина составляет исключение даже в ряду самых рьяных пропагандисток учения о безделице; она не только ощущает, но мыслит себя как идолопоклонницу Приапа, а между этими двумя формами бытия, по крайней мере, такая же разница, как между простою кражей и кражей со взломом. К сожалению, г. Боборыкин не показывает нам, каким образом его молодая вдова дошла до этого взлома; он просто представляет ее уж достигшею того состояния «приятной женщины», когда канкан делается звездою-руководительницею всех человеческих действий и единственною духовною пищей, которая принимается без отвращения.

После очень прозрачного описания, как молодая вдова застала свою приятельницу Софи на коленях у «обезьяны в преображенском мундире» и как они, при входе ее, «разлетелись в разные стороны», автор сводит свою героиню с некоторым синим чулком в лице г-жи Плавиковой, и тут она встречается с какою-то литературною «célébrité» [1] по фамилии Домбрович. Эта célébrité — такая слизистая гадина, до которой нельзя дотронуться, чтобы не почувствовать потребности обтереться. Но на гадину — гадина, и гадина более гадкая, как и всегда, побеждает и поглощает менее гадкую. Увы! в мире мерзостей тоже имеются своего рода неотразимые силы, в которые мерзости менее сильные впадают, как небольшие реки в многоводный океан.

Г-н Боборыкин не дает подробных известий, к какой именно школе следует сопричислить его литературную célébrité, Домбровича, но не скрывает, что он принадлежит к породе «эстетиков». Этих эстетиков мы довольно хорошо знаем, они толпами шатаются между первым и пятью часами по Невскому и по̀ходя изнывают при виде прогуливающихся кокоток. Это те самые чистокровные шалопаи, которые на изображение мадонны не могут взирать, чтобы не припомнить при этом «L'oiseau envolé» [2], которые не могут видеть красивой женщины без слюнотечения.

Судя по признаниям Домбровича, его религия — искусство; но слова иногда захватывают более своего действительного значения. В сущности, религию Домбровича составляет не искусство, а безделица, которая до того помутила его голову, что не оставила в ней даже самого маленького местечка для здравого смысла. «Мы никаким вопросам не сочувствуем,

[1] знаменитость.
[2] Женщина легкого поведения (буквально: улетевшая птичка).

переплетных заведений не заводим... мы не мудрствовали, не разрушали основ... мы обожали искусство... я ничего не понимаю во всех этих реализмах, социализмах, нигилизмах»,— так говорит о себе этот пламенный обожатель безделицы. Эти неистово-бессмысленные слова, конечно, ни о чем более не свидетельствовали и не могут свидетельствовать, как о высшей степени разжижения спинного мозга у произносившего их субъекта, но за всем тем они оказались достаточными, чтобы пробудить в молодой вдове то чувственное вожделение, которое, со смерти мужа, было разлито в ее организме в скрытом состоянии. На поверку вышло, что даже это непроходимое самохвальство тупоумием и пошлостью все-таки составляло шаг вперед в сравнении с тем «поваживанием зрачками», которым потчевал ее покойный муж.

Решительный шаг, или падение героини, совершается просто. В одну из своих прогулок по петербургским улицам вдова внезапно чувствует болезненный припадок; попадается под руку Домбрович и увлекает ее к себе на квартиру. Является завтрак, шампанское. Домбрович показывает вдове на образцы голов и торсов и говорит, что природа лепила ее с них. Потом начинаются поцелуи, объятия; шампанское и чувственный разговор делают свое дело неотразимо. Но предоставим слово самому автору.

Я пала... но пала против своей воли!.. Да, тысячу раз да! Теперь говорю самой себе. Мне не перед кем ни оправдываться, ни стыдиться. Я защищалась, как могла. Правда, можно было кричать; но я себя не помнила. Это был припадок сначала нервной веселости, потом изнеможения. Он это видел, он это знал лучше меня...

Нет таких слов высказать, что чувствует женщина, когда с ней поступят, как с вещью! Кто дал нам такую проклятую натуру? И это делается среди белого дня.. Тонкий, цивилизованный человек поступает с нами, как с падшею женщиною.

Когда я очнулась, если бы тут был ножик, если бы тут было что-нибудь, я бы зарезалась, удавилась. Я как была на кушетке, так и замерла. Этакого ужаса, этакого омерзения я и вообразить себе не могла! Господь бог приготовил нам особые приятности! Мне кажется, если бы рыдания не хлынули целой волной, я бы задохнулась. Но чем сильнее я плакала, тем ядовитее, тем горче делался мой позор... Все обиды, какие только злодей может выдумать, ничего в сравнении с этой... И как легко обойтись с женщиной galamment![1] Просто выбрать получше минуту, схватить ее покрепче и «сорвать цветы удовольствия». О-о! теперь я понимаю, что значит эта адская фраза. Вот они, эти умники. Вот как они обожают красоту!.. Батюшки мои! Что бы мне совершить с этим мерзавцем?..

Вот к какому неожиданному результату приводит иногда так называемый обмен мыслей. Позволительно, однако ж, сомневаться в искренности негодования, выражаемого веселою

[1] галантно.

барыней по поводу претерпенного ею поражения. Она слишком усердно штудировала учение о безделице, чтобы ближайшее применение его могло застать ее врасплох; она получила слишком всестороннее в этом смысле образование, чтобы не понять, что приглашение Домбровича посетить его квартиру не могло иметь иных последствий, кроме описанных выше.

И действительно, очень скоро стихает это напускное негодование, и вдова вновь возвращается к спокойному созерцанию клубники. Посетивши через месяц (после многих увеселительных сеансов у себя на дому) квартиру Домбровича, она уже отмечает в своем журнале: «увидала я кушетку, и расхохоталась, как я на нее злобствовала; все мне в этом кабинете было нечто свое, роднсе». С своей стороны и Домбрович не теряет золотого времени; он постепенно развивает эстетические наклонности своей пациентки, давая ей читать «Liaisons dangereuses», «Mon noviciat» и других классиков. От этого назидательного чтения следует быстрый переход к Soupers à la régence или попросту к афинским вечерам; затем — полная анархия плоти.

Тут, по всей вероятности, следовало бы автору остановиться. Описанием вечеров, в которых каждая из участвующих пар («un chacun avec une chacune», «моншер с машерью», как выражается Домбрович) применяет на практике теорию житья «в свое удовольствие» тем, что, потрудившись на поприще канкана, удаляется для отдыха в отдельную комнату, он вполне достигнет тех самых результатов, которые достигаются и пресловутыми «Liaisons dangereuses»; но ему показалось этого мало. Разоблачив перед нами клубнику, он предпринял труд познакомить нас с клубникою, так сказать, трансценденталыною.

Из области афинских вечеров молодую вдову освобождает некто Степа, товарищ ее детства. Он приезжает из-за границы и узнает о подвигах своей подруги от горничной Ариши, которая не раз видела свою барыню возвращающеюся с вечеров в пьяном виде. Автор рекомендует читателю этого Степу, как человека, от рождения осужденного сидеть между двумя стульями. Он не принадлежит ни к поколению сороковых годов, ни к поколению шестидесятых годов. Он сам по себе, одною собственной персоной составляет целое поколение, которое можно безошибочно назвать *поколением азов,* так как он ни о чем так охотно не говорит, как о необходимости самовозрождения посредством *азов.* Чтоб утвердить в этой мысли свою приятельницу, он подвергает ее опыту довольно интересному. Оказывается, что в Петербурге сущест-

вует какое-то общество, которое имеет целью нравственное возрождение так называемых жертв общественного темперамента. Легкомысленные афинянки, составляющие это общество, убеждены, что этого «возрождения» можно достигнуть, нимало не касаясь общественного строя, одним пересказыванием своими словами некоторых более или менее интересных азбучных истин. Туда-то именно и направляет героиню романа новый человек Степа.

Начинается бездонное дилетантское пустословие с какою-то Лизаветой Петровной, специалисткой по части падших женщин, о силе любви, о чудесах, ею производимых, о том, что все люди братья и что дух погибнуть не может. Разговоры перемежаются посещениями приютов терпимости, в которых Лизавета Петровна совершает свои подвиги и которые, по этому случаю, описываются довольно обстоятельно. Каким образом эта несчастная женщина может надеяться достигнуть каких-нибудь результатов от своей пустопорожней болтовни — понять совершенно невозможно. Она не только ничего не *делает* путного в продолжение всей третьей части, но даже и говорит только пустяки, одни пустяки. Любая из «падших» заткнет ее за пояс здравостью своего смысла, любая из них может ей доказать всю бессмысленность и ненужность ее праздно-мистического переливания из пустого в порожнее,— но она не остановится перед этим, она все будет продолжать растравлять своим наглым прикосновением чужие, и без того наболевшие, раны, все будет приставать со своим: «Брось! я тебя поцелую за это!»

Наконец даже молодая вдова поняла, в какой степени это занятие нагло, безобразно и нестерпимо.

Мы не станем утверждать, что этот опыт вторжения героини романа в область нравственного возрождения падших женщин допущен автором в видах ознакомления публики с обычаями и обстановкою домов терпимости (описание одного из них, аристократического, сделано очень удачно); допустим даже, что он задуман не автором, а собственно Степою с коварною целью доставить торжество теории азов. Что же это за теория такая?

Разъяснение ее принимает на себя сам представитель и изобретатель ее, Степа. Будучи поставлен вопросом своей подруги: кто он такой и не нигилист ли? — в необходимость объясниться, он вполне разоблачает перед нею свои верования. И он был литератором; и он обличал и будил общество; и он писал по печатному листу в день. И вдруг, после довольно продолжительной будительной деятельности, убедился в одном: что он знает только то, что он ничего не знает. Мало

того: он убедился даже, что не умеет *целесообразно* говорить, что он уподобляется в этом отношении тому злосчастному французскому актеру, который, имея сказать в пьесе всего одну фразу: «c'en est fait, il est mort»[1], произнес: «c'en est mort, il est fait»[2]. Тогда им овладела лихорадочная страсть к грамматике и арифметике, для удовлетворения которой он отправился за границу и там устроил для себя свое собственное, так сказать внутреннее, училище *азов*. В минуту появления его на сцену он, с трудом перетащившись во второй класс этого училища, прибыл в отечество с тем, чтобы, «еще поучившись, поездивши и поживши с разным людом, учить детей говорить».

Мы знаем, что есть грамматические исследования очень почтенные, и вовсе не имеем намерения издеваться над тем, что человек, по каким бы то ни было причинам, решился посвятить себя этого рода специальности. Мы не понимаем только одного: каким образом занятие грамматикой и арифметикой может сделаться типическою чертою какого бы то ни было поколения? Между тем Степа утверждает, что это так и что грамматическая лихорадка может не только характеризовать деятельность целого поколения, но, по временам, делается до того сильною, что оказывает решительное влияние даже на такие жизненные вопросы, как, например, отношение мужчины к женщине.

Как ни воспламенила молодую вдову теория Степиных азов, все-таки теория Домбровича о срывании цветов удовольствия не настолько уже утратила своей силы, чтобы оставить ее спокойною зрительницей самодовольно развивающейся перед нею грамматической лихорадки. И вот она начинает слегка экзаменовать познания своего друга по части клубнички.

Оказывается, что он в этом деле чистейший профан и что грамматика убила в нем всякую возможность мечтать о любовных радостях. «Где мне мечтать о любовных радостях и о семейном довольстве, когда мне еще *несколько лет* (?) надо пошататься по белу свету, а потом сделать *всех* детей моими собственными,— говорит этот новый Зенон *азов* и потом прибавляет: — Наша беда, по части любви, вышла от того, что мы очутились между двумя поколениями: люди сороковых годов были специалисты по части клубнички; люди шестидесятых годов будут делать дело и *вовремя* соединять его с личным довольством». «Бедный Степа! что же тебе остается по части амуров?» — восклицает легкомысленная вдова, не вы-

---

[1] все кончено, он умер.
[2] Перестановка слов, обессмысливающая фразу.

держивая тяжести *азов*. «Что же остается, Машенька? По части греховных побуждений остается то, что и каждый холостой человек находит»...

Эта грамматическая непреклонность, это скромное сознание в неумении предаваться *вовремя* «любовным радостям» приводят нас в умиление. Это геркулесовы столпы той теории азов, для изучения которой, по мнению Степы, необходимо посвятить, по крайней мере, сорок лет человеческой жизни. «Но ведь это гадко, Степа?» — замечает молодая вдова. «Некрасиво, мой друг!» — возражает ее собеседник и вдруг, по какому-то вдохновению, предлагает ей выбрать, не касаясь его, другой объект, у которого «есть чем любить».— «Дурак!» — отвечает ему героиня романа.

Наконец, в лице Кроткова, является этот объект, у которого есть чем любить. Это совсем уже *новый* человек и сидит на своем стуле твердо, то есть смотрит в глаза прямо и провещевает самые обыденные речи, как будто бы в них заключался глубочайший смысл. Он говорит только то, что́ нужно сказать, не любит слова «принцип» и остроумно издевается над «эмансипацией женщин»; он не прочь и привязаться к женщине, но не просто привязаться, а тогда, когда эта привязанность *нужна*. И вот этот осколок египетского сфинкса учащает свои визиты к молодой вдове, волнует ее воображение до того, что она задыхается, и, наконец, начинает даже сам чувствовать, как его сфинксово существо начинает смягчаться, смягчаться... Но тут — о, ужас! — героиня романа убеждается, что Домбрович и афинские вечера сделали свое разрушительное дело слишком успешно и что ей более нечем любить! Убедившись в этом, она отравляется, заканчивая свой журнал словами Гамлета:

T'is a consummation
Devoutly to be wished! [1]

Вот краткое, но правдивое изложение содержания нового романа г. Боборыкина. Мы сделали только одну, и притом небольшую, выписку из него и должны сознаться, что ограничились этим единственно по чувству приличия. Удостоверяем, впрочем, читателя, что в романе есть очень много таких мест, которые, специальностью своего содержания, не только не уступают, но далеко превосходят приведенное нами описание падения этой, так сказать, от рождения павшей героини клубницизма.

Попытка узаконить в нашей литературе элемент «срывания цветов удовольствия» не нова и ведет свое начало от Баркова.

[1] Вот исход многожеланный!

Сочинения этого достойного писателя, впрочем, для публики неизвестны, хотя мы положительно не понимаем, какое может быть препятствие к обнародованию их после обнародования «Жертвы вечерней». Затем, традиция плотского цинизма хотя и не прерывалась, но проявлениям ее все-таки не удалось сделаться общим достоянием по причине их крайней наготы. В последнее время она начинает мало-помалу вторгаться в литературу под видом учения о милой безделице, и мы можем указать на гг. Стебницкого и Авенариуса, как на ревностнейших пропагандистов этого учения. За ними последовал г. Боборыкин и сразу подарил публику таким трактатом, с которым ничего доселе написанное по этой части сравниться не может.

Нам возразят, быть может, что г. Боборыкин не может быть сравнен ни с г. Стебницким, ни с г. Авенариусом; что эти последние изображали «срывание цветов удовольствия» совершенно наивно, потому что им по сердцу был самый этот сюжет; что г. Боборыкин, напротив того, хочет быть моралистом, что он прямо указывает на ту бездну, к которой может вести слишком радикальное поклонение безделице, и что, наконец, он в то же время показывает нам и оборотную сторону медали, а именно в лице Степы предъявляет образец ненависти к клубничке, а в лице Кроткова — образец ее умеренного и своевременного употребления. Мы, однако же, не можем согласиться с этими доводами по той очень простой и совершенно законной причине, что как Степа, так и Кротков до такой степени лишены всякой жизненности и занимают в романе относительно столь ничтожное место, что представляются нам не более как авторскими приемами, употребленными с целью, чтобы яснее показать, в каком отношении может быть учение о безделице, в первом случае — к непреклонному пропагандисту теории азов, во втором — к простому осколку египетского обелиска. Действительно живыми лицами можно назвать только героиню романа и Домбровича. Только они одни знают наверное, чего хотят, только они одни не допускают сомнений насчет своих намерений и действий. Как ни старается автор уверить читателя в нравственном возрождении своей героини, кончившемся ее трагическою смертью,— читатель даже в этой смерти не может видеть ничего другого, кроме крайнего выражения учения о срывании цветов удовольствия. Ведь находили же фанатики разных сект удовольствие в том, что сожигали себя; отчего же подобного явления не допустить и для фанатиков секты клубницизма. Это сектаторское «вкладце уязви мя» — и более ничего.

Повторяем, автор задался целью очень непохвальною: он хотел перенести на русскую почву «Liaisons dangereuses» и

возбудить в нашей публике вкус к подобным произведениям. На этот гнуснейший из всех современных общественных хламов он взглянул даже не как на материал, могущий, в связи с другими материалами, служить для характеристики общества в данный момент; нет, он увидел в нем нечто достолюбезное, обладающее способностью привлекать и притягивать своим собственным содержанием. Быть может, попытка его и будет иметь успех, но, во всяком случае, этот успех можно и должно назвать прискорбным.

Еще одно слово: г. Боборыкин относит своего литератора Домбровича к числу эстетиков сороковых годов. Мы не возражаем против того, что в сороковых годах могли быть и даже были эстетики-литераторы вроде Домбровича, но утверждаем, что в то время не могли появиться, а ежели бы даже и могли, то не имели бы успеха, произведения, подобные «Жертве вечерней». Ведь это тоже своего рода успех, заставляющий задуматься. Не идут ли в нашем отечестве эстетические наклонности, подобные изображенным г. Боборыкиным, все более и более развиваясь? Можно ли назвать в настоящее время человека, подобного Домбровичу, исключением, как это было в сороковых годах, и не есть ли это, напротив того, в нашей богатой досужеством и эстетически цивилизованной среде явление до того уже обыденное, что оно нимало даже не считает нужным маскировать свои эстетические поползновения?

ЛИТЕРАТУРА НА ОБЕДЕ

Не все коту масленица.

Русская пословица

Я знаю тебя, милый мой россиянин, от первых ногтей юности твоей, знаю все твои входы и исходы, и для меня ясно нутро твое. Напрасно ты хочешь отвести мне глаза, обморочить меня разными заморскими убранствами, которые нахватал ты из заморских книг и даже просто из газет. Когда ты прикидываешься передо мною ученым, умирающим над наукою, цитируешь целый ворох разных европейских светил науки, я знаю, что твоя ученость все-таки не восходит выше учености покойного «Свистка». Когда ты разыгрываешь роль государственного человека, политика, притворяешься изучившим в тонкости положение всей Европы, я твердо убежден, что твоя политическая мудрость идет никак не далее передовых статей «Московских ведомостей» и «Русского инвалида». Высказываешь ли ты мне мрачный взгляд на мир, являешься ли самым ярым материалистом и социалистом, для меня это — ясный знак, что твоя карьера доселе была безуспешна и что тебе нигде не удалось даже прихватить взаймы порядочный куш денег; когда ты начинаешь говорить о необходимости веры, о святости собственности, для меня делается очевидным, что ты уже приобрел хорошую обстановку и денег давать никому не намерен. Я не верю даже в искренность твоего космополитизма и патриотизма, ибо иначе отчего бы в целой России не было ни одного космополита в штаб-офицерских чинах? Наконец, мне просто смешно, когда ты начинаешь либеральничать необузданно и беспардонно, ничего определенно не желая и ничего определенно не отвергая, нося и на языке и в сердце вечную гражданскую скорбь о необходимости улучшений и на деле противодействуя всеми возможными способами всяким улучшениям и таким образом являясь каким-то нескладным протестом против самого себя, ходячим возражением против разумности человеческой природы. Я знаю, что стоит только сесть тебе за обед, выпить много два-три тоста, и спадут с тебя все лохмотья либе-

рализма, и явишься ты истинным, неподдельным россиянином, каким ты есть и каким должен быть по законам непреложной судьбы.

История России, в особенности новейшей, есть история ее обедов, и напрасно тот будет стараться разгадать и понять хитрого россиянина, непрестанно меняющегося, подобно хамелеону, кто не будет наблюдать за ним во время торжественных обедов.

С этою целью мы решились занести для будущего историка на страницы нашего журнала историю смоленского торжественного обеда по случаю открытия Орловско-Витебской железной дороги.

В России немного можно насчитать городов, которые могут поспорить с Смоленском своею знаменитостью. Смоленск существовал, когда еще не было и в помине Русского государства. Константин Багрянородный знает его уже цветущим и богатым. В XII веке Смоленск уже блистал классическим образованием, изучая греческий и латинский языки. Когда основалась Москва, Смоленск сделался, по выражению наших предков, *дорогим ожерельем* России, которым, впрочем, не менее Москвы дорожила и Литва. Смоленск поочередно переходил то к той, то к другой и катался как сыр в масле. Перейдет к Литве — Литва его награждает вольностями, правами и льготами; перейдет к Москве — Москва хотя по обычаю и искоса посматривает на эти вольности и права, но подтверждает их и холит своего любимца. Надобно отдать честь Смоленску, что он всегда горел патриотическим жаром к тому отечеству, в котором находился; потому с усердием бил Литву и ляхов, когда был в пределах Москвы; и с таким же усердием бил русских, когда попадался к Литве. Поэтому, когда Смоленск окончательно присоединен был к России, он сделался правою рукою Москвы по патриотизму. Он разверзал длань свою на всякого врага, покушавшегося на Москву, и сжимал ее в кулак, чтобы проводить его, когда его начинала гнать Москва.

Г-н Скарятин, вблизи видевший этот патриотический кулак, не без основания догадывается, что почтенные строители Орловско-Витебской железной дороги, генерал А. К. Казаков и П. И. Губонин, для торжества открытия дороги выбрали Смоленск не по чему другому, как по глубине и древности его патриотических чувств.

Знаменитости избранного для торжества места, само собою разумеется, должна была соответствовать и знаменитость самого торжества. И действительно, даже русские летописи железных дорог доселе не заносили на свои страницы ничего подобного. Мы говорим: даже русские; ибо иностранные, напри-

мер немецкие, открытия железных дорог обходятся не дороже десяти талеров; из этой суммы восемь талеров употребляются на пиво и два талера на бутерброды,— других *развлечений* для гостей не полагается. Празднество открытия Орловско-Витебской дороги стоило 50 000 рублей серебром. Для приготовления обеда выписан был из Петербурга в Смоленск Дюссо, и обед с винами, кроме, впрочем, шампанского, обошелся в 6000 рублей. Но этот обед нисколько не помешал гостям, возвращаясь из Смоленска в Петербург в числе 70 человек, прообедать снова на псковской станции 2800 рублей. По счету содержателя псковского буфета, 70 человек смоленских гостей выпили в четверть часа на псковской станции 80 бутылок шампанского, 50 бутылок лафиту, 50 бутылок сотерна, 50 бутылок хереса, 50 бутылок мадеры, 200 бутылок пива, всего 480 бутылок, то есть каждый гость в четверть часа выпил почти семь бутылок. И хозяева смоленского празднества беспрекословно заплатили этот счет??!! Не могу не благоговеть перед широкой русской натурой, равно великой и в уменье сколотить деньгу на шарамышку, и в уменье разбросать ее на ветер, хотя внутренно не могу не сочувствовать великому скряжничеству великого русского царя, который целую жизнь не мог забыть, что рижские немцы взяли с него два червонца за десяток яиц. Для увековечения смоленского торжества в потомстве хозяева праздника выбили для всех почетных гостей своих жетоны, из которых каждый стоил 50 рублей серебром, а три жетона, назначенные дамам и украшенные бриллиантами, стоили по нескольку сот.

По сему краткому очерку читатель может понять, что подобное торжество не могло состояться без присутствия в нем литературы. Так взглянули на это дело и почтенные устроители торжества и просили разные редакции украсить их празднество. Само собою разумеется, что редакции не имели никаких причин отказать устроителям празднества в таком законном их желании.

И вот четверо от четырех газет, а именно: Скарятин от «Вести», Марков от «Инвалида», Панютин от «Голоса», Незнакомец от «Петербургских ведомостей» отправились в Смоленск.

Посадили их в вагон с другими почетными гостями и повезли... По-видимому, ничего, как и быть следует. Но уже дорогою они начали примечать, что генерал Казаков, сопровождавший гостей, ценит их не особенно высоко. Так, по крайней мере, понял свое и других положение Незнакомец, но нисколько этим не огорчился; всю дорогу он, видимо, благодушествовал, освежая себя впечатлениями природы, а в Пскове даже древностей не забыл. Невнимание же к себе и другим генерала Казакова

объяснил себе тем, что генерал, даже по самому свойству своего чина, не мог несколько не игнорировать литературы, чиновностию, как известно, не блистающей.

Но вот прибыли наконец в Смоленск. От станции железной дороги до дома дворянского собрания, где приготовлен был обед, расстояния версты четыре. Представители журналов стали искать приготовленного для них экипажа, так как для всех званых гостей экипажи были приготовлены заранее предусмотрительными хозяевами; но экипажа для них не оказалось. Они было хотели принанять на свои деньги, но все извозчики были уже заранее наняты для гостей.

Таким образом, и Скарятин от «Вести», и Марков от «Инвалида», и Панютин от «Голоса», и Незнакомец от «Петербургских» должны были отправиться на празднество пехтурой. Пройти расстояние в четыре версты, конечно, не бог весть какая вещь, тем более что петербургская литература привыкла делать пехтурой и не такие расстояния.

Но неприятно было то, что хозяева в этом случае позабыли позаботиться о своих литературных гостях. Этого уже нельзя было приписать одному генералу Казакову. Тут оказывалось уже невнимание общее. После этого можно было всего опасаться, можно было опасаться даже и не пообедать. Все это должно было приехавшую в Смоленск литературу навести на грустные мысли относительно ее значения в общем и целом. И так как несчастья вообще скоро соединяют людей, то нет ничего удивительного, что хотя она состояла и из весьма разнородных элементов, решилась на этот раз быть, как выражались наши предки, в *одиначестве,* действовать за *один.*

Пришедши в залу дворянского собрания, литература поместилась совокупно за одним из пяти боковых столов Более почетные гости сидели за столом поперечным.

Начался обед; затем пошли тосты; с тостами, по русскому обычаю, полилась и речь.

Возник вопрос: говорить ли литературе или молчать?

Не странно ли молчать представителям слова? сказали в сердце своем Скарятин от «Вести», Марков от «Инвалида», Панютин от «Голоса» и Незнакомец от «Петербургских» и порешили: «говорить».

Возник второй вопрос: говорить с тенденциозностью или без тенденциозности?

И сказали себе в сердце своем: Марков от «Инвалида», Панютин от «Голоса», Незнакомец от «Петербургских»: «если скажем: говорить с тенденциозностию, упечет нас Скарятин; скажем лучше: без тенденциозности», и сказали: без тенденциозности. И сказал Скарятин: «да будет так».

И пошел Скарятин и взял позволение на слово, и встал, чтобы говорить. Но вот Скарятин ростом мал, с заднего стола, где сидела литература, никому не виден, и раздались голоса: «*На стул, на стул*», и Скарятин взлез на стул. «По собранию, говорит Незнакомец, прошел какой-то гул, не то — в знак изумления, не то — в знак одобрения».

И Марков от «Инвалида», и Панютин от «Голоса», и Незнакомец от «Петербургских» находились в претрепетном ожидании последующих событий.

Вероятно, еще более в беспокойном положении был Скарятин. Потому он решился затаить на этот раз в душе своей свои поворотные убеждения и высказывать одни только *бесповоротные.*

Смысл высказанного Скарятиным бесповоротного убеждения состоял в том, что через строящиеся ныне железные дороги русские силы и русский дух напрут на окрайны и враждебный дух окрайн не устоит против этого напора.

Услышав это, сказали себе в сердце своем: Марков от «Инвалида», Панютин от «Голоса», Незнакомец от «Петербургских»: «Нет, не упечет нас Скарятин», и стали от радости рукоплескать и кричать «браво». В это время вблизи их раздалось зловещее: «Довольно». Но крик был слабый и робкий. Полагая, что это крик каких-нибудь ничтожных провинциальных зоилов,— и Марков от «Инвалида», и Панютин от «Голоса», и Незнакомец от «Петербургских» ответили на него шиканьем и в то же время снова прокричали Скарятину «браво». Но крики «довольно» стали усиливаться, превратились в шум. Скарятин возвысил было голос, чтобы перекричать... но это было невозможно... Патриоты, видимо, усилились. Скарятин замолк,— но шум не прекращался, и только заигравшая музыка положила ему конец. Скарятин не знал, что́ ему делать — оставаться ли на стуле или сойти. Несколько мгновений, говорит Незнакомец, он «все еще оставался здесь совершенно смущенный и расстроенный».

Незнакомец не рассказывает, какие чувства наполняли в это время его самого, и Маркова от «Инвалида», и Панютина от «Голоса». Но, видимо, становилось небезопасно для всех. Раз взволнованное патриотическое чувство трудно было ввести в пределы, тем более что тосты продолжались. А это патриотическое чувство уже и прежде до того было взволновано, что совершенно не поняло из речи Скарятина, в чем он убежден *бесповоротно.* Ему почудилось, что Скарятин считает «окрайной» Смоленск и думает, что на него надо напирать русским духом.

Когда кончился обед, образовались кружки, которые на-

чали рассуждать о происшедшем. В разных местах послышались голоса, что бывшего «довольно» для Скарятина не довольно. В кружках слышалось злополучное «окрайна». И хотя некоторым удалось кой-где убедить шумящих, что речь Скарятина не понята, что бесповоротное убеждение его совсем не то, но никто не хотел верить в искренность этого убеждения. Припомнили его прошедшую деятельность; припомнили, что «он крепостник, что он утверждал солидарность русского общества с Каракозовым, что он проповедовал гибельность реформ». Следствием всех этих дебатов было то, что какой-то голос прокричал: «A bas, Скарятин!» Тогда: «A bas, Скарятин! долой, вон Скарятина!» раздается по всей зале. В это время одни из смолян бегут из залы, другие продолжают кричать, но уже с сверкающими глазами. Минута становится критическая.

Один господь только может спасать — в подобные минуты. А Скарятин все думает пронять патриотов красноречием. Он бросается к стулу и жестом требует себе позволения говорить. Но «он стоял, говорит Незнакомец, поникнув головой, бледный, убитый, готовый разрыдаться». Это умиротворило патриотов, далее они не дерзали.

Этим и окончилась история великого смоленского скандала.

Передадим теперь те впечатления, которые произвел этот скандал на разные органы нашей прессы.

Первое известие о скандале, бывшем на смоленском торжестве, сообщил сам Скарятин в своей газете «Весть». Замечательно, что он, несмотря на то что играл роль жертвы, отнесся к происшествию самым благодушным образом. Передав своим читателям сведения о том, как прервана была его речь криками «довольно», и сообщив самую речь, Скарятин пускается в патетическое восхваление древних патриотических подвигов Смоленска и рассыпается в благодарности устроителям праздника за то, что они устроили торжество в таком знаменитом своим патриотизмом городе.

«Забудем ли Смоленск,— так говорит Скарятин в заключение своего изображения доблестей Смоленска,— этот многострадальный и славный город летописи русской? Не нам пренебрегать славнейшими именами русской истории. Забудем ли нашу славу, станем ли прятать ее? Напротив, гордо и славно понесем ее на радость друзьям, на страх врагам!

Итак, избранием Смоленска хозяева праздника заслужили искреннюю признательность своих гостей, затронув в их русских сердцах одну из лучших струн летописи нашей славной, великой, единой Руси».

Иной зоил, прочитав статью Скарятина о смоленском тор-

жестве и сличив ее с действительным ходом бывших там событий, может подумать, что Скарятин, обжегшись на своих бесповоротных убеждениях на смоленском обеде, поет теперь Лазаря перед смоленским дворянством. Мы этого не скажем. Мы, напротив, более склонны думать, что, смущенный на обеде в самом начале своей речи, потом окончательно сконфуженный, расстроенный, Скарятин не вполне понял *суть* случившегося с ним, а многое, может быть, не приметил или запамятовал... Да и как было не запамятовать. Дело было жаркое. Легко было запамятовать, тем более что, по словам Незнакомца, Скарятин, отправившись из дворянского собрания немедленно после скандала в вагон, упал с платформы и ушиб себе ногу так сильно, что всю дорогу принужден был лежать. Нужен очень сильный организм, чтобы, перенесши массу самых сильных впечатлений, потрясений, ощущений самого неприятного свойства и сверх того страшную боль физическую, удержать все в памяти в стройном порядке и последовательности, как то было в действительности. Потому нет ничего удивительного, что Скарятин забыл, как ему кричали: à bas, вон, долой Скарятина,— и не сказал ничего об этом в своей первой статье, поэтому же крики: *довольно* он понял совсем иначе, чем Незнакомец. По той же причине, Скарятин был в заблуждении, как мы видели уже, и в последнем действии скандала, когда сверкающих очами смолян хотел остановить потоком своего красноречия.

В другом положении, чем Скарятин, находился на смоленском празднестве Незнакомец. Психическое состояние его было, может быть, и не вполне безмятежно во время скандала, но, по крайней мере, настолько спокойно и здраво, что он мог все видеть и все понять. Поэтому, рассматривая все дело в целом, он не относится так благодушно к смолянам. Правда, и он, как поэтическая душа, предается некоторым словоизвержениям насчет древних доблестей смолян, но это служит ему только точкою отправления для того, чтобы прочитать строжайшую проповедь тем современным смолянам, поступок которых с Скарятиным он ничем не отличает от известного поступка пермских мужиков в прошедшем году с Сен-Лораном.

Еще жестче к смоленскому происшествию, чем Незнакомец, отнесся редактор «Нового времени» Юматов. «Смоленское происшествие поставило теперь, говорит он, весьма рельефно вопрос о том, что журналисты в России не могут на патриотических обедах считать себя вне опасности. В перспективе им грозит даже публичное избиение; и если настроение людей известной фракции не остынет, то можно опасаться, что журналисты сделаются на обедах таким же редким зверем, как волк

в Англии, и так же немы, как рыбы... Есть люди, в присутствии которых нужен для поддержания порядка не только обычный президентский колокольчик, но не будет лишнею и кавалерийская нагайка, как оружие обороны. Это те лица, которые на умеренное слово отвечают призывом к физической расправе. Кавалергардский оркестр на роскошном банкете вещь хорошая, но несколько здоровых вахмистров могут быть еще нужнее для предупреждения некоторых печальных недоразумений».

Так отнеслась к смоленскому происшествию петербургская пресса. Московская взглянула на дело совершенно иначе.

По смыслу двух статей, написанных по поводу смоленского происшествия «Московскими ведомостями», надобно удивляться не тому, что такое происшествие случилось с Скарятиным, а надобно бы было удивляться и, пожалуй, сожалеть о том, если бы оно не случилось Ибо ведь кто такой Скарятин? Человек, который основал особый орган для того, чтобы служить враждебным России силам. Кто тормозит русскую силу в польском деле, содействует и радуется успехам его, нападает на патриотов, страдающих от интриг поляков? — Все это делает Скарятин. И пускай бы он действовал открыто. Нет, он старается обморочить общество, представляется говорящим от имени всего русского дворянства, поддерживающим будто бы интересы последнего. Не должно ли было или, лучше сказать, могло ли дворянское общество, бывшее на смоленском обеде, общество, представлявшее собою лучшую русскую интеллигенцию, не показать Скарятину, что у него нет ничего общего ни с русским обществом, ни с русским дворянством, от имени и во имя которых он проповедует? Скарятин не мог не предвидеть этого, и, начав говорить, он сам этим обрек себя на неизбежный скандал.

Так или почти так рассуждают «Московские ведомости», и рассуждают, по нашему мнению, весьма здраво и основательно. Но, становясь вполне на их точку зрения, мы не можем, однако ж, не сделать некоторого упрека цвету русской интеллигенции, присутствовавшему на смоленском торжестве.

Нельзя не заметить, что они действовали не довольно энергически, можно сказать, даже вяло, даже апатично. Как! Перед ними стоял человек, тормозящий русское дело, служащий польским интересам, одним словом, изменник отечеству, и ограничиться только тем, что прокричать ему только à bas, долой, вон! И больше ничего??!! Пощадите, бога ради! Да где ж тут патриотизм? Разве так должен патриот поступать с изменниками, и особенно с изменниками, которые хотят замаскировать себя, одурачить все общество, которые являются пред

глаза всего общества в качестве людей добропорядочных и начинают говорить патриотические речи? И что ж, ввиду такого-то обстоятельства, смоленский патриотизм ограничился только тем, что остановил речь Скарятина и потом прокричал ему: à bas! вон! Но и это было сделано вяло, не единодушно! Крики: *довольно!* начались слабо, едва слышно, в одном только месте, и потом уже только были поддержаны значительным числом голосов. Но очевидно, что и такое легкое выражение патриотизма понравилось не всему обществу. Ибо после обеда начались дебаты о том, хорошо ли это сделано. Были люди, которые не одобряли кричавших и защищали Скарятина,— и их, как кажется, было не мало. Потому что, когда наступила решительная минута, когда некоторые крайние порешили кричать: à bas! вон! тогда зала, по свидетельству Незнакомца, значительно опустела. Кричащих и сверкающих глазами осталось немного.

Такое не единодушное, вялое действие смолян сильно, по нашему мнению, повредило делу смоленского патриотизма. Ведь вот уже и теперь Скарятин говорит, что *довольно* кричали не все, другие, напротив, требовали продолжения речи, и что музыка прервала речь его вовсе не по приказанию распорядителя праздника, который удостоверил Скарятина лично, что он этого приказания не давал. Скарятин думает, что музыке велел играть какой-нибудь из врагов его, очевидно, потому, что не надеялся с своими единомышленниками перекричать тех, которые требовали продолжения речи Скарятина. О криках: à bas! вон! Скарятин убежден, что они были произведены только несколькими единичными голосами. Таким образом, он скандал смоленский вовсе не принимает за выражение общественного мнения относительно него, а приписывает его небольшому, враждебному для него, кружку лиц. И, прибавим мы, имеет право на это, потому что скандал происходил так недружно, так робко, что его никак нельзя признать единодушным желанием всех. Юматов идет еще дальше. Он думает, что не только число участвовавших в скандале было очень незначительно, но что и родовитых дворян тут вовсе не было, а произвели скандал «какие-нибудь однодворцы и приказные, которых в прежнее время и не принимали даже в хорошем провинциальном кругу, но теперь, благодаря недавним успехам, которые сделало наше общество на пути равенства, упомянутые люди могли быть допущены на обед в виде опыта, но, однако ж, оказалось, что вводимое равенство еще преждевременно». «Русские ведомости» идут еще дальше Юматова. Они просто-напросто говорят, что скандал был произведен людьми пьяными. «Вино, разумеется,— говорят они,—лилось рекою, и по мере того, как опо-

рожнивались бутылки, умы собеседников воспалялись, язык развязывался и развязался, наконец, до того, что перелил границы приличия и самоуважения».

Вот какая образовалась путаница мнений об одном и том же предмете. Не правы ли мы, когда говорим, что смоленское общество поступило не довольно энергически или, что̀ то же, не довольно патриотически. Учини они скандал дружно, единодушно, с натиском, с одушевлением, даже с остервенением, да прихвати при этом и остальную литературу, бывшую на обеде, тогда для всех были бы ясны патриотические мысли и желания смолян, а их действия для всех были бы поучительны. Теперь же какая из всего скандала польза, когда даже люди пострадавшие, как Скарятин, нисколько им не вразумлены? Да и вразумить нет никакой возможности. Разве все бывшие на обеде дадут собственноручные подписки в том, что скандал учинен был с общего согласия? Да и такое единогласие нисколько не убедит теперь Скарятина. Он скажет, что они все увлечены к такому согласию толкованием «Московских ведомостей», что самый ход скандала доказывает совершенно противное.

А если для самого Скарятина скандал в том виде, как он был, не имеет вовсе никакого поучительного значения, то тем более такая полумера не может иметь ничего внушительного для литературы. Ведь порази смоляне Скарятина единодушно, да прихвати при этом и бывшую в Смоленске литературу,— тогда вся петербургская литература поняла бы, что в провинциях патриотизм не дремлет, что он всегда жив и действен для того, чтобы опочить на хребтах врагов. Тогда, конечно, ни один петербургский литератор не посмел бы показать носа в провинции, а не то что выставляться там на парадных обедах и говорить речи. Не потому, конечно, чтобы петербургские литераторы были не патриоты, а потому, что слово «патриот» в наше время очень скользкое и неопределенное и чуть ли еще не более имеет смыслов, чем сколько во время Гоголя имело слово: «добродетельный человек». За примерами ходить недалеко. Ведь вот в Петербурге нет ни одной редакции, которая бы не оскорбилась, если бы ее назвали непатриотической, и нет ни одного литератора, который бы не считал себя самым горячим патриотом. А между тем давно ли Москва сомневалась не только в патриотизме всей петербургской литературы вообще, а даже в патриотизме и самого Петербурга? А в провинции, быть может, и патриотизм самой Москвы находят еще подозрительным. Кто ж бы туда поехал, если бы смоляне энергически проявили свой патриотизм? А теперь... будет открываться опять где-нибудь железная дорога, опять празднество и опять поедут туда: и Марков от «Инвалида», и Панютин от «Голоса»,

и Незнакомец от «Петербургских», и Скарятин от «Вести». Скарятин?? — Может ли это быть? спросит изумленный читатель. Верно, не поедет? — То-то поедет. Он уже заявил об этом, почитая как бывший, так и всякий имеющий быть с ним скандал в будущем венцом своего общественного служения.

«Люди,— говорит он,— выступающие на публичную арену, должны быть заранее готовы на всякие случайности, которые зависят от состава и настроения духа публики, их слушающей. В странах, где публичность вошла в нравы и обычаи, общественные деятели, по очереди, не смущаясь, или терпят поражение, или вызывают рукоплескания. Общественный деятель, сегодня в таком-то городе вызвавший рукоплескания, завтра терпит поражение в другом городе». *(Гм! поражение! то есть как? Боксом?)*

«Одна из газет,— говорит он далее,— высказала мнение, что после случая в Смоленске представители печати сделаются таким же редким зверем на торжественных обедах, как волки в Англии, и немы, как рыбы. Мы, напротив, убеждены, что русское общественное мнение оценит по достоинству настоящий скандал и что редким зверем на этих обедах сделаются не представители свободного слова, а его ненавистники».

«Ну, что ж за беда, что поедут? Пусть едут»,— скажет читатель. Как что за беда? Ведь опять что-нибудь случится, опять прокричат «довольно» какому-нибудь литератору, прокричат, может быть, à bas, вон, а может быть, выведут и, наконец, мало ли что̀ может быть. Кто может предвидеть, до каких пределов может дойти разгоряченный патриотизм?

Ввиду всего этого редакции, отправляющие своих сотрудников на празднества, не могут оставаться безучастными к их положению.

Вот Юматов и теперь говорит, что на подобные торжества не худо бы отправлять вахмистров. Редакции менее воинственных воззрений позаботятся с своими сотрудниками, отправляющимися на празднества, посылать хоть не вахмистров, а здоровых молодцов на всякий непредвиденный случай. Наконец, самые бедные редакции, и те, вероятно, будут снабжать своих сотрудников хотя железными масками. Вот ведь к чему все это ведет.

Когда я написал эти слова, ко мне вошел мой хороший знакомый и полюбопытствовал узнать, что̀ я пишу. Я ему прочитал.

— Совсем вы не то пишете, что̀ следует,— сказал он мне, выслушав мою статью.— Вы забываете самое главное, именно то, что скандал у нас есть пока единственный двигатель мысли общественной и литературной.

— Как! и литературной даже? — спросил я с изумлением.

— А вы думали как? Разве может какая-нибудь серьезная публицистическая литература (о ней главным образом я говорю) быть в стране, где нет полной свободы слова, где некоторая свобода слова дана только для опыта, и то избранным. Все ваши газетные передовые статьи и рассуждения ни дать ни взять те *челобитья,* которые в древнее время писали государевы сироты. Сироту пооброчили не по силам и не по животам, у сироты землишку отняли, сироту воевода пообидел, ну — садится сирота и строчит. И каждый сирота излагает свою собственную нужду и горе, до общего ему нужды нет. Так и у вас в литературе каждый газетный сирота сидит и строчит свое собственное челобитье и только старается прикрыть его общественной нуждой. А какая общественная нужда, когда все газетчики поют обыкновенно врознь! Один вдруг ни с того ни с сего начинает говорить о смертной казни, когда другой в это же время пишет о необходимости новой кодификации свода законов, третий о замыслах Наполеона на Пруссию и т. д. Одним словом, нет того, чтобы статьи в газетах вызывались самым положением вещей, были ответом на вопросы дня, и на вопросы дня не второстепенные какие-нибудь, а фигурирующие, настоятельные, неотразимые. Ведь вот возьмем к примеру крестьянский вопрос. Он теперь основной вопрос всего нашего будущего развития, судьбы всех наших новых учреждений, всех наших чаяний и надежд в будущем. От такого или другого разрешения его зависит все наше будущее. А ведь что̀ мы о нем знаем? Положительно ничего. Кой-где встретится заметка в газетах, что тут-то, дескать, описаны крестьянские именья за недоимку в столько-то тысяч или что по какой-нибудь губернии недоимки возросли во столько-то сотен тысяч, и ничего больше. Прошу вас представить себе: так ли бы действовали газеты, если бы крестьянский вопрос разрешался, например, в Англии? Там, верно, в каждой деревне сидели бы газетные репортеры и изо дня в день давали бы известия о ходе дел.

Я было открыл рот, чтобы возразить на этот поток красноречия. Но мой знакомый остановил меня и снова продолжал:

— Знаю, знаю, что вы хотите сказать,— что наши газеты лишены совершенно возможности заниматься своим делом. Но мне до этого дела нет. Я только констатирую,— как любят у вас выражаться в литературе,— факт, говорю, что все ваши передовые статьи и рассуждения только сиротские хныканья, над которыми читающие умирают от скуки и которые сами сироты пишут только с горя. Потому-то я и говорю, что скандал пока почти единственный возбудитель и двигатель нашей

мысли, не только общественной, но и литературной. Когда случится скандал, разумеется, крупный, он немедленно делается фигурирующим явлением дня в литературе. Об нем начинают говорить, его начинают обсуждать все газеты. И как говорят, как обсуждают!.. Это уже не те сиротские челобитья, которые пишутся обыкновенно. Тут является и задор, и жар, и страсть, и всесторонняя оценка фактов, и оценка движущих все воззрений и принципов,— и все это, не говорю, прочитывается, а проглатывается публикою с жадностию, как никакая другая газетная дребедень. Думаете ли вы, что все это остается без сильного нравственного влияния на публику? Верьте, нет. По поводу смоленского скандала и всего, что написано о нем, оглянутся на себя не только смоляне, но и другие провинции, оглянется на свою деятельность сам Скарятин, оглянутся даже «Московские ведомости»,— и все более или менее умягчатся.

Я засмеялся.

— Верьте, умягчатся в нравах. Если бы это нужно было, я бы вам исторически мог доказать, что мы цивилизуемся посредством скандалов. Да и как вы хотите иначе в обществе, где только по поводу крупного скандала мысль приходит повсюду в пробуждение, начинает всматриваться во все окружающее, анализировать себя и других, понимать известные воззрения и принципы; одним словом, делаться чем-то действительно сознающим? Теперь спрашивается: кому причиняется вред скандалами? Одной только жертве скандала. Жертва эта бывает всегда невольная, очень нередко совершенно невинная, но зато всегда почти очистительная для общества, то есть посредством своего моментального страдания вносящая известную дозу света и добра в общественное сознание. В виду великого общественного блага, в виду поднятия уровня общественного сознания хоть на одну линию, стоит ли жалеть о такой ничтожной в сущности жертве? Если чем мне Скарятин понравился на смоленском скандале, то это тем — философским взглядом на свое отношение к подобного рода сюрпризам. Он справедливо говорит, что общественный деятель всегда должен быть к ним готов, что они в его служении неизбежны...

— Итак...— сказал я.

— Да здравствует всякий крупный скандал, очищающий нравственные миазмы в нашей общественной атмосфере! — заключил речь свою мой знакомый.

— Вы думаете, что чем крупнее, тем лучше, и даже...— спросил я.

— Гм! Ну, нет... я не тово... не в том смысле,— замялся мой знакомый.— Ведь не киргизские у нас, в самом деле, степи!!

УЛИЧНАЯ ФИЛОСОФИЯ*

(По поводу 6-й главы 5-й части романа «Обрыв»)

Если вам случается, читатель, слышать в так называемом обществе, с одной стороны, сетования на слишком широкие размеры, принимаемые жизнью, с другой стороны, разнообразные предположения по части укорочения ее — вам, конечно, могут подобные бессознательные толки в значительной степени опротиветь, показаться несносными, нелепыми, но ни в каком случае они не удивят и не приведут вас в негодование. Мало ли всякого люда шатается по улицам? Разве можно за всяким усмотреть, всякого переспорить, всякого вразумить? Да и вразумлять этот «шлющийся народ» — далеко не легкое дело; это значило бы с каждым проходящим начинать с азбуки, что̀, очевидно, может быть с успехом выполнено только приходскими училищами, которые с тою целью и устроены, чтобы в них обучались люди всякого рода «начаткам».

Поэтому, когда вы слышите на улице голословные изветы против якобы господствующего в современном поколении духа отрицания; когда вы слышите, что людей, ищущих отнестись к жизни сознательно, называют чуть-чуть не негодяями и разбойниками; когда вы видите людей малосмысленных, бессмысленно вращающих глазами по поводу таких вопросов, которых они даже изъяснить себе не могут,— вас может это встревожить только с точки зрения абстрактной и гуманной. Быть может, вы были убеждены, что сумма знаний, увеличиваясь беспрерывно, вместе с тем делается более и более доступною и для масс; что факты, которые в прежнее время стояли под защитою темных и голословных аксиом, отнюдь не перестали быть фактами оттого только, что они переменили эту ненадежную защиту на более прочную защиту разума,— и вот уличная толпа уверяет вас в противном. Она громко заявляет себя сосудом не в смысле накопления знаний, а в смысле накопления невежества; она протестует против вмешательства разума

в дела мира сего и становится на сторону бессознательности, случайности и произвола, как таких форм, в которых наиболее удобным образом укладывается человеческая жизнь. Это вас огорчает. Но, повторяем, ваше огорчение в этом случае имеет чисто абстрактный характер. Взятый в отдельности, ни один из членов невежественной толпы не может возбудить вашего негодования. Вам заранее известно, что все, что̀ там ни делается, в этой темной пучине, делается или по привычке, или по неведению. Вы знаете, что если эта уличная толпа, с которой вы на каждом шагу встречаетесь, и обучалась когда-то каким-то «начаткам», то она давно забыла их и даже это скудное знание заменила так называемою житейскою мудростью или, попросту, рутиною; в противном случае, она, конечно, не приходила бы в ужас от таких, например, истин, что гром есть явление объяснимое и что реки текут не к источникам, а к устьям не по щучьему велению, а по причинам, удовлетворительно раскрываемым законами природы.

Сказавши себе раз навсегда, что толпа обогащается знаниями медленно, вы легко можете установить свои отношения к ней. Что̀ бы она ни говорила, как бы ни шипела против пытливости человеческого разума — все это будет для вас делом посторонним, не требующим ни возражений, ни препирательств. Вы идете по улице и говорите себе: я иду тут, потому что мне нельзя сделать иначе; покорюсь этой необходимости и постараюсь сделать так, чтобы как можно меньше слышать, как можно меньше видеть, как можно меньше обонять. Заручившись таким благоразумным решением, вы, в согласность ему, принимаете меры, которые наиболее действительным образом могут оградить вас от неприятных ощущений. Вот все, к чему вы обязываетесь в видах самосохранения.

Но когда миросозерцание, совершенно понятное и уместное, если вы знакомитесь с ним в таком философском трактате, как, например, «голубиная книга», проникает в литературу; когда эта последняя, вместо того чтобы пробуждать общество, ищет усыпить его, вместо того чтобы сеять в нем мысль о необходимости сознательного отношения к жизни, еще более усиливает и без того сильные опасения тех откровений, которые влечет за собой беспристрастный анализ понятий, явлений и форм,— тогда, говорим мы, равнодушие становится делом гораздо менее легким. Литература и пропаганда — одно и то же. Как ни стара эта истина, однако ж она еще так мало вошла в сознание самой литературы, что повторить ее вовсе нелишнее. Всякая светлая мысль, брошенная литературою, всякая новая истина, добытая ею, находит слишком большое количество прозелитов, чтоб можно было не до-

рожить этим присущим ей качеством побеждать мрак и покорять людей, наиболее упорствующих в предрассудках Точно то же приблизительно должно сказать и о заблуждениях. Литература, пропагандирующая бессознательность и беспечальное житие на авось, конечно, не может иметь особенных шансов навсегда покорить мир своему влиянию, но она может значительно задержать дело прогресса и наносить ему по временам такие удары, которые будут тем чувствительнее, что представители прогресса все-таки люди и в этом качестве к перенесению ударов не всегда равнодушны.

В особенности важно, в смысле образовательном, влияние той отрасли литературы, которая называется беллетристикою, потому собственно, что эта отрасль есть наиболее доступная пониманию большинства. Конечно, беллетристика не дает читателю той полноты и уверенности знания, к которым приведет его наука путем доказательств, но влияние беллетристики все-таки может быть благотворным в том отношении, что она предрасполагает к исканию истины и заставляет читателя скептически отнестись к тем несознанным аксиомам, которыми он до того руководился. По нашему мнению, это заслуга немаловажная, и только совсем лишенные смысла люди могут называть беллетристику, как орудие пропаганды, литературою легкого поведения. Эти люди, очевидно, не понимают, что дело совсем не в названии и что можно, пожалуй, отыскать и науку легкого поведения, то есть ту самую, которая служит популяризированию первоначальных истин, без знакомства с которыми невозможно, однако ж, дальнейшее движение общества на поприще знания. И беллетристика, и наука в этом случае, конечно, заслуживают название «легких», но воспитательное их значение от того нисколько не умаляется.

Каждое произведение беллетристики, не хуже любого ученого трактата, выдает своего автора со всем его внутренним миром. Читая роман, повесть, сатиру, очерк, мы без труда можем определить не только миросозерцание автора, но и то, в какой степени он развит или невежествен. Ошибочно думают те, которые утверждают, что интерес беллетристического произведения исчерпывается одною художественною стороною, одною авторскою способностью живо схватывать признаки того или другого явления. Выбор явления в этом случае далеко не индифферентен, как равно не индифферентно и отношение к нему автора. Мы можем, пожалуй, назвать довольно отечественных беллетристов, которые, со стороны художественной ценности, наделены не меньше, например, Шпильгагена, но в то время, как последний представляет нам человека цельного, определившего свои отношения ко всем разнообраз-

ным стихиям, из которых в данную минуту слагается общественная и индивидуальная жизнь — первые рисуют ряд простых организмов, озабоченных исключительно потребностями питания и половых отправлений. Ясно, что область, которую захватывает Шпильгаген, обширнее, нежели та, которую берут русские талантливые беллетристы, что эта область заключает в себе большее разнообразие явлений, что она представляет повод для значительнейшего числа комбинаций, и что ежели мы примем во внимание только одно последнее условие, то есть разнообразие и большую сложность комбинаций, то и тут окажется, что *интерес* беллетристического произведения, при равных художественных силах, всегда пропорционален степени умственного развития автора.

Что касается до миросозерцания, то хотя, в большей части случаев, благодаря еще ходячему учению, будто художественная сила сама по себе индифферентна, оно не высказывается столь резко, как умственная развитость и неразвитость авторов, но так как ледяная кора, дававшая возможность скрывать человеческие симпатии и антипатии, с каждым днем, с каждым часом становится тоньше и тоньше, то и шансы утаивать их делаются все менее и менее доступными. Олимпическое равнодушие к текущим (или, как обыкновенно говорится, временным) интересам действительности понятно только тогда, когда интересы эти устраиваются сами собою, идут своим чередом, по раз заведенному порядку (так было у нас при крепостном праве); но когда действительность втягивает в себя человека усиленно, когда наступает сознание, что без нашего личного участия никто нашего дела не сделает, да и само собою оно ни под каким видом не устроится, тогда необходимость сознать себя гражданином, необходимость принимать участие в общем течении жизни, а следовательно, и иметь определенный взгляд на явления ее представляется настолько настоятельною, что едва ли кто-нибудь может уклониться от нее. И чем пристальнее художник вникает в эти текущие интересы, которые он не без презрительной улыбки именовал временными, тем более убеждается, что это суть интересы не менее важные, нежели те, которые он, переносясь в другую сферу, несколько напыщенно называл вечными, и что, в конечном анализе, не может существовать того мелкого человеческого интереса, который бы не был интересом вечным уже по тому одному, что он интерес человеческий.

Эта необходимость относиться к явлениям жизни под тем или иным углом зрения, укрепленная воспитанием и всею совокупностью жизненных условий, нимало не может служить стеснением для творческой деятельности художника, а напро-

тив того, открывает ей новые горизонты, оплодотворяет ее, дает ей смысл. Художник становится существом не только созерцающим, но и мыслящим, не только страдательно принимает своею грудью лучи жизни, но и резонирует их. Ничто в такой степени не возбуждает умственную деятельность, не заставляет открывать новые стороны предметов и явлений, как сознательные симпатии или антипатии. Без этой подстрекающей силы художественное воспроизведение действительности было бы только бесконечным повторением описания одних и тех же признаков. Нам могут, конечно, сказать, что в этих симпатиях и антипатиях именно и находится источник всевозможных преувеличений,— такое возражение, конечно, во многих случаях, не лишено будет правдивости, но в том-то и дело, что от этих преувеличений должно предостеречь писателя то чувство меры, то критическое отношение к жизненному материалу, в которых, собственно, и заключается мерило истинной силы художника. Как бы то ни было, однако ж, впадет ли художник в преувеличения или остережется от них, это обстоятельство может иметь влияние только на критическую оценку его произведения. В первом случае произведение будет менее совершенно, во втором — более. Но закон, в силу которого писатель-беллетрист не может уклониться от необходимости относиться к действительности под определенным углом зрения, остается непререкаемым, и избегнуть его имеет право лишь тот, кто в то же время заявляет право и на полное невнимание публики.

Переходя от этих общих соображений собственно к русской беллетристике, мы встречаем и в ней, за последнее время, несомненное стремление, во-первых, расширить ее содержание введением новых элементов, которые в прежней беллетристике не принимали никакого участия; во-вторых, поставить читателя на известную точку зрения, на которой стоят сами авторы и в которой, по мнению их, заключается благо. Отсюда — разделение героев на сочувственных и несочувственных автору не по одному тому, что они ленивы или прилежны, строптивы или добродушны, то есть не по одним их домашним качествам, но и по тому, что они имеют тот, а не другой образ мыслей. Отсюда — целые тирады, в которых авторы прямо от своего лица выражают известный взгляд на вещи, не стесняясь тем, что подобная догматика, особливо ежели содержание ее детское, может серьезно повредить художественной стороне их произведений.

По какому-то странному недоразумению, решившись знакомить публику с своим миросозерцанием, все известнейшие русские беллетристы высказали взгляды совершенно однород-

ные, все стали на сторону уличной морали, на сторону заповеданного, общепринятого и установившегося против сомневающегося, неудовлетворенного и ищущего. На первый взгляд это обстоятельство может казаться загадочным. Мы помним беллетристику сороковых и начала пятидесятых годов, помним, при каких тяжелых условиях и какие действительно неоценимые услуги оказывала она пробуждению общественной совести. Она была неизменною представительницей и распространительницей гуманных стремлений в русском обществе; она образовала поколение людей, взявших на себя впоследствии почин в одном из величайших дел нашего времени, в деле освобождения крепостных крестьян; имея во главе лучшего своего разъяснителя, Белинского, она косвенно или прямо, но всегда неутомимо, всегда не меньше того, сколько дозволяло механическое давление извне, преследовала ложь и зло во всех проявлениях. Нам скажут, что ее гуманность очень близко граничила с туманностью, что гуманность сама по себе есть нечто в высшей степени неопределенное, трудно формулируемое и потому не достигающее существенных результатов. Пусть так, но в то время уже и то было немаловажно, что находились люди, которые *всегда* стояли на стороне хорошего и всегда против дурного. Это постоянство действия заставляло предполагать, что то туманное и недосказанное, которое затемняло лучшие произведения тогдашней литературы, было не органическим ее недостатком, а только временною, недобровольно принятою формой, и что, принимая эту форму, представители литературной мысли тем не менее имеют вполне твердые основания пропагандировать те стремления, которые под нею скрываются, что они, пробуждая в публике желание добра, сами понимают это добро в полном его объеме.

На поверку вышло, однако ж, что проповедуемое добро есть добро только отвлеченное, что едва потребовало оно применения для себя, как уже оказалось вышедшим из начертанных для него границ, что литература охотно бралась воспитывать общество, но с тем, чтобы оно не делало из этого воспитания никаких практических приложений. Люди, которых жизнь была непрерывным сеяньем, побуждением и подстрекательством, отвернулись от самих себя и прокляли в других тот кумир, которому сами так исправно служили. Не правда ли, нужно, чтобы случилось что-нибудь очень прискорбное для объяснения подобного переворота и чтобы это прискорбное отразилось не только на личном существовании того или другого индивидуума, а чтобы существование целого общества было потрясено им.

Случилось, однако ж, не более того, что̀ периодически случается на нашей шаткой и мало подготовленной почве, а именно что люди, проводившие литературным путем в русское общество гуманные идеи и стремления, были, за некоторыми исключениями, люди неубежденные, люди, не органически воспитавшие в себе идею добра, а принявшие ее ради ее красивости, ради того прекраснодушия, которое она приносит с собой. В этом-то собственно и заключалась ошибка, в то время, впрочем, совершенно извинительная; ибо кто же мог помышлять в сороковых годах, что идея добра когда-нибудь сделается идеею воинствующей, не останавливающейся, что она заявит претензию исчерпать свое содержание во всех применениях и комбинациях, что ей когда-нибудь надоест служить только красивым обрывком, годным для украшения той или другой головы? Ужас при виде разрушения монополии проповеди добра был велик; но надо сказать правду, что он все-таки не столь сильно действовал на проповедников, как то обстоятельство, что проповедь все-таки продолжалась и в дальнейшем развитии, по-видимому, предположила себе совсем другие цели, нежели прежде, и, во всяком случае, не хотела ограничиться теми неопределенными порываниями, тем успокоивающим дилетантизмом, каким отличалась проповедь сороковых годов.

Но то, что̀, в сущности, было дорого только как украшение, естественно утеряло всякую ценность, как скоро перестало быть им. При прежнем характере проповеди нельзя было остаться не потому, чтобы недостаточность ее признана была самими проповедниками, а потому, что ее никто не слушал. На первых порах в пользу старых учителей устраивали торжества, на них возлагали надежды, видели в них своего рода Лафайетов и Дюпон де Лёров, которых имена как-то необходимо связываются со всяким движением в смысле добра. И это были действительно Лафайеты и Дюпон де Лёры, но только до того уже своеобразные, что они даже не могли понять чисто почетных свойств своих ролей. Вместо ожидаемой скромности в них прежде всего выступило вперед желание первенствовать и замыкать рты другим, желание, не оправдываемое ни законами справедливости, ни пониманием потребностей времени. Оказалось, что это совсем не Лафайеты, а просто мухи, от которых надлежало отмахиваться.

Мы не сомневаемся, что беллетристы сороковых годов не менее либеральны теперь, нежели в то для всех памятное время, когда они, вслед за Белинским и Грановским, занимались проповедью гуманных стремлений. Но дело в том, что эти стремления, оставаясь только стремлениями (чем, собст-

венно, и исчерпывалось содержание тогдашней либеральной проповеди), очевидно, не могли уже удовлетворять в такое время, когда сама жизнь ставила вопросы, требовавшие не одного сочувственного отношения к ним, но и действительного разрешения в либеральном смысле. У большинства деятелей сороковых годов на такой подвиг не оказалось ни подготовки, ни достаточной решимости. Метафизические основания, с которыми это большинство подходило к новому делу, совершенно не клеились с ним, ибо это дело не ограничивалось одними внешними покровами свободы, одной отвлеченной идеей ее, но проникало дальше, захватывало те практические и не всегда легко дающиеся условия, без овладения которыми свобода не может быть ни действительною, ни прочною. Для гуманистов сороковых годов казалось достаточным объявить во всеуслышание, что свобода есть благо, чтобы всяк и каждый удовлетворился уже одним тем, что провозглашена такая прекрасная истина; на деле, однако ж, выходило, что это, так сказать, только первая половина предложения, что самые лучшие истины мало питательны, ежели они не получили приложения к действительности и ежели, сверх того, это приложение не обеспечено против наплыва всяких зловредных случайностей. Нет ничего желательнее, например, чтоб все люди были добры, чтоб они не подкапывались друг под друга, не вредили друг другу, но какую сложную обстановку нужно придумать, чтобы достигнуть такого результата? Ясно, стало быть, что одно заявление прекраснейших принципов (и притом заявление, лишенное реальных оснований и делаемое с бесчисленным множеством оговорок) очень скоро должно обнаружить свою несостоятельность и показать себя тем, чем оно всегда было: громкою, щегольскою фразою, очень мало подвигающею дело общественного прогресса.

Повторяем: было время, когда, конечно, и просто щегольская фраза, проникнутая либеральным духом, уже сама по себе представляла благо и выражала борьбу; но теперь и арена действия, и самый характер борьбы изменились, а этого-то именно и не поняли деятели сороковых годов. Если б они были проницательны, то сознали бы, что им предстоит одно из двух: или примкнуть к дальнейшему движению мысли и начать разработывать жизненные вопросы на той реальной почве, на которую выводило их неумолимое время, или же оставаться в почетном положении Лафайетов и доживать свои дни под защитою прошлого. Думаем, по крайней мере, что так поступили бы те знаменитые покойники, которые некогда были их руководителями и которые, конечно, никогда не могли бы себе представить человеческую мысль остановив-

шеюся. Но большинство рассудило иначе; оно долго упорствовало остаться при своем распутьи, но под конец сила вещей одолела, то есть доказала, что время торжества фразы миновалось безвозвратно. Тогда оно предпочло лучше пойти назад, нежели примкнуть к движению, указывавшему вперед. Предпочло, быть может, не злостно, а просто вследствие недоразумения, вследствие того, что новое движение застало его врасплох, а пастыря доброго у него не было.

Вот мысли, на которые мы невольным образом были наведены чтением пятой части романа г. Гончарова «Обрыв». Тем не менее мы взялись за перо вовсе не с тем, чтобы дать читателю оценку нового произведения знаменитого нашего беллетриста — это будет выполнено в одной из ближайших книжек нашего журнала,— а желаем сказать здесь несколько слов только об одной составной части этого романа, и именно о философии почтенного автора.

Этой философии посвящена почти вся шестая глава пятой части «Обрыва». Г-н Гончаров до сих пор воздерживался от ясного заявления каких-либо политических или социальных взглядов на современность, и, сознаемся откровенно, мы видели в этом признак того такта, который всегда отличал этого писателя. В «Обломове» усматриваются скорее даже зачатки мысли, побуждающей вперед, зачатки, правда, очень неопределенные, но, во всяком случае, не заключающие в себе ничего противоречащего преданиям сороковых годов. Но теперь, очевидно, предания кончились; «Обломов» может служить для будущего историка русской литературы только уликой того, как непрочны бывают всякие начинания и как легко они сводятся на нет.

Чтобы понять всю суть философии г. Гончарова, необходимо хоть в общих чертах познакомить читателя с физиономией одного из действующих лиц его романа (одного только), Марка Волохова. Волохов есть представитель так называемого молодого поколения и тех идей, которые оно внесло или стремилось внести в нашу жизнь. Немного красок потратил г. Гончаров, чтобы нарисовать этого грубого мужчину, и мы имеем право думать, что это сделано не без умысла, потому что на палитре этого автора обыкновенно имеется большое обилие и разнообразие красок. Когда живописцы изображают Тайную вечерю, то почти всегда следующим образом рисуют Иуду: фигура темная, мрачная, не выражающая никакой внутренней борьбы, а одну тупую решимость. Благочестивые живописцы делают это, конечно, с расчетом: в их намерении — внушить омерзение к Иуде, а так как они знают, что всякий признак внутренней борьбы уже источает из себя на-

чало примирения, то и избегают всего, что̀ могло бы напомнить о человеческом образе при взгляде на эту отверженную фигуру. Точно так поступил и г. Гончаров; он сказал себе. Волохов — это пятно нашей современности, а потому и надлежит рисовать не человека, а только пятно. Согласно с этими соображениями он заставляет и действовать своего героя. Волохов входит в дома, в большинстве случаев, не иначе как в окошко и через забор; он спит в телеге, покрытой циновкою; он занимает деньги, предупреждая, что не отдаст их; он не признает бессрочной любви и довольствуется любовью срочною. Все это черты, которые, по мнению г. Гончарова, характеризуют нового человека, черты, впрочем, не новые, образцы которых мы видели у гг. Стебницкого и Авенариуса, не говоря уже о г. Писемском, который в «Взбаламученном море» представил такое образцовое руководство к познанию нигилистов, что даже при самом тщательном труде едва ли кому-нибудь придется сравниться с ним в деле собирания всякого рода нигилистических черт.

Почему г. Гончаров желает, чтоб герой его входил к своим знакомым не через дверь, а через окно, чтоб он спал в телеге, покрытой рогожею, почему он видит в этом признаки типа, и притом типа современного передового человека,— это одному богу известно. Российская империя никогда не оскудевала людьми, входившими в дома через окна, и не только выходившими, но даже вылетавшими тем же путем обратно, точно так же как не оскудевала и всякого рода киниками, спавшими и в телегах, и на погребицах, и под рогожами, и просто в натуральном виде. Нельзя отрицать, что это были типические черты довольно резкие, но никто никогда не думал приурочивать их к известной современности, никто никогда не связывал их с тем или другим образом мыслей. Скорее всего, на подобные выходки способны были люди, именно страдавшие отсутствием образа мыслей, нежели наоборот, как, например, всякого рода забулдыги, лихачи-кудрявичи, ухари и т. п., которыми и доднесь едва ли оскудела русская жизнь и которые в неистовствах и необычностях видят подвиг всей жизни.

Очень легко может статься, что г. Гончаров, заставляя Волохова лазить в окна и спать под циновкой, хотел иносказательно наметить следующие типические черты: во-первых, пренебрежение к формализму, предлагающему окольные пути (по мнению почтенного автора, вероятно, нелишние) там, где существуют пути прямые, и во-вторых, отсутствие потребности в самых первых удобствах жизни и преднамеренное хвастовство этим качеством. Если это так, то подобное иносказа-

ние может подать повод ко многим соображениям, вовсе не столь диким, как это представляется в новом романе. Что жизнь делается проще, что она мало-помалу освобождается от лишних формальностей — это выдумано не Волоховым, а засвидетельствовано историей развития человеческих обществ. Те наружные действия и поступки, которые налагаются на людей так называемыми светскими приличиями, видоизменяются и упрощаются совершенно пропорционально степени развития общественного. Имея первоначальною целью обуздывать дикого человека, они, с исчезновением этой дикости, теряют свой смысл, и ежели почему-либо еще удерживаются, то становятся лицемерием. Поэтому они с течением времени все-таки падают сами собою и уступают место приличию внутреннему, то есть такому образу действий, который подчиняется только критериуму разума и совести. Если в этом естественном ходе вещей и есть что-нибудь смешное, то это смешное представляет только форма, в которой г. Гончаров заставляет Волохова выразить свой протест против общественного формализма. А между тем автор изображает своего героя человеком умным (только ум у него не настоящий, а развращенный), и вдруг этот умный человек не понимает, что способ вхождения в чужие дома через окно не только не самый короткий и удобный, но, напротив того, самый длинный и неудобный. Во-первых, можно перепугать хозяев дома и даже от самого терпеливого получить неприятнейший репримапд; во-вторых, можно быть принятым за вора и, не успев еще привести в исполнение своего намерения осчастливить приятеля таким оригинальным способом вхождения в его квартиру, быть застигнутым хожалыми и сведенным в полицию. Все это влечет за собой такие проволочки времени, которые никак не свидетельствуют ни в пользу рассудительности Волохова, ни в пользу нетерпеливого его желания освободиться от окольных путей. И ежели подобная черта и может быть признана действительно типическою, то, во всяком случае, выражение для нее выбрано очень неудачное. Точно то же должно сказать и о спанье под циновкою. Основное правило всякого человека, сознающего свое достоинство,— это принимать свое положение в том виде, как оно есть, и не стыдиться его. Положения не всегда добровольны и не всегда заслуженны. Были времена, когда людей подымали на дыбу, заставляли ходить на спицах, и даже не за преступление какое-нибудь, а просто с целями юридической любознательности. Ужели такое положение само по себе недостаточно мучительно, чтоб усугублять его еще совсем не идущею к делу стыдливостью? Нет, требование такого рода, если б оно и

было возможно, заключало бы в себе или утонченную жестокость, или легкомысленное надругательство. Волохов, как видно из романа г. Гончарова, находился если не совсем в положении человека, ходящего по спицам, то в положении приблизительно подходящем. Он не добровольно лишал себя удобств (мы видим даже, что он несколько сибарит и с этою целью занимает без отдачи деньги), а потому, что эти удобства были ему недоступны. Смешного тут опять-таки нет ничего. Остается, стало быть, преднамеренная выставка этих неудобств напоказ, но здесь, во-первых, едва ли не бо́льшую роль играет так называемая красота слога, а во-вторых, стоит только отчетливо представить себе то развинченное существо, которое называется Райским и перед которым, собственно, и производится упомянутая выставка неудобств, чтоб понять, что со стороны Волохова это просто невинное желание посмеяться над великосветским разинею, а совсем не провозглашение каких-либо принципов.

Третий типический признак: Волохов берет взаймы деньги и не отдает их. Черта действительно резкая, хотя в истории и небеспримерная. Деньги — это воистину такой краеугольный камень, относительно которого непочтительное обращение составляет проступок чувствительный и не легко забываемый. Но все же, повторяем, это проступок не до такой степени беспримерный, чтобы чувствовалась необходимость положить его в основание типической черты, и притом не отдельного индивидуума, не Волохова как Марка, а Волохова как представителя известных стремлений современности. Шекспировский Фальстаф положительно не различал своего от чужого и пользовался этой свободой смешения в самых широких размерах, но никому в голову не приходило присвоить Шекспиру намерение изобразить в этом простодушном бездельнике новатора и провозвестника каких-то начал общественного возрождения. Оказывается, однако ж, что Волохов именно новатор, что он отнюдь неспроста занимает деньги у знакомых, а в силу принципа. Он занимает и приговаривает. Мы думаем, однако ж, что подобная наклонность связывать наиболее подвергающиеся порицанию человеческие действия с такою доктриною, которая еще не выяснилась окончательно или почему-либо в данную минуту антипатична обществу, есть наклонность крайне предосудительная. Это наклонность наносить удары в уверенности не встретить отпора; это наклонность брать крепости без боя. Тем не менее даже и при подобной уверенности дело не всегда может кончиться благополучно для лица, обладающего ею. Очень может случиться, что читатель не удовольствуется одними темными инсинуа-

циями и пожелает разъяснений. В каком положении очутится инсинуатор, если окажется, что он не имеет даже самых первоначальных понятий о том деле, которое думает разорить? Очевидно, ему будет стыдно. Мы, русские, благодаря цензурному гнету, долго над нами тяготевшему, в особенности обладаем какою-то несчастною способностью проглатыванья. Если мы чего-нибудь не знаем, то стоит нам только в надлежащем месте крякнуть, чтоб читатель подумал, что за этим кряканьем таится и невесть какая ученая глубина. Однако пора бы, кажется, вспомнить, что если во время оно и было согласно с видами цензуры, чтобы обстоятельное изложение некоторых доктрин не допускалось даже под условием критического отношения к ним, то теперь этого стеснения не существует. Теперь можно свободно опровергать ту или другую доктрину шаг за шагом, нимало не стесняясь; можно даже бранить, выражать негодование и проч. Предполагается, что возражатели настолько убеждены сами, что могут и в других поселить те же убеждения. Это считается даже нелишним, потому что увеличивает круг людей, сознательно отвергающих учение, признаваемое ложным, а не подмигивающих только по поводу его. Сословие подмигивателей и без того распространено больше, чем нужно, но пользы от него нет; напротив того, очень часто случается, что подмигиватель самый ревностный, случайно и даже очень поверхностно проветившись, вдруг превращается в не менее ревностного пропагандиста. Этот народ тем легковернее, тем менее устойчив против всякого рода соблазнов, чем сильнее укоренилась в нем привычка жить на веру, чем слабее в нем способность рассуждать. Вот почему казалось бы желательным, что если уж есть поползновение непременно установить связь между такими действиями, как, например, воровство, и такими доктринами, о которых русская публика имеет понятие довольно смутное, то было бы нелишнее, чтобы такого рода установители представляли какие-нибудь доказательства, что им, по крайней мере, небезызвестно то, к чему они приравнивают то или другое человеческое действие, подлежащее, по их мнению, порицанию. Вот нам, например, ничего неизвестно о доктрине займа у приятеля денег без отдачи, а г. Гончаров, по-видимому, нечто знает о существовании ее. Очевидно, однако, что это не просто доктрина безвозвратных займов, а какая-нибудь особенная, и что безвозвратный заем денег есть только грубая и пошлая форма, к которой всякий встречный шалопай имеет возможность прибегнуть для прикрытия своего бездельничества. Но в таком случае, что же общего между этой особенной доктриной и таким пошлым ее извращением?

И ежели доподлинно известно, что существует такое учение, которое отвергает различие между твоим и моим, то для чего скрывать это? Для чего оставлять читателя в недоумении? Для чего потворствовать этой особенной доктрине — иначе мы не можем назвать подобный прием, как потворством,— прикрывая ее самым простым и общеизвестным житейским актом займа денег без отдачи? Помилуйте, скажет любой читатель, что же в ней особенного, в этой доктрине! Да у меня не дальше, как вчера, такой-то, Иван Иваныч, занял побольше тех трехсот рублей, которые занял у Райского Волохов, и хоть я, и без его предупреждения, знаю, что он никогда мне их не отдаст, но у меня и в помышлении никогда не было и не будет называть, вследствие этого, Ивана Иваныча ни новатором, ни даже опасным человеком!

Вообще, по нашему мнению, если обличать человека нового, человека, одержимого современными тенденциями, то следует обличать его до конца. Сошлемся опять на того же Шпильгагена, на которого уж несколько раз ссылались (мы считаем его талантливейшим из современных беллетристов, дающим роману совершенно новое содержание). В романе его «Один в поле — не воин» мы встречаемся с действительным представителем новых стремлений, но этот представитель не ворует, как делают некоторые герои «Взбаламученного моря», и не занимает денег без отдачи, как это делает Волохов, а устраивает ассоциацию работников, становится во главе социального и политического движения и заинтересовывает в своем деле даже таких лиц, которые всего менее имеют наклонность и выгоду интересоваться вопросами подобного рода. Допускаем заранее, что все, что ни предпринимает этот новый человек, есть ложь, но эта ложь грандиозная, ложь, о которой стоит говорить, против которой не стыдно бороться. Люди порядочные и в врагах своих видят людей порядочных же, а не шалопаев, которые из-за четвертака или из-за не полученных ими выгодных кондиций готовы проклясть свою душу и выдавать и клеветать на своих единомышленников. А нам представляют мелких воришек платков и приглашают видеть в них демонов-искусителей и опасных новаторов — не странное ли это недоразумение!

Но, скажут нам, что же делать, если русская жизнь не представляет таких широких мотивов, какие мог без труда найти Шпильгаген в Германии? На это мы ответим, что такое возражение во всех частях неправильно. Что русская жизнь обладает мотивами очень разнообразными и весьма высокого разряда, в этом мы можем убедиться даже по ро-

ману г. Клюшникова «Марево». Если автор опошлил эти мотивы, украсив их разными Горобцами,— это не доказывает их несуществования, а доказывает только наклонность романиста увлекаться легким способом отделываться от своих героев. На подобные же мотивы мы встречаем намеки в недавней повести г. Гл. Успенского «Разорение». Вообще, всякий, кому небезызвестна история нашей общественности за последние восемь-девять лет, едва ли может сказать, чтоб она не содержала в себе достаточного материала для драмы. Самое обилие всякого рода неудач, ошибок и разочарований уже достаточно указывает на это. Да и романисты наши, очевидно, понимают не только то, что нужно чем-нибудь оживить старый материал, но что и есть чем оживить его, да не знают, как сделать это.

Четвертый типический признак — протест против бессрочной любви, или, говоря словами не столь мудреными: Волохов не хочет жениться на Вере, предпочитая пользоваться одними удовольствиями любви без тех стеснений и обязательств, которые налагаются на это пользование общественными приличиями. И это признак типический только потому, что г. Гончарову угодно было дать ему такой характер, приурочив его тоже к какой-то доктрине и сделав доктринодержателем Волохова, этого невинного козла, на которого без всякого основания возложены прегрешения современности. А дело, между тем, объясняется очень просто. Существует так называемый «женский вопрос», то есть вопрос о положении женщины в обществе, о правах ее на участие в делах его, об отношениях женщины к мужчине и, пожалуй, коли хотите, о том, что̀ г. Гончаров называет срочной и бессрочной любовью. Вопрос чрезвычайно обширный, требующий со стороны занимающегося им тщательной подготовки и встречающий в своем разъяснении множество очень серьезных препятствий, благодаря щекотливости предмета, возможности поставить его на самую неблагоприятную и исключительную почву и другим более или менее злокозненным инсинуациям. И вот Марк Волохов является воплотителем этого вопроса с такою же точно готовностью, с какою, как показано выше, он взял на себя труд быть представителем доктрины, отрицающей собственность. Чем же он заявляет свое понимание женского вопроса? — А тем, и тем одним, что он во что бы то ни стало хочет соблазнить девушку, возбудившую в нем вожделение! Как легко, подумаешь, представительствовать в этом злосчастном обществе, в котором никто ничего не может делать, кроме как разевать рот! Хочешь быть отрицателем собственности — займи денег и не отдай их; хочешь быть по-

борником прав женщин — соблазни девицу, сказав ей предварительно, что этот акт называется актом срочной любви.

Для всякого, однако ж, понятно, что между «женским вопросом» и поступком Волохова, соблазняющего Веру, связи нет никакой и что последний может быть совершен независимо от всякой прикосновенности даже к теории срочной и бессрочной любви. К сожалению, авторы-беллетристы не всегда различают, что практика отнюдь не всегда непосредственно следует за теорией и что последняя, в большей части случаев, значительно опережает первую. Вот почему исследования по какому бы то ни было социальному вопросу, производимые в области теории, никогда не могут быть связаны с идеею о <насилии>, хотя бы они в известной степени и не сходились с действительностью. Иначе пришлось бы понятие о <наказании> применять ко всякому исканию истины еще не выяснившейся, но возможной. Пришлось бы оставаться неподвижным в ожидании, что истина объявится сама, а так как она сама никогда не объявляется, то люди, поставленные в невозможность искать ее, должны были бы довольствоваться только теми простыми ее зачатками, которые действительно сами бросаются в глаза. Но в то же время искание истины, даже самой необычной, самой противоречащей установившимся понятиям, вовсе не предполагает фаталистически чьего-нибудь несчастья или порчи чьей-нибудь жизни. Тот, кто признает преимущества срочной любви перед бессрочною, вовсе не обязан быть развратным и даже не обязан забыть, что, при известным образом сложившихся обстоятельствах, теория срочной любви, как бы она ни казалась верною, не может иметь непосредственного и немедленного применения иначе, как на собственный риск участвующих в деле сторон. Даже и тот злосчастный и очевидно заблуждающийся человек, который отрицает в принципе собственность, не только не обязан доказывать правоту своего убеждения воровством или безвозвратными займами денег, но даже может на практике пользоваться правом собственности, защищать эту собственность и воровства не одобрять. Вообще, люди, сильно занятые интеллектуальными интересами, реже решаются на такие поступки, которые могут только дразнить общественное мнение, не приводя к другим, более существенным результатам. Но еще менее допускаются ими подобные поступки в тех случаях, когда они ставят в фальшивое положение постороннее лицо, которое, быть может, сгоряча и примет это положение, но впоследствии может и не совладать с ним. Такого рода практика скорее свойственна тем негодным людям, которые лицемерно выполняют все предписываемые обществом фор-

мальности и в то же время подкапываются под его основания гораздо зловреднее, нежели тем, которые явно ищут новых форм жизни в видах согласования интересов всех и каждого.

Таким образом, связывая взбалмошное вожделение Волохова с вопросом о взаимном отношении полов и о положении женщины в обществе и делая из этой связи типическую черту, рисующую представителя современных стремлений, г. Гончаров напрасно думает, что он что-либо доказывает и в чем-либо убеждает. Это только его личное мнение, или, лучше сказать, плод его недоразумения, которое при нем, конечно, и останется. Тип женолюбца существовал издревле, и новый роман не прибавляет к нему ни одной новой черты. В произведении г. Гончарова стремление к женщине изображается в том же самом грубом и невозделанном виде, в каком оно встречается и может встретиться в любой из многочисленных российских весей. Попытки Райского насчет Марфиньки и Веры не меньше возмутительны, нежели попытки Волохова,— почему же автор не возмущается ими и смотрит на них, как на милую шалость? Не потому ли, что Райский богат, а Волохов беден, что Райский прилично одет, а Волохов едва прикрывает наготу свою? Не потому ли, наконец, что к Волохову надо было во что бы то ни стало пришпилить какую-нибудь этикетку, которая вышвырнула бы его еще далее за пределы признанного société?[1] Хорошо; но в таком случае все-таки надо было бы, по малой мере, предварительно прочитать эту этикетку и объяснить ее себе.

Таковы типические признаки, таковы действия человека, которого автор «Обрыва» выдает нам за представителя каких-то новых идей, представителя, в присутствии которого иметь на столе четвертак небезопасно. Понятно, что эти признаки заинтересовывают читателя, если не со стороны художественной правды, которой в них не обретается, то, во всяком случае, со стороны оригинальности и смелости. Читатель желает узнать то великое и мудрое миросозерцание, во имя которого мог создаться столь непривлекательный антитезис, то миросозерцание, которое успокоило бы читателя, примирило бы его с жизнью и заставило забыть всех этих Волоховых, нагло берущих взаймы деньги без отдачи и вдобавок посещающих своих знакомых необычным путем — через окно. Изложению этого миросозерцания, как сказано выше, автор посвятил шестую главу пятой части своего романа; мы и займемся им теперь.

[1] обществом.

Вот его сущность, выраженная словами самого автора:

«После всех пришел Марк, и внес новый взгляд во все то, что̀ она (то есть Вера) читала, слышала, что̀ знала,— взгляд полного дерзкого отрицания всего, от начала до конца, небесных и земных авторитетов, старой жизни, старой науки, старых добродетелей и пороков .. Она с изумлением увидела этот новый, вдруг вырвавшийся откуда-то поток смелых, иногда увлекательных идей, но не бросилась в него слепо и тщеславно, из мелкой боязни показаться отсталою, а пытливо и осторожно стала всматриваться и вслушиваться в горячую проповедь нового апостола.

Ей прежде всего бросились в глаза зыбкость, односторонность, пробелы, местами будто умышленная ложь пропаганды, на которую тратились живые силы, бойкий ум, и ненасытная жажда самолюбия и самонадеянности, в ущерб простым и очевидным, готовым уже правдам жизни, только потому, казалось ей, что они были готовые.

Иногда в этом безусловном рвении к какой-то новой правде виделось ей только неуменье справиться с старой правдой, бросающейся к новой, которая давалась не опытом и борьбой всех внутренних сил, а гораздо дешевле, без борьбы и сразу, на основании только слепого презрения ко всему старому, не различавшего старого зла от старого добра, и принималась на веру от не проверенных ничем новых авторитетов, невесть откуда взявшихся новых людей — без имени, без прошедшего, без истории, без прав.

Она добиралась в проповеди и увлечениях Марка чего-нибудь верного и живого, на что̀ можно опереться, что̀ можно полюбить, что̀ было так прочно, необманчиво в старой жизни, которой, во имя этого прочного, живого и верного, она прощала ее смешные, вредные уродливости, ее весь отживший сор. Она страдала за эти уродливости, и от этих уродливостей, мешавших жить, чувствовала нередко цепи, и готова бы была, ради правды, подать руку пылкому товарищу, другу, пожалуй, мужу, наконец... чем бы он ни был для нее — и идти на борьбу против старых врагов: стирать ложь, мести сор, освещать темные углы, смело, не слушая старых разбитых голосов... Но для этого нужно глубоко и невозвратно убедиться, что истина впереди.

Она шла не самонадеянно, а, напротив, с сомнениями, не ошибается ли она, не прав ли проповедник, нет ли, в самом деле, там, куда так пылко стремится он, чего-нибудь такого, чистого, светлого, разумного, что̀ могло бы не только избавить людей от всяких старых оков, но открыть Америку, новый, свежий воздух, поднять человека выше, нежели он был, дать

ему больше, нежели он имел? Она искала, ждала, прислушивалась к обещанным им благам, читала приносимые им книги, бросалась к старым авторитетам, сводила их про себя на очную ставку, но не находила ни новой жизни, ни счастья, ни правды, ничего того, что̀ обещал, куда звал смелый проповедник...

Дело ограничивалось беспощадным отрицанием всего, во что верит, что любит, на что надеется живущее большинство. Марк клеймит это враждой и презрением; но (?) Вера сама многого не признает в старом свете. Она и без того знает и видит болезни: ей нужно знать, где Америка? Но ее Колумб, вместо живых и страстных идеалов правды, добра и любви, человеческого развития и совершенствования, показывает ей только ряд могил, готовых поглотить все, чем жило общество до сих пор. Это были фараоновы тощие коровы, пожравшие коров толстых, и не делавшиеся сами от того толще. Он, во имя истины, развенчал человека в один животный организм, отнявши у него другую, неживотную сторону. В чувствах видел только ряд кратковременных встреч и грубых наслаждений, обнажая их от всяких иллюзий, составляющих роскошь человека, в которой отказано животному. *Самый процесс жизни он выдавал и за конечную ее цель. Разлагая материю на составные части, он думал, что разложил вместе с тем и все, что̀ выражает материя.* Угадывая законы явления, он думал, что уничтожал и неведомую силу, давшую эти законы, только тем, что отвергал ее, за неимением приемов и свойств ума, чтоб уразуметь ее. Закрывал доступ в вечность и к бессмертию всем религиозным и философским упованиям, разрушая, младенческими химическими или физическими опытами, и вечность, и бессмертие, думая своей детской тросточкой, как рычагом, шевелить дальние миры, и заставляя всю вселенную отвечать отрицательно на религиозные надежды и стремления «отживших» людей.

Между тем, отрицая в человеке человека — с душой, с правами на бессмертие, он проповедовал какую-то правду *(дерзкий!),* какую-то честность, какие-то стремления к лучшему порядку, к благородным целям, не замечая, что все это делалось ненужным при том, указываемом им, случайном порядке бытия, где люди, по его словам, толпятся, как мошки в жаркую погоду, в огромном столбе, сталкиваются, мятутся, плодятся, питаются, греются и исчезают в бестолковом процессе жизни, чтоб завтра дать место другому такому же столбу. «Да, если это так,— думала Вера,— тогда не стоит работать над собой, чтобы *к концу жизни* стать лучше, правдивее, чище, добрее. Зачем? *для обихода на несколько десятков лет?* Для этого

надо, как муравью, запастись зернами на зиму, обиходным уменьем жить, такою честностью, которой синоним ловкость, такими зернами, чтоб хватало на жизнь, иногда очень короткую, чтоб было тепло, удобно... Какие же идеалы для муравьев? Нужны муравьиные добродетели... Но так ли это? Где доказательства?»

А он требовал не только честности, правды, добра, но и веры в свое учение, как требует ее другое учение, которое за нее обещает — бессмертие в будущем, и в залог этого обещания дает и в настоящем просимое всякому, кто просит, кто ищет.

Новое учение не давало ничего, кроме того, что было до него, ту же жизнь, только с уничижениями, разочарованиями, и впереди обещало — смерть и тлен. Взявши девизы своих добродетелей из книги старого учения, оно обольстилось буквою их, не вникнув в дух и глубину, и требовало исполнения этой «буквы» с такою злобой и нетерпимостью, против которой остерегало старое учение. Оставив себе одну животную жизнь, «новая сила» не создала, вместо отринутого старого, никакого другого, лучшего идеала жизни.

Вглядевшись и вслушавшись во все, что̀ проповедь юного апостола выдавала за новые правды, новое благо, новые откровения, она с удивлением увидела, что все то, что было в его проповеди и доброго, и верного — не ново, что оно взято из того же источника, откуда черпали и не новые люди, что семена всех этих новых идей, новой «цивилизации», которую он проповедовал так хвастливо и таинственно, заключены в старом учении. От этого она только сильнее уверовала в последнее и убедилась, что — как далеко человек ни иди вперед, он не уйдет от него, если только не бросится с прямой дороги в сторону, или не пойдет назад, что самые противники его черпают из него же, что, наконец, учение это — есть единственный, непогрешительный совершеннейший идеал жизни, вне которого остаются только ошибки.

Вере подозрительна стала личность самого проповедника»...

Что̀ прежде всего поражает в этой бесконечно длинной обвинительной речи — это то, что содержание ее ни под каким видом нельзя собрать в один фокус, равно как невозможно рассказать его своими словами. Это-то собственно и есть то пресловутое искусство проглатывания, о котором говорено было выше. Наговорено очень много, наговорено, по-видимому, даже очень красиво, и вместе с тем не сказано ничего, что̀ могла бы задержать память без исключительных усилий; не употреблено ни одного слова в его собственном значении,

не выражено ничего такого, что̀ относилось бы к делу прямо, а не бродило кругом да около. «Какой-то», «как будто» — вот любимейшие выражения автора, вот те орудия, при помощи которых он намеревается кого-то и в чем-то убедить.

Постараемся, однако ж, опознаться во всех этих неопределенностях, постараемся найти в них указание на ту истину, которою нам полезно руководиться в жизни, и на ту ложь, которой следует избегать. Как люди скромные и отнюдь не отворачивающиеся от того, что̀ может иметь для нас последствием душевный мир и довольство собою (а пожалуй, даже и просто «тихое и безмятежное житие»), мы охотно воспользуемся всеми указаниями, которые будут нам даны в этом смысле. Если мы излишне строптивы, потщимся переломить и ускромнить себя; если наши страдания и жизненные неудачи происходят от того, что наша мысль дерзко переходит за те пределы, которые предназначены ей самой ее природою,— постараемся ввести ее в эти пределы. И будем счастливы.

До сих пор г. Гончаров объяснял созданный им тип нового человека делами его. Дела эти, как мы видели, не особенно мудреного свойства и даже не особенно типичны. Это дела, свойственные любому человеку старого закала, бессознательно отдающемуся потоку жизни, дела, с которыми мы на улице встречаемся чуть не на каждом шагу и ни в каком случае не обличающие новатора. Но в пятой части почтенный автор уже не ограничивается теорией безвозвратных займов и срочной любви, ибо понимает, что этого далеко не достаточно, чтобы испугать читателя. Поэтому он считает необходимым раскрыть перед нами ту закулисную сторону жизни Волохова, которую последний обнаруживает неохотно и не перед всеми; он вводит нас в самое святилище мысли своего героя.

Но прежде нежели мы приступим к подробному разбору «новых» мыслей, которыми снабдил г. Гончаров свое детище, мы встречаемся с вопросом: имел ли Волохов право так мыслить, как он мыслил или, по крайней мере, как заставил его мыслить автор «Обрыва», то есть мыслить, соображаясь единственно с собственным разумением и с тою степенью умственного развития, которой он достиг? Откровенно говоря, мы думаем, что право это принадлежало Волохову непререкаемо и что г. Гончаров, в художественном смысле, сделал большую ошибку, не признав за ним этого права. Разоблачая внутреннюю жизнь своего героя, он, по нашему мнению, поступил слишком уже просто, а именно: ограничился одним сухим перечнем его «новых» мыслей и затем вменил их ему в вину, не воплотив их в жизнь, то есть не дав практического исхода

ни его дерзости, ни его отрицанию, ни его презрению «ко всему тому, что не носит на себе печати реальности». Искусство имеет не более прав на человека, нежели общество с его арсеналом законов, обычаев и условных приличий. Искусству не возбраняется, конечно, проникать во внутреннюю храмину человека, но экскурсии такого рода могут быть терпимы только в таком случае, когда художник наверное знает, что он найдет в этой храмине то именно, что̀ ему нужно, и когда плодом таких экскурсий будет доказательство, то есть соединение в одном живом образе таких типических черт, из которых ни одна другую не исключает, ни одна другой не противоречит. Если художник, вместо живого образа, находит только сухой перечень мыслей человека, то это значит, что он забрался в такую сферу, которая ему не под силу, ибо эта сфера, не изобилуя внешними признаками, поддается только самому тонкому наблюдению и во всяком случае требует, чтобы наблюдатель стоял на одном уровне с наблюдаемым. Что г. Гончаров находился именно в таком затруднительном положении относительно изображаемого им лица, это доказывается тем, что он не нашел в его внутреннем мире ничего такого, чего нельзя было бы не отыскать в любой хрестоматии. «Перечни» мыслей обладают именно тем свойством, что их можно составлять, по произволу, короткие и длинные, и по произволу же приурочивать к любому субъекту, не прибавляя через то ни одной черты к его характеристике. Может быть, этот субъект и действительно мыслит так, как уверяет художник, а может быть, и не так,— где доказательства того или другого предположения? Мысль есть функция крайне неуловимая и колеблющаяся; чтобы иметь возможность с уверенностью сказать, что вот такая-то мысль составляет существенное и жизненное достояние такого-то субъекта (а только под таким условием она и может подлежать какому бы то ни было суду), надобно, чтобы она выразилась или в целом ряде повторительных действий, или хотя и в одиночном действии, но настолько характерном и решительном, что оно дает поворот целой жизни, или же, наконец, в полной и строго согласованной теории. Покуда художник не успел добыть ни первого, ни другого, ни третьего, дело его будет неверно, и как бы ни был пространен и разнообразен перечень мыслей, которыми он обогатит своего героя, какие бы он ни делал усилия, чтобы уверить читателя, что герой его мыслит именно так, как об этом свидетельствуется в книжке,— читатель не поверит ему. Он скажет: я верю только тому, что̀ вижу и в чем убеждаюсь; я не считаю себя вправе ни одобрять, ни порицать таких мыслей, которые ни в чем себя не проявили, которые

могли зародиться случайно и умереть в следующую минуту после их зарождения.

Общество, которое в этом смысле можно назвать художником в высшем значении этого слова, именно так и поступает. Оно простирает свои притязания на внутренний мир человека только в той мере, в какой этот мир заявляет себя во внешности, и награждает или карает лишь то, что̀ действительно обнаружило себя добром или злом. Конечно, нельзя отрицать его права останавливаться и на некоторых частных признаках этого внутреннего мира, но, подмечая эти частности, оно получает основание только для одного и притом самого недостаточного из всех актов, в которых выражается способность анализировать и обсуждать человеческие действия, а именно: для предчувствия, и много-много для подозрения. Как бы ни казалось вероятным предчувствие или подозрение, все-таки оно только вероятно, а не достоверно. Отсутствие этой достоверности делает очертания неясными, вводит в них враждебный элемент сомнения. Материал, добытый этим неверным путем, может дать повод к дальнейшему исследованию, возбудить желание увеличить ту сумму признаков, которая отчасти уже собрана, но ни в каком случае не будет достаточным и прочным материалом для суда. Поэтому общество, обыкновенно столь строгое к человеческим *действиям,* гораздо более осторожно и осмотрительно относительно человеческой мысли. Оно знает, что для действий нет ни возврата, ни поправки и что мысль, напротив того, воспитывается, развивается и, следовательно, сама себя каждоминутно поправляет.

Повторяем: приемы истинно художественной силы и приемы общественного суда в этом случае совершенно одинаковы. Как та, так и другой тогда только действительно овладевают своим предметом, когда из области гадательного и произвольного вступают в область достоверности. Подтасовать признаки, нанизать их целую нить легко может любой адвокат, но ложь этой подтасовки немедленно обнаружится в тех перерывах, которые *всегда* влечет за собой преднамеренная подтасовка и которых не наполнит искусство самое кропотливое. Мы знаем, что в азбуках найдется довольно всяких сентенций, с помощью которых можно и возвеличить и убить человека, но для этого надобно, чтобы эти сентенции, по малой мере, были предъявлены не в виде истрепанных листочков, случайно заблудившихся в письменном столе того человека, которого внутренний мир мы положили себе задачей раскрыть.

Посмотрим же теперь, какие это опасные мысли, какие те

новые взгляды, которые Волохов нигде и ни в чем не высказывает, но которые автор романа находит у него в голове. Не забудем при этом, что г. Гончаров называет Волохова «новым апостолом» и что, следовательно, он придает его мыслям и взглядам значение далеко не шуточное.

Все сказанное по этому случаю г. Гончаровым может быть приурочено к следующим пунктам: 1) Волохов предъявляет «взгляд полного дерзкого отрицания всего, от начала до конца: небесных и земных авторитетов, старой жизни, старой науки, старых добродетелей и пороков»; 2) он неоснователен, зыбок, односторонен, не умеет «справиться со старой правдой, бросающейся к новой, добытой им без борьбы»; 3) он верит каким-то новым авторитетам «без имени, без прошедшего, без прав, без истории»; 4) он «развенчал человека в один животный организм и самый процесс жизни выдавал за конечную цель ее»; 5) он «разложил материю на составные части и думал, что разложил вместе с тем и все, что выражает материя»; мало того: «угадывая законы явления, он думал, что уничтожил и неведомую силу, давшую эти законы»; 6) он закрыл доступ в вечность религиозным и философским упованиям и «младенческими своими химическими и физическими опытами разрушил бессмертие»; 7) он указывал на какой-то случайный порядок бытия, где люди толпятся, как мошки, мятутся, сталкиваются, плодятся, питаются, греются и исчезают в бестолковом процессе жизни; 8) он требовал честности, правды и добра в жизни и в награду за это ничего не обещал и, наконец, 9) он совершал подлог, выдавая за новое учение то, что̀, в сущности, содержалось и в старом учении, из которого он взял даже все девизы проповедуемых им добродетелей.

Как ни увесисты обвинения, изложенные в этих девяти пунктах, но они кажутся таковыми только на первый взгляд; в сущности, это не более как детские разглагольствования, в основании которых положено бессодержательное и давно уже всем приевшееся слово «отрицание».

Что̀ такое «отрицание»? Очевидно, это уличное выражение, выдуманное только в пику науке и людям, занимающимся изучением явлений природы и жизни. Попробуйте выйти на улицу и сказать первому проходящему, что воздух может быть разложен на составные части,—он наверное ответит вам: э, какие вы пустяки городите! Ясно, что в этом случае прохожий отрицает; он отрицает науку, отрицает добытые ею результаты, но в то же время он думает, что защищает, а именно защищает целостность и неприкосновенность воздуха, которым он дышит. А так как тут все-таки кто-нибудь

нечто отрицает, то он эту роль отрицателя возлагает на ваши плеча, а на свои собственные плеча кладет сладкое бремя «прочного, необманчивого, живого и верного».— Эге! скажет он, если можно разложить воздух, стало быть, можно разложить и материю вообще, стало быть, нет тайны, нет прочного, нет живого и верного! так ты вот кто! так ты, значит, отрицаешь *все!*

Вот мудрые глаголы, которые обыкновенно изрекает говорящая улица, и по поводу их мы можем только повторить совет, данный в начале нашей статьи,— как можно менее говорить на улице и предлагать только самые необходимые вопросы, например: как пройти в такой-то переулок или на такую-то площадь? Но людям, изъявляющим притязание на мышление и излагающим свои философствования на бумаге, необходимо разъяснить, в чем собственно заключается та работа мысли, которая в просторечии именуется «отрицанием». Это мы и сделаем.

Когда человек подходит к известному явлению или предмету, то первое и самое естественное его желание заключается в том, чтобы познакомиться не только с наружным его видом, но узнать и внутренние его составные части и качества. Это желание является в нем совсем не по капризу, но или вследствие чувства самосохранения — так как многие предметы и явления могут быть ядовиты и вредны,— или вследствие потребности извлечь из предмета пользу и тем увеличить сумму находящихся в его распоряжении удобств, или, наконец, вследствие потребности более утонченной, побуждающей человека удовлетворять своей любознательности. Возьмем хоть тот же пример о воздухе. Человек замечает, что в одном месте ему дышится легко, в другом — он задыхается и страдает; в одном месте свеча у него горит светло, в другом — едва-едва мерцает или совсем гаснет. Это явление уже по тому одному не может не интересовать его, что он от него терпит. Заручившись опытом, вынесенным им прямо из жизни, ценою страдания собственных легких, он невольно приходит к заключению, что воздух не просто воздух, а есть в нем что-то такое, что делает его иным в одном месте и иным — в другом. Вот этот-то первый акт возбужденной человеческой мысли и составляет то, что̀ на улице слывет под именем отрицания. Очевидно, однако ж, что это совсем не отрицание, а именно только первый шаг к познанию истины, и что отрицанием приличнее было бы, напротив того, назвать такой акт человеческой мысли, который упорно отказывается от познания истины, который согласен, чтоб человечество гибло жертвою своего невежества, но отнюдь не вы-

ходило из своего farniente[1], отнюдь не смело ударить пальцем о палец. Затем, когда этот первый шаг сделан, начинаются уже действительные исследования составных частей воздуха и тех влияний, которые оказывает преобладание той или другой из них. И чем глубже вдается человек в эти исследования, тем, разумеется, дальше удаляется он от так называемого «отрицания», так что под конец получается уже результат настолько *положительный,* что даже на улице начинают говорить о нем с похвалою, как это и случилось, например, с некоторыми применениями силы и свойств пара.

Но при этом дело мыслителя нередко усложняется еще побочным обстоятельством, не имеющим прямого отношения к его сущности. Может случиться, что найдутся такие люди, которые будут утверждать, что познание истины есть дело вредное, потому, дескать, что «ум за разум зайдет», или «поспешишь — людей насмешишь», или «много будешь знать — скоро состаришься»; одним словом, что познание одного явления ведет за собою необходимость познания другого, затем третьего и т. д., а так как, дескать, этих явлений бесконечное множество, то лучше и не трогать их, а жить как живется. Тогда этим людям, *отрицающим* необходимость элемента сознательности в человеческом существовании, приходится *доказывать,* что всякая вновь добытая истина непременно должна принести не вред, а пользу, и подтверждать это примерами вроде следующих: Иван, по неведению, наелся незрелых плодов и от того умер; в то же время Петр, знавший, что смерть может произойти от употребления плодов только в таком случае, когда они незрелы или ими объедаются неумеренно, съел точно такое же количество плодов, как и Иван, но зрелых, и остался жив и здоров. Нет никакого сомнения, что такого рода доказательства совершенно необходимы, но нельзя не сознаться, что именно этот-то побочный инцидент мысленного процесса и навлекает на себя преимущественное негодование улицы; ему-то, собственно, и присвоивается название «отрицания». Уличная толпа обижается в этом случае сугубо, потому что здесь предлагается ей не та или другая истина, которую она, взятую без связи с другими истинами, принять по нужде может, а опровергается целое миросозерцание, разрушаются те отношения к жизни, которые заповеданы ей веками. Ясно, что она и не может отнестись к такому действию иначе, как заклеймив его словом «отрицание», но для человека непредубежденного, для человека, поставившего себе задачею не играть словом, а обращаться с ним

[1] ничегонеделания.

уважительно, будет-таки совершенно бесспорно, что тут нет никакого отрицания, а есть только *доказательство.*

Таким образом, ясно, что то общее употребление, которое делается из слова «отрицание», есть злоупотребление, которое по обстоятельствам и намерениям лиц, действующих этим оружием, может быть и добросовестным, и недобросовестным. Оно добросовестно, когда эти лица болтают, как говорится, зря, сами не понимая, о чем говорят, и недобросовестно — когда это делается сознательно и преднамеренно. Мы будем говорить только о злоупотреблении добросовестном.

Исходя из того положения, что всякое стремление понять и объяснить явление равносильно отрицанию этого самого явления, добросовестное непонимание законов мышления приходит к результатам весьма сильным. Произвольная и кабалистическая точка зрения не может дать иных выводов, кроме произвольных же и кабалистических. Отсюда, во-первых, «отрицание» начинает именоваться *дерзким,* во-вторых, с ним связывается *оскорбление авторитетов.* Сказать о человеке или о каком-нибудь человеческом действии, что оно дерзкое — значит сказать все, то есть все, что может служить ему во вред. Даже когда какой-нибудь пиита говорит: *дерзаю* петь, *дерзаю* хвалить, то и тут он рекомендует себя как человека строптивого и беспокойного. «Дерзаю петь — это в переводе на обыкновенный язык значит: я, ничтожный и непотребный пиита, я, червь, а не человек, до такой степени возмнил о себе, что из низменности, в которой нахожусь, дерзнул обратить взоры на твое, о солнце, сияние, но ты простишь мою дерзость ради того, что цель ее — похвала. Недаром же рассказывают анекдот, что когда один подчиненный, в разговоре с начальником, то и дело говорил: осмелюсь доложить, осмелюсь заявить, осмелюсь представить на благоусмотрение,— то начальник наконец серьезно обеспокоился этим и приказал смельчаку быть на будущее время скромнее. Из этого видно, какое значение придается слову «дерзкий» на языке общеупотребительном. Но что же общего между этим значением и естественным стремлением человеческой мысли к приобретению знания? Человек хочет учиться, хочет знать, как ему поступить, чтобы не отравиться, не задохнуться или иным образом не пропасть, он не грубит, не забиячит — ведь за это в школах похвальные листы выдают, а вы называете его дерзким! Но вы прибавляете: он не признает авторитетов, но позвольте, скажите, каких именно? Если он не признает авторитета улицы, то очень хорошо делает; если не признает и других, по-видимому, с бо́льшим основанием утвердившихся авторитетов, но ложность или сомнительность которых дока-

зана, то также хорошо делает. А так как вы никаких авторитетов все-таки не называете (проглатываете), то, очевидно, весь спор сводится только на то, учтиво или неучтиво отзывается известный субъект о том или другом авторитете. Но ежели вы добиваетесь только учтивости в отзывах, то мы охотно уступим вам это, но в возврат потребуем и от вас такой же учтивости к людям мыслящим и ищущим, которых вы голословно называете дерзкими попирателями авторитетов.

Но вы говорите: у Волохова есть новые авторитеты, ничем не проверенные, без имени, без прошедшего, без истории, без прав. Если это авторитеты действительно «ничем не проверенные» — это очень важно. Это значит, что это авторитеты уличные, авторитеты Татьяны Марковны, Тычкова, Ватутина и прочей компании. Слово «проверка» представляет тут такой же плод недоразумения, как и множество прочих слов, употребляемых по неведению. Автор, очевидно, под проверкой авторитета разумеет давность его и заключает, что ежели известное правило существует давно, то это значит, что оно достаточно проверено. Но это неверно. Мы на каждом шагу встречаем целые поколения, живущие под гнетом одного и того же предания, и убеждаемся, что предание это предъявляет такую живучесть именно потому, что оно никогда не подвергалось процессу проверки. И живет оно до тех пор, покуда само собой не истощится его содержание и не перестанет давать людям то, что они до поры до времени от него получали. Так, например, существовало предание, что нужно только кой-как вспахать и взбороновать землю и бросить в нее зерно, чтобы затем это зерно принесло все то количество хлеба, какое необходимо на потребу людям. И держалось это предание до тех пор, пока, с одной стороны, не увеличилось народонаселение, а с другой стороны, земля не истощилась до того, что перестала давать удовлетворительные урожаи. Тогда потребовалась проверка предания или авторитета, и оказалось, что хотя это предание жило весьма достаточно, но жило потому только, что не было надобности в его проверке. Следовательно, качество достоверности не составляет неотъемлемой принадлежности старых или новых авторитетов, но есть качество особенное, свидетельствующее, что с прилагательными именами надлежит обращаться с большею разборчивостью, нежели та, с которою обращался повар Ноздрева с ингредиентами стола своего барина. Когда Коперник учтивым образом опроверг бывшие до него солнечные системы и взамен их дал новую, то выражение «проверенное», конечно, более приличествовало новой, чем какой-либо из старых систем; это факт, который отрицать нельзя под опасением по-

пасть в число самых отчаянных отрицателей. Затем, если мы обратимся к последующим выражениям той же тирады: «без имени», «без истории», «без прошедшего», «без прав», то легко поймем, что нет даже большой нужды распространяться об них. Можем прибавить здесь только одно: нет такой новой теории, которая не имела бы своих корней в истории; теории берутся не с печки, а развиваются путем историческим; это до такой степени верно, что даже для такой диковинной теории, как теория безвозвратных денежных займов, можно отыскать некоторые исторические следы. Поэтому и авторитетов «без истории» не существует.

Новая правда! старая правда! последняя «бросается к первой» — первая глумится над последнею! Какая поразительная картина! какое поразительное зрелище великодушия старой правды и неблагодарной закостенелости новой правды! Картина эта, однако ж, существует лишь в воображении талантливого романиста.

Начать с того, что выражение «новая и старая правда» может быть правильно употреблено только по отношению к частным отраслям знания. Но тут, однако, нельзя сказать, что старая правда бросается к новой, а новая глумится над старой, а просто следует сказать, что новая правда, воспользовавшись тем материалом, которым обладала старая правда, и дополнив его новыми наблюдениями, заменила и вытеснила старую правду навсегда. Это будет не столь поэтично, но точно. В этом смысле новая правда астрономии заменила и вытеснила старую правду астрологии. Что̀ касается до общей правды жизни, то она не старая и не новая, а всегда одна и та же, и слагается из тех итогов, которые дает новая правда частных отраслей знания, и той суммы невежества, которую противопоставляет этой новой правде слишком компактная уличная толпа. Следовательно, тут вся правда заключается в том, что одни стоят на стороне уличной толпы, а другие — на стороне испытующей мысли. Но если и признать первых сторонниками старой правды, а вторых — поборниками правды новой, то и тогда окажется, что взаимные их отношения друг к другу совсем не таковы, как представляет г. Гончаров в написанной им картине. Старая правда не «бросается» к новой, а, напротив того, преследует ее всеми силами, отстаивая свое существование; новая правда не глумится над старой, но употребляет неслыханные усилия, чтобы примирить ее с собою настолько, чтобы, по крайней мере, ей не было сочтено в преступление ее существование. Ужели г. Гончарову неизвестно это? неужели история недостаточно представляет доказательств, что не только так называемые «безум-

ные новаторы», но даже простые труженики-изобретатели всегда проводили жизнь в борьбе с лишениями и нуждой и только от истории получали возмездие за дела свои? Если все это неизвестно из истории, то г. Гончарову стоило только обратиться к собственному своему роману, чтоб убедиться в этом. Этот самый Марк Волохов, которого он представляет новатором, даже не чуждым понятий о срочной любви,— в каком положении он находится? Ужели в лучшем, нежели бабушка Наталья <Татьяна> Марковна, которая теми же преимуществами срочной любви воспользовалась не в качестве новаторки, а в силу любезного улице правила: хочу люблю, хочу — нет? Или в лучшем, нежели Райский, который на все роды любви готов, лишь бы они не связывали его, а представляли приятное препровождение времени? Нет, видно, и для Волоховых, несмотря на их детскую несостоятельность, новаторство не дешево достается; видно, и тут «старая» нелепость не очень-то охотно бросается в объятия «новой» ребяческой необдуманности.

Но чем дальше в лес, тем больше дров. Не довольствуясь постановкою обвинения в «дерзком отрицании», г. Гончаров усиливается определить подробнее <признаки?> этого опасного явления. Из этих усилий выходит следующее: если одного общего места мало, то примемся за тавтологию этого общего места; быть может, повторение сделает нашу речь более убедительною.

Однако ж общее место всегда остается общим местом, как бы ни были ядовиты его намерения. Дальнейшее развитие мысли г. Гончарова заключается в том, что Волохов «разложил материю на составные части и думал, что разложил вместе с тем и все, что̀ выражает материя», что он «физическими и химическими опытами разрушил бессмертие», что он указывал на какой-то «случайный порядок бытия, где люди толпятся как мошки и исчезают в бестолковом процессе жизни»...

Читаешь и не веришь глазам. Химические опыты и «бессмертие души», разложение материи и «разложение того, что она выражает», толпящиеся мошки и «бестолковый процесс жизни»! Как все это укладывается рядом? как сводятся на очную ставку предметы столь разнородные, не имеющие между собой никаких точек соприкосновения?

Увы, читатель! все это слова, слова и слова! Слова, случайно взятые из лексикона и поставленные рядом по недоразумению. С незапамятных времен производятся физические и химические опыты, с незапамятных времен все усилия испытателей природы направлены к тому, чтобы разложить мате-

рию,— и вот оказывается, что все эти усилия имеют секретною целью подкопаться под бессмертие души и уничтожить самую душу! Что̀ делать, скажите, как отвратить эту беду? Запретить ли химические и физические опыты, закрыть ли кафедры естественных наук, общества, съезды естествоиспытателей, или только заставить физиков и химиков, для успокоения подозрительности наших беллетристов, оговариваться, при производстве опытов, что это воистину химические и физические опыты, а не памфлеты, пущенные против бессмертия души? Но ведь тогда невозможны будут никакие лекции; если каждое слово надо будет приправлять оговорками, то, очевидно, даже самая речь человеческая до того загромоздится вставками, что сделается совершенно непонятною, и по всему лицу земли прекратятся словеса.

Но этого не будет, потому что и физик и химик, производя свои опыты, всего меньше думают о бессмертии души, а думают о тех непосредственных результатах, которые должны выйти из этих опытов. Как не сообразил г. Гончаров, что вопрос о бессмертии души есть вопрос, принадлежащий к области теологии, остающейся неприкосновенною и совершенно независимою от исследований, делаемых в области естественных наук. Бессмертие души есть догмат, который проповедуется в церквах, а не в химических лабораториях, и это не может быть иначе, потому что в последних он был бы совсем неуместен. Г-на Гончарова, очевидно, ввело в соблазн то, что новейшие физиологи у низших организмов признают душу и что наши ученые переводят трактаты об этом на русский язык; но он упустил из виду, что душа, признаваемая у этих животных, есть душа скотская, ни на какое бессмертие не претендующая. Может быть, его соблазнило еще то обстоятельство, что новейшая философия все больше и больше отдает предпочтение антропологическому принципу перед метафизическим и что книжки об этом также переводятся на русский язык; но антропология говорит только о том, каким путем достаются человеку ощущения, но до бессмертия души опять-таки не касается. Повторяем, бессмертие души составляет область особую и непререкаемую. Мы знаем множество отличнейших химиков и физиологов, которые весьма нелепостно производят опыты над разложением и свойствами материи, но это нисколько не мешает им быть ревностными христианами. Вы скажете, может быть, что это химики благонамеренные, а есть химики неблагонамеренные. Прекрасно. Но так как химические опыты всегда одинаковы, всегда равны себе, то очевидно, что благонамеренность или неблагонамеренность лиц, занимающихся ими, не имеет никакой необхо-

димой связи с предметом их занятия и зависит совсем не от опытов.

Остановить производство опытов нельзя; вы сами будете протестовать *против этого, потому* что, без *этих предварительных* опытов, случись вам быть больным, нельзя будет разгадать свойства вашего недуга, нельзя будет указать средства для его исцеления. О чем же, собственно, идет речь? О том ли, что Волохов имел минуту ребяческого удовольствия сказать, что он химик и в этом качестве не признает бессмертия души? С охотой уступаем ему эту минуту, но все-таки не можем признать за ним качеств типа, потому что слова его или, лучше сказать, слова, сказанные за него г. Гончаровым, составляют только случайную и ничем не подкрепленную выходку, которая ни в каком художественном произведении основанием для создания типа служить не может.

Агитирует Волохов, в обществе Веры и попадьи, против бессмертия души и в жару агитации забывает, что есть вопрос гораздо более простой и гораздо более близкий: вопрос о том положении, в котором он сам находится, и находится, конечно, не по своей воле. Мало того: в жару агитации он употребляет слова не в собственном их значении. Он говорит о толпящихся мошках и называет это «бестолковым процессом жизни»! Этот физиолог, химик и физик не понимает даже, что такой процесс жизни для мошек есть, напротив, самый толковый; для человека же он тоже небестолков, по той причине, что невозможен. Можно, конечно, себе представить уличную толпу, кружащуюся, подобно мошкаре, на солнечной стороне Невского проспекта, но нельзя сказать, чтоб это кружение могло сделаться жизненным законом даже для толпы самой малосмысленной.

Но самый *любопытный обвинительный* пункт против Волохова заключается, конечно, в том, что он требовал честности, правды и добра в жизни и за это ничего не обещал. Как мы ни усиливаемся угадать, что̀ бы такое мог обещать Волохов за честность и правду,— угадать не можем. Мы склоняемся к тому убеждению, что в его положении он не мог обещать даже годового оклада жалованья. Располагал ли он не только вечностью, которою никому из смертных располагать не дано, но даже самомалейшим правом обещать что-нибудь в будущем? Нет, потому что вечность и награды в будущей жизни может давать только учение, называемое откровением. Он был скромен; он понимал, что есть сферы, за пределы которых переступать человеку нельзя,— он и не переступал. Он требовал, говорите вы, честности, правды и добра в жизни; но ведь это все, чего он имел право требовать, ибо то осталь-

ное, о чем вы беседуете, прилагается само собою, как естественное последствие честной или бесчестной жизни, доброй или злой. Вот Вера — та мыслит на этот счет посолиднее. Она в особенности думает о наградах и даже, по-видимому, знает, когда они даются, ибо говорит о чем-то таком, что̀ заставляет человека работать над собою, чтобы именно *к концу жизни* стать лучше и правдивее. Однако, по нашему мнению, она думает так ошибочно. Действительно, есть нечто такое, что̀ заставляет человека работать над собою, чтобы сделаться честным, добрым и правдивым, но не только *к концу жизни,* а и в продолжение всей жизни. Следуя теории Веры, можно попасть в большой просак; ибо известно, что бог в смерти и животе человека волен, и конца жизни никто определить не может; стало быть, если нравственное очищение приготовлять только как закуску к концу жизни, то можно пропустить удобную минуту и умереть неочищенным и непросветленным Мы думаем даже, что теория Веры во всяком случае безнравственнее, нежели теория Волохова; она напоминает раскольничий догмат: *несогрешивый не спасется,* на основании которого человеку предоставляется делать всякие нравственные безобразия в чаянии замолить их. Мы с охотой соглашаемся, что молитва очищает, но ежели ее цель корыстна, если она повторяется только при известных и всегда однородных условиях, то становится обрядом, лишенным внутреннего значения. Затем наступает то *неистовое махание,* которому религия не только не придает значения добродетели и подвига, но даже преследует.

Таким образом, выходит, что г. Гончаров, желая раскрыть перед читателями некоторые стремления современности, желая ввести их в область того *неверного,* которое, по мнению его, царит над этими стремлениями, не пошел дальше области *недозволенного,* которую и смешал с неверным. Это и понятно, потому что признаки *неверного* очень сложны и, во всяком случае, не так легко достаются, как признаки *недозволенного.* Но замечательнее всего, что даже эту последнюю область (достаточно, впрочем, обширную) автор сумел запутать разными соображениями Веры, которые, во всяком случае, ни для кого не обязательны. Можно до известной степени понять (хотя и трудно), что общество недоверчиво смотрит на химические и физические опыты, на разложение материи, что оно видит в этом «дерзкое отрицание всего, от начала до конца», и, следовательно, не слишком поощряет подобного рода занятия; но что касается до того, как думает об этом кузина г. Райского и каких она ждет для себя от того последствий,— никому в голову не придет и справляться об

этом. Область недозволенного достаточно велика, но она определенна, и это, по крайней мере, избавляет от недоразумений тех, которые имеют надобность справляться с нею. Она не запрещает производство химических и физических опытов, она допускает разложение материи — вот все, что нужно знать. Никто, ни даже хорошенькая Вера, не вправе инсинуировать, что за физическими и химическими опытами скрывается разрушение чего-либо другого, а не невежества. Это не ее ума дело.

Но если стремление к познанию сил и свойств природы, стремление ввести в жизнь элемент сознательности может привести только к погибели, то что̀ же, по крайней мере, может, по мнению Веры, спасти нас от оной? А вот что̀: прочное, живое и верное, заключающееся в старой жизни. Напрасно вы будете искать истолкования этих слов — в ответ вы получите те же слова или бесконечную перестановку их: что̀ такое прочное? — это живое и верное; что̀ такое живое? — это прочное и верное; что̀ такое верное? — это прочное и живое. Почему одно прилагательное поставлено прежде, другое — после?

Темно всюду, глухо всюду
Быть тут чуду, быть тут чуду!

Однако ж не только чуда, но даже и самого простого указания нет. Взгляните на всех этих людей, которые противопоставлены Волохову (он сам их же поля ягода; но так как автору непременно хочется сделать из него демоническую силу, то мы невольно подчиняемся его намерению), и вы увидите, что нет ничего более непрочного, ничего более пораженного мертвенностью, более неверного, нежели их жизнь. Это даже не жизнь, а колеблющиеся шаги или ползанье младенца. Бабушка ползает, Ватутин ползает, Райский ползает — все ползают, все щупают наугад и, нащупавши тряпицу, выброшенную людьми сороковых годов, воображают, что эта тряпица причина всех их несчастий. А несчастье их в том-то именно и заключается, что они ничего не видят, ничего не сознают, что их действия без начала и без конца, что они никогда не знают, куда идут и для чего предпринимают то или другое действие. Эту ли жизнь можно назвать прочною, живою и верною?

Но примиримся со словами; допустим, что пустой звук может иметь значение, что такие выражения, как «прочное», «живое» и «верное», могут нравиться сами по себе. Но ведь надобно же наполнить их каким-нибудь определенным содержанием? Каким же? — На это мы ответим: сознательным от-

ношением к природе и жизни, стремлением раскрыть законы, управляющие ими, и уменьем воспользоваться этими открытиями. Вот единственный выход из области ползания и ощупывания и единственный способ найти «прочное», «живое» и «верное».

Защита невежества — вещь очень легкая и всегда сочувственная уличной толпе, но не думаем, чтоб мы находились в таком положении, когда подобная защита может считаться даже временно полезною. Везде она приносит только вред и может найти себе оправдание лишь в глазах очень близоруких людей; но у нас она принесет вред сугубый. Мы так недалеко ушли от воззрений «голубиной книги»; в нашей уличной статистике числится еще такое множество «пупов земли», что чуть ли не каждая губерния считает себя обладательницей своего собственного «пупа»; притом мы с такою неохотой расстаемся с воззрениями, завещанными нам преданием, с таким принуждением пристаем ко всему, что̀ будит нашу мысль, что, право, больше нежели странно укорять нас в какой-то разнузданности, в каком-то стремлении ниспровергать кумиры и разрушать предания. Бросать камень в людей за то только, что они *ищут,* за то, что они хотят стать на дороге познания, за то, что они *учатся,* и бросать этот камень, не дав себе даже предварительного отчета, в чем заключается сущность стремлений этих людей,— вот подвиг, которого неловкость и несвоевременность, по нашему мнению, не может подлежать спору.

К сожалению, такого рода неловкий и несвоевременный подвиг совершил г. Гончаров своим романом «Обрыв».

НАСУЩНЫЕ ПОТРЕБНОСТИ ЛИТЕРАТУРЫ

(Свобода речи, терпимость и наши законы о печати, СПб. 1869)

Он как сирена сладкогласен,
И как сирена был опасен...

Ничем мы так не богаты, как толками о так называемых излишествах российской прессы. Они возникают и по случаю, и без всякого случая, возникают беспорядочно, и ежели по временам стихают, то для того только, чтобы вслед за тем воспрянуть с новою силою. По-видимому, литература уже дошла до той степени изнеможения, при которой невозможны ни вопросы, ни споры, ни возражения, а допускается лишь простое утверждение грубых уличных истин, вроде пропове-дуемых современными беллетристическими знаменитостями, но и это начинает казаться уже недостаточным. Памятуя свои недавние неудачи и отомщая их, торжествующая легковес-ность не довольствуется столь тощим результатом, как про-стое безмолвие. В самом молчании она начинает видеть про-тест и заподозривает «вредное направление». Мало, что лите-ратура не говорит; нужно, чтоб она приходила в энтузиазм или в негодование, смотря по тому, на какое из этих прояв-лений имеется требование на рынке.

Поборников уличных воззрений на литературу и ее при-звание в обществе становится все больше и больше; они рас-пложаются как головастики в тихих и забытых водах. Но, сознавая себя многочисленными и сильными, они не почер-пают в этом сознании ни терпимости относительно чужих мнений, ни даже равнодушия, а почерпают только вящую злобу и притязательность. «Передайте журналистам,— писал Наполеон I-й к Фуше,— что я буду судить о них не по тем вредным мыслям, которые они будут высказывать, а по тому отсутствию благонамеренности, которой они не выскажут» (Lanfrey. Hist. de Napoléon I-er. T. III, ch. V). Эти чудовищные слова составляют весь кодекс легковесности, которая любит

ссылаться на сильные авторитеты во всех случаях, когда идет речь о стеснениях.

Что̀ такое упоминаемая здесь «благонамеренность»? Это, очевидно, согласие истин, высказываемых литературою, с истинами, провозглашаемыми улицей. Скажем более: это не только согласие, а просто-напросто подчинение первых последним. Учение об авторитетах переворачивается вверх ногами; вопреки всем преданиям, не толпа идет за авторитетом литературы, но от литературы требуется, чтобы она шла слепо за авторитетом уличной недальновидности, колебаний и переменчивости. Нигилизм, горший всех доселе открытых сортов нигилизма. И вот к такому-то нигилизму хотят привести русскую литературу наши легковесные, наши алармисты и наши обскуранты.

Ни для кого не может подлежать сомнению, что люди заурядные, которых жизнь не представляет поводов для серьезного умственного труда, люди, исключительно посвящающие себя кропотливым заботам об удовлетворении интересов дня, находятся в наименее благоприятных условиях относительно возможности выработать для себя идеалы или какие бы то ни было твердые руководящие истины. Идя ощупью, слепо доверяясь одним внешним признакам фактов, они не могут обладать ни критериумом, при помощи которого раскрывалась бы внутренняя сущность явлений, ни возможностью делать из своих наблюдений действительно полезные и прочные применения. Истины, которые им известны, суть истины, добытые путем эмпирическим, истины бессодержательные, лишенные действительной достоверности и потому не приложимые ни к какому явлению, сколько-нибудь сложному. Голая и грубая конкретность, наружный вид вещей — вот материал для великого множества афоризмов, наполняющих сокровищницу практической мудрости. В числе этих афоризмов не отыщется ни одного, который представлял бы удовлетворительную исходную точку, ни одного, в котором можно бы отыскать малейший признак реальности. Все это общие места, не заключающие в себе ничего, кроме праха. Отсюда та горькая необходимость, которая заставляет неразвитого человека останавливаться в недоумении перед всяким новым явлением и заменять доказательства и выводы произвольными догадками и подозрениями; отсюда — сбивчивость и расплывчивость определений; отсюда, наконец, невозможность овладеть сущностью факта и произнести ему верную оценку. Слепота, нерешительность и страх неизвестного — вот неизбежные спутники умственной неразвитости. Но не голая слепота, а слепота авторитетная. «Стало быть, я право мыслю,— рассуждает

неразвитый человек, обманываемый подтверждениями окружающей его конкретности,— если и А., и Б., и все соседи мои мыслят точно так же, как и я». И, подкрепленный таким силлогизмом, он не считает себя даже обязанным подвергать свои суждения какой-либо проверке, но прямо с негодованием и злостью взирает на всякое движение чьей бы то ни было мысли за пределы того эмпиризма, который составляет скудный умственный капитал его.

И вот эти-то люди, эти слепорожденные, которые шагу не могут сделать в жизни, чтобы не запутаться, они-то именно и считают себя вправе предъявлять претензию, чтобы литература была не чем иным, как бессознательным эхом их мнений и убеждений. С первого взгляда такого рода претензия может показаться странною, но увы! ежели мы вспомним, во-первых, что невежество до сих пор составляет компактную массу, на стороне которой находится материальная сила, во-вторых, что невежество, выработавши известные истины, в которых, по его мнению, заключается «прочное, живое и верное» жизни, инстинктивно все-таки понимает, что это «прочное» способно разлететься при одном прикосновении к нему анализа, и, в-третьих, что разрушение этого «прочного», в понятиях людей неразвитых и недальновидных, непременно сопрягается с мыслью об ущербе для их благополучия,— то для нас сделаются понятными и те усилия, которые предпринимаются для умерщвления свободы слова, и те нетрудные успехи, которыми эти усилия обыкновенно сопровождаются.

Но все, что̀ сказано выше о неразвитом человеке, как о неделимом, может быть буквально применено и к малоразвитым обществам, с тою лишь разницею, что тут недостатки неразвитости являются в громадных размерах и дают себя чувствовать с подавляющею силою. Общество, точно так же как и отдельный человек, может довольствоваться одною эмпирическою истиной и изнывать под гнетом неизвестности, которую влечет за собой неисследованность явлений природы и жизни и неопределенность отношений к ним. Все различие в том, что в первом случае мятется и волнуется страхами бессильная единица, а во втором — сильный и многовлиятельный легион.

Этим, однако ж, дело не ограничивается. И общество, и отдельный человек не остаются при одних требованиях, но стремятся сообщить этим требованиям обязательную силу, обеспечить их исполнение в жизни. Нелепое и близорукое убеждение ложится в основу целого порядка вещей, дает начало какой-то фантастической действительности, которая предъявляет все признаки действительности заправской. Что

нужды, что основы этой действительности принадлежат к числу тех, которые наиболее подвержены всякого рода колебаниям,— это нимало не устраняет обязательности признания их, а только усиливает трагичность положения. Ибо нет унижения более горького, как чувствовать, что гнет идет из ничтожества, и в то же время сознавать все бессилие освободиться от этого гнета. Чем больше колебаний представляют мнения толпы, тем капризнее и своенравнее становятся ее требования и тем тяжелее делается необходимость справляться с ними. Что̀ вчера возбуждало похвалу, то сегодня становится предметом порицания — в силу чего? где тот общественный физиолог, который в состоянии распутать этот наглухо завязанный узел, найти выход в этом заколдованном круге? Такого физиолога еще нет, а пока он не народится, подобному явлению нельзя дать другого объяснения, кроме того, что тут и похвала, и порицание — одни пустые звуки, вызванные призраками, временно овладевшими толпою.

Очевидно, что при таком призрачном составе элементов, питающих общественное мнение, двигателем суждений и приговоров его может быть только беспрерывно запутывающийся в всевозможных противоречиях произвол. Нельзя ни к чему примениться, нельзя ничего предвидеть. Мысль не может определить, что̀ постигнет ее в дальнейшем развитии, какие двери отворены ей, какие полуотворены и какие заколочены наглухо. Все отворены и все заколочены. Легковесность тем и страшна, что она ни от чего не предостерегает и ничего не объясняет, а только подстерегает и извращает. Если ей недоступна сущность мысли, то она подстерегает или способ ее выражения, или ту ее необычность, которая всего более возбуждает ее подозрительность. Это последнее качество, заключающее в себе несогласие мысли с ходячими убеждениями толпы, и составляет то, что̀ слывет на уличном языке под названием «вредного направления».

Что подобное зависимое положение литературы совершенно истощает и подрывает ее силы — это всего лучше доказывается самыми толками о «литературных направлениях», по поводу которых мы повели нашу речь. При всем своем разнообразии, они дают материал только для одного вывода — для вывода о невозможности существования литературы в виду произвольности того мерила, которое прилагается к ней ее самозванцами-ценовщиками. Уже одно то, что у нас как будто принято за правило не иначе относиться к литературе, как с затаенной мыслью в чем-то ее обвинить; одно то, что самым удобным содержанием для этих обвинений служат не факты, имеющие за себя, по крайней мере, вразумительность,

а «направление»,— выражение в высшей степени растяжимое, способное вместить в себя всевозможные страхи, накопившиеся в груди каждого досужего алармиста,— одного этого, конечно, достаточно, чтоб убедить, до какой степени у представителей нашего уличного мнения незрела способность доказывать и анализировать и с какой охотой они отыскивают противовес этой неспособности в легкой возможности прикрывать ее расползающимися во все стороны и лишенными точного смысла определениями. В глазах легковесности вся литература, за исключением тех ее органов, которые добровольно взяли на себя роль вместителей уличного праха, есть вертеп, в котором накопляются всякого рода противообщественные коварства и измышляются всевозможные ковы против основных начал цивилизации. На чем основано такое мнение? какие доказательства его справедливости? — на эти вопросы, конечно, не сыщет ответа ни один алармист, так как вряд ли кто-нибудь из них даже понимает значение слова «цивилизация»; но и за всем тем, ни один из них не отступится ни от «вертепа», ни от «коварства», ни от «ков»: до такой степени выражения эти подходят к росту толпы. Изрекая свои приговоры, самонадеянная легковесность руководствуется не рассудком, а инстинктами и теми подтверждениями, которые дает этим инстинктам конкретность совершающихся фактов. Ей не надобно ни доказывать, ни обусловливать свои суждения; ей достаточно испустить хищный крик, самодовольно перечесть по пальцам бессодержательную номенклатуру того «прочного, живого и верного», которое составляет содержание уличной мудрости, чтоб улица всплеснула руками от умиления и все соседи до единого согласились: стоять твердо против набегов мысли.

Таков, в большей части случаев, бывает приступ к суждениям о литературе в тех общественных сферах, которые почему-то возмечтали, что право судить и рядить о ней им прирожденно; приступ, как видится, и сам по себе богатый обвинениями довольно капитального свойства. Но, увы! как ни усиливаются эти обвинения казаться увесистыми, литература все-таки не может уяснить себе их. На каждом шагу она встречается с ядовитым общим местом, слышит страшные слова, но, путаясь в их темном разнообразии, все-таки не приходит ни к какому положительному результату. На чем, в самом деле, остановиться? Не естественнее ли и не согласнее ли с существом дела остановиться на мысли, что то неизвестное и смутно формулируемое, которое держит литературу в постоянной тревоге, в сущности, составляет только массу подозрений, не имеющих ни малейшего характера улики, ни

тени реального основания? что, стало быть, не для чего и пытаться объяснять то, что само себя объяснить не может, а просто бьет сплеча, куда попало, когда попало и как попало?

Но делать нечего; каковы бы ни были мнения литературы насчет пускаемых в нее обвинений, надобно покориться. Надобно стараться не быть «вертепом», надо прекратить «ковы», надо придумать объяснение тому, что́ не находит слов для своего собственного объяснения.

В сумятице возгласов, толкований и обвинений, раздающихся по поводу литературы, можно различить одну господствующую ноту, а именно, можно понять, что дело идет об отношениях литературы к миросозерцанию, завещанному преданием и имеющему ход на рынке. Первый вопрос, с которым встречаются наши алармисты на этой почве, есть следующий: может ли быть допущено самое существование подобных отношений? Затем, в случае утвердительного разрешения этого вопроса, выступает второй: какого рода должны быть эти отношения? Постановка этих задач и способ их разрешения естественным образом делят наших алармистов на два лагеря: на радикалов, не хотящих слышать ни о каких соглашениях, и на людей более податливых и в то же время более хитрых, которые охотно идут на соглашения, видя в том наилучший способ если не совершенно устранить, то, по крайней мере, отдалить опасный вопрос на неопределенное время.

Радикалы, как и всегда, откровеннее и в то же время последовательнее. Это по большей части современники «Аонид» и «Подснежников», люди, в сущности, очень кроткие, в тоске по Хлое влачащие последние дни своего существования, но воспользовавшиеся уничтожением крепостного права, чтобы ожесточиться. Они не различают ни злокачественности, ни доброкачественности литературных направлений; по их мнению, все направления одинаково злокачественны, одинаково растлевают литературу, потому что все предполагают непременное участие мысли. Мысль, каково бы ни было ее содержание, есть нечто разрушающее всевозможные твердыни, отмыкающее без ключа всевозможные замки. Если допустить мысль к составлению афиш, то она и тут найдет возможным отворить какую-то дверь, которую с первого взгляда невозможно даже заприметить. Из имени певицы Патти, актера Васильева она устроит протест, который будет тем опаснее, что никто его не поймет, и всякий станет придавать ему тот смысл, который подскажет большее или меньшее досужество. Литература должна быть проводником не мыслей, а приятных отдохновений. Это цветник, в котором каждый цветок в отдельности и все цветки в совокупности должны благоухать и ра-

довать глаза разнообразием колеров, должны умирять ум и чувство человека, но отнюдь не действовать на них возбудительно. Фет как стихотворец, Григорий Данилевский как романист, Шубинский как историк, Страхов как критик, и Фрол Скабеев как драматург — вот имена, любезные современникам «Аонид». Соберите эти цветки вместе, говорят они, посадите их в одну клумбу — и вы действительно получите цветник.

Люди соглашения, имея в виду тот же или почти тот же результат, приходят к нему путями более извилистыми. Они поняли, что радикальное отрицание участия мысли невозможно не только в сфере литературной деятельности, но даже при покупке домашней провизии, и потому говорят, что дело совсем не в наличности этого пагубного элемента, а в его регламентации и в отнятии у него средств быть пагубным. С этою целью они полагают устроить отношения литературы к действительности таким образом, чтобы в них не заключалось никаких попыток к анализу, а тем менее к обличению, и чтобы дело ограничивалось пропагандой всякого рода отвлеченностей, которые возвышают дух масс и скрывают от их внимания те вопросы, которыми им не следует заниматься. Que les méchants tremblent, que les bons se rassurent![1] — восклицают поборники соглашения и смело обзывают друг друга либералами за то одно, что не подвергают мысль совершенному затемнению, а предоставляют ей какую-то область, в которой она может упражнять свои силы сколько угодно. Кто эти «добрые», о которых идет речь? — Это те, которые стремятся к «прочному и верному», не спрашивая, в чем оно заключается Кто «злые»? — Это те, которые требуют разъяснений и доказательств. Толпа любит отвлеченности не потому, чтобы они были действительно понятны, а потому, что они *как будто* понятны. Названия их так часто щекотали ее слух, что она, даже ничего не уразумевая, видит в них что-то родное и знакомое. Нужно пройти очень большой путь, нужно рутине самой, целым рядом неудач, убедиться в необходимости дать себе отчет в обладаемых ею истинах, чтобы та или другая отвлеченность сошла с пьедестала и обнаружила свое ничтожество. Люди соглашения в совершенстве поняли этот вкус толпы и, вследствие того, все усилия направили к тому, чтоб поддержать его и в то же время парализировать те последствия испытующей мысли, которые могут приблизить катастрофу исследования. Пусть мысль не разоблачает фантастичности того, в чем толпа видит верное и прочное, пускай она

[1] Пусть злые трепещут, пусть добрые взирают с доверием!

питается теми же отвлеченностями, которые приходятся по вкусу толпы, пускай придумывает для них наилучшую фразу — тогда она верно поймет свое назначение, и путь ее будет устлан не терниями, а цветами. Ей простятся все излишества, все увлечения так называемого «направления», ибо это последнее, своею достолюбезностью, покроет горечь увлечений. И не только простятся, но даже вменятся в добродетель, потому что иногда увлечения способны принимать некоторый вид независимости, а независимость, как понятие отвлеченное, тоже не противна толпе.

Само собой разумеется, что этот разлад между поборниками одних и тех же целей не обходится без некоторых разговоров и разъяснений.

— Не нужно совсем направлений! — восклицают современники «Аонид»,— потому что, допустив однажды направление достолюбезное, вы не успеете оглянуться, как рядом с ним прокрадется другое, которое ничего, кроме хлопот, вам не принесет. Фет, Страхов, Фрол Скобеев — вот единственная литература, совместная с требованиями благоустройства!

— Позвольте, милостивые государи! — возражают люди соглашения,— страх увлекает вас слишком далеко. Вы забываете, что относительно вторжения вредных направлений мы достаточно обеспечены существованием всяких органов, которые поставили себе задачей отыскивать «вредное» в самых сокровенных изгибах человеческой мысли и всенародно указывать на него!

— Все это слова, слова и слова! — вновь вопиют радикалы.— Мудрость веков гласит так: если однажды допущена возможность обсуждать что-либо, кроме качества привозимых к Елисееву колониальных товаров, то трудно предположить, чтобы эта возможность удовлетворилась какими-либо иными границами, кроме тех, которые она отыщет себе сама!

— Но мудрость веков гласит и так: на нападающего бог! Взвесьте, милостивые государи, силу этого афоризма да пристегните-ка к нему целый арсенал всякого рода предупредительностей и карательностей, и вы увидите, что беспокоиться не об чем! — И т. д. и т. д.

Вот между каких двух старцев находится эта новейшая Сусанна, называемая русскою литературой. И надо сказать правду: покуда литература сама спокойно, но энергически не заявит протеста против этого неестественного плена, или, по крайней мере, не выразит, что нахождение в плену отнюдь не представляет необходимого условия для ее процветания,— зависимости ее от грубых притязаний уличного консерватизма едва ли можно предвидеть скорый конец.

К счастию, современное бессилие русской мысли уже начинает тревожить литературу нашу в такой степени, что сетования на стеснение свободы речи делаются явлением довольно общим и громко свидетельствующим о настоятельности тех потребностей, которые за ним скрываются. Будут ли эти сетования настолько убедительны, чтобы привести за собой действительные облегчения — это вопрос другой, но несомненно, что они, во всяком случае, выводят общественное мнение из заблуждения и показывают ему, где заключается настоящий источник тех недоумений и недомолвок, среди которых путается наша литература.

К числу таких полезных заявлений, указывающих на действительные причины нашего литературного бессилия, а равно и на то вредное влияние, которое оказывает это бессилие на нашу общественную жизнь, принадлежит и книга, которой заглавие выписано нами выше. Мысли, которые неизвестный автор приводит в своем сочинении, изложены им в сжатом виде в предисловии к книге. Вот извлечение из этого предисловия:

Главная причина, почему многие не сочувствуют не только свободе речи, но даже вообще просвещению, состоит в том, что они видят в свободной речи и в просвещении уменьшение для своего счастия. Автор старается наглядно доказать, что, препятствуя развитию слова и просвещения, самые высокопоставленные лица уменьшают, собственно, свое счастие, что те, которые действовали таким образом, делали это только потому, что не в силах были составить себе ясное понятие об условиях счастия. Другие опасаются, что свобода речи распространит чрезмерно быстро известные политические идеи и породит преждевременные стремления. Здесь доказывается фактами, что свобода речи не может ускорить распространения политических идей, а стеснение речи не может его замедлить; все, что может сделать свобода, состоит в том, что она распространяет идеи в более зрелом виде, при стеснении же они принимают характер непрактических восторженных мечтаний, и развитие государства делается болезненным и сопровождается потрясениями. Общество не может обходиться без умственного развития, достаточного, чтобы держать его на уровне самой высокой цивилизации. Здесь доказывается примерами, что, при недостатке такого умственного развития и при господстве духа нетерпимости, общества погибали, несмотря на самые мудрые социальные учреждения и обычаи... Затем показывается то нравственное состояние, к которому приводится общество через стеснение речи; оно порождает в народе страсть к заносчивой политике и в то же время совершенную неспособность приносить жертвы, необходимые не только для заносчивой, но даже для самой умеренной политики; упадок патриотизма в народе прямо пропорционален степени стеснения слова... Доказывается историею, как подобное состояние приводит эти общества к тому, что в них большая часть государей делают великие реформы, прославляемые историею, и, несмотря на это, положение остается таким же безотрадным, каким оно было вначале. Далее разъясняется, почему в странах свободного слова более благоденствия даже при совершенном отсутствии реформ и почему политическое равновесие там устойчивее. Затем указывается на появление и распространение духа религиозной нетерпимости и показывается, что свобода слова — единственное

средство для уничтожения религиозной и национальной вражды... Историею XVIII века доказывается, что государства, в которых свобода слова убивается окончательно, в самом скором времени доходят до азиатской бедности и азиатского варварства всех частей общества; там, где свобода эта стесняется только отчасти, порождается взаимная ненависть между различными слоями общества и всеобщее неудовольствие, государство отдается на жертву или внутренним беспорядкам, или внешнему завоеванию. Историею революционного периода конца XVIII и начала XIX века доказывается, что каждый раз, когда правительства хотели сделать или великое преступление, или великую глупость, они прибегали к стеснению речи, что это стеснение равнялось для них самоубийству и что бедствие было бы устранено, если бы сохранялась свобода. Те государства, которые в это время успели получить или сохранить <убеждение в необходимости свободного слова, не только сохраняли> полное спокойствие и правильное развитие, но от состояния постоянных внутренних мятежей и раздоров переходили к полному спокойствию...

По нашему мнению, в этих немногих словах очень верно указаны как причины, возбуждающие в неразвитых людях недоброжелательство к свободе речи, так и те задачи, которые может иметь в виду литература и выполнение которых, собственно, и навлекает на нее все гонения. Оговариваемся, впрочем, что мы разумеем здесь литературу в серьезном значении этого слова, а не те рыночные изделия и произведения печатного слова, которые не имеют с ней ничего общего.

Эти задачи, или, лучше сказать, единственная задача, которую имеет в виду литература, есть исследование истины. Иных задач нельзя даже предположить, ибо литература есть не что иное, как фокус, в котором сосредоточиваются высшие стремления общества; общество же, в свою очередь, в видах собственного самосохранения, не может желать ничего другого, кроме истины. Истина есть умиротворение общества, есть устранение тех неопределенностей и случайностей, от которых оно страдает; истина, наконец, есть открытие положительного закона, который имеет уяснить отношения человека к человеку и к природе, положив им в основание твердые и для всякого вразумительные начала. Человек самый незрелый не может иначе смотреть на это дело и ни в чем другом не ищет успокоения, кроме истины. Эта жажда примирения с возникающими на каждом шагу сомнениями так настоятельна, что она, и только она одна, заставляет его останавливаться на тех эмпирических афоризмах, которые хотя и не приносят действительных разрешений, но временно и по наружности все-таки кое-что улаживают. Спросите любого прохожего, желает ли он знать истину своего положения и правду тех средств, которые ведут к его улучшению, и вы, несомненно, услышите ответ утвердительный. Не по тому одному ответ этот будет благоприятен, что слишком бесцеремонное

отречение от истины противно человеческой совести, но и потому, что обладание истиной приносит несомненную выгоду. Все заблуждения людей и обществ насчет несвоевременности и даже вредности истины происходят отчасти от того, что они, по своей незрелости, охотно довольствуются разрешениями мнимыми, а главным образом от того, что они желают обладать истиною готовою, иметь ее сейчас, и не принимают в расчет того тяжелого процесса, который предшествует ее приобретению. Устраните мысленно это обстоятельство, устраните непривычку неразвитых людей обращаться в области мысли и тот гнет насущных потребностей, который не дает им ни минуты досуга, необходимого для спокойной умственной работы, и вы убедитесь, что даже в их глазах попытки, делаемые с целью обретения истины, не только не заключают в себе ничего предосудительного, но даже желательны.

Таковы действительные отношения человека и общества к истине, если очистить их от тех условий незрелости и невежественности, которые их запутывают. Ясно, что литература, которая ничего другого не делает, как формулирует требования человеческой и общественной совести и дает им надлежащую постановку, не может в этом случае стоять ниже уровня индивидуального и общественного. Но этого недостаточно; она всегда идет далее общества, всегда видит истину ближе, ибо, во-первых, обладает большею против него суммою знаний и, во-вторых, имеет в своем распоряжении более твердые и выработанные приемы, нежели та завещанная преданием рутина, которою располагает большинство.

Но ежели истина составляет исключительную цель стремлений науки и литературы, ежели она в то же время призывается и общечеловеческою совестью, как единственное благо, которое может умиротворить общество и дать ему прочные основания, то очевидно, что исследование ее не может заключать в себе ничего опасного или подлежащего преследованию. И действительно, в целом мире едва ли мы сыщем такие законы, которые высказывались бы прямо, что искать и формулировать истину воспрещается, а воспрещается проводить и формулировать заблуждения Принцип свободного исследования признается неприкосновенным относительно истины и ограничивается лишь тогда, когда идет речь о заблуждениях. Но здесь естественно возникает вопрос: что̀ такое заблуждение? и может ли литература распространять такие заблуждения, которыми бы масса уже не обладала в сугубой степени?

При современном положении знаний ни литература, ни наука не могут, конечно, сказать, что они обладают идеаль-

ной истиной. Покамест дело идет только о разработке второстепенных вопросов, имеющих более или менее близкое отношение к истине идеальной, о постановке их на естественной их почве, о том, наконец, чтобы наметить тот путь, которому они должны следовать в дальнейшем своем развитии, и те комбинации, которым они имеют подвергнуться ввиду интимной связи, между ними существующей. Формула истины идеальной — счастье, гармония — слишком обширна, чтобы можно было ограничиться написанием ее на каком бы то ни было знамени, не рискуя при этом впасть в фразерство. Не потому фразерство, чтобы истина, формулированная таким образом, была сама по себе бессодержательна, а потому, что содержание ее недостаточно выработано и приготовлено. Вот этой-то подготовке и посвящают себя литература и наука в их современном состоянии; но так как элементы этой подготовки до крайности сложны и разнообразны и, сверх того, требуют чрезвычайной дробности в распределении труда, нужного для их разработки, то весьма естественно, что эта разъединенность и дробность могут представлять обширное поприще для всякого рода недоразумений, заблуждений и ошибок.

Таинственность, которая облекает законы, управляющие природою, и те беспрерывные поправки, которым подвергается знание с каждым новым открытием, не только имеют решительное влияние на подготовительную работу литературы и науки, но и видоизменяют воззрения на главную цель ее стремлений, на истину идеальную. Человек не иначе судит о будущем, как по тем задаткам, которые представляются ему в настоящем. Степень умственного развития каждого деятеля и бóльшая или меньшая сумма приобретенных аксиом, конечно, занимают главную роль в этих воззрениях; но немалое значение имеет и та легкость, с которой один деятель может опровергнуть или, по крайней мере, заподозрить достоверность приобретений, сделанных другим. Отсюда великое множество направлений, преследующих одну и ту же цель, но понимающих ее каждое с своей точки зрения. Объясним нашу мысль примерами.

Есть люди, которые видят истину жизни в правильной организации человеческого труда и в равномерности распределения благ, производимых воздействием этого труда на творческие силы природы. Изучая историю человечества, они открывают в ней, что корни политических вопросов всегда заключались в экономическом положении тех стран, в которых они возникали, и что, следовательно, устранение общественных затруднений может быть достигнуто только при помощи разрешения экономических вопросов, и притом такого разре-

шения, которое удовлетворяло бы ожиданиям заинтересованного в том большинства. Такое воззрение на истину жизни дает начало школе социально-экономической.

Есть другие, которые видят истину в расширении политических прав человека, а идеал общественного устройства — в политическом равенстве. Задачи, к разрешению которых стремится школа социально-экономическая, они относят к разряду второстепенных, и хотя не отрицают значения экономических вопросов, но подчиняют их отвлеченным целям свободы и равенства. Это люди школы политической, которая и поныне не утратила своего господства в Европе.

Третий пример — школа реалистов, которые поставили себе задачей определение отношений человека к природе, раскрытие законов, управляющих последнею, и освобождение общества от призраков, которые задерживают его развитие.

Четвертый пример — школа спиритуалистическая, утверждающая, что жизнь человека должна служить некоторым трансцендентальным целям, устранение которых было бы равносильно устранению поводов к самосовершенствованию. И т. д. и т. д.

Так как истина сама в себе не может быть столь существенно разнообразна, как это представляется в приведенных нами выше примерах, то не подлежит никакому сомнению, что большинство существующих ныне литературных и научных школ проповедует то, что̀ на общепринятом языке называется заблуждением. Но ведь дело не в том, чтобы получить шаткое право голословно называть заблуждение заблуждением, а в том, чтобы заменить заблуждение истиной. До тех пор, пока не совершится этот подвиг, заблуждение не только будет de facto[1] продолжать называться истиною, но и будет иметь на это несомненное право, во-первых, потому, что каждое из них заключает в своем основании частицу истины, а во-вторых, потому, что каждое имеет на своей стороне искренность. Таким образом, мнение, которое видит в так называемых заблуждениях явление, противодействующее истине и отдаляющее ее, по крайней мере, настолько же спорно, как и то мнение, которое утверждает, что заблуждение есть не что иное, как истина в элементарном, не перебродившем состоянии.

Теперь посмотрим на вопрос с другой точки зрения; сравним те заблуждения, или, лучше сказать, недостаточные истины, которые проводятся путем литературы и науки, с теми положительными и грубыми заблуждениями, которыми обла-

---

[1] фактически.

дают массы, и спросим себя: не представляют ли, во всяком случае, первые относительно последних значительный прогресс? На этот вопрос нам яснее всего ответит первый попавшийся пример: славянофилы, ультрамонтаны, спириты, националисты, то есть те направления, которые наиболее близки к понятиям масс. Все они в неведении и бессознательности видят необходимое условие цельности жизни, все они ставят человека в безусловную зависимость от таинственных сил и таким образом как бы узаконяют его вечное несовершеннолетие. Несмотря на внутреннее согласие этой теории с практикою масс, мы должны, однако ж, сознаться, что упомянутые воззрения все-таки составляют шаг вперед противу грубых требований толпы. Уже одно то, что они вынуждены формулировать свои положения, оправдать их и до известной степени примирить с требованиями разума, представляет громадную разницу с воззрениями толпы, которая ничего не объясняет, ни на что не отвечает, а только упорствует и живет. Необходимость оправдываться и выслушивать возражения значительно очищает учения, преисполненные даже самых вопиющих предрассудков, и полагает первое звено для общения.

Но, скажут нам, не может ли прийти опасность от самого разнообразия истин, проводимых различными литературными школами? не могут ли эти школы вредно влиять на слишком простосердечные массы, утверждая их в таких убеждениях, из которых никогда не суждено родиться истине? не могут ли они, наконец, посевать в массах раздор, разделять их на разные лагери и т. п.? На это можно возразить следующее: да, такой результат мог бы иметь место, если бы школы и направления, которые разработывают истину, шли параллельно, не встречаясь друг с другом в своих изысканиях. Но в том-то и дело, что этого не бывает; самые противоположные направления встречаются между собою на каждом шагу, ибо над всеми ими витает один общий вопрос: устройство отношений человека к человеку и к природе. На этой соединяющей почве возникают все споры и делается возможным устранение тех направлений, которые не представляют достаточной устойчивости и оправданий. Но очевидно, однако ж, что это устранение может быть достигнуто только при условии совершенной свободы исследования, ибо стеснениями мы не парируем никаких опасностей, а только отдаляем открытие истины и продолжаем ту нравственную и умственную смуту, которая, несмотря ни на какие карательные и предупредительные меры, не прекратится до тех пор, пока будет существовать естественная причина, ее поддерживающая. Вот первая половина на-

шего возражения, доказывающая, что раздоры и разделения в обществе происходят не от полноты свободы, даваемой направлениям, ищущим истины, а или от ограничения ее, или от искусственного поощрения одного направления на счет другого. Другая половина возражения заключается в том, что отношения литературы к массам суть отношения свободные, что литература убеждает, а не насилует и никому не угрожает. Угрожать могут люди, власть имеющие, литература же только развивает общество до высоты обладаемых ею идеалов. Она ничего не приказывает, не врывается в обычное течение жизни, не делает в ней никаких перерывов, но ограничивается воспитательною ролью. Памятуя, что жизнь сама приходит к постановке вопросов, из которых многие могут быть предвидены и подготовлены издалека, и что такая постановка, при исключительном участии жизни, не всегда обходится без потрясений, литература не считает себя даже вправе безмолвствовать, ибо подобное безмолвие противоречило бы ее достоинству, ее охранительной роли и тому значению высшего органа общественной мысли, которым она, по справедливости, гордится. Стало быть, и в этом отношении свобода исследования не только не приводит с собой опасности, а, напротив того, предупреждает ее, давая возможность стоящим на очереди вопросам вырабатываться спокойно и разносторонне.

Чтобы сделать нашу мысль более ясной, возвратимся на минуту к приведенным уже выше примерам различных направлений и посмотрим, не заключают ли они в себе действительно чего-нибудь такого, что может угрожать обществу опасностью. Для этого выберем то из них, которое, по-видимому, всего дальше отстоит от уровня общественного сознания, а именно, направление социально-экономическое. В какой степени основания его верны — это вопрос особый, разрешению нашему не подлежащий; но спрашивается: что̀ может заключать в себе посягающего на спокойствие общества такая мысль, как та, которая лежит в основании этого направления и которая может быть резюмирована в трех словах: обеспечение человеческого труда? Не есть ли это, напротив того, цель в высшей степени желательная в глазах всякого? Достижима ли она и при каких именно условиях достижима? — это опять-таки вопрос, не подлежащий нашему разрешению, но, во всяком случае, это тот самый вопрос, разработке которого посвящает все свои усилия целая школа и в постановке которого не заключается никаких угроз. Но не заключается ли в этой мысли чего-нибудь похожего на мираж, который может тревожить общество и отвлекать его от инте-

ресов более существенных? Нет, не заключается, ибо, во-первых, школа не требует ни немедленного, ни насильственного осуществления исследуемого ею вопроса, а требует только неприкосновенности принципа свободного исследования, и, во-вторых, рядом с главною целью она выдвигает целый ряд других, более практических вопросов, которые отнюдь не имеют свойств миража, но могут прямо удовлетворять так называемым насущным потребностям общества. Таковы, например, вопросы о значении семейства в обществе, о положении права собственности и об ожидающем его будущем, о привлекательности или непривлекательности труда, о мотивах человеческих действий в отношении к вменяемости их и т. д.

Таким образом, с какой бы точки зрения мы ни посмотрели на дело, оказывается, что исследование истины есть дело само по себе непререкаемое, хотя бы некоторые взгляды на нее и не представляли совершенно твердого основания. Во-первых, эти взгляды не могут подвергнуть общество ни малейшей опасности; во-вторых, они все-таки составляют прогресс в сравнении с заблуждениями большинства и, в-третьих, наконец, если б массы и желали опровергнуть неверности, неизбежные при исследовании истины, то они недостаточно для того компетентны и могут ожидать этого опровержения только от литературы. В этом отношении автор сочинения, по поводу которого мы ведем настоящую нашу беседу, представил такое богатство примеров, доказывающих, что политические перевороты во всех государствах Европы имели источником совсем не свободу речи, а, напротив, стеснение ее, что нам ничего другого не остается делать, как отослать читателя к самой книге

Но как бы ни были сами по себе логичны и ясны некоторые выводы, они остаются долгое время неубедительными для масс, которые вообще легко осваиваются только с совершившимися фактами, а не с идеями. К числу таких выводов принадлежит и приведенный выше. Он ясен, но литература должна допустить его неясность; он логичен, но литература обязывается признать его порочным. Она допускает и признает все это, потому что есть условия, в которых логично только нелогичное, ясно только неясное, возможно только невозможное.

Итак, допустим невозможное. Допустим, что, вопреки всему нами сказанному о близорукости людей, употребляющих свои способности на то, чтобы воспрепятствовать торжеству принципа свободного исследования, сладостное право обвинения само по себе исполнено такой неотразимой преле-

сти (бывают случаи, когда на нем одном основывается положение человека в обществе), что исход для него необходим. Где искать этого исхода? Как пристроить эти мириады людей, для которых походы против литературы сделались почти второю натурою?

Ответ на это может быть один: на почве легальности, которая имеет дело только с фактами и не признает ничего подобного тому, что на языке алармистов слывет под именем направления. Это — единственный выход, который если не принесет литературе полной свободы, то, по крайней мере, укажет определенные границы и даст возможность отнестись с равнодушием к тем охочим людям, которые изнуряют ее своими набегами.

Самые естественные вопросы, которые должны возникнуть при этом, будут, очевидно, следующие: все ли направления одинаково безличны перед лицом легальности, или, следуя примеру алармистов, она имеет повод предпочитать одно направление другому, одно поощрять, другое преследовать? Может ли она, например, заявить, что для нее принцип национальностей приятнее принципа космополитизма, или наоборот? что принцип возрождения путем политическим полезнее принципа возрождения путем социально-экономическим? Может ли она допустить, что преимущественного поощрения заслуживает то направление, которое поддерживает и защищает истины, имеющие ход на рынке, а преследования и искоренения то, которое доказывает несостоятельность рыночных истин? Обладает ли она, наконец, такими средствами, которые позволяли бы ей не только произносить верную оценку различным направлениям, но даже отличить их одно от другого?

Конечно, если мы напишем на знамени легальности, что всякое стремление к чему бы то ни было, кроме утверждения в массах невежества, подлежит истязанию и каре, то задача ее значительно упростится. Стоит собрать вкупе алармистов всех возрастов и шерстей и поручить им составить примерную роспись всего, что имеет задачей противодействие невежеству, чтобы затем принять эту роспись к руководству — и цель будет достигнута. Всякий легковесный с радостью поспешит принести посильную лепту в общую сокровищницу мракобесия, и так как окончательная цель их совокупных усилий будет состоять в том, чтоб обшарить все отрасли человеческих знаний, то можно надеяться, что роспись получится и подробная, и достаточно язвительная. Это будет уже не просто заговор против свободы речи и свободы исследования, а заговор против знания вообще. Но, к счастью, самые решительные

заговоры против мысли не так-то легко выполняются, как легко задумываются. Главный недостаток подобных заговоров представляется в отсутствии руководящей мысли и в невозможности какой бы то ни было системы, что само по себе уже противоречит представлению о легальности.

Прежде всего, каждый алармист, будь он самый отчаянный, как только начнет формулировать мысль, которая должна руководить его действиями, сейчас же ощутит потребность в таком количестве исключений, которые сразу подорвут все его намерения. Это — факт очень реальный, но мы не найдем в нем ничего удивительного, если примем в соображение, что алармист все-таки человек и в этом качестве не недоступен идее о пользе знания. Предположим, что он всею душой ненавидит химию (она, дескать, полагает конец прочному, живому и верному), но где же найдет он достаточно гражданского мужества, чтоб отрицать, например, порох, которого, однако ж, без содействия химии невозможно сфабриковать? И вот первое исключение в пользу химии. Далее: за недостатком естественных минеральных вод он употребляет искусственные, которых, без знания химии, тоже составить нельзя. Вот повод для второго исключения. Идя таким образом далее и далее, обращаясь в кругу лишь самых обыденных потребностей, он наталкивается на такое множество исключений, очищающих химию от взводимых на нее обвинений, что, наконец, говорит себе: «Нет, надо оставить ее в покое, а то как раз сам сделаешься утопистом». Конечно, он и тут может найти изрядное поприще для многих злокозненностей; так, например: может составить обстоятельное описание тех случаев, когда химия достойна поощрения, и тех, когда она подлежит преследованию, но это уже ни к чему не поведет. Главная цель усилий — истребление знания — остается недостигнутой; знание стоит неприкосновенным и дразнит своего преследователя тем, что без его помощи он не может сделать ни шагу. А как скоро знание осталось невредимым, то нет той человеческой силы, которая могла бы положить ему границы. Каждое приобретение, сделанное наукой, не столько важно само по себе, сколько как звено, предполагающее приобретения последующие. Выводы знания естественны, неудержимы и бесконечны, как неудержима и бесконечна работа самой мысли, и сказать, например, химии: «Ты не должна искать ничего более, кроме практических применений к домашней кухне», значило бы то же, что сказать человеку: «Попробуй ни о чем не мыслить».

Но, независимо от тех уступок, которые каждый алармист вынуждается сделать в пользу знания, не подлежит сомнению,

что самое невежество. как оно ни любезно, едва ли может быть безусловно поощряемо. Есть много таких родов невежества, перед которыми самые ожесточенные поборники пользы невежества отступают в некотором страхе. Так, например, в некоторых местностях массы верят, что свеча, сделанная из жира мертвого человека, имеет особенные, чудесные свойства; в других местностях массы убеждены, что воровать помещичий лес не грешно, потому-де, что лес божий, а не барский. Нет сомнения, что эти убеждения составляют то «верное, живое и прочное», которым эти массы в данный момент живут, и, следовательно, с точки зрения распространения невежества, ничего лучшего и желать нельзя. Однако едва ли найдется хоть один алармист (даже из тех, которые, что называется, походя ругают литературу), который стал бы открыто на сторону простодушных поклонников свечи, скатанной из человечьего жира, а тем более на сторону отрицателей неприкосновенности помещичьих лесов. Да, таких не найдется ни одного, хотя, быть может, каждый из порицателей названных предрассудков, в свою очередь, снабжен целыми тьмами других предрассудков совершенно того же закала. Отсюда — необходимость исключений во вред невежеству, исключений, допускающих в этой темной области степени большего или меньшего невежества и тем самым нарушающих самое драгоценное ее качество, ее цельность.

Естественным последствием таких колебаний будет нескончаемая разноголосица, ибо алармисты самые опытные не в состоянии определить, где кончается невежество полезное и где начинается невежество вредное. А если мы примем, сверх того, во внимание, что каждый из них в свои оценки и определения непременно вносит и личный вкус, и личные наклонности и привычки, то убедимся, что сумятица из всего этого выйдет невообразимая и что алармисты в конце концов если не поедят, то непременно возненавидят друг друга.

Очевидно, стало быть, что заговор против знания должен потерпеть неудачу уже по тому одному, что почва невежественности, на которую он опирается, слишком зыбка, чтоб на ней можно было построить что-нибудь прочное. Но этого мало: преследование знания никогда не обходится даром тому государству, которое слишком охотно охраняет неприкосновенность невежества. Подобное государство очень скоро беднеет, теряет свое политическое значение и нередко и самую независимость. Примеры такого пагубного действия стеснения свободы исследования на развитие народной жизни и народного гения приведены автором рассматриваемого сочинения в таком числе и притом так решительны, что этого одного уже

достаточно, чтобы внушить серьезные опасения самому отчаянному обскуранту. Тут не может быть места даже для той легкомысленной надежды, которая допускает задержку в умственном развитии народа в том чаянии, что задержанное и упущенное может быть наверстано и найдено впоследствии. Да; это упущенное найдется — это несомненно, но ценой каких жертв? В этом весь вопрос...

Во всяком случае, тот образ действия, на который мы указали выше, не имеет ничего общего с легальностью, и эта последняя не может сообразоваться с ним, если бы даже была слишком податлива на уступки.

В самом деле, ежели мы вникнем ближе в смысл того понятия, которое сопрягается с именем легальности, то увидим, что главные его признаки заключаются в признании или непризнании, утверждении или отрицании Известное явление или действие признается законным, то есть совместным или, по крайней мере, не противоречащим интересам общества или частного лица; рядом с ним другое явление признается незаконным, то есть наносящим ущерб упомянутым интересам. Ни оговорок, ни сомнений тут не допускается, потому что полуутверждения и полуотрицания повлекли бы за собой совершенную невозможность согласовать с ними какие бы то ни было действия Но для того чтобы легальность имела возможность что-либо утверждать или отрицать, необходимо, чтобы она сама прежде всего основывалась на знании. Мы не о том здесь ведем речь, что она должна непременно стоять на одном уровне с тем проявлением мысли, которое подвергается ее приговору,— вопрос, достижим ли для нее такой уровень, будет изложен ниже,— а о том только, что легальность не имеет никакого повода быть враждебною знанию, так как оно составляет существенный элемент ее самой. Ни мысль, устремляющаяся к знанию, ни тот процесс, который предшествует его достижению, не могут подвергаться никакому отрицанию со стороны легальности, ибо в этих стремлениях она не может видеть ничего иного, кроме укрепления и обновления тех оснований, на которых она сама зиждется Даже в тех случаях, когда истина едва мерцает сквозь мглу, ее облегающую, и когда открытие ее составляет проблему более чем сомнительную,— и тогда легальность не имеет ничего сказать против делаемых в этом смысле попыток, потому что преследование их было бы для нее равносильно самоубийству или уничтожению тех начал, которые ей самой дают жизнь. А может быть, проблема окажется и вовсе не недостижимою? а может быть, мгла рассеется и в конце ее блеснет то действительное благо, которое называется знанием? Все это такого рода возможные

случайности, перед которыми легальность не имеет права не остановиться.

При таких благоприятных отношениях легальности к знанию невозможно даже допустить, чтобы первая нашла какой-нибудь интерес в тех услугах, которые может ей предложить подозрительность алармистов. Отданные в жертву всякого рода колебаниям, в одно и то же время и признавая знание и отвергая его, представители уличного мировоззрения могут служить орудием только для таких воззрений, которые нынче отрицают то, что̀ признавали вчера, и которые сами не знают, что̀ придется отрицать или утверждать завтра. Какие возможны точки соприкосновения между этой беспомощной расплывчивостью, между этими блужданиями наудачу и той определенностью, которая составляет существенный признак легальности?

Но прежде нежели приступить к более точному ограничению той области, в которой литература и наука, даже в том случае, если б принцип свободного исследования восторжествовал вполне, все-таки могут найтись настолько в противоречии с легальностью, чтобы возбудить ее преследования, постараемся очистить вопросы, поставленные нами выше.

Безличны ли так называемые литературные направления перед судом *легальности,* или же она имеет основание предпочитать одно направление другому и разделять их на любезные и нелюбезные? Вот первый вопрос, на котором легальность должна радикально разойтись с мнениями алармистов.

Ежели уличное миросозерцание имеет повод считать себя компетентным в деле оценки научных и литературных направлений, то это именно потому, что оно слишком невежественно, чтобы находить какие-либо задачи выше своего разумения. Не имея ни одного прочного критериума, оно в то же время обладает множеством критериумов произвольных, которые подсказываются ей ее временным настроением и теми ложно понятыми потребностями охранения во что бы то ни стало, которые представляются ей всегда стоящими на первой очереди. Из этого проистекает для нее всегдашняя возможность знать толк в апельсинах и всегдашняя готовность судить об них. Но легальность не имеет права быть ни столь самонадеянною, ни столь опрометчивою, потому что, с одной стороны, она обладает критериумом действительным, который удерживает ее от колебаний, а с другой стороны, этот критериум настолько ограничен, что не может простираться на существо самой истины. Легальность — не кафедра эстетики или философии или политической экономии и т. д. Она не вмеши-

вается в предположения и чаяния науки и не имеет нужных данных, чтобы стать суперарбитром между представителями различных научных и литературных воззрений и изрекать по поводу их несогласий какую-то официальную истину. Все эти воззрения в глазах ее одинаково искренни, потому что все они разными путями преследуют одну цель, не имеющую в себе ничего несогласного с интересами общества. Повторяем: все они суть не что иное, как представители того принципа свободы исследования, которому человечество обязано всей суммой обладаемого им добра. Ежели то или другое «направление» не всегда усматривает истину там, где она находится, то это еще не дает легальности повода для вмешательства, а доказывает только потребность вмешательства со стороны литературы и науки. Критериум легальности — истина, остановившаяся в своем развитии, истина, дающая возможность определить только наружное соответствие или несоответствие поступков человека с теми внешними признаками благочиния, которые в известный исторический момент признаются достаточными для удовлетворения охранительным потребностям общества. Можно ли, не выходя из подобного критериума и признавая для себя его обязательную непогрешимость, приступить к оценке такой истины, которая еще находится в процессе своего развития, которой действительные результаты могут оказаться только тогда, когда этот процесс будет закончен? Может ли легальность заранее, и без достаточных данных, заклеймить эти истины именем ереси, она, которая помнит, что даже те истины, которые в настоящую минуту служат для нее опорною точкой, тоже некогда назывались ересями и тоже призывали на себя стрелы преследования со стороны произвола и невежественности? В этом заключается вся сущность вопроса об отношениях легальности к литературным школам и направлениям, а так как нельзя себе представить никакого другого ответа на подобный вопрос, кроме отрицательного, то очевидно, что высказываемые нередко требования, чтобы легальность больше обращала внимание на сущность направлений, нежели на фактическое их проявление, равносильны требованию, чтобы легальность перестала быть легальностью, а или возвысилась бы до уровня литературы и науки, или снизошла до уровня уличного миросозерцания.

Таким образом, отсутствие данных для оценки внутренней стоимости искомой истины и невозможность заранее определить те результаты, которых она может достигнуть в будущем, ставит вопрос о безличности литературных направлений перед судом легальности вне всякого сомнения. Да, все направления одинаково безразличны и все снабжены одинаковыми правами

на свободу развития, потому что все они не могут подлежать иной критике, кроме критики науки и литературы. Эта критика одна имеет возможность отличить истину от лжи, и имеет ее в достаточной степени, чтобы обеспечить общество от тех оболыцений, которых оно, по-видимому, опасается. Но для того чтобы эта гарантия была не мнимая, нужно, чтобы общество доверилось ей вполне и не подрывало беспрестанными оговорками, колебаниями и урезываниями. Мало сказать: мы не препятствуем литературе; надо, чтоб эта беспрепятственность проникла в нравы, чтобы свободное течение мысли так же мало удивляло, как и свободное течение воздуха.

Но еще менее может подлежать сомнению разрешение другого вопроса, предполагающего, что легальность, в качестве общественного органа, имеет обязательное призвание защищать те литературные направления, которые поддерживают истины, дорогие большинству, и преследовать те, которые доказывают несостоятельность этих истин. Чтобы допустить возможность таких лицеприятных отношений легальности к литературе, необходимо прежде всего признать, что первая имеет какой-нибудь интерес в охранении той отсталости, которой представителем служит большинство. Обыкновенно толпу называют консервативною, но это справедливо лишь в том смысле, что она до крайности упорна в сохранении тех эмпирических истин, которые именно и служат препятствием к ее развитию. В действительном значении слова, консерватизм ей неизвестен, ибо она не сознает, что движение вперед, собственно, и есть та охранительная сила, которая ограждает общество от потрясений гораздо действительнее, нежели всевозможные упорства и коснения в предрассудках. Ясно, что если легальность желает быть органом действительных интересов общества, а не одних его бессознательных прихотей, то она должна быть консервативна совершенно в другом смысле. Но, кроме того, увлечение вкусами и предрассудками толпы может представить для нее и другого рода опасность. Задавшись этим идеалом, легальность рискует не найти ни одного направления, которое бы вполне удовлетворяло ее требованию, которое так или иначе не подлежало бы преследованию, даже искоренению. Выше мы говорили, что нет такого сильного невежества, которое, роясь около себя, не встретилось бы с невежеством сугубым, с таким невежеством, перед которым оно не стало бы в тупик. Мы не называем здесь ни одного из наших литературных направлений, но просим читателя припомнить то из них, которое совершенно искренно и даже не без некоторых либеральных аллюров стремится погрузить русский народ в положение бессрочного детства и опутать его

жизнь всевозможным историческим баснословием. Даже и там он встретит пункты, в которых направление расходится с воззрениями толпы, и ежели вникнет ближе в сущность дела, то убедится, что разлад происходит совсем не от недостатка логичности, а просто от того, что существует такого рода логичность, которая доступна только для толпы и которая незаметным образом растлевается, как скоро выходит на поприще литературы и науки. Стало быть, задавшись мыслью исключительно поддерживать мнения, дорогие толпе, легальность, кроме явного противоречия своим собственным задачам, может очутиться в самом неловком и неестественном положении. Она встретится лицом к лицу не с одним и не с несколькими, а вдруг со всеми литературными направлениями, и вынуждена будет признать себя обязанною преследовать их все с одинаковою силою. Обязанность трудная и едва ли даже исполнимая.

Но как ни элементарны мысли, высказанные нами по поводу отношений легальности к тому, что̀, собственно, составляет содержание литературных направлений, они, по-видимому, еще не приобрели настолько права гражданственности, чтобы сделаться общим достоянием.

Еще не очень давно мы были свидетелями уличных толков по поводу преследования, которому подвергся один из органов русской печати. Что орган подлежал преследованию — на этот счет улица была единогласна. Почему подлежал? — этого, конечно, она не сумела бы объяснить, ибо сама понимала уместность преследования не рассудком, а инстинктом, и указывала совсем не на сущность дела, а на какую-то грубость и резкость тона, которая, дескать, ни в каком случае допущена быть не может. Но замечательнее всего, что, единогласная в порицании грубого тона, улица была в то же время столь же единогласна и относительно снисхождения к проштрафившемуся органу. «Этому органу сто раз простить следует, потому что он тысячу раз заслужит!» — говорили всякого рода гуляющие люди, очевидно намекая на то направление, которого представителем служит орган II действительно, это было направление, как раз приходившееся по вкусам толпы, направление, ничему столь ревностно не служившее, как распространению мысли об ограждении невежества, завещанного преданием. Но спрашивается: имела ли легальность основание следовать в этом случае указаниям алармистов? имела ли она право допускать неравенство меры относительно отдельных фактов одинакового характера потому только, что один факт совершился в сфере одного направления, а другой — в сфере другого направления? Нет, потому что неравенство меры дол-

жно неминуемо нарушить равновесие в области мысли и в то же время подорвать самую легальность, уважение к которой, по крайней мере наружное, обязательно даже для самого яростного из бесноватых. Но, может быть, это-то именно и нужно алармистам? Может быть, легальность и есть то чудовище, которое они прежде всего желают сокрушить, дабы через ее труп найти ближайший путь к сокрушению знания, к сокрушению мысли, к сокрушению истины? Кто знает? — может быть, и так!

Но приведем другой пример, еще осязательнее рисующий отношения алармистов к легальности. Представим себе человека, который доказывал бы неудовлетворительность или обветшалость тех или других форм жизни, указывал бы на стеснения, ими производимые, и предлагал новые условия жизни, обещающие больше обеспечения для счастья человека. Никто, конечно, не будет отрицать, что такого рода задача настолько серьезна, что сама по себе уже заключает достаточные залоги спокойствия и зрелости в обсуждении. Для того чтобы приобрести возможность доказывать, что известное положение ничего, кроме стеснения, представлять не может, надо многое видеть лицом к лицу, многое рассмотреть и обсудить. Все это требует труда, а известно, что ничто так не отрезвляет человека, как труд, и в особенности труд умственный, сопряженный с необходимостью беспрерывного самонаблюдения. Литературная и научная практика всех стран и времен достаточно убеждает нас в этой истине, показывая, что так называемые новаторы никогда не были склонны к насилию, так как один из существеннейших принципов всякого новаторского дела именно заключается в отрицании насилия. И вот, рядом с этим новатором, на поприще печатного слова является другой деятель, который высшее выражение идеи справедливости видит, положим, хоть в том, что титулярные советники должны быть производимы в коллежские асессоры своевременно, нелицеприятно и с соблюдением строжайшей очереди. Идея, конечно, невинная, но ведь идеи бывают всякие, и не нам, русским писателям, указывать те пределы, далее которых не может идти литературная невинность. Теперь представьте себе, что этот почтенный публицист по поводу обнаруженного им факта, что X. остается титулярным советником в то время, как сверстник его Z. уже давным-давно коллежский советник, вдруг начинает возбуждать граждан к мятежу против установленных властей и утверждать, что несправедливость, допущенная относительно X., может быть удовлетворена только кровью лиц, в ней виновных. Как должна отнестись легальность к деятельности того и другого из названных публицистов? в которой из них

она имеет повод видеть какое-нибудь нарушение... ну, хоть нарушение прав тех игреков, которые могут не без основания заметить, что пролитие их крови — жертва слишком несоразмерная сравнительно с тою ценностью, которую представляет неудовлетворенное честолюбие самого заматерелого титулярного советника? Очевидно, что она должна отнестись к первому из названных деятелей совершенно спокойно и ожидать развития высказанных им положений; что же касается до последнего деятеля, то хотя совершенная им проказа имеет характер детский, но нельзя отрицать, что относительно его преследование все-таки приобретает хоть какой-нибудь признак легальности, чего в первом случае совершенно не имеется.

Но алармисты действуют совершенно наоборот. Они говорят так: «Вы сердитесь на А.— нет слова, он провинился! душа у него такова, что не может выносить зло, делаемое мухе! но ведь зато он только об мухах и думает! зато, посмотрите, какой у него ангельский нрав во всех других отношениях! Как он славословит! какой курит фимиам! Простите же ему этих невинных мух во имя того броненосного невежества, которое он насаждает!» Это первая часть оправдательной речи, против которой мы, конечно, ничего не имеем возразить, а вот и вторая: «Вы лучше посмотрите, что́ делается, например, в лагере у Б.,— продолжают алармисты уже зловещим шепотом,— ведь там каждое слово, *каждое* слово так и брызжет непризнанием авторитетов! вот на что обратите ваше просвещенное внимание и оставьте А. на свободе распложать мух!»

Эта гнусная манера защищать одного, обвиняя другого, составляет ту невыносимую язву, которая бесконечно язвит нашу литературу. Нет сил оградить себя, нет средств уберечься от этой ватаги охочих людей, которые на клич: ребята! с нами бог! — готовы взять целую цепь незащищенных крепостей и отомкнуть сколько угодно незатворенных дверей. Стремление отличиться задаром, подставить ближнему ногу, ничем не рискуя и даже не обладая особенными познаниями в науке подставления ног, так велико, что никому из этих самозванных ценовщиков и в голову не придет сказать себе, что право на обвинение, как и всякое другое право, тогда только может претендовать на признание, когда ему предшествует труд. Никто не скажет в сердце своем: «Друг! ты сгораешь желанием обвинять — прекрасно! но потрудись же сначала понять то, против чего ты намереваешься метать стрелы! потрудись анализировать оскорбляющий тебя вопрос, потрудись доказать себе его вредоносность — и тогда дерзай!» Нет, таких интимных разговоров никогда не бывает; почему не бывает? — не по тому одному, конечно, что сплеча кидать обвинениями направо

и налево легче, нежели придумывать для них твердое основание, но и потому еще, что есть опасение не выдержать роли обвинителя, есть опасение самому поддаться обаянию мысли.

Да, зрелище разнузданности, которой предаются вчинатели всякого рода литературных тревог, бесспорно принадлежит к числу самых печальных и возмутительных. Если б мириады обвинителей, которые язвят литературу своими инсинуациями, на минуту остепенились и сказали себе, что всякое обвинение должно быть, во-первых, сознано самим обвинителем и, во-вторых, вразумительно для обвиняемого, то можно быть уверенным, что тысячи обвинений пали бы сами собою, за невозможностью быть приличным образом поддержанными. Явный пример той осторожности, к которой обязывает роль обвинителя, конечно, представляют так называемые обыкновенные преступления. Очень часто они бывают весьма тяжки, очень часто носят на себе очевидные признаки совершения их именно таким-то, а не другим лицом, и, во всяком случае, сопровождаются так называемыми вещественными доказательствами; но и за всем тем едва ли сыщется человек, который даже при подобных условиях решится требовать обвинительного приговора, не взвесивши предварительно всех доказательств pro и contra [1]. Что вынуждает его быть осторожным? Что заставляет его вдумываться в значение предстоящей ему роли, а нередко даже и тяготиться ею? Конечно, не один страх подвергнуть незаслуженной каре невинного, но и строгость к самому себе, внимание к предостережениям собственной совести. И что же! — один так называемый образ мыслей, одно направление, то есть именно то, что наименее уловимо для общего оценочного уровня, что прежде всего поражает отсутствием ясных вещественных признаков и что требует со стороны обвинителя, кроме достаточной степени развития, наиболее строгого внимания к последствиям своих заключений,— это-то, собственно, и составляет изъятие из общего закона, это-то и отдается преданием в добычу уличным зевакам! И, по какому-то необъяснимому сцеплению противоречий, в этой, всего более для них чуждой, сфере наши зеваки и чувствуют себя как рыба в воде! Вместо того чтобы благоразумно укло-
ниться и сказать себе: это не нашего ума дело! — они нигде так охотно не признают себя компетентными, ни о чем не принимаются судить и рядить с такою беззастенчивостью. Чувствуете ли вы, читатель, к каким чудовищным результатам может привести подобная развязность и как тяжко должно быть положение умственного труда в виду ценителей, которые к во-

[1] «за» и «против».

ровству (на что уж, кажется, грех капитальный и общепонятный!) подходят с большею осторожностью, нежели к работе мысли!

Повторяем: ближайшее средство освободить литературу от подобных невежественных набегов заключается в том, чтобы отдать ее под защиту легальности, поставив притом эту последнюю в независимое положение от тех опасений, под гнетом которых томится мнение масс. Но для того чтобы легальность действительно могла считать себя свободною от примеси несвойственных ей элементов, необходимо, чтобы область ее действия была самым тесным образом ограничена, а не выражала собой лишь консолидированный произвол, и чтобы, во всяком случае, то, что составляет внутреннее существо мысли и что на общепринятом языке известно под именем «направления», оставалось не подлежащим никакому другому суду, кроме суда литературы и науки. Этого требует не только рациональность, но и дальнейшие судьбы человеческой мысли, с которыми тесно связано развитие народного гения.

Приведенные выше примеры прямо указывают на ту почву, на которой могут произойти столкновения между литературой и легальностью. Это почва благочиния, обязательного для всех вообще человеческих действий, приравнивающего проступки и преступления, совершаемые в сфере литературы, к проступкам и преступлениям, совершаемым во всех других сферах человеческой деятельности. Если признается возможным допустить, что поводом для преследования последних может служить только один признак — насилие и тот нравственный и материальный ущерб, который оно влечет за собой для общества или частного лица; если при этом, благодаря более очищенным юридическим понятиям, даже область так называемого «покушения» постепенно суживается до самых крайних размеров, то совершенно непонятно, почему подобного же рода взгляды не могут быть перенесены на литературу...

Возражения, которые обыкновенно делаются против такого приравнения, можно разделить на три категории.

Во-первых, говорят, что мысль не представляет таких ясных признаков, какие легко можно отыскать в других человеческих действиях, и что поэтому оценка ее деятельности почти недоступна для обыкновенной легальности. Такого рода возражение исходит от алармистов, которые приводят его как доказательство, что подчинение литературы суду одной легальности равносильно ее безнаказанности. Странное дело! если принять это мнение за основательное, то придется прийти к

заключению, что мнение улицы имеет больше средств произнести правильную оценку мысли, нежели легальность! Почему так? Да потому просто, что уличное мнение думает не столько о внешних проявлениях мысли, в которых может выразиться насилие, сколько о самом существе мысли, и только его и хочет настигнуть. Не умея формулировать признаки вредного проявления мысли и в то же время смутно чувствуя какую-то тревогу, оно проходит мимо проявлений и бьет самую мысль, говорит, что ее-то собственно и следует отдать на растерзание псам. Но допустим на минуту, что оценка преступлений мысли действительно представляет непреодолимые трудности — что же из этого может следовать? То ли, что мысль должна оставаться под контролем вечного недомыслия большинства? Нет, этого следствия отнюдь допустить нельзя, потому что опыт доказывает, что большинство способно только убить мысль, а не контролировать или направлять ее. Единственный вывод, к которому, в крайнем случае, могут дать повод упомянутые выше затруднения, есть следующий: если нельзя совершенно верно оценить признаки вредного влияния мысли на общество, то это значит, что ее вообще надо оставить в покое или что относительно ее следует действовать оружием равносильным, то есть оружием мысли же. Но это опасение, очевидно, преувеличенное, и юридическая практика всех стран самым положительным образом доказывает, что отношения легальности к литературе не только возможны, но и вполне осуществимы. Правда, что признаки литературных преступлений и проступков весьма немногочисленны, но они столько же реальны, как и признаки преступлений обыкновенных. Не они недоступны для легальности, а недоступно существо мысли, но в этом, конечно, заключается не опасность для общества, а самая существенная гарантия его прогресса.

Другое возражение выходит из того же лагеря и приводится в видах устрашения власти, на обязанность которой возлагается вчинание исков против всякого рода преступлений. Исходя из того же начала о трудностях, которые представляет верная оценка проявлений мысли, алармисты утверждают, что обязанность вчинания судебных исков против литературы сделается или совсем невозможною, или в высшей степени рискованною. Поэтому, заключают они, может произойти что-нибудь одно: или преследующая власть будет робка в своих действиях, или же она будет подвергаться беспрерывным неудачам и в конце концов подорвет свое собственное достоинство. Такого рода воззрения на положение власти в обществе весьма в ходу между нашими уличными философами; удачи и неудачи власти ценятся не пропорционально недостиг-

нутому ею добру, а пропорционально недостигнутому злу. Никому не приходит в голову, что люди власти находятся под действием тех же законов, под действием которых находится и все остальное, живущее в обществе; что они, как и все другие люди, действуют в известных пределах, которые не расширяются по желанию; что на них лежат определенные обязанности, исполнение которых мотивируется совсем не удачами или неудачами, а самым значением слова «обязанность», и что, наконец, если удача не есть неизбежное дополнение обязанности, то, стало быть, и неудача не заключает в себе ничего постыдного и подлежащего осуждению. Никому не приходит в голову, что для преследующей власти самая неудача все-таки гораздо сноснее, нежели даже удача для преследуемого субъекта. Преследующая власть, потерпев неудачу, может утешиться удачами последующими и, во всяком случае, не имеет повода особенно огорчаться неуспехом, так как он не затрогивает лично никого из ее органов. Напротив того, для обвиняемого субъекта самая удача есть лишь меньшее зло, во всяком случае повлекшее за собою и потерю времени, и необходимость бороться против призрачных обвинений, и те нравственные страданія, которые всегда влечет за собою неизвестность исхода. Ничего подобного не приходит в голову возражателям-алармистам, которые не затруднились бы, пожалуй, целый мир привести на скамью обвиненных, лишь бы власть считала за собою лишнюю победу. Но власть, конечно, не имеет никаких оснований пугаться подобных предостережений; она выше соображений об ожидающих ее удачах или неудачах и делает свое дело не для того, чтоб удивлять мир победами, а для того, чтобы удовлетворить той обязанности, которую возлагает на нее закон. И ежели неуспех может повредить ей во мнении толпы (обыкновенно обвиняющей власть не за то, что она напрасно преследовала, а за то, что не сумела, дескать, преследовать), то это такого рода вред, который она может перенести, не почувствовав даже его тяжести.

Наконец, третье возражение представляется людьми совершенно противоположного лагеря и заключается в том, что, как бы мы ни старались ограничить область легальности в ее отношениях к литературе, признаки, которыми мы обозначим эти границы, никогда не могут быть настолько ясны, чтобы в более или менее короткое время не дать доступа для разъяснений более широких и имеющих тот же характер произвольности, которым страдает и мнение улицы.

Каким образом, например, воспрепятствовать, чтобы в иронии, в страстности выражения, даже в самой строгости и по-

следовательности доказательств не усматривалось чего-то похожего на насилие? Каким образом доказать, что это не более как формы и орудия мысли, обвинять которые столь же мало основательно, как обвинять, например, синтаксис, просодию и т. п.? На это возражение, весьма, впрочем, основательное в своем существе, мы можем сказать одно: мы предъявляем наши претензии относительно обеспечения успехов литературы только в пределах возможного. Мы отнюдь не защищаем *необходимости* обвинения в каком бы то ни было случае, а становимся на точку зрения его *неизбежности*. Сверх того, в этом случае, довольно значительно облегчающее обстоятельство, по нашему мнению, может представлять та драгоценная гарантия, которую приобрела в последнее время русская жизнь. Это гарантия, обязывающая, с одной стороны, поддерживать обвинение ясными доказательствами, а с другой стороны, дающая возможность возражать против этих доказательств и опровергать их.

Таким образом, несмотря на возражения, оказывается, что выход к легальности (не экстраординарной, а обыкновенной) есть все-таки наиболее рациональный и наиболее обеспечивающий литературу от случайностей в будущем. Но, кроме того, он представляет и другую выгоду: не отнимает последнего утешения у тех, которым слишком тяжело было бы сразу расстаться с сладостным правом обвинения.

И в самом деле, нельзя же и их оставить без занятия. Свобода дается не сразу. а постепенно,— это правильно и понятно, а залогом такой постепенности именно и служат эти драгоценные люди, которыми, стало быть, пренебрегать ни в каком случае не следует. Мы и не пренебрегаем и даже не оспариваем принципа постепенности, который они представляют, но желаем только, чтоб он прикладывался ко всем направлениям одинаково, или, лучше сказать, не к самым направлениям, а к фактам, в которых они выражаются. Люди, видящие в литературе собрание всякого рода ядовитых и воспламенительных материалов, могут беспрепятственно оставаться при своих воззрениях — на то и свобода, чтобы даже нелепости могли ею пользоваться,— но пускай эти воззрения ни для кого не имеют ни обязательной, ни даже тревожащей силы. Пусть возможность обвинять литературу остается во всей своей неприкосновенности, но пускай обвинение выйдет из области «направлений», которой оно до сих пор упорно держалось, и вступит в область легальности и фактов. Пускай обвинители обвиняют по-прежнему, но пускай они стараются, пусть в поте лица снискивают хлеб свой. Наговорить кучу грубостей и ругательств сплеча — это совсем даже и не блестящее дело, а

вот блестящее будет дело, когда господа обвинители, не говоря ни грубости, ни пошлости, разберут вредоносные свойства литературы по ниточке и докажут... что она совсем ничего вредоносного в себе не заключает.

Вот мысли, на которые навело нас чтение книги «Свобода речи, терпимость и наши законы о печати». В заключение, чтобы ближе познакомить читателя с взглядами автора на дело литературы, считаем нелишним привести здесь то место его сочинения, где он разбирает закон, имеющий предметом преследования за «возбуждение вражды в одной части населения против другой или в одном сословии против другого».

Слова «возбуждение ненависти и презрения», собственно говоря, вовсе не могут быть употребляемы, как юридические термины, в особенности в уголовном праве. Что такое ненависть и презрение, чем они возбуждаются? Пусть мне кто-нибудь даст на это юридически точный ответ. Ответ такой невозможен; так не варварство ли наказывать на основании закона, о котором не можешь себе составить даже точного понятия? Мало этого, для того, чтобы какой-нибудь поступок был преступлением, необходимо требуется основными понятиями юриспруденции, чтобы преступная цель поступка была вполне достигнута, а чтобы наказать за покушение на преступление — необходимо, чтобы преступником было совершено такое действие, которое без всяких натяжек и догадок неизбежно привело бы к преступной цели. Судья, который основывает свое решение на вероятных намерениях преступника,— это турецкий паша, герой произвола, а не европейский юрист. Кто подсыпал сахару в питье, воображая, что он подсыпает мышьяк, не может быть осужден, как покусившийся отравитель, потому что в этом случае решение пришлось бы основать на вероятной догадке, что обвиненный хотел совершить преступление, а догадки не могут служить основанием решения; чтобы человека признать покусившимся отравителем, необходимо, чтобы он дал выпить вещество, которое есть яд, на основании бесспорных данных науки. Чтобы осудить человека за возбуждение ненависти и презрения, необходимо, чтобы чувства эти действительно были возбуждены сочинением. Обвинитель должен представить в суд лиц, в которых чтение сочинения породило к кому-либо ненависть и презрение, и доказать, что порождение этих чувств было действительно целью автора. Чтобы осудить за покушение возбудить ненависть и презрение, необходимо, чтоб было доказано, что сочинение неизбежно произвело бы ненависть и презрение в своих читателях, непременно дошло бы до них и было бы ими прочитано, если бы намерение автора не было разрушено независимо от него. Все это должно быть доказано не какими-нибудь догадками или вероятностями, а данными бесспорного научного достоинства. Психология не дает нам никаких бесспорных научных данных, которыми мы могли бы руководствоваться при определении того, что́ возбуждает чувства ненависти и презрения, а юриспруденция возмущается мыслью осуждения человека к наказанию на основании догадок и вероятностей. Стоит вспомнить о средневековых приемах доказательства, о людях, сожигаемых за колдовство и пр., чтобы понять, какое больное место для юриста осуждение по догадкам и вероятностям...

С этим, конечно, невозможно не согласиться. В самом деле, каким образом привести в суд лиц, в которых чтение сочине-

ния «возбудило к кому-либо ненависть и презрение»? Ведь таким образом, кроме сочинителя, придется, пожалуй, судить и самих свидетелей, в качестве совращенных? да и как обвинять? ведь для того чтобы обвинять с сознанием, надобно, чтобы сам обвинитель испытал на себе вредоносное действие сочинения, то есть ощутил ту ненависть и то презрение, которое оно к кому-либо порождает? Но ежели это так, ежели обвинитель действительно ощутил на себе это действие — может ли он обвинять?..

Вот заколдованный круг, из которого никогда не выходят и не могут выйти никакие обвинения, имеющие в своем основании преследование «направления».

ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ СМЕЕТСЯ

«Наши охранители и наши прогрессисты» В. П. Безобразова
(«Русский вестник», 1869 г., октябрь)

Скажи, кто ты?

«Руслан и Людмила»
(опера)

Г-н академик Безобразов начинает свой новый труд рассказом довольно замечательного свойства. Дело идет о нескольких стах крестьян отдаленных губерний, вовлеченных «разными льстивыми словесными обещаниями заподрядчавших лиц», а равно и собственною «безграмотностью и доверчивостью», к заключению с одним из предпринимателей железнодорожного дела таких условий, которые, по словам автора, оказались и «противозаконными по своему содержанию и возмутительными по своим последствиям». В общих чертах, смысл этих условий таков, что подрядчик выговорил в свою пользу не только право назначать заработную плату «по своему усмотрению», но и право суда над рабочими в таких преступлениях (воровство), которые подлежат ведению общих судов. Из этого вытекло, во-первых, то естественное последствие, что «после двух-трех месяцев тяжкой работы рабочие по счетам хозяина не только не имели получить ничего за свою работу сверх путевых издержек и задатков [1], но оставались перед ним в значительных долгах», и, во-вторых, то, что «по истечении трех месяцев рабочие не могли добиться, по какой цене они работают».

Само собой разумеется, что такой оригинальный способ производства ценностей мог быть выгоден лишь для одной из заинтересованных сторон, а именно для подрядчика. Последний, конечно, имел полное основание быть довольным, ибо ему

---

[1] Жаль, что г. Безобразов не указал размера этих издержек и задатков. Мы, с своей стороны, конечно, готовы верить почтенному автору на слово, что эти издержки и задатки не покрывали ценности двух-трех месяцев работы, но люди, которых он именует «охранителями», чего доброго, назовут подобный способ обличения (с опущением фактов, на которых зиждется обличение) легкомысленным. *(Прим. М. Е. Салтыкова-Щедрина.)*

представлялся случай не только исполнить даром законтрактованные работы, но еще получить некоторую прибавку в виде налагаемых на рабочих штрафов за прогульные дни, за порчу инструментов, за грубые слова и т. д. Но рабочие взглянули на это дело иначе и после многих колебаний и проволочек обратились с жалобой к мировому судье. Вот тут-то именно и случилось то, что неизбежно случается во всякой судебно-административной драме, в которой с одной стороны, в качестве действующего лица, является предприниматель, а с другой стороны — рабочие. Первый всегда единоличен и потому объясняет свою претензию складно, без шума, не торопясь. Если по рассмотрении этой претензии она и окажется неосновательною, то дело могут решить не в его пользу, но ни в каком случае не назовут его ни дерзким, ни нахалом, ни бунтовщиком. Напротив того, рабочий почти никогда не является на суд в одном лице, а всего чаще рекомендует себя в виде целого легиона. В этом заключается, однако ж, очень большое неудобство, ибо людям робким при виде этого легиона всегда мерещится ежели не настоящий бунт, то, по крайней мере, попытка к бунту. Точно то же померещилось и в случае, описываемом г. Безобразовым. Когда толпа в сто пятьдесят человек явилась на улице, то робкие люди «сейчас подняли крик, что *рабочие бунтуют,* и начали осаждать мирового судью требованиями об усмирении бунта».

Дальнейшее движение этого дела очень любопытно. Первый мировой судья (почетный), у которого разбирался спор, во всем завинил рабочих и даже положил взыскать с них по 1 руб. 50 коп. за самовольное оставление работ («то есть за приход к мировому судье с жалобой»,— прибавляет г. Безобразов, не знаем, серьезно или на смех); подрядчика же обязал только объявить рабочим в течение трех дней цены, по которым они работают. Как ни мало удовлетворительно это решение, однако рабочие подчинились ему, то есть начали работать; но подрядчик все-таки продолжал секретничать и цен не объявлял. Тогда рабочие стали уже отказываться от работы и потребовали выдачи паспортов. Появилось сознание права, которое было переведено словом «бунт»; выступила вперед полиция, «усилив себя местною военной командой», и «заставила несчастных людей работать под страхом ружейных выстрелов». В промежутках этих действий полиции рабочие узнали, что существует мировой съезд, и подали туда жалобу на решение мирового судьи. Съезд отменил решение и передал дело другому судье. Последний решил дело так: 1) подрядчик обязывается в течение трех суток выдать паспорты рабочим и *рассчитать их по совести;* 2) если он этого не

исполнит, то рабочие могут обратиться снова к судебной власти...

«Но даже и эта мировая сделка,— продолжает чувствительный автор,— на которую рабочие согласились по чрезвычайному своему мягкосердечию, не была исполнена подрядчиком, который сам ее предложил и подписался. Паспорты рабочих пришлось получать не иначе как принуждением, посредством исполнительного листа, а расчет будет снова производиться судебным порядком, и можно *даже сомневаться, чтобы рабочие когда-нибудь получили какое-нибудь вознаграждение за свою работу*».

Последние подчеркнутые нами слова до того безнадежны (и, прибавим от себя, легкомысленно-бездоказательны), что едва ли самый «беззаветный свистун» (так именует г. Безобразов, на своем академическом языке, русских прогрессистов) решится написать их. Но в том-то ведь и дело, что настоящие «беззаветные свистуны» обитают совсем не там, где их, по преданию, ищут, а там, где они находятся в действительности, то есть в тех убежищах, где изготовляются бесплодно-свистопляшествующие статьи о китайских ассигнациях, о мерах к распространению пролетариата и т. д.

Как бы то ни было, но факт, представленный г. Безобразовым, такого рода, что непременно требует заключения. Первое и непосредственное заключение, какое по прочтении этого рассказа должно представиться уму всякого непредубежденного читателя, формулируется так: может ли быть названо удовлетворительным положение, в котором рабочий, проработав три месяца в самых тяжких условиях, в конце концов обязывается возвратиться домой не только без всякого вознаграждения за свой труд, но даже и без надежды на оное?

Ответ на подобный вопрос может быть только один: нет, подобное положение удовлетворительным названо быть не может. Такой именно ответ дает и г. Безобразов. Нет нужды, что тотчас вслед за сим он позабудет об этом ответе и отречется от него: в первую минуту истина до того поражает его своею ясностью, что иного ответа он дать не в силах. Рассказанный факт возмущает его до глубины души, и он не без раздражения отзывается о тех, которые могут к подобному вопиющему делу относиться иначе. «Нам говорили,— с горечью повествует он,— что крайне вредно объяснять русским рабочим, что они плохо живут, что они должны бы иметь лучшую обстановку своего быта». И далее: «Если бы и появились (между рабочими) неправильные желания относительно освобождения от исполнения законных контрактов, то разве такие же точно желания не бывают и в кругу самых образованных лю-

дей, домогающихся нарушить невыгодные для них договоры? Разве подобные недобросовестные домогательства служили когда-нибудь поводом к отказу в правосудии по другим, законным домогательствам? Разве не желательно, чтобы в среде рабочего класса преуспевали законность, гражданское сознание своих прав и обязанностей, чтобы он научился опытом различать между трудом, налагаемым на него по противозаконному и по законному принуждению?» [1] Вот как беззаветно рассуждает г. Безобразов, выказывая себя в этом случае совершеннейшим нашим сопрогрессистом и сосвистуном.

Но заключением столь простым вполне удовлетвориться все-таки невозможно. Сознавши неудовлетворительность известного положения, человек непременно будет искать выхода из него. Как бы ни был прогрессивен прогрессист или беззаветен свистун, но и он не лишен способности испытывать сущность вещей и идти несколько далее первых, непосредственно представляющихся уму вопросов. Может быть, найдутся внешние обстоятельства, которые помешают ему предложить по этому поводу «какую-нибудь совокупность государственных мер» (ниже мы увидим, что отсутствие такого рода предложений составляет один из упреков, делаемых Безобразовым свистунам-прогрессистам), но что он непременно спросит себя: какой тут может быть выход? — это не подлежит никакому сомнению.

Совершенно иначе взглянул на это дело г. Безобразов. Оказывается, что он рассказал всю приведенную выше историю просто на смех, ради ее шикарности и пикантности. Это даже совсем и не история, а аллегория, которую он завел для того, чтоб привлечь к своему беззаветному суду «наших охранителей» и «наших прогрессистов», и о которой он тут же немедленно и забывает. Но каким же, по крайней мере, образом он связывает эту аллегорию с действительным предметом своего исследования? Каким образом может быть по поводу ее заведена речь, например, хотя о прогрессистах, которых уже ни в каком случае нельзя заподозрить в равнодушии к рабочему

[1] Кстати, о труде, «налагаемом по законному принуждению». Может ли существовать такая рубрика труда? Смеем думать, что закон никогда не принуждает к труду (единственное исключение: обязательный труд в состоянии невольничества или крепостного права), а только обусловливает (при контрактах и договорах) те или другие последствия труда. Обыкновенным условием, обеспечивающим исправное выполнение работы, представляется штраф и неустойка, но отнюдь не требование личного труда во что бы то ни стало. Такого рода требования может предъявлять не закон, а разве практика, да и то такая, которая основана на слишком еще живучих преданиях крепостного права. Для просвещенного экономиста такого рода обмолвки едва ли позволительны. *(Прим. М. Е. Салтыкова-Щедрина.)*

классу? Станет ли автор обвинять их в подстрекательстве и в возбуждении рабочих к неповиновению? Или, напротив, обвинит их в постыдном равнодушии, скажет: вот что у вас под носом делается, а вы, называющие себя прогрессистами, стоите и хлопаете глазами?

Напрасные догадки. Органической необходимости привлекать к этой истории кого бы то ни было не существовало. Причина одна: погоня за шикарностью и пикантностью, то есть повторение того же явления, которое породило «Китайские ассигнации», «Меры к распространению пролетариата» и проч. Г-н Безобразов (мы говорим это совсем не на смех, а с глубоким прискорбием) принадлежит к числу тех круглописцев, в сочинениях которых никогда не замечается внутренней связи, а существует лишь связь внешняя. С одной стороны — то, с другой стороны — то, а в средине — ничто, с целою свитой «конечно», «смеем думать» и т. д.

Г-ну Безобразову понадобилось выразить следующую шикарную мысль: наши прогрессисты и наши охранители, несмотря на взаимное недружелюбие и даже ненависть, в сущности имеют одни и те же воззрения. С натяжкой и некоторой дозой недобросовестности (то есть придерживаясь исключительно внешних признаков сходства) такую мысль поддерживать можно. Но, к несчастью автора, у него в запасе оказалась история о бедствиях рабочих на одной из строящихся железных дорог. История эта совершенно противоречит его основному намерению, но она так пикантна, что почтенный академик не может сыскать себе покоя, покуда как-нибудь не обнародует ее. Каким образом связать с нею прогрессистов и охранителей? Доказать, что обе эти партии, по существу, смотрят на нее одинаково,— это нелепость, которая бросается в глаза с первого раза. Сказать, что обе партии смотрят разно,— это не удовлетворит второй задаче, шикарность которой именно в том и заключается, что и охранители и прогрессисты, в сущности, составляют одно целое, расколовшееся лишь вследствие недоразумений. Как выйти из этого положения? — очень просто: взять, рассказать одну историю, потом забыть об ней и начать рассказывать другую историю. Так г. Безобразов и поступил.

Идея заставить две противоположные партии исповедовать одни и те же убеждения, несмотря на свою шикарность, далеко не нова. К подобным приемам обыкновенно прибегают публицисты, которые в исследованиях своих не идут далее внешних признаков явления и которые с ребяческим, а быть может, и с недобросовестным изумлением останавливаются на том, что люди разных убеждений могут говорить на одном и том

же языке, употреблять одни и те же выражения и быть недовольными одним и тем же фактом. Поэтому мы и не останавливаемся на этой пикантной мысли, а обратим наше внимание единственно на те еще более пикантные подробности, которыми она обставляется. При этом мы будем говорить исключительно о самих себе, оставляя в стороне «охранителей» и даже предполагаемое наше сходство с ними.

Начнем с того, что г. Безобразов усматривает в нашей литературе три партии: «охранителей» или «лжеохранителей», органом которых он считает газету «Весть»; «прогрессистов», органом которых предполагаются «Отеч. записки», и, наконец, третью партию, которую автор нигде прямо не называет, но к которой, по-видимому, принадлежит сам. Признаки[1] этой последней партии обозначаются так: 1) она состоит из лучших представителей здоровой общественной среды, которые не принадлежат ни к какому кружку, ни к какому знамени, кроме знамени России и ее обновления, и 2) главное занятие ее состоит в твердой вере в прочность совершающегося перед нами дела и в зорком наблюдении за неблагонадежными материалами и неблагонадежными понятиями («Русск. вест.» № 10, стр. 786).

Откровенно говоря, мы не совсем понимаем, зачем понадобилось г. Безобразову окрестить нас названием прогрессистов. Конечно, если мы будем следовать только буквальному, действительному значению этого слова, то не увидим в нем ничего предосудительного. Что такое прогрессист? Это человек добра, человек, верящий в непрерывное нравственное и материальное преуспеяние общества. Против такого толкования протестовать было бы нелепо. Но в том-то и дело, что некоторые слова, кроме действительного значения, имеют еще значение искусственное, придаваемое им озорством и недобросовестностью и с изумительною легкостью усвоиваемое практикою. В этом последнем толковании слово «прогрессист» имеет смысл не всегда безопасный, ибо означает по преимуществу «непризнание» и «разрушение», как качества, противоположные тому «признанию» и «созиданию», которые составляют существенный признак так называемых охранителей. Не может

---

[1] Кстати, о слове «признак». В нашем журнале печатались и печатаются статьи под названием «Признаки времени», в которых слово «признак» с совершенною ясностью употреблено в смысле, указывающем на известные характеристические черты современности. И что ж? Г-н Безобразов уверяет, что автор употребил это слово в смысле предзнаменовательном и предсказательном, в смысле, угрожающем России бедствиями. Вот до каких извращений может довести желание сказать что нибудь шикарное и пикантное! *(Прим. М. Е. Салтыкова-Щедрина.)*

подлежать сомнению, что г. Безобразовым это выражение употреблено именно в этом смысле; но мы позволяем себе думать, что если даже он прибегнул к подобному приему только ради его шикарности, то и в таком случае ему надлежало бы воздержаться от него, ибо там, где начинаются пределы действия полицейского, не должно быть места для шикарности.

Мы, с своей стороны, полагаем, что в России существует только одна партия — охранительная. Но так как на дело охранения могут существовать различные точки зрения, то и в этой единой и сильной партии естественным образом намечаются некоторые оттенки, разнствующие между собою во взглядах на существо охранения. Таких оттенков мы, подобно г. Безобразову, примечаем три. Один из них на всякий успех в жизни общества смотрит с недоверчивостью, как на шаг в область неизвестного, долженствующий расстроить те отношения, которые окрепли и выработались в прошедшем. Но, не будучи в состоянии не признать силы совершившегося факта, люди этого оттенка употребляют все усилия, чтобы, по крайней мере, сделать как можно более короткими те звенья, которые связывают настоящую минуту с предшествующей. Такого рода охранителей можно назвать — охранителями ретроспективными. Другой оттенок — охранители современности, которые современную минуту считают минутою окончательною, современное дело — делом окончательным, забывая при этом, что и минута предшествующая также когда-то считалась минутою окончательною. Эти охранители относительно людей третьего оттенка играют ту же роль, какую играют охранители первого оттенка относительно них. Наконец, охранители третьего оттенка суть те, которые думают, что творческая сила жизни не прекращается, что дело новое и благотворное представляет собой успех не только как упразднение заблуждений и ошибок предшествующей минуты, но и как свидетельство непрерывности преуспеяния вообще, обещающее в будущем не застой, а развитие и совершенствование. Охранители этого оттенка суть охранители по преимуществу, то есть люди, которые познали тщету поставляемых жизни преград и потому полагают, что искусственное построение таковых может привести общество только к вредным и нежелательным потрясениям.

Вот три партии, которые мы видим в нашем отечестве. И все эти партии, то есть люди, к ним принадлежащие, суть *не враги России, а верные ее подданные,* что отнюдь не следует забывать публицистам, слишком легко вступающим в полемику с своими собратиями.

Виноваты, мы забыли еще третью <четвертую?>, очень многочисленную партию. Это партия баламутов и несносных

болтунов, которые назойливо втираются во всякое дело и никогда не могут свести концы с концами, которые не знают над собою другого ига, кроме ига грамматики и правописания, которые, выйдя из данного пункта, постоянно приходят к заключениям, прямо противоречащим ими же высказанной основной мысли. Но эта партия может быть любопытною только в психологическом смысле, политического же значения она никакого не имеет, а потому мы и оставляем ее в стороне.

О людях первой партии мы говорить не будем, так как указываемый г. Безобразовым орган ее, газета «Весть», конечно, сам сумеет объяснить действительный смысл обращаемых к нему инсинуаций.

Людей второй партии, к которой причисляет себя и автор разбираемой статьи, мы понимаем так, как они определены нами выше, то есть как охранителей современной минуты без всякого отношения (или, во всяком случае, с весьма слабым отношением) к прошедшему или будущему. Но так понимать, как определяет их г. Безобразов, мы затрудняемся. Прежде всего, определение его кажется нам слишком обширным и потому ничего, собственно, не определяющим. В самом деле, какое может иметь значение партия, которая заявляет себя «не принадлежащею ни к какому кружку, ни к какому знамени, кроме России и ее обновления»? Что можно найти в этом определении, кроме темного общего места, сказанного «на смех»? Что такое «знамя России»? — это такое выражение, которое, во всяком случае, нужно наполнить каким-нибудь содержанием, чтобы оно было понятно и предстояла материальная возможность об нем говорить. Если под этим выражением разуметь любовь к отечеству, то совершенно непозволительно, что находится такая партия, которая берет это чувство в исключительное свое заведование. По крайней мере, пишущий эти строки может заверить, что и он, и, конечно, редактор «Вести» г. Скарятин любят свое отечество не менее пламенно и не менее сознательно, нежели сам г. Безобразов. Затем, что такое «знамя обновления»? — это тоже выражение, которое необходимо чем-нибудь наполнить, чтобы оно было понятно. Всякий мыслящий человек желает и призывает обновление (нельзя же думать, что это привилегия одного г. Безобразова),— но всякий желает его с своей точки зрения, и притом не слова только, а действительного дела. Одни смотрят на эту задачу робче и нерешительнее, другие смелее и нетерпеливее. Необходимо выразить не мутными и ничего не значащими, а совершенно определенными словами, о каком обновлении идет речь и что в этом выражении заключается. Например, ежели вы рассказали историю о рабочих, не получивших расчета от

железнодорожного предпринимателя, для того, чтобы вывести заключение, что такого рода порядки требуют обновления,— мы будем с вами согласны. Если же вы рассказали это только ради смеху, чтобы показать читателям, что в этом-то именно и состоит «обновление», то мы с вами не будем согласны. В том-то и дело, что надо наконец понять, что всякое выражение должно иметь смысл непререкаемый, ибо только тогда слово перестает быть медью звенящею и дает возможность для споров и обсуждений. И смеяться-то ведь надо со смыслом, а не только в силу одной бессовестной смешливости, как смеялся некоторый гоголевский лейтенант.

С другой стороны, определение г. Безобразова кажется нам уже слишком специальным. Обязанность «строго следить за неблагонадежными материалами и неблагонадежными понятиями», которую он возлагает на людей своей партии, есть обязанность непосильная и могущая увлечь ее в сферу совершенно ей чуждую (по крайней мере, в смысле литературном). Мы желали бы, чтоб здесь слово «неблагонадежность» было заменено словами: «неправильность» или «неверность». Неправильно смотреть на то или другое дело — вещь очень обыкновенная (errare humanum est [1]). В виду подобного факта, всякий правильно мыслящий человек, конечно, обязан неправильно мыслящего вразумить и наставить (что сим нами и исполняется),— но этим обязанности его и исчерпываются. Совсем другое дело — неблагонадежность. Неблагонадежность в деле литературы — ведь это преднамеренная агитация, это призыв к непризнанию установленных властей, к неповиновению им. Где, в какой русской литературной партии можно найти подобный чудовищный факт? — конечно, нигде! Ни на что подобное не укажет г. Безобразов, если б даже он и был в состоянии проводить свои обвинения с самою строгою последовательностью. Зачем же понадобилось ему это несчастное, не имеющее никаких применений слово? Увы! оно ему совсем даже не надобилось; оно сказалось спроста, в одну из тех смешливых минут, когда требования шикарности и пикантности неудержимо становятся впереди требований простого здравого смысла справедливости. Ведь сказалась же история о рабочих — для чего сказалась?..

Затем, остается третий оттенок охранительной партии, определение которому также дано нами выше. Но г. Безобразов, окрестив людей этого оттенка наименованием «прогрессистов», нашел в этом прозвище самый естественный исход для своей природной смешливости.

---

[1] человеку свойственно заблуждаться.

Признаки, которые, по мнению его, характеризуют так называемых прогрессистов, суть следующие:

I. Невозможно уразуметь, серьезно или на смех они говорят. Самый естественный ответ на такое положение, по нашему мнению, есть следующий: ежели человек чего-нибудь не понимает, то он не должен о том и говорить. Так, конечно, и поступил бы г. Безобразов, если бы он предпринял свой новый труд не ради одного смеха, и мы могли бы только похвалить его в этом случае. Мы сказали бы: вот человек, который не понимает, но зато он настолько скромен, что и не говорит о том, что̀ ему недоступно. На этом бы дело и покончилось.

Но очевидно, что упомянутые выше слова сказаны г. Безобразовым опять-таки только ради одной пикантности и что, в сущности, ежели он действительно не понимает того, о чем говорят, то, во всяком случае, старается понять.

«Прогрессисты,— пишет он,— совсем не так страшно смотрят на все окружающее, как это кажется, и потому гораздо уживчивее, чем всякие охранители. Известно, что самые свирепые Базаровы, по собственному их признанию, вполне примиряются со всякою средою, если только получают в свое неограниченное распоряжение, для своих безжалостных секций, достаточное количество лягушек; надо надеяться, что не скоро истощится запас этих животных. А до тех пор мы можем с полным спокойствием смотреть на действия этих не слишком опасных инстинктов разрушения. Впрочем, сама публика уже свыклась с приемами «новых людей», и они уже не кажутся ей так страшны, как в былое время, тем более что, благодаря господствующему в прогрессивной печати тону, публика всегда, в самые трагические минуты негодования прогрессистов, может недоумевать, серьезно или на смех они говорят. Сатирический элемент занимает такое видное место в нашей прогрессивной литературе, что ее веселость смягчает ее нравы и удобряет самые злые ее вдохновения».

Что вся эта выдержка есть не что иное, как явный бунт (с оружием в руках) против здравого смысла — это доказано будет нами ниже; теперь же обращаем внимание читателя на тон выдержки. Читая ее, можно подумать, что так говорит знаменитость вроде Гумбольдта или Гегеля, у которой накипела в сердце боль от слишком далеко зашедших школьничеств разрезвившихся учеников. Увы! таково печальное положение русской литературы, что этот тон позволяет себе брать г. Безобразов, то есть публицист, который на следующей странице забывает, что̀ он сказал на предыдущей, который сам не умеет достаточно оправдать повода, который заставил его взяться за перо, который в состоянии написать около ста страниц убори-

стой печати и ничего другого не высказать, кроме бесплодных поисков за шикарностью и пикантностью. Ужели это не безотрадное явление? Ужели не будет пределов этому бесконечному самохвальству и самозванству? Ужели мы навсегда осуждены на выслушивание громов, неизвестно откуда гремящих?

Но постараемся опознаться в этом взбаламученном море круглописания, постараемся помочь автору понять его собственную мысль. Очистив выписанную выше тираду от ее смешливой серьезности, мы увидим, что она заключает в себе четыре предложения: а) что прогрессисты совсем не так страшны, как это кажется; б) что они охотно примиряются со всякою средою, лишь бы эта среда доставляла достаточное количество лягушек для их безжалостных секций; в) что запас лягушек истощится еще не скоро и г) что сатирический элемент значительно смягчает нравы прогрессивной литературы.

Что люди, которых г. Безобразов называет прогрессистами, не страшны—в этом ничего нет удивительного, а тем более представляющего повод для насмешки. Страшны (в смысле угрозы для общества) насилие и грубость, страшно самодовольное ничтожество, которое ни о чем не хочет слышать, ничего не хочет знать, кроме самого себя. Иногда это ничтожество взбирается на высоту и оттуда с беззаветной смешливостью, а иногда и с преднамеренной недобросовестностью кидает направо и налево пустозвонными обвинениями. Тогда действительно становится страшно за все живущее и мыслящее. Ничего подобного, разумеется, нельзя ожидать от прогрессистов, то есть людей добра, желающих нравственного и материального преуспеяния общества. Их свободно можно назвать не только не страшными, но даже и не сильными. Они составляют в обществе такое меньшинство, которое должно употреблять почти сверхъестественные усилия, чтобы заставить хоть отчасти выслушать себя. Натравить на это меньшинство толпу ничего не стоит, потому что для этого нужно только обратиться к некоторым темным инстинктам, которые всегда процветают в изобилии. Быть гласом, вопиющим в пустыне, повсюду встречать самый грубый fin de non recevoir [1] — это история, преемственно повторяющаяся и, конечно, очень мало соблазнительная. Все это так, все это сущая, хоть и весьма неприглядная правда, но трудно понять одно: где же тут повод для смешливости?

Что «прогрессисты» легко сживаются со всякой средой, в изобилии производящей лягушек,— это тоже явление успокоительное; но для чего приплетены сюда лягушки, где смысл

---

[1] отказ.

этого загадочного речения — это опять-таки можно объяснить одною шикарностью, одним желанием мудрость академическую подкрепить мудростью тургеневскою. Опыты над лягушками производятся не со вчерашнего дня и притом вполне независимо от прикосновенности или неприкосновенности к ним российских «прогрессистов». Эти опыты, как известно, привели к очень полезным практическим и научным результатам, которыми воспользовались не только «прогрессисты», но даже и баламуты. Что же в этом смешного? и что в том презрительного, что люди предпочитают «уживаться с средою», производя невинные секции, нежели волновать общество по вопросу о выеденном яйце?

Что же касается до того, что запас лягушек не истощится, то это сказано весьма основательно. Мы убеждены в этом столь же твердо, как и в том, что никогда не истощится запас легкомысленных публицистов, над которыми точно так же легко «производить секции», как и над лягушками.

Наконец, нам следовало бы сказать нечто о сатирическом элементе, но претензия заставлять говорить писателей тоном идиллическим, лирическим, сатирическим и т. д. до такой степени наивна, что не стоит даже возражать против нее. Сатира узаконена всеми учебниками словесности, и всеми же учебниками словесности признано, что все роды литературной разработки жизненных вопросов хороши, кроме бессмысленного.

Таким образом, оказывается, что укоризна, обращенная к нам г. Безобразовым, может быть скорее применена к нему, нежели к нам. Читая его, конечно, легко понять, что то, что он говорит серьезно, должно возбуждать один смех, и напротив, то, что говорится на смех, может иметь довольно серьезные и даже им самим не предугадываемые последствия, но в результате дело все-таки сводится к тому, что он не понимает самого себя. Всякий человек, понявший какое-нибудь важное явление и приступающий публично к его разбору, прежде всего должен уяснить себе свои собственные отношения к рассматриваемому предмету. Но г. Безобразов даже этого не сделал; он не спросил себя, что̀ с его точки зрения желательнее: чтобы прогрессисты были страшны или чтоб они были не страшны? Он сказал себе только: посмотрю, что за люди, называемые прогрессистами, и если они страшны, то закричу «караул», если же не страшны, то призову на помощь весь запас веселонравности, который во мне таится. Что за простота критических приемов! что за поразительная бесхитростность дилемм! Удивительно ли после этого, что «прогрессисты» примиряются, положим, не со всякою, а вот хоть с такою средою, которая допускает подобные приемы?

II. Преднамеренная безотрадность картин современности, представляемых прогрессистами.

Нащипав несколько литературной корпии из сочинений современных «охранителей», к которым впоследствии, ради шикарности, приурочиваемся и мы, г. Безобразов в негодовании восклицает:

«Читатель готов перекреститься, что он читает это сочинение внутри России, которая, по его непосредственным наблюдениям, еще не совсем разлагается, а не за границей, откуда он, прочитав эти мрачные строки, по всей вероятности, никогда не решился бы вернуться, если только в нем нет охоты быть свидетелем позора своего отечества и заняться исключительно плачем по нем на груде его развалин!»

И далее:

«Окончательные и ближайшие результаты деятельности того и другого лагеря на литературной почве одни и те же: каждый по-своему силится подорвать доверие к новым общественным силам, только что получившим бытие благодаря условиям новой государственной эпохи».

Прежде всего, спросим себя, кто написал приведенные здесь строки. Их написал тот самый человек, который за несколько страниц перед тем нарисовал картину самого безнадежного бесправия, тот самый, который за минуту перед тем доказывал, что приведенный им пример бесправия не имел трагического выхода лишь по мягкосердечию одной из заинтересованных сторон. Но что̀ может быть трагичнее этого мягкосердечия? Разве трагедия непременно должна кончаться побоищем? разве безмолвие во многих случаях не знаменательнее насилия?

Но г. Безобразов или позабыл об этом рассказе, или не сознал, для чего он ему понадобился. Он не понял, что он может быть уликой только для него самого, то есть выставить в полном цвете его собственное легкомыслие. Если б он обдумывал свои действия, то должен был или умолчать о виденном им случае, или же обратиться к «прогрессистам» и сказать: да, вы правы; хотя нынешние порядки неизмеримо выше прежних, но они все-таки далеки от идеального совершенства, и вот именно случай, которого они не могли вместить в себе и который доказывает, что реформы самые широкие и благодетельные подлежат развитию.

Вместо того г. Безобразов с самою бесцеремонною развязностью начинает уличать нас в тождестве с «Вестью», умышленно или наивно забывая, что ежели и мы и «Весть» рассматриваем одни и те же явления и ежели эти явления обоим органам одинаково кажутся не вполне удовлетворительными,

то эта неудовлетворительность с нашей точки зрения совсем иная, нежели с точки зрения «Вести». Для чего могла понадобиться подобная подтасовка? — этого одного вопроса достаточно, чтоб смутить каждого. Несмотря на то что вся сила негодования автора, по-видимому, обращена не к нам, а к «Вести» (с нами он до некоторой степени пускается даже в снисходительное балагурство), нельзя не чувствовать, что «Весть» для него все-таки нечто вроде заблудшей овцы, которую он не отчаивается со временем обрести, и что спор между ним и этой заблудшей овцою совсем не существен, но раздут исключительно ложно понятым соревнованием, кому над кем начальствовать и под чьим предводительством на «прогрессистов» походом ходить Не для того ли автор привлек нас, чтобы сравнением с нами постыдить «Весть»? Не для того ли он поставил нас на одну доску, чтобы сказать г. Скарятину и его сотрудникам: вы, которые покинули райские обители, оглядитесь, куда вы попали, и поспешите опять в рай!

Все это очень возможно, хотя мы и не беремся отвечать на эти вопросы вполне утвердительно. С своей стороны, мы можем только разуверить почтенного автора и сказать ему: а) что никому в райские обители вступать не препятствовали, хотя сами идти туда и не желаем; б) что во всех двадцати четырех книжках «Отеч. записок», изданных до настоящей минуты, наверное, не встретится картины настолько безотрадной, насколько безотрадна та, которую сплеча и вследствие одной необдуманности нарисовал г. Безобразов, и, наконец, в) что если даже из факта столь ясного, каким представляется рассказанная им история с рабочими, автор умеет делать выводы неосмысленные и беззаветные, то причина такого явления кроется уже в нем самом, а не в нас.

Затем, мы *считаем совершенно излишним* опровергать рассуждения г. Безобразова насчет «безотрадности» наших взглядов и насчет сходства их с взглядами «Вести». Пикантность этих ребяческих измышлений никого в заблуждение ввести не может и потому пускай всецело остается при авторе. Думаем, однако ж, что если в г. Безобразове уже так сильно желание «зорко следить» за чьею бы то ни было неблагонадежностью, то прежде всего он должен обратить свою подозрительность на самого себя.

III. «Прогрессисты» никогда не указывают не только на «какую-нибудь совокупность государственных мер», но даже на какое-нибудь направление их, которое могло бы удовлетворить их желаниям.

Прежде чем укорять кого бы то ни было из русских литераторов в отсутствии инициативы относительно «какой-нибудь совокупности государственных мер», самая простая справедливость требует, чтоб был разрешен вопрос, в какой степени эта инициатива им доступна. Очень возможно, что это и заблуждение с нашей стороны, тем не менее мы совершенно искренно думаем, что русская жизнь и до сих пор разделена на довольно большое количество клеток или шестков, на которых как нельзя более вразумительно написано: всяк сверчок знай свой шесток Да не подумает, однако ж, читатель, что мы желаем оправдаться или сознаваться; нет, мы настолько убеждены в том, что̀ мы говорим, что считаем всякие оправдания и сознания вполне неуместными. Это правда — и больше ничего. Конечно, нам могут указать на сравнительно смелый и откровенный образ действий «Московских ведомостей»; но на это мы находим себя вправе ответить: как ни достойна уважения откровенность почтенной московской газеты, но мы все-таки не можем последовать ее примеру. Партия, которую г. Безобразов называет «прогрессивною» и которую «Москов. вед.» переименовывают уже в «лжепрогрессивную» (№ 245-й), существует не со вчерашнего дня, но ей почему-то никогда не счастливилось. Одни походы русской журналистики против нее в 1862 году практически стоили ей так много, что, очень может быть, даже и обессилили ее в значительной мере. Для того чтоб она высказалась определительно и без оговорок, нужно, чтоб в обществе, по малой мере, утвердилось мнение, что мысль человеческая, каково бы ни было ее содержание (мы говорим о мысли с точки зрения ее теоретического формулирования), не есть что-либо зазорное, и чтобы спор был возможен действительно в качестве спора, а не в качестве травли. Если даже теперь, когда г. Безобразов сам сознает скромное положение, занимаемое прогрессивною партиею в нашей литературе, и когда мы, благодаря лишь этой скромности, имеем возможность дать ему отпор, он тем не менее не может воздержаться, чтоб не пустить ей несколько смешных слов вдогонку,— то, конечно, его смешливости не было бы пределов, если б она была обеспечена полною безответностью с нашей стороны. Конечно, подобный бесцеремонный образ действия доказывает и большое легкомыслие, и значительную недобросовестность, и забвение всяких приличий, но иногда в самом воздухе бывает какое-то странное настроение, которое даже тяжелого на подъем человека приглашает порезвиться, и не ради чего-нибудь полезного, а ради одной шикарности и пикантности.

Повторяем: покуда у нас возможен не спор, а травля, мы ни на какую «совокупность государственных мер» указать не в силах, тем более что и разработка таковых мер принадлежит не нам, а министрам, сенату и Государственному совету. Конечно, мы знаем очень много людей, которые отнюдь не прочь помероприятничать, но, по нашему мнению, это люди, которые не понимают самой простой экономической истины, которая во всяком деле требует тщательного разделения труда и которая в России имеет особенную силу. Из всех занятий, какие существуют на свете, нам всегда казались наименее привлекательными занятия бесплодные, то есть такие, из которых, по обстоятельствам, ничего выйти не может, точно так же как из всех качеств, могущих определять человека, самым дурным и несносным — навязчивость. Видеть человека, который думает о себе, что он «везде поспел», и на этом основании готов во всякую минуту напрудить целый пруд всевозможными умственными объедками, украсив их именем «государственных мер»,— ужаснее этого зрелища может разве представить зрелище другого человека, обязанного выслушивать этого везде поспевающего индивидуума...

На этом мы и покончим с г. Безобразовым. Во всей его статье, на протяжении целой сотни страниц, нет ни одной фразы, которая не втаптывала бы в грязь фразу предыдущую и фразу последующую. Это сплошная борьба, отчаянная борьба человека с самим собою, предпринятая даже без всякой надежды вывести из нее какой-нибудь назидательный смысл. Хочется и полиберальничать, хочется сказать «прогрессистам»: что̀ вы там толкуете! вот послушайте-ка, что я расскажу! — но затем весь этот напускной пыл вдруг соскользает, и оказывается, что он тут так, ни при чем, спроста, что человек начал всю эту историю для того, чтоб изувечить самого себя...

Всего этого было бы, конечно, очень достаточно, чтоб избавить нас от разговоров с г. Безобразовым. К сожалению, редакция «Моск. ведомостей» нашла возможным (№ 245) сослаться даже на этот немыслимый авторитет, как на что-то победоносное и разгромляющее. Явление это мы можем объяснить только недоразумением. Если б почтенная редакция с полным вниманием прочитала статью, о которой идет речь, то, конечно, убедилась бы, что это не более, как путаница, подобия которой трудно подыскать даже в нашей обильной всякого рода путаницами литературе.

ОДИН ИЗ ДЕЯТЕЛЕЙ РУССКОЙ МЫСЛИ*

(Тимофей Николаевич Грановский. Биографический очерк А. Станкевича, Москва. 1869 г.)

СТАТЬЯ ПЕРВАЯ

Процесс, посредством которого либеральная мысль проникает в общество, сопровождается такими типическими признаками, которые повсеместно и во все времена повторяются с одинаковым постоянством. Самый существенный из этих признаков заключается в том, что мысль представляется нам действующею под покровом тайны, затемняемою множеством оговорок, окруженною со всех сторон враждебными элементами и сопряженною с значительными рисками и пожертвованиями для ее представителей. Как ни ясны убеждения истории, доказывающей, что попытки либеральной мысли всегда были направлены единственно к тому, чтобы устранять различные недоумения, мешающие общественному развитию, что они всегда клонились к наилучшему устройству умственных и материальных (наиболее доступных пониманию большинства) интересов человечества, и что, наконец, они, во всяком случае, несмотря на противодействия, приобретали успех, и успех тем более спокойный и надежный, чем менее испытывалось противодействий,— установившаяся практика мало верит не только указаниям истории, но даже убеждениям таких фактов, которые случились у нее на памяти. На глазах ее проходят явления, которые вчера еще поражали своим либерализмом, а следовательно, и предполагаемою опасностью, а сегодня уже сделались принадлежностью самого обыкновенного порядка вещей, но она и за всем тем остается при своем недоверии, обставляя его, для приличия, ссылками на несвоевременность, неподготовленность и т. д. Отсюда то прямое последствие, что, кроме чрезвычайной медленности, которою сопровождается укоренение цивилизующих идей в массах, до сих пор не выработано даже достаточно твердых рамок, в которых эти идеи

могли бы спокойно формулировать себя и спокойно же выслушивать возражения. Почему-то предполагается полезным, чтобы мысль находилась в состоянии постоянной тревоги, чтобы она высказывалась не сразу, а только в размере сотой или тысячной доли, и чтобы в обществе царствовало умеренное невежество. в котором видится надежнейший залог его благополучия. Человек пытливый очень часто бывает несчастлив в жизни — практика подмечает это обстоятельство и, не вникая в его причины, выводит заключение, что истинное счастье состоит в возможно большем ограничении области знаний доступных и в возможно большем расширении области знаний, предполагаемых недоступными. Чтобы достигнуть этого счастья, да кстати привлечь к нему и соседей, которые, быть может, и не желают его, предпринимается целый ряд усилий, нередко имеющих очень чувствительное практическое значение.

Где кроется корень этой подозрительности? в исторических ли недоразумениях, которые составляют основной капитал всякой рутины, или в тех обобщениях, которые приносит с собой цивилизующая мысль и безграничная въедчивость которых не может не действовать устрашающим образом на неразвитые умы? — на эти вопросы может обстоятельно ответить только будущая история цивилизации человечества; но не подлежит сомнению, что недоверие к либеральной мысли принадлежит к числу тех непререкаемых фактов, которые представляются человеческому уму сами собой всякий раз, как он решается затронуть такие вопросы, которые освящены всемирным обычаем или просто обычаем какой-нибудь страны. Среди всеобщего господства рутины, дающей свободный приют всевозможным бессилиям, человек, вносящий в жизнь новую мысль, является в мнении масс не более как назойливою аномалией, стремящейся сдвинуть общество с наезженной колеи единственно ради удовлетворения личного болезненно развитого самолюбия. Призыв к сознательности считается на ряду с оскорблением; попытка анализировать данное положение становится чем-то вроде преднамеренного озорства, предпринятого не с тем, чтобы открыть обществу глаза, а с тем, чтобы породить в нем бесконечные волнения. Что нужды, что в конце концов от анализа все-таки никуда не скроешься, что он придет сам собою и будет тем неумолимее, чем внезапнее произойдет его появление,— общественные массы слишком стеснены всякими насущными потребностями, чтобы так далеко простирать свою предусмотрительность. Даже и тогда, когда эта предусмотрительность приходит к ним со стороны, они смотрят на нее как на непрошеную помеху, которая отвлекает их от так называе-

мых текущих интересов жизни и против которой никакие меры предосторожности не могут быть сочтены излишними.

Как бы то ни было, но на первых же порах, как только либеральная мысль вступает на арену деятельности, эта арена уже представляется ей стерегомою чем-то вроде зева чудовища, которое на каждом шагу угрожает поглотить деятеля. Опасности, с которыми приходится иметь дело, бесчисленны, но они все-таки были бы не столь непреодолимы, если бы приходили только извне, не затрогивая самой внутренней сущности мысли. Но в том-то и дело, что эти внешние опасности слишком скоро усложняют свой грубый характер множеством разного рода признаков чисто интимного свойства и приводят за собой целую свиту опасностей внутренних, с которыми бороться уже гораздо труднее. Для примера укажем здесь на те из этих опасностей, которые имеют наиболее решительное влияние на успехи цивилизующей мысли. Опасности эти, по мнению нашему, заключаются, во-первых, в том, что изменяется самое содержание мысли; во-вторых, в том, что незаметным образом деятельное проявление мысли подчиняется такого рода приемам, которые значительно ослабляют ее влияние на общество, и, в-третьих, в том, что мысль постепенно изолируется и делается неспособною стоять на одном уровне с позднейшими успехами человеческого разума и понимать потребности той среды, к которой она обращается.

Что внутреннее содержание мысли может замениться другим, имеющим с ним очень мало точек соприкосновения, и даже на долгое время отодвинуться на задний план,— это объясняется тем, что одна из самых существенных потребностей мысли заключается в пропаганде. Пропаганда необходима не только в видах приобретения возможно большего количества прозелитов, но и в видах успокоения собственных колебаний мысли. Предоставленная исключительно самой себе или обращаясь в среде слишком однородной, мысль может достигнуть результатов болезненных, почти чудовищных. Таковы были некоторые проявления средневековой мысли, выразившиеся в религиозном фанатизме; таковы же проявления мысли в замкнутых корпорациях, почему-либо считающих себя отделенными от жизни, extra muros[1]. Целые поколения прозябают, довольствуясь скудною и, так сказать, загнившею духовною пищею, именно благодаря недостатку в освежении умственного материала, или тому, что освежение это происходит в пределах слишком ограниченной и исключительной среды. Но для того, чтобы пропаганда могла существовать не по имени

---

[1] вне ее.

только, необходимо сделать арену ее настолько свободною, чтобы вопросы и возражения формулировались во всем их объеме. Если одна из спорящих сторон имеет возможность высказывать свои положения без утайки, а другая высказывается только с примесью бесчисленного множества оговорок, то последствием такого рода обмена мыслей может быть лишь бесполезная трата времени. Отсюда то необходимое последствие, что первые шаги мысли неизбежным образом направляются к тому, чтобы обеспечить свободу действия и оградить от насильственных вторжений те рамки, в которых ей предстоит проявлять себя. Или, говоря точнее, первенствующее значение приобретает уже не действительное содержание мысли, а то, что по отношению к нему составляет не больше как побочное обстоятельство (инцидент). Это искусственное отвлечение лучших сил мысли к такому делу, которое важно лишь как вопрос регламентации, не только мешает своевременному выполнению главной задачи ее, но даже в значительной степени затемняет ее. Учение, имевшее в первоначальном своем источнике социальное или общефилософское основание, приобретает характер политический, совершенно ему чуждый. Одна задача или, лучше сказать, одно слово занимает все умы, это слово: свобода. Но что̀ такое, в сущности, это слово? представляет ли оно какой-нибудь конкретный смысл? — Нет, оно имеет только значение рамок, которые необходимы для того, чтобы человечество без помехи и наилучшим образом могло обсудить и устроить свои интересы, но которые никак не могут служить сами по себе целью. Представьте себе какое-нибудь политическое или ученое общество, которое, вместо того чтобы разрабо́тывать те предметы, для обсуждения которых оно собра́лось, истощило бы все свои силы единственно на разрешение вопросов об устройстве и порядке своих заседаний,— что̀ можно было бы сказать о таком обществе, кроме того, что оно пожертвовало своими прямыми целями в пользу вопросов, не имеющих никакого существенного значения? И вот, между тем, подобного рода препирательства,— только в громадных размерах,— идут от начала веков по поводу такого понятия, которого подразумеваемость во всяком деле должна считаться сама по себе непререкаемою истиною.

Нам скажут, может быть, что в настоящее просвещенное время, когда сфера политических прав постепенно расширяется, странно даже и говорить о каком-то непризнании принципа свободы. Но это странность только кажущаяся. Свобода, как принцип, действительно признается всеми, и все партии охотно пишут это слово на своем знамени, потому что привлекательность его освящена преданием. Но те же партии очень хорошо

понимают и его растяжимость и знают, что оно ровно ни к чему не обязывает. Свобода в этих случаях принимается как нечто отвлеченное, совершенно независимое от того содержания, которым она наполняется. В этом смысле ее допускают действительно очень охотно. Но как только содержание начинает идти в разрез с господствующими мнениями и предрассудками, то никому не кажется ни предосудительным, ни нелогичным противодействовать ему не только путем доказательств и опровержений (против чего невозможно и протестовать), но и путем самой простой травли. Самый принцип свободы при этом представляется нетронутым, ибо он заслоняется тем содержанием, которое его наполняет; кажется, что попирается в этом случае не свобода, а то учение, которое благодаря ей увидело свет и которое в данную минуту почему-либо считается неблаговременным. Какой-нибудь мудрец московского Зарядья засел в свою мурью и протестует оттуда против непреодолимого хода человеческой мысли. Он ничего, собственно, не опровергает, а только цитирует и отдает на поругание; но спросите его, думает ли он при этом надругаться над принципом свободы мысли и слова,— нет, он представит вам тысячу доказательств, что слово «свобода» точно так же дорого для него, как и для вас, что он никогда и не предполагал ругаться над ним... Отчего же он, однако ж, на каждом шагу попирает его? а оттого просто, что он не понимает или не хочет понимать, что это слово не имеет самостоятельного существования, что люди держатся за него не в смысле окончательной цели человеческого прогресса, а только в той мере, в какой оно ограждает то существенное и самостоятельное, которое ставится под защиту его.

Подобные увлечения побочными отвлеченностями составляют первую внутреннюю опасность для цивилизующей мысли. Постоянная необходимость борьбы за принципы, чуждые существу мысли, производит прецеденты, от которых освободиться очень нелегко. Философ, экономист, натуралист превращаются в политических деятелей просто в силу одного обычая и очень часто истощают все свои силы для того, чтобы сказать только одну извечную истину: что арена мысли должна быть, по малой мере, свободна от травли. И опять-таки, сказать ее не прямо, а под покровом таинственности, которая даже и инциденту придает смысл неполный и значительно видоизмененный. Какие ущербы несет от подобных отклонений общество — это даже приблизительно определить невозможно, но что они существуют, мы можем в том убедиться, если представим себе такое положение вещей, в котором человек, вместо того чтобы производить ценности, проводил бы время в испра-

шивании себе разрешений на это производство. Нелепость подобного положения ясна всякому, но, к сожалению, очень мало мы видим людей, которые были бы способны делать по поводу его те применения и обобщения, которыми оно так богато.

Другая внутренняя опасность, которая сторожит цивилизующую мысль в ее развитии, заключается в сокращении приемов действия и в подчинении их принципу так называемого соглашения. Нет почвы более опасной и скользкой, как почва соглашений. Однажды попав на нее, человек незаметно для самого себя приобретает такое множество дурных привычек, что только чудо может спасти его от окончательного падения. Проповедуется снисходительность, терпимость и уступчивость (и, заметим в скобках, проповедуется совершенно правильно в смысле принципиальном), как такие качества, которые наиболее приличествуют характеру человеческих действий, и упускается из вида та обстановка времени и места, в которой эти прекрасные качества должны проявляться и которая может сообщить им характер совершенно неожиданный и нежелательный. И, что всего важнее, забывается, что уступчивость, как орудие тактики, тогда только может иметь действительное значение, когда она одинаково практикуется обеими заинтересованными в споре сторонами, а не тогда, когда одна сторона расширяет свои требования до бесконечности, а другая обязывается в такой же пропорции суживать свои. Нет сомнения, что терпимость есть действительно лучшая окраска человеческой деятельности, но не может быть спора и о том, что действие этого качества тогда только представляется существенно полезным, когда оно ограничивается формальным признанием общей свободы убеждений (хотя бы и невежественных), а не тогда, когда оно наносит ущерб цельности собственного убеждения лица, практикующего терпимость. В этом последнем случае терпимость, снисходительность и уступчивость нередко до такой степени изменяют свой характер, что делается трудным различить, действительно ли тут идет об них речь, как о принципах, или же они выставляются вперед только для прикрытия робости и малодушия тех, которые проповедуют эти качества. Обыкновенно человек начинает проповедью терпимости, а кончает тем, что один по одному обрывает лепестки того пышного цветка, который носит имя нравственного убеждения. Понятно, что в результате оказывается бесцветый остаток, незаметно приравнявший себя бродячей и бесцельно мечущейся толпе, которая ничего не знает, кроме преданий и завещанного ими кодекса бессодержательных истин.

И между тем эта скользкая почва соглашений есть та са-

мая, на которую всего чаще указывает и суровость установившейся практики, и та неизвестность, которая со всех сторон охватывает дело либеральной мысли. Нужно обладать очень сильным и верным вооружением, чтобы пройти мимо упомянутого выше чудовищного зева, не отравив навсегда своей памяти воспоминанием об нем, чтобы сохранить неприкосновенным *все* свое нравственное убеждение, не отозваться в известных случаях незнанием и не слукавить перед своею совестью. Тем не менее объяснение вредной наклонности к соглашениям с помощью одних внешних опасений все-таки не исчерпывает факта во всем его объеме, а нуждается в других, более существенных подкреплениях. Что в деле соглашений деятельным агентом является не один страх перед неумолимостью практики, это доказывается тем, что на этой почве мы встречаем такие имена, с упоминовением которых в наших умах возникает представление об убеждениях совершенно определенных. Присутствие этих убеждений мы чувствуем, несмотря на все колебания; мы можем проследить их шаг за шагом, несмотря на запутанности, которыми они окружены. Люди, выработавшие себе вполне ясные идеалы, не могут уступать их ради одного страха перед внешнею обязанностью уже по тому одному, что самая выработка этих идеалов сопровождается опасностями настолько значительными, что человек, испытавший их, имеет полное право без недоверия относиться к своей нравственной силе. Тот решительный шаг, который дает окраску всей жизни человека, никогда не делается без тяжких жертв. Для многих он стоит радикальной перемены в самом образе существования, для многих — разрыва с той коренной средой, к которой они принадлежали и которая привязывает к себе не только силою воспоминаний и привычки (а кто не испытал на себе, как велика эта сила?), но и силою действительно оказанных услуг. Можно ли допустить, что человек, решившийся однажды на подобный шаг, есть человек робкий и легкомысленный; что он не сумеет поддержать свои убеждения с тою же твердостью, с какою к ним первоначально приступал? Нет, подобная мысль может быть допущена много-много как один из второстепенных мотивов, обусловливающих человеческие действия, а отнюдь не как единственное или даже характеристическое объяснение их. Этого последнего, очевидно, следует искать совсем в другом месте, а именно в тех целях, которые предполагается достигнуть путем соглашения.

Цели, которых обыкновенно предполагают достигнуть путем соглашений, в первоначальном, беспримесном своем виде всегда заключаются в ограждении интересов самой либеральной мысли. Если велики нравственные страдания, причиняемые

борьбою с предрассудками и наивным (непреднамеренным) непониманием истин самых бесспорных, то они делаются еще более невыносимыми, когда устраняется самый вопрос о возможности борьбы и когда предрассудок стоит твердо, благодаря не внутренней своей силе (таковой никогда у него не обретается), а множеству внешних обеспечений, которые освобождают его даже от дачи каких-либо ответов и объяснений. Устрашает не опасность борьбы и даже не неминуемость поглощения (хотя и в этом нет ничего особенно привлекательного), но предвидение гораздо более горькое и существенное: предвидение той безгласности и бесплодности, которыми имеет сопровождаться поглощение. Перед деятелем мысли стоит очень большая область, которую он просто-напросто обязывается не трогать, и рядом с нею очень маленькая, в которой он может распоряжаться под опасением лишения огня и воды. Эта угроза, всегда присущая, всегда выражаемая с самою возмутительною ясностью, имеет изнурительное влияние не на один внешний образ действия, но и на внутренний строй убеждений. Начинает казаться, что соглашения могут нечто спасти; является надежда с их помощью отстоять хотя наружное бытие тех дорогих принципов, которые в противном случае рискуют быть совершенно затоптанными. Пускай мысль захиреет на время, думают ее поборники, пускай она живет жизнью неполною и далеко не нормальною, но, по крайней мере, она не навсегда будет вычеркнута из числа умственных ценностей, обращающихся в человечестве, и со временем, конечно, возвратит себе утраченную силу и достоинство. Таков силлогизм, который обыкновенно предшествует соглашениям, и, по нашему мнению, он заключает в себе единственно правдивое и добросовестное объяснение даже таких уступок, которые, на первый взгляд, возмущают нас.

И действительно, мы видим, что либеральная мысль хоть медленно, хоть черепашьими шагами, но все-таки проникает в общество и что мы, например, люди современной Европы, отстоим довольно далеко и от азиатского деспотизма, и от идей фаталистической неравноправности людей, царствовавших в древних республиках, и от религиозной нетерпимости средних веков. Когда Людовик XIV произносил свое знаменитое: l'état c'est moi [1], то, конечно, были мыслители, которые очень хорошо понимали, что подобная фраза есть плод самого вредного тщеславия, однако ни один из них не решился выразить это прямо, и знаменитый король так и умер в том приятном заблуждении, что в его лице сосредоточивались и благополу-

[1] государство — это я.

чия, и невзгоды всей Франции. Тем не менее с небольшим через полвека эта самая фраза, никем в свое время прямо не опровергнутая, все-таки встретила себе опровержение самое наглядное и бесповоротное. Не доказывает ли это, что при известной обстановке убеждение, высказанное, так сказать, в упор, может, без всякой для себя пользы, возбудить только слепой и авторитетный фанатизм и все ужасы сопряженной с ним ярости? Не доказывает ли это, что самая наклонность к соглашениям заключает в себе своего рода упорство, которое даже не бесполезно для успехов мысли?

Что во всех этих предположениях есть известная доля справедливости — с этим невозможно не согласиться, особенно если мы не будем упускать из вида ту невыгодную обстановку, среди которой мысль обыкновенно проявляется, но в абсолютном смысле все-таки еще более справедливо, что ничто не действует на мысль столь растлевающим образом, как необходимость прибегать к оговоркам и уступкам. Учение, пораженное этой язвою, кроме того что бывает вынуждено делать продолжительные и бесполезные обходы, всегда принимает в себя столько примесей, которые делают его в значительной степени неузнаваемым. Разительный пример подобного извращения мы видим на идее человеческой равноправности, составляющей одну из главных задач христианского учения. Нет сомнения, что идея эта и сама по себе совершенно проста (так сказать, присуща пониманию каждого), да и вполне соответствует выгодам большинства, а между тем сколько прошло веков, сколько пролито человеческой крови для ее торжества, и все-таки твердых оснований, которые дозволяли бы предполагать, что она действительно вошла в общее сознание, не имеется и скорого конца борьбы за восстановление первоначальной ее чистоты не предвидится. Другой подобный пример, хотя и не столь разительный, представляет идея, ставящая прогресс человечества в зависимость от уяснения отношений человека к природе. Еще Сенека говорил naturalia non sunt turpia [1], а мало ли даже в наше время найдется таких, которые в этом афоризме не видели бы посягательства на спокойствие общества, а в деятельности, проникнутой подобным направлением, не заподозрили бы элементов, стремящихся втоптать в грязь верования, которыми живут массы! Отчего происходит это вечное колебание, в котором находятся истины, по-видимому совершенно бесспорные? Очевидно, что причину его должно искать, между прочим, и в том невыгодном положении, которое обязывает мысль поступаться самою существенною частью

[1] что естественно, то не безобразно.

самой себя и которое не только замедляет ход ее, но и самую ее сущность растлевает множеством самых дурных привычек, обращающихся нередко в природу. Если и представляется вероятным, что соглашения до известной степени ограждают мысль от опасностей совершенного исчезновения, то не подлежит никакому спору, что они же делают ее малосильною и достигающею своих результатов медленным и мучительным путем.

Наконец, третью внутреннюю опасность представляет та изолированность, в которую становится мысль, вследствие долговременного разобщения с жизнью и ее действительными требованиями. Справедливость этого положения всего лучше объяснит нам следующий пример. Известно, что после декабрьского переворота во Франции для либеральной мысли наступили черные дни. Представители ее были рассеяны по лицу земли: одних сослали в Кайенну или в Алжир, других просто изгнали из Франции, третьи сами удалились за границу. Таким образом, очень значительная масса людей, стоявших во главе либерального движения (по свидетельству одного из апологистов декабрьского переворота, Гранье-де-Кассаньяка, этим порядком освободились от 26 000 человек), вдруг очутилась не только вне его, но и вне всякого практического участия в делах своей родины. Долгое время либеральные стремления Франции оставались без явных и сколько-нибудь ярких руководителей, но так как без остатка истребить либеральную идею все-таки невозможно, то она и жила под пеплом, постепенно приобретая себе более и более простора. Наконец, время убедило даже деятелей декабрьского переворота, что прежняя система стеснений представляет много таких неудобств, которые делают управление страной невозможным, и что самая необходимость указывает на освежение правительственного механизма посредством привлечения к нему (разумеется, в возможно ограниченной степени) либеральных элементов, как на единственный исход, требуемый не только честным воззрением на дело, но и чувством самосохранения. Но тут-то именно и выказались плоды той изолированности, в которой долгое время находилась либеральная мысль. То, что случилось некогда с эмигрантами французской революции, возвращенными к деятельной жизни реставрацией, то же самое повторилось и над либералами 1848 года. Кажется, Гейне сравнивал первых с часами, которые, будучи однажды остановлены и потом, через несколько лет, вновь пущены в ход, начинают свой бой именно с того числа ударов, которое им приходилось выбивать в ту минуту, когда они были остановлены; это же сравнение можно применить и к настоящему случаю. Все современные известия

удостоверяют, что французская либеральная партия, несмотря на сравнительно большой простор, полученный ею для своих действий, не может уладиться ни насчет своих требований, ни насчет своих вождей. Прежние вожаки оказываются оставшимися при тех же афоризмах, которые и до декабрьской катастрофы не дали никаких практических результатов; новые деятели оказываются не внушающими доверия по своей малоопытности и совершенному незнанию тех формальных приемов, которые, несмотря на свою бессодержательность, все-таки необходимы в борьбе с таким строем, который сам весь держится на формализме. Многие в этом видят повод, чтоб упрекать либеральную партию в бессилии и осыпать ее насмешками, но, кажется, справедливее будет, если мы отнесемся к этому факту как к явлению очень печальному, но совершенно естественному. Мысль живет и питается практическими применениями; если однажды нить этих применений прервана и устранена их преемственность, то само собою разумеется, что и самое развитие мысли прекращается или, по крайней мере, ослабляется очень значительно. Странно и даже возмутительно слышать эти легкомысленные упреки и недобросовестные насмешки. Сначала считают ни во что разорить мысль и довести ее до изнеможения, а потом, когда она, несмотря на это варварство, все-таки заявит о своем праве на существование, начинают бросать в нее камнями и плевками за то, что она не может сразу собраться с силами и овладеть делом. Но не достаточно ли свидетельствует в ее пользу уже то одно, что она осталась жива? Когда Сийеса спрашивали, что̀ он делал во время террора девяностых годов, то он отвечал, что оставался жив. По нашему мнению, это — ответ, который с полною силой может быть применен не только к одной какой-нибудь форме террора, но и ко всем террорам вообще.

Как бы то ни было, но мысль, разобщенная с средою, которую она почему-либо считает для себя наиболее приличною, действительно утрачивает очень значительную долю своей энергии и плодотворности. Незаметно для самой себя она является в свет с устарелыми панацеями, недействительность которых ясна для всех, кроме нее самой. Мало того: она не только продолжает верить в непогрешимость выработанных ею афоризмов, но идет еще далее, то есть развивает их до таких пределов, за которыми можно встретиться только с чудовищностью. Рассказывают, что некоторые французские изгнанники представляют в этом смысле примеры поистине поразительные, и этому легко можно поверить. Человек, сильно пораженный какою-нибудь идеей (особенно если эта идея имеет чисто политические основания) и лишенный всякой возмож-

ности для ее проверки, может дойти до мистицизма, до однопредметной восторженности. Осложненное горечью неудачи, такое напряженное состояние духа делает невозможным не только ясное понимание частных ошибок, присущих каждому учению, но и вообще отделение истины от лжи, возможного от невозможного. И вот, доведенного до такого-то состояния человека вновь призывают к жизни; погребенного заживо, утратившего всякий смысл живой действительности, пробуждают из мира мечтаний и приобщают к миру практики и деятельности. И когда он начинает выбивать то же самое количество часовых ударов, которое он бил в ту минуту, когда его заживо замуровывали, над ним начинают глумиться, на него сыплются упреки и обвинения! Ужели тут есть какой-нибудь смысл, кроме того, что насилие столь же нахально в своих действиях, как и в своих оценках?

Таковы вообще условия того процесса, при помощи которого либеральная мысль проникает в общество. Они не могут быть названы благоприятными ни с точки зрения внешних опасностей, ни с точки зрения опасностей внутренних. Хотя же ответственность за эти последние и возлагается часто на того или другого из деятелей мысли, но, по мнению нашему, это делается, в большей части случаев, совершенно несправедливо, ибо, в сущности, и увлечения мысли несвойственным ей содержанием, и колебания, и ее разобщенность с действительностью — все это, вместе взятое, составляет не что иное, как неизбежное и вместе органическое последствие внешнего гнета, и не может быть отделено от него никакою действительно заметною чертой.

От этих общих воззрений обратимся к тому, что стоит к нам ближе, и посмотрим, в каком положении находится либеральная, цивилизующая мысль собственно у нас. Предупреждаем, впрочем, читателя, что мы будем говорить не о современной эпохе, а о том обществе, среди которого жил и действовал Т. Н. Грановский, по поводу которого мы и решились высказать настоящие наши мысли.

Чтобы выполнить нашу задачу по возможности обстоятельно, постараемся уяснить себе, во-первых, какими свойствами обладала та среда, которая выделяла из себя наших публичных деятелей; во-вторых, какого рода подготовку давала она им, и, в-третьих, при каких специальных внешних условиях должна была развиваться деятельность, имевшая какую-нибудь претензию на общественное значение.

Среда, выделявшая из себя наших общественных деятелей, была среда замкнутая, устроившаяся и обеспеченная. Лозунгом ее была привилегия, обусловливавшая и ее собственные

эгоистические интересы, и ее отношения к общему течению жизни. Сравнивая свое нравственное и материальное положение с таковым же положением других слоев общества, она должна была считать первое удовлетворительным не потому, чтоб оно не дозволяло желать ничего больше, а потому, что оно все-таки довольно резко и выгодно выделялось из общего уровня. Эта сравнительная точка зрения должна была иметь решительное влияние и на требования, которые среда простирала к жизни, сообщив им характер крайней немногосложности и ограниченности. Ничто так не принижает человека, не суживает до такой степени его умственного кругозора, как легкая возможность сравнивать собственную бесспорную бедность с бедностью еще более бесспорною и абсолютною. Тут беспрепятственно расцветают всевозможные лжи мелкого самолюбия и окрашивают своим непрочным, но ярким цветом действительность самую скудную и неприглядную. В таком именно положении постоянного самообольщения находилась и среда, о которой идет речь. Жизнь давала ей мало, но зато она оказывалась еще более скупою, как только выходила за пределы ее; никакими особенными благами она не была наделена, но зато, благодаря своей замкнутости, твердо держала в своих руках то малое, которое выпало ей на долю, и не гналась за благами высшими, так как не обладала достаточною суммою интеллектуальной развитости, чтобы видеть в этих благах не пустую прихоть, а необходимость. Но когда потребности низменны сами по себе и когда притом удовлетворение этих низменных потребностей не стоит никакого труда, то само собой разумеется, что и поводов к перенесению их из сферы интересов узко материальных в сферу интересов умственных существует чрезвычайно мало. «Лучше жить незатейливо, но зато обеспеченно и спокойно, нежели гнаться за какими-то идеалами, достижение которых обставлено всеми условиями неизвестности» — так обыкновенно рассуждает индивидуум, которого не терзает ни материальная нужда, ни другого рода нужда, именуемая душевным голодом. Так же точно рассуждает и целая среда, жизненный строй которой представляет нечто цельное, еще недостаточно предрасположившееся к разложению под влиянием мысли. Каждый шаг вперед пугает ее и кажется посягательством на ее привилегированное положение. Не движение составляет ее интерес, а, напротив того, охранение и застой. Застой внутри,— потому что движение одного общественного слоя неминуемо отзывается и на прочих слоях; застой в прочих слоях,— потому что тут начавшееся однажды движение должно произвести уже не просто вызов из состояния косности, а окончательное поглощение привиле-

гированной среды. Чувство самосохранения хотя и не дальновидно, но очень верно подсказывало ей, что дремотность есть именно то состояние, которое наиболее соответствует ее выгодам, и она слепо верила этому тайному голосу и спешила удовлетвориться тем малым, которое было дано ей в удел и все-таки представлялось чем-то громадным в сравнении с бесконечномалым, предоставленным в удел другим. Сверх того, она имела некоторое основание утверждать, что ее деятельность все-таки не вполне поглощается одними материальными интересами, но что для нее доступны и интересы умственные. Этот простейший вид духовной деятельности, на который она считала себя вправе сослаться, представлялся в тех отправлениях чиновничества, которые в продолжение долгого времени были единственным признаком, свидетельствовавшим о существовании в нашем обществе если не умственного движения в прямом смысле этого слова, то умственной изворотливости. Да, это была именно только изворотливость, не требовавшая ни подготовки, ни развитости, ни знаний; но дело не в том, до какой степени она была низменна, а в том, что ею довольствовались, что на нее считали возможным ссылаться как потому, что она очищала от упреков в умственной сонливости, так и потому, что с помощью ее упрочивалось влияние среды на общее течение дел, то есть опять-таки на общий застой и общую косность.

Спрашивается: могла ли подобная среда дать точку опоры для деятельности, освещенной мало-мальски живой мыслью? могла ли она защитить ее, дать отпор тем внешним наездам, которые так часто подрывают самые умеренные требования добра и истины? Обладала ли она сама по себе достаточною устойчивостью, чтоб не рассыпаться в прах при малейшем столкновении с чем бы то ни было, имевшим на своей стороне материальную силу? Ответ на все эти вопросы, конечно, не может подлежать сомнению. Нет, не могла и не обладала — вот все, что приходится сказать по этому поводу. Но этого мало, что она не могла ни защитить, ни отстоять, что возлагать на нее какие-либо надежды было равносильно намерению еще более запутать и без того запутанное положение; оставаясь бессильною и неустойчивою в смысле отпора, она, сверх того, вынуждалась ко всякой осмысленной деятельности относиться как к злейшему своему врагу и всячески противодействовать ей.

И в самом деле, какою бы краской мы ни окрасили любую общественную деятельность, какое бы направление ни приписывали ей, но коль скоро в ней есть участие мысли, то первыми явлениями, против которых направится вся энергия ее

разлагающей силы, будут: замкнутость и бессознательность. Это отправный пункт всякой мыслящей деятельности, это рамка, без которой невозможно ее дальнейшее развитие. Что будет далее, какое направление примет мысль впоследствии — все это может быть очень загадочным; одно несомненно: что она прежде всего поспешит обеспечить себе свободу и сознательность. Но это-то именно и противно той среде, о которой идет речь. В разрушении замкнутости она видит неминуемость своего обеднения, угрозу стать еще ниже того низкого уровня, на котором она уже стоит; в падении бессознательности ей слышится угроза еще горшая, имеющая олицетворить себя в наплыве элементов совершенно новых, беспокойно предъявляющих претензию на право участия в жизни. Ввиду этих угроз делаются понятными не только опасения, но даже преувеличения. Вопрос о значении собственности связывается с вопросом о поголовной резне, вопрос о значении семейства — с вопросом о поголовном разврате. Сопоставления эти незаметно входят в обычный тон жизни, и ежели кто-нибудь из людей разумных удивляется им, то это означает только совершенное незнакомство с недальновидными, но крайне упорными инстинктами среды. Нет спора, что она произносит свои сопоставления совершенно бессознательно, но инстинкт все-таки служит ей до известной степени верно, ибо во всех радикальных общественных вопросах хотя и нет речи ни о поголовной резне, ни о поголовном разврате, но, несомненно, есть речь о прекращении господства замкнутости и бессознательности, этих палладиумов, в которых непосредственно хранятся ближайшие и самые кровные интересы среды. С какой же стати ей окружать своими симпатиями такую деятельность, результаты которой прямо противоположны ее непосредственным выгодам? с какой стати ей рисковать, решаться на борьбу в пользу того, что должно положить конец ее собственному благополучию?

Очень может быть, что нам ответят на это примером, доказывающим, что среда не всегда руководится только инстинктами узкого эгоизма, и именно приведут пример Грановского, которого профессорская деятельность в Москве, по словам его биографа, была встречена общим сочувствием и имела немало-важное воспитательное влияние на общество. Но указание это едва ли может быть принято без оговорок. Мы не будем теперь касаться воспитательного значения Грановского (определение этого вопроса составит предмет следующих статей), но скажем только, что если оно и было, то захватывало не самую среду, в которой хранилась действительная сила того времени, но лишь те ее элементы, которые в качестве силы должны были выступить гораздо позднее, а в то время никакой реаль-

ной поддержки дать не могли. Одним словом, в районе воспитательного влияния Грановского находилась лишь молодежь того времени, а отнюдь не так называемое общество. Что же касается до «сочувствия» этого последнего знаменитому профессору Московского университета, то мы думаем, что в этом случае слово «сочувствие» несомненно принадлежало к числу тех, которые всего легче ускользают от точных определений и всего труднее переходят в действительную поддержку. Опираясь на самого Грановского, мы можем сказать, что и он, несмотря на общий снисходительный уровень своих требований, был не слишком-то лестного мнения об этом «сочувствии» московского общества. В одном из своих писем он выражается так: «Возможно ли веселиться (?) в обществе, которое страшно скучает, потому что у него нет никакого умственного движения, никакого живого интереса, которое употребляет всевозможные усилия, чтобы замаскировать эту скуку; я совершенно не понимаю, как эти люди не погибают от тоски». В другом письме, по поводу успеха читанных им публичных лекций, он прямо дает себе кличку «boeuf à la mode» [1]. Наконец, в третьем письме, по поводу подобного же успеха, он говорит: «Публика многочисленна и внимательна, но есть и другие стороны: кривые толки, сплетни, клеветы, обвинения в том и другом и т. п. Мне кажется, что на эти мерзости приличнее всего отвечать молчанием. Есть споры, которые марают даже того, кто спорит даже за правое дело». Кажется, этого свидетельства совершенно достаточно, чтобы определить отчасти бессознательный, отчасти злостный характер того участия, которое пробудили в московском обществе лекции Грановского, и биограф покойного профессора совершенно напрасно старается усилить значение сочувственных отношений и умалить значение отношений злостных. На деле первые были вполне бессодержательны и обусловливались только скукою людей, «употребляющих всевозможные усилия, чтобы замаскировать эту скуку», тогда как вторые заключали в себе то узкое, но упорное понимание умственных интересов, которое вполне исчерпывало взгляды современной Грановскому общественной среды. Поэтому на первые рассчитывать было невозможно, тогда как со вторыми необходимо было считаться. По нашему мнению, разоблачение этого мнимого сочувствия не только не умаляет, но даже увеличивает значение Грановского, и усилия, делаемые его биографом в обратном смысле, кажутся нам не вполне уместными. Странно было бы, если бы это сочувствие существовало действительно, если бы в самом деле могла найтись какая-нибудь

---

[1] Буквально: тушеное мясо. В переносном смысле — модное блюдо.

нейтральная почва, на которой могли бы встретиться: и в высшей степени гуманная личность профессора, и совершенно лишенные всякой гуманности стремления той среды, к которой он принадлежал по своему положению в свете. Допустить подобную мысль — значило бы приравнять эту среду к одному из лучших деятелей нашей мысли, что совершенно невозможно ввиду свидетельства самого профессора о грубости и пошлости, в которых коснело современное ему московское общество.

Да и чем могла заявить эта среда о своем сочувствии, кроме противно-бессмысленных возгласов, вроде charmant! sublime! [1] к которым она всегда прибегает для выражения своих беспричинных восторгов? где доказательства того, что «со времени публичных лекций Грановского московское общество *сильнее, чем когда-нибудь* (?), сознало свою связь с университетом?» В чем выражалась эта «связь» в то время, когда Грановскому внушалось, что «реформация и французская революция должны быть излагаемы с католической точки зрения и как шаги назад», и когда он вынужден был предложить не читать вовсе революции? Где была она в то время, когда Грановский по поводу своей диссертации «Аббат Сугерий» (кто бы мог подумать это!) должен был принести объяснения митрополиту Филарету? Как, наконец, она заявила себя в ту минуту, когда от Грановского требовалось составление руководства к изучению всеобщей истории, «написанного в русском духе и с русской точки зрения», и когда он вынужден был прибегнуть к целой системе уступок, чтоб удержать хоть частицу того, в чем заключалась сущность его исторического взгляда? Очевидно, что рассчитывать на такие симпатии, которые отсутствуют именно в ту минуту, когда их подкрепление всего более необходимо, все равно что рассчитывать на помощь тех оловянных солдатиков, которых в таком изобилии выделывает игрушечный мастер Ваханский.

Вот какова была эта мнимая популярность Грановского, эта мнимая «связь» его с современным обществом, о которой так много распространяется его биограф. Многие, впрочем, не видят еще большого зла в этом отсутствии популярности и охотно сравнивают популярность с «дымом», «пустым звуком» и т. д. Но это едва ли справедливо, или, лучше сказать, справедливо только в таких положениях, как, например, то, о котором идет в настоящее время речь. Мы действительно не знаем истинного значения слова «популярность», мы очень часто видим людей, которые вчера своею деятельностью обращали на себя всеобщее внимание, а нынче уж исчезли неизвестно куда,

[1] прелестно! превосходно!

и нимало не формализируемся этим исчезновением. Привычка — на то, что не уважать авторитета, но топтать все, что можно топтать безнаказанно,— вот ужасная школа, в которой мы воспитывались. Но это доказывает только нашу нравственную несостоятельность и робость и в то же самое время наше желание увернуться от обращенных к нам обвинений посредством преднамеренного извращения действительного значения самых общеизвестных слов и понятий. Не рукоплесканиями захмелевшей толпы выражает себя популярность общественного деятеля, а тою материальною и нравственною поддержкою, которую дает общество и перед которою невольно задумывается самая нахальная беззастенчивость. Вот этой-то популярности у нас никогда не было, как не было и многого другого, о чем с такою напыщенностью трактуют наши публицисты, а заменялось все это дешевыми рукоплесканиями да трактирными спичами, одинаково готовыми петь хвалу и успеху деятеля, и его исчезновению с арены деятельности.

Такова была среда, из которой выходили наши общественные деятели и которую они волею или неволею должны были постоянно иметь в виду. Теперь посмотрим, какого рода умственную и нравственную подготовку она могла дать тем детям своим, которых выпускала на поприще публичной деятельности.

К какой исключительной цели направлено было все наше воспитание? Какую задачу предполагал разрешить отец или педагог при взгляде на сырой материал, называющийся ребенком?

Эта цель, эта задача определялась двумя словами: приготовить чиновника.

Никто, конечно, не станет оспаривать крайнюю исключительность и ограниченность этой задачи, но мы все-таки могли бы примириться с нею, если б она хоть с какой-нибудь стороны была причастна к знанию и требовала хоть малейшей умственной подготовки. Знание, как бы ни было ограничено его содержание, имеет втягивающую силу, и человек, вкусивший его, невольным образом делается наклонным к расширению его. Но в том-то и дело, что даже в общем, самом низменном сознании слово «чиновник» означало не что иное, как tabula rasa [1], на которой прихоть и произвол как попало начертывали свои немудрые афоризмы. Чиновник, представлявший собой орган государства, мог свободно не знать, что̀ такое государство, в чем заключаются те функции, которые отделяют его от общества и определяют его отношения к последнему; он обязывался иметь ясное понятие только о «начальстве», он знал только

[1] чистая доска.

букву «предписания» и даже не чувствовал ни малейшего поползновения уяснить себе ее смысл и ее отношения к действительности. Чиновничество изображало собой организованное невежество не только по отношению к общей области знания, но и по отношению к той специальности, которой оно служило. Оно ничем не отличалось от среды, его производившей, оно прозябало одной с ней жизнью, с тою лишь разницей, что отдельные его члены за свои бессознательные действия отчасти награждались, отчасти отдавались под суд, тогда как бессознательность отдельных членов среды не подвергалась ни награждению, ни преследованию. Для того чтобы согнуть в бараний рог, упечь туда, куда Макар телят не гонял, ничего другого не требовалось, кроме некоторой доли изворотливости, которая помогла бы выполнить затеянное предприятие в лучшем виде. Никто не скажет, что это наука трудная, но никто же не будет и отрицать, что это та самая наука, которая составляла весь фонд нашего недавнего воспитания. Молодой человек, окончивший так называемый «курс наук», хотя и приобретал некоторые знания, но без всякой системы, не работая над собой и не ассимилируя их себе. Эти знания соскользали так же легко, как легко приобретались, тем более что ничто в дальнейшей деятельности не требовало ни повторения, ни применения их. В редких случаях они доставляли возможность убить время с бо́льшим или меньшим разнообразием, но гораздо чаще бывало так, что молодой человек, выходя из школы, считал себя счастливым, что делался свободным от наук. Уже Грановский заметил эту особенность нашего воспитания. «Студенты,— пишет он («Биогр. очерк», стр. 105),— занимаются хорошо, пока не кончили курса; по выходе из университета лучшие из них, те, которые подавали наиболее надежды, пошлеют и теряют участие к науке и ко всему, что выходит из круга так называемых положительных интересов; их губит материализм и безнравственное равнодушие общества». Вот подлинные слова Грановского; к этой меткой характеристике мы можем прибавить только, что тогдашнюю молодежь губил совсем не материализм (выражение и доныне остающееся двусмысленным), а дешевая возможность дешевых удобств жизни, и не *положительные* интересы, а, напротив того, совершенное отсутствие интересов, кроме тех, которые насильно навязывались всеобщею скукою. Все это губило не только в будущем, то есть по окончании школы, но уже в самой школе, воспитание которой только случайно касалось знания, а всею своею сущностью было направлено к тому, что Грановский неточно называл материализмом и положительными интересами и чему следует присвоить совершенно иные названия.

В самом деле, ежели мы вникнем в содержание нашего воспитания, то увидим, что в нем преобладал элемент спекулятивно-мистический, с совершенным почти исключением каких бы то ни было *реальных* знаний. Но если реальное знание по самой природе своей ограничивает человека в том смысле, что отнимает у него возможность выбора между *множеством* путей к прогрессу и сосредоточивает его внимание на *одном,* то ничто не представляет такой широкой арены для всевозможных фантастических концепций, как тот спекулятивный мистицизм, который царствовал в наших школах. Все, что идет вперед с завязанными глазами, что бьет наудачу, встречает себе готовый приют в нем; предположение самое странное, самое ри-
скованное может надеяться хоть на время найти для себя возможность укрепиться в этом убежище всевозможных гадательностей. И при этом совершенное отсутствие всякой системы, дававшее возможность самым легкомысленным образом относиться к знанию и на каждом шагу менять взгляды на ту или другую его отрасль. Возьмем для примера хоть всеобщую историю: ее предполагалось возможным преподавать «в связи с успехами и открытиями естествоведения», но в то же время не отрицалась и другая возможность: излагать ее «в русском духе и с русской точки зрения». Что̀ такое этот русский дух или русская точка зрения в науке — это очень вразумительно разъяснил нам, в конце пятидесятых годов, «Русский вестник» в опубликованных статьях «о народности в науке»; это же разъясняют нам в настоящее время «Московские ведомости», заявляющие (1869 г., № 184), что «истинно национальная политика может быть успешна только как последствие соответственного успеха в основной национальности государства», или, говоря словами более вразумительными, только та национальность может иметь влияние и силу, которая может представить доказательство действительной цивилизации. И это разнообразие взглядов, которое признавалось возможным прилагать к преподаванию истории человечества, прилагалось не к ней одной, а проникало всюду и везде давало возможность освещать знание не тем светом, который ему принадлежит, а тем, который признается наиболее удобным для требований, образующихся совершенно от него независимо. Подобная шаткость в столь важном акте человеческой жизни, как воспитание, имела последствием такую же шаткость в дальнейшем ее развитии. Приобретая знание в самом недостаточном количестве, и притом такое, которое не представляло никаких применений к действительности, молодой человек не задумывался над своим будущим, не искал в его неизвестности возможности каких-либо новых путей, но успокоивался на тех, которые были

приготовлены жизнью и ее преданиями. Он прямо делался «чиновником», то есть человеком, которому воспитание дает возможность жить на чужой счет, совершенно на одном уровне с любым из членов среды, в которой сосредоточивалась вся сумма наших тогдашних умственных интересов. Можно ли удивляться, что дело, начатое с подобными намерениями, приносило и результаты, вполне соответствовавшие этим намерениям? Можно ли требовать, чтобы «чиновник», оказывавшийся таковым чуть ли не на руках нянек, не продолжал быть и в дальнейших фазисах жизни тем же чиновником, то есть человеком, который ни в какой другой способности не ощущал нужды, кроме способности «гнуть в бараний рог»?

Нет; скорее можно удивляться тому, что даже подобные злосчастные условия иногда уступают перед силою даровитости и таланта. В доказательство сошлемся на воспитание Грановского, одного из тех представителей нашего недавнего прошлого, которые выражали собой лучшие стремления того времени. «В учении его не было никакой последовательности, никакого плана,— говорит его биограф,— оно велось отрывочно и случайно»; затем, хотя присутствие в его семействе некоторых светлых личностей (из них в особенности выдается г-жа Герито) и смягчало эти недостатки в том смысле, что благодаря этим личностям он успел воспитать в себе вкус к умственному труду, но стоит только заглянуть в лежащий перед нами «Биографический очерк», чтоб убедиться, чрез сколько колебаний и мытарств должен был пройти Грановский, прежде нежели вступил на ту стезю, на которой создалось впоследствии его благотворное общественное значение. Что доказывает эта нерешительность выбора между юридической, дипломатической и даже военной карьерами, которая ознаменовала первые сознательные шаги его в жизни? По нашему мнению, она доказывает только ту истину, что Грановский сам не знал, куда ему удобнее приютиться, и все профессии считал для себя равно доступными (заметим в скобках, что он был уже не ребенком, а довольно развитым юношей). В этом предположении утверждает нас и мысль о самоубийстве («Биогр. оч.», стр. 24), которая волновала Грановского в эту переходную эпоху. Биограф его справедливо видит в этой мысли следствие стремлений к задачам и целям жизни, без достижения которых существование теряет смысл и цену; даровитая и впечатлительная натура Грановского не могла примириться с тем безразличием, в которое бросала его воспитательная подготовка, и не могла не ужасаться при виде нравственных опасностей, представляемых этим безразличием. Кого из мыслящих людей

не волновал этот вопрос и многие ли разрешали его для себя? Много ли найдется таких, которые не оставили в этой борьбе лучшей части своего нравственного бытия? Однако ж, скажут нам, Грановский все-таки разрешил эту задачу и нашел наконец такую область, которую вполне мог назвать своею. Да, это, пожалуй, отчасти и так, но кто же может сказать наверное, что, не будь случайного стечения благоприятных обстоятельств, он не очутился бы в лагере совершенно противоположном и, вместо того чтобы сделаться воспитателем современного ему поколения, не сделался бы просто способным и обладающим прекрасным пером чиновником? Даровитость его, конечно, и в этом случае осталась бы неприкосновенною, но ведь с точки зрения польз общества важность вопроса не в этом, а в том, каким бы питалась содержанием эта несомненная даровитость и какое было бы ее влияние на жизнь.

Таким образом, выступая на арену общественной деятельности, русский деятель встречался, во-первых, с неопределенностью своей собственной воспитательной подготовки и, во-вторых, с совершенно ясным пониманием, что общество, которому он приносит свое служение, не только не даст ему никакой защиты, но даже при первом случае отвернется от него. Спрашивается, при каких же внешних условиях приходилось действовать двигателям русской мысли, столь недостаточно вооруженным и столь мало поддержанным?

Эти условия достаточно известны всем и каждому, чтобы нужно было распространяться об них. Вот каким образом г. Станкевич выражается об эпохе, непосредственно следовавшей за смертью Грановского. «В русском обществе,— говорит он,— около того времени начинало пробуждаться сознание. Оно начинало чувствовать необходимость перемен, невозможность оставаться в прежнем порядке вещей. Общественная нравственность, справедливость робко, неясно начинала поднимать свой голос, заявлять свои требования в лице лучших людей. Современному человечеству нельзя жить, забывая о добре, нравственности, чести, о началах, на которых зиждутся христианские общества, и это начинало понимать все большее и большее число людей. После мрачной ночи занималась прекрасная заря»... Если это суждение может быть названо верным относительно эпохи нам современной, то из него, конечно, можно вывести весьма характеристическую посылку и к эпохе предшествующей. Окажется, что русские времен Грановского (ибо до «прекрасной зари» он не дожил) были люди, забывшие о добре, нравственности, чести и даже вообще о началах, на которых зиждутся христианские общества; что они походили на тех персов и греков времен Александра Македонского,

о которых Нибур (Соч. Грановского, т. II, стр. 119) произносит следующую меткую характеристику: «В это несчастное время злое начало в человеке пришло к спокойному и полному сознанию самого себя; все чистое, благородное, совесть, свойственный даже порочным людям стыд дурных и бесчестных дел исчезли». Жить в такое время, быть действующим лицом в подобной среде — участь далеко не завидная; но нам кажется, что характеристика г. Станкевича, как ни кажется она верною в общих чертах своих, все-таки применена не совсем туда, куда следует. Не говоря уже о том, что она странным образом противоречит его же свидетельству о сочувствии, которое встретил Грановский со стороны московского общества, мы думаем, что общество, которое «скучает», не может быть злым в прямом значении этого слова. Оно не имеет повода «забывать о добре» уже по тому одному, что никогда не было настолько знакомо с понятием о зле, чтобы иметь возможность провести ясную границу между ним и понятием о добре. Бессознательность, отсутствие каких-либо определенных задач, коснение — вот типические черты подобных обществ. Не к обществу следует отнести упреки, делаемые г. Станкевичем, а к тем его эманациям (историческим и всяким другим), которые хотя, бесспорно, исходят из общества, но с течением времени до такой степени обособляются и отверждаются, что могут быть рассматриваемы как нечто внешнее, в свою очередь воздействующее на свой первоначальный источник. Не в коснеющем и скучающем обществе заключается творческая сила зла, а именно в тех застывших и обособившихся его эманациях, с которыми специально должна была иметь дело мысль и которые встречали ее первый проблеск и неотступно следили за всеми дальнейшими ее проявлениями...

Из всего вышеизложенного с достаточною ясностью обнаруживается, что общее неблагоприятное положение, в котором находится цивилизующая мысль, в рассматриваемых нами условиях усложнялось еще многими другими обстоятельствами, которые принадлежали собственно времени и месту и ставили ее существование в пределы еще более тесные и зависимые от всякого рода случайностей.

Тем не менее и у нас, как и везде, мы видим, что действие цивилизующей мысли не прекращается. Несмотря на то что практика отвергает не только немедленные применения этой мысли — это было бы до известной степени объяснимо тем, что непосредственные применения затрогивают именно ту ближайшую обстановку, в которой человек живет в данную минуту и к изменению которой он недостаточно приготовлен,— но и теоретическую ее разработку, всегда, даже в эпохи самого не-

проглядного общественного ослепления, находятся такие самоотверженные люди, которые, однажды убедившись, что в истине заключается действительное благо человечества, считают, что сокрытие ее несовместно с достоинством человека убежденного и сознающего свою нравственную силу. Обыкновенно подобных людей называют героями, но, в сущности, это только личности, которые в такой степени сознали верность выработанных ими начал, что последние вошли в их жизнь и сделались составною ее стихией наравне со всеми другими инстинктивными движениями. Но на этих-то людях, собственно, и зиждется то непрестающее движение, которое мы замечаем в истории.

С каждым днем все более и более приобретает себе авторитет та мысль, что история заключает в себе силу утешения не только для тех, которые занимаются ею как наукой, но и для всех вообще людей, вносящих в жизнь новую мысль, новое убеждение. Справедливость этой мысли нельзя опровергнуть, но тем не менее весьма заблуждался бы тот, кто полагал бы силу этих утешений только в противоположении добродетельных деяний гнусным, или в том, что история представляет множество примеров самоотвержения и твердо перенесенных страданий. Утешающее значение истории заключается, во-первых, в том, что она представляет картину не только постепенного распространения цивилизации, но и постоянного истощения сил, ей противодействующих, и, во-вторых, в том, что примеры героизма и самоотвержения, которыми и по настоящее время ознаменовывается каждый шаг на пути прогресса, обещают со временем сделаться вовсе ненужными. Несмотря на поборников бессознательности и произвола, человечество продолжает жить; несмотря на ненормальность такого явления, как самоотвержение, оно освещает от времени до времени историю не ради оправдания своей рациональности, а единственно ради объяснения своей условной уместности.

Что же заставляет этих героических людей, этих двигателей истории, действовать даже в такие минуты, когда мысль подвергается всякого рода искушениям, которые или насилуют, или запутывают ее? Что побуждает их покидать пути рутины, на которых их ждет спокойный и непререкаемый успех, и вступать на такие пути, где их подстерегают неизвестность и подозрительность? Прежде всего, как уже сказано выше, их вынуждает к тому необходимость пропаганды, как неотъемлемая принадлежность самой мысли, ищущей проверки и успокоения собственных сомнений; но, кроме того, есть еще и другой возбудитель, который в этом случае является двигателем не менее деятельным и который носит имя общего блага.

Цивилизующая мысль, рассматривая человека, в равной степени признает право гражданственности за всеми его свойствами и определениями, то есть ни одного из них не стесняет, не преследует, не считает проклятым. Сверх того, она заключает в себе такую внутреннюю силу обобщений, которая постоянно захватывает все бо̀льшую и бо̀льшую область жизни. Признавая известное право нормальным и соответствующим пользам человека, она стремится перенести его всюду, где встречается возможность для применений. Предмет ее воздействий — не каста, не цех, а человечество вообще; значение этих воздействий не только цивилизующее, но и эманципирующее. Вот почему и предполагается заранее, что окончательный результат ее общее благо. То, что̀ мы утверждаем здесь о свойствах и действии цивилизующей идеи,— совсем не умозрение; это истина, которая на каждом шагу подтверждается историей. Везде, где история записывает на страницах своих торжество либеральной или цивилизующей идеи, везде она в то же время записывает и факт распространения области пользования известными благами жизни. Напротив того, везде, где мы видим сокращение упомянутой выше области, мы можем быть уверены, что встретимся с мыслью совершенно иного свойства. Следовательно, идея цивилизующая и идея общего блага, в сущности, составляют одно нераздельное целое, которое мы делим только потому, что к такому делению обязывает нас свойство человеческого мышления.

Представление об общем благе обязывает цивилизующую мысль ко многому, и прежде всего к деятельному проникновению в массы. Правда, что процесс этого проникновения сопряжен для нее с весьма существенными опасностями, на которые мы указали выше и которые могут извратить самый характер и действие мысли. Но не следует ли смотреть на эти опасности как на неизбежных спутников всякой пропаганды, которые будут сущесгвовать до тех пор, покуда мысль не завоюет для себя условий более благоприятных? Но следует ли останавливаться перед этими предвидениями и оставаться в выжидательном положении до тех пор, пока не исчезнет возможность периодического появления их? Когда уничтожится эта возможность? Сама ли собой она уничтожится или падет под усилиями тех, которые выходят с намерением перейти вселенную из конца в конец, но, благодаря враждебным условиям, успевают удержать за собой только пядь земли?

Вопросы эти ставят нас лицом к лицу с теорией так называемого абстенционизма, о которой мы и предполагаем беседовать с читателем в следующей статье.

НАШИ БУРИ И НЕПОГОДЫ

Когда я сравниваю настоящее время с минувшим,— минувшим, которое было даже не очень давно, например, лет тридцать или сорок назад, то думаю, нам ли не жить счастливо, то есть спокойно, довольно, с светлым взглядом в будущее. Из бесчисленного множества поколений, населивших и обстроивших русскую землю, мы первые счастливцы, которые имеем право называть себя не обывателями только, а некоторым образом гражданами русской земли, которым дана известная свобода мысли и самодеятельности, известная доля участия в управлении, дан народный суд, у которых, наконец, de jure[1] нет, не осталось и тени рабства нигде, ни даже в самых отдаленных и глухих уголках обширного отечества. Правда, все это только пока в начатках, но это такие начатки, об существовании которых не мечтали люди даже ближайших к нам поколений; это такие начатки, владея которыми можно безбоязненно и светло смотреть в будущее и работать с наслаждением. Если бы какой-нибудь герой «времен очаковских и покоренья Крыма» взглянул на наше настоящее, он, конечно, сказал бы с восторгом в простоте души: «Да у вас не мишура только, а действительно золото; вы настоящие европейцы; вам и умирать не надо». Он никогда не увидал бы, что мы, новоиспеченные европейцы, ничуть не блаженнее его,— бывшего раба или, что еще хуже, рабовладельца варварской России второй половины XVIII столетия, что мы часто гуртом не спим от таких вещей, от которых не был потревожен в своем безмятежном

[1] юридически, формально.

сне ни один из его современников, что, не пользуясь в действительности политическим существованием, мы то и дело терпим и переживаем политические бури.

Читатель понял, конечно, о каких бурях мы ведем речь. Он знает их так же хорошо, как и мы.

Живет себе русское общество спокойно и смирно; каждый сидит под виноградом своим и под смоковницею своею, занимаясь своим делом; вообще, вся страна наслаждается, по выражению одного публициста, глубоким земским миром. На отечественном небосклоне всюду светло и ясно, никто не видит нигде и не предчувствует никакого признака невзгоды и беды. Как вдруг в это время, неизвестно откуда, вылетает, наподобие бомбы, некто Нечаев и с шумом и треском падает среди изумленного общества, приводя всех в страх и смущение.

Кто такой Нечаев? Что такое Нечаев? Чей он посланник? Во имя чего и к кому он явился? Какие его цели и намерения? Общество ничего этого не знает и до Нечаева нет ему, по-видимому, никакого дела. Нет, говорят, дело есть; Нечаев совершил преступление из п-о-л-и-т-и-ч-е-с-к-и-х целей, и у него есть сообщники в среде общества. Положим, так, но на это есть благоустроенная полиция, которой дано право не только преследовать, но и предупреждать преступления. Обществу опять-таки до этого нет никакого дела, и оно имело бы, по-видимому, полное право оставаться спокойным и заниматься своим делом.

Однако нет. Полиция, видимо, не знает ничего твердо определенного ни о замыслах Нечаева, ни о его сообщниках и чего-то ищет. По обыкновению, общество приходит в смущение. В чем состоит нечаевское дело, остается для всех неизвестным, и публика, естественно, старается поднять завесу с этой тайны. Но как удовлетворить этому любопытству? Единственное средство в ее руках — это собрать данные и из этих данных извлечь ключ к тайне. Но после долгих соображений оказывается, что из собранных данных ни к каким общим выводам прийти нельзя. Между арестованными находятся люди таких различных состояний, званий, занятий, привычек, вращающиеся притом в кружках *до того разнообразных*, что, очевидно, в большей части ни между ними самими, ни между ними и Нечаевым никаких связей быть не могло. Общество теряет единственную надежду, бывшую в его руках, для успокоения себя. Тогда является ему на помощь услужливая молва с своими догадками и производит решительное смятение. Начинают говорить, что Нечаев и некоторые из его сообщников, которых называют и по именам,— разумеется, одни одних, другие других,— обли-

чены в важном политическом заговоре. И весь этот говор имеет в своем основании что-то смутное: толкуют о знакомстве, каких-то записочках, адресах, фотографических карточках и т. п. «Помилуйте, это дело невозможное,— говорят люди солидные, выслушивая такое показание молвы.— Ведь и Нечаев, и сообщники его были не преступниками назад тому два, три месяца. Мало ли с кем могли они иметь случайные сношения и отношения? Мало ли чьи могут быть найдены у них записки, карточки, адресы? Да, наконец, карточки, адрес могли попасть к ним даже без ведома того лица, которое они обозначают?» Но, говоря это, солидные люди втайне все-таки остаются не уверены в своих предположениях и колеблются. В это время услужливая молва приливает с новыми сведениями. Начинают говорить, что родилось убеждение, что все зло в России происходит от размножения нигилисток; что поэтому к нечаевскому делу присоединяется дело о нигилистках. Но молва представляет такие недостаточные, малочисленные и шаткие факты и pro и contra [1] для своего известия, что никто не знает, на чем остановиться,— и от этого все приходят еще в большее смущение. Но молва не останавливается на этом. Быстро несет она новый поток сведений и слухов. Начинают говорить, что убедились, что зла нельзя будет никогда истребить, если не истребить причин, его порождающих. Эти причины — ультралиберальные, социалистические и коммунистические идеи, распространяемые в обществе и посредством печати, и посредством разных обществ, и посредством устного слова. Это приводит в окончательное смущение всех. Как провести разграничительную черту между ультралиберализмом и просто либерализмом? Кто будет проводить эту черту? Что̀, далее, будет *признаваться* социалистической и коммунистической идеей и что̀ не будет признаваться? Кончается тем, что все начинают прятаться по норам и каждый в уединенном самосозерцании и самоуглублении начинает себя испытывать: не написал ли он где-нибудь, не сказал ли в обществе чего-нибудь такого, что могло быть понято и растолковано другими за идею ультралиберальную, социалистическую или коммунистическую. О деле Нечаева начинают говорить с осторожностью и оглядкою, разве только при самых коротких друзьях; имя его произносится полушепотом, чтоб не услыхала прислуга дома. Все, не чувствуя за собой никакой вины, начинают себя считать чуть не виноватыми. Паника доходит до смешного. Рассказывают, что один ех-профессор, отлучившийся из дому по делам очень рано и возвратившийся домой только к обеду, за обедом,

[1] и «за» и «против».

с глазу на глаз с своей женой, попросил последнюю рассказать ему газетные новости этого дня. Жена рассказала разные новости и в числе прочих сообщила ему, что Нечаев убежал за границу. Как только ех-профессор услыхал имя: Нечаев, то побледнел и затрясся. Поспешно встал он из-за стола, подошел к одной двери, посмотрел, нет ли кого за ней, подошел к другой, произвел и здесь ту же ревизию,— и только тогда, несколько успокоившись, возвратился за стол и сказал жене глухим голосом: «Душа моя! мы не должны называть имени этого человека; если бы в газетах было напечатано, что разверзлась земля и поглотила *его,* мы должны бы сказать: что разверзлась земля и поглотила некоторого человека,— только, а не имярек».— «Отчего же?» — спросила с изумлением испуганная жена. «Оттого, душа моя,— отвечал ех-профессор,— что времена такие... у нас есть прислуга... Услышат фамилию, пойдут болтать...» — «Но ведь ты не виноват ни в чем!» — возразила было супруга. Но ех-профессор был, очевидно, менее ее доверчив в этом случае. «Не виноват,— отвечал он,— конечно, но прежде чем узнают, что я не виноват, придется, пожалуй, *посидеть*».

Я человек от природы характера самого робкого. Когда настает общественная паника, я начинаю трусить едва ли не более всех. Чувство трусости есть самое скверное чувство; это я имел случай испытать много раз в моей жизни. Но если природа наградила кого-нибудь этим чувством, то с ним ничего не поделаешь. Остается одно: быть вечно настороже против разных невзгод и принимать вовремя благопотребные меры. Так и веду себя я.

Еще с 1862 года убежденный И. С. Тургеневым, я порешил, что в наше время всякая связь с молодым поколением опасна, и поставил себе в священный долг не только не заводить вновь знакомств с людьми, не достигшими, по крайней мере, *тридцатипятилетнего* возраста, но раззнакомиться и прекратить всякие сношения даже и с теми из старых знакомых, которые моложе этих лет. Это решение исполняю я твердо и неуклонно. Сколько ни просят меня разные мои теперешние почтенные и уважаемые мною знакомые, имеющие по пятьдесят и более лет от роду, чтоб я позволил им ввести в мой дом их племянников, внучков и других молодых людей, аттестуя их как людей меня уважающих и вместе с тем вполне достойных и благонамеренных,— я отвечаю постоянно всем одно и то же: «Не могу; времена теперь не такие». Что касается до особ женского пола, то я положил допускать в мой дом: девиц и замужних женщин не ранее 30-летнего возраста, если только они не стригут своих волос и если моими почтенными знакомыми будет

удостоверено, что они не заражены ядом нигилизма; если же стригут волосы, то, при должном ручательстве в их благонадежности, таковые допускаются не ранее сорока лет от роду.

Далее, не имея за собою ни родового, ни благоприобретенного, проживая на маленькие средства, я решился чуть не половину зарабатываемого мною дохода употреблять на то, чтобы нанимать приличную квартиру с швейцаром. Дорогая квартира лежит тяжелым бременем на моем маленьком хозяйстве и стесняет меня на каждом шагу; у меня нет порядочного стула, на котором можно бы было сесть вполне безопасно, я отказываю себе иногда в необходимой для моего здоровья рюмке вина, мой туалет не лучше туалета немецкого бурша, но за все эти лишения меня утешает мысль, что у меня есть швейцар. Швейцар — великое дело в нашей жизни. Мимо него не пройдет ни один из идущих в мою квартиру. Но мне нравится особенно то, что бог одарил моего швейцара значительною дозою проницательности, любопытства, памяти и что эти качества сохранились в нем во всей силе, несмотря на его преклонные лета. Он знает не только имена, звания, занятия, но даже места жительства всех моих знакомых. Я так доволен этим, что иногда доставляю себе особенное удовольствие слегка поэкзаменовать его: твердо ли он всех знает, не позабывает ли, не перепутывает ли. Вот иду я домой с обычной прогулки моей после обеда; швейцар отворяет мне дверь и обыкновенно старается ради любезности сказать мне что-нибудь: «А что погода, кажется, все не поправляется?» — начинает он. «Да,— отвечаю я.— А был кто-нибудь без меня?» — «Была,— как ее,— не вспомню вдруг имени,— редакторша (так называет он сочинительниц), что живет на Невском в доме таком-то». Или: «Был старичок-сочинитель, который к вам ходит, небольшого роста, у которого жена такая-то (начинается описание жены); живет на Лиговке».— «А!» — говорю я улыбаясь и весело поднимаюсь вверх в свою квартиру. Но еще болсе мне нравится то, что швейцар мой находится в самой тесной дружбе с нашим околодочным. Последний то и дело торчит около него у подъезда, или они распивают вместе чай в каморке швейцара. «Ведь о чем-нибудь разговаривают же они,— думаю я про себя,— проводя целый день вместе? О чем же они разговаривают? Конечно, о жильцах, которые живут в доме, о знакомых, которые к ним ходят, о том, кто эти знакомые, и проч. Одним словом, околодочный знает все то, что знает и швейцар»,— заключаю я и потираю себе руки от удовольствия. «Никто, значит,— продолжаю я думать,— не может заподозрить меня в знакомстве и сношениях с людьми неблагонамеренными: справка налицо; жизнь моя как на ла-

дони». Но как ни завидно положение мое в сравнении с другими, прихотям смертного, как известно, нет пределов... Я желал бы, чтобы не только по наружности, но даже внутри моего жилища постоянно присутствовал какой-нибудь любопытный консерватор, который наблюдал бы за каждым моим шагом и движением, выслушивал каждое мое слово. До того я невинен, что мог бы, кажется, предстать во всякое время и всюду...

Казалось бы, мне ли не быть спокойным, что̀ бы ни происходило в общественной жизни. И, однако ж, когда начинается общая паника, я впадаю в смущение, если не больше, то ничуть не меньше всех других. Голова начинает гореть, начинают шевелиться и бродить разные скверные мысли, так что ни о чем думать невозможно; в голове то и дело вертится вопрос: «Да невинен ли ты действительно? Не воображается ли только тебе, что ты невинен?» И вот я самоуглубляюсь и подвергаю себя самому строгому самоиспытанию. Я начинаю с того, что припоминаю всех заподозренных «Московскими ведомостями» лиц и спрашиваю себя: «Не был ли ты знаком с кем-нибудь из них даже когда-нибудь? Не знаешь ли их? Не встречал ли их где-нибудь?» По тщательном возобновлении в памяти всего прошедшего, на все такие вопросы получается ответ решительно отрицательный. Удостоверившись, что с этой стороны *твердо,* я перехожу к испытанию себя в отношении переписки: «Не писал ли ты кому-нибудь когда-нибудь писем с *вольным духом* или с неопределенными намеками, которые каждый может растолковать по-своему, не раздавал ли и не продавал ли своих карточек?» И с наслаждением снова удостоверяюсь, что и с этой стороны *твердо.* С ранней молодости моей я отличался отвращением к переписке. Писать письмо было для меня таким же мучением, как делать визит. С самыми лучшими друзьями я мог хранить упорное молчание в продолжение целых годов, если не представлялось настоятельной необходимости написать по делу, точно так же я мог не посещать по целым годам лиц для меня самых дорогих без крайней какой-нибудь нужды. Это много причинило мне огорчений и стоило многих потерь в жизни, ибо только немногие, очень близко знавшие меня друзья мои понимали, что это не что-нибудь преднамеренное, а таково свойство моей натуры. Было когда-то время, что я сам огорчался своею неподвижностью и по временам даже предпринимал твердое намерение исправиться, но этого твердого намерения никогда не хватало и на неделю. Теперь только я опытно понял, что это свойство, причинявшее мне столько огорчений в жизни, вовсе не дурное свойство, что многие, напротив, у которых руки так же слабы

на воздержание от ненужного письма, как слаб язык на словоизвержение, должны сильно завидовать мне.

Затем я обратился к испытанию себя в самом наиважнейшем моменте человеческих грехопадений, в устном словоизвержении, но здесь почувствовал себя еще легче. «Язык мой — враг мой»,— говорит пословица. Я мог бы сказать: «Язык мой — друг мой». Несмотря на мою словоохотливость и веселость, в жизни моей мне случалось терпеть неприятности от промахов умолчания, но никогда от словесной распущенности. Всю важность этого качества, которому я прежде не давал никакой цены, я понял только в последнее десятилетие. Трудно представить себе общество, где бы болезнь языконеистовства была так сильно развита и похищала столько жертв, как у нас. Целые политические процессы у нас велись и ведутся из-за словоизвержения,— и сколько погибло от этого сил! Есть люди, которые не могут хранить в себе ни одной зародившейся в их голове мысли, ни одного известия, услышанного от других. Пока они не опорожнятся, то есть не расскажут того, что у них имеется, по крайней мере пяти человекам, каждому особо, они не могут быть спокойны. Даже когда они, по-видимому, твердо решаются не говорить чего-нибудь другим, вообще сохранить тайну, они не могут этого сделать. Их лицевые мускулы и нервы, их телодвижения изменяют им. Сейчас видно, что их что-то прет изнутри и требует немедленного опорожнения. Ужасное несчастие!

Оставалось еще испытать себя относительно грехопадений по части литературы. Но, вступая в эту область, я чувствовал под своими ногами уже твердую почву. Во-первых, литература — дело публичное, совершаемое открыто перед всеми; во-вторых, за нею следят столько официальных надзирателей и столько литературных любопытных консерваторов, что в ней невозможно совершить преступления, если бы и хотел; в-третьих, для преступлений литературных существует особый следственный и судебный процесс, от которого никогда не отступают, да и отступить трудно, ибо литература — дело тонкое и преступление ее может понимать только специалист.

Получив из самого строгого самоиспытания такие блестящие результаты, я сделался так доволен, что готов был прыгнуть от радости. Во мне явилась потребность немедленно излиться в благодарных чувствах.

В это время вошла в кабинет подруга моей жизни и, увидев меня, каким не видала уже много дней, веселым и беззаботным, спросила:

— Что с тобой?

— Ничего,— отвечал я.— А знаешь что, сегодня погода от-

личная. Не прокатиться ли нам? Кстати заехали бы в Казанский собор, помолились.

— Что это значит?

— Да ничего,— отвечал я.— Давнехонько уж не были мы у чудотворной.

— Гм! однако ж почему именно сегодня напала на тебя страсть к богомолью? А у меня тоже есть дело к тебе. Ты знаешь, сегодня назначены дебаты об обществе распространения женского образования, и ты непременно должен ехать со мною.

Меня немножко передернуло при этих словах.

— Знаешь что? — начал я,— теперь не такие обстоятельства, чтобы думать об основании обществ. Да и сказать ли тебе правду,— я мало вижу толку в этих обществах. Они, мне кажется, убивают только и подъедают частную инициативу людей богатых. Ведь вон Пибоди — посмотри, как действовал. Даст тут миллион долларов, в другом месте два, в третьем — три,— смотришь, в одном месте, точно по щучьему веленью, университет вырос, в другом — огромное благотворительное учреждение, в третьем... А будь общества, он, пожалуй бы, и внимания не обратил. Дескать, есть кому пещись. Так и у нас. Не будь вашего общества, может, ныне же на женское образование дал бы Кокорев миллион, Утин — другой, Бенардаки — третий, Поляков — четвертый. Я называю этих богачей только к примеру,— а мало ли у нас таких? А учредите вы общество, они скажут: теперь есть кому и помимо нас думать о женском образовании.

— Однако ж до сих пор ведь никто ничего не дал? — возразила моя подруга.

— Конечно, не дал, но из этого не следует, чтобы не могли дать. А как заведете общество, так наверно уж не дадут.

— Ну, это еще бабушка надвое сказала,— отвечала она,— а ты все-таки со мною поедешь.

«Вот тебе и попал,— подумал я, отправляясь в свой кабинет.— Что тут будешь делать? Отказаться — нет никакой возможности. Заедят, со света сживут женщины. Ехать в собрание? Но ведь там, верно, человек двадцать, пожалуй, тридцать будет. Уж самый факт подобных собраний есть вещь незаконная. А там разнесется молва, что был в собрании, следовательно, рассуждал... затевал нечто, положим, законное, но... следовательно, все-таки человек некоторым образом недовольный, протестующий. И зачем это они у нас женское образование какое-то выдумывают? тут надобно бы и мужчин-то разучить, чтобы не высокоумствовали!»

Просто досада меня взяла; веселого расположения духа как не бывало. В то время, на беду мою, как раз шасть в двери Федя Горошков.

Федя Горошков мужчина лет сорока пяти, неуклюжий, длинный, как верста, желчный, ничего не делающий, но уверяющий всех, что он по горло завален работою и не знает отдыха. С утра до вечера он проводит время в том, что собирает разнообразные городские сплетни, преимущественно имеющие политический оттенок, разрабатывает их по своему вкусу и в украшенном и дополненном виде разносит по своим знакомым под названием новостей. Так как он темперамента меланхолического, то подбор новостей делает обыкновенно в печальном роде. Если вы находитесь в веселом настроении духа, он своею беседою непременно нагонит на вас тоску и скуку; если же вы и без того невеселы, тогда боже вас упаси от беседы с ним. В прежние времена, находясь в таком почтенном возрасте, Федя Горошков давно, конечно, понял бы, что он не более как сплетник, но в наше прогрессивное время он остается в том убеждении, что носит в душе своей Weltschmerz[1], и почитает себя политическим деятелем.

— Слышали вы новости? — спрашивал Федя Горошков, вваливаясь в мой кабинет.

— Какие новости? — говорю я.

— Аресты, батюшка, аресты, да ведь какие аресты! Уж тысячи три человек взято!

— Полно вам вздор говорить. Арестовано каких-нибудь человек десять, много пятнадцать, а вы валите целые тысячи! Да и какое нам дело до этих арестов?

— Вам-то какое дело?.. Как?.. Вы литератор — и вам нет дела?! Ну, нет, вы этого не говорите. Я вам историей докажу...

— Какой вы мне это историей докажете? — говорил я, чувствуя справедливость его слов и внутренно труся, но храбрясь.— Историей, конечно, реакций?

— Та, та, та,— продолжал безжалостный Федя Горошков, не примечая моего смущения,— положим, что и историей реакций. А как вы узнаете, что̀ теперь такое у нас: прогресс или реакция?

— Уж, конечно, не реакция,— пробормотал я.

— Гм, нет,— начал снова Федя Горошков.— А слышали вы, что Белоголового арестовали?

— Вздор, вздор,— отвечал я.— Я вчера видел Белоголового.

— Ну да, вчера вы видели, а сегодня в ночь взяли; и всех

[1] мировая скорбь.

студентов, исключенных по истории Полунина, взяли, и самого даже Полунина взяли.

— Полунина-то зачем же? — спросил я, невольно улыбаясь.

— А для полноты сведений,— отвечал, не запинаясь, Федя Горошков.

— А слышали вы? — начал он снова...

Вестей, вроде представленных мною, рассказал мне Федя Горошков с три короба и, прощаясь, несколько раз повторил мне: «Нет, вы будьте поосторожнее, пообыщитесь; не ровен случай». Все, что говорил Федя Горошков, было или просто нелепо, или невероятно, или сомнительно; рассуждения и соображения его были глупы, но когда человек находится под влиянием паники, его легковерие быстро возрастает, и всегда в обратном отношении к здравому смыслу. Он делается способен скорее поверить вещи самой нелепой, нежели тому, что естественно и очевидно. Так было и со мной. Я понимал всю несостоятельность речей Феди Горошкова, мог доказать нелепость, невероятность или сомнительность каждой его сплетни, видел глупость его соображений, а вместе с тем мне невольно думалось: «А ведь почему-нибудь говорят же? Кто ж его знает, что̀ может быть?» В ушах у меня постоянно звучали прощальные слова Феди Горошкова: «Нет, вы будьте поосторожнее, пообыщитесь; не ровен случай». Сначала я старался отогнать их от себя, но напрасно; они то и дело завладевали всеми моими мыслями, так что я стал привыкать к ним, вдумываться в них и, наконец, порешил: «Почему же и не самообыскаться? Самообыскание есть ведь только восполнение самоиспытания, и восполнение некоторым образом даже необходимое».

Но здесь мне предстоял трудный подвиг. Мне не хотелось о своем намерении самообыскания говорить жене. Потому что, как хотите, неловко как-то сказать жене или кому бы ни было, что я хочу обыскивать сам себя, или, что то же, хочу сам обыскивать свою квартиру. А между тем самообыскание нужнее было скорее всего для моей жены, чем для меня. Меня мало вообще интересовали разные запрещенные политические редкости, а она была неравнодушна и к сочинениям заграничной печати и к карточкам великих, но запрещенных людей.

Жена моя прекрасная, цельная натура. В ней нет того раздвоения, к которому мы привыкаем с самых ранних лет. Она не разделяет мысли от слова, слова от дела; что̀ она раз признала честным и хорошим, от того никогда не отречется, даже притворно, напротив, будет отстаивать всеми силами везде и всегда. Для истины всякая аккомодация к существующему

положению дел, по ее убеждению, унизительна и преступна. Чем *пламеннее* делается натиск на то, что она привыкла считать честным и хорошим, тем *суровее* дает она отпор, невзирая ни на какие лица и обстоятельства. Это качество я глубоко ценю и уважаю в ней. Но читатель, знающий наши общественные отношения, согласится, что бывают случаи, когда означенное качество может причинять большие беспокойства.

Когда я вошел в кабинет своей жены, она сидела и читала «Мизераблей» В. Гюго.

— Что ты читаешь? — спросил я, будто не замечая.

Она назвала книгу.

— Старенько,— сказал я.—Да и талант Виктора Гюго давно уже поизносился. Ныне и у нас можно найти много кой-чего гораздо поновее и поталантливее.

— Что же, например? — спросила она.

— Да мало ли что? Например: «Идиот» господина Достоевского.— Она сделала гримасу.— «Преступление и наказание» его же,— продолжал я с прежнею храбростью.— Некоторые критики очень хвалили этот роман именно за картинность, которою только и берет Виктор Гюго.— Она поморщилась.— А то вот,— снова начал я,— последние сочинения нашего романиста И. С. Тургенева: «Собака», «Лейтенант Ер...».— В это время я взглянул на мою супругу и не кончил слова. Ее глаза обращены были на меня с таким укором, что мне стало совестно продолжать.— Ну да,— начал я,— я ведь говорю это только к примеру, называю первое, что мне приходит на память. Мало ли что у нас есть хорошего? Во всяком случае, что тебе за охота читать эти размазанные, растянутые, надоевшие всем описания нищеты, вечные нападки на богатых...

— А тебе хотелось бы,— возразила моя супруга,— чтобы я читала нападения на бедных за то, что они притесняют богатых?

Я замолчал. «С какой стати,— думал я в это время про себя,— привязался я к этим Мизераблям. Пусть ее читает их на здоровье, если хочет!»

— Впрочем, это ведь я так,— начал я,— только между прочим и из патриотизма обращаю твое внимание на недостатки Виктора Гюго. А у него есть, конечно, много и достоинств, и если он тебе приходится по сердцу, отчего же его и не читать? А это что̀ у тебя валяется? — сказал я, взяв одну из лежавших на столе книг, на которую давно уже были устремлены мои очи.— Ба! Заграничный исторический сборник. Ну, об этом нельзя сказать того же, что о Гюго. Это можно совсем не читать без всякой потери!

— Это почему? — спрашивала моя супруга, смотря на меня во все глаза.

— Да потому,— отвечал я,— что... что ж это такое? Не то роман, не то история. Иные акты, конечно, встречаются и любопытные, но они ничем не удостоверены; что же толку в том, что ты их будешь знать?

— А какие же акты удостоверены?

— Да все,— отвечал я,— которые издаются не за границей, а у нас дома. Здесь издается все на основании подлинных, несомненных документов; если бы относительно чего возникло сомнение, можно сейчас печатно возбудить вопрос, завести спор, и дело тотчас выяснится. Мне жаль,— прибавил я,— что, читая исторические акты, издаваемые за границей, ты не заглянешь никогда в те, которые издаются здесь. Есть, которые далеко будут полюбопытнее тамошних,— а насчет подлинности не может быть и тени сомнения.

— Какие же это, например?

— Да вот все, которые печатаются в «Архиве» Бартенева. С нынешнего года выходит еще одно такое издание Семевского. Архив я имею уже, а Семевского, если хочешь, также выпишу. Оба гораздо любопытнее «Исторического сборника». Впрочем, ты «Исторический сборник», вероятно, давно уже прочла. Не хочешь ли — я пойду прогуливаться и отнесу его. У кого ты его брала?

— А знаешь, что я тебе скажу,— сказала жена, пристально смотря мне в глаза,— тебе в душе должно быть очень стыдно!

— Отчего же? Я... только так,— бормотал я, конфузясь.

— Признайся,— продолжала она,— что ты меня обыскиваешь и поставлен в необходимость говорить разную дичь. Отчего не сказать было прямо, что ты немножко трусишь и желал бы, чтобы я очистила свою квартиру от некоторых книг и карточек, которые могут компрометировать.

— Ну да... быть осторожным — вещь, конечно, не лишняя,— говорил я с смущением,— но я вовсе не думал... ты говоришь пустяки...

— Перестань... теперь я все понимаю и все негодные книги удалю. А карточки какие тебе не нравятся?

— Карточки твои все хороши,— говорил я, пересматривая ее альбом,— только вот, мне кажется, напрасно поставила ты в первую голову Фурье, Луи Блана, Прудона. Они, конечно, люди с талантами, но основательности в них не особенно много. Это не то, что Бэкон, Кеплер, Ньютон...

— Ты, пожалуйста, перестань об основательности. Не нравится тебе,— и я выброшу их.

— Нет, зачем же выбрасывать... Они, во всяком случае, светила, но ты только поставь их подальше. Да кроме того, у тебя коллекция замечательных лиц неполна, да и альбом с пустыми местами смотрит как-то некрасиво. Не хочешь ли, я дам тебе — для пополнения — нашу иерархию?

— Какую это иерархию?

— Да карточки наших преосвященных.

— Это зачем? Ты, пожалуйста, не прислуживайся. Уничтожать можешь, что хочешь, а пополнять тебе мой альбом не позволю. Можешь свой завести и помещать там, кого хочешь.

— Ну, где ж мне возиться с альбомом. Я и тебе посоветовал так, ради полноты твоего альбома.

— Не нужно советов. А что ты желаешь, будет исполнено в точности: не будет ни одной карточки с лицом неодобрительного политического поведения и ни одной книги с мыслями красноты неузаконенной. Иди и будь спокоен.

Совершив тяжелый подвиг объяснения с женою, я пошел в кабинет, чтобы совершить процесс самообыскания над собою. Я заглянул в свои книжные шкапы, в ящики письменного стола, в диванные ящики, в особые сундуки, назначенные исключительно для бумаг,— везде были груды, так что, если бы собрать все вместе, образовался бы, наверное, большой воз. Для основательного разбора этих бумаг несколько человек должны бы были убить, по крайней мере, месяц времени. Бумажный этот хлам копился у меня в течение более десяти лет. В нем было все — и целые статьи разных сочинителей, предназначавшиеся к печати и оказавшиеся неудобными для печатания, и бесчисленные черновые листы напечатанных сочинений, разбитые по страницам и перемешанные вместе из нескольких десятков сочинений, и разные счеты, и бесчисленное множество писем, писанных в течение десяти лет на имя разных редакций — все это в течение более десяти лет никогда не разбиралось; при переездах с квартиры на квартиру, на дачи и с дачи складывалось охапками в простыни и из простынь таким же образом перекладывалось снова куда попало. Можно представить себе, какой хаос господствовал в этом хламе! Что было с ним делать? Сжечь? Но как сжечь без разбору? Среди хлама могли заваляться бумаги забытые и нужные, но которые потом, по востребованию, могут оказаться весьма нужными. Разбирать все это? Но разбирать нужно самому и тщательно, а для этого пришлось бы просидеть за ними месяца три. Наконец, если бы на все махнуть рукой, решиться сжечь все без разбора и начать жечь, то таким аутодафе можно поставить на ноги всю прислугу, возбудить подозрение, что жжешь нечто преступное. И кто поручится, что мо-

жет из этого выйти? Я, перекрестясь, решился на волю божию оставить хлам, как он был. Но мне хотелось полюбопытствовать хотя немножко, что̀ в нем есть, и, так сказать, предвосхитить впечатление того, кому пришлось бы разбирать его. Я подошел к одной маленькой куче, лежавшей внизу книжного шкапа, вынул несколько ненапечатанных старых сочинений, пук всевозможного винегрета из разных отрывочных листов, счетов, писем; перекинул в последнем несколько листов, счетов, писем и вдруг, о ужас, нахожу следующую записку:

«Приходите сегодня в квартиру ул. д. № в 9 часов вечера, здесь соберется тесный кружок людей, посвященных в тайну, для совета по известному вам делу.

Вас ждут
Известные вам».

На записке не было никакой даты. Бумага и чернила сохранились так, как будто писаны были назад тому не более одного, двух месяцев. Прочитав эту записку, я обомлел от ужаса. Рука незнакомая. Когда и кем могла быть писана подобная записка? Я начал припоминать, думал, думал, но напрасно ломал голову; ничего не мог придумать. Боже! уж не подброшена ли мне кем-нибудь из любопытных консерваторов такая записка... Меня обдало холодом при этой мысли. Однако ж, поразмыслив немножко, я признал всю невероятность, нелепость подобного предположения. В это время, все продолжая раздумывать о записке, я машинально протянул руку к следующей бумаге, лежавшей в кучке под запискою, и на вынутом мною листе прочел список лиц. Тогда для меня все объяснилось. Этот список заключал в себе имена лиц, намеревавшихся издавать газету на паях назад тому десять лет. Предприятие это не осуществилось. Но собраний по нему было много; между прочим, были и интимные собрания человек шесть или семь, из лиц, руководивших делом, которые собирались предварительно для того, чтоб условиться между собою, что̀ поддерживать в общем собрании. Записка написана была таинственно в шутку, из школьничества. Что, если бы эта записка, думал я, попала! Кто бы поверил такому простому объяснению дела? Ведь по ней можно подумать бог знает о каком кружке. Я, разумеется, немедленно сжег эту записку. Но мог ли я ручаться, что подобных записок нет еще в моем бесконечном хламе? А между тем делать с ним, как я уже сказал, было нечего. Волей-неволей надобно было махнуть рукой.

Кроме хлама, у меня было пачки три бумаг, действительно дорогих для меня. Это были письма моего покойного отца,

письма разных близких ко мне, накопившиеся в течение не одного десятка лет, наброски мыслей, которые я делал по разным случаям, заметки и т. п. Бумаги эти лежали отдельно от всех других в особом помещении конторки. Что делать с ними? — думал я. Жечь их я не желал бы никоим образом. Они были слишком дороги для меня по воспоминаниям. Но в случае крайности я охотнее решился бы сжечь, нежели отдать их в посторонние руки. И это не потому, чтоб в этих бумагах было что-нибудь преступное, чтоб они могли компрометировать меня; ничего подобного, ни малейшего прикосновения к политической сфере в них не было. Но эти бумаги были некоторым образом ключом ко мне самому; они вводили в мир моей души, давали возможность следить за настроением моей мысли, угадывать мои симпатии и антипатии, изучать характер моих отношений к людям и т. п. А мне не хотелось, чтобы кто-нибудь влезал в мою душу. Куда деваться с этими бумагами? — думал я, где скрыть? Я припоминал имена бесчисленных моих знакомых. Много из них было, конечно, таких, у которых я мог надежно схоронить мои драгоценности. Но как было обратиться к ним с подобным предложением? Сказать им, что я чего-то боюсь, значило бы некоторым образом уже скомпрометировать себя в их глазах. Долго я думал, где бы мог скрыть мои сокровища, наконец меня озарила блестящая мысль.

При одной из петербургских церквей, в звании просвирни, процветала моя двоюродная тетушка Марья Осиповна Самопалова. Мы видались с тетушкой очень редко, не более шести, семи раз в год, но это не мешало нам взаимно любить и уважать друг друга. Тетушка была женщина добрейшая и с таким природным светлым умом, что хотя и не получила никакого воспитания, но догадкой доходила до понимания многого такого, что остается подчас непонятным самым развитым женщинам.

— Время ныне стало бойкое противу прежнего,— говорила она мне.— Все везде разбирают, все критикуют. Видно, что свету в миру, противу прежнего, гораздо прибыло. Только жить от этого не легче стало. Лбом стены не прошибешь. Свет попадает в немногие головы, и темноты по-прежнему все видимо-невидимо. Светлячки бедные и гибнут напрасно.

— Что? Дали трепку! Поприжмете теперь хвост-то! — говорила мне тетушка вскоре после одной бури, многих потревожившей.— Али не уйметесь? Будете строчить по-прежнему?

— Вы знаете народную примету, тетушка,— отвечал я шутя,— что кто раз начал строиться, тот будет строиться до гро-

бовой доски; так и тот, кто начал писать, не перестанет до конца жизни. Да и чего нам бояться? Разве мы худое что делаем?

— Коли худое, но что ты сделаешь, когда люди не прозрели еще настолько, чтобы отличить хлеб от мякины?

— Так что ж вы думаете, тетушка, бросить писать?

— Зачем бросать? Всякий пусть делает, что может и умеет. А иначе мир не будет стоять. Я вог не бросаю же просвиры печь.

— Да вам хорошо просвиры печь, когда вас никто за это не трогает.

— А ты посмотри-ка по своим книгам,— отвечала мне тетушка,— так и увидишь, что было время, когда просвиры печь было опаснее, чем писать книги. Однако просвирни не бросали своего дела и пекли просвиры.

— Так что же?

— Ну, пишите и вы,— не боясь опасностей за чистое дело,— и достигнете того, что со временем и вам так же вольготно будет, как теперь просвирням.

Такова моя тетушка.

Связав в узелок драгоценные мне бумаги, я отправился к ней в твердой уверенности, что нигде безопаснее нельзя схоронить их на время, ибо никакие политические бури не могут достигнуть до мирного жилища никому не известной просвирни. Тетушка только что управилась, как она говорила, с печью, то есть вынула просвиры, и сидела за чаем.

— Вот неожиданный гость! — приветствовала меня она, едва я вошел в комнату.— Недаром у меня сегодня целое утро всё искры из печки выскакивали. Какими ветрами занесло?

— Что ж? Аль ныне пути к вам заказаны, что можно попадать только с попутными ветрами? — шутил я.

— Какое заказаны,— всегда рады гостям, да гости вы спесивые; к такой мелюзге, как мы, неповадно жалуете. Что это за кулечек привез? — спросила она, указывая на саквояж с моими драгоценностями.

— Это,— говорю.— кой-какие мои бумаги, которые я счел за лучшее на некоторое время положить к вам.

— Что, верно, опять трепка? — сказала тетушка, улыбаясь.— Слышала уж я. На днях дьяконица рассказывала, что какой-то ее знакомый из кутейников попался.

— За что же? — спросил я.

— А за то, что, не постригшись в попы, начал обедню служить.

— Это как?

— А так, умишку не набрался еще, в университете побыл всего без году неделю, а начал разные турусы разводить о царствах и народах; болтать везде, что и это не так, и то не так, и что мы, дескать, собираемся устроить все лучше.

— И что ж?

— Да жаль беднягу. Хорошо, если удастся отвертеться одним сиденьем, а то придется за такую болтовню дорого поплатиться. У нас, ты сам знаешь, на этот счет строго, не так, как в иностранных землях. .

— А вы, тетушка, кажется, сами не прочь заняться устройством царств,— сказал я шутя.

— Ах ты, крюк этакой,— отвечала она, смеясь,— что ж, доносить, что ли, пойдешь? Тогда у кого свой кулечек-то оставишь? Давай его сюда. Вишь, сколько настрочил. Чай, тоже все об устройстве царств хлопочешь?

— А вы боитесь?

— Да что мне бояться. Я не то что людей, я и чертей не боюсь; каждая просвира с крестом,— и они бегут от моего дома без оглядки.

Поболтав еще с тетушкой около получаса, я отправился домой. На душе у меня стало опять легко и ясно. Теперь, думал я, я стал человек, как есть: самоиспытан, самообыскан. Все неприятное удалено. Положим, что у меня остались груды неисследованных старых бумаг. Да ведь не на всякий же, в самом деле, хлам будут обращать внимание? Погода стояла отличная. Я с жадностью глотал свежий воздух. Мысль становилась все яснее и бодрее. Я стал думать, что дело, которое причиняет мне столько беспокойства, должно быть, какие-нибудь пустяки; что таким солидным людям, как мне, о подобных пустяках и думать стыдно. Я стал разбирать вышеприведенные догадки молвы, и мне стало совестно, что я мог хоть на минуту верить подобному вздору. Домой я приехал в совершенно спокойном и веселом расположении духа. Жена выбежала ко мне также вполне веселая и счастливая и, вытянувшись комически во фронт и приложив пальцы к своему чепчику, отрапортовала, что теперь в нашей квартире обстоит все благополучно, нет ни одной зловредной книги, ни одной компрометирующей карточки.

Но блаженство мое продолжалось недолго. Едва я вошел в мой кабинет, я увидел на столе целый пук «Московских ведомостей». Я выписал их ныне очень поздно и не получал в течение более недели после нового года, и очень скучал за ними. «Московские ведомости» составляют мое любимое чтение, потому что в них всегда есть нечто пряное, подзадоривающее, раздирающее. В случаях же, когда они захотят кому насолить,

они делаются просто прелестны. Читая их, иногда не веришь ни одному слову, которое написано, а между тем неприметно для себя самого увлекаешься, восторгаешься, чувствуешь, как пробивает в тебе шаг за шагом чувство кровожадной, татарской свирепости, которое мудрая политика московских князей вместе с монголами, соединенными усилиями, насаживала и воспитывала в русском народе, и которое, благодаря этим усилиям, так глубоко утвердилось в нем, что не заглохло до сих пор, несмотря на все гуманные помазания и врачевания последнего времени. Прочитывая подобную статью, находишь себя вдруг способным повесить весь мир ни за что ни про что. Я с жадностию бросился на лежавшие предо мною «Московские ведомости». Но прием пряностей на этот раз был так силен, что через полчаса меня била уже лихорадка.

Невероятные вещи! Все, что я знал доселе о «нечаевском деле» — все становилось вверх дном! Все мои самоиспытания и самообыскания не вели ни к чему. По уверению «Московских ведомостей», виновны вовсе не те, которые виновны, а виновата на первом плане петербургская литература, вожаками которой в злоумышлениях представляются Шелгунов, Суворин и Генкель. Я читал и не верил глазам своим. Возможно ли это? Возможно ли, чтобы эти почтенные граждане были конспираторами?

Если бы г. Шелгунов, думал я, и захотел сделаться петербургским конспиратором, он не может; он давно уже живет вне Петербурга, в изгнании. Суворин... но нет, кому же из читающих его фельетоны в «Петербургских ведомостях» может прийти на мысль заподозрить этого писателя в политических замыслах? — Наконец, не есть ли полнейший абсурд самая мысль о том, что в этих замыслах может принимать участие такой гражданин, как Генкель, вся деятельность которого есть неумолкающее свидетельство о его благонамеренности?

Так представлялось мне дело с одной стороны, и я, по-видимому, вполне убеждался, что «Московские ведомости» говорят вздор. Но немедленно ряд успокоительных мыслей вытеснялся рядом других, совершенно противоположного свойства. «Шелгунов не живет в Петербурге,— думал я,— но разве он не может приезжать сюда под чужими именами и видами и конспирировать? Разве у нас это так трудно? Разве не то же самое делал Нечаев? Суворин не может быть заподозрен в неблагонамеренности. Да так ли? Не он ли написал: *Всякие,*— сочинение, о котором г. прокурор судебной палаты Тизенгаузен, изучавший это сочинение, как он сам говорит, «с полным беспристрастием, требуемым правдою, во имя которой творится суд»,

выразился, что «оно, не представляя собой ничего полезного, может только вносить смуту в неопытные умы, возбуждая в них безотчетное раздражение против существующего порядка вещей и столь же безотчетное стремление к какому-то иному политическому и гражданскому строю»? Не есть ли г. Суворин потаенный, хотя и прикинувшийся «невинностью», Ильменев? Наконец, и в самом Генкеле глаз наблюдательный не может ли усмотреть некоторого скептицизма относительно прав литературной собственности, если примет во внимание недавнее упорное отстаивание им своего права на статью Марка Вовчка без всякого законного на то акта и невзирая на протест последней? Кто может знать, не имеет ли он коммунистических воззрений вообще на собственность? А собственность составляет, как известно, одну из первых основ существующего порядка».

Эти мысли склоняли меня снова на сторону «Московских ведомостей». Я вновь прочитывал их громовые статьи и думал, что все, что они говорят, возможно. Я соглашался даже с тем, что всякий литератор может быть заговорщиком, сам не зная и не подозревая того; он может быть кругом опутан интригою и мыслить под влиянием ее, самодовольно воображая при этом себе, что он мыслит вполне самостоятельно и независимо. Я начал сомневаться даже в самом себе. Я начал думать: действительно ли то, что я пишу, пишу по собственному убеждению? Не опутан ли я изменою, как и другие? Не заговорщик ли я?

Соглашаясь с этим, я неизбежно соглашался и с новою системою следствия, рекомендуемою «Московскими ведомостями». По закону арестуют обыкновенно тех, против кого есть несомненные улики относительно участия в преступлении. «Московские ведомости» держатся того мнения, что так ничего не разыщешь, поймаешь только мелкоту, а корни — главные виновники — останутся скрытыми. По их мнению, надобно брать не по несомненным уликам, и даже не по уликам, а так просто по предположению или, точнее сказать, по вдохновению. Белоголовый пишет статью против Полунина, защищаемого советом Московского университета,— очевидно, он агитатор, его надобно взять. Шелгунов, Суворин, Генкель осмелились не соглашаться с «Московскими ведомостями» и даже непочтительно отозваться о их редакторе. А и «Московские ведомости», и редактор их суть столпы отечества. Следовательно, Шелгунов, Суворин и Генкель хотят потрясти столпы отечества и даже, может быть, выковырнуть их. Не ясно ли, что они не только вредные агитаторы, но некоторым образом враги отечества? Но они, то есть Шелгунов, Суворин и Генкель —

только вожди. За ними стоят целые партии их единомышленников и пособников. Не очевидно ли, что для порядка было бы не худо и каждому из сих последних помочь в процессе самообыскания и вместе с тем поэкзаменовать каждого из них в некоторой особой исповеди по вопросам: «С кем вы знакомы?», «Кого вы из ваших знакомых больше любите и у кого чаще бывали?», «О чем вы между собою разговаривали?», «Каких вы держитесь убеждений относительно религии, образа правления и т. п.?»

В словах моих теперь проглядывает, как замечает, конечно, читатель, некоторым образом скептическое отношение к рекомендуемой «Московскими ведомостями» системе следствия. Но когда я читал громоносные статьи «Московских ведомостей» и находился под их влиянием, тогда было не то. Мне думалось, что иначе и быть не может, и не должно быть; что так именно и должно производиться следствие, как они рекомендуют, что надобно захватить и посадить в тюрьму всех, кто занимается литературой в Петербурге, кто сочувствует ей, кто читает ее.

Из этого убеждения я стал несколько выходить только тогда, когда озлобленная «Московскими ведомостями» петербургская литература вооружилась на них почти поголовно. Поход предпринят был так удачно, так вовремя и кстати, что увенчался неожиданной победой. «Московские ведомости» смирились и раскаялись, но раскаялись так неопределенно и смутно, что трудно понять, в чем они раскаялись.

Вот почему я не могу не признаться, что победа над ними напоминает мне известную всем народную картину погребения *кота мышами.* Мыши вообразили себе, что кот умер, и высыпали из всех своих нор, чтобы праздновать свое торжество. Но кот не умер, а только притворился умершим, чтобы тем удобнее рассмотреть своих врагов и узнать их норы... Конечно, для мышей отдых и то, если кот на время только успокоился или, по крайней мере, явился приниженным, но отдых этот, как читатель сам поймет — недостаточно успокоительный. Правильно поставлено будет общество только тогда, когда в нем не будет возможности одним делаться котами, а другим — мышами...

А такая постановка общества зависит от перемены системы политического процесса.

Есть, впрочем, основание думать, что эта перемена уже начинается. По крайней мере, в «нечаевском деле» следствие производилось под наблюдением прокурорского надзора обыкновенными судебными следователями; аресты, говорят, также производились с согласия прокурорского надзора. Наконец,

назначен, согласно судебным уставам, сенатор кассационного департамента для ведения всего следственного процесса, как такого, который должен будет поступить на рассмотрение верховного суда. Для спокойствия общества более ничего и не нужно, кроме того, чтобы каждый политический процесс производился на точном основании судебных уставов. По крайней мере, люди невинные не будут трепетать вместе с виновными, а с людей слишком прозорливых, вроде, например, публицистов «Московских ведомостей», снимется непосильное бремя отыскивания виноватых по градам и весям обширного нашего отечества. И наверное, они сами почувствуют себя не в пример против прежнего легче...

ТАК НАЗЫВАЕМОЕ «НЕЧАЕВСКОЕ ДЕЛО» И ОТНОШЕНИЕ К НЕМУ РУССКОЙ ЖУРНАЛИСТИКИ*

Двадцать седьмого августа окончилось так называемое «нечаевское дело», занимавшее внимание публики почти в продолжение двух месяцев. Под конец публика видимо охладела к этому делу, так что, войдя в одно из заседаний суда (речь шла о подсудимых 4-й категории), мы нашли уже самое ограниченное число посторонних слушателей. По-видимому, утомился и прокурорский надзор...

Толки, возбужденные этим делом в публике, по обыкновению разделялись на две категории. Одни ужасались, другие только удивлялись, но можно сказать утвердительно, что на сей раз, благодаря гласности судебных прений, ужасающиеся были в меньшинстве.

Главный результат процесса, по нашему мнению, выразился в том, что он дал случай нашей литературе высказать чувства, которые одушевляют ее.

Существовало мнение, что литературу нашу раздирают междоусобия, что деятели ее готовы грызться друг с другом даже из-за выеденного яйца. Теперь это мнение, по крайней мере, относительно вопросов существенных, оказывается положительно ложным. Какой, в самом деле, самый существенный в настоящую минуту вопрос для России? — Это, несомненно, вопрос об общественной безопасности. Накопление неблагонадежных элементов, ясное, как утверждают компетентные люди, даже для невооруженного глаза; попытки возмутить спокойное шествие страны по пути прогресса, повторяющиеся почти периодически; наконец, зреющие в школах обширные замыслы, одновременно стремящиеся и к ниспровержению существующего порядка, и к отделению от государства обширных частей (Сибири), и к распространению по всему лицу земли

коммунизма и других вредных учений — все это возбуждает в публике толки и опасения. И вот литература наша, в качестве верного отголоска публики, и с своей стороны единодушно вооружается против грозящего зла; она понимает, что ей предстоит очень важная миссия, и смело становится на высоту своего призвания. «Московские ведомости» называют замыслы подсудимых жульническими; «С.-Петербургские ведомости» присвоивают им наименование безумных; «Голос» сравнивает наших заговорщиков с парижскими коммуналистами. «Вестник Европы» говорит с презрением о «глупых преступлениях» и о ничтожестве участников тайного общества. В виду общей опасности распри забыты; фельетонисты и составители leading'ов [1] взаимно подают друг другу руку, разумеется, удерживая за собой право немедленно расколоться, как только пойдет речь о вопросах не столь важных и непререкаемых, как настоящий [2]. Что означает этот факт? — По нашему мнению, он означает, что литературное междоусобие, по поводу которого так скорбит публика, видя в нем признак слабости и неустойчивости русской литературы, есть междоусобие мнимое; что литературные наши органы, будучи совершенно согласны по вопросу столь коренному и существенному, как общественная безопасность, лишь по недоразумению разногласят относительно некоторых подробностей, которые даже и в нашей небогатой политическим интересом жизни имеют значение весьма второстепенное. И что, следовательно, скорбеть об этом разногласии и указывать на него, как на признак чего бы то ни было, нет ни малейшего основания.

Существовало еще и другое мнение: что русская литература не вполне и не вся благонадежна, что некоторые органы ее фрондируют и подкапываются. Мнение это было до такой степени распространено, что большинству публики казались совершенно естественными те меры строгости, которые по временам принимались для обуздания литературного фрондерства. Теперь журналистика наша смыла с себя и это позорное клеймо, доказав свою благонадежность самым осязательным

[1] передовых статей.

[2] Даже и теперь раскол существовал, но он касался не существа вопроса, а лишь некоторых подробностей, имеющих значение второстепенное. Таковы, например, были разногласия по поводу речи, сказанной поверенным Спасовичем в защиту подсудимого Кузнецова, по поводу речи, обращенной председателем судебной палаты к оправданным подсудимым первой категории, и, наконец, по поводу способа обнародования протоколов судебных заседаний. Все эти подробности и возникшие из них пререкания мы сочли возможным выпустить в дальнейшем нашем изложении, оставив лишь то, что прямо касается до существа дела. *(Прим. М. Е. Салтыкова-Щедрина.)*

и непререкаемым образом. Ввиду единодушного, и притом совершенно свободного, взрыва негодования, последовавшего чуть не на другой день после первого заседания судебной палаты, представляется ли основание формализироваться сепаратными вспышками некоторых пламенных фельетонистов и репортеров по поводу некоторых несомненно важных, но все-таки второстепенных мероприятий, исход которых притом не только от них не зависит, но определен заранее, и притом бесповоротно, людьми вполне компетентными? Какой вред от того, что они предъявят миру свои соображения? И не полезнее ли, напротив, поощрять в них этот бескорыстный пламень, эту божию искру, дабы она никогда не угасала и, при случае, вспыхнула новым блеском, как, например, это и случилось теперь, когда литература наша встала на высоту почти недосягаемую? Нам кажется, что ответ на все эти вопросы не может быть сомнителен. Да, мнение не только о радикальной, но и об относительной неблагонадежности того или другого органа русской литературы должно упразднiться навсегда, упразднiться без следа. Фрондерство, инсинуации, подземные интриги, одним словом, все эти нездоровые элементы, в которых обвиняла литературу публика и в которых она отчасти обвиняла сама себя,— все это праздные слова, которые должны исчезнуть, как дым или как рой темных призраков перед светом литературного единодушия, заявившсго себя так блестяще по поводу «нечаевского дела».

Ввиду всего изложенного выше, мы возымели мысль соединить в одном месте все, что было сказано в значительнейших органах нашей литературы о заседаниях судебной палаты по первому русскому политическому процессу, производившемуся гласно. В этом намерении нас руководили два существенных соображения: во-первых, собранное в один общий фокус, отношение русской журналистики к упомянутому делу получит для читателя несравненно бо́льшую ясность, и, во-вторых, будущему историку русской общественности легче будет отыскивать материал для своих трудов в одном месте, нежели рыться в разрозненных нумерах журналов и газет.

Что касается до наших личных отношений к вопросу, о котором идет речь, то мы считаем долгом сказать по этому поводу следующее. Нам нередко ставили в вину наше молчание относительно текущих вопросов, которыми так изобилует наша общественная жизнь. Один талантливый фельетонист, успехам которого мы, впрочем, искренно радуемся, даже не без ядовитости назвал нас «братьями-молчальниками». Но позволяем себе думать, что почтенный зоил наш упустил из вида одно очень важное обстоятельство, которое, смеем надеяться,

даже при всей его строгости к нам, до некоторой степени смягчит нашу вину в его глазах. «Отечественные записки» — издание ежемесячное, и потому не могут относиться к текущим вопросам с тем лихорадочным вниманием, с которым относятся к ним ежедневные газеты. Притом, чаще всего случается, что самое содержание этих вопросов исчерпывается столь скоро и находит себе разрешение столь независимое от всяких литературных обсуждений, что последние нередко оказываются просто-напросто «металлом звенящим». Мы, конечно, очень рады были бы поместить на страницах своих одну из тех «сотканных из пламени и света» статей, которые от времени до времени появляются на страницах «Московских ведомостей», но что же нам делать, коли эти статьи всегда оказываются уж напечатанными, прежде нежели мы успеем сделать соответствующее по сему предмету распоряжение? Подражать им — напрасный труд, ибо известно, что в статьях такого рода всего важнее оригинальность, подражания же всегда оказываются вялыми и безжизненными. Стало быть, остается только читать и поучаться. Вот почему и в настоящем случае мы ограничиваемся только простым заявлением о единодушии нашей литературы и, разумеется, посильною нашею похвалою этому единодушию. Пусть укажут нам, что̀ могли бы мы сказать о нечаевском процессе, что не было уже высказано в самых ясных и категорических выражениях всеми сколько-нибудь значительными органами русской литературы?

Обращаясь теперь к предпринятым извлечениям из русских газет и журналов, считаем долгом предпослать им следующие соображения:

1) Ранее всех (на другой день открытия заседаний) отозвались о процессе «СПб. ведомости».

2) Чаще всех возвращались к процессу те же «СПб. вед.» и «Голос» (первые — 5, второй — 6 раз).

3) Реже всех говорили о процессе «Биржевые ведомости» (всего 1 раз).

4) Полновеснее всех органов отнеслись к процессу «Московские ведомости». Они напечатали только две статьи; но в этих двух статьях выяснили дело вполне (хотя и с некоторою излишнею строгостью), заявив, что в подобных делах суд обязан произнести суждение не только о поступках и действиях обвиненных, но и о самом образе мыслей их.

Затем, печатаем и самые извлечения:

А) «Московские ведомости»

№ 161. «Наши судебные уставы ни в чем существенно не уступают соответственным учреждениям в других странах, а наша судебная практика цивилизованностию приемов даже превзошла порядки, принятые во всех цивилизованных странах. У нас подсудимых, уличенных и сознавшихся в убийстве, не просто *вводят,* но *приглашают* в судебную залу. Английский или французский судья просто скажет: «Подсудимый, отвечайте». У нас скажут: «Господин такой-то, не угодно ли вам разъяснить...?» или: «Господин подсудимый! член суда такой-то (следует звание, титул и фамилия) желает спросить вас...» Председатель суда в других странах не скажет ничего подобного; таких утонченных оборотов речи, таких взаимных представлений, напоминающих салон, где собрались люди для приятной беседы, не допускается в судебной зале других стран, где нравы грубее. Там судья, если сочтет должным остановить подсудимого, сделает это просто и скажет: «Подсудимый, слова ваши неуместны и дерзки». Но ему не придет в голову сказать: «Подсудимый, ваши слова, *смею сказать,* дерзки». Везде подобные оговорки показались бы иронией, слишком жестокою в виду людей, над которыми висит обнаженный меч правосудия. А у нас это не ирония, не жестокость; у нас это цивилизация.

По политическому делу, которое только что окончилось в с.-петербургской судебной палате, четверо подсудимых приговорены к каторжной работе, трое — к тюремному заключению, четверо освобождены. Отпуская этих последних, с которыми суд достаточно ознакомился, английский судья сказал бы: «Ступайте, вы свободны; ваше действие не подходит под букву закона, на который сослалось обвинение. Но помните, вы были в опасном соседстве с преступлением...» Быть может, он не сказал бы ничего; но он наверное не сказал бы им с некоторою восторженностью: «Подсудимые! ваше место не на этой позорной скамье, ваше место в публике, ваше место среди всех нас». Если бы он и счел за нужное произнести что-нибудь в этом роде, то все-таки он сделал бы это как-нибудь иначе и избежал бы эмфатического [1] оборота речи, коим гг. Орлов, Волховской и другие как бы приглашались со скамьи подсудимых пересесть прямо в сонм судей. В обстоятельствах дела не усматривается поводов к подобному заявлению, и оно может быть объ-

[1] напыщенного.

яснено только, как дань цивилизации, в настоящем случае, смеем думать, немножко излишняя.

Первый процесс кончился. Виновные подверглись заслуженной каре; невиновные в деле, которое было предметом преследования, оправданы. Мы не считаем себя вправе обсуждать приговор по отношению к лицам; но мы полагаем, что, в качестве публики, мы не только имеем право, но и обязаны воспользоваться уроками, которые в таком обилии предлагаются делом, войти в некоторые возбужденные им вопросы, а главное, принять на себя защиту одного лица, которое может считать себя без вины оскорбленным. Это лицо есть здравый смысл, который не раз подвергался нападениям во время судебных прений. Не все гг. защитники ограничивались только защитой подсудимых, но многие из них считали нужным пускаться в общие оценки и излагать свои философские воззрения. При этих-то эволюциях здравому смыслу были наносимы оскорбления, и никто не вступился за него. Председатель палаты благодушно выслушал подсудимых и защитников, не прервав их никаким замечанием, когда они возносились в область идей; но он уволил прокурора от обязанности что-нибудь сказать по поводу общих воззрений, высказанных господами подсудимыми и защитниками. Публика осталась в некотором недоумении; на преступников обрушились кары, рассчитанные по такой-то и такой-то статье уголовного законодательства; но образ мыслей, лежавший в основе их действий, не только не подвергся порицанию, но даже прославлен. Нигилистов ссылают на каторгу, нигилистов сажают в тюрьму, а нигилизму пред лицом суда воздан некоторый почет.

Если в делах человеческих, даже при наилучших условиях, ничто не обходится без уклонений и если адвокат пред судом не всегда в состоянии соблюсти святую границу между правдой и неправдой, если слово его не может иногда не уклониться в пылу прений, из суетного ли желания одержать верх хотя бы над истиной, или из побуждения в источнике своем почтенного, из жалости к несчастному, вверившему себя его защите,— если он решается пожертвовать правдой,— то пусть же это будет в пользу преступника, а не преступления. Если уж так пришлось, выгораживайте человека и доказывайте, насколько дозволит вам совесть, что он непричастен делу или совершил его не в том смысле, как утверждается обвинением,— но нельзя дурное называть хорошим, нельзя в самом суде колебать закон, каков бы он ни был. Если вам не нравится закон, протестуйте против него в другом месте, как знаете; но не смейте делать этого в суде, который держится законом

и не имеет смысла вне закона. Если ничто другое не удерживает вас, то есть правила простого приличия. Вы хотите же казаться цивилизованным человеком, вы умеете же разбирать, когда надеть фрак и когда сюртук, и не ездите с визитом без галстука; постарайтесь, по крайней мере, быть приличными. А если говорун ничем удержать себя не может, то вы, господин судья, смеем сказать, смеете остановить его на слове, которое владеет им более, чем он словом. Нет надобности плодить словопрения, неуместные пред зерцалом суда: достаточно замечания, сказанного с достоинством и авторитетом, чтобы произвести должное впечатление.

Но возвратимся к процессу, который происходил в с.-петербургской судебной палате на виду всей страны. Защитники говорили много, но не догадались бросить мужественное слово обличения в лицо тому духу лжи, который погубил их клиентов. Зато некоторые нашли возможным пококетничать с средою, откуда эти несчастные вышли. Правда, один отозвался презрительно и брезгливо о наших революционных элементах, о нашем нигилизме; но он говорил, как чужой, и находил, что в русском народе эти явления как нельзя более естественны и уместны.

Если бы господа ораторы с.-петербургской судебной палаты захотели взглянуть прямо в глаза обману, который разыгрывается над гнилою и расслабленною частью нашего общества, если б они воспользовались безобразиями, раскрытыми делом, которое находилось на рассмотрении суда, и ударили бы в самый корень этой, так называемой русской революции, положение подсудимых, мы полагаем, выиграло бы от того. Чем решительнее было бы слово обличения против сущности зла, тем действеннее и сочувственнее звучало бы слово их в пользу личности обвиненных. Весь процесс принял бы иной тон. С преступниками легче примирилась бы общественная совесть, а главное — в их собственную душу, быть может, пало бы семя благодатного обновления. Это смутило бы дурную среду, из которой они вышли; это подействовало бы освежительно на все русское общество.

По окончании судебных прений дано было слово подсудимым. И вот один рявкнул стихами, а другой воспользовался случаем порисоваться перед судьями. Этот последний — молодой человек, двадцати двух лет, более всех преступный, но и более прочих отличающийся лоском мнимого образования. При других условиях развития, быть может, из него и действительно вышла бы хорошая русская сила. Обман изловил его на самолюбии и пленил его воображение мыслию стать героем революции. Судебные прения не смягчили его. Он только креп-

че завернулся в свой революционный плащ. Вместо того чтобы раскрыть свою душу, он пустился в холодную и отвлеченную контроверсу о значении пролитой крови в революционном деле. Эти люди убили своего товарища, сами не зная для чего. Кто-то во время прений сказал, что заговорщики, вероятно, думали, что пролитая кровь плотнее соединит их. И вот несчастный молодой человек, как опытный деятель по части революции, счел долгом объяснить в изысканных фразах ошибочность мысли о цементирующей силе пролитой крови, причем сослался на Брута и Кассия, между которыми в роковую минуту стала кровавая тень Цезаря; но вслед за тем, сам не замечая скачка своей мысли, заявил, что убийство Иванова было совершено в тех видах, чтобы революционное общество стало единодушнее. Как все это было нужно знать судьям в грозную минуту приговора!

А знаете, кто бы ни был этот Нечаев и как бы ни был он лжив, все-таки в некотором отношении он искреннее и правдивее понимает свое дело, чем другие, которые тому же делу служат и о нем рассуждают. Другие обращаются к великодушным инстинктам молодости, толкуют о благе народном, о благородстве, о честности. Но гг. Бакунин и Нечаев, эти enfants terribles русской революции, говорят и поступают проще. Вы, господа, снимаете шляпу перед этою русской революцией; вы, не приученные жить своим умом и путаясь в рутине чужих понятий, воображаете, что у вас действительно есть какая-то крайняя партия прогресса, с которою следует считаться, и что русский революционер есть либерал и прогрессист, стремящийся ко благу, но слишком разбежавшийся и сгоряча перескочивший через барьер законности. В истории всех народов есть страницы, где повествуется о борьбе подавленного права с торжествующим фактом, и вот вы думаете и учите других так думать, что так называемая русская революционная партия хранит в себе идеалы будущего. Вы находите, что общество должно оставаться, по крайней мере, нейтральным в этой борьбе между существующим порядком и идеею, которую вы навязываете молодому, как вы обыкновенно выражаетесь, поколению, и всякий протест против этой крайней партии прогресса клеймите позором, как подлый донос. Но вот катехизис русского революционера. Он был прочтен на суде. Зачем спорить? Послушаем, как русский революционер сам понимает себя. На высоте своего сознания, он объявляет себя человеком без убеждений, без правил, без чести. Он должен быть готов на всякую мерзость, подлог, обман, грабеж, убийство и предательство. Ему разрешается быть предателем даже своих соумышленников и товарищей. Что обыкновенно не досказы-

вается, расплываясь в неопределенных фразах, то приходит здесь к бесстыдно точному выражению; что другими не доделывается, то деятелями, вроде Нечаева, совершается с виртуозною отчетливостью. «Нечаев подлец, но я за это его уважаю»,— говорил один из его одурелых последователей. Не чувствуете ли вы, что под вами исчезает всякая почва? Не очутились ли вы в ужасной теснине, между умопомешательством и мошенничеством?

Но для чего нужна такого рода организация? Цель, говорят, оправдывает средства. Какая же тут цель? Катехизис объясняет: разрушение. Разрушение чего? Всего. Но для чего нужно это всеобщее разрушение? Для разрушения. Настоящий революционер должен отложить в сторону все глупости, которыми тешатся неопытные новички. И филантропические грезы, и социальные теории, и народное благо, и народное образование, и наука — все это рекомендуется только как средство обмана, как орудие разрушения, которое одно остается само себе целью.

Революционный катехизис не оставляет ничего в туманной неопределенности. Он правдив и точен до конца. С кем в родстве эта революционная партия, руководимая людьми без правил и чести, не соблюдающими никакого обязательства даже между собой, имеющая целью разрушение, и только разрушение? Кто в русском народе ей пособники и союзники? Разбойничий люд, то есть грабители и *жулики,* говоря собственным наречием этих досточтимых деятелей. Вот, говорит катехизис, истинные русские революционеры.

Итак, вот куда по прямой линии вливается этот прогресс, у истока которого стоят наши цивилизованные либералы! Вот фазы этого прогресса: расслабленная жалким полуобразованием и внутренно варварская часть нашего общества с чиновничьим либерализмом; затем отъявленный нигилизм с его практическим и теоретическим развратом, который в сущности то же, что и программа Нечаева; затем формальная революционная организация, созидаемая людьми, свободными от предрассудков всякой нравственности и чести; наконец, лихой разбойничий люд, который обходится без всяких теорий. В самом деле, какая же существенная разница между революционером, как Нечаев, и тем, что называется *жуликом?* Впрочем, разница есть: *жулики* все-таки в своей среде соблюдают некоторые правила. *Жулики* лучше и честнее вожаков нашего нигилизма; они, по крайней мере, не выдают себя благовестителями и не употребляют софизмов для разврата незрелых умов.

Слава богу, в нашем народе не оказывается иных револю-

ционных элементов, кроме людей, которые незаметными переходами приближаются либо к дому сумасшедших, либо к приюту мошенников!

И вот этим-то людям прямо в руки отдаете вы нашу бедную учащуюся молодежь!»

№ 162. «На днях в с.-петербургской судебной палате начался процесс второй серии подсудимых по «нечаевскому делу». Главным образом это слушатели Петровской земледельческой академии да несколько студентов Московского университета четвертого курса медицинского факультета, исключенных осенью 1869 года за сопротивление властям. Из обвинительного акта мы видим, что Петровская академия была самою податливою для Нечаева средою. Туда обратился он непосредственно; там учредил он свою главную квартиру, там он сформировал свой штаб и оттуда раскидывал мрежи для уловления университетских студентов. Подсудимые из числа слушателей Петровской академии почти все сознались в принадлежности к организации. Все они были приписаны к каким-либо кружкам. Что касается до студентов университета, то действие Нечаева, как видно из обвинительного акта, коснулось лишь нескольких исключенных студентов, и главным образом уроженцев Востока, кавказских воспитанников. Считаем нелишним припомнить обстоятельства дела, вследствие которого эти молодые люди были исключены из университета. По случаю отъезда за границу клинического преподавателя, факультет был в затруднении, кому временно передать его обязанности. Одни отказывались по болезни, другие по другим причинам, и лишь вследствие особенных настояний факультета принял на себя эту должность декан, который сам был прежде клиническим преподавателем. В «Правительственном вестнике» (№ 262-й 1869 года) было напечатано официальное изложение этого дела. Там приведены, между прочим, следующие слова, сказанные профессором Варвинским в заседании университетского совета 25-го октября того же года: «Члены факультета, предложив профессору Полунину клиническую кафедру на время, были глубоко убеждены, что Алексей Иванович, если только возьмет на себя этот труд, принесет огромную пользу учащимся и своим многосторонним медицинским образованием, и своими глубокими сведениями по предметам, входящим так тесно в состав клинического учения внутренних болезней, и по своей неутомимой деятельности. Таковы были убеждения членов факультета, таковыми они остаются и теперь, как показало последнее заседание факультета, в котором была речь о грустных, совершенно неожиданных происшествиях в клинике факультетской».

Никакого столкновения со студентами у профессора Полунина не было. Поводом к неявке их на его лекцию было распоряжение, чтоб одна больная была исследована в их отсутствии, что в клинике нередко бывает, особенно в женском отделении, по причинам, которые легко понять. Студентов пригласили ожидать профессора на мужской половине, но они отказались, не вышедши, однако ж, из клиники. Профессорская лекция не состоялась. Это было 17-го октября. Ректор, не принимая принудительных мер, поручил помощникам проректора разъяснить студентам частным образом предосудительность и незаконность их поступка и возвратить их, посредством увещаний, к исполнению их обязанностей. Но все увещания помощников проректора, некоторых профессоров и самого профессора Полунина оказались безуспешны. Студенты продолжали упорствовать и стоять на своем, что не пойдут на лекцию к профессору Полунину, хотя на прочие лекции ходили и хотя в разнообразных ответах на эти увещания они не могли дать твердого и определительного отчета, почему они так поступают. Большею частию смысл этих уклончивых объяснений состоял в часто повторяемом заявлении, что они уважают профессора Полунина и ценят его достоинства, но этим предметом будут заниматься под руководством другого профессора. Когда же им объявили, что они не будут допущены к переводному испытанию на следующий курс, то они отозвались, что они уже решились лучше потерять год, чем слушать профессора Полунина. В таких крайних, безосновательных заявлениях сильно выказывалось присутствие побуждений, посторонних для интересов науки.

20-го октября правление университета донесло о происшедшем университетскому совету, а между тем продолжались увещания, чтобы студенты одумались, что в противном случае они потеряют целый год и могут подвергнуться еще худшим последствиям. Ректор, проректор, все его помощники, многие профессора старались это разъяснить студентам. Надобно было думать, что студенты неправильно смотрят на дело, что они надеются на безнаказанность. Из официального изложения видно, что университетский совет, собравшись 25-го октября, сделал все возможное, дабы рассеять неосновательные надежды. Единогласно было постановлено, что если студенты не начнут посещать лекции профессора Полунина в продолжение ближайших трех дней, то четвертый курс медицинского факультета будет закрыт 29-го октября. Это постановление было представлено на утверждение попечителя, на другой день (в воскресенье) утверждено им, а на третий день, 27-го октября утром, объявлено студентам. Студентам было объяснено, что

университет дошел в снисходительности к ним до последней позволительной меры, что они подлежали, на основании действующих правил, удалению или исключению из университета, но что мера наказания, в уважение к ходатайству профессора Полунина, смягчается и им объявляется лишь выговор со внесением в штрафную книгу. Таким образом, этим молодым людям «была еще раз предоставлена возможность возвратиться к порядку и исполнению долга», подвергшись легкому наказанию, но, с другой стороны, агитировавшие должны были видеть, что постановление совета отменено быть не может, что в случае дальнейшего упорства они подводят всех своих товарищей под большую неприятность, а получающих стипендии лишают куска хлеба. Возвращение к порядку было всячески облегчено; упорству противопоставлена мера бесповоротная. Всякому студенту должно было сделаться совершенно ясным положение дела. Дальнейшая агитация теряла смысл. Но тем не менее 29-го октября 18 студентов (в курсе, если не ошибаемся, было около восьмидесяти человек) объяснили, что не пойдут на лекции профессора Полунина. Этим они сами себя исключили из университета. Собравшемуся в тот день университетскому совету ничего более не оставалось, как постановить в этом смысле решение.

. . . . . .

Мы ставим факт, но не объясняем его; мы не говорим, вследствие какого влияния началась эта история и почему она приняла такой ожесточенный характер. Быть может, поводом к тому послужила какая-нибудь домашняя интрига;[1] может быть, кто-нибудь захотел сделать личную неприятность профессору и подбил несколько студентов на демонстрацию; но очевидно, что движение, ожесточившееся без всякой причины, поддерживалось и усиливалось посторонними влияниями, для большей части студентов, конечно, неведомыми. Упорство молодых людей не имело смысла, но оно должно было иметь какую-нибудь причину, если не в университете, то вне его».

---

[1] Очень жаль, что выражение «домашняя интрига» недостаточно разъяснено. Ежели это интрига, как можно предполагать по слову «домашняя», со стороны преподавателей того же университета, то за что ж пострадали молодые люди? Ведь они следовали указанию своих же начальников, только другой партии, нежели г. Полунин? Не последуй они этим указаниям, кто знает, не подверглись ли бы они преследованию другой стороны? Во всяком случае, это факт печальный: преподаватели враждуют, раскалываются между собою, а студенты несут на себе последствия этого раскола. *(Прим. М. Е. Салтыкова-Щедрина.)*

Б) «С.-Петербургские ведомости»

№ 180. «С сегодняшнего дня мы начинаем помещать в отделе «Судебной хроники» отчет о политическом деле, рассматривающемся в спб. судебной палате. Едва ли что может быть поучительнее этого печального процесса, составляющего такое одинокое, ненормальное явление в нашей общественной среде. С поразительною наглядностью обнаруживает он, как жалки, как безумны попытки ничтожнейшего меньшинства людей, которые, отрешась от всякой действительности, думают, что можно мгновенно изменить, путем насилия и следуя лишь созданиям воображения своего, то, что является результатом исторической жизни целого народа. Политические процессы на Западе имеют большею частью глубокое, реальное значение. Там нередко подсудимыми бывают люди, олицетворяющие собою известные требования действительной жизни,— такие люди, за которыми стоят серьезные партии и многочисленные приверженцы. Подсудимых в настоящем деле можно назвать представителями лишь своей собственной разгоряченной фантазии, которую не успели обуздать ни серьезное образование, ни знание жизни. При взгляде на многих из них невольно приходит на мысль, что место им было бы в школе, за книгою, а не на скамье подсудимых».

№ 190 (Фельетон). «В то время, когда разбирается так называемое политическое дело, когда все предаются чтению его с бо́льшим или меньшим усердием, обозревателю ежедневной жизни тоже необходимо говорить о нем; но суд еще не произнес своего приговора, и всякое мнение о лицах, сидящих еще на скамье подсудимых, было бы неуместно. Но есть одно лицо, не сидящее на этой скамье, хотя тут принадлежит ему первое место, и об этом лице не мешает сказать несколько слов, в виду тех мнений, которые высказываются о нем подсудимыми и публикою, читающей газеты. Большинство подсудимых говорят о нем, как о человеке с необыкновенной волей, с непреодолимою энергией, всепобеждающею логикой и даже с громадными знаниями. Один из подсудимых в особенности не щадит слова «громадный» и прилагает его постоянно к существительным без особой разборчивости. Мне кажется, что воля, энергия и логика измеряются волей, энергией и логикой тех, на которых действовал Нечаев, и воля, энергия и логика сего последнего постольку велики, поскольку велики воля, энергия и логика увлеченных им. Кроме того, энергия может быть весьма односторонняя и вовсе не рекомендовать с особенно хорошей стороны вообще интеллектуальных способностей. Сыщик мо-

жет быть человеком громадной энергии, но из этого не следует, что у него большой ум и большое развитие.

Мне кажется, что Нечаев обладает именно энергией сыщика, а умственное его развитие и способности подлежат сильному сомнению, ибо прокламации его — просто глупы, революционная логика — списана с иностранных книжек и нимало неприложима к нашей почве; приемы заговорщика — глупы тоже в значительной степени, ибо они — бумажные приемы, основанные на бланках и вообще на поличном. Вспомните, как поляки организовали свои тайные общества, перечитайте газетные статьи 1863—1864 годов, в которых раскрыта была польская организация, сравните ее с нечаевской — и вы тотчас увидите, что это — дюжинный человек, но обладающий дерзкой смелостью.

Внимательно прочитывая этот подробный, даже чересчур подробный, утомляющий незначащими вопросами и ответами, процесс, приходишь к тому убеждению, что Нечаев — лицо настолько же замечательное, насколько замечателен, например, Иван Александрович Хлестаков, с которым он имеет великое сходство. Это Хлестаков-агитатор, Хлестаков, сознательно бросившийся в обман и увлекшийся своей ролью, подобно бессмертному Ивану Александровичу. Сын полотера графа Шереметьева, сделавшийся учителем закона божия и попавший на студенческие сходки, он быстро увлекся этим шумным вопросом и повторял, что «хорошо бы сделать революцию», хорошо бы «это движение обратить в политическое дело».

Как это сделать, можно ли это сделать? Этим он не задавался. Ему просто хотелось это сделать, как Хлестакову хотелось хорошо пообедать. Когда хозяин трактира не давал ему есть, он злился и на хозяина трактира, и на все человечество. Нечаев злился на русское общество, что оно не хочет сделать революцию, и сердито ругал его за то. В своем легкомыслии и неразвитости он полагал, что революцию сделать немудрено и что если Россия не делает ее, то не делает по глупости. Он, как все ограниченные люди, воображал, что составляет нечто выдающееся и предназначен к высшей доле. На самом деле общество во сто раз его умнее и развитее. Г-н Прыжов говорил, что Нечаев начал учиться шестнадцати лет, а девятнадцати лет бежал уж за границу — этим г. Прыжов хотел указать на быстроту развития этого человека. Г-н прокурор, к сожалению, повторил в своей речи это показание, не имеющее никакой цены в виду показания г-жи Нечаевой, которой, как сестре, лучше известны лета брата ее. Она говорила на суде, что брату ее в 1869 году, когда он бежал за границу, было 23 года; стало быть, если он и начал учиться, то есть читать

более или менее серьезные книги (грамоте он научился ребенком), в 16 лет, то перед ним было семь лет времени, в которое легко нахвататься разных вершков и выучить наизусть даже некоторые страницы Канта.

Он действительно цитировал наизусть страницы из ученых сочинений — прием совершеннейшего Хлестакова, который стремился блеском наверстать отсутствие знаний. При этом и хлестаковская предусмотрительность: накуролесив, он приказывает Осипу поскорей укладываться. Нечаев тоже уложился, когда его призвали в полицию и сделали легкую нотацию. Это так его встревожило, что он вдруг исчез из Петербурга, сыграв, однако, перед отъездом роль жертвы, влекомой на заклание. Отсюда начинается ряд обманов, сцепление самой невероятной лжи, которой могли верить только простодушные. Хлестаков, знакомый с посланниками, Хлестаков, которому караул выбегает отдавать честь, Хлестаков, написавший всю русскую литературу,— это прототип Нечаева, это великий образец, который Нечаев копировал с замечательным постоянством. Не зная французского языка, он, однако, производит стачку между бельгийскими рабочими, поступает в международное общество, где немедленно начинает играть роль, пишет прокламации, выдает себя Бакунину и другим эмигрантам за главного деятеля в студенческой истории и, конечно, уверяет их, что в России существует огромное революционное общество. С эмигрантами он ведет себя так же, как и в Москве, рассказывая им целую сказку о том, как он был арестован, как его мучили и как он бежал от своих палачей. На самом деле он никогда не был арестован, ни одного часу не сидел в Петропавловской крепости и бежал после первой угрозы, которую изрекла ему петербургская полиция. Бакунин треплет его по плечу и говорит: «Вот какие у нас люди есть»; Огарев пишет ему стихотворение, в котором изображает мнимые его страдания и даже мнимую смерть «в снежных каторгах Сибири». Вообразите себе эту потешную сцену, этого поэта, который слагает рифмы на тему из «не любо — не слушай. лгать не мешай!». Вообразите себе еще Огарева, Бакунина и Нечаева, составляющих заговор с надежным человеком, присланным в Женеву киевской администрацией (см. заявление одного из защитников в заседании 8-го июля). Этот посланный, очевидно, хорошо исполнил свою роль, для чего, впрочем, и не требуется никаких умений. Воображаю, как он хохотал, везя с собой пуки прокламаций, и какими мальчишками казались ему эти дальновидные устроители земли русской, так нехитро одураченные!..

С стихами же и прокламациями является и Нечаев в Москву, является «инкогнито» — «проклятое инкогнито!», как

восклицает городничий — в качестве «директора от комитета», и продолжает одиссею лжи. Стихотворение, написанное ему Огаревым, должно бы, по-видимому, произвести хохот между слушателями, ибо герой, погибший «в снежных каторгах Сибири», был налицо; но, к удивлению, оно служит ему рекомендацией, и он сам сует его каждому: «Вот, мол, как обо мне пишут». Опять полнейшая хлестаковщина, приправленная рекламою плохого фигляра, который носится с газетным отзывом о нем, как с писаною торбой. Ума тут никакого я не вижу, но пошлости вижу много. Но, видно, Нечаев знал, с кем имеет дело. «Проклятое инкогнито» вывозило и нового Ивана Александровича. Малый сам по себе, он казался великим в ореоле своего самозванства. Как турецкий посланник в рассказе Хлестакова действует на простодушных обитателей мирного уездного городка, так Бакунин с Огаревым, в рассказе Нечаева, действуют на пламенных юношей. Бакунин потрепал по плечу Нечаева, Огарев написал ему стихи! Великий Нечаев! И вот, чем больше сочиняет он, тем больше ему верят, чем самоувереннее рассказывает он о мнимых своих похождениях, о мнимой силе своей, тем больше прибирает к рукам своих поклонников. Все, что ни скажет он — свято, что ни прикажет — исполняется Он заводит целую канцелярию, и все эти заговорщики пишут походя, пишут без устали, точно желают оставить как можно больше поличного. Даже своим разговорам протоколы ведут, и все это так усердно, что просуществуй это общество год, оно должно было бы нанять целую квартиру для архива Если все это умно, то ум — ледащая вещь»...

№ 194. «Петербургская судебная палата произнесла приговор свой относительно первой категории подсудимых по «нечаевскому делу», состоявшей из одиннадцати лиц. Палата не признала никого из них виновным в составлении заговора, составленного с целью ниспровержения существующего порядка управления в России (так было озаглавлено дело), а приговорила пятерых к наказанию за устройство тайного общества, преследовавшего ту же цель. Заговор влечет за собой, как известно, более строгое наказание, чем тайное общество. Лица, участвовавшие, кроме того, в убийстве Иванова, приговорены к каторжным работам в размере, приближающемся к средней мере этого наказания. Подсудимые Дементьева и Ткачев признаны виновными в преступлении, не имеющем ничего общего с действиями остальных лиц, именно в том, что они распространяли по поводу студенческих волнений воззвание, клонящееся к возбуждению неуважения и недоверия к распоряжениям правительственных установлений. Защита признавала также, что они только в этом и виновны. Ткачев, Флоринский

и Дементьева будут, вероятно, освобождены из-под стражи до вступления приговора в окончательную силу, так как высшая мера пресечения способов уклоняться от суда лиц, приговоренных к тюрьме,— отдача на поруки. Четверо из обвиняемых вышли свободными из зала суда. Приговоры относительно Успенского и Прыжова представляются на высочайшее усмотрение, так как закон этого требует по всем делам, где дворяне и чиновники приговариваются к лишению прав состояния.

Председатель палаты, освобождая оправданных, обратился к ним с несколькими словами, сказанными, как видно, от сердца. Слова эти могут служить ответом тем людям, которые, стараясь с особым злорадством представлять всегда в дурном свете все, что делается в нашем обществе, утверждают, что, несмотря на оправдание судом, лицо, обвинявшееся в политическом преступлении, не освобождается от других, невыгодных для него последствий, что на такое лицо ложится навсегда какое-то клеймо, что оно будет признаваться в течение всей своей жизни «неблагонадежным». Нет ни малейшего сомнения, что такие заявления ни на чем не основаны [1]. Приговоры наших судов пользуются слишком большим нравственным авторитетом, чувство законности слишком проникло в разные сферы нашего общества для того, чтоб общество не присоединилось вполне к мысли, которая выражается в словах, сказанных председателем судебной палаты».

№ 195 (Фельетон). «Речи адвокатов в том несчастном деле, первая серия которого только что кончилась, в течение целой недели служили обильною темой для разговоров. Подсудимые не только отошли на второй план, но их как будто не существовало. «Глубокие общественные вопросы» — беру выражение г. Арсеньева — вот что занимало читателей. Легковесность, призрачность самой этой «политической» затеи, исключая убийства, была уже сознана прежде, выяснилась для публики из судебного следствия и даже из речи г. прокурора. Но то, что будет сказано «по поводу» этого дела — вот что интересно, что поучительно...» [2]

№ 216. «Когда в какой-либо стране вводятся учреждения, составляющие шаг вперед на пути цивилизации, но расходящиеся с тем, что имело прежде право гражданства в этой стране; когда в ней совершаются явления новые, идущие в разрез с теми представлениями, которые, под влиянием времени и

---

[1] Конечно, нельзя сомневаться, коль скоро «С.-Петербургские ведомости» удостоверяют в том. *(Прим. М. Е. Салтыкова-Щедрина.)*

[2] Затем следуют подробные характеристики защитников, которые к предмету нашей статьи не относятся. *(Прим. М. Е. Салтыкова-Щедрина.)*

разных застарелых привычек, сложились в умах значительного числа людей — тогда эти явления и учреждения, хотя и вызванные законами общественного развития, непременно возбуждают протесты, нарекания, жалобы в некоторых частях общества, переживающего реформы. Всегда находятся люди, которые, прикрываясь всевозможными благонамеренными стремлениями, говоря с пафосом, вызываемым будто бы опасностью, грозящей общественному порядку от вредных нововведений, стараются помешать успеху нового дела, вселить недоверие к нему, испортить его. Подобное явление, к сожалению, почти неизбежно.

Когда вводились в России новые судебные учреждения, то раздались голоса, вопившие, что наше общество находится в страшной опасности, что противообщественным элементам открыт широкий простор, что присяжные и адвокаты, что нестесняемые приказаниями начальства судьи поведут нас прямо в пропасть, откуда мы не выберемся, что исчезнут чинопочитание и уважение к властям, что «мужику говорят вы», что чиновных людей заставляют стоять во время объяснений их с судом, что каких-то нигилистов выслушивают...

Теперь, когда рассматривается первый политический процесс в России при свете гласности, с надлежащими гарантиями правого суда,— теперь повторяется явление, весьма сходное с тем, о котором мы упомянули выше, хотя и в более слабой степени. Есть люди, которым кажется, что такое нововведение составляет будто бы нечто крайне ненормальное и вредное для нашего общества. Суд над государственным преступником, как им представлялось, всегда должен быть окружен величайшей таинственностью, всеми страхами фемгерихтов. А тут гласность, свет, свободная речь, приговор, постановленный по совести! Чтоб к чему-нибудь придраться, они заявляют, что прокурор слаб, что судьи слабы, что защита пропагандирует революцию, что печать разносит эту пропаганду во все концы России, что подсудимые нисколько не поражены торжественностью суда и не выражают никакого раскаяния. Прокурору следовало бы, по их мнению, громить не только преступные действия, совершенные подсудимыми и составляющие предмет дела, но и стараться залезть к ним в душу, разоблачить все тайные мысли их, глумиться над ложными убеждениями, которых они придерживаются. Судьи не должны оправдывать даже и невиновных, так как этим подрывается авторитет следствия и так как суд в политическом процессе будто бы не должен заботиться о произнесении приговора по закону и совести. Защитникам подобало бы обращаться не к суду, а преимущественно к своим клиентам, и поражать в лице их тот дух лжи,

который они собой представляют. Словом, все судебное разбирательство должно бы обратиться в так называемый «procès de tendance», где люди преследовались бы не только за то, что они совершили то или другое преступное деяние, но за то, что они так или иначе думают, где суд по возможности придерживался бы добрых, старых приемов.

Едва ли следует удивляться тому, что суждения вроде тех, которые мы изложили выше, высказываются кой-где в обществе. Общественные учреждения, политические нравы, понятия о гражданской свободе, которые уже давно установились на Западе, или не привились к нам, или слишком новы у нас. Мы, например, еще смутно понимаем, что свобода мысли и слова — это необходимое условие общественного развития — заключает в себе самое сильное противоядие против всяких заблуждений, увлечений и безобразий, что независимое судебное сословие служит гораздо лучше делу общественного порядка, чем всякое другое. Поэтому возгласы против суда, приведенные нами здесь, составляют явление почти неизбежное, объясняющееся той степенью развития, на которой еще находится некоторая часть нашего общества. Они, в сущности, и не удивляют нас. Но мы не можем относиться равнодушно к другому явлению — когда наша печать, в лице крупных органов своих, начинает оказывать услуги разным реакционерным побуждениям, когда она старается возбудить недоверие в обществе к лучшим из наших учреждений. При всем нашем знакомстве с образом мыслей и приемами «Московских ведомостей», статьи их о разбирательстве по «нечаевскому делу» (№ 161-й) повергли нас в некоторое изумление. Мы думали, что редакция этой газеты посовестится, по крайней мере, посягать на наш суд в ту минуту, когда на долю его выпала такая трудная и, если можно так выразиться, щекотливая задача, как первое применение гласного разбирательства по делу о государственном преступлении в России.

Нашлись, без сомнения, люди, искренно обрадовавшиеся статье «Московских ведомостей». Им как-то было не по душе то, что происходило в с.-петербургской судебной палате, и вот является статья, в которой обличаются и обвинители, и защитники, и судьи, где законная свобода речи именуется «неуместным словопрением», где говорится, что была «снята шляпа перед русскою революцией», что «нигилизму перед лицом суда воздан некоторый почет». Да, было чему обрадоваться, прочитав эту лживую статью!

Но что же, в сущности, сказали «Московские ведомости»? Они стараются прежде всего обратить в смешную сторону приемы, которые употреблял председатель судебной палаты

в обращении с подсудимыми. Они говорят, что «взаимные представления», «утонченные обороты речи», употребляемые, как им кажется, председателем, напоминают салон, что они неуместны в зале суда, и, как следует предполагать, особенно неуместны в политических процессах. Но что же доказывают эти жалобы московской газеты на слишком вежливое обращение с подсудимыми? Для того чтоб что-нибудь доказать этими жалобами, «Московские ведомости» должны бы проследить всю прежнюю деятельность г. председателя палаты и вывести из нее заключение, что он совершенно иначе обращается с прочими подсудимыми, что он изменил свои приемы для таких, которые обвиняются в государственном преступлении! С другой стороны, придирки московской газеты к словам председателя, обращенным к «нигилистам», так же нелепы, как сетования тех лиц, которым кажется ужасным, что «в суде мужику говорят вы». Мы думаем, что в настоящем деле приличие в обращении с подсудимыми было особенно уместно: оно отнимало у них желание и повод делать публично какие-либо резкие заявления, успокоивало страсти и побуждало их, в свою очередь, соблюдать приличие на суде, что и было вполне достигнуто.

«Московские ведомости» направляют всю силу своего слова, всю горячность своей речи против защитников подсудимых. Они, видите ли, поэтизировали русских революционеров, злоупотребляли свободою прений, протестовали в суде против законов, которыми держится все. Но подобные заявления содержат в себе положительную клевету. Конечно, не все защитники одинаково талантливы, не все одинаково умны, не все в одинаковой степени обладают тактом, не все равно искусны в своем деле; но ни один из защитников не сказал ничего такого, что не должно быть терпимо в стране, где сколько-нибудь уважается свобода мысли и слова, равноправность сторон на суде. Если защитники указывали на особые свойства политического преступления, на те признаки, которыми оно резко отличается от прочих преступных деяний, если они старались охарактеризовать без злобных преувеличений ту среду, из которой вышли подсудимые, указать на те исключительные условия, которые благоприятствовали развитию отрицательного направления в них, то они только исполнили долг свой, способствуя всестороннему разъяснению дела. Пусть укажут нам «Московские ведомости» на те политические процессы на Западе, происходившие не перед революционными или военными, а перед правильно организованными судами, где бы защите не было предоставлено прав, подобных тем, которыми она пользовалась в «нечаевском деле».

«Московские ведомости» думают, что защитники должны были греметь против «нигилизма», «изобличить весь вред этого направления». Нам же кажется, что «ораторы с.-петербургской судебной палаты» — прокурор или защитники безразлично — поступили очень хорошо, что воздержались от полемики с теоретическими воззрениями лиц, сидевших на скамье подсудимых. Во всех образованных государствах людей наказывают не за то, что они держатся тех или других ложных воззрений, а за то, что они совершили известные деяния, положительно воспрещаемые законом. Если б кто-либо во время судебных прений стал особенно сильно напирать на вред «нигилизма», то трудно было бы, не нарушая основных правил равенства сторон перед судом, лишить подсудимых слова в защиту тех теорий, которых они держатся. И суд обратился бы отчасти в debatting club [1] о пользе и вреде «нигилизма».

«Московские ведомости» попытались без всякого основания поколебать доверие к нашему суду в отношении к публичному разбирательству дел о государственных преступлениях. Они сослужили службу всем тем, кому разбор таких дел, на основании начал, установленных судебными уставами, был не по нутру и которые затруднялись только в подыскании сколько-нибудь подходящих аргументов. Московская газета заговорила о «русской революции» и «снимании шляпы перед нею», она пускает в ход призрак нигилизма подобно тому, как западные реакционеры вызывают так называемый «красный призрак», когда это может служить их целям. Мы сожалеем о таком образе действий одного из органов нашей печати, но думаем, что им серьезного вреда все-таки причинено быть не может. Правда возьмет верх. Несмотря на все статьи «Московских ведомостей», наше общество признает, что с.-петербургская судебная палата оказала услугу правосудию, внесши бесстрастие, человечность, справедливость и уважение к законной свободе слова в разбирательство нечаевского дела».

В) «Голос»

№ 183 (Фельетон). «Такова [2] первая группа наших коммуналистов и интернационалистов — потому что, как видно из обвинительного акта, цель, которой они добивались, была почти тождественна с целью, провозглашенною Парижскою

[1] дискуссионный клуб

[2] Этим словам предшествует описание наружности подсудимых. *(Прим. М. Е. Салтыкова-Щедрина.)*

коммуною, то есть «разрушение государства со всеми его учреждениями, для того, чтобы освободить массы народа из рабства умственного, политического и экономического». Разумеется, о том, что̀ поставить на место разрушенного, имелись самые смутные понятия, которые некоторым из членов вовсе и не сообщались; им указывали на таинственную брошюрку, написанную, по выражению обвинительного акта, на «неизвестном языке», то есть особенным шифром, и торжественно объявляли, что в ней заключается «вся программа». Средства, употреблявшиеся участниками открытого ныне заговора для вербования приверженцев, были совершенно те же, как и у членов «международного общества», то есть образовались маленькие кружки, из которых избирались члены «отделений»; эти, в свою очередь, посылали делегатов в центральный комитет и проч. Способы, которыми они надеялись достигнуть своих целей, также совершенно сходны с приемами покойной Парижской коммуны, то есть революция, убийства, пожары, грабежи. Гнусное, подлое, хладнокровно заранее обдуманное и совершенное без малейшего сострадания убийство студента Иванова показало ясно, чего можно было ожидать от таких коноводов, как Нечаев, Бакунин, Огарев. Притом, разумеется, главные виновники успели убраться в безопасное место или все время оставались в стороне, предоставив на произвол судьбы тех лиц, которых они употребляли как орудия. Негодяи вроде Нечаевых и фразеры вроде Бакуниных и Огаревых преспокойно живут себе в Женеве на деньги, собранные для «общего дела», подстрекая напыщенными фразами или громкими приказами несчастных простаков, которые, сами не зная, куда они стремятся, чего хотят, во имя чего и для кого действуют, усердствовали до тех пор, пока попадались наконец как кур во щи, и в награду за это удостоивались названия мучеников от г. Бакунина или стихотворения в их честь от г. Огарева. Жалкие и несчастные безумцы, которыми, как пешками, играли старые и опытные политические мазурики!

Нет сомнения, что судебные прения по этому делу, обставленные гарантиями полнейшего беспристрастия, представят величайший интерес и раскроют перед нами полную картину тех махинаций и подземных происков, которые употреблялись заграничными «предпринимателями» политических движений для осуществления самой несбыточной мечты, когда-нибудь западавшей в головы этих пустозвонных болтунов, именно революции в России, стране, в которой связь между народом и правительством до того тесна, а любовь к монарху-благодетелю проникает до такой степени все слои общества, что их не поколебать не только таким беспардонным шарлатанам, как

Бакунин и Огарев, но и всем революционным обществам всего света, соединенным вместе».

№ 188. «В настоящее время интерес публики сосредоточивается, главным образом, на процессе сообщников по так называемому «нечаевскому делу», который происходит в санкт-петербургской судебной палате. Толков о нем было весьма много, и толков крайне разнородных, потому что до самой последней минуты ничего определенного и верного не было известно... Нельзя не упомянуть по этому поводу об одном курьезном обстоятельстве. После подавления пресловутой Парижской коммуны французские публицисты и государственные люди ревностно старались доказать, что ответственность за это гнусное явление отнюдь не должна лежать на Франции, что Франция лишь случайно послужила ареною для подвигов диких демагогов, и что настоящим их притоном будто бы является не она, а другие государства. Исчисляя эти государства, г. Жюль Фавр счел нужным назвать в своем циркуляре и Россию. Некоторые из членов версальского национального собрания пошли даже далее: они утверждали, будто бы международная ассоциация рабочих (Internationale) находится под руководством немцев и «русских». Все это немало изумляло нас. Положение нашего отечества известно нам, по меньшей мере, отнюдь не хуже, чем ораторам французских палат, и мы с изумлением задавали себе вопрос, где же эти русские революционные силы, которые так многочисленны, что не только будто бы колеблют спокойствие России, но даже угрожают потрясениями чуть ли не всей Европе? Или, быть может, мы ошибаемся; может быть, силы эти действительно существуют? До сих пор нам было известно, что русская заграничная эмиграция обречена на совершенное ничтожество, что она состоит из двух или трех десятков бродяг и искателей приключений, о которых сам Герцен, как видно из посмертной его книги, отозвался с крайним презрением, и которые, после его смерти, признают своими вождями окончательно сошедших с ума Бакунина и Огарева; но если за границею «русская революция» (?) представляет столько же отвратительное, сколько комическое зрелище по своему бессилию, то не обладает ли она внутри страны многочисленными адептами, хотя, повторяем еще раз, совершенно непонятно, откуда бы они могли явиться? Вот вопросы, ответом на которые должен послужить теперешний процесс сообщников Нечаева.

Конечно, мы считаем преждевременным говорить об этом процессе, пока он еще подлежит рассмотрению суда. Было бы в высшей степени неуместно произносить свое мнение о степени преступности лиц, над которыми тяготит обвинение, но,

с другой стороны, показания, сделанные ими публично, настолько характеристичны и подробны, что можно составить понятие о среде, к которой обратился Нечаев, чтобы с помощью ее осуществить свои замыслы. Что же это за среда? В настоящее время на скамье подсудимых сидят люди, принимавшие, по словам обвинительного акта, главное участие в заговоре для ниспровержения установленного государственного порядка... Какие же цели имели они в виду и какими обладали средствами, чтобы достигнуть своих целей?

Некто Нечаев, преподаватель закона божия (?!) в приходском сергиевском училище в Петербурге, принимал участие в школьных беспорядках 1869 года, был арестован, бежал потом за границу с чужим паспортом и с чужим же паспортом вернулся в Россию. В Женеве он сошелся с Бакуниным, Огаревым и, быть может, был принят также в Международную ассоциацию рабочих, которая не брезгает, по-видимому, даже и таким добром, как наши туземные искатели революционных приключений. В Петербурге и Москве Нечаев приискивает себе сообщников. Мы знаем теперь главнейших из них: в числе их только одному г. Прыжову, когорый, как видно из его слов, вел весьма беспорядочную жизнь, было сорок два года; все остальные не более, как юноши от девятнадцати до двадцати пяти лет, или не учившиеся ровно ничему, или выгнанные из учебных заведений, или готовившиеся покинуть школьную скамью; исключение составляет лишь г. Ткачев, о котором в обвинительном акте сказано, что он кандидат Петербургского университета. «Либеральная личность» Нечаева явилась пред этою молодежью уже окруженная ореолом: как было не поклоняться этому человеку, когда, по его собственным словам, он удостоился высокой чести быть запанибрата с Огаревым и Бакуниным и получил от них полномочие перевернуть кверху дном весь государственный и общественный строй России! Нечаев не высказывал, впрочем, открыто своих замыслов: он окружал себя большою таинственностью и уверял, что действует от какого-то комитета, держащего все нити в своих руках и требующего безусловного повиновения. По словам Нечаева, революция долженствовала вспыхнуть сама собою, именно в феврале 1870 года, потому что Нечаев, а также школьники и проходимцы, связавшиеся с ним, считали себя столь близко знакомыми с настроением народа, что им казалось вполне несомненным, будто бы народ не замедлит прибегнуть к мятежу по прекращении переходного положения. Задачею революционных кружков было помогать восстанию, когда оно вспыхнет, «своими умственными способностями». В ожидании столь вожделенной минуты, «всякий честный человек,— утверждал Не-

чаев,— обязан бросать учебные заведения и подготовлять себя на служение общему делу». Он старался уверить, что предприятие задумано как нельзя более искусно, что «громадная организация уже раскинулась по всей России», что она тысячами считает своих приверженцев и что все предвещает ей несомненный успех. Все это было чистейшею выдумкой, громадною нелепостью, однако и в Петербурге, и в Москве Нечаеву удалось обмануть несколько личностей, сделавшихся бессмысленным орудием в руках его.

Тогда началась возмутительная и жалкая комедия. На сходках постоянно толковали о «комитете», хотя этого комитета никто не видал в глаза и не знал даже, где он существует. Нечаев требовал от своих сообщников, чтобы они служили делу, или, вернее сказать, ему лично, двояким путем: 1) собиранием денег и 2) привлечением новых заговорщиков. Что касается денег, то очень скоро оказалось, что люди, вознамерившиеся произвести коренной переворот в пределах Российской империи, располагали лишь грошами, а относительно привлечения участников они, видимо, недоумевали, куда им обратиться, чтобы встретить какое-нибудь сочувствие. Г-н Прыжов, например, похвалялся, что ему известна чуть ли не половина Москвы, что он изведал подноготную всех кабаков и фабрик, и несмотря на то, по его же сознанию, он собрал денег «лишь самую малость». Другой из обвиняемых, г. Кузнецов, говорит, что он всячески хотел показать себя деятельным, но чтобы Нечаев поверил его деятельности, он вынужден был представлять ложные отчеты. «Чтобы незаметна была моя ложь,— показывал он на суде,— я старался каждый раз приносить в наши собрания деньги, будто бы собранные мною с лиц, изъявивших желание присоединиться к нам, но на самом деле эти деньги (по несколько рублей) я давал, большею частью, свои собственные». Один только из сообщников не захотел лгать и играть по дудке Нечаева: мы говорим об убитом Иванове, личность которого недостаточно ясна для нас из показаний его товарищей. Он отшатнулся от заговора и решился действовать особняком. Нечаев тотчас же предложил убить его, и главные адепты этого негодяя опять-таки рабски подчиняются его воле, хотя большая их часть протестует втайне против убийства, но не дерзает ослушаться своего вождя. Нечаев уверил их, что страшное злодеяние необходимо для успеха дела, что Иванов может повредить «громадной организации», что нечего дорожить жизнью одной личности, когда дело идет о безопасности целого легиона приверженцев задуманного «дела»... Вскоре после того, как совершилось преступление, начинают, однако, приступать к Нечаеву с вопросами: где же эта знаменитая

«организация», где этот легион, действующий по распоряжению пресловутого комитета? и Нечаев должен сознаться, что если лгали его клевреты, то он лгал еще бессовестнее, чем они. «Правда,— говорит он с обычным своим нахальством,— я врал; но все средства хороши, чтобы завлечь людей в заговор. Этому правилу часто следуют за границею; между прочим, держится его и Бакунин: почему же и мне поступать иначе...»

Итак, умерщвление Иванова — вот факт, который бросает мрачный и ненавистный колорит на всю эту историю. Если бы не он, то можно было бы отнестись только с презрением и омерзительным чувством ко всему этому сумбуру понятий, к этому жалкому невежеству, к этой пошлой самонадеянности, которыми была проникнута среда, избравшая Нечаева своим руководителем».

№ 190 (Фельетон). «Во всем этом процессе для меня кажется самым знаменательным то равнодушие, с которым наше общество относится к нему: в его глазах весь этот заговор — преступное, но глупое и бессильное мальчишество (конечно, за исключением убийства). Это равнодушие есть беспощадный общественный приговор над всеми такими попытками. Это равнодушие должно быть для всех таких заговорщиков более безотрадным явлением, чем если б народная ярость разорвала их на клочки: их не боятся, не ненавидят, против них даже не считают нужным разгораться яростью — их холодно и покойно игнорируют. Это — наказание более тяжелое и поучительное, чем Сибирь и каторга [1], более унизительное, чем позорный столб. Наши заговорщики не имеют даже того утешения, чтоб поразить людей громадностью своего преступления и заставить мир интересоваться своею личностью. Я уверен, что если б находились в продаже их фотографические портреты, то на эти карточки был бы крайне малый запрос, и фотограф остался бы в большом накладе»...

№ 197. «Никогда еще эта скамья в уголовном департаменте петербургской судебной палаты не привлекала к себе большего внимания, как в настоящем процессе, и это внимание возбуждают не только те лица, которые занимают скамью, но, может быть, еще в большей степени те, чьи места остаются незанятыми в силу обстоятельств, не зависящих от судебной палаты,— Нечаев, бежавший за границу, и Иванов, убитый Нечаевым.

Из числа восьмидесяти четырех лиц, привлеченных к ответ-

[1] Можно, однако ж, предполагать, что обвиненные скорее удовольствовались бы первым, нежели последним. *(Прим М. Е. Салтыкова-Щедрина.)*

ственности по «нечаевскому делу», мы видели на скамье подсудимых одиннадцать человек, причисленных к первой группе, которую обвинительная власть признала наиболее преступною. Каждый из этих одиннадцати был знаком, разговаривал, видел, в крайнем случае слышал о Нечаеве, и решительно все упоминали о нем в своих показаниях. В один голос говорили они о глубоком впечатлении, которое производил Нечаев, о неотразимом, роковом влиянии, которое он имел на всех, с кем сталкивала его судьба, на всех, за исключением одного Иванова. Один Иванов не поддавался влиянию Нечаева, на одного его Нечаев не производил впечатления. Почему? Иванов не похож на подсудимых первой группы: «Это был, по словам Кузнецова, человек недоверчивый, требовавший прежде всего более или менее ясных доказательств»; Иванов относится ко всему сознательно; его нельзя принудить к слепому повиновению; он во всем дает себе отчет; он самолюбив, сосредоточен, и обмануть его трудно. «Я ошибся в выборе Иванова»,— говорил Нечаев Кузнецову.

Это было единственное правдивое слово во всей массе лжи, окружающей личность Нечаева, которого нам хотят представить с какими-то демоническими чертами в характере и общем строе его натуры. Таким разумели его подсудимые первой группы, не таким считал его Иванов, и таким Нечаев никогда не был. Сын бедного ремесленника в селе Иванове, сын полотера графа Шереметьева, до шестнадцати лет ничему не обучавшийся и с юности выбившийся из колеи, трудом и потом проторенной для него отцом, Нечаев является вольным слушателем в университете, сперва в Москве, потом в Петербурге. Не науки искал он в университете, и наука не давалась ему: он усвоивал себе лишь отдельные фразы помощью памяти, не мог уразуметь ни одной здравой мысли, ни одной идеи, которые требуют работы ума, и скоро дошел до отрицания всякого образования. «Ходить в школы учиться — ерунда»,— говорил Нечаев Орлову, не подозревая, конечно, что высказывает этим главную черту, объясняющую его вполне, со всеми его недостатками, пороками, даже преступлениями. Это была натура грубая, не смягченная ни семьей, ни школой,— он бросает дома сестру в тифе и идет на сходку; он убивает Иванова и протягивает любимой женщине руки, на которых еще кровь не обсохла; это был неуч, прикрывавший свое невежество отрывочною, для него самого непонятною фразою. «Нечаев ни о чем не говорил обстоятельно, никогда не высказывался и пропускал лишь фразы сквозь зубы»,— говорят о нем бывшие его поклонники. Это был, наконец, человек до крайности самолюбивый, увлекавшийся своею собственною личностью, как все

малообразованные люди, любивший говорить о себе и слушать, как другие говорят о нем, желавший властвовать, наставлять других. Удовлетворяя эти потребности своей натуры, он был учителем сперва народной школы в селе, затем приходского училища в столице. Когда же, с годами, грубый инстинкт руководить, повелевать другими развился до стремления быть во что бы то ни стало передовым деятелем общества, Нечаев, не находя в себе положительных данных для подобной роли, не затрудняется в выборе средств и прибегает ко лжи, никогда не забывая, что лжет, и к обману, всегда сознавая, что обманывает.

Нечаев обладает одною положительною чертою, одною способностью, в которой ему никто не отказывал,— изворотливостью, пронырством, тою внешнею ловкостью, которая неминуемо поставила бы сына полотера во главе ивановских мошенников или московских жуликов, если б самолюбие не вывело его на иную, более широкую арену политических мазуриков...

Судя по Нечаеву, можно уже догадаться, из какой среды он мог набирать работников для своего «дела» — единственно из среды недоучившейся молодежи: из числа одиннадцати подсудимых только Ткачев окончил курс в университете и только Прыжов не может быть причислен к молодым людям — ему сорок два года. Общая сложность лет всех подсудимых первой группы, за исключением Прыжова, дает каждому из подсудимых, в среднем выводе, двадцать четыре года. Умственная развитость их очень низкого уровня; их положительные сведения слишком ограниченны. Это, большею частью, семинаристы, слушатели земледельческой Петровской академии, люди, как и Нечаев, поздно обратившиеся к умственным занятиям и оказавшиеся мало к ним способными...

Только слабостью умственного развития, которую нельзя скрыть никакою дерзостью мысли, хотя бы и не навязанной извне, только убожеством положительных знаний, которые не могут быть заменены заученными фразами из книг, хотя бы и хороших, только нелюбовью к труду можно объяснить успех Нечаева в среде подсудимых первой группы, которые, по их собственным словам, действовали совершенно бессознательно. Да и можно ли предположить сознательное отношение к делу у таких личностей, которые сегодня пишут оду в честь приезда государя императора во Владимирскую губернию, а завтра вступают в число заговорщиков для ниспровержения установленного порядка?..

К такому результату приводит внимательное изучение одиннадцати подсудимых первой группы»...

№ 197 (Фельетон). «Этот политический процесс представляет очень много поучительного... Кажется, чего-чего не говорили и не писали о панургово̀м стаде, а оно все еще живо и поражает грациозностью своих прыжков и красотою рогов. Вот льется речь, чистая польская речь [1], где глумятся не только над всем прошлым, но и над всем настоящим России. Видите ли, все у нас пусто, сухо, голо, не на чем остановиться; а прошедшее Польши в пурпуре и злате, такое, что может очаровать польского демократа! Вы изумляетесь этой беззастенчивости, этой колоссальной неправде. Вот уж именно демократу, думаете вы, искать идеалов в старой Польше, этом позорном государстве, где масса была в самом ужасном рабстве у панов и жидов-арендаторов. Да хорош и пурпур! Это государство с 12 миллионами жителей пало почти без выстрела среди подкупов, разврата, усобиц, измены. Но, положим, с польской точки зрения надобно говорить, что это — все золото и пурпур даже и для демократа, а в России Петра, Екатерины, Александра II все пусто и голо. Сидите вы и слушаете, что будет дальше. Вот подымается одна из тонкорунных овечек панургова стада и начинает прыгать за польскою речью с самым добродушным видом, приговаривая: «Хорошо, ай как хорошо! ай какая заслуга перед Россией!» И досадно, и жалко делается. Так и хочется сказать: «Бяшенька, бяшенька, назад! куда ты за волком прыгаешь! съест тебя!» Но нет, не остановите бяшеньку. Вслед за ней бежит другая овечка, припевая: «Ай хорошо, ай честно...» А там и в печати опять блеянье, и на вас же рогами тычут бараны, и бегут туда же. Остается махнуть рукой и отвернуться...

Процесс велся с величайшим беспристрастием, с самым строгим соблюдением устава уголовного судопроизводства; замечания защитников и подсудимых выслушивались без нетерпения, обсуживались внимательно. Но нельзя не заметить, что вежливость допрашивавших иногда переходила пределы; говоря с подсудимыми, они употребляли выражения: «вы изволили сказать, вы изволили сделать...»; а говоря о себе: «смею думать, смею сказать». Эти почтительные обороты неупотребительны ни в одном европейском суде, потому что они неуместны, потому что они могут подсудимому внушить ложную мысль о впечатлении, которое производит приписываемое ему преступление. Если убийцу судья будет спрашивать: «Вы изволили ударить топором по голове; поэтому, смею думать, что вы желали лишить жизни такого-то», то, пожалуй, тот подумает,

[1] Слова эти, очевидно, относятся к речи г. Спасовича *(Прим. М. Е. Салтыкова-Щедрина)*

что дело его весьма деликатного свойства и что сам он чрез него стал на весьма значительную высоту. Да и существующие у нас обычаи на суде вовсе не в тон с этой манерой. У нас в окружном суде зачастую не только обвиняемых, но и свидетелей, даже из высших общественных классов, называют просто: свидетель N, по одной фамилии. Впрочем, в таком деле, как только что разбиравшееся, лучше пересолить, чем недосолить».

№ 201. «Из подсудимых второй группы обвинительный акт ставит на первом плане трех лиц: двух бывших слушателей Петровской академии, Н. С. Долгова и Ф. Ф. Рипмана, которые, по словам акта, входили в состав первого кружка организации, и мещанку города Калуги, Е. И. Беляеву, которую акт относит к числу организаторов тайного общества. Как из обвинительного акта, так и из показаний, данных подсудимыми на судебном следствии вчера и сегодня, более и более выясняется, что они были лишь орудием в руках Нечаева, который сперва ложью и обманом успел поселить в них доверие к себе и затем поддерживал свое влияние устрашениями и угрозами. Ложь, к которой так часто и так бессовестно прибегал Нечаев, мало-помалу раскрывается»...

Г) «Биржевые ведомости»

№ 208. «Нечаевское тайное общество готовится разделить общую судьбу многих новостей, обыкновенно привлекающих к себе внимание только в начале их появления. Далек еще конец судебного разбирательства по остальным категориям подсудимых, а видимо ослабел уже интерес общества к этому делу, и показания подсудимых пробегаются далеко уж не с тою лихорадочною внимательностью, с какою следили все за Успенским, Кузнецовым, Прыжовым, Николаевым и прочими участниками первой категории обвинения. Зато едва ли мы впадем в ошибку, если скажем, что впечатления и выводы, оставшиеся в обществе после первого периода судебных заседаний, укоренились в умах надолго и, быть может, еще не раз отзовутся в будущих явлениях общественной жизни.

Ряд уроков дало нам первое открытое разбирательство политического дела в России. Приговором суда о первой категории подсудимых брошен свет на предыдущие обстоятельства, сделавшие совершенно ясными некоторые особенные и знаменательные оттенки этого ряда молодых увлечений и легкомысленных ошибок, разразившихся, наконец, в преступление. Какой общий тон в показаниях подсудимых? Каждый из них более или менее желал «блага народу»; около этого знамени собрались они бороться, а если нужно — приносить нравствен-

ные жертвы и терпеть всевозможные материальные лишения. Но что же это за благо народа? Несомненно, существует в России народ; но разуметь под этим именем только серых мужиков или опивающихся рабочих неосновательно. Добиваясь бессословности, всесословного единства в жизни,— мы, однако же, не выкинули еще сословности из своих понятий. Умственно, в русском народе мы воображаем себе два народа, и сословиям более или менее интеллигентным противопоставляем кряжевую рабочую силу простолюдинов. Это ошибка, потому что в русском народе может быть только один организм, и как легко эта ошибка переходит из безвредного заблуждения в роковое увлечение, нечаевский процесс представил тому довольно примеров. Благо народное также существует несомненно, только не существует мифических благ, мыслимых независимо от современных гражданских и государственных установлений. Преступно предполагать в народе революционера по преимуществу, революционера исключительного. Опыт всех веков и всех стран доказал, что для умов, не стоящих на степени интеллигентной, власть предержащая есть также и символ, и порука всех ожидаемых ими благ. Если бы народ русский способен был к гомерическому смеху,— он этим смехом ответил бы, конечно, всякому безумцу, который решился бы его убеждать, что без власти установленной он достигнет улучшения своего экономического и политического быта. Чрез насилие коренных убеждений простолюдина призывать его к насилию политическому — это смешно; мы скажем — это жалко. Затем, не лоскутья ли одни останутся от этого знамени, именуемого «благом народным», если бы его понимать согласно с большинством обвиненных».

Д) «Вестник Европы»

«В течение минувшего месяца в здешней судебной палате происходило разбирательство того дела, которое известно под именем «нечаевского». Сущность этого дела состоит в составлении политического тайного общества и в совершении убийства. Коснуться этого процесса в нашей месячной хронике мы почитаем обязанностью, как по интересу, возбуждаемому им, так и по некоторым значительным его особенностям. Главная из последних та, что этот политический процесс происходит гласно; в зале суда присутствует публика и отчеты о заседаниях печатаются в официальной газете, откуда заимствуются и другими газетами.

Польза такой гласности столь очевидна, что нечего долго на ней останавливаться. Она возвышает уважение к суду, низводит тех, кто признан виновным, из положения «тайно постра-

давших» в положение правильно осужденных за положительно доказанное преступление, обнаруживает ясно для всего общества нелепость полушкольнического, сопровожденного изуверским действием, предприятия, остерегает в будущем молодых, неразвитых людей от сетей, расставляемых бессовестными и безумными агитаторами, наконец, выставляет на позор действия этих последних, сумевших избегнуть иной ответственности, кроме того негодования общества, которое будет их уделом, в то время как слепые жертвы их подвергаются карам закона.

Вот эта именно особенность, а именно гласность, впервые приданная разбирательству политического процесса мудростью правительства, и налагает на нас обязанность не умалчивать об этом деле. Если бы обвинение и разбирательство последовали вне порядка обыкновенного судопроизводства и вне гласности, то мы, без сомнения, предпочли бы сохранить молчание о всем деле, как бы велико ни было наше искреннее негодование против самого преступления и даже если бы мы были вполне убеждены в справедливости последовавшего затем приговора. Мы молчали бы и о нашем негодовании, и о нашем убеждении в справедливости кары просто потому, что нам совестно было бы выступать гласно перед обществом в качестве прокуроров, когда слово защиты было бы скрыто от общества. Чувство нравственного приличия, понятное всем порядочным людям, не дозволяло бы нам употребить гласность для обсуждения вины, когда не признано было бы нужным воспользоваться гласностью для разъяснения этой вины и для смягчения ее защитою.

Эти оговорки относительно затруднительного положения, какое может создавать в печати наказание виновных вне обыкновенного судопроизводства и вне гласного разбирательства, не совершенно излишни в настоящее время, хотя они и не применяются к нынешнему процессу, происходившему в порядке обыкновенного и гласного судопроизводства. Чем больше простора будет для обсуждения подобных дел в печати, даже для защиты в ней некоторых подсудимых и для указания на неизбежные иногда упущения или ошибки в мерах преследования и розыска, тем полнее, свободнее порядочные, независимые органы печати станут выражать все свое отвращение и презрение к бесчестным людям вроде Нечаева, ложью и обманом завлекающим свои жертвы в нелепые, никуда, кроме преступления и гибели, не ведущие планы революционного шарлатанства. А такие предостережения со стороны печати, не заподозренной в шпионстве или продажничестве, имеют значение, которого никто в наше время ни в Европе, ни у нас отрицать не станет. Но для того, чтобы добросовестная печать могла энергично ис-

полнять и эту обязанность, необходимо, чтобы она имела возможность относиться к подобным делам с полною свободою критики. Никто не согласился бы занимать должности прокуроров, если бы судебные уставы не давали всем обвиненным защитников. И печать, если бывало, что она умалчивала о каком-либо политическом деле, руководствовалась тем правилом, которое очевидно для всех порядочных людей: если свобода критики сводилась к свободе одного порицания хотя бы и справедливо преследуемых лиц, то лучше было не пользоваться и этим правом, чтобы не показалось обществу, что печать выслуживается, и не лишить ее именно того права на доверие, которое одно и дает слову ее нравственный вес [1].

. . . . . .

Что же это было за тайное общество? Ничтожность, неразвитость его участников представляют новое и излишнее, конечно, свидетельство как о твердости существующего в России правительства, так и о шарлатанстве «мастеров» революционного дела, Бакунина и Нечаева. Если бы прочность нашего правительства, преданность ему всего народа и отвращение общества к затеям профессиональных революционеров нуждались в доказательствах, то доказательство им нашлось бы именно в положении и свойствах тех людей, из которых вербовали себе агентов Нечаев и Бакунин. Только таких людей они и могли найти для своих глупых преступлений. А факт, что, приискав таких людей, агитаторы с ними решились-таки вести свой призрак к какому-то безусловно невозможному осуществлению, доказывает именно, что Бакунин и Нечаев, если они не сумасшедшие,— такие бессовестные пройдохи, которые готовы жертвовать людьми для того собственно, чтобы доставить себе за границею хоть малейшую долю революционной «репутации». Но Европа может судить теперь об этом деле уже не на основании каких-либо темных, негласных преследований, и в настоящем случае, когда гласный суд изобличил пред Европою всю ничтожность людей, обреченных нашими революционными шарлатанами на жертву их болезненному самолюбию, она узнает из русских органов гласности, что общественное мнение в России произносит над Нечаевым и Бакуниным приговор глубокого презрения. Таким образом, нынешнее дело не послужит на пользу их самолюбию и за границею, и не одна Россия, но и Европа узнает в них людей нравственно павших, людей, от

[1] Это заявление не доказывает ли нам, что русская литература была действительно, а не номинально свободна в своих отношениях к «нечаевскому делу» и что, следовательно, выказанное ею в этом случае единодушие было единодушие свободное. *(Прим. М. Е. Салтыкова-Щедрина)*

которых должен сторониться всякий, кто дорожит честным своим именем.

Не будем уже говорить о ничтожестве тайного общества по положению его членов, которое не давало бы им возможности действовать ни в образованном обществе, ни в массе народа, если бы даже у нас и была какая-нибудь возможность затевать нечто вроде революции, чего вовсе нет ни в обществе, ни в массе. Но самые личные свойства лиц, признавших себя главными соучастниками, таковы, что люди эти не могли бы сколько-нибудь годиться в агенты революции нигде, хотя бы в самой революционной из всех стран, в минуту хотя бы самую удобную для производства смятения; по бесхарактерности они становятся игрушками в руках Нечаева, который ведет их убивать человека против их воли и ругает их последними словами за то, что они не хотят помогать ему; а между тем они все-таки шли на это дело! Гласное разбирательство дела возбудит презрение к Нечаеву и Бакунину, а молодых людей в России предостережет от доверия к темным личностям, являющимся с таинственными, недосказанными планами и предложениями «организоваться» для дела неизвестного. Молодые люди убедятся, что «организоваться» не следует потому именно, что вся цель таких пройдох в том и состоит, чтобы прославить себя устройством ни для чего не годной «организации».

Таковы отзывы о «нечаевском деле» значительнейших органов нашей литературы всех оттенков. Надеемся, что читатель, пробежав эти отзывы, согласится с мнением, изложенным нами выше, что ими вполне и притом с полной свободой разъясняется не только самый факт, давший начало процессу, но и те отдаленные причины, которые породили этот факт.

ПЕРВАЯ РУССКАЯ ПЕРЕДВИЖНАЯ ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ВЫСТАВКА*

Нынешний год ознаменовался очень замечательным для русского искусства явлением: некоторые московские и петербургские художники образовали товарищество с целью устройства во всех городах России передвижных художественных выставок. Стало быть, отныне произведения русского искусства, доселе замкнутые в одном Петербурге, в стенах Академии художеств, или погребенные в галереях и музеях частных лиц, сделаются доступными для всех обывателей Российской империи вообще. Искусство перестает быть секретом, перестает отличать званых от незваных, всех призывает и за всеми признает право судить о совершенных им подвигах.

С какой бы точки зрения мы ни взглянули на это предприятие, польза его несомненна. Полагая начало эстетическому воспитанию обывателей, художники достигнут хороших результатов не только для аборигенов Чухломского, Наровчатского, Тетюшского и других уездов, но и для самих себя. Сердца обывателей смягчатся — это первый и самый главный результат; но в то же время и художники получат возможность проверить свои академические идеалы с идеалами чебоксарскими, хотмыжскими, пошехонскими и т. д. и из этой проверки, без сомнения, извлекут для себя небесполезные указания.

Что обывательские сердца смягчаются при взгляде на кра-сивые линии — этому я видел поразительный пример не далее как 30-го сего ноября (выставка открыта 29-го числа). Перед картиною г. Мясоедова, изображающей Петра Великого, рассматривающего знаменитый ботик, который сделался впоследствии родоначальником русского флота, стоял цензор (не римский, а другой) и неутешно плакал. «Что с вами?» — спросил я его. «Помилуйте! — отвечал он мне,— посмотрите, как вели-

кий-то государь был любознателен! как он любил науку! с какою благородною алчностью следил за ее открытиями! А мы-то! а я-то!» Но этого мало: раз ставши на почву самоосуждения, мой добрый знакомец почувствовал потребность идти до конца, то есть принести публичное покаяние. К великому моему смущению, он встал посредине залы и без всякого постороннего наущения словами Феофана Прокоповича возопил: «Братия! что мы делаем? Петра Великого погребаем!»

Сказавши это, он изнемог и упал на грудь г. Мясоедова...

Но если такой подлинно испытанный человек, как мой знакомец, был уязвлен столь чувствительно, то каких же результатов не вправе мы ожидать относительно прочих обывателей. Переношусь мыслью в город Кологрив и вижу: помещик стоит перед картинкой г. Прянишникова «Погорельцы» и потихоньку вынимает из кармана пятак, чтобы подать нищему; мировой судья смотрит на картину профессора Ге «Петр Великий, допрашивающий своего сына» и вдруг начинает совершенно отчетливо понимать, что́ значит суд скорый, милостивый и правый; поселянин вглядывается в этюд г. Крамского «Голова мужика» и восклицает: «Матрена! Матрена! смотри... рваный... это я!» И ежели, за всем тем, исправник все-таки изъявит намерение пребыть непреклонным, то непреклонность эта будет притворная. «Майская ночь» г. Крамского и на него подействует освежительно. По наружности он останется равнодушен, но в душе наверное скажет себе: «Вот рассказывают, будто крестьянам подати платить не из чего, а они, посмотрите-ка, какие удивительные балеты на картинках выделывают! Просто с жиру, бестии, бесятся!»

Как хотите, а для художника такая публика — сущий клад.

Кроме того что он может проверить на нем действительный эстетический уровень цивилизованного большинства, она представит ему неистощимый источник для разнообразнейших художественных этюдов. Пусть представит художник станового пристава, стоящего перед Аполлоном Бельведерским — какая это будет чудесная картина! Аполлон, весь блистая красотой, равнодушными глазами смотрит на кишащих у ног его сеятелей и деятелей, а усердный исполнитель исправниковых велений с видом знатока вглядывается в прекрасный торс, и из уст его невольно вырывается: «Хорош, бестия, а все против нашего губернатора не вышел!» Или: стоит судья перед статуей Фемиды и держит ей такую речь: «И что ты меня весами этими дразнишь! вот возьму, да куда захочу — туда они у меня и потянут!» Да и мало ли таких сюжетов явится; стоит только русским художникам почаще проверять свои идеалы с идеалами обывателей бесчисленных российских градов и весей.

А провинциальная пресса! Сколько она одна даст полезных указаний, с разрешения гг. начальников губерний! и указания эти, я в том уверен, будут настолько вески, что «Товарищество передвижных художественных выставок» наверное воспользуется ими. Прочитав их, оно воздержится от посылки в город Мензелинск картин вроде «Петра, допрашивающего своего сына», а просто-напросто возьмет напрокат у академии несколько десятков «Янов Усьмовичей» и пошлет их с рассыльным по принадлежности.

Такова мысль новорожденного «Товарищества»; теперь взглянем на ее выполнение.

Первая выставка, открытая в Петербурге, в залах Академии художеств, производит самое приятное впечатление. Количество картин небольшое, но на каждой из них внимание зрителя останавливается с удовольствием, а на некоторых даже и более нежели с удовольствием. Невольно припоминаются те массы крашенины, которые утомляли взор, прежде нежели он отыскивал хоть какую-нибудь точку, на которой мог успокоиться. Поэтому нельзя не похвалить «Товарищество» за то, что оно, при первом своем появлении на суд общества, избавило публику от крашенины; но спрашивается: может ли оно и на будущее время всегда действовать с тою же эстетическою сдержанностью, с какою действовало в этом первом своем опыте?

По моему крайнему разумению, разрешение этого вопроса очень сомнительно, и сомнения эти основаны на том соображении, что «Товарищество» в своей организации не отрешилось ни от одного из требований рутины, которая имеет свойство обращать самое полезное дело в пустую формальность. У него есть свое общее собрание, свое правление, своя баллотировка. Спрашивается: при тех преимущественно воспитательных целях, которые, по-видимому, имеет «Товарищество», какой смысл может иметь подобная организация? Ограждает ли она «Товарищество» от наплыва Моисеев, извлекающих из камня воду, Янов Усьмовичей и т. п.? Нет, не ограждает, ибо по уставу на звание члена «Товарищества» может претендовать всякий художник, «не оставивший занятий искусством»; хотя же прием новых членов обусловлен баллотировкой, но в сфере искусства баллотировка обеспечивает столь же мало, как и протекция или начальственное усмотрение. Тут явятся на сцену всякого рода сомнения и уступки: и опасение быть обвиненным в несправедливости, и просто чувство деликатности, воспрещающее устранять от дела лицо, которое, в сущности, быть может, и не даровито, но в глазах толпы пользуется значительною репутацией. А как скоро Яны Усьмовичи проникнут в «Товарищество», то они подорвут какую угодно воспитательную цель

и вместо нее введут элемент разношерстности. Если, например, «Товарищество» преследует идею трезвости, простоты и естественности в искусстве, то стоит только забраться в «Товарищество» г. Микешину, чтоб совершенно упразднить эту идею. А отказать ему в праве на звание члена нет основания уже по тому одному, что он целую Россию покрыл сетью монументов. И как только он вступит в «Товарищество», то сейчас же изумит мир обилием и яркостью своих произведений, и уж, конечно, ни один становой пристав не остановится перед картиной Ге, если рядом с нею будет стоять ослепительное произведение г. Микешина. Спрашивается: что станется тогда с воспитательными целями «Товарищества»?

Я не отвергаю, что и к воспитательным целям могут быть применяемы соединенные усилия нескольких лиц, но для того, чтобы в этом случае был достигнут успех, необходимо, чтобы соединившиеся для одной цели лица были вполне друг другу известны и заранее с полною ясностью определили для себя все основания задуманного дела. Тут не баллотировка требуется, а полное единодушие, и ежели мне возразят, что подобное единодушие, в крайнем своем проявлении, может привести к односторонности, то, по мнению моему, и в этом еще не будет большой беды. Ведь никто же не мешает рядом с одним товариществом устроивать другие однородные товарищества с теми же целями, но с иными взглядами на их осуществление.

Но прекратим речь о будущем, которое во всяком случае гадательно, и обратимся к настоящему, то есть к тому первому опыту передвижной художественной выставки, который состоялся 29-го ноября.

На первом плане мы встречаемся здесь с картиною профессора Ге «Петр Великий, допрашивающий своего сына». Перед нами всего две фигуры и строго-простая обстановка, не имеющая ничего бьющего в глаза. Петр Великий не вытянут во весь рост; он не устремляется, не потрясает руками, не сверкает глазами; фигура его без малейшей вычурности и назойливой преднамеренности посажена в кресло, и даже ни один мускул его лица не сведен судорогой. Царевич Алексей не стоит на коленях с лицом, искаженным ужасом, не молит о пощаде, не заносит на себя рук и не ломает их, а просто и, на поверхностный взгляд, даже довольно спокойно, стоит перед отцом, отделенный от него столом, с несколько опущенною вниз головою. Тем не менее всякий, кто видел эти две простые, вовсе не эффектно поставленные фигуры, должен будет сознаться, что он был свидетелем одной из тех потрясающих драм, которые никогда не изглаживаются из памяти.

В этом-то именно и состоит тайна искусства, чтобы драма была ясна сама по себе, чтобы она в самой себе находила достаточное содержание, независимо от внешних ухищрений художника, от опрокинутых столов, сломанных стульев, разбросанных бумаг и т. д. А г. Ге именно тем и выделяется из массы собратий по исторической живописи, что он очень отчетливо отличает внешние, крикливые выражения драмы от внутреннего ее содержания и, пользуясь первыми лишь с самою строгою умеренностью, сосредоточивает всю свою художественную зоркость на последнем. Это драгоценнейшее свойство художника постоянно являлось во всех его картинах, доселе известных; оно же, с особенною силою, выразилось и в последнем произведении его кисти.

По-видимому, личность Петра чрезвычайно симпатична г-ну Ге, да оно и не может быть иначе, потому что в глазах художника воспроизводимое лицо лишь настолько привлекательно, насколько оно человечно, то есть насколько доступно всему разнообразию человеческих ощущений. Такова именно личность Петра Великого. Вся жизнь этого человека есть непрерывная эпопея, в которой царственное на каждом шагу смешивается с общечеловеческим, и притом смешивается не искусственно, не преднамеренно, а вполне естественно и свободно. Это такой же истинно простой в своих привычках и обыкновенном, будничном обиходе человек, как и все его окружающие, и ежели он, за всем тем, тяготеет над этими последними, то не потому только, что у него в руках имеются все внешние средства для такого тяготения, но преимущественно потому, что в нем заключается неизмеримо высокий и вполне себя сознающий внутренний человек. Петр Великий прежде всего страстно предан своей стране, но в этой преданности первое место занимает не страстный темперамент, а сознательность, доведенная до страстности, которая и приводит к мысли о необходимости обновления и возрождения. Сознание этой необходимости овладевает всеми его помыслами, окрашивает всю его деятельность; ибо для него возрождение не просто плод отвлеченной мысли, а нечто такое, что он, так сказать, осязает, что выступает перед ним во всей ясности и со всеми подробностями. Поэтому он идет не останавливаясь даже тогда, когда его действия носят явный характер резкости и суровости. Он суров и даже жесток, но жестокость его осмыслена и не имеет того характера зверства для зверства, который отличает жестокие действия временщиков позднейшего времени.

Да, это личность, которой художник не может не симпатизировать даже в ее слабостях и недостатках, потому что это слабости человеческие. Ей следует симпатизировать не только во

имя того, что́ она совершила, но еще более ввиду того, что она, конечно, совершила бы, если бы смерть не похитила ее. Многие из реформ Петра имели характер переходный и дисциплинарный и впоследствии послужили источником очень значительных неудобств; но это произошло совсем не по вине его, а оттого, что продолжатели его дела поддерживали только букву реформ и совершенно забыли разум их. Что Петр понял бы своим обширным умом, что дело возрождения есть дело по преимуществу движущееся и развивающееся — в этом убеждает его неутомимая, никогда не ослабевающая реформаторская деятельность, которая стояла для него выше личных соображений, выше семейных уз.

А в этом последнем отношении грядущее представлялось в очень мрачном свете, потому что личность царевича Алексея была такого рода, что не допускала даже сомнений. Допустим, что царевич был настолько лишен энергии и чужд властолюбия, что сам охотно отказался бы от приманок власти, «была бы только подле него Афросиньюшка», но, во-первых, удостоверить полную искренность подобного отказа довольно трудно, а во-вторых, смутные времена с их Лжедмитриями были так недалеки, что и это заставляло задуматься. Задумав преобразование России, Петр естественно пришел к вопросу: кто будет продолжать и развивать начатое дело — и с мучительною безнадежностью должен был остановиться на царевиче Алексее, который, во имя уз крови, становился между ним и делом всей его жизни. Отсюда — известная драма между отцом и сыном, окончившаяся смертью последнего.

Г-н Ге делает нас свидетелями одного из прелиминариев этой драмы. Петр Великий имеет в руках подавляющие документы, перед которыми Алексею остается только умолкнуть. Быть может, за минуту, между отцом и сыном произошла бурная сцена, исполненная гнева с одной стороны и робкой изворотливости — с другой, но теперь, в момент, избранный художником, вопрос для обеих сторон выяснился окончательно, и наступило затишье. Петр с мучительно-тоскливым чувством смотрит на сына; но во взоре его не видно ни ненависти, ни презрения, ни даже гнева. Это именно только мучительное чувство, где всего скорее можно видеть скорбь о себе, о поднятом, но неоконченном подвиге жизни, о том, что достаточно одной злополучной минуты, чтобы этот подвиг разлетелся в прах. Перед ним человек, до которого ему нет дела и которому, в свою очередь, нет дела до него, и между тем — это человек, с которым он связан своего рода гордиевым узлом, которому он должен оставить на поругание любимое, лелеянное дело,— человек, с которым он волей-неволей должен считаться, тогда как

ему и говорить-то с ним не об чем. Эта мысль гнетет и убивает, убивает тем жесточе, что на настоятельный вопрос будущего еще нет никакого практического ответа. После он доищется этого ответа и найдет в себе решимость рассечь гордиев узел, но теперь он еще ничего не знает, он сам только жертва той мучительной уверенности, к которой привело его сейчас происшедшее объяснение. В лице его нет ни гнева, ни угрозы, а есть только глубоко-человеческое страдание, и сверх того, коли хотите, есть упрек, но упрек, обращенный ко всему, к чему угодно, но не к этому человеку-призраку, фаталистически ворвавшемуся в его жизнь. Рассматриваемая с этой точки зрения (мне, по крайней мере, кажется, что эта точка зрения правильна), фигура Петра представляется исполненною той светящейся красоты, которую дает человеку только несомненно прекрасный внутренний его мир.

Не менее выразительна, хотя и в другом роде, фигура царевича Алексея. И он договорился до конца, и для него настоящее свидание было полно нравственных тревог, но эти тревоги иного, несомненно низменного свойства Его беспокойство скоропреходяще и все сосредоточено на одной мысли: я готов от всего отказаться, готов что угодно отдать, лишь бы уйти от этого взора, который так мучительно давит меня. И он действительно все отдаст, от всего откажется и даже забудет вынесенную им нравственную пытку, как только переступит за порог этой комнаты. Загородный увеселительный дом или тюрьма, привольная жизнь в Ярославле или тесное заключение в стенах монастыря — ему все равно в эту минуту, лишь бы уйти от этого человека, с которым у него нет ничего общего и которому он должен дать ответ о чем-то таком, что он даже в толк себе взять не может...

Вообще, впечатление, производимое картиною г. Ге, громадно, и публика постоянно окружает ее. О, пошехонцы, возрадуйтесь! ибо она будет и у вас!

И даже не одна она будет, но вместе с прекрасною картиною другого даровитого представителя исторической живописи, г. Мясоедова, который изобразил другой эпизод из жизни Петра Великого, а именно тот, когда он, еще юный, рассматривает знаменитый ботик, построенный Тиммерманом. Впрочем, в этой картине интерес сосредоточивается не столько на фигуре Петра, сколько на окружающих его боярах. В особенности интересны двое из них: боярин, стоящий за креслом, на котором сидит Петр, и другой, сидя выглядывающий из-за первого. Первый боярин — тип благосклонности, доброты и благодушия. Его румяное, улыбающееся лицо, с великолепной седой бородой до пояса, так, кажется, и говорит: не понимаю, но препятствовать

не намерен, потому что в науках вреда не вижу. И ежели бы в те времена существовало «учреждение министерств», то, конечно, этот боярин был бы самым желательным министром по какой угодно специальности, ибо ежели он и ничего не знал, то ведь тогда и знать ничего не требовалось, а требовалось только доброжелательное отношение к знанию. Напротив, другой боярин смотрит на затею Петра с совершенно противоположной точки зрения: он ненавидит и клянет. Вся фигура его говорит: проклинаю сатану и аггелов его, и в своем близоруком фанатизме он готов перенести эту ненависть и на цветущего юношу, с таким страстным увлечением рассматривающего ботик. Благодаря этим характерным фигурам и общему тону картины, она производит очень хорошее, здоровое впечатление, и я нимало не удивляюсь, что знакомство с нею довело моего приятеля (зри выше) до публичного покаяния.

Из представителей жанра на выставке упомяну о троих: о гг. Прянишникове, Перове и Крамском.

Две картины г. Прянишникова («Погорельцы» и в особенности «Мужики, возвращающиеся из города порожнячком») представляют своего рода перлы, которыми выставка может, по справедливости, гордиться. Каждая картина этого высокодаровитого художника представляет отрывок из действительности до такой степени трепещущий, что зритель невольно делается как бы непосредственным участником той жизни, которая воспроизведена перед ним. Несмотря на однообразно-унылую обстановку «Порожняков» (большая дорога зимой), трудно оторваться от этой картины. Всякому, конечно, случалось сотни раз проезжать мимо сцен, точь-в-точь похожих на ту, которая преображена в «Порожняках», и всякий, без сомнения, выносил известные впечатления из этого зрелища, но впечатления эти были так мимолетны и смутны, что сознание оставалось незатронутым. Г-н Прянишников дает возможность проверить эти впечатления. Вы видите перед собою ободранные санишки, шершавых, малорослых крестьянских лошадей, на которых громыхается и дребезжит рваная сбруя; видите семинариста в пальто, не имеющего ничего общего с теплой одеждой, который, скорчившись, в санишках, очевидно, томится одним вопросом: доедет он или замерзнет на дороге? — вы видите все это, и так как сцена застает вас не врасплох, то имеете полную возможность вникнуть в ту сокровенную сущность, которая дотоле убегала от вас. В этом умении обратить зрителя внутрь самого себя заключается вся сила таланта, и г. Прянишников обладает этою силой в большом количестве.

Г-н Перов — тоже высокодаровитый художник, но, мне кажется, ему несколько вредит известная доля преднамеренности,

высказывающаяся в его картинах. Особенно заметен этот недостаток в картине «Охотники на привале». Каждая фигура этой картины, взятая отдельно, есть верх совершенства, но взятые вместе, они производят впечатление не вполне доброкачественное. Как будто при показывании картины присутствует какой-то актер, которому роль предписывает говорить в сторону: вот это лгун, а это легковерный. Таким актером является ямщик, лежащий около охотников и как бы приглашающий зрителя не верить лгуну-охотнику и позабавиться над легковерием охотника-новичка. Художественная правда должна говорить сама за себя, а не с помощью комментариев и толкований, так что если б г. Перов устранил ямщика (несмотря на типичность этой фигуры), его «Охотники» не проиграли бы от того, а выиграли бы.

Г-н Крамской выставил одну большую картину: «Майская ночь», и два этюда: «Охотник на тяге» и «Голова мужика». Все эти картины прекрасны.

Затем имеется несколько очень хороших портретов и пейзажей. Из портретов укажу на портрет писателя Островского, работы Перова, и на портрет г. Шифа, работы Ге; из пейзажей — на прелестную картинку «Грачи прилетели» г. Саврасова. О прочих портретах и пейзажах, как не специалист, умалчиваю.

РЕЦЕНЗИИ

БРОДЯЩИЕ СИЛЫ. Две повести В. П. Авенариуса. I. Современная идиллия. II. Поветрие. СПб. 1867 *

Господин Авенариус писатель молодой, но положительно ничего не обещающий в будущем. Клубницизм новейшего времени взрастил два цветка на своей почве: гг. Стебницкого и Авенариуса; но если первый из них веселит глаза радужными колоритами и утешает обоняние пряными запахами, то последний, напротив того, поражает вялостью и линючестью колоритов; благоуханий же решительно никаких: ни приятных, ни неприятных, не испускает. Даже в тех литературных закоулках, где он привитает, г. Авенариус, по-видимому, не пользуется особенным авторитетом, и сам г. Стебницкий, который, по всей справедливости, считается его духовным родителем, отзывается об нем с снисходительностью более нежели ироническою.

В самом деле, писать так, как пишет г. Авенариус, доступно решительно всякому. Даже в знаках препинания нет надобности, потому что они только препятствуют текучести наблюдения. Чтобы написать повесть, роман, комедию, драму вроде «Поветрия», нужно только сесть у окошка и пристально глядеть на улицу. Прошел по улице франт в клетчатых штанах — записать; за ним прошла девица с стриженными волосами — записать; а если она при этом приподняла платье и показала ногу — записать дважды; потом проехал извозчик и крикнул на лошадь: «Эх ты, старая!» — записать. Посидевши таким образом у окна суток с двое, можно набрать такое множество наблюдений самых разнообразных, что затем остается только бежать в типографию и просить метранпажа привести их в порядок. Метранпаж исполнит это с удоволь-

ствием и даже. для клейкости, подбавит разных Моничек, Наденек, Ластовых, Куницыных и проч. Ни складу, ни связи, конечно, от этого не прибудет, но печатной бумаги выйдет тюк преизрядный.

Разверните книжку г. Авенариуса, возьмите на себя нестерпимый труд прочитать ее — и вы убедитесь в истине сказанного выше, как оно ни представляется маловероятным. Это какая-то неслыханная агломерация слов, тянущихся, как канитель, одно за другим, без всякой иной связи, кроме метраппажной, и если можно тут чему-нибудь удивляться, то именно искусству, с которым автор умел к этим бессодержательным словам приурочить своих Наденек и Моничек.

Вообще, новую нашу литературу упрекают в недостатке творчества, в неумении группировать и в дагерротипичности ее отношений к действительности — в этом упреке, несомненно, есть значительная доля правды; но про г. Авенариуса и того нельзя сказать: если у него и был дагерротипный снаряд, то снаряд этот был наверное испорченный, способный изображать не облик человеческий, но носы, рты, брови, ресницы и т. д. вразброс и без всякой связи.

Решительно нельзя понять, каким образом при таких небольших творческих силах может выйти печатная книга в 452 страницы. Правда, что новейшая французская литература представляет немало образчиков такого рода подвигов; но у французов, по крайней мере, вы встречаетесь с обилием происшествий, одно другого чуднее, одно другого невероятнее. Убийца оказывается спасителем, прелюбодей — евнухом, нищий — миллионером, беременная женщина — невинною, вот как, например, у г. Крестовского. На людей простосердечных это действует без промаха. У г. Авенариуса нет данных даже для этой чисто внешней занимательности. Происшествия, которые он рассказывает, или, лучше, размазывает в своем сочинении, суть происшествия самые несложные, даже почти глупые. Это просто обыденные физические отправления, которым подвержен всякий человек, независимо от его внутренних определений, и которые повторяются с однообразием, могущим составлять предмет наблюдения для физиолога, но никак не для романиста.

Г-н Погодин в своем «Путешествии за границей» представил некогда незабвенные образцы этого рода отношений к действительности. Он также ничего не призывал и не отыскивал, он также пел лишь то, что попадалось ему на глаза. Но он был добросовестен; он не мнил себя художником; он не придумывал ни Моничек, ни Наденек для придания своему рассказу клейкости; он просто снабжал себя по всем гости-

ницам прейскурантами, разъяснял их и разнообразил эти разъяснения воспоминаниями о разговорах с содержателями отелей. А так как отелей было много, прейскурантов много, разговоров о прейскурантах тоже много, то и вышла книга объемистая. Все это понятно и резонно. Но ухитриться, подобно г. Авенариусу, об одном и том же прейскуранте написать около 500 страниц — это такой tour de force[1], которого ни понять, ни объяснить невозможно.

Если мы захотим быть краткими, если мы пожелаем в одном фокусе увидеть тот творческий бюджет, которым располагает г. Авенариус, то бюджет этот несомненно весь выразится в следующей примерной повести.

СКАЗАНИЕ О КЛУБНИКЕ

I

18** г. в жаркий июньский день, в одной из гостиниц, расположенных на берегу бирюзовой Аар, NN (герой романа) встал особенно рано, потому что его побуждала к тому естественная надобность. Возвращаясь оттуда по коридору, он увидал приветливое личико Мари и ущипнул ее за щечку. После этого он надел на себя сюртук, как вдруг заметил, что на нем еще нет штанов. «Ах, какой я рассеянный!» — сказал он и, скинув сюртук, начал одеваться как следует. Потом пошел в общий зал, где уже сидели Наденька и Моничка, и спросил себе блюдо клубники. Поевши клубники, он вступил с Наденькой в разговор о различных физиологических отправлениях, причем хотя и не желал касаться актов, предшествующих деторождению, но Наденька его к тому вынудила, сказав, что она студентка и небезызвестна о сем. После того обедали и пили кофе, по исполнении же сего, целый вечер говорили о деторождении и легли спать каждый в своем особливом нумере, хотя каждый же при этом не мог не помыслить: «Ах! отчего не спим мы вместе!»

II

На другой день утром NN встал еще раньше вчерашнего и вновь ущипнул Мари. Потом пошел на террасу и увидел, что Наденька с Моничкой уже едят клубнику. «Я не могла целую ночь сомкнуть глаза, потому что вчерашний разговор о про-

[1] ловкий трюк.

цессе деторождения...» — сказала милая Наденька и вдруг задумалась.

— Эх, вы! с вами и разговора-то порядочного нельзя иметь — сейчас и раскисли! — отвечал NN и, плюнув, удалился. Весь этот день он был мрачен, ибо боль в желудке не давала ему покоя.

III

На третий день утром NN встал еще раньше и понял, что разговоры о процессе деторождения и на него подействовали губительно. Он вышел в сад и встретил там Наденьку.

— Я вас люблю,— сказала Наденька,— но должна вам сознаться, что у меня...— Тут она произнесла такой медицинский термин, что как ни был NN беззастенчив относительно женских немощей, но и его ожгло. Стремглав бросился он от нее, и вдруг... Через несколько минут отчаянные крики послышались по направлению к Аар. В это время NN пил кофе и бранил учтивого кельнера за то, что ему подали мало сливок. Услышав крик, он бросился к реке, но уже было поздно. Тело Наденьки бездыханное лежало на берегу, окруженное родными и знакомыми, причем сорочка спустилась с ее девственной груди. Тут понял дурак NN, как много любила его Наденька, тут только заметил он, какая прекрасная была у нее грудь.

Конец

Смеем уверить читателя, что роман этот, хотя и поражающий своей простотой, не только не хуже романа г. Авенариуса, но даже значительно лучше, потому что доктор Хан за наш роман, по расчету, много-много заплатил бы двадцать копеек, а за произведения г. Авенариуса, вероятно, уплачивает целые уймы денег.

Но ежели г. Авенариус слаб как художник, то, быть может, он велик как философ и общественный физиолог? Увы! как мыслитель он принадлежит к партии так называемых клубницистов, нередко, впрочем, именующих себя столпами и консерваторами. Но даже и в этой нетрудной сфере он умудрился явиться клубницистом не первой, но лишь второй руки. Половые отношения, которые у него всегда на первом плане, выражаются до такой степени голо и незамысловато, что рассказ об них возбуждает в читателе не игривость в мыслях, а отвращение. В самом деле, можно ли назвать каким-нибудь

именем, например, следующую сцену. Молодой негодяй лежит больной в постели, около него влюбленная в него девушка. Негодяй хвастается и рассказывает, как хорош и грандиозен Париж.

«— Там,— говорит он,— все в колоссальных размерах: лежит, например, груда не груда — целая гора брелоков для часов, микроскопических каких-нибудь биноклей, а посмотрите в такой бинокль, увидите прелюбопытную фотографию. Вот и у моих часов, как видите, привешена такая штучка.

— Можно взглянуть?

— Да вы, пожалуй, рассердитесь.

— Там что-нибудь нехорошее?

— Напротив, очень хорошее; а впрочем — как знаете.

Моничка отцепила часы от жилетки молодого денди и поднесла привешенную к цепочке крошечную зрительную трубку к глазу.

— Ах, какой вы! — пролепетала она, вспыхнув и быстро опуская часы с замечательным брелоком.

— Ха, ха, ха! — смеялся правовед,— что же в этом дурного? ведь и себя же вы видите иногда в подобном туалете. Никто не родится на свет в платьях.

Опустив личико, чтобы не рассмеяться, Моничка вложила часы обратно в жилетку их владельца и, закусив губы, принялась вновь с усердием прикладывать лед к руке его».

А вот и еще сцена. Молодые люди объяснились в любви и начинают сознаваться друг перед другом в своих недостатках.

«— Ну, да это еще ничего (сказала Лиза), вот у меня недостаток... Ты ведь знаешь, что я пью здесь сыворотки?

— Знаю.

— Но знаешь ли, против чего?

Не хуже медика начала она рассказывать ему о своей болезни.

Его передернуло: он, казалось, не ожидал от нее такой наивной беззастенчивости.

— Вот доктора и посоветовали мне поскорее выйти замуж...

Змеин не вытерпел и грубо оттолкнул от себя ее руку, упиравшуюся на него.

— Какие речи!.. Вот плоды вашей прославленной эмансипации! Догадался я, чего тебе недостает: женственности, женственности нет в тебе! Дурак я, болваниссимус!

Лиза также взволновалась.

— Позвольте узнать, Александр Александрович, за что

вы назвали себя дураком? Не за то ли, что приняли мою руку?

— За то, душа моя, за то!»

Неужели же это не геркулесовы столпы пошлости и аляповатейшего клубницизма?

В СУМЕРКАХ. Сатиры и песни Д. Д. Минаева. СПб. 1868 г.

Сатире, бесспорно, посчастливилось на Руси. Если мы припомним достославное изречение: «Земля наша велика и обильна, но порядка в ней нет», то окажется, что родоначальником русской сатиры был едва ли не Гостомысл. За ним следовал целый ряд более или менее блестящих сатириков, которых имена с признательностью сохранила русская история на скрижалях своих и которых сатира, не имея, конечно, привлекательных литературных форм, которыми обладает сатира г. Минаева, язвительностью своею не только не уступала последней, но даже превосходила ее.

То была сатира по преимуществу поучающая и вразумляющая. Изменяя свои внешние формы, смотря по тому, варяги, монголы или немцы участвовали в ее сочинении, она относительно внутреннего содержания оставалась всегда неизменною, всегда верною своим дидактическим целям. Исходя от идеалов весьма определенных, как, например, охранение княжеских и ханских интересов, своевременная и безнедоимочная уплата налогов и даней, она тем с бо́льшим успехом могла действовать на искоренение противных сим идеалам пороков, что к услугам ее всегда был готов целый арсенал вспомогательных средств также несомненно дидактического свойства. Это был золотой век русской сатиры; ибо в продолжение его сатира воздействовала не только на порочную волю русского человека, но и на порочное его тело.

Но с тех пор как, по соображениям высшей важности, попечение об интересах русской сатиры признано возможным предоставить литераторам, дело пошло несколько иначе. Новые деятели, не получив в свое распоряжение никаких вспомогательных средств, очутились в самом затруднительном положении. Попробовали поискать идеалов с намерением сделать из них нечто вроде крепости, из которой можно было бы с удобностью стрелять по проходящим, но и в том не успели, потому что как идеалы, так и прочие украшения остались по-прежнему в заведовании надлежащих комендантов... Остались, правда, кой-какие идеальчики, но очень маленькие, так сказать, бросовые — ими и удовольствовались.

Из этих бросовых идеальчиков каждый сатирик выбрал себе такой, какой приходился ему по комплекции. Который сатирик — евнух, тот, увидя на Невском камелию, непременно заскрежещет зубами; который сатирик предпочитает пенное — тот непременно обругает всех пьющих дорогое виноградное вино; который сатирик возлюбил халатную простоту — тот с негодованием отнесется к фраку, сшитому Шармером. Далее камелий, фраков и шестирублевого лафита дерзают очень немногие, да и такое ли теперь, впрочем, время, чтобы дерзать!

Время теперь стоит самое веселое; пороки истреблены, злоупотребления уничтожены, гнусные поползновения, какие были, посрамлены. Остались лишь пороки и злоупотребления второго сорта, а именно: камелии, шармеровские фраки и колониальные магазины купца Елисеева; правда, что истребить эти пятна, затемняющие солнце русской добродетели, очевидно, не под силу нашим сатирикам, но зато они тем удобны, что стрелять в них предоставляется даже без пороху. Таким образом, утратив свой величавый, равно для всех обязательно-дидактический характер, сатира приобрела значение камелийно-панталонно-колониальное и, за немногими исключениями, сосредоточилась преимущественно около Петербурга, да и в самом Петербурге распалась еще на адмиралтейскую, коломенскую, васильевскую, нарвскую и т. п.

Такое исключительное сосредоточение русской сатиры около Петербурга представляет большую ошибку. В самом деле, что̀ такое Петербург? С точки зрения общественной жизни — уличной и салонной,— это город водевильных нравов, водевильных подвигов, водевильных измышлений — и больше ничего. Изобразите русскому человеку самым подробным, самым наглядным образом эту водевильно-беспутную жизнь — он останется совершенно безучастен к ней. Одной половины этих подробностей, как слишком специальных, он не поймет, другая представится ему чем-то вроде сказочной пошлости. Конечно, Петербург для него небезызвестен и даже небезынтересен, но совсем не в том смысле, какие там процветают камелии и какого цвета носят панталоны, а исключительно как складочный магазин тех шишек, от которых, по пословице, тошно приходится бедному Макару. Все остальное, то есть все то, в чем следовало бы искать материала для характеристики общества, представляет такую мелкую и притом неяркую, несвоеобразную подробность, которая в общем строе русской жизни остается совершенно вне всякого влияния.

К сожалению, современная русская сатира, прилепившись к Петербургу, ищет в нем совсем не того, что̀ искать надлежит, а того, до чего никому нет никакого дела. Мишенью для

своих сарказмов и стрел она избрала не то мероизлиятельное значение Петербурга, которое понятно для каждого русского человека, а так называемые петербургские нравы. Но, как сказано выше, в Петербурге нравов нет и никогда не было, а есть и было отсутствие нравов. В самом деле, представьте себе хоть целое сонмище камелий, собранных вкупе и оскверняющих взоры проходящих своими оголтелыми прелестями,— что можно сказать по поводу такого сюжета, кроме того, что вот женщины, которые, не опасаясь простуды, обнажают себя для удовольствия своих ближних? Если вы вместо слова «женщины» поставите «бесстыдницы», то это уже будет высшая мера того сатирического негодования, которого этот предмет достоин. Представьте себе легион молодых шалопаев, граняющих мостовую в шикарных пиджаках,— что может сказать об них сатира самая злая, кроме того, что это легион шалопаев, гранящих мостовую в шикарных пиджаках? Представьте себе целый рой отупевших от обжорства старцев, проводящих лучшие часы жизни в колониальных магазинах Елисеева,— что̀ может Евменида самая разъяренная сказать об них, кроме того, что это старцы, отупевшие от обжорства, проводящие лучшие часы? и т. д.

Эти люди определяют сами себя с такою наглядностью, что не представляют даже предмета для наблюдения. Они мало кого могут интересовать уже по тому одному, что в сущности и оголение женских тел, и щеголяние пиджаками, и смакование колониальных товаров — все это занятия свободные, вмешиваться в которые никто не имеет права до тех пор, покуда не будет доказано, что от этого происходит ущерб для государственной казны и общественного благоустройства. Говоря о людях этого замкнутого, ничтожного мира, признавая их за людей, а не за простую слякоть, сатира не только искажает свое значение, но даже перестает быть чистоплотною. Возможны ли выводы в виду этих общественных курьезов? Возможен ли суд? Нет, ни для тех, ни для другого не имеется достаточных оснований, ибо курьезы тем именно и замечательны, что из них ровно ничего не следует и что относительно них принцип вменяемости становится совершенно излишним. И вот почему, когда сатира, желая придать важность подобным неважным предметам, становится на ходули и принимает ювеналовские тоны, то бичеванье ее кажется похожим на стрельбу из пушек по воробьям.

Одним словом, сатира, замыкающая себя в кругу общественных курьезов и странностей (которыми так изобилует петербургская общественная жизнь), едва ли может даже заслуживать название сатиры. Как ни натуживайся сатирик, какую

ни давай форму своему произведению, содержание его все-таки будет внешнее, водевильное.

Несколько иной оборот примет дело, ежели мы представим себе, что эти курьезы, по случайному насилию судьбы, становятся в ближайшее отношение к тем шишкам, о которых сказано выше. Тут уж действительно есть над чем призадуматься и найти возможность для целого ряда сопоставлений более или менее поразительных. В самом деле, с одной стороны, общественное мнение, забитое и приниженное, с одной стороны, несмелые порывания к чему-то лучшему, мучительные сомнения, прискорбная неуверенность в поступках и действиях и неудовлетворенная жажда света, истины и добра, с другой стороны, торжествующее сонмище грызунов-шалопаев, сонмище самодовольное, самоуверенное, пользующееся, недоступное ни для каких колебаний — трудно себе представить что-нибудь более горькое, более способное возмутить мысль самую незлобивую! Тут уже чувствуется *дело,* могущее возбудить не один водевильный и скоро проходящий смех, тут уже имеется исходная точка для выводов, разработывая которые сатира может достигнуть результатов довольно серьезных и понятных не для одного петербургского старожила.

Тем не менее, ежели мы всмотримся ближе, то увидим, что и этого рода сатира не только не исчерпывает всей жизни общества, но даже относится к ней односторонне и поверхностно. Как ни прискорбна мысль о торжестве сонмища шалопаев, мы должны, однако ж, сознаться, что влияние их на судьбу масс далеко не столь решительно, как это кажется на первый взгляд. Если мы думаем, что жизнь общества совершает свой круг в неразрывной и исключительной зависимости от этого влияния, если в ней ярче всего бросаются нам в глаза имена и события, ни о чем не говорящие, кроме насилия, и если повествование об этих насилиях мы принимаем за действительную историю общественного развития, то взгляд такого рода положительно ошибочен. Действительная история человеческих обществ есть повесть неписаная и по преимуществу безымянная, которой нет дела до случайных накипей, образующихся на поверхности общества. Она воспроизводит не ту кажущуюся, богатую лишь внешними признаками жизнь, которая мечется в глаза поверхностному и легкомысленному наблюдателю, но ту безвестную жизнь масс, где совершаются дела и события, почти всегда находящиеся в явном противоречии с показаниями истории писаной и щеголяющей именами.

Вот ежели мы спустимся в эти таинственные, неизвестные народные глубины и найдем там лишь убожество, нищету да бессилие,— ежели мы встретимся там лицом к лицу с жизнью,

со всех сторон опутанною всякого рода тенетами, с жизнью, находящеюся в постоянном и бесплодном борении с материальною нуждой, с жизнью, которая этою никогда не прерывающеюся борьбой как бы осуждена на вечный мрак и застой,— вот тогда-то перед нами откроется зрелище действительно потрясающее, которое всецело и навсегда прикует к себе лучшие силы нашего существа и в то же время даст нашей деятельности и богатое, неисчерпаемое содержание, и действительную исходную точку.

Таким образом, оказывается, что единственно плодотворная почва для сатиры есть почва народная, ибо ее только и можно назвать общественной в истинном и действительном значении этого слова. Чем далее проникает сатирик в глубины этой жизни, тем весче становится его слово, тем яснее рисуется его задача, тем неоспоримее выступает наружу значение его деятельности. Дело будет слышаться в его речи, то кровное человеческое дело, которое, затрогивая самые живые струны человеческого существа, нередко возвышает до героизма даже весьма обыкновенного человека.

Переходя от этих общих замечаний к сатире г. Минаева, мы должны сознаться, что эта последняя, в большинстве случаев, носит характер слишком большой исключительности, чтобы иметь действительное значение для русского общества. Произведения его музы, за весьма малыми исключениями (переводами или пьесами, навеянными иностранными образцами), имеют в виду некоторые особенности общественной жизни столичного города Петербурга, а так как особенности эти очень неважны, то из этого естественно вытекает, что и воспроизведение их может интересовать только небольшой круг прикосновенных.

Но ежели принять в соображение то общее правило, что всякий писатель дает только то, что̀ может дать, ежели отбросить в сторону оценку тех задач, которые избрал г. Минаев предметом своей литературной деятельности, то окажется, что это писатель остроумный, даровитый и притом обладающий прямыми и честными убеждениями. Это последнее качество сообщает его «сатирам и песням» известный колорит искренности и неподдельности изливаемого им негодования, например, по поводу аристократки барыни, которая публично проповедует строгую мораль, а в тиши уединения весьма недвусмысленно любезничает с лакеем-французом (см. поэму «Раут»).

Чтобы познакомить читателя несколько ближе с приемами и предметами сатиры г. Минаева, выпишем первую и, по нашему мнению, самую характерную пьесу его сборника.

МУЗА

Муза, прочь от меня!
Я с тобой разрываю все узы...
Право честного слова ценя,
В мир хочу я явиться без музы.
Прочь, развратница! Твой Геликон
Шарлатанам стал местом базара,
Лучезарный твой бог Аполлон
Нарядился в ливрею швейцара;
Опозоренный, дряхлый старик
Мелкой лестью сменил вдохновенье
И в прихожих, в грязи униженья,
От речей неподкупных отвык.
Муза, прочь!.. не нужна
Мне опора твоя ненавистная.
Ты порой, как весталка, скромна,
То нагла, как блудница корыстная.
Перед юным и честным певцом
Ты свой умысел гнусный скрывала,
Подходила с невинным лицом,
Как невеста пред брачным венцом,
Целомудренно взор опускала.
Ты водила поэта в поля,
В наши грустные, русские степи;
Ты рыдала, кляня
Крепостничества ржавые цепи.
Ты на вопли народные воплем своим отвечала,
И могучая песня стонала,
Как стонала родная земля.
Время шло .. На мотивы гражданские мода
Обратилась в плохое фиглярство;
Спали цепи с народа
На глазах изумленного барства;
На вчерашние темы напев,
Что ни шаг, представлял неудобства,
И свободная муза свой гнев
Променяла на лиру холопства.
А ты, поэт, спокойней путь избрав,
Не постыдился жалкого юродства:
За чечевичную похлебку, как Исав,
Ты продал на обедах первородство.
Нет, муза,— прочь!..

Пьеса эта производит какое-то странное, смешанное впечатление. Начало ее хорошо бесспорно; сатирик негодует на музу, и так как причин (и притом весьма законных) для такого негодования весьма много, то читатель охотно ему в этом сочувствует, тем более что гнев сатирика нашел для своего выражения и яркое, задушевное слово. Чем же, однако же,

разражается это негодование? против чего оказывается оно направленным? Против того, что

...поэт, спокойней путь избрав,
Не постыдился жалкого юродства:
За чечевичную похлебку, как Исав,
Ты продал на обедах первородство...

Уже не говоря о том, что вся эта строфа есть не что иное, как lapsus linguae[1], и что г. Минаев, вероятно, хотел сказать, что поэт продал, подобно Исаву, свое первородство, взамен чечевичной похлебки на обедах (так, по крайней мере, гласит смысл пьесы, но сатирик, очевидно, спутал Исава с похлебкою), можно ли представить себе заключения более неожиданного, более несоответственного общему тону пьесы и в особенности начала ее?

Подобная невыдержанность мысли — явление весьма нередкое в стихотворениях г. Минаева. В особенности поражает она в пьесах: «Раут», «Обманутая муза», «Золотой телец», «Загадка», «Одна из многих», «На сон грядущий», «Прерванные куплеты». В некоторых из этих стихотворений непонятен даже самый предмет сатиры, как, например, в «Золотом тельце». Известно, что страсть к золоту издревле служит темою для всевозможных сатирических выходок, но странно, что до сих пор ни один сатирик не сообразил, что золото совсем не само по себе составляет предмет человеческих стремлений, а только в качестве менового знака, с помощью которого приобретаются различные материальные и духовные удобства. Спрашивается, что же в этих последних заключается постыдного, что заслуживало бы сатирических стрел вроде следующих:

Пролетарий и жирный банкир —
Всех равно увлекает кумир.
Пред которым, с пеленок растленная,
Пресмыкается в прахе вселенная...

Или:

Наконец, на вершине избранники!
И — ужасны бездушные странники:
В них, достигших заветных чудес,
Человеческий образ исчез .

Почему банкир непременно «жирный»? Почему люди, стремящиеся к золоту, то есть опять-таки к материальным и духовным удобствам, представляются «с пеленок растленными»? Почему, наконец, у человека, который достиг этих

---

[1] обмолвка.

удобств, непременно должен исчезнуть «человеческий образ»? Не потому ли, что все это рутина, рутина и рутина?

Повторяем: г. Минаев сатирик местный и петербургский, и в этом смысле можем с удовольствием указать на две пьесы: «Вампир» и «Приап», как на особенно удачные.

Не можем также не указать на прекрасную пьесу «Добрый совет», которая свидетельствует, что муза г. Минаева может со временем выйти из тесной сферы исключительно петербургских интересов.

ГРАЖДАНСКИЙ БРАК. Комедия в 5 действиях Н. И. Чернявского. С предисловием автора о значении брака. Издание второе. СПб. 1868 *

С легкой руки г. Львова (автора комедии «Свет не без добрых людей») в русской литературе образовалась совершенно новая школа, которая поставила целью своих усилий утверждать утвержденное, защищать защищенное и ограждать огражденное. Школа эта считает ныне в своем составе довольно значительное число композиторов, хотя и слабых талантами, но сильных благонамеренностью дерзновения. Общий характер деятельности этих сочинителей, их внутреннее направление заключается в том, что отрицательное отношение к жизненным явлениям бесплодно, что это занятие фальшивое и невыгодное и что, наконец, в виду известных данных, громко вопиющих о прогрессе, несвоевременно и несправедливо указывать на какие-то пятна, без которых не может обойтись даже солнце. Сверх того, они проводят ту мысль, что в настоящее время не отрицать и обличать, а «любить» должно. И вот, они принялись «любить» и отыскивать в русской жизни так называемые положительные стороны.

(Оговоримся прежде всего, что выражение «отрицание» употребляется здесь совершенно неправильно. По крайней мере, мы не можем указать в нашей литературе ни на один пример отрицания, который бы не имел в основании своем положения самого ясного и твердого. Скорее всего, направление, о котором идет речь, следует назвать не отрицательным, а сознательным и основанным на анализе.)

Каким путем сошло к упомянутым писателям убеждение в бесплодности сознательного отношения к жизни — объяснить довольно трудно. Как ни ясны те громко вопиющие о прогрессе данные, о которых говорено выше, но нельзя же утверждать серьезно, чтобы мы до того пресытились благами прогресса, что только и остается оградить свои головы от всяких дальнейших выводов мысли и затем, по выражению старинной пословицы, начать жить да поживать. Думаем, что пи-

сатель самый мыслебоязненный согласится, что в обществе нашем далеко не все предрассудки истреблены, не все злоупотребления искоренены и что хотя золотой век и близко, но все же надобно обладать довольно длинною рукой, чтоб иметь право сказать: вот он, рукой подать! Следовательно, убеждение в абсолютной бесплодности анализа не могло выйти из наблюдения над жизнью, так как эта жизнь на каждом шагу доказывает, что дело сознательной мысли нимало не истощилось. С другой стороны, ежели считать поводом к утверждению подобного убеждения то обстоятельство, что анализирующая, нелегко принимающая на веру мысль нередко впадает в преувеличения, а всего чаще грешит несвсевременностью, то и такой повод едва ли может быть признан согласным с действительностью. Оглянитесь кругом, всмотритесь ближе в нашу литературу, и вы убедитесь, что участие в ней отрицающей мысли далеко не столь ощутительно, чтобы представлять что-нибудь угрожающее. Три, четыре писателя, которых произведения, однако ж, совсем не имеют свойств пороха или гремучего серебра,— это столь малая капля в океане благонамеренности, что может успокоить даже человека самого подозрительного. Да притом, если уже говорить о преувеличениях отрицающей мысли, то не мешает при этом принять в соображение, во-первых, что для признания известной мысли ложною нужно прежде всего доказать, что она несправедлива и распространяет в обществе невежество (вне этого обвинения, по нашему мнению, никакое иное не может быть признано за серьезное), и в-третьих <во-вторых>, наконец, что ежели мысль и признана будет ложною, то и в таком случае она представляет собой не что иное, как простое предложение, которое всякий волен принять или не принять. Что же касается до несвоевременности известных убеждений, то аргумент этот довольно сомнительный: ведь у нас, в иных сферах общества, даже естественные науки признаются несвоевременными и вредными.

Итак, все эти разглагольствования насчет пресыщения прогрессом, несвоевременности и преувеличения некоторых требований отрицающей мысли, все эти убаюкивающие размышления о том, что мир божий прекрасен и что людям остается только скромно себя вести, оказываются несостоятельными и совершенно несоответствующими действительности. Ежели нам выставляют их напоказ, то мы должны принимать эти заявления с крайнею осторожностью, ибо это, так сказать, парадные одежды, которыми прикрывается весьма непарадный хлам. Странно защищать то, что уже само по себе защищено как нельзя более; странно укреплять то, что уже собст-

венными средствами укрепилось на славу. Жаловаться, показывать рвение и выходить из себя в этом случае — значит только портить дело, значит наводить на публику сомнение в действительной крепости и огражденности тех самых интересов, на защиту которых мы ополчаемся.

В сущности, есть третья, совсем не парадная причина, которая заставляет нас приходить к заключению о бесплодности отрицания и о необходимости «любить». Причина эта, сколько мы можем догадываться, заключается в том весьма некрасивом положении, которое занимает в нашем обществе анализирующая мысль. В самом деле, писатель, который не умеет отличить прогресса достаточного от прогресса преувеличенного, который не понимает, что первым следует удовлетворяться, а второго избегать, едва ли может иметь много шансов на успех. То цивилизованное большинство, которое держит в своих руках сульбы писателя, любит отдохнуть от трудов по части прогресса и потому с нетерпением смотрит на тех, которые действуют в этом смысле слишком настойчиво и назойливо. Деятелю этого рода оно бесцеремонно говорит: погоди! разве ты не видишь? — и ежели он продолжает не видеть, то, нимало не медля, отметает его от общения с жизнью. Понятно, что такого рода перспектива представляет очень мало интересного: во-первых, она делает хлеб писателя чрезвычайно черствым; во-вторых, она ставит писателя в чрезвычайно фальшивое положение между наставлениями образованного большинства и требованиями жизни, которые могут возникать и помимо этих наставлений. Если же мы припомним, что, кроме требований жизни, имеются требования еще более настоятельные и обязательные для честного литературного деятеля — *требования собственной его мысли*, — то крайняя напряженность деятельности, поставленной между запросами, столь несовместимыми, сделается в глазах наших еще более рельефною.

Очутившись на этом вынужденном распутье, писатель, отстаивающий право мысли на дальнейшие выводы, не может не почувствовать сразу, что положение его во многих отношениях очень стеснительно. С одной стороны, давление наставлений образованного большинства настолько сильно, что не считаться с ним невозможно. Как ни пренебрегайте им, как ни старайтесь его обойти, оно непременно настигнет вас, и настигнет именно потому, что свойства его чисто механические. Можно сделать доступными всякие дебри, можно, при помощи известной суммы усилий, расчистить глухие трущобы, можно пески сделать плодоносными, но против глухой стены мысль человеческая остается бессильною, если не навсегда, то, по

крайней мере, на долгое время. По-видимому, при таких невыгодных условиях, остается одно из двух: или пригнуться, или же осудить себя на вынужденное бездействие; но оба эти выхода представляют очень много неудобств, с которыми почти невозможно примириться. Искусственное самодовольство и напускные умиления так мало естественны, что мысль даже достаточно развращенная не может долго выдержать ту нравственную смуту, которая сопряжена с подобного рода ремеслом. Она выскажется невольно, выскажется помимо намерений ее обладателя, и тем ярче явятся ее очертания, чем темнее и тяжеле был предшествовавший плен. Примеры такого рода возвратов встречаются до такой степени часто, что писатели даже самые отчаянные — и те не решаются действовать наголо, но всегда стараются дрянные поползновения перепутать благоприличными внешними формами и украсить некоторыми не паскудными изречениями. Что же касается до насильственного бездействия мысли, то на него, очевидно, можно смотреть не иначе как на болезнь, от которой всякий живой организм стремится освободиться во что бы то ни стало. И вот каким образом, при давлении цивилизованного большинства и при невозможности вполне свободно примириться с этим давлением, открывается третий и единственно возможный для мыслящего человека исход — это удовлетворять потребности мышления на собственный свой риск.

Невыгоду этого риска очень хорошо поняли писатели, избравшие себе профессию «любить» во что бы то ни стало (как будто бы нельзя любить и в то же время сохранять за собой свободу мысли и отношений). Мы, конечно, не имеем основания и не хотим объяснять этот факт какими-либо своекорыстными побуждениями упомянутых писателей, но очевидно, что в основе его все-таки лежит недальнозоркость довольно замечательная. Недальнозоркость эта заставляет человека привязываться к интересам ближайшим и осязаемым и в пользу их жертвовать интересами более отдаленными. Жить не волнуясь, сдерживать свою мысль в границах требований дня, презрительно относиться ко всем предвидениям будущего — вот девиз тех деятелей, которые собрались осчастливить русское общество своею «любовью». Нельзя спорить, что с точки зрения гигиенической это девиз небесполезный, но невозможно отрицать и то, что ежели целое общество начнет руководиться подобными принципами, то едва ли оно далеко пойдет на пути преуспеяния. Способность отворачиваться от вопросов есть способность мертвая и очень мало свидетельствующая в пользу того, кто обладает ею, и человек, который наделен этим добром в излишестве, который смотрит на общество как на

что-то замкнутое, порешившее со всеми сомнениями, несомненно опаснее даже того, кто усиленно побуждает общество к развитию деятельности. Нет злее тревоги, как тревога апатии, несмотря на то что выражения «тревога» и «апатия» на первый взгляд кажутся несовместными. Если вы видите перед собой человека ленивого и вялого, не думайте, что эта вялость равносильна отсутствию тревог. В этом-то именно субъекте и свила тревога настоящее гнездо свое. Он тревожится постоянно; тревожится и за то, чего он не сделал, и за то, что́ ему еще предстоит сделать. Но ежели отдельная личность увядает и погибает жертвою подобной тревоги, то это еще не большая потеря с точки зрения общей экономии жизни; дело принимает оборот несравненно более серьезный, когда целое общество поражается вялостью мысли, когда в целом обществе закрадывается опасение о том, чего оно не сделало, и о том, что̀ ему предстоит сделать... Спрашивается: чего больше заслуживают в этом случае благонамеренные убаюкиватели общества — похвалы или порицания?

Искатели положительных сторон русской жизни появились в нашей литературе после очень значительного перерыва, и притом в весьма недавнее время. Прежде этим искательством занимался едва ли не один Ф. В. Булгарин, в писаниях которого как-то странно лепились рядом и добродетели россиян, и свежепривезенные к Елисееву устрицы. Умер Булгарин — и с ним вместе на время умолкла апология устриц и добродетели. Необулгаринской школе (за исключением, впрочем, г. Львова, который расцвел и увял гораздо ранее) суждено было возникнуть в 1862 году при зареве пожаров, опустошавших Петербург. Тогда расцвели самые пышные цветы этого нигилизма положительного, нигилизма несомневающегося, нигилизма удовлетворенного, в противоположность нигилизму отрицающему, сомневающемуся и ищущему. Тогда расцвели те пламенные любовники России, которые так много накричали про свой пламень, что многие даже опасаются, как бы усиленное цветение этого нового рода орхидей не повело за собой столь же усиленного и быстрого увядания. Ведь увял же точь-в-точь таким образом после сильного, но непродолжительного цветения сам родоначальник школы, г. Львов. Оговариваемся, однако ж, что если мы приравниваем искателей положительных сторон жизни Булгарину, то отнюдь не в том смысле, в каком нередко упрекали этого сочинителя его современники, а единственно с точки зрения ограниченности кругозора.

Посмотрим, в чем же заключаются те положительные стороны жизни, которые раскрывает перед нами школа г. Львова.

С наибольшею ясностью, хотя с меньшим талантом, нежели его последователи, эти стороны изобразил сам родоначальник школы. В комедии «Свет не без добрых людей» и еще другой, названия которой не припомним, он первый дал понять, что и в становом приставе может быть нечто положительное, если он не берет взяток, первый указал, что и в управе благочиния может заключаться высокий смысл, если чиновники ее занимаются своим делом неленостно и нелицеприятно. Из последователей его г. Манн довел до ясности тип приветливого и исполнительного начальника отделения, г. Устрялов показал в перспективе скромный труд и скромную науку, г. Клюшников, в лице Русанова, изобразил умеренность и аккуратность, наконец, г. Стебницкий и за ним Авенариус пропагандировали клубнику, как единственную положительную сторону русской жизни и русских нравов. Вот те блестящие картины, которые до сих пор могли представить нам наши нигилисты положительные и несомневающиеся.

Само собой, однако ж, разумеется, что с таким запасом далеко уйти невозможно. Как ни привлекателен образ станового, не берущего взяток, но все же едва ли найдется тот легковерный, который согласится, что спасение России зависит от бескорыстия становых. Да и пьеса, в которой звучит только одна струна, покажется публике утомительною, что, например, и случилось с гг. Львовым и Устряловым. Необходимы делаются противоположения, дозволяющие завязать интригу и повести веселый разговор.

Героями этих противоположений обыкновенно выбираются люди ищущие и сомневающиеся, которые и изображаются, как контраст добродетельным становым приставам, в самом смешном и развратном виде. Казалось бы, что̀ можно видеть смешного в том, что человек ищет, рассуждает, сомневается, а не сосет лапы и не бежит с зажмуренными глазами навстречу всякой нелепости? Но это-то именно и кажется смешным и даже предосудительным нашим несомневающимся нигилистам. Как древле было принято изображать человека, побывавшего за границей, в виде обезьяны, облаченной в голубой фрак, снабженной козлиною бородкой, бормочущей на французском диалекте бессмысленные слова и питающейся лягушками, так ныне, и даже еще с большею рельефностью, рекомендуется публике человек рассуждающий, сомневающийся и ищущий. Краски кладутся самые дешевые, следовательно, беречь их нечего; нужно ли. например, изобразить человека, не имеющего надлежащего уважения к авторитетам,— для сего избирается гимназист, покрытый золотушными сыпями; нужно ли отрекомендовать человека, которого интересует жен-

ский вопрос,— призывается на сцену медик-студент, пораженный приапизмом. Выходит до того смешно и радостно, что исполнительные начальники отделения даже надрывают животы от смеха. В их умах окончательно утверждается убеждение, что сомневаться может только золотушный гимназист, а интересоваться женским вопросом только герой Фонарного переулка и Мещанских улиц.

Такое отношение к пытливости человеческого разума (хотя бы стоящей и на неправой стезе) до того необыкновенно, что было бы даже трудно поверить подобному явлению, если бы мы не встречались с ним на каждом шагу. Во всех образованных странах мира мы можем встретить людей, разномыслящих весьма существенно; мы видим одних, которые ставят разрешение общечеловеческих задач в зависимость от успехов наук политических, других,— которые те же самые задачи подчиняют успеху наук естественных, и т. д. Но чтобы где бы то ни было избирали предметом потехи занятие анатомией или физиологией, чтобы находили в этом повод к обвинению в разврате, чтобы предумышленно навязывали такого рода занятия исключительно людям развратным, глупым и самонадеянным — это просто факт небывалый и неслыханный. Отчего же нас так смешит это вовсе не забавное стремление к приобретению знаний? Отчего нам кажется, что люди, горящие этим стремлением, суть люди злокозненные и притом растленные и легкомысленные?

Не оттого ли, что мы сами до мозга костей растлены невежеством? Не оттого ли, что мы охотно переносим наши собственные разлюбезные качества на тех людей, которых стремлений мы не можем понять и которых потому ненавидим?

Комедия г. Чернявского, которой заглавие выписано выше, есть именно одно из произведений того положительного нигилизма, о котором говорено выше. Отличается оно от прочих композиций этой категории лишь особенно малою степенью талантливости ее автора и крайнею запутанностью предположенных им к разрешению задач. В предисловии, написанном с рассудительностью благонравного гимназиста, автор говорит, что за свою комедию он удостоился чести быть обруганным нашими сатириками, но что за всем тем пьеса его обошла почти всю Россию, и ее пересмотрела такая масса народа, какая уже, вероятно, не подписывается ни на один русский журнал! Не знаем, велика ли честь «быть обруганным русскими сатириками» (предполагаем, однако, что тут действительно особенной чести нет), но думаем, что самомнение автора очень велико, ежели он выводит какие-нибудь заключения из того, что пьесу его пересмотрела почти вся Россия.

Не только «почти», но положительно *вся* Россия пересмотрела «Стряпчего под столом» и «Проказы барышень на Черной речке», но едва ли кому-нибудь приходило в голову смотреть на эти пьесы серьезно, да еще вдобавок издавать их с предисловиями.

Комедия написана с целью подать руку помощи церковному браку — цель бесспорно похвальная, но не слишком ли широкую задачу поставил себе автор, да и нуждается ли еще церковный брак в защите его? Что задача, избранная автором, совершенно ему не по силам, это явствует из того, что г. Чернявский, в изобретенной им фабуле, не указал ни на одно из действительно существенных последствий, которые влечет за собой уклонение от соблюдения известных, признанных законом и обществом форм и условий жизни, а просто-напросто сочинил анекдот, в котором безмозглый юноша пленяется красивою и доверчивою юницею и затем, пресыщенный физическими увеселениями, начинает мало-помалу одуревать и в конце концов бросает юницу на распутье, где подбирает ее некоторый благонамеренный и сведущий в законах молодой человек. Неужели подобного анекдота, и притом скомпонованного весьма неискусно, достаточно, чтобы доказать в живых образах необходимость церковного брака? И не проще ли поступил бы автор, если б вместо того разослал многочисленным своим почитателям краткое извлечение из свода гражданских законов, где последствия уклонения от церковного брака, а равно права и обязанности супругов определяются с полною ясностью, не допускающею даже толкований?

Да, мы можем сказать смело: церковный брак столь достаточно защищен нашими законами, что положительно не нуждается в чьей-либо защите. А защита, сочиненная г. Чернявским, уже потому неудобна, что главные ее аргументы сосредоточены на половых побуждениях, между тем как закон в своих воззрениях на это установление постоянно держится на исключительно нравственной высоте. Полезно ли теправа и обязанности, которые вытекают из понятий чисто нравственных, подкреплять примерами и анекдотами из истории петербургского клубничизма — вопрос этот, полагаем, ни для кого не может подлежать сомнению.

Что автору не нравится самая идея гражданского брака, это мы допускаем охотно, но опровергать ее все-таки следует иным оружием, а не отрывками из клубничной летописи, которые ничего не доказывают. Этим отрывкам можно противопоставить, что как ни мало симпатична идея гражданского брака, но есть на свете целые государства, и притом населенные отнюдь не нигилистами, где идея эта признана законом и

сделалась, так сказать, идеею официальною. Можно опровергать нужность или ненужность, своевременность или несвоевременность подобного установления для той или другой страны — это вопрос особый; но для глумлений тут нет повода, ибо здесь вопрос идет о формах общественного быта, которые каждый народ волен выбирать по усмотрению. Что же тут смешного? и почему именно выразителями идеи гражданского брака необходимо выбирать людей безмозглых и страдающих болезненным раздражением половых органов?

В заключение считаем нелишним представить здесь образцы приятного слога и деликатных отношений автора к своему предмету. Так, например, один из героев комедии, доказывая вред гражданского брака, говорит: «К величайшему стыду нашему (и зачем тут стыд?), нам все еще женщины нужнее ночью, чем днем»; в другом месте, другой герой, защищая гражданский брак, говорит, что ему «плевать на всех», а оппонент его, опровергающий ту же идею, отвечает: «Смотри, слюней не хватит!» Вот до каких рельефностей достигла эта слюнявая литература, которая поставила себе целью защищать защищенное и ограждать огражденное!

И еще одно слово: наши положительные нигилисты до того оперились в последнее время, что у них вошло, так сказать, в привычку бросать грязью во все, что высоко поставлено в мнении мыслящей части общества. Одною из мишеней этих комков грязи сделалась известная французская писательница Жорж Занд. Положительному нигилисту нет надобности ни до высоких талантов этой писательницы, ни до тех наслаждений, которые она доставляла своими произведениями целым поколениям; ему достаточно встретить нахальную русскую барыню, которая «с мужем не живет, трещит против брака, курит сигары (о преступление!), винцо потягивает не хуже любого кавалерийского ротмистра, верхом ездит, как мужчина (еще преступление!), носит стриженые волосы (какова наглость!) и в заключение бенефиса мужские штаны (наглость сугубая!)», чтобы заклеймить эту барыню именем Жорж Занд...

Похвально.

НОВЫЕ СОЧИНЕНИЯ Г. П. ДАНИЛЕВСКОГО (А. Скавронского, автора «Беглых в Новороссии»). Издание исправленное и дополненное А. Ф Базунова. 2 тома. СПб. 1868

Заглавие этой книги представляет факт самонадеянности, довольно редкой в нашей литературе и, к сожалению, начинающей входить с некоторых пор в обычай. Было время, что

самые талантливые наши писатели всегда очень скромно заявляли о себе публике; они не заискивали ее внимания напоминанием о прежних литературных подвигах, но ждали, что публика сама вспомнит об них. И. С. Тургенев, бесспорно, известнейший из ныне действующих повествователей, никогда не именовал себя ни автором «Записок охотника», ни автором «Дворянского гнезда», и за всем тем, публика знала и знает, что это тот самый Тургенев, который написал и «Записки охотника», и «Дворянское гнездо». Ныне являются авторы «Нѐкуда», авторы «Марева», авторы «Беглых в Малороссии» и напоминаниями своими с первого же шага ставят публику в тупик. Чтò такое «Беглые в Малороссии»? спрашивает себя публика, и следует ли читать «Новые сочинения Г. П. Данилевского» потому только, что он, Скавронский, автор «Беглых в Малороссии»? Согласитесь, что для разрешения этих недоумений следовало бы, по малой мере, прилагать ко вновь издаваемым сочинениям неизвестных знаменитостей библиографические изыскания, которые бы свидетельствовали, что имя Скавронского не выдумка и что «Беглые в Малороссии» действительно были когда-то где-то напечатаны.

К несчастию, в этом случае мы можем помочь нашим читателям очень мало. Нет сомнения, что со временем трудолюбивый наш библиограф, М. Н. Лонгинов, разъяснит вопрос о г. А. Скавронском во всей подробности и даже, быть может, отыщет могилу его; но мы об этом псевдониме знаем так немного, что должны относиться к г. Г. П. Данилевскому, как к писателю начинающему.

С сожалением должны мы сознаться, что этот молодой деятель вносит в нашу скромную литературу элемент совершенно новый — элемент легкомыслия, девизом которому служит известная присказка: «По щучьему веленью, по моему хотенью, стань передо мной, как лист перед травой». Приметив, что большинство наших романистов и повествователей в произведениях своих обращают преимущественное внимание на психологическую разработку характеров и на разрешение тех или других жизненных задач, интересующих общество, фабулу же собственно ставят на отдаленный план, г. Данилевский решился поступить совершенно наоборот, то есть начал писать романы и повести совсем без всякой мысли, с одною фабулой. Коли хотите, в этом могла бы быть своя недурная сторона: на Руси еще так много праздношатающихся, что занять их досуги даже фабулой было бы далеко не бесполезно; но для того чтобы такая цель была достигнута, необходимы, во-первых, сильное воображение, во-вторых, острая память, которая предостерегала бы автора от противоречий, в-треть-

их, умение распорядиться с материалом таким образом, чтобы фабула казалась сколько-нибудь правдоподобною. Впрочем, это последнее условие нужно только тогда, когда сам автор желает, чтобы на повествование его смотрели как на правдоподобное; если же он заранее говорит: читатель! во всем, что ты имеешь прочитать, нет ни на грош правды! — то читатель и с этим мирится и затем уже ожидает, что, взамен правды, его, по малой мере, попотчуют пребыванием во чреве крокодила и чудесным оттуда освобождением.

Никаких подобных данных в таланте г. Данилевского не усматривается. Хотя и видно, что он всею душою желает сделаться родоначальником школы легкомыслия, но это ему удается лишь в малой степени. Это слабая попытка, быть может, имеющая принести в будущем сочные плоды — но и только; это, так сказать, первоначальная манера легкомыслия, которая, подобно манере старинных итальянских мастеров, может со временем произвести своих Рафаэлей, но покуда производит только живописцев суздальской школы. Да и дай бог нам дожить до этих Рафаэлей как можно позднее...

Воображение г. Данилевского не отличается ни силой полета, ни разнообразием и колоритностью картин. Нельзя сказать, чтоб фабула его романа «Новые места» была недостаточно сложна; но вместе с тем она страдает такою вялостью в рисовке картин, такою неясностью в изложении фактов, что критика самая добросовестная должна отказаться от попытки передать ее содержание. Как человек трудолюбивый, автор очень старательно нанизывает одно происшествие за другим, но из множества отдельных эпизодов, которыми обилует его рассказ, нет ни одного настолько занимательного, чтобы можно было вспомнить о нем даже немедленно по прочтении романа. Бог знает, чего тут нет: и степи, и суслики, и аисты, и исправники, и колонисты, и разбойники, и делатели фальшивых ассигнаций; но ни одному из этих элементов действия не отведено определенного места, все они до того сбиты и спутаны, что читатель не может даже дать себе отчета, суслики ли поймали фальшивых монетчиков или наоборот, или же и тех и других накрыл деятельный исправник Капканчиков. Нет ничего томительнее, как присутствовать при процессе того тяжелого творчества, когда автор останавливается на каждом шагу в раздумье, чем-то придется наполнить следующую страницу и не лучше ли совсем бросить это дело, тем более что тут нужна только решимость раньше против предположенного написать слово «конец». Именно такую картину раздумий и сомнений представляют «Новые места»; в романе этом великое множество лиц; но все они не оправдывают не только ожи-

даний читателя, но даже собственного своего появления. Лица эти толкаются, делают вид, что о чем-то разговаривают и чем-то занимаются, но, в сущности, ни о чем не говорят и ничем не занимаются. Приходит на мысль, что автор взял завалявшиеся Куртнеровы диалоги и выписал из них избраннейшие места.

Острою памятью г. Данилевский тоже похвалиться не может; так, например, на стр. 12, говоря о земле, которую герой романа снимает в арендное содержание, автор называет ее целиной и вековиной, а на стр. 16-й оказывается, что земля уже была до этого в двенадцатилетнем содержании и кого-то «кормила да рублевики растила». Понятно, что писатель, который до такой степени неосторожен, что забывает, что̀ он говорил за три-четыре страницы назад, не может внушить к себе ни малейшего доверия. Он может сколько ему угодно утверждать, что герой его брюнет, а читатель будет думать, что он блондин. Он будет твердить, что на Вареньке Чемодаровой женился колонист Чулков, а читатель останется при убеждении, что рукою этой милой женщины завладел злодей Музыкантов.

Отсюда третье, несовместимое с значением основателя школы свойство — неправдоподобие. Г-н Данилевский до такой степени дурно распоряжается своим материалом, что позволяет своему герою в первый же год аренды получить с десятины пшеницы по 20, а с десятины льна по 30 рублей — «в очистку»! И заметьте, что арендная плата за подобную десятину всего полтинник, что в торгах на отдачу земли, кроме Чулкова (человека, занесенного в тот край совершенно случайно), участвовали некоторые местные жители, что Чулков взял в аренду землю только весною, а осенью уже отсчитал себе в карман по 20—30 целковых с десятины в очистку! И все это без всякого труда, по одному щучьему веленью и авторскому хотению! Есть ли тут тень какого-нибудь вероятия и возможно ли без улыбки читать детские похождения этого нового Робинзона, этого белокурого брюнета, который владеет вековиною, двенадцать лет сряду паханною, и получает с нее без труда в самое короткое время более четырех тысяч процентов на рубль?

Столь же мало правдоподобен рассказ и о производстве торгов на эту знаменитую вековину. Во-первых, торги производятся в каком-то городке и в каком-то неизвестном «присутствии», тогда как казенные оброчные статьи, к которым принадлежит и упомянутая вековина, сдаются с торгов в «присутствии» весьма определенном, называемом палатою государственных имуществ. Во-вторых, на торгах этих происходят такие вещи, которые в самом беззаконном «присутствии» ни-

когда не допускались и не допускаются по той простой причине, что в них не предстоит никакой надобности. Торгующиеся шепчутся друг с другом, делают друг другу предложения... и все это перед зерцалом и в глазах чиновников, производящих торг! Согласитесь, что как ни развязны наши чиновники и как ни отзываются наши торги одною формальностью, но подобной нелепой и ненужной бесцеремонности положительно встретить нигде нельзя.

Ясно, что такое отсутствие качеств, столь необходимых для литератора, пишущего без мысли, не может служить рекомендацией для произведений его. Их не заменит ни трудолюбие, ни развязность, хотя эта последняя, в соединении с другими упомянутыми выше свойствами, довольно драгоценна. Читатели не увлекутся автором, не поверят его сказаниям о легкой прибыли в четыре тысячи процентов на рубль и не потянутся вереницей с насиженных мест, с коих получается на рубль 4—6 процентов, на «новые места». Да и благо им будет; увлекись они г. Данилевским — бог знает, как бы еще взглянула на это дело полиция.

Во всяком случае, мы отменно рады, что попытка основать новую литературную школу легкомыслия на первый раз не обещает больших успехов.

ЗАСОРЕННЫЕ ДОРОГИ И С КВАРТИРЫ НА КВАРТИРУ. Роман и рассказ соч. А. Михайлова С.-Петербург. Издание В. Е. Генкеля. 1868 г.

Г-н Михайлов начал свое литературное поприще в 1864 году романом «Гнилые болота». Гнилые болота — термин иносказательный: это жизнь в тех ее формах, которые завещаны нам историей, это сплетение всякого рода обрядностей, хотя и утративших живой смысл, но имеющих за собою внешнюю, грубую силу и потому безапелляционно подавляющих в человеке всякое движение в смысле самодеятельности и независимости. Нельзя, однако, не сознаться, что сравнение это было проведено автором довольно голословно и что ни содержание романа, ни положение действующих в нем лиц нимало не указывали на то, в чем, собственно, заключается сущность жизненных «гнилых болот» и в чем выражается тлетворное их влияние на судьбу людей. Участники драмы, по-видимому, живут очень спокойно, в весьма приличных квартирах, не терпят никаких ущербов, не искалечиваются, не обезображиваются, и все их отличие от других людей, живущих также в приличных квартирах, заключается в том, что они совершенно добродушно трактуют о том, что жизнь есть «гнилое болото», которое может и искалечить, и обезобразить, и нанести ущерб.

Это обилие диалогов и крайняя бедность действительного, живого содержания сообщили роману г. Михайлова характер чего-то напускного, сочиненного с чужих слов. Самое название романа казалось несколько претенциозным и далеко не отвечающим действительному выполнению избранной автором задачи. Но так как, за всем тем, это было первое произведение молодого автора и в основании его лежала мысль несомненно честная, то оно было встречено публикой не только снисходительно, но даже с симпатией. Казалось, что тут есть начатки чего-то хорошего и серьезного, что если автор и страдает неясностью, то это происходит оттого, что, как все начинающие, он не может еще совладать с своим материалом, что он спешит поделиться с публикой *всеми* результатами своих размышлений и наблюдений, так как *все* они имеют в глазах его одинаковую важность и интерес.

С тех пор г. Михайлов написал довольно много, но все вновь написанное оказывается повторением «Гнилых болот», и, к сожалению, повторением довольно слабым. Сфера наблюдения нимало не расширилась, а тот горячий лиризм, который примирял читателя «Гнилых болот» с недостаточностью действительного содержания, утратил свою первоначальную свежесть и приобрел какие-то фальшивые тоны. Напускное, измышленное негодование по-прежнему стоит на первом плане, даже темы для этого негодования намечены те же, но страстности мысли, которая по временам проглядывала в «Гнилых болотах», не осталось почти и следа. Это, впрочем, всегда случается с авторами, которые в разнообразии жизни умеют подмечать только одни, так сказать, избранные стороны. Авторы эти очень скоро исчерпывают небольшой запас своих наблюдений и, в конечном результате, если желают продолжать работать, то бывают вынуждены подражать самим себе (разительнейший пример в этом смысле представляет г. Н. В. Успенский, который уже несколько лет сряду подвизается на печальном поприще подделки под самого себя).

Нет ничего тяжелее, как видеть людей, страдающих несознанными страданиями и обладающих способностью во всякое время заниматься разговорным негодованием. Мало того что эти люди не могут определить свойство боли, на которую беспрерывно жалуются, они едва ли даже в состоянии указать на факт, производящий в них досаду или волнение. Это своего рода махание картонным мечом, это маневры чувствительности и благородства, в которых нет ни одного движения, не свидетельствующего о натяжке и выдумке. Слышится томное, наводящее тоску голошение, но даже самое привычное ухо едва ли сумеет различить в нем хоть одно внятное слово.

Мир — гнилое болото; жизнь — засоренная дорога! — вопиют эти люди на все лады, и притом так самоуверенно, как будто и действительно это унылое голошение нечто определяет, как будто и впрямь они понимают и достоверно указать могут, где находятся эти гнилые болота и в чем заключается суть засоренных дорог.

Нет никакого сомнения, что в том строе жизни, который представляется нашим глазам, насорено очень достаточно; но для того чтобы иметь право негодовать на этот сор, необходимо, по малой мере, уметь назвать его по имени. Человек на каждом шагу чувствует себя связанным и опутанным по рукам и по ногам — это так; но он опутан совсем не тем, что миру присвоено остроумное название гнилого болота, а тем, что в этом гнилом болоте настроено великое множество всяких капищ, с которыми нельзя разминуться и которые действительно наносят человеческой свободе немалый ущерб. Эти капища так явны и до такой степени у всех на виду, что даже не требуется особенно изнурительных умственных затрат, чтобы заприметить их. Тут необходимо только отнестись к делу просто и не зажмуривать преднамеренно глаза.

Но эта простота не по нутру очень многим. Охотники до легкого труда справедливо рассуждают, что несравненно покойнее покончить с известным рядом явлений, отделавшись от него каким-нибудь общим местом, нежели анализировать и исследовать его. Как ни грубы явления, опутывающие человека в данный исторический момент, но для того, чтобы каждому из них указать свое место, все-таки необходимо употребить известную сумму труда. Но, кроме нежелания труда, тут не обходится и без хитрости. Известно, что человек, который ведет счет с жизнью и не запирается от нее, более подвергается всякого рода рискам, нежели какой-нибудь высокодобродетельный дармоед, который придумает меткое словцо да и скроется в свою раковину. Анализировать капища вещь не столько трудная, сколько опасная. С одной стороны, в них накоплено множество нечистот, которые прилипают; с другой стороны, и сзади, и с боков всегда лежит такой запас всякого хлама, что исследователь нередко останавливается в недоумении, отвергнуть ли капище безусловно или только уяснить себе его значение в ряду других капищ. А так как, сверх того, прикосновение к живому материалу и само по себе уже имеет свойство смягчать слишком суровые взгляды на жизнь,— то нужно действовать очень осторожно и иметь очень твердую опору в самом себе, чтобы не запутаться и не попасть, незаметным образом, в общую засоренную колею. Ни одной из этих случайностей высокодобродетельный дармоед не подвер-

гается, да и подвергаться не хочет. Как истинный дворянин-белоручка, он упорно отвращается от черной работы и ревниво блюдет, чтобы на одежде его не показалось какое-нибудь пятнышко и чтобы право на беспрепятственное производство нетрудного негодовательного ремесла было обеспечено за ним на неопределенное время.

Таких заносчиво-гадливых дармоедов шатается по белу свету великое множество. В оправдание своей гадливости они говорят обыкновенно, что слишком близкое общение с жизнью может подвинуть на сделки с нею, сделки же, в свою очередь, могут подорвать чистоту мысли, чистоту убеждения. В этом объяснении, как мы уже видели, конечно, есть известная доля правды, но рядом с этою правдою невольно рождается много вопросов, которые в значительной степени видоизменяют ее. Во-первых, если и действительно нами сознается, что жизненные дороги засорены, то ужели этого сомнения <сознания?> достаточно, чтобы удовлетвориться им и затем уже смотреть на сор, как на что-то фаталистически присущее жизни и осужденное загромождать ее бессрочно? Во-вторых, ежели мы в общении с жизнью видим нечто несовместное с чистотою наших убеждений, то какими же глазами мы взглянем на эту честную, бодрую, трудящуюся толпу, для которой подобное общение есть неизбежное условие всей жизни и которая только при его посредстве может обеспечить себе скудный кусок хлеба? Ужели мы назовем этих тружеников людьми бесчестными или слабохарактерными? Ужели мы скажем им: сгибайся, бедствуй и умирай, но счетов с жизнью иметь не моги! В-третьих, наконец, ежели мысль наша и подлинно пришла к убеждению в негодности известных форм жизни, то для того ли только она убедилась, чтобы приобрести право на бессильные жалобы?

Такого-то рода суесловных героев, томящихся скукою праздности и вечно сбирающихся что-то накуролесить, но только не знающих, на что̀ именно им обрушиться, изображает г. Михайлов в своих произведениях. Нет никакого сомнения, что тип этот не лишен ни оригинальности, ни современной жизненной правды, но, к сожалению, г. Михайлов относится к нему без малейшего признака объективности. По-видимому, он даже искренно сочувствует своим героям и признает их в этом качестве без всяких оговорок; и хотя каждого из этих крошечных злопыхателей приличнее представить себе в образе халатника, раскладывающего гранпасьянс, но автор очень серьезно заставляет их выходить с железом в руке и с бессилием в сердце и повторять вместе с поэтом:

Я в мире боец! Я за правду *ору!*

Понятно, что эффект выходит поразительный, но едва ли не в обратном смысле...

Содержание романа «Засоренные дороги» так немногосложно, что его почти нельзя передать. Нельзя также сказать, чтобы роман был очень длинен, но странное явление иногда происходит в беллетристике: вещи очень длинные кажутся короткими, вещи несомненно короткие кажутся такими длинными, что читатель едва осиливает их до конца. Все это, конечно, зависит от того, в какой мере сознал или не сознал автор предстоящую ему задачу. Весьма неприятно нам сознаться, что впечатление, произведенное на нас «Засоренными дорогами», было именно впечатление последнего рода.

Действие открывается сборищем молодых людей, только что кончивших курс в университете. Каждый говорит о своих намерениях и надеждах, и говорит очень смутно и неопределенно. Это еще, конечно, небольшая беда: мечтательность и неопределенность стремлений не только свойственны юношескому возрасту, но даже сообщают ему известный симпатичный колорит; беда не в этом, а в том, что разговоры юных героев г. Михайлова до очевидности заражены пресным старческим доктринерством. Эти юноши не что иное, как несозревшие старички, в словах и действиях которых обнаруживается преждевременное бессилие, нагота которого не прикрывается даже изобильным напускным пылом.

Они как будто во всем уже убедились и разделили мир перегородкой на две половины, из которых в одной стоят они, благонравные, умудрившиеся мальчики, и неукоснительно излагают только избраннейшие места из одобренных хрестоматий, а в другой — подлецы, тупоумные шалопаи и дармоеды, излагающие избраннейшие места из сочинений Баркова. Хорошо еще, что вторая половина мира всегда представляется в романах г. Михайлова отсутствующею, а то ведь очень может быть, что, поговоривши между собой, обе стороны равно убедили бы друг друга в несомненном своем дармоедстве. Слышатся остроумные выходки против *беложилетников;* высказывается мнение, что нет никакой привлекательности «в золоте и батисте щеголя, отнявшего этими украшениями законную долю у нищего». Все это говорится так, без всякого повода, все это выбрасывается из уст на распутие и оставляется там гнить, никем не подобранное. «Что же, виноват я, что ли,— говорит один из этих неоперившихся перестарков,— что у меня желчь к горлу подступает (не слишком ли громко, милый молодой человек?), что я не могу балагурить и смотреть на жизнь шутя? Жизнь не шутка! Не шутка и то, что человек вперед знает, что он идет на гибель (?), на прозябание

в каком-нибудь вороньем гнезде (?), где нет ни общественной жизни, ни порядочных людей, ни книг, где у него не будет даже средств выписать на свои деньги нужные книги, а кругом будут пьянствовать, кутить втянувшиеся в этот омут субъекты, будут давить новичка, чтобы он не был лучше их, чтоб он пошел по их торной дорожке...»

Видите, этот юный птенец еще от земли не вырос, а уже чувствует, что у него подступает желчь (куда?); он никаких не изведал страданий, кроме тошноты, причиняемой безмерным курением табака, а уже громит во все лопатки, уже предсказывает себе, прекрасному молодому человеку, гибель... Да, все это так; все это хотя и книжно, но при известных условиях и в данном возрасте книжность не только простительна, но даже прилична и привлекательна. Это, так сказать, книжность естественная, вполне согласная со всею обстановкою жизни. Но г. Михайлов ухитрился этой книжности придать еще особенный книжный характер, и вышла у него книжность натянутая, ни при каких условиях жизни не допускаемая. И произошло это оттого, что автор сам видит в этой книжности нечто нормальное и весьма премудрое, а героев своих считает не зачатками героев, но героями настоящими и заправскими.

Показавши, с какими людьми мы должны иметь дело, автор переносит место действия в провинцию, в дом помещика Пащенко, куда приезжает брат его, один из кончивших курс студентов. Описание помещичьего быта очень любопытно. С тех пор как И. С. Тургенев подарил нас мастерскими картинами «дворянских гнезд», описывать эти гнезда «по Тургеневу» почти ничего не стоит. Прежде всего, нужно изобразить страдающего одышкой помещика, слегка пришибленную и бросающуюся из угла в угол хозяйку-помещицу и подле них молодое, страстное существо, задыхающееся в тесноте житейских дрязг. Затем, варенье, варенье, варенье, сливки, сливки, сливки, ночью же припустить соловья. Такими чертами описана жизнь помещика Константина Ивановича Пащенко, его жены Марьи Дмитриевны и сестры Кати, у которых поселяется «в мире боец» Иван Иваныч Пащенко. Само собой разумеется, что «в мире боец» сейчас же начинает задыхаться, а чтоб не задохнуться окончательно, принимается за реформы по части меньшей братии. Эта меньшая братия — просто клад, и ежели бы ее не было, то, право, не знаем, что̀ делали бы наши проказливые «в мире бойцы». Но ежели справедлива пословица, гласящая, что «в мужицком брюхе долото сгниет», то не мешало бы подобную же пословицу сложить и насчет мужицкой спины. К ней всякий подходит свободно и всякий кла-

дет на нее какую угодно реформу, как будто это не живая спина, а простой, покрытый сермягою стол. С такою же развязностью подходит к этой спине и «в мире боец» Иван Иваныч Пащенко, подходит без надобности, без убеждения, просто с одним ребяческим любопытством: попробую! Происходят трагикомические сцены, в которых слышится сквозь видимые миру слезы не менее видимый смех. Мужики, разумеется, ничего не понимают; им дарят лес (лес — это слабая струна, это couleur locale никогда не бывавших в деревне авторов), а они, вместо того чтобы употребить его на дело, пропивают; мало того, некоторые из них до того извольничались, что стали даже просить, чтоб их выпороли. Все это приводит реформатора в великое смущение. «Бывали дни,— говорит автор,— или, лучше сказать, ночи, когда он сотни сотен раз ходил взад и вперед по своей комнате, волновался, сжимал руками пылающую голову, падал духом, решался отдать крестьянам зараз все и оставить их на произвол судьбы...» И ведь ни разу во время этих сотни сотен раз не пришло на мысль этому безмозглому с пылающей головой «в мире бойцу», что все это он выдумал и что на порку не только мужик, но даже лошадь никогда добровольно согласия не изъявит.

Дни проходят за днями, и покуда Иван Иваныч Пащенко сжимает пылающую голову, к Катеньке подъезжает чиновник Благово и женится на ней. Этот Благово стоит по другую сторону перегородки, и потому он шалопай, дармоед и подлец. То есть, коли хотите, он совсем не шалопай, не дармоед и не подлец, а просто лицо без всяких качеств, но автор так настойчив в этом отношении, что не верить ему нельзя. Действие переносится в Петербург, куда вслед за Благовыми переезжает и «в мире боец» Пащенко, у которого в Петербурге есть невеста, хорошая девушка, не чуждая вопросу о женском труде и потому стоящая по сю сторону перегородки. Благово намекает Кате, что она не дурно сделает, если подаст некоторые надежды его начальнику, графу Баумгрилле; это, разумеется, ее возмущает, и она убегает в семью брата. Там встречает она некоего Крючникова, другого «в мире бойца», который оказывается еще тупее Пащенко и ничего не ест и не пьет. Напрасно Катенька признается ему в любви, напрасно просит спасти ее — этот мрачный идиот, этот непоколебимый поборник либерального онанизма остается глух и непреклонен. Из-за чего? — а вот из-за чего: «из боязни, что недостанет куска хлеба, что этот кусок придется воровать у других людей, неповинных в том, что я вздумал потешить себя любовью, пороскошничать»! Можно ли быть менее вежливым и в то же время менее сообразительным!

Кончается тем, что Катенька уезжает в деревню, а Крючников вдогонку, как бы нечто восчувствовав, пишет к ней письмо.

Вот и все. Мы неприхотливы и не избалованы богатством внешнего содержания в наших повестях и романах — да и бог с ним, с этим богатством внешнего содержания! Но самая простая азбука беллетристики требует, чтобы повествователь, по малой мере, объяснял внутренние побуждения, руководящие его героями. У г. Михайлова лица слоняются из угла в угол без всяких побуждений, даже без всякого внешнего повода: это просто пружинные куклы.

Мы знаем, что нам могут указать на благонамеренность автора, как на смягчающее обстоятельство. Мы нимало не сомневаемся в этой благонамеренности и даже уважаем ее, но не можем же смешивать это отличное качество с талантливостью, особливо после довольно многочисленных попыток, доказывающих, что благонамеренность растет, а талант умаляется.

ЖЮЛЬ МУРО. Задельная плата и кооперативные ассоциации Перевод и издание Ф. П. Соллогуба Москва. 1868 г.

В современной нашей журналистике вопросы экономические отодвинуты на самый задний план и держатся, так сказать, в черном теле. В прежнее, недавно прошедшее время это было совершенно иначе: достоинство журнала определялось его экономическими тенденциями, измерялось тем или другим взглядом его на существенные экономические вопросы. Одно время даже, под влиянием экономических идей, общество наше грозило распасться на враждебные партии: с одной стороны разных ненавистных *истов,* с другой — людей, несокрушимых в своих экономических убеждениях, установившихся по преимуществу под влиянием желудочных внушений. Не обошлось и без стычек, в которых выказано было не мало ехидства и инсинуационных наклонностей, особенно со стороны несокрушимости. Словом, общество обнаружило некоторую долю жизненности, и эта жизненность была замечательна особенно тем, что вызвана была она всего больше экономическими стремлениями. Нынче совсем не то: о вражде партий нет и помину, тем менее о такой вражде, которая коренилась бы в разногласиях в вопросах чистой экономической теории; умы успокоились и ненавистные вопросы, поселившие было разлад в нашем любвеобильном обществе, изгнаны из него со стыдом.

Не знаем как других, но нас это новое направление современного общества положительно радует и наводит на много

весьма отрадных мыслей и надежд. На наш взгляд, в этом новом направлении следует видеть признак того, что общество наше процветает во всех отношениях, что если мы еще блаженствуем не все, то такое всеобщее ликование наступит в самом наикратчайшем времени. В самом деле, практика как отдельных людей, так и целых народов учит нас, что вопросы экономические начинают волновать нас только при дурном положении наших хозяйственных дел. Иногда мы должны дорожиться, что называется, над каждым грошом, когда все наши мысли бывают устремлены на то, как бы на долю ближнего не перепадала лишняя копейка. Экономические науки процветают только в тех странах, в которых мы замечаем постоянное брожение народных масс, брожение, производимое, как известно, недовольством этих масс своими хозяйственными делами. Это подтверждается и историей нашего собственного развития. До Крымской войны у нас и в заведении не было, чтобы когда-нибудь кто-нибудь проговорился об экономической науке, как ее там изобретали на Западе. Причиной этого было, очевидно, то, что наши дела шли в то время очень хорошо, так хорошо, что мы успели возбудить к себе зависть западных государств, что, как известно, и было главной причиной Крымской кампании. После этой кампании, когда, по достоверному рассказу одного очевидца, на наше отечество сделал нашествие генерал Конфузов, мы на время как-то отопрели, понятия наши перепутались, и в замешательстве мы так и поверили, что наши дела из рук вон скверны и будто для очищения от этой скверны нам необходимо прибегнуть к помощи западной науки. И, признаться надо, было от чего прийти в конфуз: все нам завидовали и завидовали, а вдруг взяли да и побили. Это огорошит хоть кого. Но царство конфуза длилось недолго, скоро мы пришли в себя и увидели, что черт вовсе не так страшен, как мы приняли его с испугу, и что нам еще долго хватит, на что жуировать. Прежнее ликование вернулось к нам снова, и первым делом, конечно, должно было быть торжественное изгнание экономических вещаний, чуть не заполонивших было наши сердца.

Но как вообще стоит раз открыть истинную причину какого-нибудь явления, как множество фактов сами собою приурочиваются к найденному объяснению, служа ему вящим подтверждением и уяснением, так и представленное нами объяснение отклонения современного общества от вопросов политико-хозяйственных подтверждается целым рядом других проявлений его духовной деятельности. На чем главным образом сосредоточено теперь внимание читающей публики? Какие литературные произведения больше всего теперь в ходу

и имеют наибольший круг читателей? Кто следит за нашей журналистикой, тот знает, что всего больше публика накидывается на романы, и не на все безразлично, а на романы специальные, клубничные. История же литературы как нашей, так и иностранной показывает, что настоящая, заправская клубничность всходит и процветает только в такие времена, когда каждый мирный гражданин и патриот может невозбранно простирать свои руки и получать вожделенное. Никогда европейские общества не наслаждались таким мирным и тихим счастием, как во времена благородного рыцарства, и, с другой стороны, никогда клубничка не созревала в такой сочный плод, как в нежных руках трубадуров и минезингеров.

Другой важный интерес современной нашей литературы составляет вопрос о «славянских братьях». Нет журнала или журнальца, нет газеты или газетки, которые не распинались бы из-за «братьев-славян», которые не готовы были бы тотчас же открыть у себя ежедневные проповеди о крестовом походе против нового антихриста, явившегося в лице барона Бейста. Кроме обилия сердечных соков, которым вообще отличаются потомки древних Россов, такое пламенное сочувствие к интересам и судьбе других наций не указывает ли также и на полное внутреннее процветание нашего отечества, готового при первом востребовании поделиться своими избытками со всяким нуждающимся и обделенным на жизненном пире. Мы могли бы подтвердить нашу мысль еще и многими другими фактами, напр., необыкновенным приемом, оказанным нашими соотечественниками г-же Лукке, предупредительной готовностию, выказанной обществом при первом призыве о помощи голодающему народу, готовностью, благодаря которой мы в каких-нибудь четыре-пять месяцев собрали почти полтора миллиона рублей серебром, и т. д. Но на сей раз довольно и этих.

На все эти глубокие и приятные размышления мы наведены были лежащей пред нами книжкой г-на Жюля Муро, переведенной и изданной г. Ф. П. Соллогубом. Прочитавши ее заглавие, мы опасались было, что вот опять начнется старая канитель о рабочих, об ассоциациях, никому ненужная и всем надоевшая. опять пойдут разглагольствования об экономических несовершенствах современного человечества, о разных утопических проектах к их искоренению и т. д. Опасения наши усилились еще больше, когда мы прочитали предисловие переводчика о том, что «всегда и везде рабочим преимущественно вредит недостаток солидарности и общности интересов, вследствие которого каждый работник обращает внимание исключительно на самого себя и не принимает в расчет инте-

ресов всего класса, к которому он принадлежит», и затем приводит длинные выписки из Керра, Милля для доказательства, что «эта разрозненность составляет главный признак недостаточности умственного развития и гражданской зрелости рабочего». Господи! — подумали мы: давно ли мы успокоились, давно ли мы избавились от назойливых требований во что бы то ни стало разрешать рабочий вопрос, и вот опять уже пристают с этими проклятыми вопросами, опять требуют каких-то решений, до которых нам решительно нет никакого дела. Пусть бьют себе голову над этими решениями те, которым жутко без них,— а нам-то до них что за дело? У нас все обстоит как нельзя лучше; был, правда, маленький голод, да и тот скоро усмирили. Вот с какими было горькими опасениями мы приступили к чтению изданной г. Ф. П. Соллогубом книжки. Но чем больше мы углублялись в чтение ее, тем больше таяли наши опасения, и под конец мы почувствовали даже некоторую зависть к автору ее, г-ну Жюлю Муро. Вот кабы у нас научились так ловко морочить добрых простяков, тогда зажили бы мы на славу! Спасибо же г-ну Ф. П. Соллогубу, что он взял на себя труд пересадить этот прелестный цветок на нашу отечественную почву!

Книга предназначается главным образом для рабочих, и цель ее та, чтобы сообщением им правильных экономических понятий о «капитале и труде» содействовать прекращению незаконных притязаний рабочего класса, притязаний, порождаемых, по мнению автора, незнанием основных истин экономической науки. Овладевши этими основными истинами, познакомившись и досыта усвоивши себе экономические законы и условия, управляющие размером задельной платы, рабочий поймет, что как бы ни была незначительна часть, перепадающая на его долю, хотя бы она и не покрывала издержек на пищу, освещение и содержание его семейства, он все-таки должен воздержаться от всяких выражений своего неудовольствия, не прибегать к насильственным средствам с целью оттянуть от фабрикантов вполне законно и на экономических основаниях причитающуюся им долю барыша, и не станет слушаться тех опасных людей, которые выдумали «право на труд», «право труда», «минимум задельной платы». Не сделает он этого, во-первых, потому, что так за него уже решила экономическая наука, имеющая своим предметом прогресс человеческой свободы, а ослушаться людей науки он, конечно, не захочет (какого они мнения о нем будут после этого?); во-вторых, потому, что против рожна не попрешь. Последний мотив автор с особенной энергией старается популяризировать рабочим, и за это, конечно, его нельзя не похвалить.

Вот главная его цель. Посмотрим теперь, насколько ему удается последовательно проводить свои мысли и достаточно ли убедительно он говорит. Мы постараемся передать его мысли в том же последовательном порядке, в каком он излагает их сам, а из нашего изложения читатель увидит, как победоносно должна действовать аргументация автора на тот класс, экономическому и нравственному прояснению которого он посвятил свой труд.

Начиная с определения термина рабочей или заделыной платы, автор прежде всего, как подобает благородному борцу за свободу и нравственное достоинство рабочего класса, старается очистить его от тех неосновательных представлений, которые обыкновенно с ним связываются. Обыкновенно в понятии заделыной платы видят наем услуг рабочего, подобно тому как нанимают труд животного взамен потребляемой им пищи. Автор с благородным негодованием отвергает этот взгляд, приравнивающий «рабочего, признанного свободным и нравственностью и законом, к неразумному деятелю, каков бык или лошадь. Такой взгляд непростителен даже старикам и людям, живущим в прошедшем (как сильно сказано!)». Автор, напротив, длинною цитатой из Росси доказывает рабочим, что они получают не плату за услуги, не вознаграждение за труд, а дивиденд, причитающийся им по условиям сделки, в которую они вступают с капиталистом. Словом, между ними и капиталистами «имеет место *ассоциация* (курсив в подлиннике)». После этой блестящей тирады он переходит к исследованию законов, влияющих на размер рабочей платы. Законы эти: количество предлагаемой работы, число работников и, наконец, цена продуктов, потребляемых рабочими. Признаемся, мы с особенным замиранием сердца вчитывались в эту главу: что, думали мы, если он вдруг проболтнется и разъяснит своим читателям истинное значение последнего пункта — зависимость рабочей платы от цены продуктов? Ведь тогда беда! ведь тогда, значит, все его прекрасные речи о значении ассоциации для рабочих улетучатся бесследно. Но нет, опасения наши оказались напрасными: он ловко обошел этот вопрос и как ни в чем не бывало приступает к изложению следствий, вытекающих из основных законов рабочей платы. Из того, что рабочий не есть собственно рабочий, получающий вознаграждение, какое заблагорассудится дать ему наемщику, а, напротив, есть в полном смысле пайщик, получающий из производства долю, приходящуюся ему соответственно его трудам и заслугам, следует право работника «условливаться о размере вознаграждения и прибегать для его возвышения к всевозможным средствам, исключая, конечно, те

из них, которые несовместны с общественным спокойствием и уважением к чужой собственности». Конечно, последняя фраза несколько неопределенна и мало согласуется с строгою ясностью экономической науки, но что ж делать, любезный читатель? Нельзя же в самом деле предоставить рабочему право прибегать ко всевозможным средствам для увеличения своей задельной платы! Чего доброго, он тогда потребует, пожалуй, и вмешательства государства в его экономические дела, что ж? и это ему позволить?

Но из того, что наука дает ему право делать стачки, еще не следует, чтоб ему следовало их делать. Право-то ему дано, потому что экономическая наука есть «наука о прогрессе человеческой свободы»; но пользоваться своим правом ему вряд ли будет выгодно. Рабочий не должен забывать, что размер его задельной платы определяется, во-первых, отношением между спросом и предложением, и потому неблагородно требовать от фабриканта возвышения платы, когда отношение это неблагоприятное; во-вторых, от количества рабочих рук, в которых, слава богу, недостатка никогда не будет, так как число бедных на земле покамест все увеличивается. Стачки ведут только к обнищанию самих рабочих, раздражают и повергают в беспокойство фабрикантов и, наконец, могут на время уменьшить промышленность страны, которою рабочим, как патриотам, следует дорожить пуще всего. Но если, с одной стороны, такая зависимость задельной платы от числа рабочих рук на рынке и предостерегает рабочих от неумеренного пользования правом стачек, то, с другой, она дает им могущественное средство улучшить свое положение, средство, которым чем неумереннее они будут пользоваться, тем лучше. Средство это — «нравственное принуждение» Мальтуса. «Зная, что число работников влияет на количество задельной платы, постараемся не увеличивать его без меры и не будем подражать примеру животных, лишенных разума. И так как бог дал нам эту способность, делающую нас ответственными за наши поступки, то будем употреблять ее для улучшения нашего состояния, что̀ будет некоторым образом выполнением его планов».

Но «хотя нравственное принуждение и обдуманные браки, в противоположность преждевременным, должны произвести возвышение рабочей платы, но это возвышение не воспоследует сейчас же, непосредственно», а рабочим, разгоряченным борьбою и надеждою на успех, нужно разрешение практическое, непосредственное.

Это непосредственное практическое разрешение рабочего вопроса представляют ассоциации. «Ваша задельная плата

недостаточна; положим, она не удовлетворяет вашим первым потребностям и известным привычкам, порожденным движущеюся вперед цивилизацией (заметьте, как ловко вплетены слова: привычки, *порожденные цивилизацией!),* привычкам, сделавшимся, в свою очередь, нуждами. Но таково же и положение фабрикантов, промышленников, стесненных, с одной стороны, низкою ценою вследствие конкуренции, которой подвергаются их произведения на рынке, побуждаемых, с другой стороны, вашими новыми требованиями, и оно не позволяет им, несмотря на их собственное желание, удовлетворить вас, выполнить ваши справедливые требования. Что же остается делать? Вот в этом-то случае и можно с пользою прибегнуть к ассоциации, имя которой долго было пугалом для зажиточных классов».

«Нужно вступить в товарищество не для того, чтобы уничтожить машины, но чтобы приобрести дешевле предметы первой необходимости; не для того, чтобы силою заставить принести жертву, признанную невозможной, но чтобы получить на более честных и менее обременительных условиях кредит, который дорого оплачивается у булочника, портного и вообще всякого продавца».

Мы выписали эту длинную тираду, чтобы показать ловкость, с какою автор расправляется с своим предметом. Заметьте, что о производительных ассоциациях нет ни слова: они действительно не пользуются его благорасположением, он как-то успел усмотреть в них социалистические и коммунистические затеи. Ассоциациями же потребления и кредита он нахвалиться не может. Им-то, по преимуществу, предназначено разрешить этот неразрешенный гордиев узел — рабочий вопрос. Только надо хлопотать о том, чтобы рабочие устраивали эти ассоциации на свои собственные средства, не прибегая к помощи общества или, что еще хуже, государства. И хлопочет он об этом очень усердно, так что было бы неблагородно со стороны рабочих, если б им вздумалось ослушаться его.

Пересказывать мнения Муро о достоинстве и значении ассоциаций мы не станем. Дело это, вероятно, знакомо нашим читателям. Сделаем только небольшое замечание для уяснения внезапного расположения, почувствованного господами, подобными нашему автору, к рабочим ассоциациям. Оно объясняется очень просто и, конечно, к великой чести буржуазных либералов. Дело в том, что антибуржуазная школа для своих собственных целей взяла на себя труд исследовать открытый Рикардо закон зависимости заделыной платы от цены на предметы первой необходимости, который до сих пор понимался буржуазными экономистами не во всей его полноте и полезно-

сти для буржуазных интересов. Оказалось, что в своих колебаниях задельная плата всегда вращается около минимума потребностей, необходимых для поддержания жизни рабочего соответственно существующим в данное время привычкам, так что раз жизненные продукты, вследствие ли потребительных и других ассоциаций или по каким-нибудь другим причинам, удешевятся, рабочая плата тотчас же упадет. Закон этот как нельзя лучше оказался на руку буржуазии; он, кроме того что отвлекает на время внимание рабочего от их проделок, в конце концов послужит в пользу буржуазных карманов. Вот почему они всячески рекомендуют ассоциации, пишут о них популярные трактаты, в которых, прикрываясь личиной доброжелательности и общей пользы, они самым возмутительным образом забивают головы несчастных рабочих своими экономическими софизмами, отвращая их от тех людей, которые желают им истинного добра и действительно понимают интересы рабочих.

СМЕШНЫЕ ПЕСНИ Александра Иволгина (Чижик). Издание А. Каспари СПб 1868

Трудно живется нашей сатире. Капитал, которому некогда положил основание Гоголь, не только не увеличивается, но видимо чахнет и разменивается на мелкую монету. Сатирики наши как будто стали в тупик и кружатся на одном месте, удивляя читателей кропотливостью своего трудолюбия, однообразием типов и замечательною поверхностностью своих отношений к жизни.

Возьмите любое собрание сатирических стихотворений, любой русский фельетон, и вы, не читавши, можете определить, какою пищей вас там напитают. Вы встретитесь там с нажившимся взяточником-чиновником, с камелиею, с пустою светскою барышней, с откупщиком. Это все типы торжествующие и блаженствующие и потому подлежащие обличению. Не говоря уже о том, что все подобные обличения пишутся задним числом, с наложением на них, так сказать, казенного клейма, они и потому еще поражают бессилием, что нимало не затрогивают того положения, которое порождают обличаемые явления. Явления эти стоят одиноко, вне пространства и времени, и потому несут на одних себе всю ответственность перед негодованием сатирика. Притом, эти взяточники, камелии, откупщики рисуются как-то сплошь одною и тою же краскою; это просто разбойники, грабители, наглецы, которым настоящее место в дневнике происшествий «Полицейских ведомостей», а не в литературе. Как противоположность этим торже-

ствующим типам, является тип человека приниженного, тип бедняка, но не того русского бедняка, которого трагическую судьбу так просто и незатейливо рассказывает, например, г. Решетников, а бедняка, сбежавшего из романов Евгения Сю. Избитость мотивов, отсутствие чуткого отношения к жизни, бедность, грубость и однообразие красок — вот существенные недостатки современной русской сатирической литературы.

Нельзя сказать, однако же, чтобы текущая жизнь не представляла обильной пищи для сатиры. Напротив того, последнее время создало великое множество типов совершенно новых, существования которых гоголевская сатира и не подозревала. Сверх того, гоголевская сатира сильна была исключительно на почве личной и психологической; ныне же арена сатиры настолько расширилась, что психологический анализ отошел на второй план, вперед же выступили сила вещей и разнообразнейшие отношения к ней человеческой личности. На горизонте русской жизни периодически появляются своего рода моровые поветрия и поглощают целые массы людей. Вспомним язву либерализма, язву празднословия, язву легкомыслия; вспомним нелепую и жалкую борьбу так называемых благонамеренных отцов против детей-нигилистов. Примем в соображение ту легкость, с которою русский человек научился менять убеждения; не забудем и того, что никогда так быстро не исчезали люди со сцены, никогда так легко не колебались репутации, по-видимому, самые прочные — и мы убедимся, что предметов для сатиры существует весьма достаточно и что эти предметы совершенно новые. Каждое из этих моровых поветрий воздействует не на Ивана или Петра, но на целые массы Иванов и Петров и начертывает новые страницы на скрижалях российской истории. Уж одно то, что русские из народа солидного и наклонного к утучнению сделались чем-то вроде северных афинян — одно это может дать для сатиры почти неистощимый запас материала весьма разнообразного.

Но сатирики наши с равнодушием истинно геройским проходят мимо самых характеристических явлений и треплют да треплют чиновников-взяточников, да камелий, да откупщиков. Если же и случится кому-нибудь из них обмолвиться живым словом, то надо видеть, как жадно наскочат на это слово со всех сторон собратья по ремеслу, как живо расклюют его по зернышку. Это своего рода шарманщики, которые до тех пор не перестают насвистывать пользующийся успехом мотив, покуда не искалечат его и не разобьют сверху донизу.

Быть может, есть какие-нибудь особые, внешние причины, обусловливающие оскудение нашей сатирической литературы;

быть может, это оскудение от того именно и происходит, что сатира с почвы психологической ищет перейти на почву общественную, где несколько труднее ратовать, но публика всех этих причин не знает и не желает знать. Она видит результаты наших сатирических потуг и неодобрительно покачивает головою. Если даже до нее и доходят темные слухи о том или другом великом произведении, которому не суждено увидеть свет по независящим обстоятельствам, то она и тут не смягчается, но являет себя склонною заочно судить эти великие произведения по тем малым образцам, которые ей известны.

Конечно, сатирики наши могут в свое оправдание привести ту основательную русскую поговорку, которая удостоверяет, что выше лба уши не растут, но, с другой стороны, и публика не совсем неосновательна в своем недоверии к русской сатире in petto[1]. Во-первых, наши русские поговорки тем именно и хороши, что служат прекраснейшею для всех случаев лазейкою; во-вторых, публика не специалист и не библиоман, чтобы разыскивать перлы русской сатиры по карманам и портфелям авторов; в-третьих, она резонно говорит: «Не пишите совсем, ежели по каким-либо причинам не можете так писать, как желаете». Увы! она не знает даже, что существуют причины, которые именно заставляют писать не так, как желается...

Все изложенные выше размышления как нельзя более относятся к изданной г. Иволгиным книге: «Смешные песни». Выпишем наудачу одну из этих «песен».

— Карл Адамыч!.. извините!
Любопытный я такой...
Вы уж слишком, как хотите,
Избалованы судьбой!
Вы имеете значенье,
Пропасть денег, и притом
И роскошное именье,
И солидный очень дом..
Извините... как достались
Вам значенье и доход?..
По наследству отказались?
— Х-ха, х-ха, ха... наоборот!..

— Ах, так, стало быть, трудами
Это вы приобрели?
Вы трудились дни за днями,
Чуть не улицы мели...
Может, ночи вы не спали...
Честно бились с нуждой,
Голодали, холодали...

[1] на уме (в мыслях, невысказанное).

Кровью плакали порой?
Быть лакеем не хотели
У влиятельных господ...
Вы ведь так разбогатели?
— Х-ха, х-ха, ха . наоборот!

— Ах, теперь я понимаю ..
Позабыл я об одном!..
Значит, вы родному краю
Принесли талант с умом!
Может, каждая идея
Много горя вам несла:
И угрозы от лакея,
И насмешки от осла...
Все же честно вы стояли,
В лучший веруя исход...
Вы не так ли в ход попали?..
— Х-ха, х-ха, ха... наоборот!

— Карл Адамыч!.. непонятно!..
Ухитрились — так сказать —
Извините... вероятно,
Вы того... наворовать?
Может, были вы пролазом,
Или ловким простачком
С тонким слухом, острым глазом...
Ну, и с длинным язычком?
Всех, кто верен чести строгой,
Вы умели только гнать ..
Значит, подлости дорогой...
— Что́?.. ты дерзости опять?

Вот какою солью угощает нас современная русская сатира. По нашему мнению, эта соль удивительно напоминает ту, которую в изобилии рассыпал покойный Ленский в «Стряпчем под столом», «Девице-кавалеристе» и других подобных же перлах золотого века молчания нашей литературы.

А. БОЛЬШАКОВ. Роман в двух частях И. Д. Кошкарова. СПб. 1868 г. *

Роман этот написан на тему: всякий человек обязан приносить посильную пользу обществу. Почтенный автор следующим образом развивает свою мысль: «Не может,— говорит он,— добрая лошадь не рвануться вперед, когда ее ударят кнутом; не может отказаться от пения соловей, побуждаемый к тому (?) любовию; не может здоровый юноша обратиться мгновенно в старца; не может также отказаться от добрых побуждений человек, широко обнимающий все формы нашего общежития». Усомниться в непреложности этих истин едва ли возможно; но надо сказать правду, что и изобрести их не со-

ставляет особенного труда. Стол не может сделаться стулом, тарелка — ложкою, хомут — оглоблею, говядина не может превратиться в телятину — все это бесспорные истины, но истины, так сказать, кучерские и кухонные, которых обращение в литературе может быть допущено лишь с крайнею умеренностью. Иначе мы получим столь легкую возможность сравнивать человека с тряпицей, уполовником, навозом и т. п., которая еще менее приведет нас к добру, нежели сравнение общественного деятеля с лошадью, рвущейся вперед под ударом кнута.

Как бы то ни было, но истина о здоровом юноше, не могущем мгновенно обратиться в старца, служит соединительным звеном между двумя существами, которые ждут только уяснить себе этот вопрос во всей подробности, чтобы навсегда соединиться узами любви. Кажется, как мало нужно, чтобы удовлетворить человека, и вот, однако ж, он целых 173 страницы мучится, чтобы доказать себе, что человек, не чуждый понятия об общей пользе, стоит, по малой мере, на такой же нравственной высоте, как и чумичка, разумно употребляемая разумною кухаркой. Он переписывается об этом, входит по этому поводу в бесконечные словопрения и мимоходом возвышается даже до таких истин, что мужчины ставят себя выше женщин только «вследствие счастливого случая, которому они обязаны своим появлением в свет в виде мальчика». Мало того: пользуясь своим появлением в свет в виде мальчика, он делается способным доказывать и другие, еще более глубокие истины, как, например: быть лишенным точки опоры — «это все равно что переходить по реке, на которой с каждым шагом под вашими ногами ломается лед — тогда гибель неизбежна». И все эти истины, вместе взятые, как-то: «добрая лошадь не может не рвануться вперед, когда ее ударят кнутом», «юноша не может сделаться старцем» и проч.,— все эти аллегории о появлении в свет в виде мальчика и о переходе через реку, на коей ломается лед (и зачем ходить?), не мешают, однако ж, открытию самой главной и окончательной истины, которая гласит, что в деле устройства крестьянского быта (уж на что, кажется, предмета общеполезнее?) необходимо: «отделить межою крестьянский надел, нанять хорошего сторожа, который днем и ночью будет охранять помещичью землю от потрав». Когда же крестьяне будут «неприятно удивлены такою находчивостью» и когда, сверх того, в их наделе не будет «места для попаса скота», тогда можно будет вступить и в переговоры с ними. Наверное, они поймут, что «положение их весьма стеснительно», что «не иметь места для попаса скота», пожалуй, еще хуже, нежели «переходить по реке, на которой с каждым шагом под вашими ногами ломается лед», и что хотя они, кре-

стьяне, тоже «обязаны своим появлением в свет в виде мальчиков», но, стало быть, есть такие положения, когда появление в свет даже в виде двухголового мальчика — и то помочь не может.

Что же может помочь? Какой «вид мальчика» нужно принять, чтобы иметь в свете успех и чтобы домогательства ваши не разбивались об какого-нибудь сторожа, который день и ночь что-то охраняет, а что именно охраняет — и сам не ведает. По нашему мнению, в этом случае может помочь только такой «вид мальчика», который с утра до вечера тянет нелепую канитель с полным убеждением, что это не канитель, а премудрость, и с уверенностью, что эта канитель изобретена именно им самим, а не найдена где-нибудь в будке.

Таких «видов мальчика» мы встречаем на свете целыми бесконечными бунтами. При постепенном распространении болезни, известной под именем мыслебоязни, и при всеобщем стремлении обходиться посредством истин скотнодворских и кухонных, мудрецы становятся почти нипочем. Копейка за пару — вот настоящий prix fixe[1] им на Сенной и в Гостином дворе. Но замечательно, что по мере удаления от этих действительных центров, порождающих мудрецов, цена на них все более и более повышается. Стало быть, существуют такие улицы, где и копеечный мудрец (за пару) может очутиться «во пророцех». Но какая же цена этому пророку? — разумеется, пятак медный — и больше ни денежки.

ПЕРЕМЕЛЕТСЯ — МУКА БУДЕТ. Комедия в пяти действиях И. В. Самарина

В прошлый театральный сезон мы имели драму г. Стебницкого, комедию г. Чернявского и, наконец, комедию г-жи Себиновой «Демократический подвиг» — три произведения, в которых вполне выразился наш положительный нигилизм, тот нигилизм, который учит мыслить затылком и кричать: «пожар!» — при малейшем сознательном движении жизни вперед. О первых двух пьесах мы уже отдали отчет в нашем журнале; что же касается до третьей, то она свидетельствует только о том, к каким тенденциозно-наругательным подвигам может быть способна мысль, доведенная до совершенной неурядицы и споспешествуемая при этом крайним недостатком самых простых сведений о свойствах человеческого разума и совершен-

[1] твердый расценок.

ным отсутствием таланта. Более говорить об этой пьесе не стоит.

Нынешний театральный сезон начинается, по-видимому, под предзнаменованиями более примирительными. Разумеется, мы отнюдь не можем считать публику настолько обеспеченною, чтобы до масленицы ее опять не ушибли каким-нибудь новым «Гражданским браком», но покамест дело идет довольно благополучно. В соседстве с «Прекрасной Еленой» (это ли не примирительная пьеса, на которой, по-видимому, должны сойтись все партии, как литературные, так и политические!) театр дарит нам новую комедию г. Самарина, название которой значится выше. Предоставляя специалистам отчитываться перед публикой о достоинствах «Прекрасной Елены», мы считаем нелишним, для начала наших бесед о петербургских театрах, сказать несколько слов о произведении г. Самарина.

Комедия «Перемелется — мука будет» не без претензий. Она желает что-то выразить, что-то оправдать, кому-то оказать услугу; она, видимо, не хочет, чтоб ее причислили к разряду тех произведений, к которым принадлежит, например, «Демократический подвиг» и которые в умах благонамеренных петербургских столоначальников посевают семя сомнения насчет будущего России, якобы охваченной пожаром отрицания. Она даже сама нечто отрицает, разумеется, отрицает с булавочную головку, то есть настолько, насколько капельдинеры Александринского театра могут вместить вещь столь ужасную, как отрицание.

В сущности, пьеске г. Самарина было бы всего приличнее именоваться так: «Детские мысли, или Чего хочу — не знаю, о чем тужу — не понимаю». Как ни скромно такое название, но, во всяком случае, оно выражает основную мысль пьесы гораздо полнее и точнее, нежели заглавие «Перемелется — мука будет», которое не только ничего существенного не выражает, но даже оставляет зрителя в недоумении: где же тут мука? и какого она сорта?

Чтобы сделать нашу мысль более ясною, расскажем прежде всего содержание пьесы.

Сцена открывается тем, что некто Решетов (г. Бурдин) рассказывает своему приятелю Егорову (г. Малышев), как он, бывши некогда крепостным крестьянином графов Шитвинских и заметив в своем сыне, Гане, особенную остроту ума, пробовал откупиться на волю, как Шитвинский притеснил его слишком несоразмерным запросом цены крови и как, наконец, Положение 19-го февраля 1861 года разрешило этот узел, освободивши Решетовых вместе с прочими, помимо согласия гг. Шитвинских. Из разговоров этих мы узнаем, между прочим, что

Ганя Решетов — малый самый отличный, скромен, с дамами вежлив, с старшими почтителен, с сверстниками обходителен, на лекциях исправен, г-же Оноре́ в «Жизни за царя» не аплодировал, а потому и мировым судьею Нероновым ни к какому наказанию приговорен не был, и, в довершение всего, до такой степени влюблен в своих преподавателей, что даже получил за это степень кандидата Московского университета. Покуда приятели переливают таким образом из пустого в порожнее, приходит сам молодой Решетов (г. Нильский) в сопровождении четверых студентов и бутылки шампанского...

Шампанское — это какой-то неотразимый атрибут г. Нильского; оно преследует его, как преследовала некогда Эльвира Дон-Жуана. Это, впрочем, объясняется отчасти складом новейшей русской жизни, в которой ни одного великодушного или даже просто благонамеренного начинания не предпринимается без шампанского. А так как благонамеренных начинаний пропасть и во всех непременно участвует г. Нильский, то и шампанского выпивается тоже пропасть и во всякой выпивке главным участником и даже инициатором является тот же г. Нильский. Это сделалось почти народною чертою наших драматических пьес, все равно как оплеуха является главным льстящим народности двигателем пьес французского репертуара. Зайдите в Михайловский театр, и вы заранее можете быть обеспечены, что если в спектакле участвует г. Жанен или г. Дьёдонне́ (а они редко в какой пьесе не принимают участия), то кто-нибудь из них непременно получит несколько пощечин. Это явление до такой степени оспециализировалось на обеих сценах, что установившаяся обычаем номенклатура драматических амплуа становится тесною, а именно, к прежним разновидностям «первых любовников» требуется прибавить две новых: первого любовника с шампанским и первого любовника с пощечинами. Но будем продолжать наше изложение.

Подают шампанское; молодой Решетов объявляет, что его посылают на казенный счет за границу для усовершенствования в любви к науке, а покамест он отправляется на лето в деревню к графу Борису Федоровичу Шитвинскому, который приглашает его, чтобы давать уроки маленькому своему сыну, Севе́ру. Провозглашаются тосты, от которых, как и следует ожидать, всего больше достается нашей alma mater — Московскому университету. Бедная alma mater! Каким неистовым ласкам, каким припадкам сыновней нежности не подвергалась ты со стороны твоих благодарных питомцев! О, если б от них зависело! они, конечно, истрепали бы тебя так, что и следа не оставили бы твоей первоначальной, исторической красоты. Но в книгах написано: не до конца заслюнивиши — и вот ты цве-

тешь по-прежнему, несмотря на утраты, понесенные тобой в лице гг. Чичерина, Дмитриева и чуть-чуть не Соловьева... Провозгласивши тосты, господа студенты затягивают Gaudeamus igitur, чем и доказывают, что гг. капельдинеры Александринского театра в вопросе об образовании придерживаются преданий классицизма.

Второе действие приводит нас в деревню графа Шитвинского (г. Самойлов). Как это заведено уже издревле, у графа, кроме сына, есть еще дочь (г-жа Струйская 1-я). Граф — человек либеральный, но памятующий, что в Петербурге издается газета «Весть», которая вообще всех графов снабжает готовыми либеральными афоризмами. Он, по-видимому, всему сочувствует, даже акцизно-социально-демократическому либерализму чиновников министерства финансов, но строго блюдет чистоту своей графской крови, предполагая наверное, что у графов она какая-нибудь особенная и что хотя обновление ее, в крайнем случае, и может быть допущено, но только потихоньку и не иначе, как при содействии других, более цивилизованных национальностей, без всякой примеси акцизного демократизма. К сожалению, он не внушил этих убеждений дочери, которая, благодаря такому непростительному пробелу в воспитании, пошла так далеко по пути либерализма, что чуть было не зашла в самую трущобу.

Змием-искусителем является молодой Решетов, который как будто нарочно и поездку свою за границу отложил с этою целью. Своими разговорами о пользе наук и о преимуществе прилежания над леностью он до того отуманил головку графини Софьи Борисовны, что не дал г. Самарину даже времени подготовить зрителя к драматической катастрофе. Второе действие уже застает наших влюбленных влюбленными, каковая похвальная их влюбленность проходит и через все третье действие. Разговаривают они и дома, и ночью в саду, при свете луны. Она рассказывает ему, что он для нее все, что через него она увидела свет; но он останавливает и охлаждает ее порывы. Он говорит, что ему надо еще учиться, что он из вольноотпущенных, что граф никогда не согласится, и т. д. Но она так твердо надеется на либерализм своего папаши (очевидно, он упитывался «Вестью» тайком от домашних), что боится только, чтоб он-то, Ганя Решетов, как-нибудь не отказался быть ее мужем; причем присовокупляет, что и ей не век же печатные пряники есть, а надо учиться, учиться, учиться... «Ганя!» «Соня!» восклицают эти любовники науки, и уж целуются же они... Боже мой! как целуются, повторяя свои клятвы быть верными науке! Тоска по науке так и охватывает зрителей-столоначальников при виде этих надрывающих душу сцен, сопрово-

ждаемых поцелуями. «Господи! да ведь никак и мы ничему не учились?» — восклицают они мысленно и дают себе клятву на другой же день купить в Гостином дворе книжку. Но в Гостином дворе, вместо книжки, завертывают им «Бродящие силы» г. Авенариуса; происходит печальное qui pro quo...[1] Столоначальники опять идут в Александринский театр и опять не могут понять, по какой же книжке публично изнывают в стенах его.

Нет ничего пагубнее подобных недоумений, особливо ежели они посеваются в ночное время и при свете луны. Как раз примешь одну книжку за другую и, прочитавши «Жертву вечернюю» г. Боборыкина, получишь фальшивое убеждение, что ознакомился с «Новейшими основаниями науки психологии», и, чего доброго, пожалуй, сочтешь себя образованнейшим молодым человеком.

Но для чего же, спросит читатель, эти разговоры об науке в саду, ночью и при луне, тогда как, принимая в расчет заведомый либерализм графа, их можно вести на свободе дома и днем? Читатель! хотя мы и не можем разрешить этот вопрос, но думаем, это не более как драматический прием или, лучше сказать, авторская хитрость, пущенная в ход для того, чтобы пьеса не могла растянуться до бесконечности. Дело в том, что нигде так не удобно камердинеру Николаю застать воркующую пару, как в саду, где он тоже прохаживается ночью по своим делам; Николай же питает к Решетову непримиримую злобу за то, что барышня-графиня слишком исключительно с ним занялась и вследствие того Решетов возгордился. Разумеется, Решетов возгордился совсем не этим, а тем, что он выучил книжку; но Николай этого не понимает (может быть, и он с своей стороны считает себя вправе гордиться тем, что прочитал «Воительницу» г. Стебницкого) и доносит о своем открытии графу. Граф

...дал ему злата и презрел его,—

или попросту выгнал, а змию-Решетову отказал от должности, то есть тоже выгнал, и тоже дал на дорогу злата.

Но Сонечка очень хорошо помнит, что папà ее либерал, и в ту минуту, когда уже подаются лошади, чтоб увлечь Решетова в Москву (Николай отправлен просто на подводе, а может быть, даже и пешком), она вбегает и требует объяснения. Открывается тайна несчастной любви, провозглашаются устами графа целые тирады из «Вести», начинаются стоны — слабое

[1] недоразумение.

предвкусие тех стонов, которые ожидают зрителя в четвертом акте!

Четвертый акт — это та темная область стонов, в сравнении с которыми ничтожен даже могущественный стон, который производят колеблющиеся тени в глюковском «Орфее». Трудно себе представить, чем может сделаться стон, когда производство его поручено театральным начальством г-же Струйской 1-й. Это что-то такое ужасное, перед чем, мы уверены, не могла бы устоять даже самая непоколебимая административная твердость. Застони таким образом недоимщик-крестьянин — можно сказать наверное, что исправник простит его! Г-жа Струйская стонет в продолжение получаса без отдыха, как будто бы угрожая зрителю: «Погоди! вот в пятом акте застонет г. Нильский — тогда-то ты восчувствуешь!» Этот систематический преднамеренный стон изредка перемежается непреклонностью старого графа, который по-прежнему остается верен афоризмам «Вести». На помощь графу является сестра его, генеральша Каратаева, и тоже убеждает Софью Борисовну, что ежели что̀ сказано в «Вести»,— так тому и быть. Но тщетно все. Г-жа Струйская продолжает стонать и, наконец, захлебнувшись стоном, падает на сцене мертвая.

Мы следили за лицами собравшихся вкупе столоначальников и ясно видели в них недоумение. «Ужели,— думалось им,— страсть к науке может довести до таких пароксизмов? уж не бросить ли нам?» С другой стороны, может быть, им думалось и то: из-за чего эта глупенькая девочка стонет, когда ей стоило бы только бросить своего тупоумного отца, чтобы жить да поживать с своим милым Ганечкой да детей наживать? Увы! они не знают, эти неопытные администраторы, коррозивной силы афоризмов «Вести»! Они не понимают, что эти афоризмы всасываются в кровь человека и окрашивают ее особенною краскою, даже до третьего колена! Мы, с своей стороны, нимало не удивились ни неистощимой непреклонности графа, ни неистощимой стонательной способности его дочери. Мы тем более не удивились этому, что знали наверное, что г. Самарин все это с тем и представил, чтобы ничему не верили, и что ни подобных графинь, ни подобных графов на свете не существует.

Многих из зрителей приводило в недоумение: что сделалось с графом после таких потрясений? Убедился ли он в несостоятельности афоризмов «Вести» и стал подписываться на «Московские ведомости»? Или он подкрепил себя еще афоризмами «Нового времени» и продолжает пропагандировать учение о чистоте крови? Не он ли, прикрывшись именем г. Скарятина, отправляется с тоски на торжество открытия Орловско-Витеб-

ской железной дороги? — раздавалось по театру; не его ли так утонченно-язвительно отделали наши либеральные и любезно-верные смоленские сеятели и деятели? Но г. Самарин оставил этот вопрос без ответа и, вместо того чтобы разрешить его, предпочел произвести в пятом акте новый стон, горше первого.

Пятый акт составляет совершенно лишний придаток к пьесе, и г. Самарин без ущерба для своего произведения мог бы совсем уничтожить его. Впрочем, он мог бы столь же легко остановиться и на третьем акте, потому что и тогда уже исход драмы ни для кого не подлежал сомнению. Но автор, как видно, человек солидный и аккуратный: он хотел показать зрителю, что̀ сталось с его героем, Решетовым-сыном, и как он перенес потерю Сонечки, то есть пал ли или воспрянул. Но, с другой стороны, зачем же он не объяснился с зрителями насчет судьбы старого графа? Зачем он не показал нам, перестал ли пить Егоров, как живет да поживает Решетов-отец, и получил ли место и за какое жалованье камердинер Николай? Все это такие промахи, которых он, конечно, постарается на будущее время избежать, сочинив такую комедию, которую мы будем смотреть три дня и три ночи, но в которой зато уже ничто не останется необъясненным.

Пятый акт начинается, подобно первому акту, разговором Решетова-отца с Егоровым, который является на сцену порядочно уж выпивши. Решетов рассказывает, что сын его совсем испортился: не пьет, не ест, не умывается, а только все толстеет. Следуют рассуждения, вроде того: каково-то родительскому сердцу! и за что он себя губит! и как это все приключилось! и т. д. Рассуждения эти позволяют безобидно протянуть время, покуда Решетов-сын не сделается снова действующим лицом. Но вот и он. Лицо его распухло и в пятнах (очевидно, он не умывается с тех пор, как его примчали из деревни графа Шитвинского), зубы не вычищены, ногти отросли и в беспорядке; одним словом, все так и говорит в нем: вот истинная горесть! вот как надо оплакивать потери сердца! Начинается стон, но, к удивлению зрителя, Решетов-сын не только не ослабевает в этой тяжкой работе, подобно Сонечке, но как будто бы почерпает в ней новые силы. Долгое время Егоров уговаривает его без всякой пользы; долгое время коснеющим от вина языком он доказывает, что первое достоинство мужчины есть быстрота и натиск, что не доучивши книжку, он тем самым нагло обманывает доверие начальства, что у него есть отец, о котором он не должен забывать, что он, наконец, не имеет права бросить науку, ибо за что же она-то будет страдать, и т. п. Увы! Доброе семя не вдруг принимается в этой неблаго-

дарной почве, и Решетов-сын продолжает стонать, переходя от рыданий к вздохам...

Но вот он задумывается; зрители ожидают, что он чихнет. Ничуть не бывало. Он вздрагивает, он проводит рукой по волосам, он подходит к шкафу с книгами и берет одну из них. Кончено! Спасительный кризис совершился! Из стона рыдательного г. Нильский делает быстрый переход в стон ликующий и удивляет зрителей разнообразием своих дарований. Он машет книжкою (мы очень хорошо помним, она была в синей бумажной обертке) и объявляет, что отныне его любовницей будет одна наука. Учиться!.. кто не учился... о, если бы все учились... все зло от того, что мы не учились — вот слова, которые так и сыплются градом из уст его на зрителей. «Засядем в ночную!» — возглашает он в заключение, и только быстрое падение занавеса мешает нам видеть, что шампанское уже готово и что любовник науки приступает к занятиям в первый раз тем, что с гитарой в руках дирижирует: «Gaudeamus igitur».

Пьеса кончилась, и цель пятого акта объяснилась. Он лишний — в этом нет никакого сомнения; но в то же время он главный, а лишними скорее должны быть названы остальные четыре акта — и в этом тоже не может быть сомнения. Бывают такие пикантные положения в драматической литературе, когда не знаешь сказать наверное, что̀ именно лишнее: хорошо бы и такой-то акт выкинуть, да и такой-то, пожалуй, не дурно... а не вычеркнуть ли всю пьесу? Гм... жалко! но с другой стороны, что̀ же делать, мой друг? Мы, конечно, не принадлежим к числу тех лиц, которые охотно подали бы г. Самарину совет снять его пьесу с репертуара, но не принадлежим единственно потому, что для нас решительно все равно, будет ли на сцене Александринского театра одной плохой пьесой более или менее.

Таково содержание драматического опыта г. Самарина. Не имея под рукой подлинного текста пьесы, мы, конечно, не можем представить читателю выдержек из нее, но, во всяком случае, ручаемся, что внутренний смысл комедии передан нами вполне согласно с истиной. Теперь обратимся опять к тому, с чего мы начали наше обозрение.

Мы сказали выше, что комедии г. Самарина всего ближе было бы присвоить заглавие: «Детские мысли, или Чего хочу — не знаю, о чем тужу — не понимаю». Постараемся, по мере сил наших, объяснить причины, побудившие нас высказать такое мнение.

Что̀ такое детские мысли? Это суть такие мысли, которые, получив право гражданственности за несколько тысячелетий до рождества Христова, постепенно изъемлются из всеобщего

обращения или как ненужные, или как слишком общеизвестные, но в то же время продолжают волновать некоторые умы, недостаточно знакомые ни с историей развития человеческой мысли, ни с тою суммою истин, которая в данный момент составляет ее достояние. Вслушайтесь в детский лепет, и вы наверное узнаете из него множество таких истин, которые вам не только давно известны, но с которыми вы отчасти даже уж порешили, как с непригодными или имеющими слишком слабое значение, чтобы с ними нянчиться. Эти истины, конечно, могут быть до известной степени интересными, если они составляют плод самостоятельной умственной работы ребенка; но ежели этот ребенок вам почему-либо дорог, то вы, погладив его по головке за остроту ума, все-таки поспешите объяснить, что есть истины гораздо более полезные и плодотворные, нежели те, до которых он дошел при помощи собственных усилий. Так, например, ежели вы увидите, что ребенок, убедившись в пользе таблички умножения, будет ломать свою голову над ее изобретением, то наверное не будете столь жестоки, чтобы скрыть от него, что эта табличка уже изобретена. Точно такое явление очень часто встречается и в людях взрослых, с тою только разницею, что малые дети ищут пищи для своей наивной изобретательности в области мира реального, а дети взрослые — в области мира нравственного. Так называемые общие места, ничего не определяющие, не заключающие в себе никакого действительного содержания, становятся в этих случаях таким неистощимым источником изобретательных наслаждений, в чаду которых всякое, даже ничего не значащее слово уже кажется чем-то плодотворным, проливающим новый и яркий свет на жизненные отношения. Человек, произносящий, в сущности, лишь бессодержательные звуки, мнит себя новатором потому только, что никто не дал себе труда объяснить ему, что нет надобности беспокоиться об изобретении таблички умножения, как скоро она уже изобретена.

К числу подобных, давно открытых и отчасти уже упраздненных истин принадлежит бо́льшая часть изречений так называемой народной мудрости. Если бы кто задумал написать трагедию на тему «праздность есть порок», то его труд наверное послужил бы только наглядным доказательством этой истины. То же самое должно сказать и об истине: «ученье — свет, а неученье — тьма», которую проводит г. Самарин в своей комедии. Нет спора, это истина очень почтенная, но слишком ошибается тот, кто вздумает заявить претензию, что он первый додумался до нее. Он не получит привилегии на ее пропаганду уже по тому одному, что мысль эта давным-давно свила себе гнездо в сердце каждого извозчика.

Вот почему мы, кажется, были правы, предложивши назвать основную мысль комедии г. Самарина мыслью детскою.

Но, сверх того, эта мысль поражает нас и своею чрезвычайною неопределенностью. Конечно, ученье — свет, а неученье — тьма, но история человеческих обществ была свидетельницею учений столь разнообразных и достигавших столь различных целей, что любопытство относительно действительного значения, которое скрывается в этом слове, делается не только позволительным, но и необходимым. Конечно, очень приятно было слышать из уст г. Самарина проповедь о необходимости ученья; но было бы еще приятнее, если бы г. Нильский объявил публике, по крайней мере, заглавие той книжки, которою он так усердно махал перед ее глазами. А ну, если и в самом деле это не иная какая книжка, как вторая часть «Жертвы вечерней» г. Боборыкина? Как поступить, куда деваться с подобным учением?

Предположим, однако, что автор хотел в этом случае предоставить зрителю свободу выбора. Тем не менее и за это его похвалить нельзя. Очевидно, он забыл, что так называемые «излишества свободы», вредные вообще, нигде не приводят к таким печальным результатам, как в деле выбора руководящих книжек. Здесь свобода не развязывает зрителю руки, а, напротив того, угнетает; он чувствует, что от него чего-то требуют, что его дразнят какою-то книжкой, и, не будучи в состоянии уяснить себе этих подразниваний, ожесточается. «Да ты сам-то, полно, знаешь ли, какая у тебя книжка в руках?» — восклицает он и, в неразумии своего негодования, охотно смешивает и Решетова-сына, и г. Нильского, и даже самого г. Самарина.

А между тем не было ничего легче, как устранить все эти недоразумения: стоило только присвоить пьесе название: «Чего хочу — не знаю, о чем тужу — не понимаю». Несмотря на свою кажущуюся скромность, это заглавие разрешило бы многое: оно не только освободило бы почтенного автора от обязанности называть заглавие таинственной книжки, но и зрителю дало бы понять, что эта книжка самая беспутная, по поводу которой нет даже надобности мучить себя излишнею любознательностью.

Рассказав таким образом содержание новой комедии и те впечатления, которые мы из нее вынесли, считаем нелишним прибавить несколько слов об исполнении пьесы на сцене Александринского театра.

Персонал петербургской русской сцены возобновляется до крайности туго. Вот уже много лет, как не появляется ни

одного сколько-нибудь замечательного дарования, между тем как старые актеры, в былое время удовлетворявшие публику, очевидно, ветшают. Характер репертуара в последние десять лет изменился настолько же, насколько изменились и самые интересы русской публики. Вместо «Булочной» и «Героев преферанса», с грехом пополам изображавших былую современность, явились пьесы тенденциозные, бескуплетные и имеющие в виду одну цель: как-нибудь так ошеломить почтеннейшую публику, чтоб она сколь можно дольше не могла поправиться. Нет спора, что эти наружно-увесистые произведения в существе своем столь же легковесны, как и «Герои преферанса», но эта увесистая легковесность имеет тот неизбежный результат, что она совершенно вытесняет со сцены всех старых, более или менее талантливых актеров. У них нет для подобных пьес ни нужных слов, ни нужных движений; они и рады бы изобразить радость по случаю, например, открытия земских учреждений, но что̀ делать, если руки у них двигаются наоборот? То же должно сказать и о так называемых капитальных пьесах репертуара. Упразднился целый репертуар Полевого, Зотова, Кукольника, и вместо него на сцену выступили пьесы с бытовым содержанием, но и в них актеры прежнего времени не появляются, да и появиться не могут, потому что привыкли ходить в порфирах, а не в зипунах. Положим, это беда еще небольшая, что мы редко наслаждаемся игрою гг. Григорьева и Каратыгина, но беда в том, что вместо них мы слишком часто видим гг. Озерова и Шемаева, которые продолжают их традицию на русской сцене, забывая, что эта традиция уже анахронизм и что они, сверх того, не имеют в своем распоряжении и десятой доли той талантливости, которою обладали их предшественники.

Из прежних актеров остался один Самойлов, у которого нашлись и нужные слова, и нужные движения. Правда, что это один из тех немногих сценических деятелей, которые могут украсить любую сцену; но, во-первых, в большинстве пьес нового репертуара он все-таки не участвует, а во-вторых, мы невольно спрашиваем себя: что̀ же останется на сцене Александринского театра, если Самойлов почему-либо оставит ее? Останется, конечно, два-три полезных артиста, а затем... Подумайте, читатель, что не только Мартынов, но даже Максимов до сих пор не заменен — а затем судите, не вправе ли мы ожидать повторения того же явления и относительно Самойлова?

Эта бедность подготовки составляет своего рода загадку, распутать которую было бы весьма небезынтересно. Ни в одном ведомстве (а сколько их в нашем отечестве — одному

богу известно) она не выступает так ярко, как в театральном. Зайдите в любой департамент, и вы увидите целые легионы молодых столоначальников, которые не только не уступают старым, но развязностью манер даже превосходят их. Мало того: каждый из сих малых едва вступит на сцену администрации, уже тяготится своим скромным положением и угрожает в непродолжительном времени сделаться администратором в полном значении этого слова. Загляните в ведомство более подходящее — в балет, и там вы убедитесь, что каждый год непременно приносит что-нибудь новое: то г-жу Канцыреву, то г-жу Вергину, то г-жу Вазем. Везде прогресс, везде нетороплivое, но неуклонное шествие вперед: вводятся самострельные ружья, появляются самоговорящие ораторы, издаются самошпионствующие журналы, выходят на сцену самопишущие литераторы,— тронь только за пружину, и вдруг все разом начинает выкидывать такие артикулы, что даже смотреть зазорно! Одна русская драматическая сцена до сих пор не успела ничего придумать для своего облегчения, даже самоиграющего актера.

Нам скажут, может быть, что создать хорошего столоначальника нетрудно, потому-де, что тут нужно только уметь подшивать бумаги. Но возражение это, очевидно, основано на недоразумении, на воспоминании о старом типе петербургского столоначальника. Что прежние столоначальники только подшивали бумаги и нюхали табак — в этом не может быть сомнения; но нынешний столоначальник смотрит на свое дело уже совсем другими глазами; он бдит, предусматривает и стоит на страже. Поэтому-то бумаги у него остаются неподшитыми, зато стража и пронзительность — превыше всяких похвал. Не нужно думать, что в природе существуют занятия высокие и занятия низкие. Все занятия одинаковы, все требуют участия той обременительной для многих работы, которая называется работою мозгового вещества.

Итак, особенностями актерского ремесла тайна нимало не разъясняется. Не разъяснится ли она особенным устройством нашего театрального училища или какими-нибудь оригинальностями, допущенными в самом образе командования российскими драматическими искусствами? Как ни прискорбно такое предположение, но, по мнению нашему, оно одно только и может объяснить бедность нашего драматического персонала. Тем не менее мы оставляем нашу беседу об этом предмете до другого раза, во-первых, потому, что статья наша и без того вышла достаточно обширна, а во-вторых, потому, что мы имеем в виду собрать достаточное число фактов, необходимых для нашей цели.

Что касается собственно до исполнения комедии «Перемелется — мука будет», то говорить об нем значит говорить об одном г. Самойлове. Нам положительно редко случалось видеть на какой бы то ни было сцене игру более умную, изящную и приличную. Главная задача актера — представить цельное лицо (иногда даже и помимо воли автора) — была выполнена здесь вполне. Г-н Самойлов не позволил себе ни одного резкого жеста; по-видимому, он даже позабыл о том, что актер должен непременно что-то изображать. Он жил на сцене, а не изображал.

Из остальных актеров упомянем о гг. Бурдине и Горбунове, которые сдали свои роли весьма прилично. Но зато г. Нильский, г-жа Струйская 1-я...

ВНУЧКА ПАНЦИРНОГО БОЯРИНА. Роман из времен последнего польского мятежа И. И. Лажечникова. В трех частях. СПб. 1868 г.

Кто любит добродетель и желает продолжать любить ее, тот пусть не читает нового романа г. Лажечникова. Помимо воли почтенного автора, добродетель является в его произведении не в виде скромной и почтенной личности, которая действует честно и справедливо, потому что для нее это самая естественная и согласная с указаниями здравого рассудка форма действия, но в виде надоедливой старухи-салопницы, которая никак не действует и не поступает, а только выпрашивает грош в вознаграждение за свою бессодержательную болтовню.

Кто любит порок — тоже пусть не читает романа г. Лажечникова. Правда, что порок в этом романе ни в ком не возбудит негодования, никого не заставит страдать нравственно (что̀, как известно, для безнравственного читателя хуже ножа острого), но в то же время он не представляет никаких приманок, а следовательно, не имеет никаких шансов в смысле прозелитизма. Порок является здесь в виде плохого провинциального актера, который намазывает себе сажей лицо с целью возбудить в зрителях ужас или сострадание, а вместо того возбуждает только смех.

Вообще, ежели кто-нибудь что-нибудь любит, кто-нибудь о чем-нибудь думает,— тот пусть не читает романа г. Лажечникова.

Роман этот следует читать в те минуты, когда мозговое вещество утомлено и безучастно к впечатлениям, приходящим извне, когда на дворе царствует темная ночь, а в комнате нет ни одной свечи. Вы спросите, читатель, каким же образом

можно читать ночью без свечи? На это мы ответим: ежели нельзя, то, следовательно, и читать не нужно.

Мы очень хорошо понимаем, что г. Лажечников имеет за собой весьма почтенное прошедшее; мы помним, что его «Последний Новик», «Ледяной дом» и «Басурман» доставляли нам когда-то большое удовольствие (а давненько-таки, признаться, мы читали их), но потому-то именно мы и убеждаем всех и каждого: останьтесь при тех впечатлениях, которые оставил в вас прежний Лажечников, и не читайте нового Лажечникова.

Герои почтенного автора разделяются на добродетельных и порочных. Первые одарены прекрасною и привлекательною наружностью: мужчины имеют хороший рост, женщины — поражают соразмерностью форм и обжигают молнией глаз; оба пола великодушны и порывисты, даже почти нерассудительны в своих движениях (так, например, старик Ранеев (ч. I, стр. 28) в порыве великодушия приказывает дать почтальону гривенник вместо обыкновенных трех копеек, следующих за доставку письма); они не помнят зла, никогда ничем не хвастаются, кроме добродетели, на фортепиано играют не только прекрасно, но вдохновенно, не читают ни Бокля, ни Молешотта, ни даже Либиха и за всем тем имеют ум проницательный. Напротив того, порочные герои одарены и внешностью самою бестолковою: глаза у них «кошачьи», а ежели не кошачьи, то испускают «какой-то демонический блеск», которого не смягчает даже «демоническая усмешка на губах»; они вероломны и охотно эксплуатируют московских купчих, наклонных к телесной любви; они не дают почтальону гривенника; они не хвастаются, но не потому, чтобы не хотели хвастаться, а потому, что нечем; они играют на фортепиано посредственно и, во всяком случае, не вдохновенно; они читают Бокля, Молешотта и Либиха и за всем тем не имеют ума, а ежели и имеют, то непроницательный.

При таких условиях, казалось бы, первым следовало наслаждаться и торжествовать, вторым же — скитаться по свету с Молешоттом под мышкой и угрызениями в душе; но у г. Лажечникова выходит совсем наоборот. Коли хотите, добродетель в конце концов и торжествует, но уже до того поздно, что в минуту торжества победитель, от старости и расстройства умственных способностей, вместо победного крика, может испустить только слабый писк. Напротив того, порок хотя и наказывается, но уже тогда, когда он успел перепортить целые стада добродетельных людей и когда, исполнив свою задачу, он может спокойно сложить руки и сказать: ну, теперь мне на все наплевать!

Мы знаем, что это так исстари заведено, чтобы торжеству

добродетели предшествовали некоторые предварительные истязания, и что без этого никакой роман состояться не может; но мы знаем также, что в этих случаях, для успокоения встревожившейся совести читателя, всегда дается какая-нибудь конфетка, которая и помогает угнетенной добродетели справляться с истязаниями. Так, например, добродетельному, но угнетенному чиновнику ассигнуется из государственного казначейства пенсия; оставленной на произвол судьбы сироте является на помощь благодетельная старушка, которая учит ее по-французски и танцевать. Все это делает жизнь униженных, но добродетельных людей довольно приятною, так что порою они даже и сами не могут объяснить, в чем заключается так называемое угнетение. Но поэтому-то именно они и не торопятся восторжествовать слишком скоро над пороком, они как будто говорят: пускай, мол, его пороскошничает; все равно, ему не уйти из наших рук, а между тем И. И. Лажечников успеет написать роман.

Герой романа, заглавие которого выписано выше, некто старик Ранеев, чином генерал, но до того беспутный, что даже при совершенном оскудении в генералах трудно себе представить, какими путями подобный сорванец мог добиться генеральского чина. Типическую черту его характера составляет так называемая честность, которая выражается, во-первых, в том, что, кого бы и где бы он ни встретил, сейчас же начинает лаять на луну; во-вторых, в том, что лицо у него во всякое время свободно передергивается от негодования; и в-третьих, в том, что он кричит на столоначальников: «негодяи!», полагая, вероятно, что это самый дешевый и притом совершенно безнаказанный способ сделаться благодетелем рода человеческого. Но за всем тем, старикашка и не без хитрости, как это явствует из того, что в видах устройства своей генеральской карьеры он не брезгует расположить к себе некоего Анонима предложением ему взаймы значительной суммы денег. Другая типическая черта его характера — это порывистость движений, с помощью которой он, среди многолюдной улицы, хватает за воротник неизвестного человека, вступает с ним в борьбу и разбивает при этом свои очки. Сверх того, он не может без слез видеть гравюр, изображающих женщин, кормящих грудью младенцев, и предпочитает их тем, в которых изображены просто обнаженные, купающиеся женщины.

Этот бестолково-стремительный, но не чуждый созерцания женских грудей старец встречается на Кузнецком мосту с другим добродетельным героем, Сурминым, отставным кавалергардом, который также не чужд склонности к созерцанию женских грудей. Встречаются они перед выставкой магазина

Дациаро, где созерцательности этого рода представляются, как известно, богатая пожива. Оказывается, что как ни добродетелен старик Ранеев, но ему небезызвестно ощущение юноши, который, при виде купающихся женщин, «хотел бы превратиться в волну, которая скатывается по их прекрасным формам». Оказывается также, что и Сурмин, несмотря на то что служил в кавалергардском полку, этом рассаднике отечественного целомудрия, тоже не прочь от знакомства с актрисами и камелиями и даже некоторым из них «позволил себя похитить на несколько упоительных часов». Люди столь целомудренные не могли не понять друг друга с первого взгляда, и вот между ними завязывается обмен мыслей, из которого читатель узнает, что Сурмин, независимо от основательного воспитания по части картинок, приобретенного на службе в кавалергардском полку, когда-то был одолжен Ранееву правильным решением его дела («негодяи!» крикнул он в то время на столоначальников и этим восклицанием сразу разрешил дело Сурмина). Тем не менее очень может быть, что этот разговор так бы на этом и кончился, если б Ранеев не вцепился в какого-то прохожего молодца, в котором он заподозрил врага своего, коллежского советника Киноварова, не вступил с ним в борьбу и не разбил себе при этом головы. Тогда потребовалось ехать домой и, разумеется, не иначе, как в сопровождении Сурмина.

Дома их встречает дочь Ранеева, Лиза, которая тотчас же обжигает Сурмина молнией глаз. Но, увы! — она любит уже другого, а именно поляка Владислава Стабровского. Стабровский, впрочем, малый отличный; он состоит в Москве на службе и обращает на себя внимание начальников, а поэтому мог бы даже считаться обладающим проницательным умом, если бы не сбивала его с толку польская интрига. Он хорош собой (г. Лажечников удостоверяет даже, что на лице его «отпечатался тип Авзония»), но глаза его испускают демонический блеск, в чем опять-таки оказывается виновною польская интрига. Он и с своей стороны любит Лизу, но польская интрига, в лице капитана Жвирждовского, и тут предъявляет свое разрушительное действие. В колебаниях между Лизой и польской интригой застает его начало романа, и, к величайшему сожалению читателей, победительницею остается не Лиза, а польская интрига. И что̀ всего замечательнее — чтобы рассечь этот узел, Лизе стоило только сказать: я твоя. Если б она выговорила эти простые слова, Владислав не бежал бы до лясу, и роман был бы кончен на двадцатой странице. Но она не говорит их; почему не говорит? — а просто потому: дай не скажу, авось это поможет И. И. Лажечникову написать роман.

Разумеется, добродетельному кавалергарду Сурмину такие колебания очень на руку, тем более что у Лизы есть приятельница, премилая блондинка Антонина Лорина, которая тоже способна обжигать молнией глаз. В этом милом обществе он, как говорится, катается как сыр в масле.

Покуда Сурмин наслаждается, Стабровский с товарищами, в самом сердце Москвы, организует измену. Но так как, без всякого сомнения, г. Лажечников не был лично свидетелем совещаний польских повстанцев, то мы предполагаем, что начертанные им по этому поводу сцены суть сцены вымышленные и совершенно несоответствующие действительности. Почтенный автор, очевидно, руководствовался в этом случае старинным правилом, в силу которого чем нелепее и неестественнее живописуется неприятный субъект, тем лучше. Так, например, поляков он рисует и вероломными, и кровожадными, и сластолюбивыми, и безмозглыми, и вообще не останавливающимися ни перед какою подлостью; ежели же и находит в них какое-нибудь человеческое свойство, смягчающее несколько вышеупомянутые зверские инстинкты, то свойство это — безумие. Напротив того, русских он изображает добродетельными, но в то же время до того легкомысленными и легковерными, что они даже у себя под носом ничего не видят. Он забывает, во-первых, что в природе вообще не существует сплошных злодеев, а во-вторых, что легкомыслие, даже в соединении с добродетелью, тоже не бог знает какой драгоценный алмаз, чтобы можно было им хвалиться и выставлять напоказ.

Затем, что происходит далее — мы решительно не можем пересказать нашим читателям. Является множество новых лиц, совершенно ничем не вызываемых и ни для чего не нужных; эпизод лепится на эпизоде без всякой естественной связи с предыдущим и последующим; люди бродят из угла в угол, не находя себе ни занятия, ни пристанища, словно души грешников в чистилище, этом скучнейшем из всех скучнейших помещений. Ранеев умирает жертвою приливов правдолюбия, которые не помешали, однако ж, ему прожить до глубокой старости; Сурмин, как истинный кавалергард, не смутившись отказом Лизы, обращается с своими чувствами к Тонечке и сочетается с нею законным браком; Владислав, изменивши однажды русскому правительству, изменяет и делу повстания, за что, с одной стороны, получает руку и сердце Лизы, а с другой стороны, пулю в грудь от одного из повстанцев; Киноваров проигрывает в карты все состояние и с отчаяния топится в реке...

Когда-то г. Лажечникову был высказан совет оставить область творчества и заняться, буде он находит для себя литера-

турный труд небесполезным, изданием мемуаров, которые, во всяком случае, должны быть небезынтересны. Совет этот мы и с своей стороны находим весьма разумным и охотно присоединяем к нему наш слабый голос.

ВОСПОМИНАНИЯ ПРОШЕДШЕГО. Были, рассказы, портреты, очерки и проч. Автора «Провинциальных воспоминаний». Москва. 1868

Вот и еще старичок, и притом презлопамятный. Все, что видел или слышал в течение своей многолетней жизни,— все это он аккуратно записал на бумажку и теперь неукоснительно предает тиснению. Нельзя сказать, конечно, чтобы виденное и слышанное им было особенно умно; скорее можно даже так выразиться, что это не более как беспорядочный сброд анекдотов из области сновидений. Все, что автору или его знакомым приходилось видеть во сне, пересказывается читателю как факт, не требующий разрешения; то же, что удавалось им видеть наяву, тоже оставляется без истолкования, на том основании, что право толкований и разрешений принадлежит только богу — сердцеведцу.

Говорят, что юмористы наши нередко впадают в преувеличения и что, например, повествования г. Щедрина о разных губернских помпадурах и помпадуршах представляют некоторые юмористические излишества, ни для кого будто бы несомненные. Мы, однако ж, сильно сомневаемся в справедливости этого суждения и знаем такие примеры, что некоторые помпадуры сами о себе, и притом самым серьезным образом, писали такие юмористические сочинения, перед которыми бледнеет самая резкая русская юмористика, и которые могли бы быть сочтены клеветою, если б не существовало пословицы: scripta manent [1].

Подобное же юмористическое о себе сочинение оставил для потомства и г. И. В. Селиванов в предисловии к «Воспоминаниям прошедшего». Это предисловие так любопытно и притом представляет такую полную характеристику разбираемой нами книги, что мы даже считаем себя не вправе не выписать его вполне, тем более что это свидетельство о себе самого автора увольняет нас от дальнейшего разговора по поводу его книги. Вот оно:

Рассказы, составляющие этот второй выпуск «Воспоминаний» (кроме последнего, помещенного в «Искре» за 1865 год), нигде напечатаны не были. Большая часть из них, может, покажется читателям игрой праздного вооб-

[1] написанное остается.

ражения на мне, как на издателе, лежит, следственно, обязанность удостоверить их, что рассказы эти не фантазия, и указать источники, откуда они взяты, оставляя, разумеется, за них ответственность на тех, от кого слышаны Мертвых, где можно, я назову по имени, живых буду означать заглавными литерами, потому что не знаю, будет ли им приятно видеть свое имя в связи с такими происшествиями, в которых большинство, боясь быть смешным, сомневается публично и верит втихомолку.

Печатая эти рассказы, я имел в виду поднять несколько вопросов в высшей степени интересных и требующих всевозможного обсуждения Отрицать что-нибудь не значит доказывать,— и я думаю, что история Наполеона I, отсылающего Фультона как идеалиста (то есть сумасброда), когда тот стал предлагать ему устроить пароход, теперь понятный всякому мальчишке,— должна быть у всякого перед глазами. Смеяться можно надо всем, за насмешку ведь пошлины не берут, не надо только забывать пословицу rira bien qui rira le dernier![1] А кто будет этот dernier — это знает один бог. Так точно и с отрицанием. Отрицайте, что хотите, только исследуйте прежде И когда *опытом* убедитесь, что предлагаемое вам — вздор, тогда отрицайте во имя науки и опыта. Но до тех пор воздержитесь, потому что еще неизвестно: qui rira le dernier.

Первый и второй рассказ взяты из моей собственной жизни. В них все верно, кроме испытания огнем и водою да убийства: эти три случая взяты мною из рассказов, помнится, Н. Ф. Ладыженского о вступлении его в какую-то масонскую ложу. Господин, уверявший меня о возможности превращения жезлов в змей, был Г. Н. К., человек в высшей степени почтенный; тот, на кого он указывал как на призванного,— был его тесть В С К. Оба они принадлежали, ежели не ошибаюсь, к обществу среднего пути. Явление поэта Дельвига рассказано мне было К. Г. Л — ой слово в слово так, как здесь написано. Хотя ни г-д Г. К. и В. К., ни г-жи Л. нет уже в живых, но я не помещаю здесь их полных имен, не зная, как понравится это их детям, мною искренно уважаемым. Рассказ Матрены слышал я от Г Никитникова, бывшего моего товарища по службе в горном правлении. Он был сын того священника, в доме которого событие это происходило, в приходе богоявления на Элоховом мосту, домик этот, кажется, и теперь еще существует. Он был человек достойный всякого вероятия. С. С. Коровин лицо не вымышленное; он жил, действовал и рассказывал так, как здесь написано, я знал его, будучи еще ребенком, и сохранил об нем самое теплое воспоминание Рассказ о двигающейся мебели слышал я, вместе с другими гостями, в Коломенском уезде, в доме Г. Л — н, за большим именинным обедом, ежели не ошибаюсь, в 1833 или 34 годах, от Г. Мейера. Убийство Зазубрина (Заборовского) случилось, кажется, в 1853 или 54 году; здесь рассказана догадка членов уголовной палаты об этом убийстве, которое так и осталось необъясненным Рассказ о двойнике-родственнике слышан был мною от А. А. С., человека истинно и достойно мною уважаемого; словам его, какие бы они ни были, я верю безусловно, ибо уверен вполне, что сказать неправды он не может. Событие о том, как Н. И Н. хотел увезти себе жену, тоже не выдумано и верно от сл ва до слова. Длинник был живое лицо, похождения его рассказаны с математическою точностью; это было лет 30 тому назад. Рассказ о 12 светильниках слышан мною от моей прабабушки, А. А. Нестеровой; все, что об ней говорится, верно, как нельзя более. Опыты над пишущими столами деланы были мною самим, и я принимаю на себя вполне за них ответственность.

Тех, которые и после этого объяснения будут сомневаться в том, что написано в этой книжке «Воспоминаний», я попрошу вспомнить слова Шек-

[1] хорошо будет смеяться тот, кто будет смеяться последним.

спира, поставленные эпиграфом к Вечерним рассказам; а ежели и этого им будет недостаточно, пусть припомнят они слова древних: безрассуден тот, кто *всему* удивляется, но еще безрассуднее тот, кто *ничему* не удивляется...

«Имеяй уши слышати, да слышит».

Вот каковы бывают перлы, которыми угощают публику старички-писатели. Задумай какой-нибудь юморист выдумать что-нибудь подобное — скажут: шаржа, клевета, глумление. К счастью, автор «Провинциальных воспоминаний» разрешает этот вопрос настолько удовлетворительно, что даже сомнений никаких оставаться не может. Нет шаржи более забавной и веселой, нежели та, которую способен сочинить сам на себя слишком злопамятный и аккуратный старичок-писатель.

МЕЖ ДВУХ ОГНЕЙ. Роман в трех частях М. В. Авдеева. С.-Петербург. 1869

Время, которое предпринял г. Авдеев изобразить в своем романе, бесспорно представляет одну из интереснейших страниц в истории нашей общественности. Это — всем памятное время упразднения крепостного права, время литературного и общественного движения, время оживления русской мысли, время всяческих заявлений и надежд. Трудно выбрать момент более драматический и животрепещущий, и с этой стороны нам, конечно, приходится только отдать полную справедливость похвальной чуткости почтенного автора. Вспомним, что крестьянская реформа есть исходный пункт всех последующих явлений русской жизни и что ею одной объясняется, например, та рознь, та нравственная и умственная смута, которая вслед за тем возникла и утвердилась в нашем обществе.

Нам скажут, быть может, что крестьянская реформа — явление слишком к нам близкое, что оно чересчур живо затронуло лично каждого из нас, чтобы можно было в настоящую минуту отнестись к нему совершенно свободно. Повествователь-очевидец, скажут нам, едва ли сумеет воздержаться от употребления неумеренных и густых красок для рисовки того или другого явления, уже по тому одному, что он сам был участником во всех перипетиях драмы, сам принадлежал к той или другой из действующих партий, сам страдал, ненавидел, любил. Но, как ни справедливо это замечание теоретически, мы, русские, можем принять его лишь с значительными ограничениями. Соглашаясь безусловно, что настоящая наша современность есть не что иное, как логический и необходимый

продукт современности 1861 года, мы тем не менее были бы очень близоруки, если б пропустили без внимания, что между тою и другою уже легла очень резкая черта, которая круто заканчивает едва начатое и начинает вновь едва законченное. Благодаря этой черте, результаты 1861 года настолько выяснились, что мы можем оглянуться назад без волнения, и беспристрастная оценка побуждений, руководивших участвовавшими сторонами, делается доступною даже для тех из нас, которые были в самом центре недавней лихорадочной деятельности.

Движение, которое вызвано было крестьянской реформой, было одним из тех внезапных и решительных движений, которые сразу обнаруживают правоспособность или неправоспособность страны. Мы не можем сказать, чтоб реформа была встречена нами равнодушно; напротив того, она вызвала скорее всеобщее и повсюдное ликование; но глаз опытного наблюдателя даже в первые минуты ликования мог заметить, что в этой внезапной восторженности есть что-то непрочное и случайное. Прежде всего поражало, что область восторженности ограничивалась *исключительно* крестьянскою реформой, не захватывая никаких других явлений жизни, не допуская никаких дальнейших развитий и выводов. Во-вторых, казалось странным, что общество и непосредственно вслед за освобождением, да и в последующее время, всецело предалось гимнам и песнопениям, как бы забыв совершенно, что реформа затрогивала очень много таких интересов, устройство которых требовало совсем не песнопений, а спокойной работы мысли, а пожалуй, и способности анализировать, возражать и вообще отстаивать свое мнение. В-третьих, еще более странным казалось, что вчерашние несомненные противники реформы сегодня уже находятся в рядах ее ревностных защитников. В-четвертых, сравнивался вчерашний застой с сегодняшним движением, и отсутствие посредствующего звена между тем и другим не могло не наводить на сомнения. В общем же результате движение представлялось смутою, тою нравственною и умственною смутою, которая временно вводит людей в заблуждение насчет самих себя, насчет их собственных надежд и стремлений, которая соединяет в один лагерь личности, ни в чем между собой не согласные, которая поселяет рознь и вражду между единомышленниками, которая богата грядущими обличениями, клеветами, изменами и отступничествами.

Чтобы дать понять, до какой степени подобные минуты в жизни обществ бывают богаты всякого рода противоречиями, мы считаем нелишним указать здесь на недавний драму-роман Жорж Санда «Кадио». Действие этого замечательного

произведения происходит в Вандее во время известного междоусобия (1792—1795 г.). На сцене с одной стороны полные энтузиазма республиканцы, с другой — не менее горячие монархисты; посреди сцены — так называемые эклектики, люди практики, умеющие ловить рыбу в мутной воде. Но глубоко ошибется тот, который, имея дело, например, с республиканцем, скажет себе: я знаю, с кем имею дело, знаю, чего этот человек хочет и как он вслед за сим будет поступать! — потому что этот человек сам всего менее знает, какой нравственный перелом совершится с ним в следующую минуту. В этой потрясенной среде, в этом полуфантастическом мире нет ни одного общественного агента, который мог бы считать себя свободным от нравственной смуты, который бы каждую новую минуту не вспоминал с некоторым изумлением (а иногда даже с невольною краскою на лице) о минуте только что прошедшей.

Жорж Санд, с мастерством поистине поразительным, сумела проникнуть в самое святилище этой смуты и воспользоваться теми потрясающими положениями, которые естественным образом из нее вытекают. Вы видите перед собой людей, двигающихся в каком-то чаду, под гнетом фаталистической силы, людей, идущих наугад и очень часто приходящих совершенно не к той цели, к которой они стремились. И совсем не потому, что это были люди не убежденные или малодушные, а просто потому, что убеждения их на каждом шагу подвергаются самым непредвидимым испытаниям, что их самих всецело заливает жизнь с ее противоречиями, сплетениями и трудностями. Одним словом, вы видите даже почти не отдельные личности, а саму живую смуту, которая воочию проходит перед вами и в которой, как в громадном муравейнике, непроизвольно шевелятся и дышат те или другие человеческие клички. Все это, конечно, может и не изменить вашего взгляда на самое событие и его исторические результаты, но наверно, и значительным образом, изменит ваше отношение к тем общественным агентам, которые участвовали в событии, которые изменяли и вновь возвращались, ненавидели и вновь любили.

Нечто подобное этой смуте — конечно, в неизмеримо меньших размерах — происходило и у нас вследствие крестьянской реформы. Все в эту минуту изменилось как бы волшебством: и пропорции, и формы, и имена. Приниженное вчера — сегодня восходило наверх; стоявшее вчера на высоте — в одно мгновенье скрывалось и утопало в той области безвестности и безразличия, из которой если, по временам, и выходило вновь наружу, то для того только, чтобы пропеть в унисон. Индивиду-

альная истина, которую до тех пор каждый самоуверенно выставлял вперед, перестала быть истиною; она уступила место с одной стороны — голословному энтузиазму, с другой — выжидающему лицемерию. Каким перипетиям могло дать место подобное запутанное и натянутое положение, какую роль могла играть в этой смуте отдельная человеческая личность той или другой партии, в чем состояли стремления партий, как они уживались и сговаривались друг с другом, чем разрешались эти стремления, как произошло из них то, что произошло — вот, без сомнения, задачи, достойные талантливейшего наблюдателя общественной жизни и в то же время могущие дать материал для исследования не только интересного, но и глубоко поучительного.

Но покамест мы можем сказать, что эпоха 1861—1863 годов еще ждет своего бытописателя и что до сих пор для разъяснения ее русская литература не сделала ровно ничего. Повторяем: мы отдаем полную справедливость намерениям г. Авдеева и его чуткости в выборе предметов для своих беллетристических трудов, но этим и должна ограничиться наша похвала его новому произведению. Скажем более: на этот раз даже обычная чуткость изменила почтенному автору, так как он отнесся к интересному времени до крайности бесцветно и вяло и воспользовался им исключительно в качестве рамки, которую и наполнил довольно бледною и не новою фабулой.

Значение г. Авдеева в русской беллетристике нельзя назвать особенно сильным. Никто (а тем менее мы), конечно, не решался отказать ему в таланте, да и нельзя этого сделать без явной несправедливости, но в то же время очень немногие считали нужным останавливаться на его произведениях и пристально вглядываться в них. Оказывалось, что все, что в них повествуется, уже было когда-то и где-то написано и что это когда-то и где-то написанное было и полнее выражено, и образнее нарисовано, нежели у г. Авдеева. Часто подражательные свойства таланта автора помогали ему увлечься общим мотивом и колоритом того или другого образца, но в то же время препятствовали усвоить этот мотив в такой степени, чтоб он мог претвориться в живой образ, или, лучше сказать, в то многоразличие живых образов, которое так или иначе сгруппировывается около основной идеи произведения. Ничто так легко не поддается подражанию, как общие мотивы, и ничто так легко не ускользает от художественных повторений (за исключением, разумеется, случаев явной литературной экспроприации, в чем мы считаем даже невозможным упрекнуть г. Авдеева), как образцы. В произведениях автора «Меж

двух огней» читатель на первом плане находит именно колорит; что же касается до действующих лиц, то они кажутся только случайным придатком, не имеющим даже настолько определенных красок, чтобы на нем могло остановиться внимание читателя. Колорит, навеянный г. Авдееву образцом, почти всегда не изъят известного поэтического элемента, который и делает его привлекательным; напротив того, лица бледны, неясны и до такой степени друг на друга похожи, что со стороны читателя требуется немало усилий, чтоб запомнить, что такое-то слово сказано именно тем, а не другим из участвующих в драме лиц.

Всякому, кому привелось читать «Вареньку», «Тамарина» и пр., непременно приходил на память «Герой нашего времени» Лермонтова. Но ежели всякий и теперь помнит и Печорина, и Максима Максимыча, и Грушницкого, и Бэлу, и княжну Мери, то, конечно, никто не помнит, кто были действующими лицами в «Тамарине» или «Вареньке». Читатель, нет спора, и теперь может сказать, что впечатление, вынесенное им когда-то из чтения, например, «Вареньки», было впечатление приятное, но и только. Это приятное впечатление было впечатлением общего колорита повести, в котором не принял участия ни один живой образ, а потому оно и осталось впечатлением смутным. Давно ли печатался и производил очень хорошее впечатление «Подводный камень», а между тем едва ли найдется много из недавних современников этого произведения, которые сохранили об нем ясное представление, тогда как произведения Тургенева, от которых «Подводный камень» позаимствовался колоритом, и до сих пор у всех в памяти.

Новый роман г. Авдеева, заглавие которого выписано нами выше, к сожалению, слабее прежних произведений того же писателя В нем, как и в «Подводном камне», он остается верен тургеневской манере, но знакомая читателю восприимчивость автора уже в значительной степени подрывается вялостью, которая таким образом и становится характеристическою чертою романа. Отсутствие метких черт в характерах действующих лиц, бесцветность языка, слабость и случайность вымысла — вот качества, которые делают чтение этого произведения делом весьма нелегким и удовольствия не доставляющим. Автор, как сказано выше, был у самого источника интереснейших общественных компликаций и не воспользовался ничем из богатого материала, который находился у него под руками.

Действие романа происходит в губернском городе Великофедорске, сначала в самый разгар толков об ожидаемой крестьянской реформе, потом — во время осуществления реформы.

Герой, некто Камышлинцев, принадлежит к числу тех праздношатающихся русских людей, которые со времен «Евгения Онегина» не перестают пользоваться сочувствием наших беллетристов Камышлинцев ни к чему не мог себя пристроить: ни к науке, ни к государственной службе, ни к деятельности по выборам почтеннейшего дворянства. По справедливому выражению г. Авдеева, он мог себя назвать «помещиком не у дел, то есть помещиком, не занимающимся ни собаками, ни хозяйством и не знающим, что из себя делать». Сверх того — и по мнению автора это обстоятельство смягчающее — Камышлинцев постоянно находился в ожидании «большого дела» и «большой любви», для чего решился даже остаться холостяком. И вот этот-то человек, слонявшийся всю жизнь праздно, учившийся чему-нибудь и как-нибудь и вследствие того не находящий себе нигде приюта; этот не помнящий родства бродяга, изнывающий в ожидании «большой любви», вдруг догадывается, что, наконец, наступил и на его улице праздник и что вдали показался приют, в котором он может отдохнуть от подвигов праздношатания. Что же это за приют? спросите вы, читатель. Увы! это крестьянская реформа, это то великое дело, которое дало жизнь столь малым людям и приютило в недрах своих столько калек и чающих движения воды! Стало быть, сильна была наша праздношатательная самонадеянность, коли мы, всю жизнь употребив на то, чтобы куда-нибудь приклонить голову, и не найдя нигде места для этого пустого и бесполезного сосуда, вдруг встрепенулись при мысли о возможности устроиться с этим хламом... где? — в вопросе об освобождении десятков миллионов людей!

Тип подобного гулящего русского человека, без сомнения, не новый; но и за всем тем он так для всех памятен и полон такой недавней действительности, что основать на нем повесть или роман — предприятие далеко не безынтересное. Люди подобного закала принадлежат к тому бесчисленному легиону, члены которого, руководствуясь пословицей: «Не боги горшки обжигают», охотно принимают всякое дело за глиняный горшок и приступают к орудованию не столько с размышлением, сколько с дерзновением. Что может наделать такой господин, сколько он может намесить пирогов из грязи, благодаря своему дерзновению,— это предмет не только любопытный, но и поучительный, тем более что в этом случае бестолковые вожделения отражаются не исключительно на самом бестолковом деятеле (который нередко за это даже хорошее жалованье получает), но и на целой среде. Однако ж г. Авдеев взглянул на своего героя совсем другими глазами. По какому-то необъяснимому недоразумению, почтенный автор нашел, что у этого

гулящего, пошлого человека есть хорошие дрожжи и хороший живчик.

«У всякого человека есть свои дрожжи и свой живчик»,— прибавляет автор, и хотя нигде не дает удовлетворительного объяснения, что́, собственно, означает загадочный живчик, однако не затрудняется пустить своего героя на поиски какого-то «большого дела» и какой-то «большой любви», вооружив его одною этою легкою и загадочною ношею. Этого «живчика», в соединении с двумя громкими, но, к сожалению, совершенно бессодержательными словами («большое дело», «большая любовь»), кажется автору совершенно достаточно, чтобы взглянуть на Камышлинцева не только снисходительно, как на ребенка, подающего ранним лепетанием некоторые надежды, но и серьезно, как смотрят на личность недюжинную и стоящую целой головой выше окружающей среды. Посмотрим же, прежде всего, что это за «большое дело», к которому стремится Камышлинцев, а потом порасскажем кой-что и о его «большой любви».

Сам Камышлинцев ни одним словом не проговаривается об «деле». Напротив того, из всего, что об нем узнает читатель, видно, что он никогда никакого дела не видал в глаза и даже потребность в нем не сознавал; что он только «присматривался», но ни к чему присмотреться не мог, то есть ни к науке, ни к службе и ни к какому другому труду. Он сам, на вопрос одного из братьев Мытищевых (братья Кирсановы! откликнитесь! где вы?), адресованный уже в то время, когда крестьянская реформа окончательно была решена, что̀ он намеревается делать? — отвечает: «Да сам не знаю; хочется работать, да не могу придумать». Стало быть, до самой последней минуты этот герой представляется нам человеком не только не имеющим никакого миросозерцания (без чего немыслимо никакое «дело»), но положительно самым простым искателем приключений, который старается наткнуться на дело, вовсе не помышляя о том, в чем будет оно заключаться: в том ли, чтобы создавать, разъяснять и ограждать возникающие народные права, или в том, чтобы месить из грязи пироги.

Тем не менее дело возникает, но оно приходит извне, приходит сюрпризом. Ни Камышлинцев, ни другие подобные ему искатели приключений ничего не сделали ни для того, чтоб ускорить, ни для того, чтоб отдалить появление его на сцене русской жизни. Но для скромных нахалов подобного закала соображения такого рода препятствием служить не могут. Ни к чему не приготовленные, ни о чем не думавшие, они не задают себе вопроса, какого же рода может быть их участие в предполагаемом деле, но, без всяких рассуждений, вылезают

из всех нор, чтобы положить и свою скудную лепту на алтарь отечества. И вот, вместе с толпою прочих цивилизованных бродяг, спешит из-за границы и Камышлинцев, спешит затем, чтобы и для своего бесполезного сосуда найти где-нибудь временный приют. Но, приехавши в Россию, он убеждается, что все, что ни проходит перед его глазами, представляет собой тот же дремучий лес, каким были до сих пор и прочие явления жизни, к которым он думал приурочиться. Он начинает вновь «присматриваться», то есть продолжает ту же самую бесконечную и безрезультатную игру, которой предавался и доселе, и предметом своих «присматриваний» избирает русского меньшого брата. История сближения Камышлинцева с меньшим братом (по поводу какой-то гулящей полянки, которая принадлежит герою романа и которую крестьяне желают взять в кортому) описана автором до того наивно, что одно это описание вполне выдает миросозерцание, разлитое в новом произведении г. Авдеева. Представьте себе, с одной стороны, премудрого кадета, который с детскою рассудительностью решил, что отношения тогда только бывают прочны, когда они основаны на расчете, и который вследствие того по поводу выторговываемых крестьянами за полянку тридцати рублей являет непоколебимую стойкость души; с другой же стороны, представьте стадо не то меньших братий, не то человекообразных, которые из-за тех же тридцати рублей не только решаются на всевозможные лукавства и коленопреклонения, но и сами себя готовы проклясть в преисподнюю,— и вы будете иметь поверхностное понятие о том, что̀ означают так называемые «присматриванья» Камышлинцева. Борьба ужасная и для кадетской стойкости весьма решительная, но, к счастью, действие, которое она производит на читателя, отнюдь не соответствует ожиданиям почтенного автора. Читатель припоминает, сколько было на его памяти совершено геройств из-за полтинника, и, соображая малую ценность этой монеты, без труда приходит к заключению, что здесь именем геройства украшается едва ли не очень обыденная кадетская пошлость...

Сказанного выше, кажется, очень достаточно, чтобы определить личность Камышлинцева и степень его участия в деле, к которому, по собственному сознанию, он чувствует себя совершенно неприготовленным. И действительно, как ни усиливается г. Авдеев сообщить деятельности своего героя характер борьбы за убеждения, факты, которые им представляются в подтверждение этой мысли, свидетельствуют, что тут совсем нет борьбы, а есть неуместное и очень невинное подразнивание со стороны человека, стоящего отнюдь не на высшем

уровне, нежели те, которые обретаются в так называемом враждебном лагере, но находящего для себя выгодным временно побудировать. Самая горячность, с которою Камышлинцев и ему подобные бросились на защиту подробностей и частностей, уже доказывает, что они не поняли ни общего смысла дела, ни тех выводов, которыми оно так богато. От внимания их ускользнуло, что реформа отнюдь не ограничивалась освобождением Петра и Ивана, но в то же время освобождала всю русскую жизнь, полагая для нее новые и более широкие основания. Растратив на первых же порах слабый запас своих сил на мелочи, эти люди оказались и несостоятельными, и бессильными, и трусливыми, как только жизнь представила нечто более, нежели угнетенных Петров и Иванов. Что же мудреного, что из всей совокупности подразниваний ничего иного не вышло, кроме водевиля, в конце которого дразнители были с позором выгнаны со сцены?

Таким образом, оказывается, что «большое дело», предчувствием которого томилась душа Камышлинцева, если и имеет право на название «большого», то потому только, что предмет его составляет наполнение той действительно безграничной бездны, которая называется праздностью. И напрасно почтенный автор будет доказывать, что деятельность его героя все-таки не была бесследною; напрасно он будет утверждать, что около Камышлинцева группировались партизаны, что против него составлялись комплоты, что он — о, чудо! — приобрел популярность даже в той низменной среде, которая, по всем соображениям, может всего менее сочувствовать бессознательной деятельности. Все это очень возможно, ответим мы ему, но все это доказывает только то, что мир странностей, в котором живут и действуют люди, подобные Камышлинцеву, достаточно обширен, чтобы вместить в себе не только деятелей, не понимающих, что они делают, но даже целую среду, которая спокойно терпит давление бессознательной деятельности и даже умеет проникаться по поводу ее чувством благодарности. Одна из характеристических особенностей той фантастической сферы, которой касается разбираемый нами роман, именно в том и состоит, что тут никто не знает, чего он хочет, об чем думает и к чему стремится.

Таково пресловутое «большое дело». Посмотрим теперь, какова та «большая любовь», на которую не без ударения намекает Камышлинцев в начале романа.

Любовь является совершенно внезапно. Предмет ее — Ольга Мытищева, жена декабриста, возвращенного из ссылки в нынешнее царствование; это хорошенькая жен-

щина, одна из тех провинциальных шикарных барынь, кото-рые особенно падки до интимно-скоромных разговоров. Ища «большой любви», Камышлинцев так же случайно наталки-вается на Ольгу Мытищеву, как случайно наталки-вается он и на крестьянскую реформу, ища «большого дела», то есть без малейшего участия сознания, а только потому, что у Ольги, как выражается г. Боборыкин, есть «перси». «Время шло (и очень короткое время, заметим мы от себя), говорит автор, люди жили, их чувства жили и развивались, а изве-стно, какое направление принимают они, когда молодые муж-чина и женщина, ничем особенно не занятые, часто видятся, да еще иногда и наедине!» Просто до безобразия. «А изве-стно, какое направление»,— в этих словах открывается вся история «большой любви» Камышлинцева и в то же время рекомендуется довольно пошлая теория отношений мужчины к женщине. Но так как теория эта слишком достаточно гово-рит сама за себя, то мы и не остановимся на ней, а будем про-должать наш рассказ о любви Камышлинцева. Действи-тельно, чувства его развивались быстро, и вот в одно пре-красное послеобеда, когда Мытищев ушел спать, они приняли уже совсем то направление, которое г. Авдеев предполагает неизбежным. Мы вообще неохотно делаем выписки из разби-раемых нами авторов, но для того, чтобы читатель мог с над-лежащею ясностью представить себе, какие бывают признаки «большой любви», считаем нелишним выписать здесь одну сцену.

Когда они очнулись и Мытищева, оправляя волосы, отодвинулась от Камышлинцева и решилась взглянуть на него, ее разгоревшееся лицо ды-шало такой нежной, стыдливой и полной любовью, ее карие глаза глядели так ласково, что Камышлинцеву было видно до самого дна все ее нежное, горячее чувство, и, исполненный глубокой любви и благодарности, он снова припал к ее руке.

Вскоре пришли муж и деверь, приехала Барсукова, за которой еще утром посылала Мытищева, подали самовар на террасу, и хозяйка, по-прежнему милая, но еще более веселая и одушевленная, как ни в чем не бывало разливала чай. Только нежный румянец ее лица был живее и глаза стали темнее и вместе блестящее Но Камышлинцев был рассеян, точно пе-ред ним все рисовалась какая-то другая картина и он не мог оторваться от нее Никто, впрочем, не заметил какой-либо перемены в отношениях моло-дой пары. Только старик Василий Сергеевич, всклоченный и заспанный, принимая от золовки стакан, поглядел на нее и сказал «Что это, Ольга, ты сегодня нестерпимо хороша?»

Внимание всех обратилось на Мытищеву.

Муж с улыбкой и любовью поглядел на жену, Барсукова взглянула как бы спроста, но внимательно, а Камышлинцев уткнулся в стакан Ольга вспыхнула несколько и сказала:

— Смотрите, старый, я Агафье пожалуюсь!

Агафья была шестидесятилетняя ключница, которая заведовала его хо-зяйством.

— Агафье! а на тебя кому жаловаться? — спросил старик, насмешливо поглядывая на нее из-под густых бровей своими еще быстрыми, но старческими с красноватыми жилками глазами.

Вместо ответа Мытищева жестом Рашели подняла указательный палец к небу.

— Ну, это слишком высоко! — проворчал старик.

Сценка эта очень характеристична, ибо показывает, как близко иногда граничит милая безделица с милым бездельничеством, именуемым, для красоты слога, «большою любовью». Люди совершают так называемый «решительный шаг» и вслед за тем столь же спокойно впадают в обычное вседневное течение жизни, как будто бы ничего и не случилось. Она — оправляет прическу и разливает чай, он — немножко рассеян,— и только! Ни тому, ни другой не приходит на мысль, что есть еще третье лицо, которое насчет «решительного шага» может иметь понятия, допустим, и неправильные, но все же достаточно окрепшие, чтоб можно было свободно их обойти. И этот третий — не шалопай какой-нибудь, а человек, которого автор рекомендует, как образец честности, нежной чувствительности, добродушия и доверчивости (Кирсанов-младший). Как примирить это половое легкомыслие с представлением о «большой любви»? Не приличнее ли, напротив, употребить тут более подходящее название péché mignon [1]. Почему, спрашивается, эти два существа разного пола сошлись друг с другом? Участвовала ли тут страсть, положим, неразумная и несправедливая, но тем не менее всецело порабощающая человека? — нет, не участвовала, потому что главным мотивом сближения было безделье и взаимное самораздражение с помощью интимных разговоров. Участвовало ли разумное сознание о сходстве понятий, характеров, о том, что эта непрерывающаяся симпатия ничем иным и разрешиться не может, кроме полного сближения? — нет, и этого участия не было. Люди сближаются потому только, что «им часто приходилось видеться наедине», и потому, что они принадлежат к разным полам. К этому определению невозможно прибавить ни одного слова — к чему же тут «большая любовь»? Не простее ли было охарактеризовать это явление, сказавши, что в такой-то день и в таком-то городе, в постели такого-то (имярек) поселился лишний паразит? Но в таком случае, стоило ли так громко публиковать о столь негромком происшествии?

Насколько мизерно и бессознательно началась «большая любовь» Камышлинцева, настолько же мизерно и бессозна-

[1] милый грешок.

тельно она и кончилась. Кончилась она в ту самую минуту, когда началось «большое дело», о котором мы объяснили выше. Ольга не понимала и не могла понять (да и кто же бы на ее месте понял?), что на свете есть какое-то «большое дело»; она видела, что в глазах ее беспрерывно мелькают какие-то Петрушки и Феньки, в которых Камышлинцев почему-то считает своим долгом принимать участие и которые, очевидно, отвлекают его от прямых обязанностей, налагаемых «большой любовью». Естественно, что она возроптала, и вот начинается ряд так называемых недоразумений, в которых для одной стороны поправкой является флигель-адъютант Гогенфельд, для другой стороны — молодая, слегка эманципированная девица Анюта Барсукова.

Эта последняя пленяет Камышлинцева своей рассудительностью, деятельностью и основательными замечаниями о женском труде. Камышлинцев одумывается и начинает понимать, чего ему нужно. Он убеждается, что все человеческие бедствия происходят оттого, что большая любовь мешает большому делу. Но нужно ли рассказывать еще историю и этой второй большой любви? Полагаем, что это будет совершенно излишне, тем более что и всего сказанного нами выше уже достаточно, чтобы убедить читателя, какого рода характер предъявляет г. Авдеев читателю в лице Камышлинцева, как характер серьезный, от которого, пожалуй, позволительно ожидать чуть-чуть не обновления отечества, и который потому только проходит бесследно, что окружающая среда не в силах понять и оценить его.

Мы могли бы, кроме того, сообщить читателю некоторые небезынтересные подробности и о прочих действующих лицах романа, но рецензия наша и без того вышла неумеренно длинна. Тем не менее мы не можем отказать себе в удовольствии выписать здесь окончание сцены, изображающей момент, в который Мытищев узнает об измене жены и освобождает ее от обязательных отношений к себе.

— Я знаю,— продолжал Мытищев,— что надо мной будут подсмеиваться. Но я презираю эти дрязги и сумею стать выше их. И вы должны мне помочь,— сказал он строго — Вы должны поднять головы высоко и смотреть всем прямо в глаза Слышишь, Ольга! Если я не виню тебя, то тебе нечего бояться света: ему нет дела до наших семейных отношений! .

Он прошелся несколько раз молча.

— Я переменю квартиру, и вы должны жить с нами,— сказал он Камышлинцеву.— Сегодня у нас будут обедать несколько человек, вы должны тоже быть. Постарайся оправиться, Ольга, и чтобы все было как обыкновенно. На нас будут смотреть, и я не хочу никому доставить удовольствия радоваться моему несчастию.

При слове «несчастие» ему припомнилось все, что он терял и что с ним случилось· одушевление, в котором он себя поддерживал, расступилось, и

голая, грозная правда пробилась наружу. Голос дрогнул у Мытищева и он готов был разрыдаться, но сдержал себя и вышел, по-прежнему печальный, твердый и несколько торжественный. Римские герои, как изображают их легенды и старые учебники, должны были так удаляться с трибуны после своих речей.

Не правда ли, что неожиданнее этого сравнения с «римским героем» трудно даже придумать.

МЕЩАНСКАЯ СЕМЬЯ. Комедия в четырех действиях М В Авдеева. (Бенефис г-жи Жулевой 17 января)

Я мог бы писать отличные драмы, прекраснейшие комедии и дышащие животрепещущим интересом романы, но воспоминания преследуют меня. Они осаждают меня толпою, как только я берусь за перо. То Жорж Занд, то Тургенев, то Островский, то Гоголь, то Бальзак — держат мою мысль в такой тесной осаде, что я не могу сделать шагу, чтобы не раздражиться ими. Я очень прилежен и изо всех сил стараюсь что-нибудь выдумать, но сведущие люди утверждают, что все мои выдумки давно уже выдуманы и даже изложены в гораздо приличнейшей форме Тем не менее я человек скромный; я охотно примирился бы даже с ролью изобретателя изобретенного, если уж нет для меня никакой другой роли; но тут меня настигает другая беда. никак не могу свести концы с концами. Начну-то я довольно благополучно; жили да были такие-то и был у них подводный камень такой-то (смотри Жорж Занда, Бальзака, Тургенева и других изобретателей), но каким образом поступить с этим подводным камнем, каким образом сделать, чтоб он был действительно подводным, а не аэролитом — никак не придумаю. Много могу я измыслить всякого рода действующих лиц — и седых, и брюнетов, и белокурых, и скромных, и напыщенных, и прилежных, и ленивых; много могу написать разнообразнейших диалогов; но как свести этих действующих лиц в одно место, как заставить их быть именно «действующими», а не просто слоняющимися из угла в угол лицами, как устроить, чтоб мои диалоги приходились ко времени и к месту, чтоб суп у меня не подавался после пирожного и чтоб рубашка не надевалась после фрака — решительно ума не приложу. Всегда как-то так случается, что не сюжет обладает мною, а я обладаю сюжетом. Когда я пишу, то — много ли, мало ли я ни написал — я чувствую, что пьеса моя не имеет конца и иметь его никогда не может. То есть, коли хотите, он и есть, этот конец, но приходит он совсем не тогда, когда ему прийти нужно, а тогда, когда я сам того пожелаю.

В этом отношении я деспот беспримернейший; захочу — напишу пять действий; не захочу — окончу на третьем. Конечно, эта свобода имеет свои выгоды, но не могу скрыть, что иногда на меня нападает сомнение, действительно ли во всех случаях свобода есть такое сладкое благо, чтоб можно было пользоваться им без соблюдения экономии. Да и публика, как слышно, не очень-то долюбливает, когда в искусстве слишком исключительно господствует правление монархическое, неограниченное.

Вот мысли, которые невольно приходили мне в голову, когда я смотрел на новую комедию г. Авдеева, название которой выписано выше. Она с такою ясностью поставила передо мной вопрос о моем драматическом бессилии, что, выходя из театра, я дал себе слово впредь всегда оставаться самим собою и как огня опасаться чужих одежд. Сверх того, мне показалось, что неизлишне будет, если я по временам буду остерегаться слишком широко захватывающих мыслей. Слов нет, оно хорошо, думалось мне, если мысль у меня с крылышками, а ну как, упаси бог, я не сумею совладать с нею да вдруг и сведу хорошую-то мысль к нулю. Ведь тогда, чего доброго, скажут, что я стреляю с ковра, а бью с рогожи. Нет, лучше оставлю-ка я хорошие мысли и буду довольствоваться мыслями средними. Пусть будет мой удел скромен, пусть буду я простым рассказчиком, фельетонистом, рецензентом; пускай называют меня человеком среднего полета; но, по крайней мере, я буду в состоянии утверждать, что те средние мысли, которыми я пробавляюсь, суть мои собственные мысли и что то добро, которым я от времени до времени делюсь с публикой, есть мое собственное добро.

По моему мнению, скромный удел есть в то же время и самый завидный удел в целом мире. Не тот писатель блажен, который, подобно орлу, ширяет в высотах, высматривая, не завалялось ли где годного для употребления вопроса, а тот, который имеет хотя и не мудрые, но свои собственные вопросы. Очень может быть, что найдутся зоилы, которые скажут, что обладатель немудрых вопросов мелко плавает, но наверное никто не будет отвергать, что у него есть *собственное* место в литературе. Его не смешают ни с кем другим и тем избавят от неловкой обязанности выслушивать комплименты за Тургенева, Островского и Бальзака.

Хотя публике мало известно, что г. Авдеев несколько лет сряду агитирует в русской литературе вопрос о положении современной женщины в семействе и обществе, тем не менее эта неизвестность происходит совсем не от того, чтобы попытки почтенного автора в этом отношении могли подлежать ка-

кому-либо сомнению, а от причин совершенно особого рода. Между этими причинами самое главное место занимает то обстоятельство, что г. Авдеев нигде с достаточной ясностью не высказал. что, собственно, его беспокоит в современном состоянии женского вопроса, почему он находит положение женщины неудовлетворительным и чего бы он желал для улучшения его? Хотя героини романов г. Авдеева прежде всего рекомендуются читателю как женщины угнетенные и недовольные, но это недовольство имеет очень мало действительных точек соприкосновения с женским вопросом, и стихия, которая ярче всего выступает вперед в этом случае, есть стихия, так сказать, камелийная. Женщина г. Авдеева не ищет никакой другой свободы, кроме свободы любви, так что, ежели мы сравним эту основную идею его произведений с теми традициями, которыми издревле руководился роман, изображая так называемую «преступную любовь» или «любовь с препятствиями» (обыкновенное содержание всякого романа), то легко убедимся, что между первою и последними не имеется никакой существенной разницы. А так как читатель всегда усматривает в книге не *более того, что она ему дает* действительно, тенденциозность же г. Авдеева выражается не столько ясностью возбуждаемых им вопросов, сколько частым обращением к одной и той же теме, то из этого выходит, что все старания его указать на неудовлетворительность положения современной женщины в обществе пропадают для большинства читателей даром, то есть представляются обыкновенными приемами, к которым прибегает каждый автор, желающий сделать «преступную любовь» одним из элементов изображаемой им драмы. И таким образом, значение г. Авдеева, как писателя — специалиста по части женских интересов, не успело в глазах публики получить никакой силы и с самым именем почтенного автора не связывается в уме читателя иного понятия, кроме того, что оно принадлежит писателю, подобно прочим приятно описывающему те случайности, которым подвергается женщина, желающая испытывать волнения «преступной любви».

Нельзя не признаться, что подобное определение литературной физиономии г. Авдеева вполне справедливо; тем не менее оно было бы очень односторонне в устах людей, занимающихся русской литературою ex professo[1]. Эти последние при оценке автора обязаны принимать в соображение не только действительное его значение, но и те намерения, которые он сам предъявляет. Если адвокат на бракоразводном деле постоянно проигрывает процессы, которые он берет на себя,

[1] как профессией

то это все-таки не отнимает у него права именоваться адвокатом не по каким-либо другим, а именно по бракоразводным делам. Можно назвать его несчастным адвокатом, но отрицать его специальность нельзя. Точно так же нельзя отвергнуть и специальность г. Авдеева. Приступая к чтению или слушанию каждого нового произведения этого автора, можно заранее и безошибочно сказать, что на сцену наверное явится женщина, которая или преступила, или, по малой мере, нашалила и тем доказала свою правоспособность в сфере понимания женских интересов. Можно опровергать доказательность воззрений автора на существо женского вопроса, можно утверждать, что они поверхностны и ограниченны, но усомниться в его намерениях нет ни малейшего основания. Самое постоянство в выборе сюжетов уже доказывает, что тут нет никакой случайности, и я тем охотнее признаю этот факт, что он до крайности облегчает мой труд как рецензента.

Нет ничего приятнее, как иметь дело с писателем-специалистом. В последнее время наши литературные деятели заявили решительную наклонность устроиться каждый в своем углу и там на свободе предаться разработыванию различных специальностей, не допуская к ним никаких общечеловеческих примесей. У нас есть специалисты по части вольной клубнички, специалисты по части извещения, специалисты по части чиновнических обличений; если не ошибаюсь, то есть даже специалист по части легкомыслия. При взгляде на сочинения этих авторов вы сразу угадываете, о чем тут будет идти речь, и сразу же знаете, что̀ следует сказать об них в качестве рецензента. В этих сочинениях все специально, а следовательно, и все просто. Вы не рискуете встретиться тут ни с какою нравственною запутанностью, которую вам предстояло бы разъяснить, не найдете ни одного положения, которое являлось бы продуктом известного жизненного строя. Все здесь просто и изолированно; все живет своею собственною, независимою жизнью Следовательно, рецензенту при разборе такого рода сочинений предстоит одно: удостовериться, в какой степени автор остается верен своей специальности, то есть ежели он специалист по части легкомыслия, то до конца ли остается легкомысленным, ежели специалист по части вольной клубнички, то не заставил ли своего героя страдать от недостатка оной. И если автор оказывается исправным, то рецензенту ничего больше не остается, как доложить публике: такая-то книга принадлежит специалисту такому-то и, не представляя никакой пищи ни для ума, ни для сердца, в достаточной степени удовлетворяет избранной им специальности.

Признаюсь откровенно, точь-в-точь таким образом намере-

вался я поступить и в настоящем случае, когда отправлялся в Александринский театр в бенефис г-жи Жулевой Признавая г. Авдеева одним из самых решительных литературных наших специалистов, а именно специалистом не столько по части женского вопроса, сколько по делам бракоразводным, я рассуждал так: хотя мне положительно известно, в чем заключается сюжет новой пьесы, и я мог бы с помощью одной афиши рассказать читателю ее содержание, но так как мне пришлось бы при этом утверждать, что я лично присутствовал при ее представлении, то пойду в театр хотя бы только для очищения совести. Однако на сей раз ожидания мои были обмануты, и самым неприятным образом.

Нельзя сказать, чтобы г. Авдеев совершенно покинул дорогой ему бракоразводный вопрос, но он дал ему в новом своем произведении эпизодическое значение и тем значительно повредил своей репутации как специалиста К счастью, в то же время он остался совершенно верен другой своей специальности, то есть той чуткости, с которою он постоянно относится к произведениям других своих собратий по ремеслу.

Идея «Мещанской семьи» не новая, но очень благодарная. Разбогатевшее, завистливое мещанство, охотно отрекшееся от своего прошлого, но еще не успевшее отыскать для себя твердой почвы в настоящем; мещанство, беспрестанно само себя обличающее, самодовольное и в то же время на каждом шагу озирающееся, мещанство, видящее себя предметом самых грубых ласкательств и в то же время не могущее скрыть от себя, что за этими ласкательствами таится едва сдерживаемое презрение,— вот тема, которую избрал г. Авдеев для нового своего произведения и которую, по всем видимостям, внушила ему комедия Ожье: «Le gendre de monsieur Poirier». Повторяю: тема очень благодарная и в руках талантливого автора могущая дать канву для разнообразнейших и интереснейших драматических комбинаций. В этом фальшивом мещанском мире нет ни одной ноты, которая звучала бы правильно, ни одного поступка, который не был бы недоумением и не заключал в себе зародыша бесчисленного множества других недоумений. Трудно дышится в этой грубо намалеванной сфере, в которой до того извращены все понятия, что самые естественные требования здравого смысла и чувства представляются чем-то вопиющим, неестественность же и чудовищность, напротив того, усвоивают себе все признаки естественности и нормальности. Но для того, чтобы сделать для зрителей эту нравственную смуту сколько-нибудь понятною, для того, чтобы зритель увидел в ней нечто более, нежели простую диковину, необходимо, чтобы автор отнесся к своей задаче не только как к

сброду более или менее комических подробностей, соединенных между собой чисто механической связью, но раскрыл бы тот внутренний прах, которым, собственно, и держится эта чудовищная агломерация всевозможных бессмыслиц, недомолвок и недоразумений. К сожалению, г. Авдеев предпочел пойти первым путем, как легчайшим, и дал нам ряд сцен, которые ничего не объясняют и следуют одна за другой иногда даже без видимой нужды.

На сцене семейство богатого откупщика Кубарева; члены его: сам Кубарев (г. Васильев 2-й), добрый, но довольно глупый и слабый старик, мечтающий со временем достигнуть баронства; жена его (г-жа Жулева), из рода разорившихся дворян, проникнутая чванством и глубоко уязвленная неаристократическою специальностью своего супруга; две дочери, из которых одна (г-жа Читау) замужем за остзейским бароном Штернфельдом и требует свободы любви, другая (г-жа Яблочкина 1-я) еще в девушках и представляет собой одну из тех бесцветных личностей, о которых даже сказать ничего нельзя; наконец, сын-гусар — стереотипный наглец, из которого г. Журин, сверх того, потрудился сделать личность совершенно противную и непозволительную. Кроме того, у Кубарева есть мать, простая старуха, которая носит на голове волосники и которая, как нарочно, приезжает в Петербург, чтобы подлить еще более горечи в эту и без того преисполненную всякого рода горечью семью. Такова внешняя обстановка новой комедии, обстановка хотя и не поражающая авторскою изобретательностью, но тем не менее могущая служить канвою для содержания довольно разнообразного. Но этою внешнею обстановкою все дело и оканчивается, так что в дальнейшем совершенно достаточно прочитать афишу, чтоб угадать, какого рода драматические положения выведет автор для удовольствия и назидания зрителей.

Из первого действия зритель узнает, что существует на свете некто господин Панкратьев (г. Нильский), который находится в довольно странных отношениях к дочерям Кубарева. Со старшей он находится в любовной связи и в то же время ищет руки младшей дочери. Нужно сказать, что эта интрига совсем не нужна ни для хода пьесы, ни для ее идеи и что даже сам автор оставляет ее без всякого развития, но такова уже сила бракоразводной специальности г. Авдеева, что он не мог воздержаться, чтобы и тут не коснуться ее, хотя бы с явным ущербом для своего произведения. Скучными объяснениями этого Панкратьева и очень неловкими увертками его между двумя сестрами наполняется целая половина первого акта. Наконец на сцене собираются все члены семьи, из которых

каждый хотя и своими словами, но, в сущности, совершенно однообразно объясняет зрителю свой характер. Между прочим, молодой гусар Кубарев рассказывает, как он кутил целую ночь на Средней Рогатке и подшутил там над какою-то старухой, которая ехала из Москвы в Петербург не по железной дороге, а на лошадях. Едва успел он досказать последнее слово своей эпопеи, как эта самая старуха тут как тут. Оказывается, что это мать Кубарева, женщина ужаснейшая, ходящая в волосниках и вдобавок чихающая. Общее смятение, которое усугубляется еще докладом лакея о приезде князя Жижимского. Пробуют спрятать куда-нибудь старуху, выискивая для этого благовидные предлоги, но она слишком много усчитала на своем веку целовальников, чтоб поддаться на живую нитку сшитому обману. Что ж, прячьте мать-то! прячьте! восклицает она гневно, и тем полагает предел первому действию.

Во втором действии к Кубареву-отцу приезжает зять его, барон Штернфельд. С легкой руки автора «Окраин России» вошло во всеобщее обыкновение обращаться с остзейскими баронами без церемонии. Этому обыкновению последовал и г. Авдеев, выведя своего барона на сцену для того только, чтобы заставить его попросить денег и высказать несколько бессмыслиц, перед которыми бледнеют даже откупщицкие бессмыслицы Кубарева. Завязывается бой на пошлостях, бой, довольно удачно напоминающий таковые же бои в названной выше пьесе Ожье, и победителем на сей раз оказывается премудрый откупщик. По изгнании остзейского барона на сцену является князь Жижимский (г. Самойлов 1-й), нечто вроде умственно развинтившегося сановника, ничего не говорящего, кроме: «что, бишь, я хотел сказать?» да «как здоровье?» Тем не менее родителям Кубаревым удается понять, что князь приехал неспроста и что он не прочь предложить руку и сердце младшей их дочери, Аделаиде Васильевне.

В третьем действии на сцене бал. Проходят разные лица: генералы, офицеры, чиновники на хорошей дороге, молодые люди с будущностью, молодые люди без будущности и т. д. Автор, как человек аккуратный, не поскупился на характеристики и, во избежание недоразумений, отпечатал их в афишках. Старуху Кубареву запирают в какой-то закоулок вроде чулана, в котором она подслушивает любовное объяснение между баронессою Штернфельд и Панкратьевым и, к довершению всего, разражается таким неистовым чиханьем, что производит общее смятение. Между тем гости распускают на бале слух, что Кубарев разорился; происходят сцены, совершенно подобные тем, которые разыгрываются на бале в «Горе от ума».

Это до такой степени обманывает зрителей, что больших усилий нужно, чтобы воздержать их от вызова: Грибоедова! В заключение князь Жижимский делает формальное предложение младшей дочери Кубаревых, но Адель, к великому ужасу родителей, отказывает наотрез.

В четвертом действии Кубарев-отец объясняет технологу Пенкину (г. Самойлов 2-й), что он разорен и что дочери его Адели необходимо выйти замуж за князя Жижимского, потому что она привыкла к комфорту и жизнь с бедным человеком для нее немыслима. Кубарев обращается к содействию Пенкина, чтоб убедить Адель в непреложности этой истины. Пенкин сам любит Адель и любим ею взаимно, но, по какому-то непонятному соображению, не отказывается от исполнения навязываемого ему поручения. Происходит объяснение между влюбленными — и что ж оказывается? — что Адель действительно до такой степени заражена любовью к комфорту, что скорее соглашается жить в чертогах с расслабленным сановником, нежели в хижине с милым сердцу человеком. Эта сцена столь удивительна, что надо видеть ее собственными глазами, чтобы понять, какое тяжелое впечатление может производить несвязный сумбур на зрителей самых невзыскательных. Кончается, разумеется, тем, что является г. Самойлов 1-й, подают шампанское, и занавес падает среди громаднейшего шиканья.

Вот какого рода нехитрою стряпнею накормил г. Авдеев свою публику. Мне скажут, может быть, что если стряпня эта такова, то не стоило и говорить об ней. Это так. Но не надо забывать, что мы не можем выбиться из этой стряпни, что когда бы мы ни заглянули в театр, мы ни под каким видом не разминемся либо с «Пробным камнем», либо с «Фролом Скобеевым», либо с «Прекрасной Еленой». Этот факт сам по себе достаточно обременителен, чтобы поговорить о нем. И в самый этот вечер, когда шла «Мещанская семья», все-таки не обошлось без «Прекрасной Елены»; хоть один акт, а дали. И надо было видеть, какое было написано уныние, чуть не омерзение, на лицах актеров, исполнявших этот несчастный первый акт. Пожалеем их, читатель; вспомним, что в ту минуту, когда я дописываю эти строки, «Прекрасная Елена» выдерживает тридцатое представление, независимо от тех, которые были даны в бенефисы. И это в продолжение каких-нибудь двух месяцев с половиной!

Об игре актеров, участвовавших в «Мещанской семье», с особенной похвалой отозваться нельзя. Кроме г-жи Линской, которая была, как и всегда, неподражаема, и г. Васильева 2-го, который сыграл свою роль прекрасно, прочие актеры были

ниже своего обыкновенного уровня. К сожалению, замечание это относится даже к г. Самойлову 1-му, который своею постоянно прекрасною игрою приучил публику быть требовательною. Но ведь и то сказать: каждый день вести изнурительную борьбу с авторами, которые, по-видимому, никакой другой мысли в голове не держат, кроме той, как бы сломить непокорного актера,— это может хоть кого утомить.

ГОВОРУНЫ. Комедия в четырех действиях И. А. Манна. Издание Кожанчикова. СПб. 1868

Новые идеи решительно мешают спокойствию наших драматургов. Коли хотите, оно и понятно, потому что так называемые старые идеи до того уже затаскались, что ничего из них не выжмешь, ничего на них не выстроишь. Непонятно одно: почему новые идеи, эти кормилицы-поилицы современных витязей Александринского театра, почти постоянно изображаются ими с самой враждебной, почти омерзительной стороны. Хотя из чувства благодарности не мешало бы поступать несколько осмотрительнее.

К числу таких неблагодарных принадлежит и г. Манн. Не знаем, сам ли он дошел до познания новых идей или слышал об них от людей посторонних, во всяком случае, они произвели на него самое неблагоприятное впечатление. С тех пор как не стало возможности (разумеется, не в жизни, а на подмостках Александринского театра) выступать перед публикою с консервативною теорией всеобщего оглушения, мир кажется населенным не солидными начальниками отделения, а какими-то не помнящими родства бродягами, которые только о том и сокрушаются, как бы стянуть пирог с прилавка или на даровщинку попрелюбодействовать. И не потихоньку стянуть, не секретным манером пройтись насчет клубнички, как делывали прежние солидные люди, а со взломом, с треском, с разговорами и развитиями, дабы ведали люди, что в этом-то именно и замыкаются те новые идеи, которые перешли к нам .. по прямой линии от начальников отделения.

Вопрос о собственности, вопрос о семейном начале, вопрос о правах женщины — ничто не чуждо нашим чутким и впечатлительным драматургам. Около всякого вопроса они найдут возможность пожужжать, со всякого снимут хоть капельку меда. Конечно, этот мед не бог знает какой душистый (мед дивий), но тут не в качестве дело, а в количестве. Наберут они этого меда ровно столько, сколько нужно, чтобы настряпать из него диалогов, разделят эти диалоги на действия и явления,

приютят около них до десятка Петров Платонычей, Вадимов Петровичей, Настенек и т. п. и устремляются с этою легкою добычей на подмостки Александринского театра. Нет нужды, что диалоги эти — отчасти бессмысленные, отчасти клеветнические: они наверное будут по плечу зрителям-столоначальникам и убедят их, что кража пирогов российскими драматургами не поощряется, но возбраняется; нет нужды, что прикомандированные к диалогам Петры Платонычи, Настеньки, Вадимы Петровичи — не что иное, как тени, лишенные прав состояния: гг. Самойлов, Васильев, Зубров и г-жа Линская, с помощью гримировки и собственных артистических соображений, наверное, найдут возможность, даже независимо от воли автора, придать этим теням человеческую форму и смягчить внезапность и нецелесообразность их нелепых движений.

Хотите ли вы знать, например, что̀ такое принцип собственности по понятиям новых людей — Петр Платоныч Чигасов ответит вам: «Принцип наследства — ложный принцип; наука (?) не признает нежностей. Разве птицы оставляют запасы корма для своего потомства? Каждая из них питается тем, что находит сама». В другом месте этот самый Чигасов, прося взаймы денег, объясняет так: «Я занимаю именно у вас, потому что у вас всегда есть лишние деньги, стало быть, вы не имеете основательного повода отказывать». Но этого мало; не успевши занять денег у лица, всегда имеющего лишние деньги, Чигасов решается обокрасть свою сестру и для этого задумывает целую махинацию, которой подлость равняется только ее глупости, и при этом восклицает: «Стоит ли церемониться с этими скотами! этих господ надо допекать всеми возможными способами; тут надо действовать ради принципа»...

Хотите вы иметь понятие о том, что̀ такое брак по понятиям новых людей,— автор заставит некоего г. Кренева убеждать Вадима Петровича Ладушкина жениться на Настеньке Чигасовой, и когда Ладушкин предложит вопрос: «А ты, само собой разумеется, будешь продолжать ее любить?» — то Кренев не усомнится ответить: «Отчего же нет?» Этого недостаточно: в подкрепление своей теории свободных отношений между мужчиной и женщиной Кренев не постыдится высказать следующую неистовую чепуху: «Скажи, пожалуйста, долго ли вы будете смотреть на любовь так цинически, допускать это чувство в самом низком, животном смысле? По-вашему, уже никак и не может быть свободной, благородной гармонии между живущими существами? По-вашему, все вали в одну яму, все топчи ногами».

Хотите ли, наконец, знать, что̀ такое женский труд,— автор, устами Ладушкина, объяснит вам, что это — слово, которым

«пользуются злодеи, чтобы прикрывать свои страсти». «Оторвать, прежде всего, женщину от семьи! — гремит добродетельный Ладушкин,— научить ее смеяться над семейными узами, заставить ее забыть, что ее назначение быть верною женой и доброю матерью семейства, убить в ней и скромность и стыд, сознание и чести и достоинства женщины... вот ваши идеалы! от них отвернется с ужасом и презрением каждый честный человек!»

Напрасно вы будете спрашивать себя:

С кого они портреты пишут?
Где разговоры эти слышат?

Напрасно вы будете говорить себе: да ведь это же, наконец, неслыханное дело, чтобы человек, для оправдания своих теорий (положим, и ложных), употреблял не только слабые, но даже самые глупые доказательства! — автору нет дела ни до доказательств, ни до художественной верности речей и поступков изображаемых им лиц. Задача, которую он предположил себе выполнить, гораздо скромнее: он хочет оградить начальников отделения от наплыва новых идей и для этого берет первые доказательства, которые валяются на дороге, и складывает их в одно место.

По нашему мнению, это-то именно и называется: «Все вали в одну яму, все топчи ногами!»

ГДЕ ЛУЧШЕ? Роман в двух частях Ф Решетникова. СПб 1869

Мы не имеем намерения подробно разбирать новый роман г. Решетникова, с содержанием которого, впрочем, уже знакомы читатели «Отеч. записок». Мы надеемся обратиться к этому роману в одной из следующих книжек нашего журнала и разобрать его значение в связи с другими явлениями русской беллетристики последнего времени. Таких новостей, повидимому, набирается довольно много, но бо́льшая часть их продолжается печатанием в различных журналах, и потому нельзя еще дать себе полного отчета о достоинствах и недостатках их. Теперь же, извещая о выходе произведения г. Решетникова отдельною книгой, мы считаем нелишним лишь самым кратким образом указать на сущность таланта этого автора, выразившуюся в романе «Где лучше?» едва ли не ярче, нежели в прежних его сочинениях

Г-н Решетников начал свою литературную деятельность в 1863 году повестью «Подлиповцы», которая тогда же обра-

тила на себя внимание публики новостью обстановки, своеобразностью языка и оригинальностью идеи, лежавшей в ее основании. Уже с конца сороковых годов русская беллетристика начинает обращаться к простонародному быту и отыскивает в нем черты и явления, могущие дать материал для художественного воспроизведения, но нельзя сказать, чтобы попытки эти были вполне удачны; внимание беллетристов было исключительно обращено или на черты случайные, или же на черты хотя и характерные, но слишком частные, чтобы исчерпывать собою все разнообразие простонародного быта. Эти частные черты и явления давали материал до того скудный, что он легко помещался в самых узеньких рамках, и притом сами они уже до такой степени представлялись оригинальными, что тут оригинальность очень близко граничила с диковинностью. В этом закрытом со всех сторон мире все представлялось особенным, обусловленным всякого рода понятиями, обычаями, обрядами, стоящими в прямом противоречии с тем жизненным уровнем, который выработан цивилизацией; самая жизнь масс казалась построенною на совершенно иных основаниях, нежели жизнь цивилизованного меньшинства Обреталась как бы особенная разновидность человека, сохранившая от человека только название, а во всем прочем, начиная от одежды до склада ума и чувств, нисколько на него не похожая. Отсюда, во-первых, то следствие, что наши народные беллетристы не могли дать ничего более, кроме весьма коротких рассказов, а во-вторых — то, что, несмотря на свою краткость, эти рассказы всегда страдали этнографическою незаконченностью и разбросанностью. Нет драмы в жизни русского мужика, так, казалось, говорили русские беллетристы, нет драмы, а есть только курьезные случаи -- мы их и представляем, благо в настоящее время они сделались более или менее доступными для наблюдения.

А между тем драма есть, и г. Решетникову бесспорно первому принадлежит честь открытия этого факта. Эта драма очень большая и называется борьбою за существование Это в одно и то же время и драма, в которой фаталистически вращается существование русского простолюдина, и действительный стимул всех его движений и действий. Как драма, эта мысль до такой степени обширна, что дает полную возможность вместить в нее все разнообразие простонародной жизни; как стимул, она достаточно человечна, чтобы при помощи ее добросовестный наблюдатель мог даже так называемые курьезы объяснить себе с точки зрения общечеловеческой

Мы не желаем преувеличивать и потому не скажем, чтобы г. Решетников *разрешил эту задачу так, чтобы ничего не оста*валось и желать; но отнюдь не думаем заблуждаться, утверж-

дая, что он первый поставил эту задачу правильным образом и что, начиная с «Подлиповцев», все дальнейшие его произведения более и более стремятся сделать эту постановку совершенно ясною и общедоступною. Г-н Решетников первый показал, что русская простонародная жизнь дает достаточно материала для романа, тогда как прочие наши беллетристы, затрогивавшие этот предмет, никак не могли выбиться далее коротеньких и малосодержательных рассказов.

Но люди, которых соединяет такой гнетущий интерес, как борьба за существование, уже по этому самому не могут давать место большому разнообразию типов. Все они, или, по крайней мере, громадное большинство их, живут как один человек. Отсюда новая характеристическая черта народного романа — та черта, что в нем главным действующим лицом и главным типом является целая народная среда. В разбираемом романе г. Решетникова является очень много действующих лиц (в особенности укажем на Пелагею Прохоровну, представляющую, по нашему мнению, тип прелестнейшей русской женщины), но рядом с ними является великое множество других лиц, являющихся на минуту в качестве «неизвестных» и потому кажущихся *посторонними для хода романа*; но, в сущности, на этих-то лицах и строится весь роман. Где-нибудь на Никольском рынке, на барках, на заводах Обводного канала и Охты совершается нечто такое, что̀ самого истого героя романа внезапно перевернет вверх дном, расстроит все его соображения и надежды и погонит в ту или иную сторону. Кто совершит это «нечто», так решительно влияющее на судьбу простолюдина? — его совершит эта толпа «неизвестных», эта совокупность неделимых, из которых каждый имеет свой личный роман, но в то же время каждый до такой степени впадает в жизнь каждого, что никакая личная драма не может иметь места иначе, как в связи с драмою общею

Вот эту-то неразрывную связь г. Решетников и дает нам чувствовать на каждой странице своего романа, и мы думаем, что покуда народные массы еще не в состоянии выделять из себя отдельных героических личностей, эта точка зрения на художественное воспроизведение народной жизни есть единственно верная.

В заключение нелишним считаем сказать несколько слов и о недостатках нового романа г. Решетникова. Эти недостатки общи и прежним его произведениям, а именно: большая неловкость в построении романа, неумение распорядиться материалом и великое изобилие длиннот, которые делают чтение романа весьма утомительным. Недостаток знакомства с белле-

тристическими образцами чувствуется на каждом шагу; должно думать, что с устранением его г. Решетников выиграет очень много.

МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ХАРАКТЕРИСТИКИ СОВРЕМЕННОЙ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ. I. Литературное объяснение с Н. А. Некрасовым. М. А. Антоновича. II. Post-scriptum — Содержание и программа «Отечественных записок» за прошлый год. Ю. Г. Жуковского. СПб. 1869 *

После довольно продолжительного молчания гг. Антонович и Жуковский вновь вступили на поприще русской публицистики и, как всегда водится в подобных торжественных случаях, ознаменовали свое вступление особого рода подвигом. Не надо думать, однако ж, чтоб этот подвиг заключал в себе что-либо необычайное или чтобы он был совершен в интересах добра и истины; нет, это просто горькое воспоминание о некоторых личных неудачах и разочарованиях, соединенное с невинным поползновением выместить эти неудачи и разочарования даже не на тех, кто был главною и действительною их причиной (до тех-то, в ком собственно и заключается источник всевозможных литературных неудач, пожалуй, рукой не достанешь), а на тех, кто находится ближе под руками. Предпринятый, с таким расчетом, подвиг имеет вид довольно сердитый и в то же время обходится чрезвычайно дешево.

Главным поводом для совершения этого сердито-дешевого подвига послужили гг. Некрасов и Елисеев. Способность, которою обладают эти два писателя, очаровывать стоящих близко к ним людей, так велика, что равняется лишь способности очаровываться, которою одержимы гг. Антонович и Жуковский. Первый из них целых три года, последний в продолжение пяти месяцев находились в самых близких сношениях с названными писателями, и в течение всего этого времени ни тот, ни другой не догадывались, что Некрасов и Елисеев не что иное, как боа-констрикторы, под отуманивающими взглядами которых они совершенно задаром разыгрывали роли очарованных кроликов. Эта недогадливость, сама по себе очень замечательная, приобретает под пером наших дебютантов характер настолько трогательный, что читателю действительно остается только сказать: ну да, это кролики! Это подлинные, несомненные кролики! Стоило г. Некрасову произнести «страстную речь», чтобы в сердцах их мгновенно прозяб и расцвел целый цветник; стоило кому-то сказать во «Внутреннем обозрении» «Современника» несколько искренних слов *о литературных и не литературных звонарях,* чтобы в умах их поселилось убеждение, что сей некто ни под каким видом, помимо них, Анто-

новича и Жуковского, не войдет ни в какое литературное дело. Одним словом, очарование было почти паническое и до такой степени полное, что потребовалось не меньше трех лет разлуки, чтобы кролики вышли из оцепенения. Но здесь невольно возникает вопрос: а что, если вновь как-нибудь опять случай сведет Некрасова и Елисеева с названными выше добровольными кроликами? Например, на улице или в обществе? Оцепенеют ли они вновь или не оцепенеют?

Как ни интересна, однако ж, история этих оригинальных отношений гг. Антоновича и Жуковского к гг. Некрасову и Елисееву, мы не имеем ни надобности, ни повода заниматься ею в той мере, как она того заслуживает. Думаем, что гг. Некрасов и Елисеев, ежели пожелают, сами сумеют очистить себя от взводимых на них обвинений в констрикторстве, вероломстве и других не менее важных преступлениях. Но так как гг. Антонович и Жуковский по поводу своих личных неудач и разочарований заблагорассудили мимоходом бросить грязью в весь вообще нынешний состав редакции и сотрудников «Отечественных записок», то мы считаем нелишним рассмотреть те упреки, которые делаются нашему журналу, независимо от гг. Некрасова и Елисеева.

Упреки эти главным образом формулируются так:

I. По Антоновичу, нынешние редакторы и сотрудники «Отеч. записок» — не литераторы и даже не люди, а просто «разная шушера и шелуха из «Современника» (стр. 54). По Жуковскому, в настоящее время Некрасова, как редактора «Отеч. записок», окружают люди «гроша не стоящие» (стр. 117), то есть совсем не то, как было, например, в «Современнике», когда Некрасова подпирали два таких столба, как Антонович и Жуковский, за которых, конечно, грош дать можно.

Нельзя не сознаться, что такие определения, как «шушера» и «шелуха», весьма сильны; но презренная энергичность этих выражений не должна изумлять читателя, если он припомнит, что они принадлежат перу того самого г. Антоновича, который, в 1865 году, отправным пунктом полемики между «Современником» и «Русским словом» поставил то положение, что г. Благосветлов имеет обыкновение спать в лакейских на барских шубах. Тем не менее в настоящем случае этот свойственный г Антоновичу полемический прием замечателен тем, что обращен к лицам, с которыми полемист был несколько лет сряду сотрудником по журнальному делу и которых он, в то время, не признавал или, по крайней мере, не смел признавать ни «шушерой», ни «шелухою». Конечно, в виду откровенных признаний о многолетнем цепенящем действии Некрасова и Елисеева, недогадливость гг. Антоновича и Жуковского и способ-

ность их подчиняться всякого рода «очарованиям» не могут подлежать никакому сомнению, но все-таки трудно допустить, чтобы и кролик мог быть до такой степени кроликом, чтобы не избегнуть чарующего влияния даже таких лиц, которые, в сущности, не стоят другого названия, кроме «шушера» и «шелуха». Мы знаем, что гг. Антонович и Жуковский, со свойственною им ругательною находчивостью, возразят нам: мы, дескать, и тогда точно так же смотрели на нынешних сотрудников «Отеч. записок», как смотрим теперь, но по обстоятельствам и т. д. Но это будет не возражение, а неловкий изворот. Такого рода оправдание еще может быть принято, с грехом пополам, от какого-нибудь лжелиберала, увлекающегося перспективою материальных благ, но всем известно, что гг. Антонович и Жуковский суть не только подлинные либералы, но и столбы .. страдающие излишнею способностью очаровываться. Зачем они работали заодно с «шушерой»? зачем они терпели ее присутствие в том святилище, в котором они воздевали руки, преклонялись, благоговели и произносили возгласы? Ведь с «шушерой», «шелухой», с людьми, которые «не стоят ни гроша», ни одной минуты и ни по каким обстоятельствам не могут оставаться такие люди, коим цена грош? И вот, однако ж, эти грошовые люди идут вместе несколько лет сряду и ни одним словом, ни одним жестом не показывают, что их блазнит оттого, что товарищи их по журнальной деятельности на одну сотую копейки против них дешевле... Скажите, читатель, не загадочное ли это дело? и не доказывает ли оно, что даже легкомысленной недогадливости и способности очаровываться должны быть известные пределы, за которыми эти сами по себе невинные качества делаются уже просто непозволительными?

Нам скажут, может быть, что характер распри с Некрасовым сам по себе так важен, что делает неизбежным бросанье грязью даже в тех, кто хотя и не прикосновенен к этой распре непосредственно, тем не менее имеет какое-нибудь дело с этим отягченным преступлениями лицом; но, к сожалению, мы и это возражение не можем принять за основательное. Во-первых, мы положительно не видим в названной распре никаких признаков серьезности и замечаем в ней только следствие некоторых неудавшихся денежных расчетов; во-вторых, только истинно ребяческое тщеславие может ставить вопрос так: Некрасов, бывший многолетним моим другом, с нынешнего дня, вследствие личного моего усмотрения, сделался моим врагом, а следовательно, всякий, кто с ним встречается, сидит в одной комнате, работает в одном журнале и т. д., становится ipso facto[1] моим

[1] в силу самого факта.

врагом и заслуживает от меня наименования «шушеры», «шелухи» и человека «гроша не стоющего».

В самом деле, представьте себе, читатель, что вы русский литератор, что вы занимаетесь литературной профессией, во-первых, потому, что она всего более отвечает вашим склонностям; во-вторых, потому, что вы, по мере ваших сил, надеетесь принести пользу общественному самосознанию; в-третьих, наконец, потому, что литература доставляет вам известное материальное обеспечение. Может быть, вы ведете ваше дело слабо, может быть, вы заблуждаетесь насчет суммы и качества приносимой вами пользы — это вопрос другой,— но, во всяком случае, и усилия ваши, и даже заблуждения (если справедливо, что тут есть заблуждения) вполне добросовестны. И вдруг невесть откуда набегают какие-то люди, очевидно находящиеся в состоянии невменяемости, которые из-за того, что не получили у Некрасова хороших кондиций и снедаемые бессильной яростью на бывшего хозяина, мимоходом бросают и в вас «шушерой», «шелухой» и наименованием людей «гроша не стоющих». Скажите, не глубочайшее ли это несчастье вдруг, нечаянно, без всякого повода получить подобное укушение? Где, в каком другом общественном положении, можно встретить подобное явление? Сколько лет и в каком протухлом уединенном месте должны были прожить эти пользующиеся правом невменяемости кусатели, чтобы воспитать в себе столь чудовищную неразборчивость в обращении с словом?

И кто бросает в нас этою презренною бранью? Кто те «Платоны» и «славные разумом Невтоны», которые осмеливаются смотреть на нас с высоты величия! Это, с одной стороны, г. Антонович; это, с другой стороны, г. Жуковский... Памятны ли кому-нибудь сии знаменитые незнакомцы? Какие их права думать и заявлять печатно, что ни один порядочный журнал не может существовать без их содействия, что одних их имен достаточно, чтобы привлечь к журналу целую уйму «шатающихся» подписчиков?

Нет спора, что гг. Антонович и Жуковский были далеко не бесполезными членами редакции «Современника»; нет спора, что даже и теперь, в виду брошенной ими в нас «шушеры» и «шелухи», мы никак не позволим себе назвать их прохвостных дел мастерами, выдающими себя за ювелиров; но ведь амплуа «полезностей», которое они занимали и занимают до сих пор в нашей литературе, настолько скромно, что никаких особенных прав не дает, а тем менее права смотреть на род человеческий с горделивым презрением. Чем же можно объяснить себе такое изумительное явление? Как растолковать, что два полезных незнакомца вдруг возмнили себя центром вселенной и

вследствие того объявляют, что всякий, кто случайно или не случайно не находится с ними, есть шушера, шелуха и человек не стоящий гроша?

Ответ на эти вопросы может дать нам только следующее изречение Екатерины II, сказанное ею хотя и по обстоятельству совершенно другого рода, но весьма подходящему к настоящему случаю, а именно: «Сии люди сложения унылого и все видят (кроме себя, прибавим мы) в темно-черном виде; имеют воображения довольно, и любят распространять гипохондрические и унылые мысли».

Да, это именно не более как «унылого сложения люди»; это явления, пропущенные психиатрией. Читатель с трудом свыкается с мыслью, чтобы могли существовать такие субъекты, которые, при полном обладании умственными способностями, позволили бы себе наскакивать на людей, относящихся к ним, по малой мере, индифферентно. Мы думаем даже, что для того, чтобы совершить такой подвиг, необходимо предварительно устроить свою жизнь на таких основаниях, которые не имеют ничего общего с самыми простыми условиями человеческого общежития.

II. Второй упрек, делаемый «Отеч. запискам», составляет имя г. Краевского, ежемесячно появляющееся на обертке журнала. На это мы можем отвечать категорически. Г-н Краевский ответственный редактор, а потому и имя его печатается на журнале. Но из этого вовсе не следует, чтоб г. Краевский присвоивал себе право на стеснения, которые, по предположению гг. Антоновича и Жуковского, должны испытывать от него лица, занимающиеся ныне редакциею «Отеч. записок» и сотрудничающие в них. В действительности единственное ограничение, которое могут иметь и действительно имеют в виду наши сотрудники,— это закон 6 апреля 1865 года.

Но при этом г. Антонович, чтобы тверже установить предположение о солидарности между г. Краевским и нынешней редакцией «Отечественных записок», предлагает вопрос: пользуется ли г. Краевский благами от издания журнала? На это отвечаем: да, вероятно, пользуется, но это нимало не может стеснять (по крайней мере, нравственно) ни редакцию, ни сотрудников «Отечественных записок», а может стеснять разве одного г. Антоновича, добровольно принявшего на себя роль контролера над благоприобретениями, делаемыми гг. Краевским и Некрасовым. «Шушера», «шелуха» и «люди не стоющие гроша», которых мы исключительно и имеем в виду защитить здесь от наездов людей, коим цена грош, наверное не хуже этих последних понимают, как важно разрешение вопроса о распределении благ, доставляемых журнальным делом

(об этом зри ниже), но так как это разрешение, по-видимому, зависит не от них (и даже не от гг. Антоновича и Жуковского), то с их стороны уже и то имеет немаловажное значение, что они не считают этого вопроса солидарным с их нравственным отношением к журналу и не подчиняют последнего первому.

Очевидно, стало быть, что все предположения г. Антоновича о нравственной зависимости «Отечественных записок» от г. Краевского и о солидарности этого журнала с «Голосом» суть предположения или праздные, или преднамеренно ядовитые. Мы склонны даже думать, что в них скорее участвует преднамеренность, нежели простое легкомыслие. Мы убеждены, что для составителей разбираемого памфлета (а тем более для г. Жуковского, который, как видно из его признаний, имел даже переговоры об участии в нашем журнале) вопрос этот настолько же ясен, как и для нас самих, но для чего-то им необходимо затемнить его. Не для того ли, чтобы возбудить для журнала какие-нибудь затруднения со стороны цензурных формальностей? Очень может быть; но в таком случае, зачем же вы, г. Антонович, обвиняете, и притом голословно (стр. 12), г. Некрасова в том, «будто бы он пробовал средство заставить вас замолчать или не пустить в литературу»? Сами-то вы что другое делаете (и притом совершенно сознательно), как не то самое, в чем вы гадательно обвиняете других?

III. Третий упрек — недостаток и даже отсутствие либерализма. По мнению гг. Антоновича и Жуковского, либерализм, предъявляемый нынешними «Отеч. записками», есть лжелиберализм и ничего не стоит сравнительно с тем либерализмом, которого единственными сосудами были (да сплыли) они, гг. Антонович и Жуковский. Г-н Антонович, впрочем, соглашается, что бывают обстоятельства, когда даже и такие патентованные вместилища либерализма, как, например, он и г. Жуковский, не могут либеральничать столько, сколько бог на душу положит, но все-таки, по мнению его, это дело поправимое. Против подобных неблагоприятных обстоятельств, говорит он, существуют известные «маневры», к которым издревле прибегала русская либеральная литература. Первый из этих «маневров» заключается в том, чтоб выбрать какой-нибудь нелиберальный сосуд, например, «московскую пару» — Каткова и Леонтьева (в pendant[1] к которым теперь устроилась петербургская пара: Антонович и Жуковский), или Краевского, или Некрасова, и начать их обстреливать (то есть вот так, как в настоящем случае: назвать «шелухой», «шушерой» и т. д.).

[1] под стать.

Второй маневр, предлагаемый тем же глубокомысленным публицистом, состоит в том, что в тех случаях, когда «либеральной литературе неудобно давать прямые и верные ответы на известный вопрос, то следует ограничиваться опровержением неверных ответов».

При всем нашем уважении к журнально-стратегическим способностям автора знаменитых полемических статей, от которых, впрочем, довольно благополучно отделывался г. Благосветлов, мы не можем признать за предлагаемыми им маневрами ни особенной премудрости, ни целесообразности. Подобно страусу, г. Антонович думает, что, спрятавши голову под крыло, он сделает невидимым все свое тело. Но это не так. Не надо забывать, что предлагаемые маневры (и, между прочим, от частого и неловкого употребления их г. Антоновичем) сделались до того общеизвестными, что даже и обмануть никого не могут. К сожалению, и до сих пор необходимость заставляет иногда даже «шелуху» и «шушеру» прибегать к указываемым средствам, то есть не прямо относиться к вопросам, а маневрировать по поводу их; но, независимо от того, что такой способ литературной пропаганды сам по себе до крайности противен для тех, которые вынуждены прибегать к тому, мы можем, с полным знанием дела, сообщить г. Антоновичу, что люди, преставленные для наблюдения за «маневрами», сделались не в пример прозорливее, нежели в те счастливые времена, когда маневрировали гг. Антонович и Жуковский. Отсюда — почти постоянные неудачи «маневров»; отсюда же указание опыта прибегать к ним, по крайней мере, настолько редко, чтобы журнал не казался наполненным одними «маневрами». Конечно, есть один «маневр», для которого всегда и безвозбранно все двери настежь отверсты — это есть друг друга и самих себя, но так как это специальность гг. Антоновича и Жуковского, то мы и оставляем ее за ними.

В противоположность г. Антоновичу, г. Жуковский самого дурного мнения о либеральных маневрах. По мнению его, преступления «Отеч. записок» именно в том и заключаются, что они прибегают к «фразеологии» и «либеральным загвоздкам» (а в чем же, по вашему мнению, состоит сущность как бывших, так и настоящих маневров г. Антоновича?), в то время когда «одновременно решается вопрос о торговле государства и его промышленности, свирепствует неурожай и голод в нескольких губерниях, решается вопрос о повинностях и проводится целая сеть железных путей». При этом г. Жуковский с полною развязностью утверждает, что разъяснение всех этих вопросов не только полезно, но и вполне доступно для либеральной литературы, ибо не может даже повести разъяснителей за пределы

тех легальных границ, которые предоставлены русской литературе.

Мы сами очень хорошо сознаем слабые стороны нашего журнала и даже соглашаемся, что в нем чувствуется недостаток именно в статьях, имеющих интерес непосредственный и практический. Но нас поистине изумляет, что упрек подобного рода приходит к нам от г. Жуковского и что он, а не всякий другой, является поборником «элементарного представления» разного рода сведений, которое он рекомендует нам, как наилучший в настоящее время способ литературной пропаганды. В этом случае г. Антонович кажется нам более последовательным и верным своему прошлому: он как был при маневрах, так и остался при них; а г. Жуковский вдруг из упорных маневристов делается поборником «элементарных изложений»!.. Что̀ это такое? действительное ли обращение? или просто недобросовестный полемический прием? Мы, конечно, скорее думаем, что это не более как неловкий полемический прием, употребленный с тем, чтобы укорить «Отеч. записки», с одной стороны, в отсутствии характерных статей, а с другой стороны, в недостатке статей бесхарактерных, то есть таких именно, какими должны быть и всегда бывают «элементарные изложения». Очевидно, что знаменитая «петербургская пара» еще так недавно спарилась, что даже не успела прийти к согласию даже насчет такого важного вопроса, как необходимость или ненужность «маневров».

Но с нашей стороны было бы большою ошибкою не воспользоваться этим случаем, чтобы объяснить и г. Жуковскому, а вместе с тем публике, почему отдел «элементарных изложений», как выражается автор разбираемого памфлета, или статей, имеющих в виду потребности текущей жизни, как выразились мы сами, не достигает в «Отеч. записках» желаемого разнообразия и полноты. Прежде всего, «Отеч. записки» журнал не специальный, а общеобразовательный, следовательно, читатель ожидает от него не «элементарных изложений» (то-то насмеялся бы г. Жуковский, если б мы последовали его совету!), а ясно формулированного взгляда на тот или другой вопрос. Увещания, делаемые г. Жуковским, на тему об элементарных упражнениях,— такой вздор, которому, конечно, он сам первый не верит; стало быть, вопрос заключается единственно в том, настолько ли умственно развита нынешняя редакция «Отеч. записок», чтобы иметь ясный и оригинальный взгляд на те или другие жизненные явления из указываемых г. Жуковским, например, на повинности, на железнодорожное дело, и ежели она в состоянии обладать таким взглядом, то почему недостаточно высказывает его? Что г. Жуковский отрицает воз-

можность такого развития — это его право, данное ему неполучением хороших кондиций у Некрасова и уполномочивающее его валить в одну яму все, что ни попадется под руку. Но чтобы он внутренно был убежден, что устами его говорит истина,— это, по малой мере, невероятно. В самом деле, ежели вы сообразите, какими вопросами предлагает г. Жуковский заняться «Отеч. запискам», то вы убедитесь, что не нужно быть особенным мудрецом не только для того, чтобы написать на это темные «элементарные изложения», но и для того, чтобы высказать по поводу их совершенно ясные и самобытные суждения. Ведь не особенною же мудростью обладают гг. Катков, Трубников, Скарятин и т. п., а посмотрите, с какою легкостью они каждый день разрешают намеченные вами вопросы. Да и не они одни — эти вопросы разрешаются любым столоначальником. Стало быть, если какой бы то ни было журнал касается этих вопросов с осторожностию, а иногда даже и совсем обходит их, то причина этого заключается не в недостатке ясного их понимания, а в чем-то другом. Вы с снисходительною любезностью упоминаете, г. Жуковский, о «легальных границах», в которых находится русская литература, и приглашаете вплотную наполнить их; но скажите откровенно, возьметесь ли вы со всею точностью определить эти границы, возьметесь ли указать, что̀ входит в них плотно, что̀ не доходит и болтается в них, как в халате, и что̀ переливается за них через край? Нет, ничего подобного вы не сделаете, то есть не определите и не укажете. Если б вы могли это сделать, то, без сомнения, сами, не говоря худого слова, пустились бы судить и рядить и напечатали бы по каждому вопросу тьму брошюр, которые, конечно, были бы полезнее скандальной книжицы, изданной вами в союзе с г. Антоновичем.

Затем, остальные обвинения в лжелиберализме основаны на том, что «Отеч. записки» не препираются с г. Краевским. Да, это действительно обвинения капитальные, но, несмотря на то что они направлены против нас такими знаменитыми незнакомцами, как гг. Антонович и Жуковский, мы все-таки заранее считаем себя оправданными в них перед судом публики. Мы очень хорошо понимаем, что полемика может представлять собою «маневр», но утверждаем, что это маневр не всегда полезный, а нередко даже надоедающий, чему блестящим примером может послужить полемика г. Антоновича с гг. Благосветловым и Писаревым. Может быть, вы думаете, милостивые государи, что мы, например, и теперь увлечемся вашими ругательствами, что таким образом произойдет у нас непрерывный обмен мыслей, вы нас, мы вас, и вы будете под шумок сбывать да сбывать ваши книжицы... Но вы ошибетесь в расчете. Мы со-

знаем, что это, без сомнения, самый легкий способ прослыть в нашем отечестве публицистами, но в то же время не чувствуем ни охоты, ни надобности полемизировать по поводу неполучения вами хороших кондиций и обещаемся, что настоящая статья есть последняя, которую мы посвящаем вам, хотя бы вы и еще тысячу раз обозвали нас «шушерой», «шелухой» и т. п.

Итак, вот три обвинения, направленные против нынешней редакции «Отеч. записок» двумя столбами русского либерализма, столь усердно подпиравшими г. Некрасова в редакции «Современника». Мы видели, что одно из них равняется площадному ругательству, другое — и фактически, и нравственно неверно, а третье написано на ребяческую тему о маневрах и элементарных упражнениях.

Сверх того, гг. Антонович и Жуковский с любовью и не раз возвращаются к мысли о распределении «благ», приносимых журнальным делом, причем последний, со свойственною ему догадливостью, исчисляет даже сумму (миллиард в тумане), которую, по его мнению, должен г. Некрасов своим сотрудникам (разумеется, бывшим, то есть все-таки Антоновичу и Жуковскому, а не другим каким) за двадцать лет журнальной деятельности. Но на этом остроумном вычислении, к сожалению, все дело и оканчивается; в чем же должны заключаться те «новые основания», о которых, по-видимому, хлопочет г. Жуковский,— он благоразумно умалчивает, хотя и видно, что ему лично хотелось быть «хозяином» не только в редактировании журнала, но и в доходах его. Мы можем сказать по этому поводу, что и сами не прочь от «новых оснований» в журнальном деле, но, по нашему мнению, допущение г. Жуковского, одного или вместе с г. Антоновичем, к роли «хозяина» журнальных доходов все-таки нимало не разрешает этого вопроса. Мы думаем, что, кроме этих знаменитых незнакомцев, есть еще «шушера» и «шелуха», которую тоже удовлетворить не лишнее. Мы очень хорошо понимаем, что вопрос о том, кто должен быть участником в журнальных прибылях, можно довольно легко разрешить, ответив на него: «вы да я», и что через это значительно устраняется дробность в расчетах, но подобное разрешение едва ли может соответствовать выгодам и видам «шушеры» и «шелухи». Нельзя полагать, чтобы «шушера» уже всегда являлась только «шушерой», напротив того, иногда она является довольно проницательною. А потому, едва ли не целесообразнее было бы, если б вы, вместо того чтоб беседовать с читателем о ваших личных огорчениях, представили ему проект, в котором бы привели основания: 1) как приобщить не только вас с г. Антоновичем, но и «шушеру» и «шелуху» к тем

«благам», о которых вы так умильно говорите; 2) какую принять норму для оценки писательского труда, то есть ценить ли все статьи одинаково, руководствуясь только объемом их, или же принимать в соображение и степень дельности и талантливости, с которыми они написаны; и 3) на кого возложить или как устранить тот риск, который сопряжен с изданием журнала, в том случае, если он не будет иметь успеха в публике? Вот если вы разрешите эти насущные в журнальной практике вопросы, то мы будем вам весьма благодарны.

В заключение повторяем: мы не имеем ни надобности, ни права заниматься личною распрею, возникшею между гг. Антоновичем и Жуковским с одной стороны и г. Некрасовым — с другой. Но считаем нелишним обратить внимание на те приемы, к которым прибегает знаменитый либерал г. Антонович для уязвления своих противников. Так, например, он рассказывает, что находил в доме у г. Некрасова какие-то визитные карточки, от которых ему становилось жутко. В другом месте он с удивительною развязностью повествует, какой разговор имели с ним когда-то гг. Елисеев и Слепцов Нет спора: это действительно полемический прием, довольно близко подходящий к «маневру», но спрашивается: затем ли г. Некрасов пускал вас в свою квартиру, чтоб вы занимались разбором находящихся у него визитных карточек (хорошо еще, что не писем)? затем ли гг. Елисеев и Слепцов разговаривали с вами, чтобы вы их подлавливали и предавали слова их тиснению?

Нет, не затем. Им, вероятно, и на мысль не приходило, чтобы вы, относительно их частных сношений и разговоров, предприняли систему домового обыска и даже устранили при этом понятых, которые могли сбеспечить правильность и непритязательность обыска. Во всяком благоустроенном обществе само собою предполагается, что публичный деятель в своих частных сношениях, в своих разговорах, то есть вообще у себя дома,— действительно настолько дома, что самая мысль о непрерывном домовом обыске устраняется, как нечто нелепое и дикое... хотя бы эти обыски предпринимались и с либеральными целями. Торквемадство, даже и либеральное, есть явление настолько противное человеческой природе, что общества цивилизованные все усилия свои прежде всего устремляют к тому, чтобы оградить себя от наплыва его, и только тогда считают себя достигшими действительной свободы, когда успевают в этом ограждении. Конечно, примеры подобного либерального торквемадства в истории нередки, но мы, по совести, не можем их одобрить. Так, например, известный либерал XVIII века Феофан Прокопович (см. сочинение г. Чистовича: «Феофан Прокопович и его время») таким образом формулировал до-

просные пункты некоему Аврамову, написавшему против него обличение: «В известном сем, от вас затеянном действии, с кем ты входил в общество и беседы о сем, а наипаче не сообщал ли ты о сем особам знатным, и до кого из знатных лиц имянно ты прихаживал и об сем имел разговоры, а как часто, и что советовали?» и т. д. и т. д. Нельзя не сознаться, что подобная манера относиться к пациенту довольно язвительна, но в то же время всякий, кто провел свою жизнь не на цепи и не в уединенном месте, согласится, что есть в ней и нечто в высшей степени уродливое.

ПОВЕСТИ, ОЧЕРКИ И РАССКАЗЫ М. СТЕБНИЦКОГО (автора романов «Некуда» и «Обойденные»). 2 тома. С портретом автора. 1868 и 1869 *

Имя г Стебницкого получило известность с 1863 года, то есть с того времени, когда его знаменитый роман «Некуда» в первый раз появился в печати Это произведение пера г-на Стебницкого имело для него самого роковое и почти трагическое значение: по милости этого романа литературная репутация его сразу была составлена, известность упрочена и судьба его, как писателя, тут же решена была навеки. Этим романом он сам собственноручно подписал себе приговор, которого уже не в силах изменить никто, даже сам г. Стебницкий Все, что было им писано прежде, и все, что он писал впоследствии, уже не имело и не могло иметь существенного влияния на его литературную карьеру по той причине, что она была уже сделана. Роман этот был решительным шагом. Подобный шаг писатель может делать только один раз в жизни, но этого раза совершенно достаточно на всю жизнь. Произведения такого рода составляют событие, после которого можно, пожалуй, и ничего не писать и ни о чем больше не беспокоиться, потому что получить в литературе почетное место Стебницкого или Булгарина это значит. так сказать, приобресть некоторое право на бессмертие, это почти то же, что сделаться членом Французской академии

Но известно, что славу,— какая бы она ни была, худая ли, хорошая ли,— обыкновенно изображают с трубою. Это значит, что появление нового громкого имени никогда не обходится без скандала· всякое такое событие имеет свойство производить в обществе и в литературе некоторого рода переполох, сеять смуты и поселять раздоры. Знаменитый роман «Некуда», стяжавший славу г-ну Стебницкому, не избегнул этой участи; тотчас же по выходе в свет он возбудил в публике междоусобие: одни стали говорить, что роман списан с натуры и что

поэтому он имеет громадное обличительное значение; другие же утверждали, что это вовсе и не роман, а просто сбор разных сплетен, следовательно, он и значения никакого иметь не может. По этому поводу между спорящими вспыхнул перекрестный огонь; с обеих сторон посыпались насмешки, ядовитые намеки и т. д. О романе кричали много, он был руган и переруган несчетное число раз, наконец, самое имя г. Стебницкого приобрело какой-то особенный смысл, которым одна партия поносила другую. Таким образом, обряд причисления г-на Стебницкого к лику бессмертных обошелся ему не даром. Но интереснее всего в этой истории было то, что как во время самого разгара смуты, так и впоследствии — литературная критика относилась к роману «Некуда» совершенно безучастно и ни разу не удостоила его разбора, которого, по-видимому, следовало ожидать, судя по впечатлению, произведенному романом. В журналах действительно появлялись довольно часто, особенно вначале, разные так называемые «отзывы»; но все они, во-первых, отличались краткостью, а во-вторых, были совершенно чужды обыкновенных критических приемов. Отзывы эти были не более не менее как частные взрывы личного негодования, это была просто-напросто брань. Авторы «отзывов», говоря о романе, даже не трудились указывать страницы, по их мнению достойные порицания; никто не приводил ни одной цитаты, никто не выписывал ни одной строки из романа в подтверждение своих слов, а все его ругали; ругали огулом «за все», ругали сплеча, кратко, но сильно, даже с каким-то соревнованием: точно каждый спешил от своего усердия принести свою посильную лепту в общую сокровищницу и только боялся, как бы не опоздать к началу. Само собою разумеется, что во всем этом поголовном ругательстве было очень много ожесточения и ни на волос не было того, что мы привыкли понимать под словом «критика».

Но этого мало, что критики не было; ее и не могло быть; а не могло быть потому, что изделие г-на Стебницкого, известное в продаже под названием «Некуда», никогда не было *литературным произведением;* стало быть, и относиться к нему как к настоящему роману не только не было надобности, но даже и не было никакой возможности. Эта особенность романа «Некуда» и была причиною того, что журналистика признала его не подлежащим суду литературной критики, а смотрела на него как на житейское дело, как на личный подвиг г-на Стебницкого, за который он обязан отвечать перед судом общественного мнения. Эта же особенность была, вероятно, причиною и того, что даже из людей, сочувствующих г-ну Стебницкому и вполне разделяющих его мнения, ни один не решился вступиться за

него печатно и заявить свою солидарность с автором романа «Некуда». У каждого из этих господ хватило настолько такта, чтобы отмолчаться и даже виду не показывать, что они втайне ему сочувствуют. Наконец, и сам г. Стебницкий своими действиями вполне подтвердил мнение о нелитературности его произведения. Он принял отзывы о своем романе прямо *на свой личный счет,* то есть видел в них не критику своих произведений, а просто-напросто личное для себя оскорбление, и отвечал на это бранью. И в этом случае он был совершенно прав: брань он не принимал за критику, ибо очень хорошо понимал, что это брань. Он одного только не мог понять и не понимает, как видно, до сих пор, что ему за роман ничего больше и получать не следовало...

И действительно, роман «Некуда» — это своего рода феномен в русской литературе; такой же точно феномен, как, например, Юлия Пастрана или знаменитый бык о шести ногах. Конечно, интерес, возбуждаемый в публике этого рода знаменитостями, может быть, для них и не совсем приятен, но, с другой стороны, положение феномена имеет также свои удобства Шестиногого быка, например, ни один пастух, вероятно, не пустил бы к себе в стадо, а другие быки, может быть, и не признавали бы в нем товарища, но зато и он, как феномен, не лишен некоторых особенных привилегий: он смело глядит в глаза мясникам, его не гоняют по грязи, он не мокнет на дожде, проводит время в праздности и не подчиняется правилам, установленным для прогона скота, потому что он не простой бык, а феноменальный. Точно так же и Юлией Пастраной быть, положим, не особенно весело, но зато ведь и к нравственным качествам подобного существа нельзя относиться с особою строгостью. Таким образом, все феноменальное имеет как бы свои права. Роман «Некуда», как феномен, тоже их имеет, почему и нельзя его судить особенно строго.

История об этом знаменитом романе давно уже кончилась и, как всякая знаменитая история, успела всем надоесть настолько, что, кажется, позволительно было бы оставить ее в покое; к несчастию, оказывается, что сам г. Стебницкий смотрит на дело иначе: он не только не думает оставлять ее в покое, но даже уверен, что она вовсе не кончена; он не только сделал в последнее время новое покушение поднять ее на ноги, но даже придумал для этого очень оригинальное средство. Более года тому назад он издал первый, а теперь издает и второй том своих сочинений под названием «Повести, очерки и рассказы». Читатель, купивши эту книгу, думает, конечно, что он купил именно такую книгу, какую хотел купить; и действительно, подвергнув ее предварительному осмотру, видит, что все озна-

ченное в заглавии находится налицо и что обмана тут нет никакого. Только уже по прочтении книги он убеждается, что за два рубля он приобрел не книгу, а апелляционную жалобу г. Стебницкого. Само собой понятно, что и книга г. Стебницкого, точно так же как его роман, никаким образом не может быть рассматриваема с точки зрения литературной критики, потому что и в ней литературные интересы принесены в жертву личным интересам автора; но зато она может быть предметом изучения как курьез, подобного которому в русской литературе еще не было. С этой стороны книга оказывается не только занимательною, но даже и назидательною. Главное достоинство ее состоит именно в том, что в ней автор с обязательною предусмотрительностью собрал все, что только мог, для того, чтобы облегчить читателям знакомство с своею особою. И действительно, в этом отношении сделано все, начиная с портрета, гравированного в Нюренберге, и кончая самыми разнообразными сведениями о частной жизни автора и об отношениях его к разным лицам. Благодаря этой заботливости г. Стебницкого, читатель знакомится с автором романа «Некуда» так же легко и приятно, как будто встретил его где-нибудь у своих знакомых и был ему лично представлен. При этом он узнает: какое участие г-н Стебницкий принимал в журналистике, какую роль он играл в истории петербургских пожаров и почему уехал за границу, что он там делал и как разочаровался в «новых людях» Наконец, желающие могут узнать самым положительным образом, в котором году какие убеждения имел г. Стебницкий и почему сменил их на другие, а также кого именно он считает своими врагами и за что они его преследуют. Все эти сведения собраны очень тщательно и рассыпаны везде, но больше всего встречаются в письмах под названием «Русское общество в Париже» Эти письма, можно сказать, битком набиты сарказмами, которыми автор из Парижа поражал своих врагов, проживающих в России. Поэтому читателю нетрудно догадаться, что, читая книгу г-на Стебницкого, не следует обращать слишком строгого внимания на заглавия и что, в сущности, все эти «повести, очерки и рассказы», о которых упоминается в оглавлении, служат только канвой для объяснений его с читателем, которого он непременно желает во что-то посвятить и что-то ему открыть. Такое внимание со стороны г-на Стебницкого хотя и лестно, но чем дальше, тем оно становится стеснительнее и наконец естественным образом приводит к вопросу: однако на что же, собственно говоря, это нужно? Читатель, как известно, человек снисходительный и его можно заставить читать все, что угодно, но с одним условием: прежде всего он желает знать, на что ему это нужно. Более или менее удовле-

творительный ответ на этот вопрос, конечно, отыскивается и в книге г-на Стебницкого, но, говоря откровенно, это не так-то легко дается.

Чтение этой книги, особенно на человека, незнакомого с литературной деятельностью г-на Стебницкого, производит очень странное впечатление. Сначала решительно невозможно понять, что такое делается с автором, почему он, заговорив об одном, вдруг перескакивает на другое: примется, например, рассказывать какую-нибудь повесть и вдруг ни с того ни с сего начинает огрызаться на кого-то *в сторону* или старается разжалобить читателя рассказами о том, как несправедливы и безжалостны к нему люди. Сначала эта странность сбивает с толку читателя; ему начинает представляться, что за г. Стебницким в самом деле кто-то гонится, что его преследуют, что ему угрожает какая-то опасность... Но чем больше вчитываешься, вдумываешься и соображаешь, тем яснее выходит, что вся эта раздражительность и некоторая путаница в мыслях автора происходят от того, что кто-то его обидел. Почему, когда и как это случилось — добраться довольно трудно, но что это так, что автор действительно обижен,— это не подлежит никакому сомнению. Доказательством этому служат, во-первых, жалобы на несправедливости и гонения, которым подвергался автор от своих врагов, и, во-вторых, надежда, выраженная им в одном письме из Парижа, что «бог и более беспристрастное потомство» оценят его со временем; и, наконец, тон, преобладающий в книге. Это именно такой тон, которым обыкновенно говорят обиженные люди, какой-то сбивчивый тон: не то жалуется человек на кого-то, не то грубит, и, уж во всяком случае, о чем бы ни начал говорить, непременно сведет на врагов.

Эта щекотливость и раздражительность сквозит у него в каждой строке и проглядывает всюду. Заговорит ли он о том, например, что русский народ невзыскателен и желания его ограниченны — непременно прибавит, что он и сам «не гонится за идеальною справедливостью и за идеальным осчастливлением всего человеческого рода огулом», за один прием, потому что он не теоретик, *ни Современника, ни Русского Слова не читал;* начнет ли сокрушаться о том, что иностранцы бранят Россию — тут же заметит: «А свои родные нигилисты еще лучше обработывают». Примется ли рассказывать историю, как одному русскому эмигрангу «блеснула счастливая мысль скомпрометировать г-на Стебницкого перед правительством», написав ему возмутительное письмо, которое могло быть прочитано на почте,— сведет на то, что этот эмигрант потому осмелился написать такое письмо, что, по глупости, вообразил себе, будто

всякий русский писатель должен «исповедовать писаревский принцип: бей направо и налево, что уцелеет, то останется».

Благодаря этому тону, бо́льшая часть повестей и рассказов г-на Стебницкого, в особенности же «Парижские письма», приобретают чисто полемический характер, и читателю в этом случае поневоле приходится быть каким-то посредником между автором и его врагами. Спрашивается, однако ж, к чему это нужно? Очевидно, что это нужно только самому автору, г-ну Стебницкому; что ему одному необходимо показать, что его преследуют безвинно и что он вовсе не такой человек, каким его считают по милости врагов. «Письма из Парижа», о которых неоднократно упоминается выше, были написаны автором к редактору покойной «Библиотеки для чтения», в которой и напечатаны в свое время. В настоящем, «исправленном и дополненном» *издании этих писем беспрестанно попадаются* рассуждения о таких событиях, которые, во-первых, совершились в России, а во-вторых, гораздо позднее выхода «писем» в их первоначальном виде; как, например, о возвращении г-на Кельсиева и его книге «Прожитое и продуманное», которая, как известно, напечатана только в прошлом году. Таким образом, выходит, что г. Стебницкий писал из Парижа в 1863 году о том, что́ *должно было совершиться* в 1868 году, то есть *ровно за пять лет вперед!* Это он называет: «дополнить и исправить». Но это, конечно, еще беда небольшая; известно, что наш читатель человек до крайности сговорчивый и заводить спор из пустяков не станет; рассказывайте ему все, что хотите, только бы было занимательно; начните ему рассказывать о Париже, он будет вас слушать, а вместо того сведите на неуважение к властям, он и на это согласен; даже это еще лучше, если хотите. На эту-то сговорчивость г. Стебницкий, как видно, и рассчитывал, дополняя и исправляя по мере надобности свои парижские письма. В чем, собственно, состоят эти дополнения и какого они свойства, видно, например, хоть из следующего примера.

Рассуждая в одном месте своей книги о деликатности чехов, г. Стебницкий вдруг ни к селу ни к городу замечает, что «от *этой милой черты* (то есть от деликатности) очень далеки наши наглые и невежественные революционеры, считающие в обязанностях своего звания рвать всем носы и наступать на ноги, пока не получат сами хорошей затрещины». Понятно, что здесь неожиданная выходка против революционеров есть следствие бессознательного сродства идей. Заговорил он о том, что чехи вообще очень деликатны и никого не обижают,— и вдруг вспомнил о людях, которые рвут носы; это воспоминание рассердило его, и вот ему сейчас же захотелось их за это обругать и пригрозить хорошею затрещиною, которой они дождутся ко-

гда-нибудь за свою наглость и невежество. И при этом ему не пришло даже в голову, что читатель непременно должен спросить, какие же это такие «наши революционеры» и где мне их видеть, г. Стебницкий?

Но на этот вопрос читатель, разумеется, ответа не дождется, потому что выходка о наших революционерах безотчетна и скоропостижна. Подобные *дополнения* встречаются у г. Стебницкого даже и в повестях; например, в повести «Леди Макбет Мценского уезда» автор рассказывает об одной бабе — Фионе и говорит, что она никогда не отказывала ни одному мужчине, и затем прибавляет: «Такие женщины очень высоко ценятся в разбойничьих шайках, в арестантских партиях и *социально-демократических коммунах*».

Все эти дополнения о революционерах, отрывающих всем носы, о бабе Фионе и о нигилистах-чиновниках — без всякой связи рассеяны там и сям в книге г. Стебницкого и служат только доказательством того, что у автора время от времени бывают какие-то особого рода припадки, причем у него является не столько злостное, сколько забавное желание — вдруг размахнуться по воздуху. Но все-таки, должно быть, и сам он чувствует, что это средство для уничижения врагов еще недостаточно сильно, что одним грубиянством не проберешь, и поэтому пускается на хитрость: заведет, например, разговор о каком-нибудь постороннем предмете, положим, о народности в литературе, и тут же схвастнет, что он отлично знает русский народ, совсем не то, что, например, Успенский и Якушкин, а гораздо лучше.

«Я,— говорит он,— не изучал народ по разговорам с петербургскими извозчиками, а *я вырос в народе* на гостомельском выгоне, с казанком в руке, я спал с ним на росистой траве ночного под теплым овчинным тулупом» и т. д., и, несмотря на это, все-таки до такой степени скромен, что даже нисколько не гордится этим перед товарищами. Затем вдруг объясняет, что «я, говорит, перенес много упреков за недостаток какого-то неизвестного мне *уважения к народу*». Это все, разумеется, напраслина, потому что г-ну Стебницкому сроду никто никогда никаких упреков не делал, и сам г. Стебницкий это очень хорошо знает; но эти упреки *ему нужны*. Нужно с чем-нибудь подойти к читателю, он и выдумал упреки. Затем он уже продолжает: «Я равнодушен к этим упрекам не потому, что, с тех пор как я пишу, меня *только ругают* (вот оно!) и я привык знать, что̀ эта ругань значит и сколько она сто̀ит; но насчет упреков в так называемом нечестном отношении к народу я равнодушествую не по привычке *к лаю,* раздающемуся вслед за каждым моим словом *из всех литературных нор и*

трущоб, приютивших издыхающих нигилистов, а потому, что имею уверенность...» и т. д.

Вот для чего г. Стебницкому непременно *нужно было,* чтобы его упрекали в неуважении к народу. Совершенно для того же *нужно* было ему, заговорив о русских женщинах, проживающих в Париже, свести речь на опасности, угрожающие семейному быту. «Посмотрите,— говорит он,— на этих дочерей, честных, лелеянных, составлявших радость семейства и убегающих из этих семейств на растление, в вертепы петербургских нигилистов!» Одним словом, о чем бы он ни начал говорить, можно смело заранее дать подписку, что в конце непременно будут нигилисты. И действительно, это у него какой-то кошмар: нигилисты не дают ему покоя, они его со света сживают; даже за границей он не мог от них скрыться, и там они везде становились ему поперек дороги.

Многие отечественные беллетристы писали и против русского нигилизма, и по поводу его; можно даже сказать, что значение этого учения (до сих пор, однако ж, никем обстоятельно не разъясненного) в последнее время до того усилилось, что для деятелей нашего литературного вертограда сделалось ясно, что без этой лакомой приманки почти невозможно залучить к себе внимания публики. Даже г. Гончаров, до сих пор очень скромный, и тот в последнее время счел нелишним заявить, что в стремлениях современного молодого поколения нет ничего «прочного, живого и верного» и что надобно, по малой мере, обратиться за полстолетия назад, чтобы заснуть с уверенностью, что вас не обокрадут, не соблазнят и не попросят взаймы денег. Но ни у одного из русских писателей так называемый нигилизм не является тем давящим кошмаром, каким он представляется в произведениях г. Стебницкого. Для гг. Тургенева, Гончарова, Писемского и других нигилист — это не более как особенная разновидность человека, представляющая опытным беллетристам случай показать, что они так глубоко поняли тайны человеческого сердца, что даже такая мрачная пучина, как сердце нигилиста,— и та не осталась для них сокровенною. Они относятся к нигилистам, конечно, не без внимательности, но вместе с тем все-таки памятуют, что «делу время, а потехе час», и затем у них сейчас же пойдут писать: Татьяны Марковны, братья Кирсановы, Марфиньки, Одинцовы — одним словом, все те, которые, по мнению почтенных авторов, воплощают в себе «прочное, живое и верное». Одним словом, нигилист в глазах этих писателей — это только новое полезное украшение в повествовательной литературе, несколько более пикантное, нежели прежние Стародумы и Правдины, но настолько, однако ж, насколько теку-

щая современность более пикантна современности давно прошедшей. Совсем иначе смотрит на нигилизм г. Стебницкий. Нигилизм для него — это поэма всей его жизни, это нечто вроде «Потерянного рая». Ни один из его героев — ни одна Платонида, ни один «Овцебык» не существуют в его глазах сами для себя; все это призраки, которые дают только повод вызвать другой, ненавистный, но вечно милый призрак: призрак нигилизма.

В пользу этого призрака он жертвует всем: и запасом своей наблюдательности, и теми проблесками дарования, которые, по временам, пробиваются в его произведениях. Когда беллетрист относится к своим героям несвободно, когда он задумал в одних из них совокупить всевозможные добродетели, в других — изобразить порождение ада, то весьма естественно, что он и в самой фабуле романа становится рабом своего умысла, что он заставляет героя убивать, тогда как, по ходу вещей, ему следует спасать, грубить, когда следует приносить чувствительную благодарность. Вместо таланта выступает сноровка, вместо наблюдательности — инсинуация. Вот эти-то качества именно и преобладают в произведениях г. Стебницкого. Он не пишет повесть, а делает ее. Его герои идут не туда, куда следует, говорят не так, как следует, питаются не тем, чем следует. А отчего? Оттого, что есть некоторый «Потерянный рай», который смущает мысль автора.

Не доказывает ли это, что и в «Потерянном рае» имеется своего рода сладость, утрата которой может привести человека в немалое беспокойство?

СОЧИНЕНИЯ Я. П. ПОЛОНСКОГО. Два тома. СПб 1869 *

Значение второстепенных деятелей на поприще науки и литературы немаловажно. Они полезны не только в качестве вульгаризаторов чужих идей, но иногда даже в качестве вполне самостоятельных исследователей истины. Мысль заключает в себе источник такого богатства выводов и применений, около которого могут найти для себя пищу не только так называемые инициаторы, но и просто люди с чутким и восприимчивым умом. Очень часто от внимания инициаторов ускользают подробности весьма существенные, которые получают надлежащее развитие лишь благодаря их последователям. Эти последние дают новые подкрепления возникающим жизненным вопросам, проливают на них новый свет и отчасти даже видоизменяют их. В этом случае относительное достоинство второстепенных деятелей определяется, во-первых, широким и яс-

ным пониманием внутренней сущности (а не буквы только) того или другого учения и, во-вторых, способностью развивать его и обогащать новыми выводами и применениями.

Если мы ограничим нашу речь о второстепенных писателях одною беллетристикой, то увидим, что и в этой сфере сказанное выше может быть приложимо с полным основанием. В литературе, даже не весьма богатой, всегда существует довольное количество различных школ, в состав которых входят люди талантов весьма неравных. Каждая школа имеет и своего мастера, и своих подмастерьев и чернорабочих, но критика, конечно, была бы неправа, если б одних мастеров признавала подлежащими ее суду, а писателей, идущих по их стопам, оставляла в забвении. Во-первых, это было бы несправедливо, потому что второстепенность отнюдь еще не равняется отсутствию таланта, а означает только недостаток почина, а во-вторых, пренебрежение к подражателям может сделать ущерб самому критическому исследованию в том отношении, что оставит без разъяснения те характерные стороны школы, для изучения которых подражатели почти всегда представляют материал гораздо более разнообразный и яркий, нежели сами образцы.

Что г. Полонский писатель второстепенный и несамостоятельный, с этим согласится всякий, кто прочтет на выдержку хоть несколько строк из изданных им ныне двух томов сочинений; но ежели бы мы захотели определить, к какой он принадлежит школе, какому образцу следует и каким миросозерцанием вдохновляется, то встретили бы большое затруднение. По-видимому, он эклектик, то есть берет дань со всех литературных школ, не увлекаясь их действительно характеристическими сторонами, а ограничиваясь сферами средними, в которых всякое направление утрачивает свои резкие особенности. Такого рода прием, быть может, весьма благоразумен в том отношении, что не дает повода обвинять прибегающего к нему писателя в слишком наглых заимствованиях или в явном опошлении образцов, но он опасен в том смысле, что может породить значительную долю вялости и бесцветности.

В литературном произведении нет недостатка более нестерпимого, как вялость и безличность. Преувеличение, напыщенность, шаржи приводят читателя в негодование, но иногда могут даже подкупить его; вялость всегда оставляет его равнодушным. Подражатель наименее самостоятельный найдет больше участия в публике, нежели бледный эклектик, производящий свое литературное взяточничество втихомолку со всех злаков, произрастающих на литературной ниве. Встречаясь с первым, публика знает, что она услышит напоминание

того, что ей почему-либо дорого или почему-либо ненавистно; ей кажется, например, что г. Авдеев совсем не г. Авдеев, а просто псевдоним Тургенева, под которым последний издает свои произведения поплоше, но отчего же не почитать ей и плохих произведений Тургенева? Напротив того, встречаясь с эклектиком, она рискует услышать одно бессодержательное сотрясение воздуха. Бесконечная канитель слов, связь между которыми обусловливается лишь знаками препинания; несносная пугливость мысли, не могущей вызвать ни одного определенного образа, формулировать ни одного ясного понятия; туманная расплывчивость выражения, заставляющая в каждом слове предполагать какую-то неприятную загадку,— вот все, чем может наградить своего читателя второстепенный писатель-эклектик.

Г-н Полонский очень мало известен публике, и это, как нам кажется, совсем не потому, что он писатель только второстепенный, а потому, что он, благодаря своей скромности, записал себя в число литературных эклектиков. С именем каждого писателя (или почти каждого) соединяется в глазах публики представление о какой-нибудь физиономии, хорошей или плохой; с именем г. Полонского не сопрягается ничего определенного. Во внутреннем содержании его сочинений нет ничего, что поражало бы дикостью; напротив того, он любит науки и привязан к добродетели, он стоит почти всегда на стороне прогресса, и все это, однако ж, не только не ставится ему в заслугу, но просто-напросто совсем не примечается. Начните читать любое стихотворение этого автора, и вы можете быть уверены, что во время чтения будете чувствовать себя довольно хорошо; но когда вы кончите, то непременно спросите себя: что ж дальше? Конечно, это вопрос совершенно праздный, ибо если г. Полонский будет продолжать говорить тридцать лет сряду, он все-таки никогда не упразднит вопроса: что ж дальше? но как хотите, а неизбежность подобного вопроса не лишена своего значения. Ведь ежели бы все русские авторы писали так, что за прочтением их произведений непременно следовало бы требование: дальше! — то это равнялось бы упразднению русской литературы и, сверх того, изнурило бы самих авторов без всякой для дела пользы.

Прочтите, например, следующее стихотворение, которое положительно может назваться одним из лучших во всем собрании.

Царство науки не знает предела,
Всюду следы ее вечных побед —
Разума слово и дело,
Сила и свет.

Гордая Муза! не бойся коварства! (?)
Крикни толпе отзовись хоть один!
Этого светлого царства
Кто гражданин?
В темной толпе мы не много услышим
Братски отзывных, живых голосов:
Много ли дел мы запишем?
Много ли слов? —
Слов, разрешающих наше сомненье,
В чем наша сила и где наш покой,
Вещих и полных значенья
Правды святой.
Миру, как новое солнце, сияет
Светоч науки, и только при нем
Муза чело украшает
Свежим венком

Кончено или не кончено? или разъяснения загадки должно ожидать в следующем нумере? Постараемся, однако ж, разгадать ее теперь же.

«Царство науки не знает предела» — это так, по крайней мере, в том смысле, что мы, современники, этого предела указать не можем. «Всюду следы ее вечных побед» — и это так, хотя тоже не безусловно, ибо нам известны целые учреждения, которые заведены именно с целью противодействовать победам науки, и, следовательно, носят на себе лишь в весьма слабой степени следы этих побед. «Разума слово и дело, сила и свет» — это уж совсем не так, ибо не наука родоначальница разума, а разум родоначальник науки. «Гордая Муза! не бойся коварства» и т. д. Это тоже совсем не так: во-первых, с какой тут стати приплетено «коварство»? во-вторых, если видны «всюду следы ее (науки) вечных побед», то, стало быть, не для чего и ревизовать толпу, потому что она несомненно составляет часть этого «всюду», а тем более поручать эту ревизию Музе, которая двух фраз сряду не может сказать, чтобы не впасть в противоречие. «В темной толпе мы не много услышим» и т. д. Да, действительно, услышите очень мало, но потому-то именно и не следует обращаться к «темной толпе», если желаешь что-нибудь услышать, кроме «ура». «Миру, как новое солнце, сияет» и т. д. В этих четырех стихах что ни слово, то загадка. Для чего нужен светоч науки для Музы, которая не может связать двух понятий? для чего только при этом светоче Муза «чело украшает свежим венком»? почему непременно «свежим», а не просто венком? по поводу чего все это взбрело в голову? какая связь между наукой и украшением чела Музы свежим венком?

И наконец, все-таки что ж дальше? Ну, положим, «светоч науки сияет» и «Муза при нем украшает» — неужто ж этим

дело и покончено? Куда же девалась «темная толпа», которую вы только что вывели на сцену? или это было только вводное предложение, или просто-напросто бессознательная модуляция голоса, нужная для того, чтоб не сразу прийти к изображению Музы, «украшающей чело»? А между тем сделать это сразу было бы гораздо естественнее и стихотворение много выиграло бы, если б было напечатано в следующем виде:

Царство науки не знает предела,
Всюду следы ее вечных побед,—

затем две строки точек, как будто вымарала цензура, и продолжаем так:

Миру, как новое солнце, сияет
Светоч науки, и только при нем
Муза.. —

опять две строки точек, дабы читатель мог думать, что, благодаря светочу науки, Муза перестает ветреничать и делается способною к логическим выводам.

Нам могут сказать: помилуйте! да ведь это поэзия! можно ли строго с нее взыскивать! Позвольте, милостивые государи! Конечно, вопрос о соглашении поэзии с здравым смыслом еще не разрешен вполне, но все-таки нам кажется, что те имеют очень фальшивый взгляд на поэзию, которые не видят в ней ничего противного бессмыслице. Пора, наконец, приучаться употреблять слова в их действительном значении, пора и поэтам понять, что они должны прежде всего отдать самим себе строгий отчет в том, что̀ они желают сказать.

ЗАПИСКИ О СОВРЕМЕННЫХ ВОПРОСАХ РОССИИ, составленные Георгием Палеологом. СПб 1869 г.

Когда наши дедушки писали свои мемуары, то в них можно было встретить только такого рода отметки, которые ни прямо, ни косвенно не касались политической современности. «Тогда-то выпал град с голубиное яйцо», «тогда-то был в гостях, из которых воротился довольно-таки весел» — вот незатейливые факты, за пределы которых не переходила скромная литературная деятельность добрых хранителей нашей юности. Они слишком высоко ценили значение литературы, чтобы вносить в занятие ею какие-либо раздражающие элементы; сверх того, они и потому уже обязывались быть воздержными в разглагольствиях, что ареною для их литературной деятель-

ности обыкновенно служили белые листки, вклеиваемые в академический календарь предусмотрительною его редакцией. Им они обязывались поверить сполна все свои горести и радости, а так как число белых листков было ограниченно, то весьма естественно, что это обстоятельство сдерживало порывы старческой болтливости в пределах благоразумия.

Ныне все это изменилось. 19-го февраля 1861 года выпал такой град, величина которого равнялась яйцу гусиному; дедушки поехали в гости и в первый раз в жизни воротились из оных не веселы; они поехали при звуках песни:

Ладушки! ладушки!
Где были?— у бабушки!—

но в гостях их попотчевали такою неслыханною стряпнею, что старички, не дождавшись ни «кашки», ни «бражки», разъехались по домам, изумленные, голодные и недовольные. Мысли их внезапно усложнились; в их лексикон насильственно вторглись неведомые дотоле слова. «Эмансипация», «реформа», «антагонизм» — вот выражения, которыми в то время наиболее украшалась речь русского человека. Для нас, свидетелей иной современности, значение этих слов, конечно, раскрылось настолько, что невредность их сделалась очевидною для каждого; но в то время они были еще очень таинственны, а известно, что ничто так не угрожает и не устрашает, как таинственность, к которой никто не решается подойти, предполагая за ней бог весть какие чудеса.

Долгое время старички крепились и поверяли свою тоску все тем же белым календарным листочкам, начертывая на них факты антагонизма, нашедшего для себя исход в неисправной чистке сапогов и неучтивом подавании тарелок. Но постепенно, поощряемые дешевизною бумаги и благосклонной снисходительностью начальства, они ободрились и начали предавать свои заметки тиснению, делая таким образом публику соучастницей их невинных измышлений. Сколько помнится, первыми, робкими деятелями на этом поприще явились Н. А. Безобразов и Гр. Бланк; за ними последовали «Московские ведомости», имея во главе публициста В. Ржевского, но последовали, должно сказать правду, нерешительно и очевидно смешивая эмансипацию с ненавистным им сепаратизмом и нигилизмом; наконец, орган крупных землевладельцев «Весть» привел это дело в совершенную ясность, отделив его от нигилизма и сепаратизма и сделав арену «реформ» доступною для всех желающих. Благодаря постоянным усилиям этого почтенного органа, всякий желающий может ныне свободно бе-

седовать с публикой о какой угодно реформе, нимало не стыдясь и даже не стесняясь правилами правописания.

Если б книга г. Палеолога, заглавие которой выписано нами выше, была издана в 1861 или даже в 1862 году, то появление ее можно было бы счесть гражданским подвигом. В то время Россия, в буквальном смысле слова, изнемогала под бременем усиленных надежд, возбужденных крестьянскою реформой и теми преобразованиями, которые ожидались вслед за нею. Все ждали, все говорили: золотой век не позади нас, а впереди, вот здесь, сейчас подать рукою; все надеялись вкусить от плодов вольнонаемного труда. В такую горячую минуту услышать отрезвляющее слово, сказанное хотя и неуверенным голосом, было, конечно, далеко не бесполезно, и многие были бы весьма признательны автору за то, что процесс охлаждения, благодаря его содействию, совершился бы пятью минутами раньше, нежели он совершился в действительности. «Опомнитесь, безумцы! — мог бы сказать г. Палеолог тогдашним энтузиастам,— знаете ли вы, к чему, например, поведет проповедуемая вами отмена телесных наказаний!» — и затем ему стоило бы только нарисовать мрачную картину своеволия, пьянства, дикого разгула и лености, краски для которой всегда имеются в готовности на палитре любого доморощенного Теньера, чтобы энтузиаст самый пламенный немедленно охладел. Это был бы подвиг. Но ныне подобные угрозы совершенно утратили свое воспитательное значение: во-первых, отмена телесных наказаний, в тех резких формах, которые наиболее возмущали нравственное чувство, есть факт уже совершившийся, и, следовательно, возвращаться к нему значит только дразнить самого себя, а во-вторых, мы и без угроз достаточно отрезвились, чтобы понять, какую услугу может принести наказание на теле в видах укоренения нравственности и чувства долга в тех, для коих нравственность и чувство долга останутся неразрешимой загадкой до тех пор, покуда они не будут введены в их сознание путем спины.

Сочинение г. Палеолога можно назвать полною энциклопедией по части реформ последнего времени. Ничто не минуло его проницательности, начиная от вопроса о вольнонаемном труде и кончая вопросом о заготовлении провианта и фуража для войск; на каких-нибудь 260 страницах он посетил мысленно все закоулки нашего государственного устройства и всякой замеченной им подробности успел дать хотя не очень сложную, но вполне откровенную оценку. Не надо думать, что почтенный автор относится к реформам с порицанием; он слишком учтив для того, чтобы позволить себе такую бестактность, и потому всякой оценке неизменно предпосылает не-

сколько сочувственных и благопожелательных слов. Но он не энтузиаст и не может быть таковым, потому что этому препятствует тот здравый принцип, из которого он выходит и который заставляет его под каждым цветком прежде всего усматривать змею. Этот принцип, заключающийся в том, что всякому государству следует давать только то, чего оно заслуживает, проводится им очень тонко и осторожно. «Для нравственного обсуждения политических и административных вопросов, говорит он, прежде всего нужно определить основное начало известного государственного строя и с этой точки зрения рассматривать ту или другую административную меру», и затем объясняет, что основное начало русского государственного строя есть самодержавие. С этим положением, конечно, невозможно не согласиться, потому что оно неотразимо подтверждается и свидетельством истории, и не менее непререкаемым свидетельством Свода законов Российской империи. Остается, стало быть, приступить к рассмотрению каждой реформы в отдельности и показать, согласны ли сделанные в последнее время самодержавной властью преобразования с теми основными принципами, на которых она покоится?

Но тут-то именно и доказал г. Палеолог, что он или недостаточно уяснил себе ту задачу, которую сам себе сгоряча поставил, или слишком поверхностно отнесся к ней. Вышедши из того здравого принципа, что не основное начало должно искать соглашения с подробностями государственной жизни, а наоборот, он впоследствии совершенно удалился от своей исходной точки и приступил к рассмотрению реформ вполне независимо от идеи, которая, по-видимому, руководила им первоначально. От этого у него и вышло не исследование в действительном значении этого слова, а просто блуждание без всякой определенной цели, кроме желания высказать некоторые личные взгляды и мнения, до которых никому нет дела. Ему следовало бы показать, в каком отношении находится к принципу власти каждая из дарованных ею же реформ, а он, вместо того, ограничился только изложением своих личных вкусов. Подрывает или, напротив, усиливает власть такая, например, административная мера, как смягчение дисциплинарных наказаний в войсках? или введение системы военно-окружных управлений? или отмена откупов? — вот что предстояло разрешить почтенному публицисту, но, к сожалению, мы напрасно стали бы искать в его книге ответа на эти важные вопросы, ибо г. Палеолог, поставив их в предисловии к своим критическим этюдам, не только забыл об них впоследствии, но исключительно наполнил свое сочинение

довольно бессвязными толками на тему: что русскому здорово, то немцу смерть, или, лучше сказать, наизнанку этой темы.

Нечего и говорить, как было бы любопытно, если б г. Палеолог в своей критике реформ удержался на высоте принципа, высказанного им в предисловии. Мы, конечно, узнали бы многое, о чем и «не снилось нашим мудрецам», и узнали бы именно в том смысле, в каком это всего более должно нас интересовать. Какая нужда нам до мнения автора, что акцизная система распространила в России пьянство в ужасающих размерах, или до того, что смягчение дисциплинарных взысканий заставило командиров отдельных частей, как уверяет почтенный автор, «записывать как можно больше подчиненных в штрафной журнал», дабы приобрести этим право наказывать на теле большее число людей? Что̀ все это, как не жалкие подробности, все значение которых зависит от большей или меньшей степени согласия их с «основным началом»! Для нас важны не пьяные, изнемогающие под игом бессознательности, и не нижние чины, вновь попадающие, благодаря ловкости командиров отдельных частей, в ту область телесных наказаний, из которых они извержены законом; для нас важен вопрос: ослабляет ли распространение пьянства то основное начало государственного устройства, о котором говорит автор в своем предисловии, или, напротив того, усиливает его? соответствует ли сохранению этого начала эмансипация человеческой спины или не соответствует?

Повторяем: автор не захотел или не сумел удержаться на той принципиальной высоте, которую сам себе указал вначале, и заставил читателей довольствоваться его личными вкусами и воззрениями на реформы нынешнего царствования. Может быть, он вынужден был поступить так потому, что довольно трудно провести ясную связь между пьянством, например, и основным началом какого бы то ни было государственного строя; но в таком случае было бы лучше или совсем не трогать подобных задач, или прямо сказать: не нравятся мне эти реформы не потому, чтобы я что-нибудь в них понимал, а потому, что кругом они меня обидели и изнурили. Так, по крайней мере, поступили бы наши дедушки, о которых мы упоминали в начале нашей статьи. Но нынче, по-видимому, так поступать нельзя, ибо подобное отношение показалось бы слишком наивным. Нынче везде необходима инсинуация, везде прежде всего потребно указать на злоумышление, бунт и измену. Нет нужды, что эти инсинуации лишены всякой логической последовательности, что они привлекают к бунту то самое «основное начало», против которого предполагаются

направленными злоумышления, выраженные реформами,— наши инсинуаторы не формализируются подобными бездельицами, как отсутствие логики и здравого смысла. Они надеются, что главная суть их инсинуаций будет понятна, несмотря на оговорки, которые ее запутывают, что их задача в том только состоит, чтобы в данный промежуток времени выпустить как можно больше всякого рода хульных и бессодержательных слов, а там, дескать, и без нас разберут, что до кого относится. И должно сознаться, что эти надежды не всегда лишены основания и что успех «хульных слов» вовсе не обусловливается их доказательностью.

Чтобы читатель мог судить, до какой степени неприхотливы вкусы и требования г. Палеолога, выпишем здесь хоть один образчик взглядов его на предметы, насчет которых он взял на себя труд поучать публику. Вот, например, что́ он говорит по поводу смягчения дисциплинарных взысканий в наших войсках, смягчения, несомненно, обусловленного не одними требованиями гуманности, но и соображениями практического опыта.

«По ныне действующему уставу, ротный командир и эскадронный могут подвергать телесному наказанию только штрафованных. Уже непрактично то, что здесь нарушается равенство прав между нижними чинами...»

Далее:

«Не лучше ли было бы оставить в руках ротных и эскадронных командиров право телесного наказания? Это лучше уже потому, что так дело было бы прямее и равномернее. Все нижние чины *были бы равны между собой,* без этой разности прав штрафованных и не штрафованных»...

И еще далее:

«Мы предвидим и знаем, как гуманные теоретики напустятся на нас за то, что мы сейчас сказали»...

Мы не будем оспаривать взглядов, заключающихся в приведенных выше кратких выдержках, но считаем своею обязанностью предостеречь г. Палеолога, что сказанное им о необходимости телесных наказаний может быть истолковано совершенно противно намерениям автора. Употребляя столь охотно слово «равенство», он может ввести в заблуждение читателя и прослыть за демагога и тайного поборника тех разрушительных идей, которые обыкновенно отводятся в удел «гуманным теоретикам». Что нужды, что его «равенство» совсем особое, что оно влечет за собою лишь одинаковое для всех право пользоваться наказанием на теле: читателя нельзя заставить быть прозорливым, как равно и нельзя ограничить область его понятий о равенстве одною сферою телесных на-

казаний. Если он испытал на себе силу так называемого «сцепления идей», то легко может отыскать для идеи «равенства» и другие применения, о которых, быть может, почтенный автор совсем даже не помышляет.

НЕДОРАЗУМЕНИЕ. Повесть в трех частях Данкевича. С.-Петербург. 1869

Когда известные формы жизни, несмотря на обветшалость, находят себе искусственную поддержку отчасти в недальновидном упорстве одних, отчасти же в бессознательности и малодушии других, то из этого возникает множество недоразумений, которые, незаметно вкрадываясь в существование человека, охватывают его со всех сторон. При помощи привычки эти недоразумения не только не поражают заинтересованные в них стороны, но даже кажутся совершенно естественными и находят горячих поборников, которые охотно прибегают к насильственным средствам, чтобы отсрочить их падение. Творческая сила общества как бы иссякает; не общество становится зиждителем своих внутренних распорядков, но, напротив того, являются распорядки совсем готовые, завещанные отсталою мудростью предания, и втягивают в себя всех без исключения членов общества: и дальновидных и недальновидных, и смелых и робких. В таком положении дела, чем более сознательною жизнью живет человек, тем более горьким делается для него существование. Нет спора, что сознательность сама по себе представляет большое утешение, и наслаждения, доставляемые ею, могут поддерживать и ободрять человека в борьбе с запутанностями жизни, но, с другой стороны, та же сознательность немало подливает и отравы, раскрывая безвыходность положения, доказывая бесплодность борьбы и больнее растравляя и без того наболевшие раны. Обязанность признания разумности неразумного есть одна из самых мучительнейших; она мучительна не только потому, что возмущает совесть человека, но и потому, что, при помощи продолжительной и беспрерывно повторяющейся практики, налагает на действия человека печать автоматизма. Встречаясь во всех сферах жизни лишь с бессрочными обязательствами, человек принимает эти обязательства совсем не вследствие сознания их пригодности для его счастья, а только потому, что непринятие их было бы равносильно добровольному самоисключению из жизни. Не так живи, как хочется, или лучше сказать: не так живи, как говорит разум — вот тиранический припев упорно отстаивающей себя искусственности общественных отношений, и когда наконец сама практика приходит разъяснитель-

ницею очевидной нелепости ею же наложенных уз, то она приносит не помощь человеку, а, напротив, горшее подтверждение его бессилия и беспомощности. Два выхода возможны в таком положении: или примирение и окончательный автоматизм всех действий, или борьба, истощающая силы и преисполненная всевозможных рисков и опасностей, начиная от мелких придирок и покалываний и кончая перспективой жить в обществе на правах зачумленного.

В особенности богата всякого рода недоразумениями та область общественных отношений, которая определяет взаимное положение мужчины и женщины. Это, впрочем, и понятно, потому что вопрос об этом положении испокон веку считался преобладающим в обществе. Воспитание наше и до сих пор ведется до такой степени односторонне, что не может быть и вопроса о так называемом гармоническом развитии *всех* сил и способностей человека. Весьма естественно, что последствием такой односторонности бывает чрезмерное развитие одной какой-либо наклонности на счет всех остальных. Жизнь человека направляется исключительно в одну сторону, поглощается одною страстью, и счастье или несчастье его становится в прямую зависимость от более или менее благоприятного питания этой исключительной страсти. Недаром взаимное влечение мужчины и женщины и доныне, в глазах общества, представляет *страсть по преимуществу,* то есть такую страсть, подробности развития которой всегда возбуждают любопытство и живое участие общества, тогда как различные фазисы, в которых может находиться всякая другая страсть, встречают в обществе если не полное равнодушие, то участие весьма умеренное. Очевидно, это происходит от того, что господствующие системы воспитания направлены преимущественно на развитие в человеке эстетического чувства и нимало не указывают благотворного и безопасного исхода ни для одного из остальных свойств, определяющих человека. Но в то самое время, когда эти остальные свойства глохнут в бездействии, не полагая, таким образом, никакого ограничения господствующей страсти, эта последняя, с своей стороны, подвергается различным искажениям именно вследствие того, что повсюдная ее разлитость привлекла на себя исключительное внимание общества и вызвала такую регламентацию, какой не подвергались никакие другие человеческие отношения, не исключая даже вопроса о власти человека над вещами. По-видимому, однако ж, эта регламентация уже дошла до тех крайних пределов, когда вопрос о ней может считаться вполне созревшим. И действительно, беллетристика всех стран (надобно сказать правду: почин в этом деле поло-

жительно принадлежит беллетристике) сделала вопрос о взаимных отношениях полов до такой степени общедоступным, что нет, кажется, того положения, той подробности, которая не была бы исчерпана до конца, нет той коллизии, того мельчайшего страдания, которое не было бы замечено и не нашло бы себе красноречивого толкования. С своей стороны и наука обратила на этот вопрос внимание и, конечно, не замедлит подвергнуть его философской разработке. Следом за беллетристикой и наукой пробуждается и общественное мнение; устроиваются митинги, конгрессы и т. д. Не потому общественное мнение высказывается позднее, чтобы оно чувствовало себя в этом случае менее заинтересованным, нежели литература и наука, а потому, что оно уже давным-давно допускало более или менее значительные уклонения от регламентации и в этом послаблении находило для себя возможность примиряться с нею; теперь же оно ставит вопрос прямо и требует такого разрешения, которое устранило бы не только регламентацию, но и уклонения от нее, как противные человеческой совести. Но, по нашему мнению, вопрос этот, даже и в настоящем его положении, ставится довольно односторонне, ибо и литература, и наука, и общественное мнение все внимание свое, по-видимому, исключительно обратили на так называемое порабощение женщины и ее сравнительно меньшую правоспособность. Мы думаем, что как бы ни был удовлетворительно разрешен этот вопрос, это разрешение все-таки не устранит недоразумений, узел которых лежит в стеснениях обоюдных, а отнюдь не в односторонней подчиненности женщины. Развяжите этот узел, и вопрос о сравнительной неправоспособности женщины уладится сам собою.

Высказанные нами выше мысли невольным образом возникают при чтении повести г. Данкевича «Недоразумение». К сожалению, автор, впервые вступающий на литературное поприще, как кажется, слишком увлекся успехами (впрочем, уже отживающими) так называемой художественной школы и потому недостаточно проникся важностью бывшей у него под руками задачи (недоразумение, источником которого служит регламентация отношений мужчины к женщине). По-видимому, он даже преднамеренно устраняет себя от преследования каких бы то ни было задач, полагая, вероятно, что присутствие этого элемента в беллетристическом произведении может только послужить во вред силе творчества и поэзии. Но он ошибается в этом случае и, конечно, сам сознает эту ошибку в то время, когда, вследствие дальнейшего упорного устранения задач (от чего мы его, однако ж, предостерегаем), увидит, что герои его произведений дойдут наконец до того, что будут

действовать с тою же бессознательностью, с какою ходят по столу мухи. Мысль и творчество отнюдь не враждебны друг другу: мысль есть главный и неизбежный фактор всех человеческих действий; творчество же есть воплощение мысли в живых образах или в ясном логическом изложении. Пора наконец убедиться, что тут совсем не может быть речи о какой бы то ни было враждебности.

ДВИЖЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В РОССИИ. Отделы: I, II, III и IV Д. с. с. Григория Бланка. СПб. 1869

Невнятное бормотание самоучек-философов столь же трудно доступно для чтения и понимания, как и любой трактат трансцендентальной философии. Если в последнем случае чтение затрудняется отвлеченностью содержания, требующей довольно сложной предварительной подготовки, сбивчивостью и необычностью терминологии, то в первом случае внимание читателя без всякой пользы задерживается сумятицей, господствующей в понятиях самого диссертанта, важностью тона, с которою он изрекает неслыханнейшие пустяки, и, наконец, совершенным презрением к каким бы то ни было синтаксическим и этимологическим приличиям. Вы видите человека, торопливо взбирающегося на кафедру; вот он насупил брови и, очевидно, нечто злоумышляет; жилы у него на лбу готовы лопнуть от натуги, ноздри раздуваются, губы трепещут; он то раскрывает уста, то смыкает их и опять раскрывает... Вы удивлены и встревожены; вас даже несколько утомляет зрелище беспрерывно разевающегося и смыкающегося рта; но в то же время вы не прочь допустить и то, что причина происходящих перед вами мучительных потуг имеет источником глубину и обширность соображений, обуревающих диссертанта. Ничуть не бывало. Он натуживается совсем не от того, что ему трудно вытащить свою мысль на свет божий, а от того, что у него совсем нет мысли и он в эту самую минуту ищет ее по всем извилинам своего мозгового вещества. Но вот он наконец на что-то набрел; впопыхах он не замечает, что находка его не только не имеет ничего схожего с мыслью, но что это даже не зародыш мысли, а просто выброшенная за негодностью тряпица, и спешит поделиться с публикой целым трактатом. Вы читаете, видите буквы, слова, останавливаетесь над каждой фразой, вдумываетесь — и все-таки ничего не понимаете. Вы наконец начинаете самого себя обвинять в тупости, в том, что ваша мысль не может стать на один уровень с мыслью писателя-самоучки. Успокойтесь. Вы не понимаете оттого, что тут нечего понимать, что тут либо подлежащее пропущено, либо

сказуемое позабыто, либо на связку опущен чересчур непроницаемый покров таинственности.

Философ-самоучка всегда забирается высоко и для представлений самых низменных ищет гегелевских формул. Заберется-заберется куда-то далеко, да там и лопнет. Может быть, это оттого происходит, что являться в публику нараспашку с одними отставными мыслями, похожими на стоптанные башмаки, довольно зазорно; но в таком случае, кто же заставляет всенародно срамить себя, кто препятствует сидеть дома хоть совсем нагишом? Кто? Странный вопрос! Не забудьте, что нет ничего самолюбивее умственной голытьбы, собственным умом дошедшей до каких-нибудь младенческих соображений, и что однажды она дошла до них, ей уже не терпится и не сидится на месте, покуда она не выложит на стол всех грошей, которые ей удалось скопить. Что нужды, что она ходит в стоптанных башмаках,— ей кажется, что никто этого не заметит и что ежели она кой-что подправит, кой-что подмажет, то и отставные мысли, пожалуй, сойдут за настоящие. И вот, с криком: с нами бог! — она входит в самое святилище упраздненных мыслей, ищет там обрывков далекого школьного прошлого, припоминает их, перевирает и в конце концов произносит такую речь, которую не только логически, но и синтаксически разобрать ни под каким видом нельзя.

Заветная мысль г. действ. статск. сов. Григория Бланка известна давно всем, кто хоть поверхностно знаком с литературою по крестьянскому делу. Эта мысль может быть формулирована так: в России не было рабства, а было крепостное право, то есть такое блаженное состояние, в котором помещик является и просветителем, и промыслителем, и защитником, и упразднение которого должно ввергнуть наше отечество в бездну революций. На долю помещика выпадали все заботы: он уплачивал за крестьян подати, он ставил рекрут, наряжал подводы, приходил на помощь крестьянам в неурожайные годы, разливал просвещение, устраивал крестьянские браки и т. д. На долю крестьян приходилось одно: блаженствовать и не грубить. Эту же самую мысль повторяет г. Бланк и в ныне изданном им сочинении, в котором он предположил порядком-таки пожурить кой-кого за реформы последнего времени. Конечно, этой мысли вся цена грош, тем не менее она понятна, и если изложить ее без синтаксических ошибок, то, пожалуй, может даже и сочувствователей себе найти в известных сферах. Но в том-то и беда, что г. действ. статск. сов. Григорий Бланк устыдился наготы этой мысли и, вместо того чтобы совсем зачеркнуть ее, вступил в неравный бой с синтаксисом и грамматикой.

Неизвестно, для чего ему понадобилось подкрепить эту мысль какими-то общими философскими положениями. И вот он начинает свою речь ab ovo[1] и для пущей важности задает себе следующий вопрос: что такое закон? *Закон,* говорит он, *есть правило для руководства в известных обстоятельствах.* Представьте себе, что вы перечитали целые груды книг по части истории и философии права; с другой стороны, представьте себе, что вы не только ничего не читали, но даже никогда не думали о том, что̀ обусловливает и направляет ваши шаги в жизни,— вас одинаково и в том и в другом случае поразит это определение своею неожиданностью. Вы будете над ним думать, думать и думать... Есть что-то такое в природе, о чем вам смутно припоминается, что вы где-то видели или читали, но где именно?.. Ах да! наконец! «В сей лес за грибами ходить запрещается», «в сем месте мочиться не дозволяется», «сей книге цена рубль»... черт возьми! ведь все это законы! все это *правила для руководства в известных обстоятельствах!* Откуда пришли эти законы — не знаю; но знаю, что я читал их на досках и на обертках книг. И еще знаю, что г. Бланк заявил себя изрядным законодателем, назначивши два рубля за книгу, заключающую в себе меньше трехсот страниц.

Но г. действ. статск. сов. Григорий Бланк идет дальше; он спрашивает себя: как составляется закон? воображая, по-видимому, что закон есть микстура, которую можно составить во всякое время. Ответ: «*Для составления закона должны быть известны все обстоятельства государства* в полной, истинной своей действительности и общей связи». Но это определение даже воспоминаний никаких не пробуждает, ибо его никто не читал ни на какой доске, ни в каких местах. Какие это «государственные обстоятельства»? какая «истинная действительность»? и может ли быть действительность не истинная? К чему слова эти собраны вместе? Кому и о чем они дают какое-нибудь понятие? И главное, зачем все это было нужно, когда основная мысль сочинения: упразднение крепостного права есть начало революции — сама по себе так понятна, что ухищрениями можно только затемнить ее?

Но до сих пор мы видели г. Бланка в борьбе только с здравым смыслом; далее он уже вступает в борьбу с этимологией и синтаксисом и окончательно изнемогает в ней. Он смешивает «исполнительность» с «исполнимостью», он придумывает смешное слово «актальность». Мало того, рассуждая о том, что закон должен быть исполняем, он говорит: «Слабость исполнительности законов может проявляться со стороны жите-

---

[1] с самого начала.

лей и правительственных органов; если дух законов правилен, благотворен и сообразен с обстоятельствами государства, то первое не бывает без последнего». И только. Где тут подлежащее? где сказуемое? откуда явилось «первое»? какой процесс предшествовал зарождению «второго»? Конечно, ни один смертный не измыслит ответа на эти вопросы.

Все это доказывает, однако ж, ту старую непререкаемую истину, что прежде, нежели писать трактаты, надобно твердо знать грамматику и не показывать слишком явного отвращения к правилам словосочинения. Трудно исчислить все блага, доставляемые твердым знакомством с синтаксисом, но между ними есть одно, которое бросается в глаза особенно ярко. Это благо — говорить и писать так, чтобы вас понимали. Если нам говорят: «Закон есть правило для руководства в известных обстоятельствах», то мы, конечно, этого не понимаем, но не понимаем оттого только, что тут и понимать-то нечего; но когда нам говорят: «То первое не бывает без последнего», то это уже нас огорчает, ибо кто же знает? будь говорящий несколько более тверд в правилах синтаксиса, может быть, мы и невесть что услышали бы от него...

Еще одно слово: по поводу реформы г. действ. статск. сов. Григорий Бланк считает нелишним упомянуть и о покушении 4 апреля 1866 года. Это сопоставление производит странное впечатление. Ужели и в самом деле г. Бланк думает, что между этими фактами существует какая-нибудь связь? Если ж он не думает этого, то с какого повода, предположив говорить о реформах, давших жизнь нашему отечеству, он примешивает в свою речь воспоминание о происшествии, взволновавшем всю Россию? Нет ли тут желания намекнуть, что стремления, давшие начало реформам, суть те же самые, которые породили и происшествие 4 апреля? Если же нет, то к чему по поводу реформ, всеми и бесповоротно признанных за благодетельные, заводить речь о «пролетариате неразвитых масс» и о «пролетариате развитого меньшинства» и все в связи с 4 апреля? Воля ваша, а тут что-то не просто.

Мы думаем, что с подобными игривыми сопоставлениями пора бы и покончить.

В РАЗБРОД Роман в двух частях А Михайлова. СПб 1870 г.

Жизнь самого обыкновенного смертного настолько сложна, что с трудом исчерпывается общими определениями. Если нам говорят, что такой-то человек добродетелен, а такой-то порочен, то это столь же мало знакомит нас с индивидуумом, о котором идет речь, как если бы нам сказали о прохожем, что он

прохожий. Люди, относящиеся к жизни сознательно, никогда не довольствуются подобными определениями, и это вовсе не означает недоверия к лицу, прибегающему к ним, а означает только отвращение от всякого рода бездоказательности, из какого бы источника она ни выходила. С другой стороны, сами люди, делающие подобные определения, всегда чувствуют их недостаточность и идут несколько далее, то есть вслед за определением стараются объяснить его примерами. И не только целая жизнь человека, то есть вся совокупность его поступков, но каждый отдельный поступок имеет свою историю, с помощью которой можно убедительно доказать, что даже дикое самодурство имеет в своем основании известные законы, за пределы которых оно переступить не может. Этого мало: из уст человека не выходит ни одной фразы, которую нельзя было бы проследить до той обстановки, из которой она вышла. Так, например, ежели человек говорит: «обещайте мне работать на пользу ближних, думать больше о других, чем о себе» и т. д. («В разброд», ч. 2, стр. 247), то слушающий эту фразу, если захочет, непременно найдет возможность восстановить тот жизненный процесс, который заставил ее произнести. Этот процесс окажется или нормальным, если фраза сказана искренно (хотя, впрочем, здесь дозволительно некоторое сомнение насчет ясности понятий человека, который ставит какую-то непроницаемую преграду между эгоизмом и любовью к ближнему), или ненормальным, если фраза сказалась ради одного хвастовства и вопреки общему типу убеждений человека. Но во всяком случае процесс существует, и его необходимо объяснить себе, если хочешь понять действительный смысл фразы и убедиться, что она зародилась в человеке, а не где-нибудь в пустом пространстве.

Чтобы сделать нашу мысль более вразумительною, объясним ее примером. По-видимому, нет ничего легче, как рассказать день любого человека. Встал, умылся, занимался с отвращением или с увлечением, читал Дарвина или Аскоченского, обедал, после обеда спал или опять занимался, поехал в театр, оттуда в общество, в котором говорились умные или глупые речи. Но такого рода описание, как ни преисполнено оно будет всякого рода подробностей, не удовлетворит никого. Можно разнообразить его сколько угодно, можно ввести в него не только простое воровство, но воровство со взломом, не только простой либерализм, но либерализм со ссылкою, куда Макар телят не гонял — и все-таки ничего из этого не выйдет. Потому не выйдет, что в жизни нет голых фактов, нет поступков, нет фраз, которые не имели бы за собой истории, которые можно было бы представить себе без всякого отношения к целому

ряду других фактов, поступков и фраз. Это понимается всеми, и ценители самые обыкновенные относятся с недоверием к самым характерным подробностям, ежели они поставлены изолированно. Сознательно или бессознательно, но всякий чует, что за внешними, разбросанными признаками есть внутренний мир, который связывает поступки человека не одною наружною связью, но приурочивает их к известному типу, в котором и заключается разгадка того или другого поступка, той или другой подробности.

Все это делает роль лица, наблюдающего жизненные явления, и в особенности желающего поделиться своими наблюдениями с публикой, чрезвычайно трудною. В обыкновенных житейских сношениях суждения бездоказательные или не представляющие полного живого образа сплошь и рядом проходят мимо ушей и извиняются невозможностью исчерпать предмет в коротких чертах. Но в сфере литературы подобным извинениям нет места; тут опрометчивость, если даже она соединена с благонамеренностью, не может произвести никакого другого впечатления, кроме изумления. Читатель берется за книгу если не для того, чтобы поучаться, то, во всяком случае, для того, чтоб вынести из нее какое-нибудь общее впечатление; и ежели вместо сознательных мыслей и строго соображенных образов он встречается только с бесплодной тавтологией слов, то это его огорчает. Чем полезнее мысль, чем благотворнее предполагается ее влияние на общество, тем тщательнее она должна быть разработана, потому что здесь неудача не просто обрывается на том или другом авторе, но распространяет свое действие и на самую идею. Истины самые полезные нередко получают репутацию мертворожденных, благодаря недостаточности или спутанности приемов, которые допускаются при их пропаганде.

Мы не сделаем никакой натяжки, если применим сказанное выше к новому произведению г. Михайлова. Несмотря на то что мы в полной мере сочувствуем тем общим началам, которые лежат в основании литературной деятельности этого писателя, мы и теперь не отступаем от отзыва, который был дан нами по поводу романа «Засоренные дороги», вышедшего в прошлом году. По мнению нашему, г. Михайлов стоит на фальшивой дороге, на которой недостатки его с течением времени будут обрисовываться все ярче и ярче и в конце концов совершенно затемнят те достоинства, которые были обнаружены в первых произведениях его пера. Главнейшие из этих недостатков: голословность и чуждое ясности резонерство.

Г-н Михайлов изображает в своих романах преимущественно так называемых «новых людей», которые и представ-

ляют у него казовый конец общества. Мы не имеем ничего против этого взгляда, а думаем вообще, что мысль представить в живых образах людей, которых идеалы сложились несколько иначе, нежели идеалы людей сороковых годов, занимавших до сих пор всю ширину нашей беллетристической сцены, есть мысль, заслуживающая всякого сочувствия. Не можем скрыть, однако ж, что у г. Михайлова эти люди выходят как-то чересчур уж бледно, а поступки или, лучше, слова их, напоминают скорее надерганные из новейших прописей изречения, нежели живые поступки и слова. Быть может, нам возразят, что типы, намечиваемые г. Михайловым, еще мало разработаны и трудно поддаются изучению. Стремления современного молодого поколения, скажут нам, обставлены слишком грозно, и авторитетное невежество, обзывая их общим наименованием «вредных идей», устроивает особую обстановку, которая делает доступ к ним почти непроницаемым. Предположим даже, что писатель вполне сознал сущность этих стремлений; ему остается преодолеть еще другую трудность, а именно найти живое слово для выражения их, и притом такое слово, которое не слишком бы шло против течения. Между прочим, ничто так ярко не характеризует того или другого направления, как так называемые крайности его. Эти крайности полагают основание великому множеству разнообразнейших характеров, присутствие которых на арене искусства совершенно необходимо, если мы желаем получить действительную характеристику общества в данный момент. Представьте себе, что возможность выводить подобные характеры устранена, и вы получите разъяснение того факта, почему попытки изобразить типические лица из современного молодого поколения (вне сферы карикатуры и клеветы) почти всегда сопровождаются неудачей. Вот возражение, которое может быть сделано против слишком строгой оценки подобного рода попыток.

Несмотря, однако ж, на относительную вескость этих соображений, вполне согласиться с ними нельзя. Те самые трудности, которые существуют в настоящее время по отношению к людям современного молодого поколения, существовали в свое время и по отношению к людям сороковых годов. Тем не менее мы имеем довольно богатую литературу, из которой можно с достаточною ясностью разгадать настроение, господствовавшее в той небольшой части тогдашнего русского общества, которая не без основания считала себя представительницею либеральных идей. Как ни ревниво ограждает себя большинство от вторжения так называемых «вредных идей», оно не может замкнуться до такой степени, чтоб избежать столкновений, преемственное повторение которых образует

борьбу, сначала глухую, но потом все более и более явственную. Скрыть смысл этой борьбы невозможно. Можно преследовать и карать известные личности, но нельзя преследовать целый строй идей, потому что против такого преследования восстанет сама жизнь, задача которой заключается в стремлении вперед, а не назад. Поэтому мы думаем, что какою бы непроницаемостью ни были прикрыты стремления, неприятные авторитетному большинству, публицистика и искусство все-таки имеют под руками достаточное разнообразие средств, чтобы сделать их понятными и доступными для пропаганды. Белинского и Добролюбова понимали все, хотя, конечно, они не менее были стеснены в выражении своих мыслей, нежели современные нам публицисты. Точно так же все понимали Круповых, Бельтовых, Рудиных.

Возвращаясь к г. Михайлову, мы повторяем: при всем уважении к его либеральным намерениям, мы никак не можем признать удачными его попытки познакомить публику с типами «новых людей». Это даже не люди, а марионетки, сохраняющие лишь наружные признаки людей и в то же время остающиеся в совершенном неведении тех побуждений, которые двигают ими. Трудно понять, о чем они хлопочут, чем они недовольны и в чем заключается тот либерализм, за который они страдают. Иногда кажется, что в них есть сочувствие к классу обиженному и обделенному, но по зрелом размышлении нельзя не убедиться, что это только ярлык, наклеенный на них автором, и что деятельно сочувствие это ни в чем не выражается. И еще кажется, что в них есть отвращение к дурному и фальшивому, но в чем заключается это дурное и фальшивое — это опять остается загадкою. Далее общих определений автор не идет; далее поступков, в которых ничего нет, кроме несознанной затверженности,— не показывает. В этом смысле первые его произведения («Гнилые болота», «Жизнь Шупова»), несмотря на свою неясность, были несравненно привлекательнее. Это были просто лирические излияния довольно страстной натуры, тронутой известными шероховатостями жизни, и в особенности того ее отдела, который носит название воспитания. Все сказанное в этих произведениях было сказано горячо, хотя и не поражало особенной новизною; все недосказанное было недосказано по праву, потому что и в жизни оно часто остается недосказанным. Энтузиазм, вера в будущее, горячий идеализм без определенных идеалов — вот материал, который доставляет питание героям первых опытов г. Михайлова. В позднейших сочинениях материал хотя остается тот же, но является уже значительно простывшим. Видится усилие сказать что-нибудь формулиро-

ванное, и в то же время усилие это осложняется попытками на объективность. И что же? — новое слово, произносимое г. Михайловым, является не более как бесцветным общим местом, а претензия на объективность разрешается построением деревянных кукол.

Рассказать содержание нового романа г. Михайлова невозможно, потому что его нет. В романе около шестисот страниц, и нельзя даже утверждать, чтоб он не изобиловал внешними событиями; напротив того, их больше, чем нужно, но в том-то и дело, что все они кажутся совершенно излишними. Ни на одном автор не остановился, необходимости ни одного из них не доказал. Его манера ведения рассказа напоминает времяпрепровождение помещиков доброго старого времени: вот, слава богу, мы пообедали — что будем теперь делать? — теперь будем чай пить, и т. д. Странную и даже несколько мистическую мысль положил автор в основание своего романа, а именно: будто бы родители за грехи свои наказываются в детях. Но, оставляя в стороне несостоятельность этого тезиса и рассматривая роман просто как историю развития человека при каких бы то ни было условиях, мы не найдем здесь ничего: ни условий, ни истории. Мы уже говорили однажды (по поводу «Засоренных дорог»), что автор делит человечество на две половины: добродетельную и порочную; эта же самая рутина господствует и в новом романе. Ни доказательств добродетели, ни достаточных указаний порочности не представляется. Как мухи мелькают герои романа, и как мухи же садятся в разброд на разные места без всяких видимых побуждений. И при этом автор заставляет их садиться и сниматься с мест с такою быстротой, которая заставляет предполагать, что этой быстротой он хочет восполнить недостаток внутреннего интереса. Выше мы указали на фразу: «обещайте мне работать на пользу ближних» и т. д. Кто говорит эту фразу? — ее говорит Наташа. Кто эта Наташа? — это Наташа, и больше ничего вы не добьетесь от автора в ответ. Это прохожий,— но кто этот прохожий, какое его миросозерцание и что он значит в общем круговороте жизни — это загадка, которую г. Михайлов и не старается разгадать. В романе его лица не создаются, а как-то невзначай родятся совсем готовыми и с готовыми фразами на устах...

Еще одно слово: некоторые подробности слишком отзываются заимствованиями; так, например, сцена возвращения к мужу Зины напоминает сцену возвращения жены Лаврецкого в «Дворянском гнезде». Это тоже не говорит в пользу самостоятельности автора.

НЕРОН. Трагедия в пяти действиях Н. П. Жандра. С.-Петербург. 1870

При появлении трагедии г. Жандра на подмостках Мариинского театра наши газетные рецензенты отнеслись к ней довольно неблагосклонно, а большие журналы даже ни одним словом не упомянули об этом произведении, как будто оно вовсе не появлялось. По нашему мнению, такое отношение критики к «Нерону» не вполне справедливо. Кажется, оно происходит оттого, что критика наша подходит к г. Жандру с меркою Шекспира, тогда как в этом случае совершенно достаточно мерки покойного Кукольника. Между Шекспиром и Кукольником есть довольно большой провал, наполнение которого от г. Жандра совершенно не зависит; но как продолжатель Кукольника, он исполнил свое дело весьма добросовестно и даже пошел несколько далее, ибо совокупил в своей трагедии шесть предумышленных убийств (Британник, Агриппина, Октавия, Сенека, Бурр, Поппея), одно самоубийство (сам Нерон) и один пожар, чего Кукольник ни разу сделать не решился.

По нашему мнению, самая мысль представить Нерона, при начале своего поприща, добрым и либеральным заслуживает величайшей похвалы. Это черта, общая всем хищникам не только в Риме, но и в лесах Южной Америки и пустынях Африки. Тигр, облюбовавший свою добычу и заранее уверенный в том, что она ни в каком случае не ускользнет от него, никогда, однако ж, не набрасывается сразу, но всегда как будто либеральничает или, говоря другими словами, старается внушить к себе доверие. Что̀ побуждает хищников поступать таким образом — это доселе тайна, в которую не успели проникнуть даже знаменитейшие исследователи природы, но можно догадываться, что это происходит оттого, что вообще в природе не существует живого организма, который был бы сплошь грубо-жесток, жесток до конца. Самый злой хищник — и тот инстинктивно как бы ищет оправдания своему хищничеству и вполне успокоивается лишь тогда, когда либеральными действиями доводит свою жертву до готовности, то есть до такого состояния, когда она приходит к сознанию, что единственное для нее средство разминуться со стоящею перед ней особою формоїй либерализма — это быть ею проглоченною. Так Нерон и поступал: сперва либеральничал, потом глотал, убивал, жег, травил зверьми, разбойничал и не только не понимал, что он глотает, убивает и разбойничает, но даже, по-видимому, был убежден, что либеральничает по-прежнему. Повторяем, эта черта подмечена г. Жандром очень верно, и за это одно трагедия его заслуживает полного сочувствия.

Правда, конечно, что все остальное выполнено автором довольно слабо; что герои его действуют несколько легкомысленно; что они слишком злоупотребляют своим правом говорить *в сторону* и через это ставят зрителя в довольно фальшивое положение: верить или не верить словам действующего лица, которое столько раз уже, сказавши фразу, тут же сряду обращалось к зрителю и говорило *в сторону:* не верь! это я нарочно! Правда также, что Шекспир, например, никогда не сосредоточил бы шести драм (тут каждое убийство настолько сложно, что может и даже должно быть предметом отдельной драмы) в пределах пяти действий, потому что такое обилие драматических коллизий в данном случае препятствует надлежащему их развитию, а в конце концов образует не трагедию, а кашу, но и за всем тем мы упорствуем в своей мысли, что критика была слишком придирчива к г. Жандру и недостаточно приняла во внимание, что мерка, которою ей предстояло мерить, отнюдь не Шекспир, а только Кукольник.

Мы вполне уверены, что если бы поступок г. Жандра, состоящий в сочинении им трагедии под названием «Нерон», был признан подлежащим ведению общих судов и если б почтенный автор сделал нам честь возложить на нас защиту своего дела, то оно, конечно, имело бы для него исход гораздо более благоприятный. Рецензенты поставили вопрос совершенно ошибочно и сбивчиво; они формулировали его так: «виновен ли г. Жандр в том, что он, желая затмить славу Шекспира, сочинил трагедию в пяти действиях под названием «Нерон», которую поставил на сцене в бенефис г. Нильского?» — и отвечали: да, виновен. Их положение было уже потому затруднительно, что тут явно смешаны два совершенно разные обстоятельства: с одной стороны, г. Жандр действительно виновен, ибо действительно сочинил трагедию, называемую «Нерон», но, с другой стороны, зачем тут припутан Шекспир? Ввиду этих затруднений следовало просто-напросто отвечать: «Нет, не виновен», хотя бы даже в этом ответе и была значительная доля несообразности; но все-таки пусть лучше десять виновных останутся ненаказанными, нежели один невинный понесет наказание незаслуженное. Обыкновенный суд, наверное, понял бы это и предложил бы присяжным заседателям не один, а три вопроса: 1) виновен ли г. Жандр в том, что, сочинив трагедию в пяти действиях под названием «Нерон», представил оную, при содействии артиста императорских театров г. Нильского (это обстоятельство предполагается выяснившимся в продолжение судебных прений), на сцене Мариинского театра? 2) виновен ли он в том, что имел при этом поползновение затмить английского драматурга

Шекспира? 3) если во втором преступлении невиновен, то не действовал ли в настоящем случае обвиняемый под влиянием российского драматурга Кукольника? Присяжные, с своей стороны, не удаляясь даже в комнату совещаний, объявили бы: на первый вопрос — да, виновен, но по обстоятельствам дела заслуживает снисхождения; на второй — нет, невиновен; на третий — да, под влиянием и по подстрекательству российского драматурга Кукольника. По выслушании этого вердикта, судьи, тоже не удаляясь в комнату совещаний, поставили бы следующий приговор:

Имея в виду:

Что г. Жандр присяжными заседателями признан виновным в сочинении трагедии в пяти действиях под названием «Нерон» и в постановке ее, при содействии артиста императорских театров Нильского, на сцене Мариинского театра; причем допущены для виновного смягчающие его вину обстоятельства.

Что вопрос о прикосновенности к сему делу Шекспира устранен присяжными заседателями безусловно.

Что хотя вопрос о подстрекательстве со стороны российского драматурга Кукольника присяжными заседателями разрешен утвердительно; но, с одной стороны, вышеописанного Кукольника, за сделанными розысками, нигде на жительстве не оказалось, а с другой стороны, он, Кукольник, обвинительным актом, утвержденным судебною палатой, даже суду не предан,—

Постановили:

1) Предоставить г. Жандру представлять сочиненную им трагедию в пяти действиях под названием «Нерон» на всех театрах Российской империи, с тем, однако же, чтобы окольные люди не были понуждаемы к смотрению ее.

2) Обстоятельства: об английском драматурге Шекспире, за устранением его присяжными заседателями, и о российском драматурге Кукольнике, за неразысканием его на жительстве и за непреданием суду, оставить без рассмотрения.

3) Обстоятельство о пособничестве артиста императорских театров г. Нильского, как не бывшее в виду судебной палаты, а обнаружившееся лишь во время судебных прений, передать прокурорскому надзору для возбуждения против г. Нильского преследования.

Таков был бы суд правый, скорый и милостивый. И защита, разумеется, не протестовала бы против него, хотя кассационных поводов тут найдется тьма-тьмущая.

НОВЫЕ РУССКИЕ ЛЮДИ. Роман Д. Мордовцева

Гораздо более г. Жандра виноват г. Мордовцев, и мы даже думаем, что никакой суд, даже самый скорый, не согласится оправдать его. Он виноват в том, что ввел читателя в заблуждение: обещал показать «новых русских людей», и мало того что не исполнил своего обязательства, но вместо людей, по выражению Гоголя, показал одни «свиные рыла». Виновность автора до того ясна, что не требует даже судебного следствия, и весь вопрос заключается лишь в том: с предумышлением или без предумышления совершено им упомянутое выше преступное действие? Или, говоря другими словами, был ли тип «нового русского человека» достаточно для него ясен, чтобы можно было предположить, что извращение допущено тут с заранее обдуманным намерением, или же этот тип был настолько же для него неясен, насколько, например, неясно для письмоносца содержание запечатанного письма, лежащего на дне его сумки?

По свойственному нам благодушию, мы отвечаем теперь же: «да, виновен, но без предумышления», и надеемся, что дальнейшее изложение обстоятельств подтвердит наш приговор без всякой отмены.

В одном месте своей книги г. Мордовцев приводит следующую характеристику «новых русских людей». «Шутя и смеясь,— рассказывает он,— молодежь не говорит пошлостей и не делает их, а в самой шутке преследует идею труда и честности, говорит о науке, о русском деле». В другом месте, устами одного из своих героев, автор выражается так: «Труд — вот единственное спасение России. Будьте поденщиком, возите воду, разбивайте щебень на мостовой и проч. Если способны на что-нибудь лучшее, работайте над этим лучшим... Кто не работает, кто не приносит своего труда в общую экономию человечества — тот подлец, подлец, и нет ему другого имени... Прочь все принятое — это цепи, ошейник, тюрьма, лизанье руки, которая вас бьет. Выходите на свет божий, новые люди, с новым, честным словом, и пусть это слово принимают не старые меха, а... новые люди!»

Из этого видно, что стремления «новых людей», по мнению г. Мордовцева, обнимают следующие три задачи: самостоятельный труд, наука и освобождение жизни от искусственных условий, которые затрудняют правильное и естественное развитие ее. Очевидно, что человека, относящегося так симпатично к предмету своего исследования, невозможно заподозрить в злоумышлении против него.

И мы, конечно, не имели бы никакого препятствия к опубликованию этой декларации, если б почтенный автор ограничился лишь теми немногими строками, которые выписаны нами выше. Но тут-то именно и начинается преступное действие г. Мордовцева. Он решил, что столь малого количества строк недостаточно для читателя, что они составляют только канву, а не дело; что следует сообщить ему несколько более вразумительности и на этот конец показать читателю живьем «нового русского человека», то есть человека, действительно «не делающего пошлостей», действительно трудящегося, развивающего себя наукой и устроивающего свою жизнь по-новому. Решил — и пустился в путь; но, к сожалению, впопыхах не справился о том, где лежит страна, которую он собрался исследовать.

Результаты этой печальной поспешности сказались немедленно. На первых же порах автор с полною наивностью перемешал свойства и признаки ветхого «тургеневского» человека с свойствами и признаками искомого «нового» человека. «Шел в комнату — попал в другую». Он не понял, что между «новыми людьми» и кобенями Тургенева, занимающимися расковыриванием собственных болячек (эти кобени и до сих пор не утратили жизненной правды, но, конечно, сам автор не отнесет их к числу «новых людей»), нет ни одной точки соприкосновения; он забыл, что эти люди противоречат даже его собственной задаче, что это натуры больные, надломленные и изнуренные, а совсем не те здоровые, бодро трудящиеся и бодро переносящие невзгоды люди, которых он предположил изобразить. Мало того, он даже отвел «кривляющемуся человеку» гораздо более места, нежели новому типу, который затронут им лишь в конце романа, как бы мимоходом, и, как мы увидим далее, затронут столь же удачно, как и все остальное, к чему ни прикоснулось лишенное творчества перо его.

Кобенящиеся герои г. Мордовцева (Ломжинов, Тутнев и отчасти Туркин), несмотря на несомненную свою исковерканность, не имеют никакой подлинности. Подобно своим образцам, они неустанно предаются самооплеванию и самоизнурению, но делают это отчасти как бы во сне, отчасти же как бы рассказывая своими словами насвистанный кем-то урок. В первом случае читатель становится свидетелем какой-то беспутной репетиции любительского спектакля, в которой актеры как попало бродят по сцене и с трудом прочитывают роли по неразборчиво писанным тетрадкам; во втором — перед ним развивается утомительнейшая, расстроивающая нервы шаржа, в которой насвистанное перемешивается с чем-то собственным, или, лучше сказать, с чем-то отдающим запахом го-

голевского Петрушки. Велика исковерканность «Гамлета Щигровского уезда», но она не поражает читателя, во-первых, благодаря отношению к ней автора, умевшего в самой исковерканности отыскать человека, и, во-вторых, благодаря тому, что за этой исковерканностью виднеется целый предшествовавший ей жизненный процесс. Но взгляните на исковерканность Ломжинова (главное действующее лицо «Новых русских людей») — и вы изумитесь, до какой безнадежной наготы, до какого отсутствия всякого признака человечности может дойти творчество в воспроизведении того же самого явления, которое за минуту перед тем, под пером другого художника, возбуждало в вас не отвращение, а почти симпатию. Откуда явился этот человек? как он жил? где и каким образом получил право показывать читателю свои болячки? какие это болячки? — Ничего этого не объясняется, а не объясняется потому, что, в сущности, ничего этого и нет. Это просто не помнящий родства бродяга, который бог весть откуда приходит, называет себя «мерзавцем и сыроядцем», грудь свою именует «поганою», ребра — «свиными» и, не довольствуясь пощечинами и подзатыльниками собственной фабрикации, привлекает к участию в этом любопытном процессе своего лакея Матвея.

«— Матвей!

— Что угодно?

— Дай мне пощечину.

— Что вы, барин?

— Дай, говорю тебе.

— Помилуйте, как же это можно?

— Бей!» и т. д.

Зачем понадобилась тут оплеуха? Является ли она, как возмездие за нравственную несостоятельность и негодность Ломжинова? — Нет, потому что тут не только несостоятельности, но даже поступков нет никаких. Или же автор прибегнул к ней, как к единственному средству, при посредстве которого представлялось возможным привести в себя этого странного «нового человека» с «поганою грудью» и «свиными ребрами» и заставить его установить на чем-нибудь его разбегающуюся во все стороны мысль? — Опять-таки нет, потому что и после получения оплеухи Ломжинов нимало не исправляется и по-прежнему продолжает надоедать читателю своим бессмысленным бормотанием. Таким образом, ни карательных, ни воспитательных целей не достигнуто, и читателю остается объяснить этот факт только испорченностью вкуса, заставляющего человека предпочитать существование оплеушное — существованию безоплеушному.

Другой герой того же закала, Тутнев, додразнивается до того, что даже благомыслящая, но не вполне рассудительная, девица Елеонская только из учтивости не дает ему пощечины, а кротко замечает: «Вы пустой и жалкий человек». Тем не менее, этот «пустой и жалкий человек» находит, однако ж, средство в самом непродолжительном времени не только оправдать себя перед девицей Елеонской, но даже внушить ей страсть. Каким образом совершается этот переворот — автор, по обыкновению своему, не объясняет и прямо рисует целый ряд ничем не мотивированных приапических сцен самого неслыханного свойства. Тутнев «комкает» девицу в своих лапах, «трудится» над нею, «мнет ее девственное тело», а девица вместо того чтоб плюнуть негодяю в лицо, кричит ему: «Раздави меня совсем, раздави, милый, милый!» И читатель не во сне видит эти омерзительные сцены, а читает их в печатном литературном произведении, в котором, по какому-то диковинному недоразумению, героям домов терпимости присвоивается кличка «новых русских людей».

Но автор, по-видимому, сам чувствовал поразительную пошлость своих главных действующих лиц и потому в конце романа вывел на сцену несколько новых личностей с явным намерением хоть отчасти осуществить в них ту программу, которую он предварительно имел в виду. К сожалению, однако ж, и в этом случае хорошие намерения остались только хорошими намерениями, а в результате ничего, кроме самой безнадежной рутины, не вышло.

В нашей беллетристике относительно воспроизведения типа «нового русского человека» установилась в последнее время двоякая манера, смотря по тому, где тот или другой автор избирает место действия для своего измышления. Если «новый человек» орудует в провинции, то он обыкновенно начинает с того, что приезжает из Петербурга и тотчас же грубит родителям и доказывает им, что они ослы. Доказать он, разумеется, ничего не докажет, но непременно увлечет за собой маленького «братишку» и маленькую «сестренку», и тогда в этом злосчастном доме закипает нелепейшая из драм, какую только может измыслить праздное человеческое воображение. В первой главе петербургский гость говорит отцу, что он — осел, а матери, что она — содержанка; отец конфузится (ибо втайне понимает, что сын говорит правду), мать утирает слезы; братишка и сестренка прислушиваются. Во второй главе петербургский гость опять повторяет отцу, что он — осел, а матери, что она — содержанка; братишка и сестренка вторят ему; отец конфузится, мать утирает слезы.

В третьей главе сестренка фискалит петербургскому гостю на мать, что она потихоньку молится богу; петербургский гость говорит сестренке: «Ты у меня, сестренка, славный малый!» И пушит мать на чем свет стоит: «Вы бы лучше канаву копали, а то только чужой хлеб едите!» В четвертой главе отец начинает поддаваться: «А ведь ты прав, мой друг,— говорит он,— я действительно не больше как старый осел». И так далее, до тех пор, пока автору самому не надоест тянуть эту канитель. Тогда он пишет «конец» и отправляет свое произведение в типографию.

Вторая манера, то есть когда место действия назначено в Петербурге, еще проще. Глава I: «новый человек» сидит в кругу товарищей; бедная обстановка; на столе колбаса, филипповский калач, стаканы с чаем. «Работать! — вот назначение мыслящего человека на земле!» — говорит «новый человек», и сам ни с места. «Работать! — вот назначение мыслящего человека на земле!» — отвечают все товарищи, каждый поодиночке, и сами ни с места. Глава II: бедная обстановка; на столе колбаса, филипповский калач, стаканы с чаем; «новый человек» сидит в кругу товарищей. «За труд! за честный и самостоятельный труд!» — возглашает «новый человек», и сам опять-таки ни с места. «За труд! за честный и самостоятельный труд!» — отвечают поодиночке товарищи, и тоже ни с места. И так далее, до тех пор, пока автора не стошнит. Тогда — «конец», и рукопись в типографии.

Читатель прочитывает эти художественные воспроизведения неизвестного ему мира и положительно не верит ни одному слову. Да и нельзя верить, потому что немыслимо даже вообразить себе, чтобы существовало такое поколение, которое ничем бы другим не занималось, кроме раскладывания словесного гранпасьянса. Хотя читатель и мало знает о «новых русских людях», но все-таки он кое-что слыхал об них. Он слыхал об увлечениях не книжных только, а действительных, о безвременно погубленных силах, о принесенных жертвах; он знает, что эти слухи не призрак, а суровая правда; поэтому он желает, чтоб ему объяснили, в чем заключаются эти действительные увлечения «нового человека», во имя чего приносятся им жертвы и как приносятся. А его, вместо того, потчуют каким-то беспутным гуляньем с филипповскими калачами, колбасой и бесконечным-бесконечным переливаньем из пустого в порожнее. Где же жертвы, где встреча молодого и страстного убеждения с самоуверенною и ни на что не дающею ответа действительностию? Или и в самом деле арена борьбы ограничивается стенами какого-нибудь домика на Петербургской стороне? Нет, это неверно уже по одному

тому, что подобному заявлению противоречат факты, конкретность которых ни для кого не тайна.

По такому-то убогому и бессодержательному рецепту (манера № 2-й) нарисованы и «новые русские люди» г. Мордовцева. Великое множество лиц проходит перед глазами читателя, и все они кратко, но с невозмутимою назойливостью лгут на тему о необходимости труда. Каждый из этих призраков подойдет к читателю, покобенится перед ним, произнесет: «труд — вот единственное спасение» и т. д., и исчезнет куда-то без вести, чтобы дать место другому призраку, который точь-в-точь проделает ту же штуку и тоже исчезнет в царстве теней. Но так как общие места имеют то свойство, что, как их ни верти и сколько раз ни повторяй, они всегда останутся только общими местами или рядом общих мест, то весьма естественно, что даже самый учтивый читатель и тот спешит поскорее раскланяться с рекомендуемыми ему пристанодержателями пустопорожности и закрывает книгу, чтобы никогда не возвращаться к ней.

И, конечно, поступает весьма основательно.

СВОИМ ПУТЕМ. Роман в четырех частях. Л. А. Ожигиной. СПб. 1870

Что потребность найти «свой путь» и вступить на него твердой ногой сделалась настоятельнейшею потребностью современного русского общества и в особенности той его части, которую принято называть «молодым поколением»,— в этом нет ничего поразительного или внезапного. Явление это не чье-либо произвольное изобретение, не плод чьей-либо личной фантазии или увлечения, а просто естественное следствие сокращения средств и путей для беспечального существования при помощи чужого содействия. «Станешь плясать, как жрать-то нечего»,— говорит не помним уж какая героиня г. Горбунова, и говорит резонно, хотя вместо слово «плясать» ей следовало бы сказать: «думать и сознавать». Покуда разливанное море существует, покуда «под каждым листком готов и стол и дом», только люди очень развитые могут критически относиться к такому благодатному положению, простодушное же большинство принимает его бессознательно, не анализируя ни сущности факта, ни тех дурных влияний, которые он оказывает на весь общественный строй. Но с той минуты, как разливанные моря иссякают и начинает делаться заметным, что число праздных мест за даровым столом несомненно сокращается,— тогда не только для избранных умов, но и вообще для каждого из членов безместного боль-

шинства является необходимость обратиться к самому себе, уяснить свое личное положение и точнее определить свои отношения к тем материальным и умственным источникам, при помощи которых можно было бы без страха взглянуть в глаза будущему. Работа этого уяснения очень сложная, и исходным пунктом ее, конечно, может быть только осмысленный анализ того «прежнего положения», которое еще так недавно металось в глаза, полное жизни, подкрепленное всевозможными аргументами теории и практики, и которое тем не менее сделалось отныне невозможным Но, как и всегда, анализ приводит к открытиям, которых до того не имелось и в подозрении. Прежде всего, разумеется, обнаруживается самая несправедливая сущность господствовавшего факта, потом, мало-помалу, выясняются и другие его провинности в отношении к общему жизненному распорядку. Оказывается, например, что все, к чему в свое время приводила старая тропа, уже взято и истощено; что все, что росло и цвело не только в конце ее, но и по сторонам, смято, вытоптано и уничтожено. Следовательно, ходить по этой тропе не только зазорно, но просто незачем. И еще оказывается, что господствовавший факт делал несчастными не только тех, при содействии которых спалось, пилось и елось, но даже и тех, которые спали, пили и ели, не принося ни единого проявления своего творчества в сокровищницу общественной производительности. Эти последние были лишены целой обширной категории нравственных наслаждений, доступных только тому, кто сам нечто создает или устроивает; они жили бессознательною жизнью, не ведая сами, что творят, и только по наружности были людьми, внутренно же не обладали ни одним из типических свойств, отличающих человека от зверя. Для современного человека подобное существование немыслимо; в его глазах нравственные наслаждения не только в равной степени необходимы, как и наслаждения материальные, но последние даже становятся как бы в зависимость от первых.

Такого рода открытия не могут иметь иного результата, кроме окончательного и безвозвратного осуждения. Но это все-таки только первая половина предпринятого уяснительного процесса; вторая половина его естественным образом должна будет сосредоточиться на определении отношений современного человека к будущему, на обеспечении этого будущего более разумным и соответственным человеческому достоинству путем. Этот путь один, и название ему — личный труд. Он один снимает с человека клеймо осуждения, один делает его ответственным перед своей совестью, один дает воз-

можность жить не краснея. Чтобы получить в будущем не одно материальное, но и нравственное обеспечение, надо опереться на самого себя, надо воспитать свои силы и извлечь из них все, что они способны дать. Эта мысль выступает вперед, как самое естественное последствие обращения к прошлому. Сокращение возможности жить при чужом содействии, казавшееся с непривычки обидным, горьким и как бы произвольным, становится явлением вожделенным, естественным и исполненным правды. Идея о «своем пути», о свободном и самостоятельном труде, о сознательном отношении к природе и жизни делается достоянием не одних избранных натур, но общим, мирским. Она становится в ряды обыденных жизненных задач, не говорящих ни о подвиге, ни о заслуге, ни даже о порывах энтузиазма.

Мы искренно думаем, что современное русское общество уже дошло до сознательного отношения к этой идее и что в этом, собственно, и заключается причина, почему на этом явлении и его логических отпрысках как бы исключительно сосредоточивается все внимание нашей литературы. Как и публицисты, так и беллетристы, без различия партий, указывают на него, как на типическую черту времени, и разница заключается только в личном отношении того или другого литературного деятеля к этому знаменательному факту.

Существует целая литературная партия, которая в настойчивом искании «своего пути» усматривает не более, как блажь, легкомыслие и даже уродливость. Она не может отвернуться от факта, не может не признать его конкретности, но это дает ей только повод относиться к нему с ожесточением. Все наиболее существенные задачи, вытекшие из этой главной идеи, трактовались этою партией не иначе, как с точки зрения покушения на прочность и неприкосновенность коренных основ общества. Вопрос о распространении естествознания приурочивался к вопросу о неверии, вопрос о положении в обществе женщины — к вопросу о вольном обращении. В сущности, это единственная литературная партия, которая подлинно заслуживает наименования нигилистов. Не было той омерзительной картины, которую отказалась бы начертать рука благонамеренного нигилиста-литератора по поводу самой скромной попытки человеческой личности освободиться от ига бессознательности; не было той гнусной подробности, которая не ставилась бы на первый план, на которую не указывалось бы, как на самую суть всего дела. Упоенные минутным успехом, эти господа доходили до опьянения, смешивали понятия самые разнородные и ставили их одно на место другого; свет называли тьмою, знание — невежеством, труд —

праздностию, сознательность — распущенностию, хвастовством и мальчишескою дерзостию. И что же? — как ни бойки были первоначальные успехи этой литературы, в результате оказалось, что это все-таки были только успехи скандала, скользнувшие по поверхности и никого ни в чем не убедившие. Никого: не только тех, над кем зубоскалили господа подлинные нигилисты, но и тех, на пользу которых они думали зубоскалить. Даже талантливость перестала подкупать, ибо какою-то странною уродливостию кажется совместное существование таких несовместимых элементов, как талант и упорный, слепой протест против всего, что знаменует действительный прогресс общества. Искание «своего пути» все-таки осталось насущною потребностию времени, так что люди иных привычек, иного склада, и те пришли к убеждению, что ежели времена бессознательности и жуированья на чужой счет еще не канули в вечность окончательно, то обстоятельству этому нечего радоваться, но, напротив того, следует видеть в нем коренную причину всех зол и тревог, благодаря которым общество не может сделать ни одного твердого шага на пути прогресса.

Но само собою разумеется, что ежели литература дала у себя приют нигилистическим отношениям к современному направлению общества, то она же должна была воспитать и иные отношения к тому же предмету. Да, эти отношения существуют, и мы уже нередко встречаемся с выражениями их в литературе, хотя, в художественном смысле, эти выражения и заставляют еще желать многого. Неуверенность, бедность замысла, отсутствие теней, неумение поставить действующие лица в положение борцов и стремление заменить борьбу декламацией — вот капитальные недостатки той категории русской беллетристики, которую мы, в отличие от нигилистической, назовем положительною. Мы очень ясно сознаем эти недостатки, но и за всем тем не имеем никакого повода жаловаться на упадок нашей литературы. Главное сделано: найден путь, по которому должна идти литература, ежели хочет иметь в обществе значение действующей силы; остальное, то есть форма, придет сама собою, и придет непременно.

Роман г-жи Ожигиной, заглавие которого выписано нами выше, принадлежит к числу произведений второй категории, и мы, не покрививши совестью, можем сказать, что он довольно выгодно выделяется из общей массы беллетристического материала, с которым наши журналы познакомили публику в последнее время. Независимо от идеи, вполне верной и человечной, самое воспроизведение ее доказывает в авторе присутствие таланта несомненного, хотя, впрочем, и

не весьма крупного. Задача романа — первые шаги девушки на поприще самовоспитания. Обстановка детства, пребывание в швейной мастерской, в модном пансионе и, наконец, в качестве гувернантки в диком помещичьем семействе,— все это дает автору случай вывести на сцену множество разнообразных типов и нарисовать большой ряд сцен, довольно верно и живо характеризующих среду. Правда, что все это набросано несколько небрежно, но есть один признак, который в глазах наших до известной степени искупает эту небрежность,— это отсутствие декламации, которая таким удручающим образом действует на читателя в произведениях других наших беллетристов той же категории. Героиня г-жи Ожигиной не топчется на одном месте, не надсаживает свою грудь криками во славу самостоятельного труда и на погибель тем, которые ставят ему преткновения, но действительно трудится и по мере сил своих дает отпор тем темным силам, которые посягают на самостоятельность ее труда. Арена, на которой действует эта героиня, не широка — это правда; результаты, которых она достигает, очень скромны — и это опять-таки правда. Но кто же, положа руку на сердце, будет так смел, чтобы сказать, что арена более обширная может, при теперешнем положении нашей печати, уместиться в ней иначе, как в изображении благонамеренного нигилиста? Кто не затруднится утверждать, что наша жизнь когда-нибудь что-нибудь давала стучащимся в двери ее, кроме скудной подачки, которая способна только раздразнить голод алчущего, а не утолить его?

ПОВЕСТИ И РАССКАЗЫ АНАТОЛИЯ БРЯНЧАНИНОВА. Москва. 1870 г.

Г-н Брянчанинов писатель тоже начинающий, но, по-видимому, решившийся стать совсем особняком в нашей литературе. Никакие «свои пути», никакие женские или вообще социальные вопросы его не занимают ни с какой стороны: ни с точки зрения глумления, ни с точки зрения панегиризма. Идея, которую он проводит в своих сочинениях, есть идея влюбленности. В одной повести кузен влюбляется в кузину; в другой — сосед помещик в свою соседку помещицу; в третьей — Вадим в Алину; в четвертой — агроном в экономку; в пятой — молодой посредник в одну из подведомственных ему помещиц, в шестой... но шестой повести мы, сознаемся откровенно, не читали. Если послушать г. Брянчанинова, то во всех российских градах и весях, под каждым кустом сидит прекрасная жена или дева и только ждет случая, чтобы учинить если не подлинное прелюбодеяние, то, по крайней мере, дать

повод к помышлениям о нем. Самые неожиданные комбинации допускаются, чтобы провести эту мысль с успехом. Так, например, в повести «Три свидания» мысль о влюбленности сначала возникает в Екатерингофе а потом вдруг разыгрывается на берегу речки Хвостовки. В Екатерингофе казалось все конченным; влюбленные влюбились друг в друга, подвергли друг друга взаимным лобзаниям, потом встретили препятствие и разбежались в стороны. И вдруг оказывается, что на берегу реки Хвостовки под кустом сидит прекрасная женщина. Вид этой женщины вызывает наружу всю влюбленность от рождения влюбленного героя; он всматривается в прекрасную женщину и видит знакомые черты! Оказывается, что это та самая, екатерингофская. Какими судьбами! на берегу речки Хвостовки? ночью? — А так, мой друг, по щучьему веленью, по твоему хотенью! любил ты меня в Екатерингофе, так надо же попробовать, какова будет твоя любовь на берегу речки Хвостовки! вот и все.

Но образец всевозможных влюбленностей — это, конечно, влюбленность мирового посредника Само собою разумеется, что это человек самый прекраснейший. воспитывался в артиллерийской академии, исполняет свои новые обязанности с примерным усердием, строг, но справедлив и т. д. О должности своей он выражается так: «Нам выпала тяжелая и завидная доля перевоспитывать народ, приготовить из него гражданина (в единственном числе?), развивать зародыш великой будущности... Мы должны знать, что встретимся лицом к лицу с упорством, невежеством, безнравственностью — но если б не было борьбы, не было бы и заслуги!» Эти слова до того огорошивают подчиненную помещицу, что влюбленность начинает действовать в ней, так сказать, не выходя из присутствия. Но посредник до того занят делом перевоспитания народа, что не сразу решается изъяснить помещице о своей взаимной влюбленности. Долгое время он проводит в разговорах о «разнице, которая существует между истинною любовью и капризом», о том, что любовь «есть влечение одной души к другой, слияние двух жизней, двух существований воедино, а не просто (грустно подумать!) стремление одного пола к другому!» Но, наконец, усматривается и для него минута досуга. Все дела переделаны; недоразумения улажены, мужики усмирены, уставные грамоты подписаны, гражданин приготовлен; ни необразованность, ни безнравственность, ни упорство — ничто не мешает влюбленности, ибо все уничтожено. Момент признания настал, и мировой посредник, конечно, не упускает его. «Я встретился,— говорит он помещице,— с женщиной, которая, как водная пропасть, притяги-

вает меня к себе, а я не имею настолько силы, чтобы бороться с нею, хотя вижу, что эта женщина так же холодна, так же равнодушна, как эта бездна!» И что же! — представьте, какой приятный сюрприз: оказывается, что женщина эта не только не имеет ничего общего с бездною, но давным-давно уж сидит под кустом и ждет не дождется, когда же наконец пройдет прекраснейший мировой посредник и сорвет цветок...

Мы не спрашиваем: *с кого они портреты пишут?* — в этом несносном разглагольствовании нет даже намека на какой-либо портрет — мы просто, по мере наших сил, протестуем против намерения автора уверить публику, будто каждая помещичья усадьба есть арена для влюбленности и что под каждым кустом помещичьего сада сидит женщина «поразительной красоты». Это положительно несогласно с истиной. Даже г. Тургенев, первый провозгласивший идею прекрасной помещицы, ожидающей под кустом прекрасного помещика,— и тот не подтвердит этого.

ДВОРЯНСТВО В РОССИИ ОТ НАЧАЛА XVIII ВЕКА ДО ОТМЕНЫ КРЕПОСТНОГО ПРАВА. А. Романовича-Славатинского, профессора государственного права в Университете св. Владимира. С.-Петербург. 1870 г.

С давних пор у нас так повелось, что публичное обсуждение некоторых вопросов, близко касающихся нашей жизни, считается преждевременным. И именно тех вопросов, о которых говорить всего нужнее. Примеры этой осторожности мы видели на крестьянской и судебной реформах, на наших земских учреждениях. Самые влиятельные в обществе голоса в течение многих десятков лет твердили: «Не время! не забегайте вперед! ждите с терпением!» — как будто речь шла не о деле, близком каждому, а о какой-то личной причуде того или другого индивидуума, а пожалуй, даже и о заговоре против основ существующего порядка. И точно: литература ни одним словом не заявляла о своем участии в живых вопросах, касающихся страны, и разрешение их делалось известным публике лишь тогда, когда оно являлось уже совершившимся фактом. Но пользы от этого молчания не ощутилось никакой. Не говоря уже о том, что в самых разрешениях, достигнутых таким путем, могла играть немаловажную роль случайность, неподготовленность общества оказывала еще более вредное влияние в те минуты, когда приходилось осуществлять эти разрешения на практике. Совершившийся факт приходил внезапно и, конечно, вызывал в публике ощущения очень разнородные, но ни энтузиазм, ни враждебность, которые при этом проявлялись, не заключали в себе ничего действительно мо-

тивированного и в большей части случаев свидетельствовали только о недоумении.

Справедливость сказанного выше будет еще яснее, если мы вспомним, что у нас очень нередко бывает, что даже самые лучшие намерения, которых выгоды, с точки зрения польз большинства, ясны, как день, при своем осуществлении всегда являются окруженными предварительными предосторожностями, свидетельствующими об опасениях очень серьезного свойства. Очевидно, что опасения эти непроизвольны и имеют в виду возможность таких толкований, которые, в свою очередь, потребуют исправлений и вразумлений; но очевидно также, что больше половины их уничтожилось бы само собою, если б вопросы стояли открытыми с той минуты, когда они сами собой возникают в обществе, и если б общественное мнение имело возможность обсуждать их не урывками и не между строк (такого рода обсуждения всегда носят на себе характер раздражительности), но прямо и по существу. Человек неприготовленный действительно бывает склонен думать бог знает что о явлении, падающем как снег на голову, но эта-то податливость к так называемым превратным толкованиям, кажется, и должна бы свидетельствовать, что стремление стеснить пределы литературного обсуждения тех или других жизненных вопросов может скорее вызвать вредные последствия, нежели предупредить их.

Очень возможно, что в числе причин, побуждавших набрасывать на некоторые явления покров заповедности (оговариваемся: с изданием закона 6-го апреля 1865 года область этой заповедности значительно сокращена), было и довольно распространенное у нас убеждение, что литература наша, по незрелости общественного мнения, которого она служит выразительницею, более наклонна к так называемым бесплодным обличениям, нежели к правильной и спокойной разработке вопросов. Но причина эта, несмотря на свою кажущуюся справедливость, не имеет, однако ж, за собой той внутренней основательности, которую предполагают в ней. Во-первых, укор в преобладании обличительного элемента, обращаемый к нашей литературе, есть укор обоюдоострый, и вряд ли кто решится утверждать положительно, что́ чему предшествовало — ограничение ли русской мысли преобладанию обличительного элемента, или наоборот. Мы, по крайней мере, думаем, что преобладание обличительного элемента выработано нашею литературой не свободно, а именно вследствие материальной невозможности относиться к великому множеству предметов с достаточною ясностью и определительностью. Во-вторых, если формы, к которым литература наша до

сих пор прибегала для выражения своих воззрений на жизнь, были не вполне ясны и удовлетворительны, то не надо забывать, что они, как и все носящее в себе задатки жизненности, подлежат развитию и что развитие это начнется не ранее, как по получении более обильного и разнообразного внутреннего содержания. В-третьих, наконец, каковы бы ни были наши мнения о достоинствах и недостатках русской литературы, ограждения, которыми окружается тот или иной жизненный факт против неправильных суждений о нем, никогда не защитят его, а только набросят на него вящую тень. Неустойчивое явление не перестанет быть неустойчивым от того, что литература прикидывается игнорирующею его, а только поддастся наплыву самонадеянности и самодовольства, то есть именно тех двух опаснейших элементов, которые служат к отверждению слабых сторон явления и к разрушению тех сторон, которые, при разумном развитии их (а такое развитие без контроля литературы едва ли даже мыслимо), могли бы сообщить ему действительную прочность и силу.

В числе вопросов, разъяснение которых наименее было доступно для нашей литературы, долгое время числился вопрос о русском дворянстве, как об одном из факторов нашей общественной и государственной жизни. По-видимому, причина этой заповедности заключается в тех несовершенствах, которыми страдала эта корпорация и которых раскрытие полагалось преждевременным. Но эта-то мнимая преждевременность, кажется, всего больше и принесла дворянству вреда. Под сенью ее сословные несовершенства отверждались и усложнялись, задатки же силы действительной отступали все больше и больше на задний план. С самого начала парализованное табелью о рангах, дворянство наше пошло путем пассивности и отчужденности от истинных интересов народной жизни и, наконец, высказало очень мало предусмотрительности относительно такого явления, как крепостное право, которое в действительности более связывало его, нежели доставляло выгод. Всё это несовершенства очень капитальные, но остановить их развитие могло только свободное обсуждение всех фазисов того воспитательного процесса, через который прошло дворянство от самого основания его, в качестве особенного шляхетского сословия, и до наших дней. Постепенно накопляемые и потом соединенные в одном фокусе, подобные недостатки, конечно, могут поразить и возбудить подозрение в допущении предумышленного группирования фактов, но и с этим, кажется, полезнее было примириться, нежели успокоиться на одной подозрительности и затем предоставить дело своему собственному течению. Эти «собственные тече-

ния» очень опасны, ибо разрешаются преимущественно практикою, практика же хотя дает ответы всегда ясные и решительные, но всегда же имеющие характер внезапности. Будучи застигнуты врасплох, заинтересованные стороны ставятся друг к другу если не в совершенно враждебные отношения, то в отношения недоумения, которые на некоторое время прекращают правильный ход жизни. Все силы общества покидают стезю творчества и исключительно поглощаются устройством множества формальностей, имеющих чисто внешний характер. Начинается трудная и сложная работа обеспечений и регламентаций, то есть та самая, которая не приносит никаких других результатов, кроме раздражения. При помощи этого раздражения внешние формальности разрастаются до неслыханных размеров и часто даже заслоняют собой существенные цели. Очевидно что все это не могло бы иметь места, ежели бы ответам практики предшествовали ответы, полученные с помощью литературно-теоретической разработки вопросов.

Книга г. Романовича-Славатинского, по поводу которой мы ведем речь, представляет первый опыт обстоятельного исследования о русском дворянстве, произведенного без преувеличений, но и без умолчаний. Очень возможно, что в глазах многих и теперь подобное сочинение кажется неуместным или преждевременным, но, сознаемся откровенно, мы ни разу не трепетали за будущие судьбы нашего дворянства, читая, в изложении г. Романовича-Славатинского, правдивое изложение его судеб прошлых. Упразднение крепостного права провело слишком резкую черту между прошлым и настоящим, чтобы дворянство само не сознавало, что предстоящие ему задачи совсем иного сорта, нежели те, которые оно преследовало (буде преследовало) в течение полуторавекового своего существования в качестве особого сословия. Если процесс развития нашего дворянства нельзя признать процессом органическим, а, скорее, идущим *применительно к пользам правительства,* то это, конечно, не свидетельствует в пользу его корпоративной самостоятельности, но зато оставляет неприкосновенными пользы правительства, которые, конечно, дороже интересов отдельного сословия, как бы ни было велико сочувствие, питаемое нами к нему. Вот почему нас не приводит в негодование ни то, что Шлецер даже во времена Екатерины II, которая, как известно, считалась благодетельницей дворянства, писал в своих письмах из России (1781 г.): un gentilhomme n'est rien ici [1], ни то, что в то же царствова-

[1] дворянин ни во что не ставится.

ние Захар Зотов, бывший камердинер Потемкина, а потом самой императрицы, «мог пользоваться бóльшими внешними знаками отличия, чем князья Голицыны или Куракины, если только последние не служили и не имели чина», ни даже то, что того или другого дворянина и даже вельможу «снем рубашку секли». Все это история, читатель, и история, можно сказать, окончательно упразднившаяся с упразднением крепостного права, составлявшего самое существенное ее содержание. Какое ее отношение к будущему — это еще не выяснилось; это не выяснено и книгою г. Романовича-Славатинского, который сам называет свое сочинение только *кирпичами,* долженствующими послужить материалом для позднейших исследователей судеб русского дворянства.

Одно несомненно — это неизбежность будущего и его полнейшая зависимость не от того или другого прошлого, но от большей или меньшей свободы в обсуждении предстоящих задач. В этой последней истине нас достаточно убеждает прошлое, свидетельствующее, каким колебаниям подвергается жизнь, не контролируемая общественным мнением, несмотря на искусственные меры, предпринимаемые с целью устранения этих колебаний.

СЛИЯНИЕ СОСЛОВИЙ, ИЛИ ДВОРЯНСТВО, ДРУГИЕ СОСТОЯНИЯ И ЗЕМСТВО. Ответ гг. Аксакову, Кошелеву и кн. Васильчикову. С.-Петербург. 1870 г., председателя приходского попечительства, члена земства, нового судебного состава и разных обществ, участвовавшего и в крестьянской реформе

Брошюрка эта, неизвестного автора, выставляющего на вид свои почетные титулы и должности (вероятно, в доказательство, что при таком множестве должностей ни одной из них нельзя исполнить, как бы следовало), появилась в продаже одновременно с книгой, только что нами разобранной. Составителя ее занимает тот же самый вопрос, который поднят и г. Романовичем-Славатинским, но только способы разработки, а следовательно, и выводы, у того и другого автора совсем разные. Почтенному профессору, чтобы дойти до каких-либо, далеко не решительных еще, выводов, привелось долгое время рыться в целой поленнице книг Полного собрания законов и во множестве других, а скрывающий свою фамилию помещик только мельком заглянул в «Наказ» Екатерины II да в книгу Machiavelli «Il Principe» и тотчас же пришел к выводам самым решительным, не допускающим возражений, как, впрочем, и подобает помещику, исправляющему враз три или четыре важные должности, из которых каждая

в отдельности в состоянии занять все время человека обыкновенного, не скрывающего своей фамилии. Впрочем, неизвестный помещик догадался придать своей брошюрке форму ответа или возражения на статьи гг. Аксакова, Кошелева и кн. Васильчикова, и это обстоятельство ему сильно помогло, потому что, по понятиям крупных землевладельцев, глаголы *возражать* и *распекать* имеют значение совершенно одинаковое.

Пользуясь благоприятным случаем, неизвестный помещик делает обширные выписки из статей распекаемых им авторов, занимает этими выписками страниц сто тощей брошюрки и прибавляет к выпискам строк по десяти своих собственных, которые, впрочем, сейчас же можно отличить от чужих по необыкновенно тяжелому слогу, а отчасти и по безграмотности. Чтобы *познакомиться с общим характером возражений* неизвестного помещика, достаточно привести несколько выписок из его книжицы. Г-н Аксаков, например, проводит в своих статьях мысль, что в настоящее время дворянство, лишенное своих прежних привилегий, лишено и гражданской жизни в России; на это помещик возражает: «Нет, оно существует, оно живет, действует и стоит во главе всех легальных и доброполезных движений в государстве»... Далее следует выписка из статьи г. Аксакова, после которой помещено такое примечание г. помещика: «Что вы тут понимаете? Я ничего не понимаю!» — тогда как каждому, кроме г. помещика, совершенно понятно, что̀ хотел сказать г. Аксаков (см. стр. 31). «В чем же я-то тут виноват, если вы ничего не понимаете?» — мог бы, в свою очередь, спросить г. Аксаков туго понимающего помещика. В другом месте своей брошюрки неизвестный автор начинает уже прямо *распекать* г. Аксакова, вкупе с г. Кошелевым, за то, что эти писатели осмелились намекнуть на необходимость *слияния* сословий. «Если это слияние,— пишет разгневавшийся автор,— должно вести к пресловутым равенству, свободе и братству, то, *кажется,* такой подогретый французский союз 1789 года, имевший непосредственным следствием разорение государства, *не входит в мысли гг. Кошелева и Аксакова,* да и не пригоден нам, русским». Вот, мол, вам: съешьте!

Крепко достается также и князю Васильчикову, вероятно, именно за то, «что он князь, а говорит такие вещи!». Кн. Васильчиков в своей книге «О самоуправлении» совершенно основательно говорит, что каждый земледелец непременно должен быть поземельным собственником; что он получает гражданство и признается обывателем только под тем условием, что принимает землю. После Положения 19 февраля подоб-

ную мысль, казалось бы, никак нельзя считать непозволительною, но помещик, который до сей поры руководствуется еще «Наказом» Екатерины, смотрит на это дело несколько иначе. По его мнению, цель и значение дворянства в том именно и заключаются, чтобы оно, не имея ни малейшего понятия о том, как пашут и сеют, владело всеми землями в государстве, а те, которые пашут и сеют, нанимали бы землю по *вольной* цене. Чтобы отбить охоту у князя Васильчикова к неприличному при княжеском титуле либеральничанью, сердитый помещик начинает его распекать, или, как он сам думает, возражать на неправильную мысль. «Подобная запутанность выводов,— пишет помещик,— происходит от смешения понятий о собственности и пользовании. На подобной путанице идей *социалисты, коммунисты, сенсимонисты, прудонисты* и т. п. строят свои утопии»... «Конечно, не таково направление кн. Васильчикова,— снисходительно замечает расходившийся помещик, чтобы вконец не загубить князя,— но оно не без влияния на сознанную им самим смутность его собственных мыслей...» и т. п. (стр. 93).

Сделав всем, кому следовало, надлежащие внушения, этот, уволенный с 19-го февраля 1861 года, *полицеймейстер* прямо ссылается уже на авторитет любезного Макиавелли. Расходившемуся помещику никакого дела нет до того, что со времен Макиавелли много уже воды утекло; что с железными дорогами и телеграфами все условия изменились радикально; что и Италия стала уже совсем не такою, какой была прежде. Он не замечает даже, что и прислуги около него стало меньше, чем прежде, и обращение прислуги совсем уж иное, менее *деликатное*. Он все себе ходит взад-вперед по пустым покоям и твердит: «Я вас всех в бараний рог согну!» Не замечает он, что и «Весть» куда-то исчезла с лица земли и что систематическое изложение теории, ею проповедуемой, в очень неотдаленном от нас будущем удастся только услыхать разве в окружных домах, воздвигаемых ныне для всех скорбящих.

ЗАПИСКИ Е. А. ХВОСТОВОЙ. 1812—1841. Материалы для биографии М. Ю Лермонтова. СПб 1870

ПРОШЕДШЕЕ И НАСТОЯЩЕЕ. Из рассказов князя Ю. Н. Голицына. СПб. 1870

С некоторого времени мы открываем собственную Америку. Эта Америка — наше прошлое, и притом очень недавнее. Есть люди, которые даже утверждают, что это совсем и не

прошлое, а просто-напросто настоящее, ради чувства деликатности рассказывающее о себе в прошедшем времени.

Мы, разумеется, не разделяем этого последнего мнения, а находим его слишком пессимистским. В рассказах о прошлом мы видим именно прошлое, а не памфлет на настоящее, и когда нам говорят, что пороки нашего времени имеют лишь несколько иную форму, отнюдь не закрывающую старого зерна, мы смело указываем на так называемые отрадные факты, которые украшают нашу современность и которых несомненно не было в прошедшем, и этими фактами разбиваем наших противников наголову. Публика, с своей стороны, по-видимому, тоже следует нашему взгляду и, с жадностью читая факты, собираемые усердием гг. Бартенева и Семевского, не ищет в них для себя поучений, а просто усматривает нечто вроде картинной галереи, которая, постепенно развертываясь, представляет изумленному взору целый ряд чудаков (иногда даже более нежели чудаков) — и ничего более. Об этих чудаках можно сказать: «Свежо предание, а верится с трудом», и затем, посмеявшись над их проказами, успокоиться на новой книжке «Русской старины», где отрекомендуют себя новые чудаки с новыми проказами.

Этот взгляд самый верный и, во всяком случае, самый спокойный. Если наше прошлое — не больше как предание, то очевидно, что мы можем поставить под ним черту и затем уже на все, что находится над чертой, смотреть как на отрезанный ломоть, который может служить предметом для любознательности, но которому нет никакого дела до настоящего. Распоряжение о «неувертывании шей платками, косынками и шарфами» — предание; распоряжение о «неношении прихотливых причесок» — предание; изречение директора кадетского корпуса Клингера о том, что «русских надо менее учить, а более бить» («Записки Н. А. Титова» в «Русской старине») — предание; факты, сгруппированные в книге г. Романовича-Славатинского (об этой книге мы дали отчет в ноябрьской книге нашего журнала за 1870 г.) — предание. Мы можем смело оглядываться на все эти распоряжения, изречения и факты и, не отрицая в них некоторой дозы чудачества, относиться к ним, в полном смысле слова, sine ira et studio [1].

На что негодовать, когда исчез самый объект негодования? Зачем возбуждать старые счеты, когда между нами и нашими предшественниками стоит черта, которая их защи-

[1] без гнева и пристрастия.

щает от обвинений в предумышлении, а нас освобождает от обвинений в солидарности? У нас есть «отрадные факты»; мы с них и начинаем нашу историю, а потому имеем полное право не только простить прошлому, но и забыть о трагической стороне некоторых «чудачеств», которых оно было свидетелем...

Не трагизмом, а юмором полны все эти предания. Так смотрит на них читающая и алчущая скандальных анекдотов публика, та самая публика, которая отрицает свою солидарность с этими анекдотами. Так смотрим и мы. Чем не юморист был, например, Степан Иванович Шешковский, который, в качестве начальника тайной экспедиции, всегда начинал допросы с того, «что допрашиваемое лицо хватит палкой под самый подбородок, так что зубы затрещат, а иногда и повыскакают», и который в то же время был столь набожен, что «каждый день в обедню вынимали для него три просфоры»? Ведь те, которых он бил палкой в подбородок, давно уже спят в могилах, а те, до сведения которых, спустя восемьдесят лет, дошел этот анекдот, совершенно убеждены, что время Шешковских прошло и что, собственно, их никто палкой в подбородок бить не решится. Стало быть, возмущаться и негодовать не из чего. Был чудак Шешковский, который бил палкой в подбородки; были и другие чудаки, которых били палкой в подбородок,— все это юмор, возведенный на степень круговой поруки, и ничего больше. Но этого мало, что Шешковский был юморист; оказывается, что он вместе с тем был человек застенчивый и стыдливый. Когда Потемкин, в один из своих приемных дней, «спросил его при всех: много ли он персон из своих рук пересек?», то он «устыдясь, благодарил уклончиво за такую милостивую насмешку» (см. статью г. Ефремова «Степан Иванович Шешковский» в «Русской старине»). Очевидно, что тут было все: и битье и набожность, и сечение и стыдливость — все, кроме сознательности. Более же всего было веселонравия, которое одним помогало сечь, а другим помогало быть сеченными.

Тем не менее существуют признаки, которые заставляют догадываться, что, несмотря на господствовавшее веселонравие, предшественникам нашим жилось не легко. Напротив, можно думать, что они изнемогали под гнетом скуки и что, собственно, этот-то гнет и заставлял их по временам прибегать к тем проявлениям веселости, о которых сказано выше и которые были единственно доступны их тогдашнему нравственному уровню. Если мы припомним, что наше общество более столетия оставалось при тех формах, которые выработаны были табелью о рангах, то должны будем сознаться, что у

него не было особенных задатков для развития. Табель о рангах не только подтвердила общесословную рознь, но и в каждом отдельном сословии выделила множество подразделений, из которых каждое составляло своего рода замкнутое сословие. В виду этой бесконечной лестницы чинов, должностей и званий, конечно, не могло быть места для личной инициативы, а ежели и являлась по временам на арену деятельности энергическая личность, пытавшаяся выбиться из замкнутой колеи, то ее или стирали, или она сама постепенно стиралась от соприкосновения с массою, запутавшеюся в сетях табели о рангах. Идея о ранге упразднила представление о пользах и нуждах общества и сосредоточила все помыслы на самом ранге и средствах достижения его. Общество не знало, что́ в нем само́м происходит, не размышляло о прошлом, не загадывало вперед и постепенно до того утвердилось в этом незнании, неразмышлении и незагадывании, что в этих качествах увидело залоги своего благополучия. Спрашивается: какие могли быть у этого общества интересы? Что могло рассеять снедавшую его скуку? Что могло пробудить в нем работу мысли, жажду подвига, стремление к самоотверженности?

Но ежели масса общества только скучала, поправляя свою скуку взрывами веселонравного бездельничества, то отдельные личности не могли не чувствовать всей ненормальности подобного положения. Мы не говорим уже о личностях более крупных и развитых, как, например, Пушкин, Лермонтов, Белинский и много других, которых называть еще неудобно и которые протестовали безвременною своею гибелью, но были личности гораздо более сносливые,— и они прорывались и не могли до конца оставаться в пределах смиренномудрия и кротости. Известно, например, что когда М. И. Глинка (композитор) отправлялся в последний раз за границу, то он послал родной стране энергический, но далеко не лестный прощальный привет (желающих знать подробности отсылаем к запискам г. Шестаковой в «Русской старине»), а между тем Глинка был человек до того кротчайший из кротчайших, что, читая недавно изданные его записки, можно подумать, что таков уж первородный грех, опутавший русских талантливых людей, что в них неразвитость не только не мешает талантливости, но даже служит для последней подспорьем. Мало того: даже Кукольник (horribile dictu! [1]) — и тот вопиял: бежать от них! бежать хоть на время! (см. там же).

[1] страшно сказать!

Причина этого явления очень простая: для человека сколько-нибудь причастного к сознательной жизни не было впереди целей, а следовательно, незачем было и жить. Какой может найти для себя исход энергия в таком обществе, которое приходящему говорит: «не твое дело»? Очевидно, что подобный ответ может родить только изумление или озлобление. А так как ни изумление, ни озлобление не могут без конца питать человеческое существование, то единственный исход — более или менее медленная агония. Цели реальные заменяются целями мнимыми, и на достижение их истрачивается целая человеческая жизнь. Салонное злословие, сплетни и дрязги кружков, внешняя выдержка, любовные интриги — вот идеалы, которыми питается общество и перед которыми пригибаются даже энергические личности. И идет своим ходом эта общая агония, для большинства сопровождаемая бессознательностью, для меньшинства — вспышками бессильного протеста, покуда не наступит час разложения. К счастью, однако ж, что по отношению к обществам момент разложения не равнозначащ смерти. .

Такой исход окажется еще более поразительным, если мы примем в соображение, что наше прошлое было не лишено своего рода светлых точек или «опытов», которые, будучи взяты в отдельности, могли удовлетворять даже требовательных людей. В этих опытах было довольно такого, что, по известному техническому выражению, на сей предмет специально изобретенному, «бросалось в нос» даже иностранцам и заставляло их восклицать: «C'est du Nord que nous vient la lumière!»[1] Но, к великому удивлению, и эти светлые точки все-таки никого не удовлетворили, а главное, не оказали воспитательного влияния на общество. Причину этого неуспеха объяснить тоже нетрудно. В общественном смысле опыт всегда остается только опытом, если он не находится в тесной связи с целой системой. Можно дать стране целый ряд прекраснейших учреждений, написать довольное количество полезнейших уставов, но ежели они явятся особняком, без ясного отношения к общему строю жизни, то можно заранее быть уверенным, что они родятся, проживут и умрут никем незамеченными и не окажут творческого влияния на жизнь. Главным опытом, в общественном смысле, все-таки был, есть и будет опыт свободного отношения заинтересованных лиц ко всем последующим, частным опытам. Ежели этого главного опыта нет, то в основании самой «опытной» деятельности

[1] «С Севера свет!»

будет лежать все то же «не твое дело», какое лежит и в основании деятельности «безопытной», и грубо ошибаются те, которые думают, что совокупность разрозненных «опытов» может произвести что-нибудь, кроме смешения.

К счастью, эта последняя истина ныне сознана всеми, и мы, благополучные сыны 2-й половины XIX века, переживающие столько блестящих и коренных реформ, призывающих народные силы к деятельному участию в жизни,— мы можем относиться к нашему опытному и безопытному прошлому, как к действительно минувшему и не имеющему никаких шансов на повторение в будущем.

Перед нами две книги, восстановляющие именно то недавнее прошлое, о котором мы повели речь, и восстановляющие его далеко не в привлекательном виде. В обеих, хотя и в неравной силе изобразительности, мы встречаем картины дикости и отупения; в обеих видим людей, изнемогающих под гнетом скуки, от которого они могут освободиться только посредством проявления самого неслыханного самодурства. И что̀ всего важнее, все эти картины и рассказы живописуют именно высшее русское общество, в котором, по всем данным, должна была сосредоточиваться наша интеллигенция.

«Записки Е. А. Хвостовой», сами по себе, впрочем, довольно бледные, имеют специальный интерес, так как в них передается довольно много подробностей из интимной жизни М. Ю. Лермонтова. Интерес этот еще более усиливается вследствие того, что издателем, по поводу этих «Записок», собрано некоторое количество материалов (напечатанных в приложении к книге), относящихся к биографии знаменитого поэта. Из всех этих материалов читатель, однако ж, едва ли будет в состоянии воспроизвести образ того Лермонтова, который мелькал ему в создателе «Героя нашего времени», «Мцыри», «Сказки для детей» и других произведений, свидетельствующих о внутренней энергии и силе. Судя по рассказам близких к Лермонтову людей, можно заключить, что это был человек, увлекавшийся так называемым светским обществом, любивший женщин и довольно бесцеремонно с ними обращавшийся, наживший себе злословием множество врагов в той самой среде, над которой он ядовито издевался и с которою, однако ж, не имел решимости покончить, и, наконец, умерший жертвою своей страсти к вымучиванию и мистифицированию людей, которых духовный уровень (так, по крайней мере, можно подумать по наивному тону рассказчиков) был ниже лермонтовского только потому, что они были менее талантливы и не отличались особенно ядовитым остро-

умием. Одним словом, материалы эти изображают нам Лермонтова-офицера, члена петербургских, московских и кавказских салонов, до которого никому из читателей, собственно, нет дела. Но о том, какой внутренний процесс, при столь обыденной и даже пошловатой обстановке, произвел Лермонтова-художника — материалы даже не упоминают. Известно, что Лермонтов был постоянным участником одного из лучших журналов своего времени, которого душою был Белинский (в эпоху наибольшей зрелости своего таланта он *исключительно* печатался в этом журнале, и делал это, конечно, не по легкомыслию) — отчего же вся связь его с Белинским ограничивалась тем, что Белинский не раз пробовал завести с ним серьезный разговор, а «Лермонтов всякий раз отделывался шуткой»? Известно также, что в начале сороковых годов в Петербурге началось хотя смутное, но все-таки очень хорошее умственное движение — почему же Лермонтов не участвовал лично в этом движении, а предпочел ему сплетни и дрязги великосветского общества? Что не боязнь жертв удерживала его — в том убеждают нас те жертвы, которые были им принесены на алтарь того общества, над которым он сам же постоянно глумился. Не было ли тут какой-нибудь китайской стены, которая отделяла поэта от мыслящей среды и держала его в плену между людьми маломысленными, которые были сподручнее потому, что над ними можно было удобно упражнять остроумие? Повторяем: на все эти вопросы книга, изданная г. Семевским, не дает никакого ответа, так что процесс, посредством которого мысли поистине человеческие нередко проникают в сосуд скудельный, остается, и по прочтении изданных ныне материалов, неразгаданною тайной. Поэтому главным материалом для биографии Лермонтова и теперь остаются исключительно его произведения. Это понял немецкий переводчик Лермонтова Боденштедт, и издатель «Записок» поступил очень разумно, приведя, в числе материалов, мнение этого последнего о нашем поэте (точно так же, как совершенно неосновательно поступил, напечатав «Заметку» г. Лонгинова, заключающуюся в том, что в 1836 году в Коломне, за Никольским мостом, в доме Арсеньева, на святой неделе, Лермонтов прочитал г. Лонгинову несколько стихов из драмы «Маскарад»). Хотя это мнение и не выясняет нам всего Лермонтова, но оно указывает, с какими требованиями следует приступать к характеристике этой личности. Вот один отрывок из статьи Боденштедта:

«Произнося суд над умом, выходящим из ряда обыкновенных, следует брать мерилом не то, что в нем есть общего с толпою, которая стоит ниже его, а то, что отличает его от

этой толпы и возвышает над нею. Недостатки Лермонтова были недостатками всего светского молодого поколения в России; но достоинств его не было ни у кого. Вернейшее изображение его личности все-таки останется нам в его произведениях, где он высказывается вполне таким, каким был»...

Как прием для охарактеризования замечательных личностей, это мнение весьма верно, и можно только пожалеть, что Боденштедт не настолько был близок к Лермонтову, чтобы рассказать нам внутреннюю жизнь поэта, не ограничиваясь тесною сферой пожиманий и целований ручек, дуэлей, острословия и пр.

Что же касается до «Записок» кн. Голицына, то содержание их известно уже читателям нашего журнала, так как изданные ныне отрывки были напечатаны в «Отеч. записках» 1869 г. Здесь же мы можем сказать, что «Записки» эти, по той искренности, с которою они написаны, и по той рельефности, с которой воспроизводится ими интереснейшая (то есть не праздничная и официальная, а будничная и интимная) сторона русской общественной жизни, должны служить драгоценнейшим материалом для истории нашей общественности в течение второй и третьей четвертей текущего столетия. Жаль будет, ежели автор остановится только на том, что издано ныне.

СУЕТА СУЕТ. Соч. Николая Соловьева. Москва. 1870 г.

Чтобы уразуметь эту брошюру, необходимо обратиться к прошедшему и припомнить тот момент в истории нашей цивилизации, когда издавался журнал «Время» (впоследствии переименованный в «Эпоху»), а в нем образовалась целая школа философов, публицистов, критиков, беллетристов и стихотворцев, приобревших себе скоротечную известность под именем «стрижей». Что такое «стрижи»? Стрижи — это благонамеренные птицы, которые, по замечанию наблюдателей-эмпириков, имеют дар предвещать хорошую или дурную погоду. Перед хорошей погодой они «мелькают и звенят», перед дурной — нахохливаются и спешат укрыться на колокольнях и чердаках. Тем не менее, так как это предвещания чисто бессознательные, то по временам в них вкрадываются ошибки (преимущественно, впрочем, в пользу хорошей погоды), которые вводят легковерных эмпириков в заблуждение и доставляют им немало хлопот. Доверившись стрижиному мельканию, люди начинают сушить сено, жать рожь, а тут вдруг затяжной дождь, слякоть, сырость, и все благодаря тому,

что какой-нибудь стриж съел что-нибудь лишнее и тем нарушил соответствие своего маленького организма с состоянием атмосферы. А отсюда наблюдатели не эмпирики выводят то заключение, что отличительную черту стрижей составляет не столько дар предведения, сколько вообще сумбур, облекающийся в форму предведения единственно для того, чтобы удобнее скрыть свое происхождение.

Подобно стрижам-птицам, стрижи-литераторы хвалились даром предведения, но не ограничивали сферы предвещаний одною погодою, а проникали дальше. Внимая их прорицаниям о «почве», о «новом слове», о «силе любви», публика уже думала, что все эти прорицания завершатся одним общим прорицанием о «влиянии романса «Во саду ли в огороде» на силу русского смирения», как вдруг «Эпоха» прекратилась, и «стрижи» разлетелись, унеся с собой все секреты, бывшие в их распоряжении. Некоторое время, впрочем, и после того еще слышалось в воздухе какое-то невнятное бормотание, испускаемое «холостыми» стрижами, продолжавшими прорицать и по разорении родного гнезда, и публика добросовестно прислушивалась к этим звукам, стараясь понять их смысл, но оказалось, что и до разорения и по разорении это был все один и тот же винегрет, составленный из всевозможных объедков. Тут были и объедки славянофильства, и объедки нигилизма, и объедки спиритизма, и даже своя собственная, маломысленная самодельщина. Благодаря этой последней, «стрижи» могли маскировать свои позаимствования. «Какие мы славянофилы! какие нигилисты! Мы — стрижи, предсказывающие хорошую погоду!» — так отвечали они людям, уличавшим их в плагиатах. И публика убеждалась их оправданиями и, по всестороннем обсуждении этого дела, в свою очередь восклицала: «Да, это не славянофилы и не нигилисты, это — стрижи, и ничего более».

Оказывается, однако ж, что отлет стрижей был мнимый, что эти интересные птицы не улетали, а только временно обмирали. В ту самую минуту, как мы пишем эти строки, весь их лагерь в движении. Замечается стремление организоваться, образовать из всех наличных стрижиных сил стройный и сильный стрижиный хор. Раздаются памятные голоса, поющие, что все цветочки аленькие, да очень они маленькие, затеваются критические статьи без надежды высказать какую-нибудь определенную мысль, но в твердом уповании на милость божию; не оставляются без упования даже современные политические события. Выискивается бард, берет в руки лиру и, вдохновленный сражением при Гравелоте, бряцает так:

СЕГОДНЯ

Нет в сердце веры, нет любви,
Полно все темной силой злобы;
Где ни пройдут (кто?),— за ними вслед
Война и смерть, пожар и гробы.
Наука, гений, совесть, труд,
Одев убийство багряницей,
Позорно, как рабы, бегут
Вслед за кровавой колесницей.
Как звери — сонмы христиан
Терзают яростно друг друга...
Течет кровавая река,
Течет от Севера до Юга!

Смысл этого стихотворения ясен: война есть **война, но,** признаемся, такого окончания, как:

Течет кровавая река,
Течет от Севера до Юга! —

нельзя было ожидать. Это ясный признак, что стрижи пробудились от обморока, но еще полны недавних грез. Что ж! в добрый час! пробуждайтесь, господа стрижи! Бряцайте на лирах, захлебывайтесь ежемесячно злобой, обуревайтесь страхами, пламенейте надеждами, напруживайтесь, прорицайте, прудите, прудите, прудите!.. Кстати, и время наступило для вас самое подходящее, самое стрижиное.

Г-н Н. Соловьев хотя и ведет свое дело особняком от организующегося ныне хора «стрижей», но это нимало не освобождает его от традиций «Эпохи», в которой он был усерднейшим вкладчиком, и не обеспечивает его мысли от всевозможных неопределенностей, которыми отличались и отличаются все произведения этой школы. Представление об «Эпохе» тяготеет над ним; одушевляя его охотой разрешать всякого рода философские, эстетические и общественные задачи, оно в то же время непроницаемым туманом заволакивает эти задачи перед его умственным взором, оставляя ему, таким образом, одно вполне твердое прибежище: надежду на неизреченное божие милосердие, которое как-нибудь поможет выйти невредимым из сети поправок, недомолвок и противоречий. К сожалению, однако ж, на сей раз и эта надежда обманула его самым обидным образом.

В разбираемой брошюре автор имел в виду проследить значение наслаждений «в сфере нравственных феноменов». Задача эта несомненно имеет очень живой интерес для современного человечества, но в том-то и дело, что исследователи, подобные г. Соловьеву, всегда берутся за самые живые вопросы и всегда же сводят их «на нет». Прежде всего, ав-

тору следовало бы, по крайней мере, определить, что̀ он разумеет под словом «наслаждение», но он забывает даже об этом и прямо начинает с голословного перечисления «утех», которые, по его мнению, наиболее распространены в современном обществе. Из того что он наслаждению противополагает труд, еще не получается ровно никакого объяснения, потому что автор и тут ограничивается противоположением исключительно голословным, и того, что между этими двумя формами человеческой деятельности существует действительный антагонизм, ничем не доказывает. По мнению г. Соловьева, человек родится с двумя карманами, из которых в одном находится труд, а в другом — наслаждение, и затем попеременно запускает руку то в один, то в другой карман. Прекрасно. Не будем доказывать, насколько это мнение нелепо, но имеем полное право заметить, что ежели бы оно было даже справедливо, все же необходимо разъяснить читателю эту справедливость, а не бросать ему нагой афоризм без малейшего ознакомления с теми посылками и тем умственным процессом, который привел автора к указанному заключению.

Это отсутствие ясно сознанного исходного пункта, свидетельствующее о крайней запутанности мысли автора, отражается и в дальнейшем его изложении. Вот, например, как рассуждает автор о господстве цинического элемента в легкой литературе. «Последний (то есть цинизм),— говорит он,— потому теперь так поднял голову, что неразрешимость насущных вопросов жизни и все более возрастающая нужда общественная пришибли, подавили таланты; поэтому мы и видим, что многие даровитые и сильные голоса у нас молчат, а другие, более добродушные и более опрятные литераторы заговорили громче прежнего»... Скажите на милость, ужели все эти слова не во сне написаны? Почему «возрастающая общественная нужда» может подавлять таланты? Что это за общественная нужда? Почему представителями цинизма являются «добродушные и опрятные литераторы»? Кто даст ответ на эти вопросы? Очевидно, что г. Соловьев уже слишком понадеялся на божие милосердие, а вышло, что в деле философии, как и во всяком другом, следует почаще припоминать пословицу: «На бога надейся, а сам не плошай».

СНОПЫ. Стихи и проза Я. П. Полонского. СПб. 1871 *

По поводу сочинений г. Полонского случилось небольшое недоразумение. В прошлом году, разбирая том вышедших в свет стихотворений этого автора, мы выразились, что в лите-

ратурной деятельности г. Полонского не усматривается никакого определенного характера и что по некоторым из произведений его прихотливой музы трудно даже угадать, чего он хочет и что желает сказать. Отзыв этот вызвал протест со стороны г. Тургенева и, по-видимому, не остался без влияния и на самого г. Полонского. Первый объяснил наше отношение к г. Полонскому очень простою причиною: клиентизмом; второй, в предисловии к «Снопам», упоминает о «литературных и нелитературных врагах», которые топчут его жатву «ради барской или наездннческой потехи». Очевидно, что и г. Тургенев, и г. Полонский видят в критике нечто вроде домашнего дела, в котором рецензент, рассматривающий произведения того или другого автора, обязывается руководствоваться не действительною их стоимостью, а какими-то иными соображениями, из которых некоторые могут быть даже совершенно ему неизвестны.

Обвинения в клиентизме и наездничестве огорчили нас; но огорчение все-таки было не настолько велико, чтобы заставить нас согласиться с мнением о правильности домашних отношений критики к литературным деятелям. Мы остались при прежнем убеждении, что мнение это совершенно негодно и что уже со времен Белинского его следует считать упраздненным. Критика имеет дело не с личностью, а с произведениями автора, и все, что мог заставить нас сделать энергический протест г. Тургенева,— это еще раз проверить выраженное нами в прошлом году мнение о сочинениях г. Полонского, что нами и исполнено по поводу издания «Снопов».

К сожалению, мы и теперь не имеем ни малейшего основания отступиться от высказанных прежде заключений, несмотря на то, что в «Снопах» помещены, между прочим, «Признания Сергея Чалыгина», которые г. Тургенев в особенности рекомендовал нашему вниманию. Эти «Признания» нимало не объяснили для нас ни литературной физиономии г. Полонского, ни его миросозерцания, а ежели в «Снопах» можно найти какие-нибудь указания по этому предмету, то их следует искать не в «Признаниях», а в другом не менее капитальном произведении того же автора, носящем название «Ночь в Летнем саду». Но и здесь указания свидетельствуют лишь о недоразумениях, и притом о таких недоразумениях, которые положительно говорят не в пользу автора.

Мы не принадлежим к числу критиков, которые, по мнению г. Полонского, утверждают:

Что вовсе не цветы прекрасны, а картофель... — 7,5

и даже, признаемся откровенно, совсем не знаем критиков, которые проповедовали бы подобную галиматью; но мы утверждаем, что неясность миросозерцания есть недостаток настолько важный, что всю творческую деятельность художника сводит к нулю. В этом нас убеждают примеры таких великих и общепризнанных художников, как Сервантес, Гете, Шиллер, Байрон и друг., которые всегда полагали в основу своих произведений действительные стремления и нужды человечества и, сверх того, умели с полною ясностию определить свои отношения к этим стремлениям и нуждам. Если произведения этих писателей имели в свое время громадное воспитательное значение, если это значение и поныне не утратило своей силы, то объяснения этого факта следует искать именно в их тенденциозности, в том, что они беседовали с читателями не о сновидениях, а раскрывали перед ними ту жизненную разрозненность и смуту, под гнетом которых страдало и страдает человечество. «Дон-Кихот», «Чайльд-Гарольд», «Фауст», «Разбойники» — все это произведения в высшей степени тенденциозные, и, стало быть, требуя от литературного деятеля, чтобы он избегал оговорок и с полною ясностью определял свои отношения к вещам мира сего, мы не только не являемся отрицателями здоровых преданий искусства, но, напротив того, не отступаем от них ни на шаг.

С другой стороны, мы не принадлежим и к числу тех придирчивых критиков, которые к второстепенным литературным деятелям относятся с теми же требованиями, как и к деятелям, намечающим эпохи в истории искусства. Мы очень хорошо понимаем, что нельзя винить человека в том, что он не совместил в своей груди всех скорбей человечества; мы знаем, что полет воробья не может быть сравниваем с полетом орла; но сокращение наших требований в этом случае все-таки касается не основ миросозерцания, а только объема и глубины его. Когда писатель, имея перед собой образцы, указывающие ему истинный путь, все-таки отворачивается от вопросов жизни и предпочитает им любовные интриги синиц, мы имеем полное право и основание негодовать на него. Это доказывает одно из двух: или что он совсем не понимает и не может понимать истинных преданий искусства, или же что он обладает строптивым характером, который может со временем довести его до одичалости. В первом случае критике нет надобности ни убеждать, ни анализировать, а следует сразу зачислить писателя в разряд отчаянных; но во втором — она еще имеет надежду, что строптивый писатель тронется ее убеждениями, и ежели не вполне твердо станет на путь, указанный образ-

цами, то, по крайней мере, не будет относиться к нему с презрением. И таким образом погибнет не до конца.

Следуя указаниям г. Тургенева, мы с большим вниманием прочитали все 342 страницы «Признаний Чалыгина» и за всем тем не вынесли из этого чтения ни общего, ни частного впечатления. Есть известная мягкость тона, которая (мы не отрицаем этого) не лишена некоторой привлекательности; есть намек на живой образ в лице матери Чалыгина и, пожалуй, в лице ее чичисбея Кремнева, но все это нимало не выкупает бессвязности и бесхарактерности целого. Заглавие «Признания» может только ввести читателя в заблуждение, потому что никаких «признаний», собственно, нет, а есть довольно бледная история детства, которая прерывается совершенно неожиданно и из которой невозможно вывести решительно никаких заключений. Очень может статься, что мы и ошибаемся, требуя от писателя, чтоб он прежде всего ясно сознавал цель, с которою взялся за перо, но ошибка эта принадлежит не нам собственно, а истории искусства и литературы. Без ясно сознанной идеи художественное произведение является сбродом случайностей, в котором даже искусно начертанные образы теряют значительную долю своей цены, потому что не существует органической связи, которая объясняла бы их участие в общей экономии художественного произведения. Какую мысль имел в виду г. Полонский, сочиняя свои «Признания»? Желал ли он представить нам просто картину русского дворянского воспитания, без всякого отношения к тем влияниям, которые имеют это воспитание на образование характера и дальнейшие судьбы человека? или, быть может, имел он в предмете проследить эти влияния и в художественном образе воспроизвести их благотворность или зловредность? — На все эти вопросы «Признания» не дают никакого ответа, а потому и критика будет совершенно права, если скажет, что сочинение это лишено живой основы и не вызвано никакою внутреннею потребностью духа. По этой же причине и лица, скученные в этом сочинении, кажутся не имеющими законного места, несмотря на то что некоторые из них, взятые сами по себе, не лишены привлекательности и даже оригинальности. Нет предвзятой идеи (не в смысле пригибания живых лиц требуем мы *предвзятой* идеи, а в смысле общих намерений произведения) — нет и животворящего духа. Разрозненность, случайность, вялость — вот характеристические качества произведений, отвергающих так называемую тенденциозность, и не выкупятся эти недостатки никакими подробностями, как бы искусно и ловко они ни были составлены.

Гораздо более характерною представляется другая капитальная статья г. Полонского — «Ночь в Летнем саду», хотя по форме своей она несколько напоминает «разговоры» двадцатых годов о том, «кто истинно добрый и счастливый человек?». Вся эта статья, от начала до конца, проникнута протестом против буйственного духа времени, утверждающего, что картофель прекраснее цветов, что орлам следует поучиться летать у ос, что щебетание снегиря приятнее соловьиного пения и множество других умных вещей в этом роде.

Мы ничего не имеем против протестов, если они выражены ясно, хотя бы даже и с примесью некоторого преувеличения. Протестуйте против чего угодно: против солнечного света, против течения времени — все эти протесты мы примем без удовольствия, но и без озлобления. Мы оставляем за собой только одно право — право рассматривать ваши протесты и, в свою очередь, протестовать против них. Зачем вы требуете протеста одностороннего, протеста, исключительно обращенного в вашу пользу? Зачем вы, втаптывая в грязь целое общественное направление, ропщете, жалуетесь на каких-то врагов, обзываете их клиентами и наездниками, потому только, что люди этого направления, в свою очередь, находят ваши протесты лишенными разумных оснований? Согласитесь, что претензия подобного рода должна быть признана, по малой мере, нескромною.

Итак, мы охотно признаем всякого рода протесты, но, к сожалению, не можем не заявить, что в основании всех протестов, которые до сих пор появлялись в нашей литературе против буйственного духа времени, лежит или недоразумение, или совершенное непонимание тех явлений, о которых протестанты ведут речь. Мы очень легко можем доказать это, обратившись к произведению г. Полонского «Ночь в Летнем саду».

На сцене Летний сад в городе С.-Петербурге, в саду гуляет неосновательный мужчина. Мужчина этот нигде не может найти себе места, ни к чему не может пристроиться. Готовился он в университет, но «непредвиденные обстоятельства» не дозволили ему выдержать экзамен; поступил на службу, но далее писаря не пошел; стал писать стихи — но одни, прочитав произведения его музы, нашли, что в них преобладает чистая поэзия, другие — что в них преобладает гражданская скорбь. Это и не удивительно, потому что неосновательные люди тем и отличаются, что куда ни приткнутся — везде или экзамена не выдержат, или что-нибудь такое скажут, чего никто не поймет. В такой крайности, они обыкновенно приходят к тому, что самый лучший для них исход — это за-

ниматься амурами. Так поступил и неосновательный человек, которого рукопись издал г. Полонский. Он пришел в Летний сад на любовное свидание, но свидание не состоялось (даже в любовных занятиях эти люди несчастливы, ибо и тут действуют так, что никто ничего понять не может), и вот, застигнутый ночью, он остается в саду до утра. Дремота, полусон, фантастические видения. Оживает статуя Крылова, а за нею проникает дух жив и в тех низших представителей органической и неорганической природы (само собой разумеется, представители выбраны нарочито презрительные: кроты, лягушки, дождевики, осы, снегири, в противоположность трудолюбивым пчелам, величественно парящим орлам и сладкогласным соловьям), которых некогда знаменитый баснописец заставлял говорить языком людей. Начинается всеобщий протест: тумба протестует против статуи Юноны, оса против орла, снегирь против соловья, и больше всех протестует сам автор рукописи против дурной привычки протестовать.

Возьмем же наудачу несколько признаков, которыми, по мнению автора, характеризуется буйственный дух времени и против которых он обязывает протестовать каждого благонамеренного россиянина.

Признак первый: «слепорожденный крот» выползает из своей норы и доказывает:

Что вовсе не цветы прекрасны, а картофель...

Признак действительно замечательный, и если бы в натуре существовало учение, которое обожествляло бы картофель и сводило с пьедестала цветы, то, с точки зрения благоустройства и благочиния, можно было бы обеспокоиться принятием мер против излишнего его распространения. К счастию, однако ж, это учение всецело принадлежит «слепорожденному кроту», который когда-то слышал звон, да не знает, откуда он. Действительно, существует учение, утверждающее, что цветы можно нюхать, а картофель есть, и что как в процессе обоняния, так и в процессе еды в одинаковой степени не заключается ничего презрительного; но этим простым утверждением учение и ограничивается. Цветы сами по себе, картофель сам по себе, и ежели по временам еще требуется подкреплять столь простую истину доказательствами, то потому только, что авторитет цветов признан даже неосновательными людьми, а авторитет картофеля оставлен в забвении, и, следовательно, необходимо вывести и его из тьмы и поставить на надлежащее место. Во всяком случае, что может быть понятнее, мирнее, спокойнее этого учения? Где тут повод для насмешки, а тем более для презрения?

Но неосновательные люди смотрят на это дело иначе. Они разделяют природу на две половины: прекрасную и гнусную. В первой помещают цветы, плоды и вольных птиц, во второй — траву белоус, овощи и пернатых, воспитываемых на скотных дворах. Почему это так и на каком разумном основании автор изданной г. Полонским «рукописи» противопоставил цветам картофель? что находит он презрительного в картофеле и почему картофель презрительнее цветов? На все эти вопросы автор, конечно, не даст никакого ответа, а не даст его и потому, что едва ли даже предполагает возможность вопросов в таком деле, которое испокон веку имеет за себя авторитет реторик и учебников, изданных для средних учебных заведений. Там строго-настрого предписывается делить природу на прекрасную и гнусную, ну, и он таким же образом делит да, вдобавок, еще сердится на тех, которые утверждают, что формы, в которых проявляет себя творчество природы, находятся в зависимости от точных и в данную минуту незыблемых законов, существование которых исключает даже самое предположение о прирожденной презрительности или прирожденном благородстве этих форм.

Древние реторики, несмотря на всю путаницу, которую они произвели в понятиях, высказали одно очень мудрое и полезное требование, а именно: они обязывали писателей, намеревающихся поучать публику, предварительно задаваться вопросами: cur? quomodo? quando? quibus auxiliis?[1] и проч. Если б автор изданной г. Полонским «рукописи» последовал этому совету, он наверное отступился бы от какого бы то ни было разглагольствия на тему о превосходстве картофеля над цветами, ибо тотчас же нашел бы, что ни на какой вопрос, вытекающий из подобной темы, никакого ответа дать невозможно. Почему (cur) крот есть эмблема презрительности, а орел — эмблема благородства? — ниипочему. Каким образом (quomodo) случилось, что крот сделался эмблемою презрительности, а орел — эмблемою благородства? — никаким. Когда (quando) это случилось? — никогда. И до тех пор продолжался бы этот замечательный colloquium, покуда сам автор, наконец, не пришел бы в себя и не воскликнул: господи! да никак я в бреду нахожусь!

Да; надо всемерно стараться обдумывать то, что̀ намереваешься пропагандировать, и это правило, обязательное для всех вообще мыслящих людей, еще более обязательно для писателей, потому что verba volant, a scripta manent[2]. Пусть

[1] почему? каким образом? когда? с чьей помощью?
[2] слова улетают, написанное остается.

представление об этом «manent» неотступно сопутствует каждому литературному деятелю, наверное тогда они и перестанут язвить картофель и не будут противопоставлять кротов орлам.

Другой, тоже достойный осмеяния признак буйственного духа времени — это склонность «ос» к естествознанию.

Не понимают,
И как бы не желают понимать,
Что я склонна к естествознанью
Почти на столько же, на сколько и к жужжанью..

Так жалуется оса, бесполезное и праздное насекомое, противопоставленное полезной и трудолюбивой пчеле. Оказывается, что пчелы уже давно обладают естествознанием (любопытно было бы видеть этих пчел), но не хотят делиться своими сведениями с осами, на том, конечно, основании, что по отношению к этим праздным и легкомысленным насекомым знание может быть только источником самой глубокой нравственной разнузданности. Истина эта уже не нова; еще г. Даль в оное время отстаивал право русского мужика на безграмотность, на том основании, что научите, дескать, слесаря грамоте, он сейчас же начнет ключи к чужим шкатулкам подделывать. Но допустим невозможное, предположим, что знание действительно вредно — на ком, спрашивается, лежит обязанность определить меру этого вреда и способы его устранения? Неужели на литературе? Нет, говоря по совести, утверждать этого нельзя. Литература не может принять на себя этой задачи, потому что она призвана разрабатывать и распространять знания, а не укорачивать их. Ей нет дела до последствий ее пропаганды, хотя бы ею воспользовались осы, трутни, кроты и другие презрительные разновидности. Пускай знание не всем равно идет впрок (чтобы оно производило прямой вред, мы не решаемся даже сказать подобную нелепость), но в том, что осы, кроты и дождевики почувствовали потребность в знании, нет еще ничего вредного, ни достойного осмеяния. Может быть, они воспользуются знанием дурно, может быть, и совсем не воспользуются, но все это до такой степени гадательно, что позволительно делать предположения и в обратном смысле. Если бы осы жаловались на то, что не удовлетворяют их склонности бить баклуши, тогда действительно можно было бы пожурить их, но видеть что-то неуместное в жажде к знанию, и именно к естествознанию,— это, по малой мере, опрометчиво.

Источник иронии, с которою автор изданной г. Полонским «рукописи» относится к жажде естествознания, по-видимому, кроется в том утвердившемся у нас мнении, будто естествознание подрывает цельность человеческого миросозерцания. Мнение это родилось первоначально на улице (едва ли даже не в среде городовых), а с улицы мало-помалу проникло и в литературу. Но хотя уличные публицисты и утверждают, что человек счастливее тогда, когда он убежден, что гром пускает Зевес, нежели тогда, когда он знает действительные причины, обусловливающие гром, история до сих пор не представляла примеров, чтобы знание было причиной чьего-либо несчастья. Патагонцы обладают очень малыми знаниями, но это не делает их счастливыми; напротив того, например, мы, русские, обладаем достаточными знаниями и, вследствие того, чувствуем себя благополучными. Следовательно, ежели оса или еж требуют знания, не возбранять им сие следует, но к тому их поощрять. Распространение знаний приносит все приятства, которыми мы уже пользуемся, и, вероятно, принесет со временем и другие приятства, которыми мы еще не пользуемся; единоторжие же в области знаний, напротив того, делает эти приятства уделом очень ограниченного меньшинства, а большинство ставит в необходимость или завидовать, или облизываться. Подумал ли автор изданной г. Полонским «рукописи», к каким последствиям может привести чувство зависти, особливо ежели будут приняты все меры к постоянному его раздражению? — нет, очевидно, он не подумал, ибо, в противном случае, он понял бы, что единственное средство умиротворить это чувство заключается в удовлетворении, по крайней мере, тех его требований, которые не заключают в себе ничего противозаконного. Крот жаждет естествознания — ну, и дайте ему его, а там, ежели он от него пропадет, то пусть на себя и пеняет. Во всяком случае, он уже не будет иметь поводов для зависти и ропота.

Но ежели автор не подумал об этом, то зачем не подумал за него г. Полонский, взявший на себя труд издать его рукопись?

Наконец, третий признак (мы спешим покончить, хоть подобных признаков найдется еще не мало в этой злосчастной фантазии) выражается устами самого Крылова и состоит в том,

Что о свободе все пищат...

И, разумеется, лгут.

Тут всё ирония: и «все», и «пищат». Кто говорит о свободе? — «все», то есть не только столоначальники и благона-

меренные литераторы, но сычи, осы, дождевики, кроты и т. п. сброд. Как они говорят? — ну, разумеется, «пищат», то есть несут всякую чушь, не понимая, в чем даже заключается понятие о действительной свободе... И смех, и горе! Смех, потому что если вообще писк не может не возбуждать смеха, то тем более должен быть смешон писк о свободе. Горе — потому, что всех этих маленьких насекомых, к сожалению, необходимо вразумлять, то есть просто-напросто воспретить им пищать о свободе.

Автор уважает свободу и называет ее «святою», но ему больно, когда об ней «пищат», и притом пищат «все». Как и по отношению к естествознанию, он желал бы, чтоб разговоры о свободе составляли предмет единоторжия людей вполне компетентных и подготовленных. Только тогда «святая» свобода не будет компрометирована, когда об ней спокойно будут рассуждать спокойные люди, и, порешив, что свобода есть свобода, разойдутся по домам... Все это прекрасно, но что же, однако ж, смешного в том, что «о свободе все пищат»? «Пищат» — ведь это только значит, что говорят тем самым голосом, который дан природой; «все пищат» — значит, все хотят определить себе значение слова «свобода». Это ведь тоже своего рода любознательность, и притом настолько естественная, что ее почти можно назвать невольною, а стоит ли обращать бич сатиры на такой грех, который совершается невольно. И, наконец, ужели рычание о рабстве слаще для слуха, нежели даже самый смешной писк о свободе?

Таковы признаки буйственного духа времени, которые послужили темою для насмешек автора изданной г. Полонским рукописи. Любопытно было бы знать, каковы же идеалы самого автора? Кто эти орлы, пчелы, соловьи, которых он противополагает кротам, осам и снегирям?

Мы не назовем здесь этих орлов; за нас назовет их вся русская жизнь. Но идеалы назвать мы можем; они таковы:

Презрение к полезному.

Концентрирование знания в среде ограниченного меньшинства, в массах же — поддержание невежественности.

Возведение понятия о «свободе» на степень секрета.

Насколько величественны подобные идеалы — предоставляем судить читателям.

Очень возможно, что и настоящая рецензия наша заслужит название придирчивой, внушенной клиентизмом и страстью к наездничеству; но мы не останавливаемся на этих упреках, ибо не имеем никаких сомнений насчет источника, из которого они выходят. С своей стороны, мы искренно желаем,

чтоб наши пропагандисты уличной философии убедились наконец, что то, что́ они защищают, не имеет нужды в защите, а то, что̀ осмеивают, не подлежит осмеянию.

МАНДАРИН. Роман в четырех частях Н. Д. Ахшарумова. СПб. 1870 г.

Герой этого романа принадлежит к породе хищных, то есть к числу тех самых орлов, которые так нравятся г. Полонскому и которых обаяние преимущественно заключается в том, что они питаются телами убиенных. Этот презрительный сорт людей, благодаря панике, произведшей неслыханную путаницу в понятиях, и содействию невежественной части литературы, поставившей себе задачею распространение презрения и ненависти к едва проявившемуся духу пытливости, играет очень немаловажную роль в современном положении нашего общества. Поэтому изучение этого типа, исследование его особенностей и нравов и обнаружение зловредного влияния, оказываемого им на развитие общества, могут представлять не только значительный интерес, но и пользу.

Очень часто хищники возбуждают удивление тою удачливостью, которая постоянно сопровождает выполнение их планов и намерений и которая дает повод предполагать в них сильное развитие умственных способностей; но ближайшее знакомство с каждым отдельным субъектом этой породы разъясняет, что здесь удача лишь в самой слабой степени зависит от соображений и расчетов ума. Хитрость, мелкая изворотливость и очень крупное нахальство, одним словом, самые низшие свойства духовной природы человека — вот орудия, с помощью которых действуют так называемые орлы и которые, к сожалению, обеспечивают за ними удачу. Отсутствие совести, этого бесценного человеческого свойства, без которого немыслимо не только устройство правомерных отношений в обществе, но и прочное обеспечение его будущего, тоже не мало придает блеска их действиям, успех которых только и объясняется их совершенною несвойственностью разумной природе человека. Такого рода действия невозможно предвидеть, а следовательно, и отразить. Нельзя предвидеть, чтобы человек для удовлетворения минутной прихоти жертвовал не только своим собственным будущим, но и будущим целого общества; нельзя ожидать, чтобы человек из личных целей не обинуясь перегрыз горло другому человеку, а может быть, и тысячам других людей, потому только, что эти люди прямо или косвенно мешают ему. Все <это> такого рода дела, ко-

торые, по здравому смыслу, могут иметь исходом или дом умалишенных, или уголовный суд, а между тем «орлы» не только не кончают этим, но сами сажают в дома умалишенных и предают каре уголовных законов. И общество рукоплещет им и называет умниками, видя только успех и не понимая того, что <для того, чтобы> зарезать спящего человека, раздавить слабосильного и украсть платок из кармана у беспечного, не нужно никакого ума, а нужна только бессовестность.

Обилие «орлов» может довести общество до одичалости, превратить мир в пустыню. Будучи руководимы исключительно инстинктами плотоядности, «орлы» не только насыщаются с трудом, но алчут все больше и больше. Трудно представить нравственное разложение, господствующее в этой гнусной толпе, которая самодовольно стоит поперек человеческому развитию. И чем микроскопичнее ее цели, тем назойливее она ставит их средоточием целого мира, тем упорнее оправдывает совершаемые во имя их злодеяния. Эти злодеяния кажутся ненужными, да и в самом деле, ничто не свидетельствует, чтобы обойтись без них было невозможно, но они производят страх, а страх, в свою очередь, еще более запутывает понятия и, следовательно, еще прочнее обеспечивает успех наглости и насилия. Образуется порочный круг, в котором вращается бессильное общество, могущее только страдать, но не могущее определить источника своих страданий. Тут все приходит на ум: и буйственный дух времени, и излишняя пытливость, подрывающая цельность человеческого существования, и неумеренные предъявления требований,— все, кроме действительной причины всех страданий, то есть обилия хищников, со всех сторон заполонивших человеческую ниву.

Вот «орлы», которых надлежит отдавать на суд общественной совести, которых следует обнажать от наружных украшений, вводящих в заблуждение забитую и изнемогающую в чаду бессознательности толпу. А что же за особенная доблесть бросать каменьями в снегирей, кротов и ежей, которых и без того только ленивый не бьет.

С точки зрения вышесказанного, мы можем лишь сочувственно отнестись к попытке г. Ахшарумова изобразить одну из тех личностей, которые сделали себе ремеслом мелкое хищничество. Выбор такой задачи делает величайшую честь автору, хотя выполнение ее заставляет желать очень многого. В особенности, роману вредит его непомерная растянутость, привлечение множества вводных лиц, почти совершенно бесполезных для ясности задачи, а также некоторая несмелость

в изображении существенных черт главных действующих лиц. Но и за то уже следует благодарить автора, что он угадал настоящую язву, точащую общество, и сделал почин к ее раскрытию.

ОШИБКИ МОЛОДОСТИ. Оригинальная комедия в 5-ти действиях Петра Штеллера. СПб. 1871 г.

Издревле известен афоризм, что молодость склонна ошибаться, но так как, несмотря на афоризмы и споспешествующие им меры, молодость все-таки упорствует в своем неисправлении, то, ввиду такого постоянства, невольно возникает сомнение, не грешит ли, в свою очередь, сам афоризм и не более ли склонна к ошибкам старость, нежели молодость. Молодость легко воспламеняется и увлекается; старость упорствует и пятится назад. Молодость охотно игнорирует затруднения и приносит жертвы; старость вызывает затруднения даже не существующие, останавливается на частностях и из выеденного яйца нередко делает общественный и политический вопрос. Какие из этих признаков составляют то, что̀ признано называть «ошибкою»,— это покамест еще не решено, но, во всяком случае, сомнение уже позволительно. Затем, когда речь идет собственно уже об «ошибках молодости», то представляется весьма нелишним различать, что́ в них следует отнести на долю действительных ошибок и что́ — на долю неудач. Если, например, молодость имеет в виду цели, без осуществления которых немыслим общественный прогресс, и если она не достигает этих целей, но сама падает их жертвою, то подобного рода факт еще нет основания характеризовать именем «ошибки», а можно назвать только неудачею, а иногда и несчастием. Ошибка тут совсем не на той стороне, которая стремится и увлекается, а на той, которая упорствует и живет под игом паническ их страхов. Если же и допустить, что увлечение молодости легко развивается в фанатизм, а фанатизм сам по себе уже составляет ошибку, то и в таком случае главная доля ответственности за подобный факт все-таки падает на сторону упорствующую, потому что только ее систематические отпоры могут фанатизировать деятельность, направленную, в существе своем, исключительно к достижению спокойного и разумного человеческого прогресса.

Картина борьбы мнимых ошибок молодой воспламеняемости с действительными ошибками старческой мнительности,

картина развития первых в увлечение и потом в фанатический идеализм и последних — в простое, грубо-материальное озлобление, сопровождаемое арсеналом принудительных орудий, могла бы быть до крайности интересною, если б художник, избравший себе подобный предмет, взглянул на него глазами непредубежденными. Но в том-то и дело, что до сих пор успех слишком часто приписывается мудрости, а неудача — ошибке и заблуждению. Забитость умов, их неспособность отнестись критически к преданиям и взглядам, завещанным рутиною воспитания, наконец, нежелание нарушить личное нравственное равновесие участием в поисках, исход которых представляется уму не всегда отчетливо,— вот, кажется, где следует искать причину, почему литература и искусство так неохотно выступают на арену общественности и почему, однажды выступивши на нее, относятся к происходящему на ней движению с недоверием, с ироническим сожалением, а иногда и просто с злорадством. Блистательнейшим примером такого особенного отношения к общественному движению может служить наш современный общественный роман, наша современная общественная драма. За немногими попытками поставить вопрос на почву реальную, согласную с истиной (попытками, выполненными, впрочем, не весьма даровито), мы везде встречаемся или с недоразумением, или с открытой враждой. Можно подумать, что тут замешалось ежели не предумышленное, то крайне неряшливое забвение характера и законов общественного развития, и что, вследствие этого забвения, явления и вещи называются совсем не теми именами, какими им называться следует. Ошибки называются мудростью; правильное отношение к жизни — ошибкою. И что всего страннее, это делается не потому, что обнажать так называемую мудрость от отягощающих ее покровов не всегда удобно, а с полною искренностью и с совершенным убеждением, что успех и сила — суть подлинные признаки мудрости, а неудача и слабость — подлинные признаки заблуждения. Картина выходит хлесткая и яркая, но, несмотря на свою яркость,— односторонняя, несмотря на свою искренность (в этом смысле мы не позволяем себе делать никаких исключений),— совершенно бессовестная. Забывается, по-видимому, нечто очень существенное: относительно «ошибок» оставляется без внимания процесс их первоначального трудного нарастания и потом искупления; относительно «мудрости» — процесс ее появления из головы Минервы во всеоружии и затем процесс употребления в дело метательных орудий и снарядов. Очень может быть, что это забывается по рассеянности или просто по глупости, но можно, кажется, сказать утвердительно,

что если бы на эти эпизоды, составляющие неотъемлемую принадлежность всякой правдивой истории «ошибок», было обращено надлежащее внимание, то смысл картины изменился бы во многом и очень существенно.

Печальная сторона такого отношения литературы к жизни заключается в том, что оно вводит в заблуждение читающую общественную массу. Масса живет непосредственною жизнью, не анализируя явлений, а следуя за течением их. Проверки и уяснения своего бессознательного чувства она ищет в книгах, и в этом случае талантливая фальшь, окруженная, сверх того, внешними благоприятствующими условиями, может играть роль очень существенную. Нет ничего легче, как представить предмет не в том свете, который ему подлинно принадлежит, а в том, который приходится по сердцу самому художнику или же прошел сквозь горнило предания и от него получил право на официальную незыблемость. И с другой стороны, нет ничего труднее, как изобличить фальшивость этого света. Возьмите, например, хоть патриархальные отношения. Какую мягкую, симпатичную и в то же время ловкую картину можно написать по этому поводу: и отца семейства, украшенного сединами, и семейный очаг, и шипящий самовар, и тихо звучащие речи, и все такое, по поводу чего читатель может задуматься и вздохнуть. И вдруг, в самую средину картины врывается протестующий Каин, который, не откладывая дела в дальний ящик, начинает с маху обличать, обвинять, грубить и не признавать. Читатель опять задумывается, но уже не вздыхает, а негодует. Он прав, потому что он сам был неоднократным свидетелем подобного рода картин, а быть может, и терпел от них. Но он не вдавался в разъяснение причин этого явления, а просто выносил его, как выносится значительнейшая часть жизненной ноши. И вот, к нему является на помощь художник, который тоже не разъясняет причин антагонизма, а только подтверждает его существование; с одной стороны, он изображает тишину и безоблачность патриархальных отношений и называет их истиною жизни, с другой — указывает на вторжение протеста и называет его наглым наездом необузданности и распущенности. Ни источников, ни действительного смысла протеста он не понимает и не указывает, да и не его это дело, потому что художник только воспроизводит, а не доказывает. Читатель тоже, с своей стороны, не рассуждает много, а только припоминает, что действительно был свидетелем чего-то подобного в жизни, и прямо уже заключает отсюда, что освещение, сообщенное факту художником, вполне согласно с истиною. Этого довольно, чтобы на прочном основании установить мнение, что

молодость склонна к ошибкам, а старость имеет равносильную наклонность к мудрости. Да это еще снисходительно, если осуждение сводится только к ошибкам. Бывают суждения более резкие, утверждающие, что молодость способна только для разрушения, отрицания и дезорганизации.

Изложенные выше соображения относятся, впрочем, не столько к комедии г. Штеллера, сколько к названию ее. В самой комедии об «ошибках молодости» нет даже речи, или, лучше сказать, этим ошибкам придано самое рутинное значение. Ошибок тут две: одна представляет совершившийся факт и принадлежит студенту Красову и жене его, которые вступили в брак, не рассчитавши средств жизни, в надежде на молодые силы и личный труд; другая, не составляющая совершившегося факта, могла быть совершена студентом Сарматовым, который, не разбирая своих чувств к Надежде Васильевне Моргуновой, чуть-чуть было не женился на ней, но вовремя был остановлен самою Надеждою Васильевною, угадавшею склонность своего жениха к княгине Резцовой. Первая из этих задач могла бы назваться серьезною, если бы автор не бросил ее в комедию в виде эпизода, очень мало вяжущегося с главною канвою пьесы. Но и в виде эпизода задача выполнена неудовлетворительно и непродуманно, вследствие чего правда и жизненность явления всецело заменены мелодраматизмом. В способности молодости возбуждаться общественными интересами и идеями, имеющими покуда лишь отвлеченный смысл (например, идеей личного труда), сомневаться нельзя, но чтобы возбужденность эта получила характер типический, необходимо, чтобы самое содержание ее имело хотя приблизительно то же разнообразие, которое имеет и сама жизнь. Между тем гг. Красовы начинают совместную жизнь очень торжественно, чуть не под бой барабанов и звуки труб, а в то же время составные части того идеала, на котором покоятся их надежды, до крайности скудны и исчерпываются частными уроками и переводами. Мы понимаем, что иногда нельзя не принять и такого рода будущность, но восторгаться ею все-таки нет повода. И действительно, как только уроков не оказывается, а рынок переводов оказывается чрез меру переполненным, жизнь обоих является исчерпанною, и им ничего не остается, как умереть голодною смертью, что́, конечно, и случилось бы, если б не явилась вовремя благодеющая рука княгини Резцовой. Для драмы это содержание слишком тощее, хотя, может быть, такого рода примеры и случаются в действительной жизни. Но в том-то и дело, что факты действительной жизни пригодны для искусства только тогда, когда им сообщен харак-

тер генерический. Предположите случай, что девица вознамерилась сделаться телеграфисткой, но не получила места и вследствие этого умерла с голоду — ведь это тоже факт и притом очень печальный, и даже не невозможный. Но может ли этот факт служить сюжетом для драмы в том обнаженном виде, в каком он нами рассказан? — Очевидно, не может, ибо здесь не видно ни борьбы, ни усилий овладеть жизнью, ни действительного протеста, ни даже необходимости подобного исхода, как смерть. Здесь просто «происшествие», почерпнутое из «Полицейских ведомостей». А положение Красовых так именно и изображено.

Что же касается до «ошибки» Сарматова, то это одно из тех qui pro quo [1], которые, к сожалению, слишком часто приходится видеть на сцене Александринского театра.

СВЕТЛОВ, ЕГО ВЗГЛЯДЫ, ХАРАКТЕР И ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. («Шаг за шагом»). Роман в трех частях Омулевского. СПб. 1871 г.

В деятельности известнейших представителей современной русской беллетристики замечается очень резкое внутреннее противоречие. С одной стороны, она представляет как бы протест против господства реализма в искусстве, с другой — фаталистически удерживается на почве того же реализма со всею полнотою внутреннего содержания, которое питает его в данную минуту. И что всего замечательнее: протест в этом случае выражается преимущественно в лирических и дидактических отступлениях и лишь изредка облекается в форму образов, которые тщетно заявляют претензию на жизнь. Очевидно, стало быть, что дидактизм трудно уживается с искусством, и особливо дидактизм задним числом, дидактизм, полемизирующий в пользу интересов отживающих и в ущерб интересам нарождающимся и ищущим для себя осуществления не ради удовлетворения чьей-либо прихотливой фантазии, но ради жизненной силы, которая заключается в них самих.

Но ежели мы вникнем в сущность этого протеста, то увидим, что предметом его служит не реализм собственно, а лишь содержание, которое наполняет его в данную минуту. Не по сердцу то, что содержание это имеет характер совершенно несходственный с прежним; что тут на первом плане стоят совсем иные задачи, нежели те, которые когда-то волновали общество; что из-за этих задач уже выглядывают другие в качестве предведений и предчувствий будущего; что эти

[1] недоразумение.

предведения и предчувствия, несмотря на свою неопределенность и смутность, уже занимают умы и, вопреки требованиям здравой логики о постепенном, всестороннем и неторопливом рассмотрении возникающих вопросов, ставятся на очередь, так сказать, без всякой очереди. Действительный смысл событий, надежд и порываний оказывается неясным; перед глазами развертывается лишь хаотическое сновидение, преисполненное бесцельных мельканий, исчезновений и появлений; и хотя эти мелькания небеспричинны,— они означают искание опорной точки, которой нет и которую необходимо найти, чтобы ввести жизнь в правильную колею,— но для людей, уже отыскавших такую точку или мнящих, что отыскали ее, оно представляется просто отрицанием всякого прочного исходного пункта. Отсюда — сомнение не только в плодотворности, но и в самой законности жизни с подобным характером. Это не жизнь, а просто бесформенная фантасмагория, наполненная ходячими абстрактностями, а не живыми людьми,— вот подавляющий вывод, который должен вытекать из отношений, которые установились в нашей беллетристике к современной действительности. А так как искусство все-таки не может отвернуться от живых форм, в каком бы антипатичном виде они ни представлялись, не может признать существующего несуществующим, то и выходит нечто совершенно противоположное тому легендарному преданию, которое передается об одном средневековом живописце. Тот когда писал, то у него рука дрожала от умиления, а наши художники когда пишут, то руки у них дрожат от негодования. В результате получается шарж, пятно, и — что всего прискорбнее — пятно, искажающее нередко картину довольно замечательную.

Что в этом направлении главных деятелей современной русской беллетристики главную роль играют всевозможные недоумения — об этом было уже достаточно говорено; но мы имеем возможность указать на пример, относительно которого не может быть даже речи о недоумениях, недомыслиях, непониманиях или о чем-нибудь подобном и в котором упомянутое выше внутреннее противоречие высказывается еще с большею резкостью. Пример этот представляет Ф. М. Достоевский. По глубине замысла, по ширине задач нравственного мира, разработываемых им, этот писатель стоит у нас совершенно особняком. Он не только признает законность тех интересов, которые волнуют современное общество, но даже идет далее, вступает в область предведений и предчувствий, которые составляют цель не непосредственных, а отдаленнейших исканий человечества. Укажем хотя на попытку

изобразить тип человека, достигшего полного нравственного и духовного равновесия, положенную в основание романа «Идиот»,— и, конечно, этого будет достаточно, чтобы согласиться, что это такая задача, перед которою бледнеют всевозможные вопросы о женском труде, о распределении ценностей, о свободе мысли и т. п. Это, так сказать, конечная цель, в виду которой даже самые радикальные разрешения всех остальных вопросов, интересующих общество, кажутся лишь промежуточными станциями. И что же? несмотря на лучезарность подобной задачи, поглощающей в себе все переходные формы прогресса, г. Достоевский, нимало не стесняясь, тут же сам подрывает свое дело, выставляя в позорном виде людей, которых усилия всецело обращены в ту самую сторону, в которую, по-видимому, устремляется и заветнейшая мысль автора. Дешевое глумление над так называемым нигилизмом и презрение к смуте, которой причины всегда оставляются без разъяснения,— все это пестрит произведения г. Достоевского пятнами совершенно им несвойственными и рядом с картинами, свидетельствующими о высокой художественной прозорливости, вызывает сцены, которые доказывают какое-то уже слишком непосредственное и поверхностное понимание жизни и ее явлений. Где кроется причина столь глубокого противоречия? В простой ли случайности или в нежелании автора отделить сущность вещей от тех внешних и не всегда приятных для глаз потуг, которыми всегда сопровождается нарождение нового явления,— это покажет время. Но нельзя не согласиться, что этот внутренний раскол производит впечатление очень грустное и притом весьма существенно отражается на творческой силе самого автора. С одной стороны, у него являются лица, полные жизни и правды, с другой — какие-то загадочные и словно во сне мечущиеся марионетки, сделанные руками, дрожащими от гнева...

Жизненные вопросы, занимающие в данную минуту общество, могут, конечно, представлять большую запутанность и с этой точки зрения подвергаться критике, но не о правах критического отношения к ним идет здесь речь (незыблемость этих прав необходима в видах дальнейшего прогрессирования жизни), а о том, что за этими запутанными и невыясненными вопросами стоит нечто, не представляющее уже никакой запутанности и неясности. Это ясное и незапутанное — есть стремление человеческого духа прийти к равновесию, к гармонии.

В существовании и непрерывности этого стремления не усомнится ни один мыслящий человек. Оно переходит от одного поколения к другому, наполняя собой содержание исто-

рии и не умирая даже в такие эпохи, в которые общества человеческие, по-видимому, коснеют в самодовольном спокойствии. Оно же освещает и те несовершенные попытки и деяния (сущность этих попыток и деяний выражается в очень немногих словах: упрощение и выяснение тех условий, в которых человеку суждено жить), которые предпринимаются в виду основной цели, и указывая на существенные успехи, которые приобретены ценою усилий воинствующей мысли, тем самым набрасывают покров забвения на уклонения и неудачи, временно сопровождавшие борьбу. Только из общих результатов, в которых утопают случайные частности, делается вполне ясным действительный смысл совершающихся событий, и никакой историк не имеет права обойти эти результаты, если желает, чтоб оценки его имели убедительность. Ежели же современники и не видят еще этих общих результатов, то они не имеют права упускать из вида, что существует закон прогресса, несомненность которого свидетельствуется историей и напоминание о котором должно во всяком случае заставить их быть осмотрительнее в своих оценках.

Чтобы объяснить, до какой степени неправильны те враждебные отношения, в которые поставила себя наша беллетристика к интересам, занимающим современное мыслящее русское общество, разберем здесь некоторые из этих последних.

Первое место в ряду этих интересов занимает претензия на свободу мышления. И действительно, вопрос этот очень важен, потому что в благоприятном его разрешении лежит возможность более легкого и правильного обретения истины. Кажется, ничего похвальнее этой цели не может быть, но тут откуда-то, как deus ex machina, врывается слово «разнузданность» и смело становится поперек. Это одно из тех не помнящих родства выражений, которые всецело принадлежат мраку времен, но которых традиционная сила так велика, что ее не могут подорвать даже бесспорнейшие свидетельства истории. Как ни ясно доказывает эта последняя, что мысли, считавшиеся в свое время опасными, очень скоро входили в домашний обиход и делались предметом самого будничного собеседования, опасение «разнузданности» заставляет цепенеть и тех, которые не прочь бы, лично для себя, даже отведать от плода сего. Прямо разрешить вопрос кажется странным: все лучше хоть какой-нибудь кончик про запас оставить. А тут-то именно и кроется первый зародыш запутанности, которая впоследствии приведет за собой целый ряд самых неожиданных разветвлений; ибо ежели люди мечтают о кончике, то весьма естественно, что им довольно трудно будет

прийти в соглашение за счет абсолютной величины его. Второй повод к путанице представляет опасение, что свобода мышления приведет за собой разномыслие, которому, собственно, и присвояется название разнузданности. Но при этом обязательно забывается, что нельзя даже двух столоначальников одного и того же ведомства встретить, которые были бы во всем между собою согласны, и что никто, однако ж, за это не называет их разнузданными. Полагается прямо, что разногласие породит вражду, для устранения которой и следует заранее и сколь возможно точнее определить, какое мышление следует признать разнузданным. Тут путаница делается еще более существенною, ибо спор утрачивает характер абстрактности, которым он страдал при определении «кончика», и вступает в область фактов, при оценке которых каждый руководствуется указаниями личного темперамента. Образуется лабиринт, а словоохотливые беллетристы подходят к этому лабиринту и, не останавливаясь на причинах, обусловивших его образование, просто-напросто говорят: вот к чему привело ваше свободомыслие — к разнузданности!

Другой вопрос, тоже довольно живо интересующий мыслящую часть нашего общества, есть вопрос женский. Никак нельзя сказать, чтоб необходимость его разрешения, в большей или меньшей степени, не чувствовалась даже теми, которые на всякое зло привыкли смотреть как на что-то неотвратимое и неизбежное. Все инстинктивно или сознательно чувствуют, что здесь кроется корень бесчисленного множества неудобств, совокупность которых ложится тяжелым бременем на жизнь, но необычность заявляемых по этому поводу стремлений представляет и тут готовый источник всякого рода затруднений. Запутанность относительно этого вопроса тем более возможна, что он, во-первых, находится под гнетом преданий, далеко не утративших своей силы, и, во-вторых, связывается с указаниями физиологии, которая еще не сказала по этому предмету своего последнего слова. Однако жизнь не ждет разрешения теоретических споров и вступает в свои права путем эмпирическим. Она знает, что ошибки возможны, но в то же время знает, что основная мысль верна, и потому не пугается ошибок. Но ежели уже абстрактная, теоретическая мысль считается необычною, то понятно, насколько необычным должно показаться действие. И вот стремление женщины обеспечить свое существование самостоятельным трудом вызывает насмешки, а попытка стать в равноправные отношения к мужчине возбуждает уже прямое презрение и клеймится специальным названием «распущенности нравов».

Образуется лабиринт, в котором действительно требуется не малая доза добросовестности, чтоб отделить, что̀ принадлежит к области женской самостоятельности и что̀ к области лакомства (но ведь в том-то и заключается сила человеческой проницательности, чтоб уметь отличать даже там, где отличить трудно!), а словоохотливый беллетрист подходит к лабиринту и, не рассуждая, вследствие чего он явился, просто-напросто говорит: вот он ваш женский вопрос — распущенность! И так как это предмет подходящий, то начинает обливать читателя целым ливнем помоев, в которых и замыкает всю сущность женского вопроса.

Третий подобного же рода вопрос — о народном образовании. На наших глазах он пошел довольно бойко и выразился учреждением разнообразных школ, в которых принимала участие и частная инициатива. Но тут вышла запутанность самого уморительного свойства, а именно: показалось странным, что́ в школах учат. Тотчас же вопрос осложнился определениями: что такое школа? какое ее назначение? и в то же время уядовитился всякого рода подозрениями насчет разнузданности, распущенности и даже революционной пропаганды. Ванька, рассуждающий о том, что земля кругла, показался смешон; Ванька, изъявляющий претензию, чтоб с ним были *на вы,* показался дерзок. Кроме того, так как Ванька не мог же в течение одной минуты проникнуться всею мудростью, которая наполняла головы старшей братии, то весьма естественно, что он на каждом шагу делал промахи. Выходили замечательные qui pro quo, и словоохотливые беллетристы воспользовались ими, чтобы убедить публику в прирожденном тупоумии Ванек и в ненужности для них учения. Вот оно, ваше народное образование! — говорили они,— только народ развратили да научили его впрямь ⟨вкривь⟩ и вкось обо всем болтать!

Ту же участь испытал и еще вопрос — рабочий. Нет нужды, что жизнь каждую минуту выдвигает его вперед — словоохотливые беллетристы видят в нем лишь смуту, затею неизвестно чьей прихотливой фантазии, и согласно с этим ставят на первый план подстрекательство и революционные интриги...

И таким образом, с невозмутимым легкомыслием устраняются все вопросы, на разрешении которых упорно настаивает сама жизнь. И что всего важнее, устраняется не только та или другая попытка разрешения, но самое право на попытки подвергается презрению и поруганию...

Среди мрачных продуктов извращенной человеческой мысли, отождествляющей прогресс с умопомрачением, тем с

большим удовольствием останавливается читатель на художественном произведении, которое не следует общепризнанной ругательной традиции, но рассматривает вопросы, занимающие в данную минуту общество, просто как вопросы, предлагаемые самою жизнью. Тип человека, переносящего арену своей деятельности из сферы домашней в сферу общественности, конечно, не нов и у нас благодаря тому, что расширение арены человеческой деятельности, хотя и не пользуется фактическим признанием, в принципе все-таки не подлежит спору; но ново то обстоятельство, что художник, выводя своего героя на эту более широкую арену, не ставит ему подножек от своего лица, не огорошивает на каждом шагу вопросом: «Дурак! куда ты лезешь?» и не говорит в упор: «Не твое дело!»

К числу таких «новых» произведений, с полною добросовестностью относящихся к насущным вопросам современности, принадлежит рассматриваемый нами роман г. Омулевского. Писатель этот только что начинает свое литературное поприще, и хотя это, быть может, значительно помогает свободе его отношений к явлениям жизни, но вместе с тем это же самое доказывает, что существует известный разряд жизненных явлений, к которым неопытная рука может прикасаться деликатнее, нежели рука, искушенная многолетними и непрерывными щупаньями.

Нам скажут, быть может, что в романе г. Омулевского бросается в глаза очень большая доля книжности, что герои его романа, более чем нужно, походят друг на друга, что действие идет несколько вяло и т. д.,— и мы, конечно, вынуждены будем принять эти замечания к сведению. Но мы считаем при этом долгом обратить внимание читателя на одно обстоятельство, имеющее, по нашему мнению, при оценке произведения г. Омулевского существенное значение. Дело в том, что новые идеи, которых касается автор, входят в общий обиход очень туго, а еще туже проникают в самую жизнь, то есть достигают признания для себя. Это затруднение имеет тот непосредственный результат, что художественное воспроизведение практических проявлений этих идей невольным образом суживает свои границы и видит себя в невозможности воспользоваться всем разнообразием существующих форм. Женщину, ищущую для себя самостоятельного места на жизненном пире, изобразить, конечно, труднее, нежели женщину, обманывающую своего мужа и за всем тем живущую на его содержании. Относительно обманывающих женщин существует целая литература и, наконец, великое множество устных преданий, из которых можно вывести очень обстоятельную теорию и на

основании ее выкроить множество моделей, не лишенных жизненной правды. Напротив того, о женщине, ищущей самостоятельного положения, слухи пошли лишь недавно, и притом самая эта задача, вследствие своей неразработанности, представляется уличному пониманию в такой обстановке, которая с трудом удерживается в пределах опрятности. Поэтому ничего нет удивительного, что недостаток объективности восполняется в этом случае лиризмом и что этот последний даже занимает первый план. Тем не менее мы сочли бы себя вправе укорить г. Омулевского в недостатке столь крупном (хотя и вполне объяснимом), если б не видели с его стороны очень серьезных усилий освободиться от голословных разглагольствований и стать на дорогу образного воспроизведения жизни. Не проводя никаких параллелей, мы, по совести, можем сказать, что г. Омулевский в художественном отношении стоит далеко впереди тех более опытных беллетристов, которые идут с ним об руку в одном и том же честном литературном направлении, но в то же время не подают никаких надежд на освобождение от голословности.

В заключение, мы не можем без полнейшего сочувствия отнестись к следующим строкам почтенного автора, которые, по нашему мнению, в значительной мере объясняют существование в его романе тех слабых сторон, о которых мы сейчас говорили.

Вот эти строки:

Как неоттаявшая почва мешает зреть брошенным в нее семенам, как не могут отливать всеми красками солнца подснежные цветы,— так точно задерживаются рост и краски художественного произведения суровым дыханием нашей северной непогоды. Что было возможно, однако ж, то сделано нами, и да не поставится никому в укоризну посильный труд. Если в нашем первом опыте ты останешься недоволен бледностью интриги, чуждой той завлекательной формы, к какой приучили тебя более даровитые возделыватели отечественной мысли; если его завязка покажется тебе однообразной и скучной, или несколько туманной, а развязка — совершенно ничтожной,— то и в этом не вполне виноват один автор. Не до блестящих интриг теперь нам с тобой, читатель, когда безвозвратно миновала золотая пора сказок и жизнь предъявляет на каждом шагу свои настоятельные нужды. Наступает нечто лучшее,— лучшая и завязка требуется для романа; за развязку же никто не может поручиться тебе в наше переходное, обильное всякими недоразумениями время. В одном только принимаем мы на себя полную ответственность: не Светлов будет виноват, если эта личность не заслужит твоей серьезной симпатии; считай тогда просто, что у автора — не хватило пороху. Глубокое убеждение подсказывает пишущему эти строки, что во сто раз честнее ему самому провалиться перед публикой, нежели невежественно уронить в ее глазах ту либо другую, восходящую на общественном горизонте, силу, когда эта сила, хотя бы даже и в своих заблуждениях, неизменно направлена к благу и преуспеянию родины.

А теперь, при расставаньи,— позволь, в свою очередь, и автору спро-

сить у тебя: да пришло ли у нас еще, полно, то желанное время, когда деятельность личности, подобной Светлову, может быть всецело выведена перед твоими глазами? Возблагодарим небеса и за то, если перед тобой, как бы еще в утреннем тумане, уже скользит иногда ее далеко не окрепшее начало. Мы не скажем, что у нас невозможна подобная деятельность; но где — укажи нам — та широкая общественная арена, на которой она могла бы показать свои действительные силы, борясь открыто, лицом к лицу, с своими исконными врагами — тьмой и невежеством? Только еще в далекой радужной перспективе носится перед нами такая борьба... За неимением ее Светлов ведет иную: это борьба пролетария в подземных каменноугольных копях,— борьба тяжелая и неблагодарная, иногда безнадежная, но чаще всего — опасная. Долго ли обрушиться сводам этих извилистых коридоров, прорытых в земляных глыбах? Долго ли раздавить им упорного труженика, с одной только киркой в руке неутомимо прокладывающего в этих грубых пластах дорогу будущему торжеству идеи, на благоденствие грядущих поколений?

С этим, конечно, нельзя не согласиться.

РУССКИЕ ДЕМОКРАТЫ. Роман в двух частях Н Витнякова. СПб. 1871 г.

Может ли сыроварение служить предметом романа? — вот вопрос, который естественно возникает при чтении романа г. Витнякова. Как ни странен кажется этот вопрос с первого взгляда, но если отнестись к нему внимательно, то ответ придется дать утвердительный. Да, сыроварение может быть точно так же источником радостей, горестей и всевозможных жизненных перипетий, как и всякая другая отрасль человеческой деятельности, как государственная служба, например. Что в этой последней заключается неисчерпаемый источник для всевозможных завязок и развязок — это факт уже доказанный. Чиновник зазевался, не встал с надлежащею поспешностью при входе начальника, не приветствовал его с тою почтительностью, которая завещана практикою,— вот уже готовое зерно для целой драмы. Начальник строг, но справедлив; он требует, чтоб на лицах подчиненных чиновников выражалась, при входе его, почтительная радость, требует этого не ради удовлетворения своего самолюбия, а ради принципа. N зазевался и не удовлетворил этому принципу... драма начинается. Затем, посмотрите, сколько может быть здесь осложнений! В это самое время, когда чиновник зазевался, он собирался жениться на молодой и достойной девице; родители девицы охотно соглашались на этот брак, но соглашались все-таки потому, что имели в виду занимаемое чиновником место столоначальника. Но гнев начальника разбивает мечты в прах. Оказывается, что чиновник, кроме сыроварения или

писания отношений, предписаний и рапортов, ничего не знает и делать не может. Он приходит к родителям, объявляет о своем горе и за всем тем упорствует в намерении жениться, изъявляя надежду, что бог даст, как-нибудь и т. д. Но родители о «как-нибудь» и слышать не хотят, ибо небезосновательно подозревают, что это «как-нибудь» заключает в себе не что иное, как посягательство на их карман. Драма осложняется еще больше, потому что образованная и молодая девица исповедует убеждения, совершенно противоположные тем, которые исповедуют строгие, но умудренные опытом родители. Она вместе с женихом говорит: «Мы молоды, мы сильны», и т. д., а отсюда до «бог даст» и «как-нибудь» — рукой подать. Происходит ряд бурных и возмутительных сцен, в промежутке которых уволенный от службы чиновник делает образованную девицу матерью и под рукою предпринимает изнурительное путешествие по департаментам в поисках за местом. Но тут драма осложняется еще более. Является он, например, в департамент дивидендов и раздач — его спрашивают: где вы прежде служили? Он отвечает: в департаменте недоумений и оговорок. Зачем оставили службу? — Уволен за непоспешное приветствование начальника. Пауза. Затем отказ. Драма осложняется еще более, потому что чиновник износил свои штаны, а образованная девица с часу на час ждет, что увлечение ее откроется. Это кульминантная точка, далее которой драматический интерес не идет. Затем, говоря языком поваренных книг, можно поступить по вкусу, то есть или определить чиновника начальником отделения в департамент отказов и удовлетворений и окончить драму общим благополучием, или же заставить героев утопиться в Неве. И после того, как все это будет сделано и «плод любви преступной» будет сдан в воспитательный дом, издать драму или роман под названием:

ЗАЗЕВАЛСЯ!

или

ОШИБКИ МОЛОДОСТИ

Драма в « » действиях, или роман в « » частях. Соч. Очевидца

Но если все это можно проделать по поводу государственной службы, то непонятно, почему те же самые комбинации не могут быть допущены по поводу сыроварения. Ремесло сыроварения тоже может быть источником и радостей и бед. Удачный выход сыра — и человек счастлив, неудачный — и человек погиб. Затем: 1) образованных девиц, сочувствующих сыроварению, точно так же много, как и таковых же, сочувствующих

деятельности столоначальника; 2) умудренных опытностью родителей — тоже непочатый край; 3) департаментов по части сыроварения едва ли даже не больше, нежели департаментов по части отказов и удовлетворений. А коль скоро существуют налицо все элементы для драмы, то несомненно, что может существовать и самая сыроварная драма.

Такую именно драму представил нам г. Витняков, и хотя мы не считаем себя вправе признать его опыт совершенно удавшимся, но не встречаем никаких препятствий к продолжению подобных же опытов и по части винокурения, медоварения и пивоварения. Один недостаток нам кажется довольно капитальным в труде г. Витнякова, а именно тот, что все выходы сыра у Радужного (герой романа) слишком уже удачны. Кажется, что в жизни не всегда так бывает, а впрочем, мы и к тому не имеем ни малейших препятствий, чтобы успех следовал по пятам г. Радужного на всем протяжении его сыроварной карьеры.

И еще один очень важный недостаток — это до крайности безобразное издание романа, испещренного таким множеством опечаток, которому мы давно уже не видали примеров.

ПОВЕСТИ, РАССКАЗЫ И ДРАМАТИЧЕСКИЕ СОЧИНЕНИЯ Н. А ЛЕЙКИНА. 2 тома. СПб. 1871 *

Г-н Лейкин принадлежит к числу писателей, знакомство с которыми весьма полезно для лиц, желающих иметь правильное понятие о бытовой стороне русской жизни. Область наблюдений его не очень обширна (торговцы Апраксина двора и мелкое петербургское купечество); но в этой небольшой области он является полным хозяином, свидетельство которого не может возбудить ни малейших сомнений. В сочинениях, ныне им изданных, читатель не встретится ни с законченною драмою, ни с характерными типами, но познакомится с целою средой, обстановка которой схвачена очень живо и ясно. Это материал, имеющий скорее этнографическую, нежели беллетристическую ценность.

Среда, изображаемая г. Лейкиным, в высшей степени оригинальна. Все в ней своеобразно: и язык, и внешняя обстановка, и нравственные условия, и радости, и горести, и даже религия. Это языческий мир, лишенный своей первоначальной наивности и оставшийся при одних грубых верованиях в приметы, при одном паническом страхе перед стихийною силою. Страх — вот главный фон картины; затем следуют аксессуары: преемственное дранье, беспробудное пьянство и обделы-

ванне делишек с полным презрением ко всему, что напоминает о совестливости и правильности расчетов. Побоями начинается здесь жизнь и побоями же оканчивается; применение этого принципа разнообразится только тем, что в начале жизни побои принимаются, в конце — раздаются. В свободное от побоев время люди мошенничают, устраивают злостные банкротства, пьянствуют, читают сонники и молятся, то есть ставят пудовые свечи и льют чудовищные колокола. Как ни мало замысловата такая жизнь, но она осложняется одним весьма важным элементом: трепетом перед таинственною угрозою, которую никто из этих подневольных людей уяснить себе не может. Отсюда целый ряд эмпирических попыток оградить себя от действия этой угрозы,— попыток, разрешающихся тем, что случайные и бессвязные внешние признаки получают силу незыблемого закона и уважаются тем охотнее, что поклонение ему не требует ни пудовых свечей, ни чудовищных колоколов. Тем не менее выполнение всех отыскиваемых таким путем примет требует самой настойчивой точности. Надобно знать, когда следует употребить наговоренный пояс, в каких случаях полезно навязать на левую щиколку кожу, содранную с угря, в каких болезнях приносит облегчение галка, приколоченная за крылья к подворотне дома, и т. п. Это целый кодекс, имеющий в виду обеспечить жизнь и все-таки не обеспечивающий ее, потому что кодексу этому нет конца, и сегодняшние случайные открытия могут быть опровергнуты завтрашними, не менее случайными открытиями. Понятно, что вся эта сложная процедура может иметь место только в такой среде, которая только по наружности кажется деловою, в действительности же изнемогает под бременем праздности и невежественности.

И эта нравственная и умственная Патагония существует не где-нибудь в Обояни или Наровчате, а в столичном городе С.-Петербурге. Центр ее составляют: Апраксин двор и Ямская; но нельзя поручиться, чтобы в менее плотном виде она не была разлита и в других кварталах. Этот факт очень прискорбен, но делается еще более прискорбным вследствие одного обстоятельства, которое значительно осложняет его.

Не надо забывать, что все эти язычники, льющие колокола и верующие в прибитую к подворотне галку, не просто грубые люди, похожие более на зверей, нежели на людей. Нет, это так называемая каменная стена. Если бы эти люди представляли собой стоящий особняком общественный нарост, не имеющий органической связи с остальным обществом, можно было бы пожалеть о них; но это совсем не особняк, а

оплот, относительно которого наростом (и даже вредным, подлежащим преследованию) считается все, что не подходит к этому типу. Мы находимся еще в том периоде умственного развития, когда правило: чем неразвитее человек, тем он надежнее — сохраняет все свое подавляющее значение. Это убеждение носится в воздухе, туманит все головы и даже проникает в сердца самих патагонцев. Они совсем не чувствуют себя подонками и отребьем общества; напротив того, вполне сознают, что сила на их стороне. Они вполне убеждены, что мысль есть единственный и самый злой враг общества и что бессмыслие есть его ограда. И убеждение это делается тем непоколебимее, что на каждом шагу оно встречает себе практические подтверждения. Человек, от зари до зари обсчитывающий и обмеривающий, потом до безобразия напивающийся и в пьяном виде отходящий ко сну — вот идеал благонадежного гражданина, который и до сих пор не перестает господствовать в уличных понятиях. Нужды нет, что эти люди воруют самым наглым образом — они краеугольный камень собственности; нужды нет, что они верят в наговоренные пояса — они краеугольный камень религии; нужды нет, что семейная жизнь их есть не что иное, как сплошной разврат — они краеугольный камень семейства; нужды нет, что своими действиями они непрерывно подрывают основы общества — в них, и в них одних усматривается краеугольный камень общественного спокойствия. Собрание всех этих краеугольных камней можно видеть в столичном городе С.-Петербурге, на Апраксином дворе. И они ведут себя с полным сознанием своей краеугольности, ибо и отцам, и дедам их исстари было натолковано: вы столпы! Недаром же купец Суриков (в пьесе г. Лейкина «Ряженые») говорит: «А мы так и без арифметики прожили; слава богу, деньги счесть можем». Он знает, что он краеугольный камень и что в этом чине ему не только без арифметики, но и совсем без царя в голове прожить можно.

Стало быть, патагонцы наши далеко не беззащитные сироты, какими представляют их себе сентиментальничающие народолюбцы, но люди очень зубастые и опасные. Они наполняются ненавистью точно так же легко, как и сивухой, и притом ненавистью, всегда направленною односторонне. Всякая попытка к выходу из состояния бессознательности преследуется ими и прямо, и косвенно: прямо, когда лицо, предпринимающее попытку, находится под руками; косвенно, когда оно находится вне непосредственного влияния патагонцев. Поэтому не только нельзя относиться к патагонцам с сочувствием, но нет даже надобности отыскивать точку, на которой

можно было бы примириться с ними. Если допустить, что это люди, находящиеся под гнетом истории, то надо допустить, что и они, в свою очередь, гнетут историю, которая, в своих темных чертах, есть не что иное, как дело рук патагонцев. Даже добрые качества, которыми они, как люди, конечно, обладать могут, не внушают ни малейшей симпатии, ибо они составляют лишь индивидуальные качества, инстинктивные и не освещенные разумом, до которых никому нет дела. Это — подневольная масса в самом обширном смысле этого слова, масса, мечущаяся из стороны в сторону и не отдающая себе ни малейшего отчета в этих панических метаниях.

Порицательное отношение к подобной действительности может ли быть названо глумленьем над нею? Может ли, например, г. Лейкин быть привлечен к ответственности за то, что апраксинский торговец является у нас в образе купца Шибалова, а не Перикла? Вопрос этот в недавнее время был разрешен одним неизвестным критиком утвердительно («Вестник Европы» в статье «Историческая сатира»). Критик сочинил даже по этому поводу особенную теорию «юмора», которая делает ему честь, как человеку, дошедшему собственным умом до некоторых общих соображений, но которая едва ли будет кем-нибудь принята к сведению. Следуя этой теории, «юмор» непосредственно вытекает из христианского изречения: «Придите ко мне все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас», и значение его состоит в том, чтобы, «не жертвуя малым великому, великое низводить до малого, а малое возвышать до великого». А отсюда якобы возникают два непременных правила, которые юморист обязывается принять к исполнению: во-первых, великодушие, доброта и сострадание и, во-вторых, сочувствие во что бы то ни стало к тому, что̀ осуществляет собой то малое, которое следует возвышать до великого.

Как ни замечательна эта теория, но верить ей ни под каким видом не следует, ибо она основана на двух очень крупных недоразумениях. Во-первых, критик не различил исторического народа от народа, как воплотителя идеи демократизма. Между тем различие это весьма существенно. Первый, то есть исторический народ, всегда и везде оценивается и приобретает сочувствие по мере дел своих; стало быть, ежели он производит героев, подобных тем, каких изображает г. Лейкин, то о сочувствии ему не может быть и речи. Хороши обремененные и труждающиеся, которые всякую попытку в смысле сознательности считают чуть не посягательством на общественное спокойствие! Попробуйте-ка простереть им объятия, и вы наверное убедитесь, что, вместо лобзания, они произведут

укушение — и ничего больше. Что же касается до «народа», рассматриваемого во втором смысле, то ему действительно не сочувствовать нельзя, но не потому, что он представляет нечто «малое», возбуждающее сострадание, а потому, напротив, что в нем воплощается безгранично великое. В этом «народе» замыкается начало и конец всякой индивидуальной деятельности; следовательно, несочувствие к нему, исходящее от отдельного индивидуума, равносильно несочувствию самому себе.

Во-вторых, искусство, точно так же как и наука, преследует одну цель: истину, а следовательно, оценивает жизненные явления единственно по внутренней их стоимости. Если б было иначе, если б к оценке примешивались великодушие и сострадание, то произошло бы нечто очень оригинальное. С одной стороны, читатель не знал бы, что̀ в начертанной художником картине действительно верно и что̀ смягчено, скрыто или прибавлено под влиянием сострадания. С другой стороны, читатель, подкупленный художником, мог бы в самом деле признать за краеугольные камни такие личности, которые в действительности не только ничего не подпирают, но все подтачивают.

Мы помним картины из времен крепостного права, написанные à la Dickens. Как там казалось тепло, светло, уютно, гостеприимно и благодушно! а какая, на самом деле, была у этого благодушия ужасная подкладка!

Но и этого еще мало. Изложенная выше теория юмора не только фальшива, но сама содержит в себе *глумление,* горшее всех глумлений. Трудно себе представить более низменное положение, нежели то, которое здесь отводится народу и относительно которого никакого иного приема не допускается, кроме великодушия и сострадания. Представьте себе на практике эту гимнастику низведения и возвышения, и вы убедитесь, что тут идет речь уже не о временно-великих и временно-малых, какими вообще являются люди в истории, но о консолидировании сих величин навсегда. Это противно даже тому христианскому учению, на которое ссылается критик и которое вразумительно объявляет, что все люди братья. Но это нужно критику, потому что в противном случае не будет юмора, некого будет ни возвышать, ни низводить...

Обращаясь от изложенной выше теории к разбираемому нами автору, мы можем сказать г. Лейкину: да не смущается сердце его. Пусть он имеет в виду одну истину, и результат этой истины будет гораздо плодотворнее, нежели всевозможные гимнастические упражнения с низведениями и возвышениями.

ЦЫГАНЕ. Роман в трех частях. Соч. В Клюшникова. СПб. 1871

Роман этот написан совершенно без всякой мысли (принимая это последнее слово в смысле миросозерцания или тенденции). Это очень несложная история троеженца, чтение которой может возбудить только вопрос: зачем она написана? Здесь нет налицо даже психологического анализа, ибо автор так поставил своего героя, что он и для психологических разъяснений никакого повода не дает. Этот герой — человек инстинкта, человек, до такой степени находящийся под гнетом своего темперамента, до того подавленный им, что не только не может, но и не имеет надобности отдавать себе отчет в своих действиях. Хотя же художественное воспроизведение людей, изнемогающих под игом темперамента, конечно, не беспримерно в истории литератур, но никогда подобного рода личности не являлись еще в той безжизненной и пошлой наготе, в какой изобразил нам своего героя г. Клюшников. И Дон-Жуан, и Фальстаф, и развратная леди, влюбленная в Гуинплена (герой романа «L'homme qui rit»), и Ноздрев — все это люди темперамента, но за их похотливостью, плотоядностью, гнетущим инстинктом самосохранения, лганьем и проч. виднеется целое психологическое построение, объясняющее эти качества. Похотливость Дон-Жуана, например, находит себе подкладку не в одном темпераменте, но и в бедности окружающего его жизненного строя, в пустоте среды, не дающей деятельности человека иной пищи, кроме легкого покорения женских сердец; похотливость любовницы Гуинплена тоже объясняется пресыщенностью, развратившею вкус, и тою проклятою жизненною обстановкою, которая с колыбели втягивает в себя человека и с ужасающей вкрадчивостью извращает все его инстинкты. Поставленные в такие условия, эти типы могут и интересовать читателя, и возбуждать в нем участие, потому что перед его глазами развертывается не голая реляция о похотливых похождениях того или другого героя, но и разъяснение всего строя, направившего темперамент именно в эту, а не в иную сторону. Но в романе г. Клюшникова никаких подобных разъяснений и следа нет. Его герой — петух, и ничего больше. Спрашивается, в какой мере может интересовать история петуха, рассказанная на 250 страницах довольно мелкой печати?

По-видимому, это исключение мысли допущено г. Клюшниковым не без намерения. Лично г. Клюшников — писатель несомненно мыслящий, но, подобно Сократу, пришедшему к убеждению, что он знает только то, что он ничего не знает, наш

автор может сказать о себе, что он мыслил только для того, чтоб прийти к убеждению, что мыслить не следует. Мы помним его роман «Марево», который в свое время читался, но читался именно потому, что в нем была *мысль*. Коли хотите, это была не настоящая мысль, а только огрызок мысли, но все-таки мысли, а не просто вожделения. Мысль этого романа заключается в следующем: мыслить не надобно, ибо мышление производит беспорядок и смуту. Каким горьким процессом г. Клюшников домыслился до этой мысли, это до нас не касается, но он провел ее через весь роман весьма упорно и даже не задумался сообщить ей характер тенденции. «Мышление вредно» — согласитесь, что в этом афоризме заключено целое миросозерцание, и не утопическое какое-нибудь миросозерцание, вроде тех, построению которых любят предаваться какие-нибудь «представители собственной разгоряченной фантазии», но весьма конкретное, к выполнению которого на практике не может встретиться никаких препятствий. Но этот опыт тенденциозности был первым и последним опытом г. Клюшникова, и в этом смысле на «Марево» следует смотреть не только как на предостережение русской читающей публике, но и как на предостережение автора самому себе. С тех пор г. Клюшников действительно уже не мыслит, то есть творит без всякого участия мысли. Он написал два романа, в которых не отыщется и следа мысли; мало того, он редактирует целый журнал без мысли и в этом журнале предлагает премию за лучшую повесть, в которой совсем не будет мысли. Можно было бы подумать, что он имел при этом в виду именно «Цыган», если бы этот роман не был напечатан совсем в другом журнале, который премий не дает, но без премий всякую бессмыслицу помещает с удовольствием.

Теория обуздания мысли у нас никогда не была новою, но в последнее время она сделалась чем-то вроде повальной болезни. Беспрестанно приходится слышать выражения вроде «анархия мысли», «шаблонный либерализм» и т. д., которые в переводе на вразумительный язык означают: мысль пошла слишком далеко, надо обуздать ее. Г-н Клюшников тот же афоризм проповедует под именем свободы искусства.

Даже в своем последнем, совершенно свободном от мысли, романе он, устами героя Зарницына, выражается так: «Направление заело все... Направление! Проклятие этому слову! Пусть удовольствуются направлением в политике, но чтобы искусство, свободное, как вихрь, или, как он, в природе подчиненное общей гармонии,— чистое, нравственное, как улыбка девственницы, склоняло свою голову перед каким-то направлением?!» и т. д. Он забывает, что он первый погрешил против

свободы искусства и что его «Марево» есть не что иное, как монумент, воздвигнутый тому самому «Направлению», которому он ныне посылает свои проклятия. Благодаря «направлению», «Марево» остается единственным произведением г. Клюшникова, которое прочтено публикой, тогда как другие, более усовершенствованные его произведения вполне игнорируются ею. И хотя «направление», высказывавшееся в «Мареве», имело характер административно-полицейский, но все-таки его нельзя назвать иначе как направлением, то есть таким словом, которое влечет за собой представление об участии в процессе творчества мысли или миросозерцания.

В чем же, однако ж, заключается эта теория свободы искусства? что дает она взамен того «проклятого» направления, против которого она так восстает? Если мы ограничимся разъяснениями Зарницына, что направление потому только несовместно с искусством, что «искусство вихрь», или потому, что оно «нравственно, как улыбка девственницы», то должны будем сознаться, что все эти определения не больше как бессмысленный набор слов. Искусство свободно, как вихрь; но кто же может сказать, что вихрь свободен, а не подчинен непреложным атмосферическим законам? Искусство нравственно, как улыбка девственницы, но кто же будет так смел, чтоб утверждать, что и «направление» не может быть нравственно, а улыбка девственницы, наоборот, не может быть совершенно безнравственною? Согласитесь, что все это галиматья, называемая цветами красноречия, от которых пора уж и отвыкать. Образность в некоторых случаях действительно помогает, но большею частью она вредит, ибо дает повод лгать и прикрывать ложь аналогиями, рассчитанными единственно на неразвитость читателя. Человек сравнивает искусство с вихрем и думает, что он бог весть как поразил этим сравнением, а выходит, что он только сказал нелепость.

Таким образом, сравнения приходится оставить в стороне и объяснить теорию свободы искусства, независимо от цветов красноречия, в самой ее сущности. Эта сущность заключается в отрицании направления, то есть миросозерцания, тенденции, мысли, как таких уз, которые, по мнению теории, ничего не влекут за собой, кроме стеснения. Может ли творить художник, не обладающий никаким миросозерцанием? Поборники свободы искусства не только отвечают на этот вопрос утвердительно, но даже полагают, что безразличное отношение к воспроизводимым явлениям есть наилучшее положение, о котором художник может мечтать. Мы тоже, с своей стороны, думаем, что это положение очень выгодное; но для того, чтобы

достигнуть его, по нашему мнению, необходимы два условия. Во-первых, чтобы художник исключил из области искусства целую категорию явлений умственного и нравственного мира, законности существования которых, однако ж, отрицать нельзя; и, во-вторых, чтобы он ограничил сферу искусства одними физическими отправлениями, то есть низвел уровень искусства до уровня того мира петухов (как, например, герой разбираемого романа, Зарницын) и других низших организмов, которые действительно живут одною бессознательною жизнью и, конечно, уже никакого миросозерцания иметь не могут. Что явления нравственного и умственного мира не могут подлежать воспроизведению человека, лишенного миросозерцания, это явствует уже из того, что, прежде чем воспроизводить такие явления, необходимо их понять и оценить, а это невозможно сделать без собственного миросозерцания. Нравы же и обычаи петухов действительно можно воспроизводить и без миросозерцания, потому что тут идет речь лишь о физических отправлениях, для воспроизведения которых достаточно одной способности копировать, с прибавкой самой мелкой, низменной наблюдательности. Образчики подобного низменного творчества представлял нам лет десять тому назад г. Геислер, автор «Похождений кота Василия Иваныча», а теперь представляет г. Клюшников, автор «Цыган». Г-на Генслера никто уже не читает; г. Клюшникова, вероятно, тоже перестанут читать в самом скором времени. А это будет жалко, потому что не откажись почтенный автор от направления, он, быть может, не только не уступил бы г. Стебницкому, но и сокрушил бы выю его.

В добавление ко всему сказанному выше, сама внешняя постройка романа г. Клюшникова ниже всякой критики. Это какая-то бессвязная агломерация образов без лиц, собранных в одну кучу без всякой цели, кроме одной: дать герою — Зарницыну повод проявлять пылкость своего темперамента. Даже зрелище мух, бродящих по столу,— и то интереснее, потому что тут можно догадываться, что муха не напрасно бродит, а чего-нибудь ищет. В «Цыганах» же и для подобного рода догадок повода не имеется.

ТЕМНОЕ ДЕЛО. Народная драма в 5-ти действиях Дмитрия Лобанова. СПб. 1871

В драме так уж исстари повелось, что ежели сильный мира подвергается насильственному устранению из жизни, то совершивший преступление не только не получает ожидаемых

от него выгод, но создает для себя положение настолько нестерпимое, что гораздо лучше во всем сознаться и подвергнуть себя заслуженной каре, нежели продолжать жить с страшным укором на совести. Преступник не ест, не спит, беспрерывно моет руки и никак не может отмыть кровавое пятно и т. д. Очевидно, что таким образом жить невозможно, но в этой-то невозможности жить и является ipso facto[1] то естественное разрешение драмы, к которому стремится драматург. Когда человек не спит и не ест, когда он постоянно подвергается припадкам лунатизма, то весьма натурально, что он непременно выболтает свою тайну совсем не тому, кому о том ведать надлежит. А как скоро это случилось, то перспектива, ожидающая преступника, обозначается уже сразу: узнавший тайну открывает ее прокурорскому надзору (ибо он знает, что если не донесет, то и ему поблажки не будет), а от прокурорского надзора до скамьи подсудимых — рукой подать! И вот, суд идет, свидетели путаются, прокурор гремит, защитник почтительно докладывает, что сознание, совершенное в припадке лунатизма, не может считаться уликою... Но преступник, чувствуя, что совесть донимает его окончательно, уже сам отказывается от помощи, подаваемой ему защитой. Он с укором смотрит на своего защитника, который намеревался затмить истину, и взволнованным голосом начинает рассказывать «печальную повесть своего преступления», причем в особенности старается поставить на вид свои угрызения. Тогда суд постановляет приговор, по объявлении которого судья произносит краткую речь, заключающуюся словами: «Подсудимый! преступление, которое вы совершили, ужасно, и кара, которую вы понесете за него, вполне заслужена; но кара эта примирит вас с вашею совестью. Ступайте на каторгу и помните, что совершать преступления в благоустроенном обществе не дозволяется!» Все довольны: прокурор доволен потому, что приписывает добровольное сознание пламенности своего обвинения; суд — потому, что приписывает тот же результат торжественности заседания; публика — потому, что приписывает его участию в суде общественного мнения, сам подсудимый — потому, что чувствует, что совесть вдруг перестала его мучить, и сверх того тайно надеется, что его, за добровольное сознание, не только не ушлют на каторгу, но произведут в следующий чин. Один защитник сконфужен и ничего себе не приписывает.

Происходит ли в преступнике подобный психологический процесс в тех случаях, когда из жизни устраняется лицо менее

[1] *в силу самого факта.*

сильное, как, например, мужик,— об этом драма умалчивает. Напротив того, она показывает нам разбойников, которые на своем веку сгубили многие десятки душ и не формализировались своим ремеслом до тех пор, покуда случайно не попадался под руку сильный мира, и уже тогда начинались собственно угрызения. Самый суд над преступниками этого рода бывает до крайности запутан. Преступник не только не сознается, но пускает в ход бесчисленное количество alibi, приводит свидетелей своей добродетельной жизни и т. п. Прокурору нельзя похвастаться пламенностью своего обвинения, суду — подавляющим впечатлением торжественности заседания, публике — давлением на совесть подсудимого общественного мнения. Один защитник смотрит гордо и светло и все приписывает себе. Отчего это происходит? Отчего совесть, столь чувствительная относительно сильных мира, вдруг делается равнодушною, когда идет речь о мужике? Оттого ли, что мужик находится вне пределов исторической жизни и значение его равняется значению мухи? На все эти вопросы не отвечает ни драма, ни жизнь.

Г-н Лобанов вполне последовал изложенной выше драматической традиции. Герои его «народной драмы» — Никита и Василиса Волохова совершили страшное и имевшее громадные последствия убийство, и потому весьма естественно, что совесть угрызает их. Никита с отчаяния идет в разбойники и губит несчетное количество людей, Василиса — следует за ним, моет себе руки «в ведре с водою» и никак не может отмыть их от крови (это наша русская леди Макбет, только на несколько ступеней ужаснее ее, потому что является на сцену в лохмотьях и с ведром). Но когда тот же Никита с своими сообщниками убивает сотни проезжих из среднего и подлого состояния людей, то он — ничего, даже бровью не поведет...

Таков первый вывод, который вытекает из драмы г. Лобанова. Второй вывод заключается в том, что наши русские разбойники являются в драме совсем не разбойниками, а, так сказать, столоначальниками разбойничьего стола, которые о том только и думают, как бы закончить свою карьеру и повести своих товарищей на царскую службу. По-видимому, они только с этою целью и поступают в разбойники. Это явствует из рассказа разбойника Соловья («Темное дело») о Ермаке; это же явствует и из поступков разбойника Волохова...

Такой взгляд на русское разбойничье дело, при всей его благонамеренности, кажется нам несколько преувеличенным.

ЗАМЕТКИ В ПОЕЗДКУ ВО ФРАНЦИЮ, С. ИТАЛИЮ, БЕЛЬГИЮ И ГОЛЛАНДИЮ. Н. И. Тарасенко-Отрешков. СПб. 1871

Какие ощущения должен испытывать русский человек за границею? зачем он туда едет? с каким образовательным запасом едет? — вот вопросы, которые невольно рождаются в уме читателя при виде книги, трактующей о впечатлениях, вынесенных из заграничного путешествия. И законность этих вопросов сделается вполне понятною, если мы припомним, что слова «за границей» до сих пор не утратили для нас несколько особенного, почти обаятельного значения.

Мы, русские, еще далеко не освободились от привычки отделять *свое* от *заграничного,* и притом отделять довольно резкою чертою. *У нас* свои порядки, свой жизненный строй, *там* — свои порядки, свой жизненный строй. Предположив даже, что, в крайних своих проявлениях, это различение своего от заграничного есть наследие прошлого, все-таки надо будет сознаться, что корень этого явления настолько глубок, что даже успехи настоящего не могут вполне уничтожить его. Стало быть, действительно в заграничной жизни было нечто иное, и притом не только в смысле племенном или климатическом, но и в смысле общественном. И надо думать, что это иное свидетельствовало не во вред заграничной жизни, ибо русский человек стремился за границу совсем не для того только, чтобы людей посмотреть и себя показать, а прежде всего для того, чтобы вкусить иных порядков, ощутить себя в иных жизненных условиях. Припомним заметки и письма путешественников сороковых годов (например, автора «Писем из Avenue Marigny»), и мы убедимся, что ощущение, испытываемое русским человеком за границей, было преимущественно ощущением человека, сознающего себя свободным от школьной ферулы. Он чувствовал себя развязнее, он сознавал себя вправе свободно мыслить и говорить и, весьма натурально, старался воспользоваться этим правом возможно широкой рукою, даже под опасением сделаться не в меру болтливым. Дома ему не было предоставлено ничего, кроме права быть мудрым, и потому за границей он прежде всего стремился воспользоваться правом поступать таким образом, как бы кодекс домашней мудрости был совершенно для него необязателен. Это была своего рода рекреация, которою человек сороковых годов пользовался, быть может, не всегда основательно, но в продолжение которой он несомненно чувствовал себя благополучным. Даже письма г. Погодина не вполне свободны от этого проказливого чувства, хотя мысль о мо-

сковских кулебяках, по-видимому, ни на минуту не покидала почтенного автора. Пожить хоть год иною жизнью, а после, пожалуй, и опять сделаться мудрым до новой рекреации — вот чувство, которое говорит во всех сочинениях сороковых годов о заграничной жизни, и надо сказать правду, что чувство это производит на читателя впечатление не столько поучительного свойства, сколько дразнящего и вызывающего.

Таково предание прошлого. Разумно ли оно или неразумно — это вопрос иной, но оно утвердилось так прочно, что даже с учреждением в России новых порядков подверглось лишь весьма ничтожному изменению. Реформы следуют за реформами, а русский человек по-прежнему с ликующим чувством устремляется за границу и по-прежнему продолжает дразнить себя усладами тамошних порядков и жизни. Всем памятны появившиеся в начале сороковых годов статьи о Броках и Бруках, о китайских ассигнациях и проч.,— статьи, не отличавшиеся особенным глубокомыслием и не имевшие никакой другой цели, кроме дразнения. Не далее как в прошлом году один русский путешественник-публицист не нашел лучшего способа выразить впечатление, произведенное на него заграничными порядками, как взойти на президентскую кафедру прусского парламента и с ее высоты произнести речь, сказанную Сквозником-Дмухановским чиновникам уездного города, посещенного Хлестаковым. И это было очень метко. Даже растленная Франция Наполеона III — и та казалась чем-то вроде эдема, и не только со стороны свободы разврата, но и со стороны свободы мысли и действия. Стало быть, причина, заставляющая смотреть на заграничный быт исключительно с дразнящей точки зрения, еще не упразднилась; стало быть, и до сих пор не утратился повод оттенять *свое* от *заграничного,* и притом оттенять таким образом, что *свое* от этого нимало не выигрывает. А из этого можно заключить, что исполинские шаги, делаемые нами на пути преуспеяния, не лишены возможности сделаться еще более исполинскими.

Зачем ездил и продолжает ездить русский человек за границу? Ответ на этот вопрос, конечно, определяется личными наклонностями путешественников, но, во всяком случае, можно сказать без ошибки, что каждый из них, каковы бы ни были его наклонности, льстил и льстит себя надеждой найти им больше простора за границей, нежели у себя дома. Нет спора, что существуют наклонности весьма неполезные, и надо сознаться, что при известных условиях общественности таковые составляют большинство. Как ни разнообразны домашние

средства мудрого препровождения времени (умываться, одеваться, чистить ногти, делать визиты, завтракать, обедать, играть в карты, спать), но человеку, постоянно обязанному быть мудрым, самая мудрость скоро надоедает. Отсюда праздность, отвращение от труда, а затем и целая вереница низменного свойства наклонностей, в основании которых лежит исключительное стремление насладиться легко достающимися благами жизни. Человек, удивляющий дома степенностью своего поведения, приезжая в Париж, бежит в Мабиль и знакомится с ресторанами и домами терпимости. Приезжая в Италию, он делает на всю жизнь запас скоромных картин и статуэток. Несомненно, что такого рода любознательность не заслуживает особенных похвал, но если взглянуть ближе на ее результаты, то даже и здесь можно найти стороны, до известной степени примиряющие. Во-первых, гадливое чувство, возбуждаемое деяниями праздных людей за границей, в значительной степени умеряется тем соображением, что круг, в котором эти деяния происходят, ограничен и безвестен. Одни умные дела громки и влиятельны; глупые дела не идут дальше police correctionelle. Во-вторых, какова бы ни была пустота гулящего шалопая, даже и он, при всей беззаветности своего легкомыслия, не может оставаться вполне недоступным для некоторых общих впечатлений. И на этот раз общее впечатление, всего вероятнее, будет такого рода: что порядки, не слишком стеснительные для человеческой личности, совсем не так неудобны, как о том повествуется в стране «мудрых». Быть может, этот общий вывод в данном случае прикрывает собой целый ряд дел несомненно пошлого свойства, но сам по себе он все-таки верен и может дать повод для достижения целей далеко не пошлых. А следовательно, как бы ни велика была низменность мотивов, заставляющих мудрого человека стремиться за границу (хотя бы для того только, чтобы наесться свежих устриц), результат этих стремлений, даже помимо его воли, будет скорее в пользу плюса, нежели в пользу минуса.

С каким образовательным запасом ездил и сдит русский человек за границу? — На это обыкновенно отвечают: с весьма малым. И действительно, если мы сделаем оговорку в пользу очень немногих исключений, то должны будем согласиться, что ответ этот справедлив. Один запас несомненно велик — это запас скуки, но с ним одним едва ли можно к чему-нибудь подступиться. Поэтому большинство мудрых людей наслаждается за границей лишь непосредственными, животненными благами и только наслаждения этой категории способно сознательно оценить. Большая доступность материаль-

ных удобств, отсутствие стесняющих формальностей, возможность безвозбранно говорить вздор (хотя бы и вольнодумный) — вот блага, которые вполне по плечу людям, закоренелым в мудрости. Утверждают, что недостаток образовательного запаса кладет на человека неизгладимую печать, что он лишает его чувства собственного достоинства, заставляет принижаться, увертываться, принимать на слово самые вздорные уверения и вообще играть очень жалкую роль. С этим, конечно, трудно не согласиться. Мы видим на каждом шагу, что человек, который у себя, среди мудрых, вольной рукой разбивал целые армии ямщиков, переехавши за Вержболово, делается ниже травы, тише воды и в каждом обер-кондукторе готов видеть высший организм. Что же, однако, из этого следует? То ли, что человек, не имеющий основательного запаса знаний, должен быть осужден навсегда оставаться дома? Нет, такое заключение было бы и опрометчиво, и жестоко, ибо оно осуждало бы человека на вечную мудрость, что и для неразвитого человека невыгодно и нестерпимо. Теперь он, по крайней мере, поймет выгоду шнельцугов [1] и ретурбилетов; [2] тогда он и этого блага лишен. А потому пусть всякий и имеющий запас, и не имеющий его — пусть все пользуются свободой передвижения, несмотря даже на то, что человек, обязанный, по случаю неимения запаса, на каждом шагу разевать рот, должен ощущать адскую неловкость. Самая унизительность этой обязанности должна непременно навести на мысль о ее ненормальности. А это уж результат весьма немаловажный, ибо как только человек убедился в ненормальности какого-нибудь явления, то он уже непременно что-нибудь да предпримет в смысле его устранения.

Таким образом, оказывается, что с какой бы точки зрения мы ни взглянули на существующее в нашем обществе стремление пользоваться *чужими* порядками, оно не может привести ни к каким другим последствиям, кроме добрых.

И даже в таком случае, когда результатом этого стремления будет книга, подобная изданной г. Тарасенко-Отрешковым.

Говоря по правде, сделанные нами выше замечания об отношениях русских людей к заграничным порядкам относятся к сочинению г. Тарасенко-Отрешкова лишь весьма отдаленным образом. Сочинение это только внешним образом дает повод к размышлениям, само же по себе ничего не доказывает и ни о чем ясного понятия не дает. Это простой сборник замечаний чисто личного свойства, по прочтении которых читатель

[1] скорых поездов.
[2] билет на проезд в оба конца.

остается совершенно с тем же запасом сведений, с которым он был и до прочтения. С какою целью ездил автор за границу — не видно; знаком ли он с историей посещаемых им стран, или, по крайней мере, с современным их положением — тоже тайна. Некоторые из его замечаний даже носят на себе характер несомненной странности. Таковы, например, вопрос автора: «разве ваше (французское) правительство не требует, чтобы народ исповедовался и причащался» (стр. 217), или нелепые суждения какого-то киевлянина о безнравственности домашних спектаклей, или, наконец, разделение Парижа, по степени нравственности, на четыре территории, с указанием, в каких кварталах нравственность процветает и в каких оказывается в упадке. Подобных странностей в книге очень много, но, спрашивается, нужны ли они для кого-нибудь?

Окончательное заключение, к которому, впрочем, без особенно строгой последовательности, приходит автор, состоит в том, что на долю Франции и Англии выпала нелегкая задача улучшения быта рабочих и что нам предстоит в близком будущем быть свидетелями процесса приведения этой задачи в исполнение. Вывод этот сам по себе был бы довольно банален, если б автор не прибавил к нему следующее: «Нам, русским, предстоит видеть это, как свидетелям, к которым прикосновение (таков *русский* язык, которым написана книга) отклонено благотворными, ныне совершающимися или совершившимися у нас преобразованиями государственного строя». С этим, разумеется, нельзя не согласиться, ибо хотя и уверяют некоторые легкомысленные люди, что те преобразования, которые ныне совершаются в России, на Западе Европы давно уж совершились, но очень может быть, что фраза «к которым прикосновение» и т. д. окажется истиною.

ЛЕСНАЯ ГЛУШЬ. Картины народного быта. С. Максимова. 2 тома. СПб. 1871

Существует довольно распространенное мнение, что современная русская беллетристика представляет ценность очень невеликую, и надо сознаться, что в этом мнении есть значительная доля правды. Отрывки, очерки, сцены, картинки — вот пища, которую предлагают читателю даже наиболее талантливые из наших беллетристов. О цельном, законченном создании, о всестороннем воспроизведении современности с ее борьбою и задачами нет и помину. Читатель обязывается удовлетворяться более или менее удачною разработкой частностей и затем, если желает, сам уже должен отыскивать связь между

этими частностями и сводить концы с концами. А если по временам и случается, что какой-нибудь самонадеянный белетрист решится окунуться в пучину романа или драмы, то решимость эта обыкновенно приводит к самым печальным последствиям. Или является беззастенчивое лганье, в котором самые лучшие стремления современности приносятся в жертву мамоне и недомыслию, или выводятся на сцену люди, непохожие на людей, произносятся речи, непохожие на речи, и воспроизводятся поступки, не имеющие характера поступков. В первом случае читатель присутствует при постыднейшей вакханалии, в которой яркость красок и развязное отношение к вещам и событиям служат заменой таланта; во втором — читатель с недоумением видит перед собой византийский иконостас, в котором нет ни одной не покоробленной доски, слышит гнусавое пение и делается свидетелем ни с чем не сообразных кружений, маханий и других того же сорта упражнений.

А между тем едва ли можно сказать, чтобы современная русская жизнь была совершенно обездолена относительно внутреннего содержания. Мы видели и видим целые массы людей, которые радуются, восторгаются, пламенеют и, с своей точки зрения, имеют полное основание восторгаться и пламенеть. Рядом с этими людьми мы видели и видим массы людей, угнетаемых страхом, снедаемых ненавистью и недоброжелательством и, конечно, считающих свои ненависти и опасения небезосновательными. Допустим, что по зрелом исследовании этих восторгов и этих ненавистей окажется, что они не более как плод недоразумения, но разве картина общества, находящегося под игом непрерывного недоразумения, сама по себе не есть любопытнейший предмет для художественных разъяснений? Напротив, нам кажется, что тут-то и обретается настоящая почва для общественной драмы, ибо в обществе, где недоразумение становится главным регулятором жизненных отношений, драматические положения должны вырастать, так сказать, на каждом шагу. В таком обществе люди, которых интересы совершенно тождественны, по недоразумению или из-за вздора, из-за брошенной кости, побивают друг друга; напротив того, люди, у которых, по ближайшем рассмотрении, не окажется ни одной общей цели, подают друг другу руки во имя каких-то общих интересов и даже изливают друг перед другом сердца. Отцы не понимают детей, друзья оказываются врагами, либералы впадают в консервативное остервенение, консерваторы эмансипируются и выказывают признаки резвости. И ежели подкладкой ко всей этой суматохе служит отсутствие сознательного отношения к вещам или же просто-на-

просто «пленной мысли раздраженье», то это нимало не вредит интересу картины, а, напротив, придает ей некоторую пикантность, ибо и «пленной мысли раздраженье» есть очень богатый предмет для художественного исследования. Представьте себе человека, который много лет думал, что он служит «святому» делу, который много лет пламенел, порывался и даже неистовствовал и который вдруг убеждается, что он все время служил совсем не делу, а выеденному яйцу,— какая должна закипеть в его душе драма при этом открытии? Или представьте себе кучку людей, которые соединились для какой-либо общественной цели (ну, хоть для сыроварен) и, как это обыкновенно водится, даже излили предварительно друг перед другом сердца, и вдруг оказывается, что они разговаривали совсем о разных предметах, что у них не только взгляды, но и души совсем разношерстные, что им не рука об руку следует идти, а взаимно ехидствовать и подстерегать,— какое интересное драматическое положение может возникнуть из этого открытия? А сколько характерных эпизодов могут представить, например, беспрерывное развитие хищничества и тот бездонный запас легкомыслия, хвастовства, наглости, самонадеянности, в котором сколько ни черпай, все ему скончания не будет. И все эти лжи, обманы, коварства, надежды, разочарованья — все это кишит вокруг нас, в том обществе, среди которого мы живем, а в литературе нашей все-таки нет даже признаков чего-нибудь похожего на общественный роман или общественную драму. Русские беллетристы или размениваются на мелочи, или же остаются на почве сороковых годов, то есть продолжают разработывать помещичьи любовные дела. Что сей сон означает? То ли, что русская земля оскудела беллетристическими талантами, или то, что разнообразие драматических элементов, несмотря на свою несомненность, подобно сказочному кладу, не дается нашим беллетристам в руки?

С первым предположением согласиться невозможно. Русская земля всегда во множестве производила «быстрых разумом Ньютонов» и даже на наших глазах явила доказательство своей производительности, опутав себя непроглядною сетью адвокатов, мировых судей, посредников, земских деятелей, концессионеров и других алчущих и жаждущих людей. Ужели страна, скрывающая в своих недрах столь несомненные богатства, бессильна произвести хоть одного благонадежного беллетриста? Или беллетристом быть труднее, нежели, например, деятелем по части внутренней политики, каковых мы, однако ж, видим целые пригоршни и притом весьма хорошего качества? Но в таком случае, почему же та самая страна, которая еще так недавно производила Тургеневых, Гончаро-

вых, Писемских, Григоровичей и т. д., в последнее время вдруг как бы встала в тупик?

Воля ваша, а тут что-нибудь да не так. Хоть и не весьма ободрительно, что на смену Тургеневу является г. Омулевский, на смену Гончарову — г. А. Михайлов и на смену Гоголю — г. Лейкин, но из этого было бы весьма неосновательно заключать, что творчество природы иссякло и что затем ничего уже не может быть, кроме светопреставления. Лучше спросим себя, вправе ли мы изумляться и огорчаться подобными заменами? вправе ли критика выводить какие-либо заключения о том, в какой степени виноваты современные русские беллетристы в относительной малоценности их произведений? вправе ли она находить бездарность там, где, собственно, ничего нет, кроме вполне добросовестной и правильной попытки отыскать для русской повести новую почву, попытки робкой и притом всячески затрудняемой?

Талант писателя-художника тогда только развивается и крепнет, когда его исследования встречают свободный доступ ко всем общественным сферам, ко всем вопросам, занимающим общество. Но этого еще мало: самый угол зрения его на исследуемые предметы должен быть изъят от какого бы то ни было давления. Диккенсы, Шпильгагены, Жорж Занды вводят за собой читателя всюду и притом не скрывают от него своих симпатий и антипатий. Никто не удивляется этому, никто не называет их за это ни нигилистами, ни попирателями авторитетов. Они свободны в своих воззрениях, свободны в своем творчестве, и потому всякий вправе требовать, чтобы воззрения их были проведены последовательно и чтобы творчество их было действительное, живое творчество, а не азбучное. Представьте себе, что Шпильгаген стеснился бы ввести читателя в резиденцию принца, а вместо того пригласил бы его на дачу титулярного советника — какой характер получила бы драма, рассказанная в романе «Вперед»? Может быть, он сумел бы и здесь справиться с своею задачей, но, во всяком случае, это была бы не та драма, которую он рассказал в романе «Вперед». Во всяком случае, это был бы не тот Шпильгаген, которого мы знаем, а может быть... г. Бажин, г. Омулевский... может быть, даже г. Засодимский! Но ежели относительно Шпильгагена даже предположение подобного рода должно показаться диким, то почему же оно не кажется диким относительно русских беллетристов? Почему русский беллетрист во что бы то ни стало должен извлечь драму из того стакана воды, в котором фаталистически заключена его творческая деятельность?

Нам возразят, быть может, что писали же романы Тургенев, Гончаров, Писемский, писали при условиях еще менее благо-

приятных, а романы выходили все-таки хорошие. Что романы названных писателей имеют известные и притом бесспорные достоинства — это никто не отрицает, но не надо забывать, что почва, на которой стоят эти романы, совсем иная, нежели та, на которую усиливается вступить современный косноязычный русский роман. Там на первом плане стояли вопросы психологические, здесь — вопросы общественные; там материал был готовый, разработанный целым рядом беллетристов-предшественников (за исключением, впрочем, материала, составляющего содержание «Записок охотника», но зато это и не роман, а ряд рассказов и очерков),— здесь ничего не выработано, не приготовлено, не объяснено. Разрабатывать по-прежнему помещичьи любовные дела сделалось немыслимым, да и читатель стал уже не тот. Он требует, чтоб ему подали земского деятеля, нигилиста, мирового судью, а пожалуй, даже и губернатора. А где их найти? как найти? под каким соусом подать?

Представьте себе, читатель, современного русского беллетриста, задавшегося задачею Гоголя: провести своего героя через все общественные слои (Гоголь так и умер, не выполнив этой задачи). Может ли он привести в исполнение свое намерение, и если может, то под какими условиями? — вот в чем весь вопрос. Вникните добросовестно в его сущность, обсудите его практическую обстановку и ответьте. Мы, с своей стороны, по крайней мере, вполне убеждены, что вы не только сознáете всю неуместность такого вопроса, но даже поспешите заменить его другим: можно ли допустить в русском беллетристе подобное дерзновенное намерение? можно ли вообразить себе такого русского литератора, которого постоянно не преследовала бы мысль: да кто же меня туда пустит? Спрашивается теперь: каким образом русский писатель приступит к созданию общественного романа, когда он на каждом шагу должен сдерживаться и фальшивить, когда он ежеминутно должен напоминать себе: туда не заглядывай, о том не моги говорить и т. д.

Но отвратим лицо наше от этого печального зрелища и обратимся к книге г. Максимова.

Г-н Максимов принадлежит к числу лучших наших этнографов-беллетристов, и изданное им ныне новое собрание очерков и рассказов служит несомненным тому доказательством. Драгоценнейшее свойство г. Максимова заключается в его близком знакомстве с народом и его материальною и духовною обстановкою. В этом смысле рассказы его должны быть настольною книгой для всех исследователей русской народности, наравне с трудами Даля, Мельникова, Якушкина и других.

НА РАСПУТЬИ. Роман в двух частях В. Г. Авсеенко. СПб. 1871

Самая трудная задача для беллетриста — это объяснить действия и поступки своих героев, и притом объяснить таким образом, чтобы читатель понял, что тому или другому действующему лицу действительно ничего другого не остается, как поступить именно таким образом, как оно в данном случае поступило. Так, например, ежели автор определяет своего героя в мировые посредники, то он обязывается устроить это таким образом, чтобы читатель не имел никаких сомнений насчет причин, побудивших героя поступить именно в мировые посредники, а не в секретари земского суда. Если его прельстило, например, посредническое жалованье, то следует объяснить, отчего значительное жалованье имело для него бóльшую притягательную силу, нежели жалованье маленькое: оттого ли, что герой жаден, оттого ли, что он обременен семейством, и т. д. Ежели его увлекала мода, то и тут следует вразумительно высказаться, почему мода могла увлечь героя: потому ли, что он глуп, потому ли, что он легкомыслен, потому ли, что он получил шалопайское воспитание, и т. д. Ежели, наконец, его увлекла идея общей пользы, которая может проистечь из посреднической деятельности, то и здесь отнюдь не должно скрывать, в чем заключается эта идея, ибо понятия о пользе могут быть разные: разумные и глупые, верные и ошибочные. Другой пример: ежели автор заставляет своего героя влюбиться, то он должен проследить весь процесс этой любви, начиная от ее зарождения и кончая ее апогеем. Что пленило героя в любимом предмете? на какой почве зародилась взаимная симпатия? была ли тут страсть действительная или фальшивая? и т. д. Все эти вопросы должны быть разрешены самым удовлетворительным, так сказать, наглядным образом, и садиться за писание романа, не задавши их себе, значит рисковать возбудить в читателе, вместо интереса, изумление; значит утруждать себя сочинением многих тысяч строк вместо того, чтобы ограничиться начертанием всего-навсего одной строки следующего содержания: «он был мировой посредник, и они любили друг друга».

Настоящие беллетристы все это понимают и потому поступают всегда таким образом, чтобы читатель действительно знал, зачем они взялись за перо и что хотят сказать. Они снабжают своего героя жизнеописанием, из которого можно видеть, почему его характер сложился так, а не иначе; они устроивают около него обстановку, которая так или иначе влияет на его сложившийся характер и вызывает с его стороны такие, а не

иные действия. И притом обстановку не случайную, а такую, чтобы читатель был вполне убежден, что другой обстановки и не могло у этого героя быть. Так, например, ежели писатель захочет основать завязку своего романа на том, что на такую-то женщину напали собаки, а такой-то мужчина собак разогнал, то тут не будет никакой ни завязки, ни обстановки, ибо все это происшествие может быть изложено в следующих немногих строках:

«На Настю Песчаную (одна из героинь романа г. Авсеенко) напали собаки и едва не разорвали ее. Уже летели клочья от ее платья, как некто Решетилов, из непомнящих родства (тоже герой романа г. Авсеенко), дубиной разогнал собак.

— Без вас они совсем бы меня съели! — сказала Настя, бросая Решетилову вызывающий взор.

Но Решетилов, приподняв шляпу, поспешил удалиться, и таким образом, роман, который чуть-чуть было не возник из «вызывающего взгляда», прекратил свое течение.

Конец

Или, например, если мы, увлекшись модой на нигилистов, поведем читателя в лес и под каждым деревом посадим по нигилисту, заставим их лепетать всякую бессмыслицу и даже не объясним, как они здесь очутились и почему несут околесицу,— разве это будет обстановка? Нет, это будет только околесица, ибо как ни легка материя о нигилистах (так легка, что у некоторых авторов перо само пишет, как только коснется речь об этом предмете), но и тут все-таки надо знать, где найти нигилиста, как его поместить и что заставить его говорить. Тургенев сочинил для Базарова целую историю, и чтобы привлечь его к семье Кирсановых, затронул узы дружбы, разъяснил, что́ могла сделать духовная сила Базарова и как мало могло противопоставить этой силе духовное бессилие молодого Кирсанова. Одним словом, создал целую обстановку, а не сказал читателю, подобно показывателям масленичного «райка»: «А вот, посмотрите, господа, теперь представится вам нигилист Базаров, в бога не верует, лягушек режет и употреблять в пищу тараканов не гнушается».

К искреннему нашему сожалению, роман г. Авсеенко, которого заглавие выписано выше, принадлежит именно к тому «раечному» роду, который допускает «показывание» всякого рода картинок без малейшей связи между ними. Вот город Париж, вот Махнут турецкий салтан, а вот гишпанская королева Изабелла. Каким образом очутилось все это рядом, на каком основании «город Париж» показывается прежде, а не после

«салтана Махнута» — этого никто не разберет, да и разбирать, правду сказать, незачем. Г-н Авсеенко издал книгу в 400 страниц, а что заключается в этих четырехстах страницах — это сказать не только трудно, но даже невозможно. Лиц бездна, но каждому из них так и хочется сказать: да зачем же ты тут суешься без дела? зачем ты мешаешь? А так как мешают решительно все, то приходится знакомиться с их похождениями, так сказать, механически.

Жил да был некто Решетилов, о котором автор выражается так: «Он давно уже носил внутри себя взрослого человека». Но почему г. Авсеенко таким образом охарактеризовал своего героя — это он скрыл от читателя самым тщательным образом; мы же, с своей стороны, можем охарактеризовать г. Решетилова не иначе, как не помнящим родства. Решетилов служит мировым посредником, потому что считает эту деятельность полезною, но в чем состоит польза его действий — это опять-таки тайна, в которую читатель не посвящается. Потом Решетилов влюбляется в Веру Павловну и Вера Павловна в него, но с чего взялась эта любовь — неизвестно. А в это самое время у Решетилова есть другая любовь — крестьянская девица, дочь паромщика, но и об этой любви сказано только, что есть, дескать, любовь. А потом, у Веры Павловны оказывается другой любовник, Косовицын, но точно ли он любовник — даже и этого понять нельзя. Косовицын, по-видимому, нужен только для того, чтобы заставить Решетилова забыть о предмете своей страсти и обратиться к девице более его достойной, Елене Дмитриевне. Елена Дмитриевна женит его на себе, из чего и выводится заключение, что прежде Решетилов был на «распутии», а теперь встал на настоящий путь. Cur? quomodo? quando? quibus auxiliis?

Мотивы романа устарелые, почти заплесневевшие. Это то самое искание женщины, как существа «прекрасного» пола, которое с усердием разработывалось еще при самом зарождении нашей беллетристики. Деятельность мирового посредника приплетена без всякой надобности; без всякой же надобности фигурирует в романе множество посторонних лиц, и между прочими модная нигилистка, девица Песчаная, та самая, которую чуть-чуть не разорвали собаки...

БЕСПЕЧАЛЬНОЕ ЖИТЬЕ. А. Михайлов. Роман. СПб. 1878

Во всех литературах существует известный разряд писателей, по преимуществу беллетристов, которых, по всей справедливости, можно назвать «беспечальными» писателями. В на-

ше время, когда все мы, в большей или меньшей степени, «и жить торопимся, и чувствовать спешим», конечно, было бы несправедливо обращаться к литературе с советами вроде тех, какие преподавались писателям каким-нибудь Горацием или, например, нашим Гоголем. Разнообразные «злобы дня» совершенно захватывают современного писателя в свой водоворот, и тут уж, конечно, не до того, чтобы отделывать свои произведения, «вынашивать» их, внимательно вдумываться в смысл изображаемых явлений и проделывать вообще весь тот сложный умственный и нравственный процесс, который называется творчеством. Но — passez nous le mot[1] — до литературного онанизма доходить все-таки не полагается, как бы, в известном смысле, ни была естественна и даже законна некоторая, так сказать, ремесленность в деле журналистики. Если — в силу ли духовной импотенции самого писателя или в силу внешних условий жизни, говорить не о чем и сказать нечего — гораздо приличнее и достойнее молчать, нежели искусственно выдумывать себе темы или шуметь по-репетиловски о выеденном яйце. Не то беда, что писателю зачастую приходится, подчиняясь условиям журнальной деятельности, высказываться далеко не с такою силою и обстоятельностью, как он это мог бы и хотел бы сделать; худо, если он говорит не по внутренней потребности, не от наболевшего сердца, а просто *сочинительствует,* причем для дела уже совершенно все равно — врет ли он небылицы в лицах для услады консьержей и гризеток, как какой-нибудь французик-романист, или же, понюхавши хрену, чтобы прослезиться, беспечально печалуется о явлениях, до которых ему столько же дела, сколько до прошлогоднего снега. И в том, и в другом случае он — отнюдь не писатель, а просто ремесленник, с изделиями которого критике делать нечего, так как ее критерий — не аршин и не безмен.

Скажем без обиняков — все это мы говорили прямо по адресу г. Михайлова... В океане бесцветных и бездарных романов и повестей, доморощенных и заграничных, затопляющем нас, романы г. Михайлова довольно выгодно выделяются своею постоянно очень сносною литературною обработкою, своею ловко скомпонованною фабулой, своею, наконец, благообразно-либеральною наружностью, но, к сожалению, только этим одним и выделяются.

Г-ну Михайлову, как бытописателю, очевидно, давно уже нечего сказать, и он довольствуется теперь тем, что повторяет и себя и других. Обладая очень незначительным запасом фактов и наблюдений. он высказался весь в своих первых романах

[1] извините за выражение.

(«Гнилые болота» и «Жизнь Шупова») и в нескольких мелких своих повестях, а затем все его дальнейшие произведения представляют собою образец резонерского морализирования, непомерно скучного при всем своем комизме. Все бы это еще — с полгоря: не всем же быть новаторами, в самом деле. Но плохо то, что сквозь видимые миру слезы г. Михайлова внимательному читателю постоянно чудится незримый миру смех — не то лукавый смех в бороду авгура, знающего, где раки зимуют, не то скучающая улыбка человека, проделывающего какую-нибудь нелепую, но требуемую официальным этикетом церемонию. Мы не обвиняем автора в неискренности, у нас нет достаточных данных для этого. Но не на основании только одного непосредственного впечатления (хотя в деле эстетических и нравственных мотивов такое основание отнюдь не несерьезно), а на основании мелкости и рутинности тенденций г. Михайлова, мелкости, которую вовсе нетрудно доказать, мы вправе сделать или то заключение, что г. Михайлов решительно не умеет отличать крупные явления от мелочных, важное от не важного, а допустить это трудно, потому что г. Михайлов, бесспорно — человек неглупый; или же мы вправе подумать, что г. Михайлову дорога не тенденция, а тенденциозничанье, не идея, а парадированье с кокардой, не влияние на читателя, а возможно сильнейшее впечатление на него. Оттого-то у него и глаза на мокром месте; оттого-то он и способен проливать потоки слез там, где достаточно было бы одного хорошего плевка. Новый роман г. Михайлова как нельзя более подтверждает наше мнение об этой замечательной стороне таланта нашего автора. В этом романе г. Михайлов рассказывает, неизвестно для кого и для чего, о «беспечальном житье» нашей так называемой золотой молодежи, то есть небольшой, сравнительно, кучке материально обеспеченных шалопаев, о ее кутежах, о ее мошеннических шалостях и шаловливых мошенничествах и т. д. Рассказывает г. Михайлов очень прилично и гладко, тем более что тема сама по себе в высшей степени удобна для того, чтобы по ее поводу наговорить с три короба прекраснейших и справедливейших вещей, начиная с вреда праздности и кончая трактатом о необходимости нравственного воспитания и самовоспитания. Для либерального резонерства здесь представляется самое широкое поле. Но мы спросим читателя: может ли эта тема сама по себе иметь хоть какое-нибудь общественное и современное значение? Кому же неизвестно, что было бы болото, а черти всегда найдутся? Но в данном случае даже и этого сказать мало. Рыцари «беспечального житья», все эти Аносовы, Сухаревы, Винтеры и Флери г. Михайлова не могут претендовать

даже на роль тех паразитов, которые своим существованием указывали бы на какой-нибудь специальный общественный недуг и изображение которых поэтому было бы в известном смысле благодарно с точки зрения социального диагноза. Не могут, потому что они — порождение таких общих, коренных, застарелых и знакомых-перезнакомых недостатков общественного устройства, которые не связаны никакою специальною нитью с современностью, и интерес новизны могут представлять только для тех, кто не перерос литературы прописей. Разница между современным Аносовым и каким-нибудь petit maître'ом [1] XVIII столетия состоит в их костюме, прическе, пожалуй, манерах, да разве еще в том, что Аносов подделывает подписи к векселям, чтобы добыть себе средства к дальнейшему беспутничанью, а мало цивилизованный петиметр доброго старого времени довольствовался менее утонченными способами. Этими внешними признаками и исчерпывается различие между ними; их нравственная сущность одна и та же. Ни тот, ни другой не представляли собою серьезной силы, которую можно было бы ненавидеть и которую следовало бы изучать; ни тот, ни другой не имели будущности, кроме той, которая грозит всякому вонючему клопу, когда хозяин дома, потерявши, наконец, терпение, вооружается чугуном с горячей водой. Горячиться по их поводу было простительно, например, старику Новикову, когда у литературы только еще прорезывались молочные зубки, но нам, окруженным гадами похуже и поядовитее клопов, нам, не знающим, за какую из сотен грозящих рук Бриарея-жизни ухватиться, чтобы отклонить удар, нам, наконец, уже считающим за собою ряд серьезных поражений и побед, имеющим свои дорогие могилы и колыбели, нам, право, как-то даже уж и неприлично возиться с такими пустейшими пустяками, как идиотская клиентела содержателей и содержательниц разных развеселых мест.

Стрелять из пушек по воробьям — слишком уж смешное занятие, чтобы объяснить его касательно г. Михайлова избытком наивности. В том-то и дело, что он, повторяем, не только не наивен, а, напротив того, изображает собою среди своих единомышленников нечто вроде хитроумного Одиссея, и верности этого сравнения не может повредить невольно являющееся, по естественной ассоциации идей, воспоминание о плачевной общественной метаморфозе, постигшей спутников Улисса. Он действует не бессознательно, не спроста. Он стреляет затем, чтобы произвести шум, стреляет из пушек (то есть пишет

[1] франтом

объемистый роман), чтобы произвести как можно больше шуму; а затем, сколько воробьев останется на месте после этой канонады и кому нужны воробьиные трупы — для него безразлично. Это пусть будет как угодно г. Михайлову. Но нельзя не заметить, что какое-нибудь гороховое пугало, вроде «Гражданина» или «Домашней беседы», функционировало в этом отношении с большими результатами, по крайней мере, с большею естественностью, нежели морализаторские перуны нашего автора.

С чисто эстетической, литературной точки зрения «пушки» г. Михайлова на этот раз — даже не пушки, а безобидные, хотя и шумливые петарды. Роман написан плоховато, скучновато, длинновато и даже достаточно-таки пошловато. Какой-нибудь психологической обработки характеров от г. Михайлова было бы странно требовать; тенденция романа, как сказано, давно лишилась зубов от старости; отдельные сцены вялы и безжизненны до последней степени. Рассказывать содержание романа мы, конечно, не станем, потому что мы именно и доказываем все время его абсолютную бессодержательность. А сверх того — и это важное преимущество г. Михайлова — он пишет замечательно *ровно,* не повышая и не понижая голоса; он выдерживает свое беспечальное печалование до конца, аккуратно понюхивая свой хренок, и преблагополучно заканчивает, ничего не сказавши и ни о чем не умолчавши. Таким образом, и автор доволен — он произвел шум, и читатель доволен — он остался цел, а рецензенты г. Михайлова довольны больше всех, потому что, благодаря безукоризненной ровности автора, они избавляются от скучнейшей обязанности делать какие бы то ни было выписки из того, что не заслуживало и один-то раз быть написанным.

ЭНЦИКЛОПЕДИЯ УМА, ИЛИ СЛОВАРЬ ИЗБРАННЫХ МЫСЛЕЙ АВТОРОВ ВСЕХ НАРОДОВ И ВСЕХ ВЕКОВ. Составил по французским источникам и перевел Н. Макаров. С.-Петербург. 1878 г.

Судя по эпиграфу, который предпослан предисловию этой книги («Величайшим сокровищем было бы собрание хороших человеческих мыслей»), намерения г. Макарова были очень обширны. А именно: собрать «хорошие» мысли, разбросанные в бесчисленных сочинениях бесчисленных авторов, сгруппировать их в рубрики, эти последние разместить в алфавитном порядке и в таком виде поднести свой цветник публике. Если б это удалось, то по некоторым отраслям знания не нужно было бы читать никаких подлинников и достаточно было бы

запастись словарем г. Макарова, чтобы почувствовать себя вполне удовлетворенным.

Но намерение это не удалось и не могло удаться. Отдельные мысли, будучи вырваны из той логической цепи, в которую они были первоначально заключены в качестве необходимого звена, принимают характер непомнящих родства. Они перестают быть мыслями и делаются краткими и притом совершенно случайными изречениями, о которых нельзя сказать, насколько они верны или ложны, потому что бог весть откуда они явились и куда могут привести. Поэтому, будучи соединены вместе с другими «мыслями», высказанными по тому же предмету, в одну рубрику, они представляют несвязный и неклейный сброд, а будучи взяты отдельно, каждая сама по себе, они являются чистейшим пустословием.

Следовательно, хотя г. Макаров не без удовольствия говорит, что в его словаре *закон* имеет 61, а *женщина* — 213 мыслей, но это вовсе не означает, чтобы по прочтении этих рубрик можно было получить сколько-нибудь обстоятельное понятие о *законе* или *женщине,* а следует понимать эти слова так, что и по тому, и по другому предметам читателю предложен безвкусный винегрет, составленный из такого-то количества мыслительных обрывков. А так как в числе этих обрывков некоторые говорят *за,* а другие — *против,* то от этого винегрет делается сугубым, ибо при таком соединении диаметрально противоположных мыслей уже окончательно утрачивается всякое понятие о их месторождении. Так, например, изречение: «политика требует только много прямодушия и здравого смысла», поставленное рядом с другим: «вся тайна политики состоит в том, чтобы кстати обманывать и лгать» (оба принадлежат г-же Помпадур), может заставить читателя только воскликнуть: зачем явились рядом две столь несовместимые глупости? И притом разве можно назвать это мыслями, равно как, например, и следующую «мысль»: «напыщенность — это крахмал красноречия»? По нашему крайнему убеждению, это пустословие, и больше ничего.

Тем не менее при известном уровне общественного развития даже и странные намерения могут достигать некоторых небесполезных практических результатов. Так, например, нет ничего нелепее так называемых «Письмовников», а между тем, благодаря громадной массе малограмотных людей, спрос на подобные книги бывает весьма бойкий. Стало быть, существует известная потребность, которая этими книгами удовлетворяется. Точно то же может случиться и с «Энциклопедией ума» г. Макарова. В наших культурных слоях чувствуется потребность в мышлении и даже сознается, что обладание из-

вестным запасом мыслей может доставить человеку некоторые выгоды, но привычки мыслить еще нет. Вот на такой-то случай, когда, по обстоятельствам, мыслить не лишнее, а мыслей нет, настоящая книга и представляет существенное подспорье. Г-н Макаров и сам, очевидно, имел это в предмете, говоря, что энциклопедия его может служить подспорьем при недостатке начитанности и памяти; мы же, с своей стороны, присовокупляем, что она человеку вполне невежественному несомненно поможет приобрести репутацию мудреца в глазах другого столь же невежественного человека.

Представим себе, например, честолюбивого столоначальника, который уже на заре дней своих мечтает о том, как он будет со временем уловлять вселенную, но, к своему горю, чувствует один недостаток — не имеет «мыслей». До сих пор он знал только два подходящих слова: «ежовые рукавицы», но так как нечто подсказывает ему, что слова эти уже утратили свою творческую силу, то он поневоле воздерживается от них и волей-неволей большую часть времени проводит в том, что сидит выпучив глаза, а следовательно, не имеет и случая высказать свои таланты. Теперь, благодаря г. Макарову, он открывает «Энциклопедию ума» и говорит: «Лучшей администрацией бывает та, которая представляет наиболее выгод и имеет наименее неудобств». Нет слова, что это изречение глупое, но, по нашему месту, даже и оно производит приятное изумление. Этого мало, через минуту он продолжает: «Закон должен походить на смерть, которая ничего не щадит». А еще через минуту: «Нужно держать народ в строгом повиновении для его же собственного спокойствия», ибо «народы вообще погибают от своих страстей», а «народы легкомысленные и самонадеянные, сверх того, спят на волканах и плачут на кладбищах». И в заключение: «дураки, по необходимости, упрямы; чем меньше у них идей, тем крепче они их держатся». Опять-таки повторяем: все это мысли несомненно глупые, но как только честолюбивый столоначальник их высказал, так его карьера сделана. Особливо ежели при этом присутствует внимательный и благосклонный слушатель, который (как это часто у нас бывает) занимается отыскиванием «людей». А раз карьера сделана, то само собой разумеется, что и на месте своего нового назначения благодарный карьерист не только не предаст г. Макарова забвению, но и сугубо воспользуется его помощью, потому что ему наверное понадобится написать циркуляр, начинающийся словами: «Для того, чтобы сделать народ добродетельным, надо сделать его счастливым».

Возьмем другой пример из другой сферы. Тряпичкину необходимо написать в газету передовую статью, трактующую

о финансах. И прежде ему случалось писать о финансах, но так как ему было неизвестно, в чем состоит истинное сокровище и где оно обретается, то это невыгодно отражалось и на статьях его, которые не могли быть ни ясными, ни поучительными. Теперь же, развернув «Энциклопедию ума», он прочтет, во-первых: «Кто ценит золото более, чем добродетель, тот потеряет и золото, и добродетель»; во-вторых: «Просите совета у мудрости: она научит вас быть счастливыми без богатства»; и в-третьих: «Не собирайте себе сокровищ на земле, где моль и ржа истребляют, а воры подкапывают и крадут». И, проникнувшись этими «мыслями», несомненно напишет блестящую передовую статью, которую начнет словами: «Когда кто знает четыре правила арифметики, тот бывает орлом в финансах», а кончит словами: «Финансисты поддерживают государство точно так же, как веревка поддерживает повешенного».

Но самых отличных услуг от «Энциклопедии ума» должны ожидать, конечно, светские молодые люди. Доныне они находились в большом затруднении. Отправляясь на бал к г-же Гулак-Артемовской, молодой человек хотя и понимал, что благопристойная беседа составляет одно из украшений этих балов, но так как у него не было нужных для того «мыслей», то он в большинстве случаев, вместо разговора, только вращал зрачками. Теперь никаких затруднений по части мыслей не может быть. Достаточно молодому человеку за полчаса до отъезда на бал проштудировать несколько страниц «Энциклопедии ума», чтобы во время первой же кадрили произошел следующий разговор:

Он. «Тот, кто не любит, тот есть тело без души!» (*Смотрит на ее бюст и облизывается.*)

Она (*вполголоса*). Не облизывайтесь; муж смотрит на нас. (*Вслух.*) Да; но «истинная любовь всегда скрывается и никогда не надеется на успех». Наша очередь делать фигуру. (*Оба встают и исполняют свои кадрильные обязанности.*)

Он (*смотря с упоением, как она садится*). «Любовь — это небесная капля, которую боги влили в чашу жизни, чтоб уменьшить ее горечь».

Она (*вполголоса*). Вы так на меня смотрите, что муж непременно... (*Вслух.*) Я согласна с вами, но все-таки продолжаю думать, что «истинная любовь всегда сопровождается уважением». Наша очередь делать фигуру. (*Встают etc.*)

Он (*забыв, что́ ему следовало бы сказать*). «Да, но любовь приходит, равно как и уходит, помимо нашей воли». (*Говорит от себя.*) Вы думаете?

Она. Да, думаю, потому что «физическая любовь есть горячка: все, что она говорит и делает, есть только бред»!

Он *(вновь обращая внимание на ее бюст)*. «О женщины! Без женщины заря и вечер были бы без помощи, и ее полдень — без радостей!»

Она. Согласна. Но все-таки «наилучшее украшение женщины — это непорочные нравы». А еще могу сказать вам: «женщины не могут придумать наряда, который украшал бы их столько же, сколько добродетель».

И так далее, до бесконечности.

Вот что может сделать «Энциклопедия ума», г. Макаров, и в этом, по мнению нашему, заключаются ее несомненные права на внимание публики.

НЕКРОЛОГИЧЕСКИЕ ЗАМЕТКИ

ЕГОР ПЕТРОВИЧ КОВАЛЕВСКИЙ*

Литература наша понесла одну из самых чувствительных потерь в лице Егора Петровича Ковалевского, скончавшегося в ночь с 20-го на 21-е сентября.

Деятельность покойного, как литературная так и служебная, была слишком разнообразна и поучительна, чтобы можно было исчерпать ее в тесных рамках некролога. Потому, в ожидании полной биографии этого замечательного русского человека, мы коснемся только главных черт его жизни.

Ковалевский родился в 1811 году в Харьковской губернии и воспитывался в Харьковском университете. В 1829 году он поступил на службу по горному ведомству и до 1835 года служил в Сибири, а в этом году перешел на Уральские горные заводы. С 1837 года сфера его деятельности расширяется, и он принимает немаловажное участие в сношениях России с Востоком и славянскими племенами Это был, без сомнения, самый важный и поучительный период его жизни, о котором он сам оставил свидетельство в своих сочинениях «Четыре месяца у черногорцев» и «Странствователь по суше и морям», вышедших между 1839 и 1843 гг. Достопамятное время осады Севастополя Ковалевский состоял при главнокомандующем князе Горчакове. В начале нынешнего царствования Егор Петрович был назначен директором азиатского департамента, а в 1861 году сенатором.

Из литературных произведений покойного, кроме упомянутых выше, известны: «Путешествие во внутреннюю Африку», «Путешествие в Китай», роман «Петербург днем и ночью», печатавшийся в «Библиотеке для чтения» и недоконченный вследствие цензурных затруднений, не мало повестей

и рассказов, под псевдонимами: Нила Безымянного, Е. Горева и др. и «Граф Блудов и его время». Сверх того, известно, что Егор Петрович писал «Историю России в XIX столетии» и отрывок из этого сочинения, под названием «Восточные дела в двадцатых годах», был уже напечатан в одной из книжек «Вестника Европы» за нынешний год.

В последнее время Е. П. Ковалевский был почти постоянно избираем председателем общества Литературного фонда, и можно сказать без оговорок, что утрата, которую это общество понесло в его лице, едва ли в скором времени заменима. Покойный представлял собою образец тех доброжелательных отношений к литературе и ее деятелям, которые в особенности были драгоценны в наше, не совсем благоприятное для этого рода профессии, время.

Несомненная даровитость, многостороннее образование, меткий практический такт, приобретенный долгим опытом в многообразных сферах деятельности, неистощимая энергия и то серьезное, присущее самой натуре гуманное чувство, которое выражется не на словах, а на деле,— вот черты, характеризующие личность Е. П. Ковалевского, за которые *многие* любили его, уважали *все*.

И. С. ТУРГЕНЕВ*

Двадцать второго августа 1883 года русская литература и русское общество понесли скорбную утрату: не стало Тургенева.

В современной русской беллетристической литературе нет ни одного писателя (за исключением немногих сверстников покойного, одновременно с ним вступивших на литературное поприще), который не имел в Тургеневе учителя и для которого произведения этого писателя не послужили отправною точкою. В современном русском обществе едва ли найдется хоть одно крупное явление, к которому Тургенев не отнесся с изумительнейшею чуткостью, которого он не попытался истолковать.

Литературная деятельность Тургенева имела для нашего общества руководящее значение, наравне с деятельностью Некрасова, Белинского и Добролюбова. И как ни замечателен сам по себе художественный талант его, но не в нем заключается тайна той глубокой симпатии и сердечных привязанностей, которые он сумел пробудить к себе во всех мыслящих русских людях, а в том, что воспроизведенные им жизненные образы были полны глубоких поучений.

Тургенев был человек высокоразвитый, убежденный и никогда не покидавший почвы общечеловеческих идеалов. Идеалы эти он проводил в русскую жизнь с тем сознательным постоянством, которое и составляет его главную и неоцененную заслугу перед русским обществом. В этом смысле он является прямым продолжателем Пушкина и других соперников в русской литературе не знает. Так что ежели Пушкин имел полное основание сказать о себе, что он пробуж-

дал «добрые чувства», то то же самое и с такою же справедливостью мог сказать о себе и Тургенев. Это были не какие-нибудь условные «добрые чувства», согласные с тем или другим преходящим веянием, но те простые, всем доступные общечеловеческие «добрые чувства», в основе которых лежит глубокая вера в торжество света, добра и нравственной красоты.

Тургенев верил в это торжество; он может в этом случае привести в свидетельство все одиннадцать томов своих сочинений. Сочинения эти, неравноценные в художественном отношении, одинаково и всецело (за исключением немногих промахов, на которые своевременно указывала критика) проникнуты тою страстною жаждой добра и света, неудовлетворение которой составляет самое жгучее больное место современного существования. Базаровы, Рудины, Инсаровы — все это действительные носители «добрых чувств», все это подлинные мученики той темной свиты призраков, которые противопоставляют добрым стремлениям свое бесконтрольное и угрюмое non possumus [1].

Здесь не место входить ни в оценку написанного Тургеневым, ни в подробности его личной жизни. Первое — дело критики; второе — будет выполнено его биографами. Тургенев имел в литературном кругу много искренних друзей, которые не замедлят познакомить читающую публику с этою обаятельною личностью. Тем не менее и из личных наблюдений пишущего эти строки, и из того, что было в последнее время публиковано о Тургеневе, можно заключить, что главными основными чертами его характера были: благосклонность и мягкосердечие.

Конец Тургенева был поистине страдальческий. Помимо неслыханных физических мучений, более года не дававших ему ни отдыха, ни срока, он еще бесконечно терпел и от назойливости гулящих соотечественников. В последние дни жизни раздражение его против праздношатающихся доходило до того, что приближенные опасались передавать ему просьбы о свидании, идущие даже от людей, которых он несомненно любил.

Заканчивая здесь нашу коротенькую заметку о горькой утрате, понесенной нами, мы невольно спрашиваем себя: что сделал Тургенев для русского народа, в смысле простонародья? — и не обинуясь отвечаем: несомненно, сделал очень многое и посредственно, и непосредственно. Посредственно —

[1] нельзя.

всею совокупностью своей литературной деятельности, которая значительно повысила нравственный и умственный уровень русской интеллигенции; непосредственно — «Записками охотника», которые положили начало целой литературе, имеющей своим объектом народ и его нужды. Но знает ли русский народ о Тургеневе? знает ли он о Пушкине, о Гоголе? знает ли о тех легионах менее знаменитых тружеников, которых сердца истекают кровью ради него? — вот вопрос, над которым нельзя не задуматься.

Впрочем, это вопрос не исключительно русский, но и всемирный.

Примечания

Вводная заметка к тому *С. А. Макашина*

Авторы комментариев *Н. Ю. Зограф* — «Первая русская передвижная художественная выставка»; *Д. И. Золотницкий* — «Перемелется — мука будет». Комедия в пяти действиях И В Самарина, «Мещанская семья». Комедия в четырех действиях М. В. Авдеева; *В Я Лакшин* — «Напрасные опасения»; *Р. Я. Левита* — «Человек, который смеется», «Задельная плата и кооперативные ассоциации Жюля Муро», «Движение законодательства в России Григория Бланка», «Записки о современных вопросах России Георгия Палеолога», «Дворянство в России от начала XVIII века до отмены крепостного права А. Романовича-Славатинского», «Слияние сословий, или дворянство, другие состояния и земство»; *С. А Макашин* — «Е. П Ковалевский», «И. С. Тургенев»; *П С Рейфман* — «Литература на обеде», «Материалы для характеристики современной русской литературы М А Антоновича и Ю. Г. Жуковского», *Л. М. Розенблюм* — «Уличная философия», «Наши бури и непогоды», «Так называемое «нечаевское дело» и отношение к нему русской журналистики», «Гражданский брак». Комедия Н. И. Чернявского, «Засоренные дороги». Роман А. Михайлова, «В разброд». Роман А Михайлова, «Новые русские люди». Роман Д Мордовцева, «Светлов, его взгляды, характер и деятельность» («Шаг за шагом»). Роман Омулевского, «Повести, рассказы и драматические сочинения Н. А. Лейкина», «Беспечальное житье». Роман А. Михайлова; *К И Тюнькин* — «Новаторы особого рода», «Насущные потребности литературы», «Один из деятелей русской мысли», «Бродящие силы» В П. Авенариуса, «В сумерках». Сатиры и песни Д Д Минаева, «Новые сочинения Г. П. Данилевского», «Смешные песни» Александра Иволгина (Чижик), «А. Большаков». Роман И. Д. Кошкарова, «Внучка панцырного боярина». Роман И. И. Лажечникова, «Воспоминания прошедшего». Автора «Провинциальных воспоминаний», «Меж двух огней» Роман М В Авдеева, «Говоруны». Комедия И. А. Манна «Где лучше?» Роман Ф. Решетникова «Повести, очерки и рассказы М. Стебницкого», «Сочинения Я П Полонского», «Недоразумение». Повесть Даикевича, «Нерон». Трагедия Н П. Жандра, «Своим путем». Роман Л. А. Ожигиной, «Повести и рассказы Анатолия Брянчанинова», «Записки Е. А. Хвостовой» — «Прошедшее и настоящее» Ю. Н. Голицына, «Суета сует». Соч. Николая Соловьева, «Снопы» Стихи и проза Я. П. Полонского, «Мандарин». Роман Н. Д Ахшарумова, «Ошибки молодости». Комедия Петра Штеллера, «Русские демократы». Романи Н Витнякова, «Темное дело» Драма Дмитрия Лобанова, «Цыгане». Роман В. Клюшникова, «Заметки в поездку во Францию, С Италию, Бельгию и Голландию» Н И Тарасенко-Отрешкова, «Лесная глушь» Картины народного быта С Максимова, «На распутьи». Роман В Г Авсеенко, «Энциклопедия ума, или Словарь избранных мыслей авторов всех народов и всех веков Н. Макарова».

В девятый том настоящего издания входят литературно-критические и публицистические статьи и рецензии Салтыкова из «Отечественных записок», не включавшиеся им в отдельные издания и оставшиеся в первопечатных публикациях. Почти все материалы относятся к периоду 1868—1871 гг., когда в журнале существовал библиографический отдел «Новые книги», прекративший свое существование с исходом 1871 г. и возобновленный в 1878 г. Лишь три заметки относятся к более позднему времени: 1878 г. (2) и 1883 г. (1).

Публикации размещены в томе, исходя из их жанра, в трех разделах. В первый входят статьи; во второй — рецензии на отдельные книги и произведения; в третий — некрологические заметки.

За исключением двух статей, подписанных известным криптонимом Салтыкова, буквами *М. М.* («Так называемое «нечаевское дело»...» и «Первая русская передвижная художественная выставка») и статьи «Насущные потребности литературы», подписанной *С.*, все остальные материалы, входящие в том, появились в «Отечественных записках» без подписи. Рукописи этих публикаций неизвестны Их нет ни в бумагах Салтыкова, хранящихся в Пушкинском доме и в других собраниях (единственное исключение — автограф рецензии на роман И. Д. Кошкарова «А. Большаков»), ни в дошедших до нас фрагментах архива «Отечественных записок».

Вскоре после смерти Салтыкова его товарищ и соредактор по «Отечественным запискам» Г. З. Елисеев писал: «Русская публика знает Михаила Евграфовича Салтыкова как талантливого сатирика, который мог писать только черным по белому, то есть имел способность бегло схватить различные неприглядные явления русской жизни и передать их в поэтических образах. Но она не знает того, что он был вместе с тем человек замечательно смелой и сильной мысли, что, когда было нужно по обстоятельствам написать для журнала какую-нибудь экстренную публицистическую статью или рецензию на вышедшую в свет книгу, он брался и за это, и все подобные статьи, которых немало наберется в «Современнике» и «Отечественных записках» и которые до сих пор остаются неизвестны публике, были в своем роде шедевры, сообразно с теми щекотливыми обстоятельствами, по которым они писались» («Салтыков-Щедрин в воспоминаниях современников», стр. 207—208). Действительно, статьи и заметки Салтыкова, напечатанные в «Отечественных записках» без его имени были неизвестны до-

революционному читателю. Попытки выявить эти статьи и ввести их в собрание сочинений писателя хотя и делались, но даже ближайшие сотрудники Салтыкова по журналу не могли назвать его анонимные работы. В связи с подготовкой 4-го издания «полного» собр. соч. Салтыкова, т. н. «издания наследников автора», вдова писателя, Елизавета Аполлоновна, обратилась к Н. К. Михайловскому с просьбой составить список статей ее мужа, помещенных в «Отечественных записках» без его имени. В ответном письме от 13 декабря 1898 г. Михайловский, назвав известные и раньше статьи, подписанные буквами «М. М.»[1], закончил письмо такими словами: «Затем Михаил Евграфович писал иногда (очень редко) небольшие рецензии в отделе «Новые книги» без всякой подписи. Но указать эти его мелкие работы я не берусь» (*ЦГАЛИ*, ф. 445, оп 1, ед хр. 170, л. 1—1 об).

Выявление неподписанных статей и рецензий Салтыкова в «Отечественных записках» — заслуга советского литературоведения Первый этап этой работы относится к 20-м годам, когда в трудах Вас. В. Гиппиуса, Р. В. Иванова-Разумника, В. Е Евгеньева-Максимова и Н. В. Яковлева, были приведены доказательства и высказаны предположения о принадлежности Салтыкову ряда анонимных статей и заметок на страницах «Отечественных записок». Второй этап относится к 30-м годам и связан с именем С. С. Борщевского, поставившего перед собой задачу по возможности полного изучения вопроса на основе систематического обследования *всех* анонимных публикаций в «Отечественных записках» за 1868—1884 гг. Итоги этого большого исследовательского труда были подведены С. С. Борщевским сначала в книге «М. Е. Салтыков-Щедрин. Неизвестные страницы» («Academia», М.— Л. 1931) и в томе 13—14 «Литературного наследства» (М. 1934, стр. 81—96), а затем, на значительно расширенной основе, в восьмом томе *изд. 1933—1941,* вышедшем в свет в 1937 г. В этом томе и были впервые собраны все выявленные статьи и заметки Салтыкова, появившиеся на страницах «Отечественных записок» без его имени.

По основному своему содержанию девятый том (тексты Салтыкова) настоящего издания близок к своему предшественнику — восьмому тому *изд. 1933—1941.* Отличия по составу сводятся лишь к следующему включены две некрологические заметки Салтыкова — о Е. П. Ковалевском и И. С Тургеневе и исключена памфлетная статья «Письмо к графу Д. А Толстому», появившаяся в зарубежной революционной газете «Вперед» и не принадлежащая перу сатирика. Научный сотрудник ИРЛИ Б. Л. Бессонов в 1969 году установил по архивным материалам, что автором памфлета был Д. А. Клеменц (см. письмо Клеменца к П. Л. Лаврову, датируемое весной 1875 г.: ЦГАОР, ф 1762, оп. 4, № 219, лл. 8 об., 9).

Прямых доказательств принадлежности Салтыкову анонимных статей и рецензий в «Отечественных записках» относительно немного. Они найдены всего для шестнадцати текстов. Вопрос об авторстве Салтыкова в

[1] Статьи эти были раскрыты как салтыковские в «Указателе к «Отечественным запискам» за 1868—1877 гг.» (*ОЗ*, 1878, № 8 и отд. изд).

отношении всех остальных материалов настоящего тома решается, как и в предыдущем *изд. 1933—1941*, атрибуциями С. С. Борщевского, основанными на текстуальных, языково-стилистических и идейно-тематических связях анонимных публикаций с аутентичными текстами писателя. Редакция настоящего издания приняла атрибуции С. С. Борщевского, предварительно рассмотрев степень их доказательности, а также аргументы сторон в полемике, возникшей вокруг этих атрибуций и их метода [1]. При этом в некоторые атрибуции были внесены те или иные коррективы. Только эти коррективы и приводятся в развернутом виде в атрибутивной части комментария. В остальных случаях даются отсылки к изданиям, в которых соответствующая аргументация или предположения были опубликованы впервые.

Установление автора безыменного произведения только на основании косвенных признаков не может, в принципе, считаться вполне окончательным, как бы ни были убедительны эти признаки, последнее слово принадлежит здесь прямым и документальным доказательствам, хотя слово это, возможно, и не будет никогда произнесено.

В настоящем издании материалы, принадлежность которых Салтыкову подтверждена объективными свидетельствами, печатаются с обозначением их знаком *. Авторство Салтыкова для статей и рецензий, не отмеченных указанным знаком, установлено на основании косвенных признаков.

За пределами настоящего тома и всего издания остались несколько статей и рецензий, приписанных Салтыкову одним из наиболее авторитетных исследователей творчества писателя Вас. В. Гиппиусом (Vasilij Hippius. Ergebnisse und Probleme der Saltykow-Forschung.— В изд.: «Zeitschrift für slavische Philologie». Hsg. v. Dr. Max Vasmer, B. IV, Lpz. 1927. Ss. 183—184). Большая часть указаний В. В. Гиппиуса, сделанных без развернутой аргументации, была впоследствии подтверждена системой доказательств, добытых С. С. Борщевским. Но ни С. С. Борщевскому, ни редакции настоящего издания не удалось найти убедительных подтверждений авторства Салтыкова для *всех* материалов, названных В. В. Гиппиусом. Было установлено лишь, что и в тех статьях и рецензиях, которые

[1] <Б. В. Папковский> Архив журнала «Отеч. записки» — «Правда», М 1939, 14 сентября, № 255, стр. 6; 2) С. С Борщевский. Письмо в редакцию — «Лит. газета», М. 1939, 10 октября, № 56, стр. 6; 3) С. С. Борщевский. Пример некритического отношения к документу.— «Лит. критик», М. 1940, № 3—4, стр. 204—208 (с соображениями С. С. Борщевского полностью солидаризировался редактор восьмого тома в *изд. 1933—1941* П. Н Лепешинский, см. стр 208 цит. ст.); 4) Б. В Папковский. О щедринском наследстве и методе литературно-идеологических и текстовых параллелей.— «Уч. записки Ленинградского гос. пед. ин-та им. А. И. Герцена», т. 87, Л. 1949, стр. 79—109; 5) С. С. Борщевский. Еще раз о фетишизации документа, а также о фальсификации (неопубл. рукописи); 6) Э. Л. Ефременко. Раскрытие авторства на основе анализа идейного содержания произведения — В сб «Вопросы текстологии», вып. 2, изд-во АН СССР, М. 1960, стр. 87—97; 7) В В Виноградов. Проблема авторства и теория стилей, Гослитиздат, М. 1961, стр. 190—191.

редакция не смогла признать за единолично-салтыковские, имеются фрагменты и «прослойки» текста, принадлежность которых перу Салтыкова не вызывает сомнений (см. особенно в статье «Попытки конкурировать с Америкой ..» — *ОЗ*, 1881, № 6 и в рецензии на роман П. Мельникова «Княжна Тараканова» — *ОЗ*, 1868, № 6) По-видимому, эти характерно-салтыковские места возникли в результате редактирования Салтыковым чужого текста или соавторства. Очевидно, что изучение вопроса об анонимных статьях Салтыкова в «Отечественных записках» не может считаться завершенным и должно продолжаться

Библиографии Салтыкова известно довольно много статей и рецензий из «Отечественных записок», приписанных ему ошибочно («мнимый Салтыков»). Списки таких неверных, совершенно бездоказательных «атрибуций» содержатся в следующих публикациях:

[1] В. Дажук. Нові сторінки Салтыкова-критика.— «Літературна газета», 1937, 11 липня, № 32;

[2] В. П. Вомперский. Неизвестная рецензия М. Е. Салтыкова-Щедрина.— В кн.: «Статьи по практической стилистике и литературному редактированию», М. Изд-во МГУ, 1957, стр. 5—18;

[3] И. Т. Ищенко. Щедрин и народное творчество.— В изд.: «Наукові записки Львівского педінституту», 1958, т. XIII, стр. 109—122;

[4] А. Кушаков. Неизвестная статья М. Е. Салтыкова-Щедрина.— «Орловская правда», 1962, 14 июня, стр 3;

[5] В. Осмоловский. Салтыков-Щедрин и украинская литература — В сб.: «Радяньское літературознавство», 1965, № 8.

В работах В В. Виноградова, Б. В. Папковского, И. Т. Трофимова и некоторых других высказан ряд скептических замечаний по поводу атрибуций С. С. Борщевского, принятых, как сказано, и для настоящего издания. Однако ни одно из сделанных замечаний не сопровождается *конкретным* разбором предложенных доказательств и конкретными же контраргументами и опровержениями, которые бы «выводили» какую-либо определенную статью или рецензию из корпуса сочинений Салтыкова. Сомнения и критика выражены всюду в самой общей форме и относятся собственно к принятому методу установления автора анонимных текстов, а не к результатам, полученным путем применения этого метода.

Комментарии к материалам настоящего тома написаны заново. Примечания, которыми эти материалы были снабжены в *изд. 1933—1941*, ограничивались задачами формально-атрибутивного характера. Главной и почти единственной целью их было установить авторство Салтыкова.

В настоящем издании каждая из статей и рецензий Салтыкова, многие из которых являются документами выдающегося историко-литературного и теоретического значения, впервые публикуются в сопровождении конкретно-индивидуального комментария. Поясняемая статья или рецензия изучаются по существу их содержания и в сопоставлении с теми произведениями литературы или событиями, которые послужили поводом для выступлений Салтыкова.

УСЛОВНЫЕ СОКРАЩЕНИЯ, ПРИНЯТЫЕ В БИБЛИОГРАФИЧЕСКОМ АППАРАТЕ НАСТОЯЩЕГО ТОМА

Изд. 1933—1941 — Н. Щедрин (М. Е. Салтыков). Полное собрание сочинений в 20-ти томах, М.— Л. 1933—1941.

ЛН — «Литературное наследство».

Неизвестные страницы — М Е Салтыков-Щедрин. Неизвестные страницы. Редакция, предисловие и комментарии С. Борщевского. М.— Л. 1931.

Письма, 1924 — М Е Салтыков-Щедрин, Письма. 1845—1889. Под ред Н В. Яковлева. Л. 1924.

ОЗ — «Отечественные записки».

С — «Современник».

ИРЛИ — Институт русской литературы АН СССР (Пушкинский дом), Отдел рукописей.

ЦГАЛИ — Центральный государственный архив литературы и искусства.

Z. f sl. Ph.— «Zeitschrift für slavische Philologie». Hsg. von Dr. Max Vasmer. B. IV, Doppelheft 1—2. Leipzig, 1927.

СТАТЬИ

НАПРАСНЫЕ ОПАСЕНИЯ

(По поводу современной беллетристики)

(Стр. 7)

Впервые — *ОЗ*, 1868, № 10, отд «Совр. обозрение», стр. 168—194 (вып. в свет 9 октября). Без подписи. Авторство Салтыкова установлено С. С. Борщевским — *Неизвестные страницы*, стр. 475—500.

Статья представляет собою одно из наиболее обстоятельных высказываний Салтыкова по общим вопросам развития современной ему литературы. В то же время ее можно рассматривать и как программное литературно-критическое выступление «Отечественных записок», перешедших с 1868 г. под редакцию Некрасова

Название статьи и вступительная ее часть, где говорится о напрасных сетованиях по поводу «бедности нашей литературы», имеют прямой полемический адрес. На страницах «старых» «Отечественных записок», выходивших под редакцией Краевского, в 1867 г. появилась большая статья Н. Н. Страхова «Бедность нашей литературы», повторенная в 1868 г. отдельным изданием. Страхов писал в ней об упадке современной литературы. Главной причиной этого упадка он считал влияние на литературу «нигилистических», революционно-демократических идей. Новой редакции нельзя было найти лучшего способа определить свою позицию, чем полемика со

статьей, нашедшей себе еще недавно место на страницах тех же «Отечественных записок» и хорошо памятной прежним их подписчикам [1].

Вместе с тем статья Н. Н. Страхова была лишь наиболее приметным, но далеко не единственным печатным или изустным высказыванием по поводу «бедности» современной русской литературы, какое мог иметь в виду Салтыков. Еще в декабрьской хронике «Нашей общественной жизни» за 1863 г. он писал о «сетованиях публики на современную беллетристику». Автор статьи «Напрасные опасения» брался оспорить мнения не одной лишь критики, но и известного круга читателей — ценителей изящного, выражавших досаду на отсутствие новых ярких талантов, на новый, непривычный язык демократов-шестидесятников и предметы изображения, почерпнутые из «грязного» народного быта.

Принципиальная особенность статьи Салтыкова заключалась в том, что он рассматривал положение современной ему русской литературы с точки зрения отношения к ней воспринимающей читательской среды, «публики». Согласно суждению Салтыкова, круг читателей беллетристики мало изменился со времен 40-х годов, и большую часть читающей публики по-прежнему составляют люди, воспитанные в эстетических заветах старого времени. Поэтому изучение той самой публики, которая сетует на «бедность» нынешней литературы, возвращает автора статьи к анализу типа «человека 40-х годов».

О человеке 40-х годов Салтыков немало писал и до этого («Сатиры в прозе» — 1861, «Сенечкин яд» — 1863) и после («Один из деятелей русской мысли» — 1870, «Дневник провинциала» — 1872, «Круглый год» — 1879, «Письма к тетеньке» — 1881—1882), выдвигая на первый план то положительные, то отрицательные черты поколения людей, воспитанных этим временем. В отношении историческом Салтыков признавал огромное значение для общества идеалов 40-х годов. Он возражал, однако, против попыток искусственного сохранения и культивирования этих идеалов в *иную* эпоху, когда общество в целом ушло далеко вперед.

В статье «Напрасные опасения», характеризуя литературу 40-х годов и ее читателя, показывая эволюцию общественных интересов, Салтыков получает возможность сказать о тех социальных сдвигах, какие произошли в русской жизни за два десятилетия. В этом смысле статья Салтыкова, решая литературно-критическую задачу, носит в то же время публицистический характер.

По обыкновению, Салтыков почти не пользуется терминами политически определенными. Но его иносказания достаточно прозрачны. Понять автора, как обычно, помогают ключевые слова, которые в совокупности создают «эзопов язык» статьи.

Одним из таких ключевых слов является слово «д о с у г» (ср. аналогичное понятие «досужества» в рецензии «Новые стихотворения А. Н. Май-

[1] См. М. В. Т е п л и н с к и й. «Отечественные записки» (1868—1884), Южно-Сахалинск, 1966, стр. 171.

кова», 1864). В системе иносказаний Салтыкова «досуг» — синоним праздности, символ привилегий той части общества, которая эксплуатирует чужой труд. Среда, «обильная досугом»,— это не бытовая и не психологическая, а прямая политическая характеристика дворянской интеллигенции.

Первая часть статьи, где рассматривается «состав» читающей публики, и посвящена выяснению исторической эволюции дворянской интеллигенции, ее отношения к новым формам жизни, «новым порядкам», явившимся в результате реформ 60-х годов, прежде всего крестьянской реформы. Публика 40-х годов, «обеспеченная относительно твердости внешних рамок», а иначе говоря, убежденная в прочности своей материальной обеспеченности и своих социальных привилегий, гордилась своей гуманностью. В действительности же, как показывает Салтыков, она лишь сменила барские забавы прежнего поколения — медвежьи травли и псовые охоты — на досуг «эстетический». Лучшая часть дворянской интеллигенции, получившая название «лишних людей», теоретически признавала насущность перемен в жизни, выступала за справедливость, сочувствовала народным бедам. Таковы, по Салтыкову, герои Тургенева — Рудин, Лаврецкий, люди благородной мысли, но не действия, не пошедшие дальше колебаний и сомнений.

Салтыков рассматривает эволюцию дворянского либерализма от 40-х к 60-м годам дифференцированно. «Лишние люди» представляли еще лучшую часть этой публики. Большинство же ее составляли либеральные «прихвостни», видевшие в пожеланиях реформ лишь «красивую сторону». Они оказались «преестественными зверобоями», как только время предъявило притязания на их «досуг». Иначе сказать, как только крестьянская реформа 1861 г. поставила вопрос об имущественных привилегиях дворянства, либералы 40-х годов стали превращаться в «злопыхателей» и смыкаться с консерваторами.

Весь этот социально-классовый анализ состава русской читающей публики понадобился Салтыкову для того, чтобы показать, в какой среде возникло недовольство современной литературой и где источник сетований на ее бедность. Автор статьи исходит из того, что требования литературы не могут идти позади требований публики, он подчеркивает «инициаторскую» роль литературы в обществе. Литература пробуждает самосознание, дает толчок его дальнейшему развитию, она ставит и выясняет новые общественные вопросы, а не просто отражает уже решенные. Ближайшим образом Салтыкова интересует оценка литературой и обществом изменений, происшедших в русской жизни «в течение последнего десятилетия», то есть после реформы 1861 г. Значительная часть дворянской интеллигенции, отмечает Салтыков, настроена против реформ, меньшая ее часть — удовлетворена содеянным, но боится идти дальше. Между тем демократическая литература 60-х годов выдвигает новые вопросы, призывает к более глубоким и радикальным переменам и оттого оказывается не по вкусу большинству публики, воспитанной в «эстетических» заветах 40-х годов. Отсюда все недоразумения между публикой и литературой, отсюда и жалобы на ее бедность.

Салтыков констатирует, что в составе русской читающей публики еще слишком невелик удельный вес «новой публики», то есть читателей из демократической, народной среды В этом кругу «потенциальных читателей» слишком слабы начала самосознания. Интересы этой части публики в значительной мере связаны с «грубыми выгодами» — жизненными тяготами, борьбой за материальный достаток, и понятно, что литература стоит для них пока на заднем плане. Новая публика, таким образом, еще не успела воспитать в себе интерес к литературе, тогда как старая растеряла его. Так автор статьи приходит к внешне парадоксальному, но глубоко обдуманному выводу: надо говорить не о «бедности» литературы, а о «бедности» читающей публики, не готовой по разным причинам к восприятию тех идей, какие несет с собой новое поколение писателей.

Обращаясь к наследию 40-х годов уже в плане литературно-эстетическом, Салтыков стремится объективно характеризовать этот важный период русской литературы. Он видит заслугу Гоголя и писателей, вышедших из его школы, в том, что они завоевали для литературы и завещали ей честное обращение со словом и правдивое отношение к действительности. Однако впоследствии, считает автор статьи «Напрасные опасения», «дело отрицания» стало выглядеть слишком односторонним, положительный герой дворянской литературы — тип «лишнего человека» — оказался исчерпанным сполна, и возникла необходимость в поисках новых типов — «положительных и деятельных».

Не надо думать, что Салтыков — писатель-сатирик — призывает отказаться от задач отрицания и обличения и приступить к моделированию положительного героя Мысль Салтыкова иная. Недаром он особо указывает на «расширение арены правды, арены реализма», как на необходимую предпосылку появления в литературе «новых людей». А в написанной почти одновременно с «Напрасными опасениями» рецензии на «Гражданский брак» Чернявского Салтыков саркастически пишет о литературных деятелях, которые считают, что «отрицательное отношение к жизненным явлениям бесплодно» и что «в настоящее время не отрицать и обличать, а любить должно» Главным критерием для него неизменно остается правда жизни.

Салтыков видит, что в отношении героев положительного закала литература не может похвалиться большими достижениями, она ведет, скорее, «подготовительную работу» в этом направлении, но Салтыков не считает лишним вступить в область некоторых догадок и предсказаний, чтобы очертить пути, по каким неизбежно должна пойти, на его взгляд, демократическая русская беллетристика Свои прогнозы он строит на внимательном анализе русского общества в той его части, которая единственно и способна дать литературе тип положительного героя. Это, с одной стороны, «воспитывающая» среда, то есть демократическая разночинная интеллигенция, а с другой стороны — среда «воспитываемая», то есть народ, который стал доступнее для изображения «вследствие освобождения от внешних тенет», то есть вследствие отмены крепостного права.

«Воспитывающая среда» или «новые люди» уже были в ту пору представлены как в революционно-демократической, так и в консервативно-дворянской беллетристике. Но, рассматривая эти первые наброски портрета нового положительного героя, Салтыков согласен признать за ними в лучшем случае достоинства подготовительных материалов, черновых эскизов. Даже явное непонимание и попытки клеветы на «новых людей» для автора статьи — симптом того, что литература не может обойти их или замолчать. Перечисленные в статье черты «нигилиста», напоминающие, кстати сказать, в пересказе Салтыкова прежде всего тургеневского Базарова: неприятие на веру авторитетов, внимание к естествознанию и недоверие к метафизике, бодрость и смелость, принимаемые за «нахальство»,— все это можно увидеть в «новых людях» даже сквозь ту грязь, какой забрасывают в своих произведениях героев молодого поколения авторы антинигилистических романов.

Салтыков подробно останавливается на попытках демократической литературы дать образ положительного героя. Неудачи в этой области он склонен приписать неумеренной идеализации, тому «рутинному понятию о добродетели», которое не уживается с реальной правдой в искусстве. Характеристика героев положительного закала, предстающих в литературе то «преждевременно состарившимися кадетами», то «нищими духом аскетами», относится скорее всего к эпигонам Чернышевского — автора романа «Что делать?». Салтыков мог иметь здесь в виду такие честные, но беспомощные попытки изображения «нового человека», как романы Н. Ф. Бажина «Степан Рулёв» («Русское слово», 1864, № 11—12) и «Чужие меж своими» («Русское слово», 1865, № 1—2), где очевидна и риторичность замысла, и то, что Салтыков назвал «картинами нелепого аскетизма». Незадолго до появления статьи «Напрасные опасения» Салтыков резко критиковал также молодых героев А. Михайлова (Шеллера), зараженных, по его словам, «пресным старческим доктринерством» (рецензию на роман А. Михайлова «Засоренные дороги» см. в наст. томе, стр. 265).

В статье «Напрасные опасения» Салтыков указал и на причины, по каким сочувствующие молодым героям писатели испытывают затруднение в изображении типа «нового человека». Это и внутренняя сложность нового типа людей, и трудность изображения их деятельности, поскольку условия русской действительности не дают им вполне развернуться. Очевиден здесь и намек на цензуру, стесняющую писателя в его намерениях представить героя «воспитывающей» среды в действии.

Другой источник положительных начал жизни и новых художественных типов видит Салтыков в «воспитываемой» части общества, то есть в народе Мужик мало-помалу становится в литературе героем дня, и в качестве примера плодотворных поисков в этой области Салтыков указывает на сочинения Решетникова «Подлиповцы» и «Где лучше?». Это единственные произведения современной беллетристики, прямо названные в статье «Напрасные опасения».

Известно, что отношение Салтыкова к произведениям Решетникова не

было апологетическим. И хотя он сам редактировал для журнала роман «Где лучше?», а позднее написал о нем сочувственную рецензию (см. наст. том, стр. 321), он отдавал себе отчет в ограниченности таланта Решетникова и многочисленных художественных несовершенствах его романа. В этом заключалась объективная сложность положения Салтыкова-критика. Свои интересные теоретические посылки и литературные прогнозы он лишь в малой мере и с большими оговорками мог подтвердить практикой современной ему демократической литературы. Оттого ему приходилось, избегая коикретных названий книг, больше говорить об «общем направлении» и «общем тоне» современной молодой литературы. Он вынужден был подчеркивать «подготовительный» характер в обрисовке новых типов и проблем, подчеркивать значение «собирания материалов» и т. п., уповая на грядущий взлет литературы в отмеченном им направлении.

По ряду причин, связанных прежде всего и с конкретными обстоятельствами идейной борьбы, концепция Салтыкова не учитывала творческих достижений таких писателей его времени, как Толстой и Достоевский, и это заметно сузило значение его литературных прогнозов. (Суждение Салтыкова о романе «Идиот» в его рецензии по поводу романа И. В Омулевского «Шаг за шагом» («Светлов, его взгляды, характер и деятельность») свидетельствует о том, что он умел преодолевать узость своих позиций и пристрастий.)

Литература 70-х годов лишь в малой мере оправдала надежды Салтыкова, выраженные в статье «Напрасные опасения». Много лет спустя в одиннадцатом письме к «тетеньке» (1882) Салтыков пришел к пессимистическому заключению, что в литературе по-прежнему нет «ничего цельного, задуманного, выдержанного, законченного. Одни обрывки, которые много-много имеют значение сырого материала, да и то материала несвязанного, противоречивого...».

Сразу же после опубликования статья «Напрасные опасения» вызвала ряд откликов современников. Журнал «Дело» во «Внутреннем обозрении» Гдб. (П. Гайдебурова) специально коснулся этой статьи «Отечественных записок». Критика «Дела» более всего заинтересовала та сторона статьи Салтыкова, которая трактовала вопрос об изображении народной жизни, героев из народной среды в литературе. П. Гайдебуров признавал, что статья «Отечественных записок» затрагивает вопрос «весьма серьезно». Однако он полемизировал с мыслью Салтыкова, что в изображении современного мужика «литература может найти новый источник своего могущества и своего влияния в обществе», усматривая в этом утверждении отголоски славянофильства («Дело», 1868, № 11, отд. II, стр. 32—35).

Герцен писал Огареву 30—31 октября 1868 г., делясь впечатлением от свежей книжки «Отечественных записок»: «В «Напрасных опасениях» дует ненависть ко всем, не родившимся от скотоложества «Современника» с Благосветловым,— но не глупо» (А. И. Герцен. Полн. собр. соч., т. 29, кн. 2, М. 1963, стр. 481). В отзыве Герцена чувствуется недовольство саркастической характеристикой 40-х годов, как времени «умственного диле-

тантизма». Это поздняя реплика в полемике Герцена с «Современником» (Добролюбова и Чернышевского) по поводу «лишнего человека». Тем интереснее, что это не помешало Герцену оценить достоинства статьи, назвав ее «не глупой».

Стр. 12. *...в положении хемницеровского «Метафизика».*— В басне И. И. Хемницера «Метафизик» студент, напитавшийся теоретической премудростью, попав в яму, рассуждает о философской природе вещей, вместо того чтобы, воспользовавшись брошенной ему веревкой, выбраться наверх.

Стр. 17. *...в нашей жизни в течение последнего десятилетия произошли такие существенные изменения, которые отчасти превзошли ожидания цивилизованного меньшинства...*— то есть реформы повели к изменениям бóльшим, чем того хотели и ждали дворянские либералы.

Стр. 19. *...воспитаны на сказаниях о «пупе земли» и «голубиной книге».*— «Голубиная книга» или иначе «Глубинная» (от «глубины премудрости», в ней содержащейся) — сборник духовных стихов космологического содержания. Восходящая к апокрифу «Беседа трех святителей», она служила долгое время распространенным народным чтением.

Стр. 21. *...бледный сколок с различных Рене, Оберманов, Чайльд-Гарольдов и Вертеров.*— Герои произведений Шатобриана «Рене» (1802), Сенанкура «Оберман» (1804), Байрона «Чайльд-Гарольд» (1818), Гете «Страдания молодого Вертера» (1774).

Стр. 22. *Эти предания гласят нам: во-первых, что со словом надобно обращаться честно...*— По-видимому, Салтыков цитирует здесь по памяти слова Гоголя из «Выбранных мест из переписки с друзьями»: «Обращаться с словом нужно честно» (Н. В. Гоголь. Собр. соч. в 7-ми томах, М. 1967, т. 6, стр. 218).

Если мы и видим в области печати уклонения от честного обращения с словом и от правдивого отношения к действительности, то уклонения эти принадлежат исключительно остаткам старой литературы.— Вероятно, в первую очередь здесь имеется в виду А. Ф. Писемский с его антинигилистическим романом «Взбаламученное море» (1863). Эта характеристика могла относиться и к таким литераторам 40-х годов, как М. Н. Катков, Н. Ф. Павлов, А. А. Краевский. О переменах, происшедших с ними, Салтыков писал в статье «Литературные мелочи» (см. т. 6 наст. изд., стр. 482).

Стр 23. *...под условием уяснения тех положительных типов русского человека, в отыскивании которых потерпел такую громкую неудачу Гоголь.*— Речь идет о таких персонажах второго тома «Мертвых душ», как «одаренный божескими доблестями» муж — помещик Костанжогло, откупщик Муразов, идеальная Улинька.

Мы все чего-то ждем от Валаамовой ослицы, все думаем, что именно она, а не другой кто может заговорить.— Согласно библейской легенде (Числа, XXII, 27—28), ослица Валаама однажды заговорила, протестуя против несправедливых побоев. В данном случае образ «Валаамовой ослицы»

употреблен Салтыковым для обозначения дворянского общества, от которого, по мнению писателя, уже тщетно ждать новых вкладов в «рост русского человека» и русской литературы.

Стр. 27. *...представление о какой-то добродетели, над которой так язвительно и резонно смеялся Гоголь.*— Имеется в виду следующее место из гл. XI первого тома «Мертвых душ»: «А добродетельный человек все-таки не взят в герои. И можно даже сказать, почему не взят. Потому что пора наконец дать отдых бедному добродетельному человеку, потому что праздно вращается на устах слово «добродетельный человек»; потому что обратили в лошадь добродетельного человека, и нет писателя, который бы не ездил на нем, понукая и кнутом, и всем, чем ни попало; потому что изморили добродетельного человека до того, что теперь нет на нем и тени добродетели, а остались только ребра да кожа вместо тела; потому что лицемерно призывают добродетельного человека; потому что не уважают добродетельного человека» (Н. В. Гоголь. Собр. соч в 7-ми томах, т. 5, М. 1967, стр. 261—262).

Стр. 30. *Под свирелью пастушка...*— Цитата из стихотворения Г. Р. Державина «Русские девушки» (1799).

Первый писатель, которому удалось возбудить в публике вкус к мужику, был г. Григорович.— Имеются в виду повести «Деревня» (1846), «Антон-Горемыка» (1847), романы «Рыбаки» (1853), «Переселенцы» (1855—1856) и др.

Стр. 31. *...несомненно было жорж-зандовское происхождение его повествований..*— Имеются в виду произведения Жорж Санд, написанные в патриархально-сентиментальном духе и относящиеся к жанру «сельской повести»: «Чертова лужа» (1846), «Маленькая Фадетта» (1848), «Франсуа-найденыш» (1848) и др.

...на сцену явился г. Н. Успенский.— К рассказам Н. Успенского Салтыков относился отрицательно и посвятил им пародию «Полуобразованность и жадность — родные сестры» («Наша общественная жизнь».— «Современник», 1863, № 1—2; см. в наст. изд. т. 6, стр. 34—36).

Стр. 33. *...единственный элемент, который был способен внести в нее живую струю...*— Салтыков использует здесь выражение А. Скабического, давшее название его статье «Живая струя (Вопрос о народности литературы)» (*ОЗ*, 1868, № 4).

НОВАТОРЫ ОСОБОГО РОДА

Жертва вечерняя. Роман в двух книгах и четырех частях П. Боборыкина («Всемирный труд», 1868 г.)

(Стр 36)

Впервые — *ОЗ*. 1868, № 11, отд. «Совр обозрение», стр 33—44 (вып. в свет — 11 ноября). Без подписи. Как статья Салтыкова, но без аргументации, зарегистрирована в указателях С. А. Венгерова («Критико-биографический словарь писателей и ученых», т. IV, 1895, стр. 192 и 207),

А. В. Мезьер («Русская словесность с XI по XIX столетие включительно», ч. II, 1902, стр. 25) и в комментариях Н. В. Яковлева (*Письма, 1924,* стр. 61). Подтверждено на основании сравнительного текстового анализа С. С. Борщевским (*изд. 1933—1941*, т. 8, стр. 477—480) и, документально, опубликованным С. А. Макашиным фрагментом из рукописи воспоминаний П. Д. Боборыкина «За полвека», где сказано: «...в 1868 году там <в «Отеч. записках»> была напечатана анонимная рецензия на мою «Жертву вечернюю» (автор был Салтыков)...» (*ЛН*, т. 51—52, М. 1949, стр. 132).

Роман П. Д. Боборыкина «Жертва вечерняя», которому посвящена статья «Новаторы особого рода», был напечатан в 1868 г. в журнале «Всемирный труд», том самом журнале, где годом ранее появилась повесть В. П. Авенариуса «Поветрие» — первая часть романа «Бродящие силы».

Салтыков считал появление и успех романов типа «Жертвы вечерней» Боборыкина или «Бродящих сил» Авенариуса прискорбным знамением времени. Эти произведения, вместе с романом М. Стебницкого (Н. С. Лескова) «Некуда» и его же повестью «Воительница», Салтыков отнес к «клубничной литературе» [1], пользующейся особым успехом и процветающей в эпохи общественных кризисов и упадка идейных интересов [2].

В такие эпохи особую силу получает «секта клубницистов», то есть «пустых и ничтожных людей», поглощенных животно-низменными интересами («безделицей»), чуждых всякой идейности.

Салтыков считает не только возможным, но и необходимым изображение «умственного и нравственного хлама человека», в том числе и «безделицы», но лишь в качестве продукта всей системы общественных отношений. В произведениях же «клубничной литературы», в том числе и в романе Боборыкина, «безделица» — «этот гнуснейший из всех современных общественных хламов» — становится предметом изображения сама по себе, «просто как хлам», а не как «признак известного общественного строя». Между тем следовало бы показать ее связь с «умирающим миросозерцанием», выяснить причины ее «исторической устойчивости». Именно так мыслил свою задачу сатирика, летописца общественных нравов Салтыков. Поэтому, например, он не ограничился лишь публицистической характеристикой типа «барыни — идолопоклонницы Приапа» в своей статье о романе Боборыкина. Этот тип Салтыков разработал в сатирическом образе «куколки», появляющемся впервые в «Господах ташкентцах» (вдова Ольга Сергеевна Персианова — «Ташкентцы приготовительного класса. Параллель первая», 1871), а затем — в «Благонамеренных речах» («Еще переписка»), «Круглом годе», «Письмах к тетеньке» (см. об этом также в комментариях С. С. Борщевского — *изд. 1933—1941*, т. 8, стр. 478).

[1] Сатирическое понятие «клубника» (словцо гоголевского Ноздрева) Салтыков впервые употребил в «Нашей общественной жизни» (см. т. 6 наст. изд., стр. 16).

[2] См. далее рецензию на «Бродящие силы» В. П. Авенариуса — первую рецензию Салтыкова в «Отечественных записках».

В общую систему размышлений Салтыкова на тему об изображении современными беллетристами «нового человека» («Напрасные опасения», «Уличная философия» и др.) входят и его саркастические замечания в статье «Новаторы особого рода» о двух персонажах «Жертвы вечерней», призваниых олицетворять авторскую моральную тенденцию,— «новом человеке» Степе[1] и «совсем уже новом человеке» Кроткове. Салтыкова возмущает идейная ограниченность и плоскость этих якобы новаторов, тоже «новаторов особого рода», в сущности же — не более как пропагандистов «теории азов». Принципиальная неприемлемость для Салтыкова этой теории заключалась в убеждении ее сторонников, будто «возрождения» (в данном частном случае речь шла о возрождении «жертв общественного темперамента») можно достигнуть, «нимало не касаясь общественного строя».

В неприятии «теории азов», по-видимому, кроме всего прочего, заключен полемический намек на одну деталь тургеневской трактовки «нового человека» в лице Базарова. Один из пунктов «нигилистической» концепции Базарова как раз в том и состоял, что «сперва надо азбуке выучиться и потом уже взяться за книгу, а мы еще аза в глаза не видали».

В отрицательной характеристике «теории азов» скрыта также, может быть, принципиальная полемика с некоторыми положениями статьи «Письмо провинциала о задачах современной критики», напечатанной анонимно в третьей книжке «Отечественных записок» за 1868 г.[2] (автором ее был П. Л. Лавров[3]). С целью «разогнать ту тяжелую мглу, которая лежит на современной мысли», Лавров предлагал «у ч и т ь с а з о в». «В присутствии общего индифферентизма, повальной неохоты мыслить и недоверчивой администрации по делам печати,— говорилось далее в «Письме провинциала»,— надо себе определить *возможное* из требований жизни, отказаться без дальней думы от *невозможного,* отказаться от приемов и вопросов, теперь не достигающих цели, и затем смело и неуклонно, опираясь на закон, на чувство человеческого достоинства и на крепкое убеждение, идти в избранном направлении, осуществляя свою программу, борясь за прогресс, за истину, за жизнь». Возможно, что в этих тезисах Салтыков усмотрел ограничение задач передовой общественной деятельности, призыв к «возрождению посредством азов», программу узкого практицизма. Характерно, что именно в таком духе, но с положительным знаком, «Письмо провинциала» было истолковано журналом «Дело». Автор «Внутреннего обозрения» в № 12

[1] «Я не говорю, что этот Степа — сам автор,— писал впоследствии Боборыкин.— Но тогда я мог бы точно так же и *то же* говорить на тему о *проституции.* Это все — наблюдения, доставленные мне в первую же мою зиму в Париже» (П. Д. Б о б о р ы к и н. Воспоминания, т. I, М. 1965, стр. 458).

[2] Редакция «Отечественных записок», выразив в примечании свое согласие с основными принципами «Письма провинциала», указала, что не разделяет его взгляда на «разные частные явления нашей журналистики».

[3] См. Ф. В и т я з е в. Анонимная статья «О задачах современной критики» как материал по методологии современной эвристики.— «Звенья», т. VI, М.—Л. 1936.

«Дела» за 1868 г. П. Гайдебуров полностью поддержал идеи «Письма провинциала», а в салтыковских «Признаках времени» (*ОЗ*, 1868, № 8; впоследствии — «Литературное положение») и «Напрасных опасениях» (*ОЗ*, 1868, № 10) увидел иное понимание задач литературы и критики, нежели в «Письме» Лаврова. Возлагая вину за состояние современной литературы на публику, Салтыков будто бы предлагал сложить руки и ждать, когда публика «поумнеет и разовьется». И далее в довольно резких выражениях П. Гайдебуров отказывал «Письмам о провинции» Салтыкова в практическом значении хотя бы потому, что «они написаны до такой степени тяжелым языком и в таких отвлеченных выражениях», что попросту непонятны.

Много лет спустя, упомянув в своих воспоминаниях, что «Жертва вечерняя» доставила ему «успех скандала», Боборыкин в то же время возражал против того толкования романа, которое дал Салтыков. «Меня поддерживало убеждение в том,— оправдывался он в книге «За полвека»,— что *замысел «Жертвы вечерней» не имел ничего общего с порнографической* литературой, а содержал в себе *горький урок* и беспощадное изображение пустоты светской жизни, которая и доводит мою героиню до полного нравственного банкротства» [1]. Как бы предвидя такого рода возражения, Салтыков парировал их, заключив свою статью следующим утверждением: хотя Боборыкин и желает быть моралистом, носители моральной тенденции автора «лишены всякой жизненности» и занимают в романе «относительно ничтожное место».

Салтыков и в дальнейшем относился к творчеству и теоретическим (по поводу «экспериментального», натуралистического романа) высказываниям Боборыкина в общем неодобрительно, хотя несколько произведений автора «Жертвы вечерней» и было опубликовано в 70-х годах в «Отеч. записках» (в том числе уже в 1870 г. роман «Солидные добродетели»). Воспоминания Боборыкина о Салтыкове см. в книге: «М. Е. Салтыков-Щедрин в воспоминаниях современников», М. 1957; там же комментарий С. А. Макашина, посвященный взаимоотношениям Салтыкова и Боборыкина.

Стр. 36. *Могут ли представлять для литературы достаточный интерес биографии пустых и ничтожных людей?.. в последнее время.. заметна была наклонность разрешить его <этот вопрос> скорее в отрицательном, нежели в утвердительном смысле.*— По-видимому, подразумевается беллетристика журнала «Дело», в частности, романы Шеллер-Михайлова (см. в наст. томе рецензию на «Засоренные дороги» и «С квартиры на квартиру» А. Михайлова).

Стр. 38 *..последние гибнут непосредственно под грубыми, почти механическими ударами судьбы..* — Салтыков говорит о трагической участи «борцов с бессознательностью», русских революционеров, погибавших жертвами репрессий.

[1] П. Д. Боборыкин. Воспоминания, т. I, М. 1965, стр. 457.

...первые... гибнут в своих детях — Одна из постоянных тем салтыковского творчества, впервые еще иронически намеченная в следующих словах сентябрьской за 1863 г. хроники «Нашей общественной жизни»: «Каплуны... начинают подозревать, что в собственных их недрах завелось какое-то растлевающее начало, что собственные их дети, молодые каплунята, перестали ходить к обедне, не признают властей и надругаются над священным правом собственности» (см. т. 6 наст. изд., стр. 141—142). Этой теме были посвящены позднее рассказы «Непочтительный Коронат» («Благонамеренные речи»), «Больное место» («Сборник») и др.

Стр 42 *...Домбрович... развивает эстетические наклонности своей пациентки, давая ей читать «Liaisons dangereuses», «Mon noviciat» и других классиков* — По рекомендации Домбровича героиня «Жертвы вечерней» читает роман Шодерло де Лакло «Опасные связи» (в романе Боборыкина названный «Liaisons amoureuses» — «Любовные связи»), а также предельно откровенную «Исповедь» Ж.-Ж. Руссо («Les confessions de Jean Jeacques»)

Soupers à la régence — оргии в Пале-Рояле, резиденции Филиппа II Орлеанского — регента Франции при малолетнем Людовике XV (1715—1723).

ЛИТЕРАТУРА НА ОБЕДЕ

(Стр 48)

Впервые — *ОЗ*, 1868, № 11, «Современное обозрение», стр. 163—175 (вып. в свет — 11 ноября). Без подписи Авторство Салтыкова аргументировано С. С Борщевским (*изд. 1933—1941*, стр 480—483). Без упоминания имени Салтыкова и без аргументации статья приписана ему в полемической брошюре М А. Антоновича и Ю. Г. Жуковского «Материалы для характеристики современной русской литературы», СПб. 1869. На стр. 192 брошюры сказано по поводу окончания «Литературы на обеде», что статью эту написал *«тот же рецензент»*, которому принадлежит отзыв на сборник Д. Д. Минаева «В сумерках».

Подтверждение правильности атрибуции, предложенной С. С. Борщевским, содержится, по-видимому, во внутриредакционном письме Г. З. Елисеева, относящемся к «Литературе на обеде», к подготовке статьи к печати. «И Панютин и Марков,— писал Елисеев,— названы в фельетоне Незнакомца поименно. Следовательно, мы не только имеем право, но должны назвать их Иначе Скарятин обидится. Когда же будут названы все, двум первым обижаться нечем Разве что перлами названы. Тогда лучше перл заменить другим словом.— А без имен, умолченных нами по доброй воле, интенция будет казаться неблаговидною. Таково мое мнение, которое предоставляю решать Вам самим. Я же, к вышесказанному, еще прибавлю, что для журнала самое худшее подозрение — подозрение в кумовстве. Ваш Елисеев». Письмо это, опубликованное в «Лит. наследстве» (т. 51—52, М. 1949, стр. 248—249) как письмо к Некрасову, на том лишь основании, что

оно сохранилось в его бумагах, почти несомненно обращено к Салтыкову, и именно к Салтыкову как автору «Литературы на обеде». В качестве редактора публицистического отдела «Отеч. записок», по которому «проходила» статья, Елисеев имел право сделать свои замечания и затем «предоставить» их решение автору. Но он не мог, конечно, избрать такую форму — «предоставляю решать Вам самим» — по отношению к Некрасову, как ответственному редактору журнала. Кроме того, известно, что Некрасов не вмешивался, за редчайшими исключениями, в конкретное редактирование отдела, который вели Елисеев и Салтыков.

Восьмого октября 1868 г. состоялось открытие двух участков Орловско-Витебской железной дороги (Витебск — Смоленск — Рославль) На торжественном обеде, данном по этому случаю в Смоленске администрацией дороги, во время речи реакционного публициста В. Д. Скарятина присутствовавшие устроили скандал, усиленно комментировавшийся в печати Их возмущение вызвали выступления Скарятина в газете «Весть» с критикой справа правительственных реформ, его примирительное, по их мнению, отношение к полякам. Отражая взгляды наиболее закоренелых крепостников, недовольных реформой, Скарятин доказывал, что отмена крепостного права привела к нищете и разорению, что новые принципы «трудно совместить с монархическим порядком вещей» (см., например, «Весть», 1868, № 122 от 1 ноября). Затрагивая польский вопрос, защищая прежде всего сословные интересы, Скарятин осуждал нападки на поляков-помещиков, утверждения Каткова о «польской интриге» как о причине всех зол. Такая позиция встретила резкие возражения в ряде реакционных изданий (см., например, «Московские ведомости», 1868, № 156 от 18 июля, № 168 от 3 августа; «Москва», № 153 от 13 октября, № 154 от 15 октября; «Русский инвалид», № 303 от 5 ноября). Она определила и скандал в Смоленске, обструкцию, устроенную Скарятину смоленскими «либералами» и «патриотами», единомышленниками Каткова. Не случайно «Московские ведомости» рьяно поддержали устроителей скандала.

Салтыков одинаково иронически относится и к Скарятину и к смоленским «либералам-патриотам». Значение «скандала», по мнению сатирика, в том, что в обстановке застоя он все же как-то будит общественную мысль, будоража затхлую атмосферу, раскрывая в данном конкретном случае неприглядность позиций обеих сторон.

Упоминание о скандале в Смоленске см. также в рецензии Салтыкова, опубликованной в той же книжке «Отеч. записок» (см. стр. 285—286 наст т.).

Статья «Литература на обеде» вызвала ряд откликов, враждебных и сочувственных. В обзоре «Журналистика» («СПб. ведомости», 1868, № 317) В. П. Буренин писал, что анонимный автор статьи трактует «с новой точки зрения надоевшую историю со Скарятиным». Позднее тот же Буренин упоминал о шутливом фельетоне в «Отечественных записках» «по поводу известного происшествия с г. Скарятиным в Смоленске». «В этом фельетоне,— писал Буренин,— развязно доказывалось, что русское общество идет

к развитию рядом скандалов и что, таким образом, полезное влияние последних не подлежит сомнению. Этот милый фельетон, заключавший в себе, так сказать, редакционную философию скандала», уясняет «довольно ярко, что́ за направление таится в возрожденных «Отечественных записках» («СПб. ведомости», 1872, № 144 от 27 мая, «Журналистика»).

Буренин, стремясь доказать, что некрасовские «Отечественные записки» — издание спекуляторское и беспринципное, истолковывал статью «Литература на обеде» как смакование скандалов, как проявление мелочного зубоскальства. Аналогичным образом осмыслялось выступление Салтыкова и в «Материалах для характеристики современной русской литературы» Жуковского и Антоновича Здесь утверждалось, что смысл «Литературы на обеде» сводится к любованию «скандальчиками», определяется стремлением уйти от обсуждения серьезных общественных вопросов, от борьбы с официозно-либеральной журналистикой, обратившись к легковесным издевкам «над несчастным г. Скарятиным, битым, перебитым, убитым и окончательно лежачим» (стр. 78). На эти нападки отвечал Ив. Рождественский в брошюре «Литературное падение гг. Антоновича и Жуковского», СПб. 1869, стр. 22, 23. Отвергая толкование, высказанное в «Материалах», Рождественский показывает, что редакцию «Отечественных записок» необходимость заставляет говорить о «скандалах», а не «о ненормальности современного политического строя» (стр. 23). По мысли Рождественского, мелочность вопросов, затронутых в «Литературе на обеде», лишь мнимая, определяемая положением подцензурной печати· «Возмущаться против либеральных оглавлений и точек, по моему мнению, то же, что возмущаться тем, что турецкая печать не нападает на турецкого султана с той же свободою, с какою североамериканские газеты читают внушения президентам Соединенных Штатов» (стр. 23—24).

С. С. Борщевский считает, что Ф. М. Достоевский в «Дневнике писателя» за 1873 г. («Полписьма «одного лица») пародирует статью «Литература на обеде» (*изд. 1933—1941*, т. 8, стр. 21).

Стр. 48 *...твоя ученость не восходит выше учености покойного «Свистка»*.— Подразумевается «ученость» сатирических масок, вымышленных персонажей — «авторов» произведений, помещавшихся в «Свистке» (Козьма Пруцков, Конрад Лилиеншвагер и пр).

Стр 49 *История России, в особенности новейшей, есть история ее обедов* ..— В связи с усилением реакции в период и после польского восстания 1863 г. торжественные обеды, на которых выражались «патриотические» чувства, провозглашались верноподданнические тосты, принимались адреса, стали широко распространенным явлением (см. т. 6 наст. изд., стр. 124—125). Весной 1867 г., в связи с приездом в Россию делегаций западных славян, число таких обедов особенно возросло Без сообщений о них в мае — июне не обходился почти ни один номер газет (см., например, «Голос» за эти месяцы 1867 г.).

Константин Багрянородный знает его уже цветущим и богатым. —

Византийский император Константин Багрянородный упоминает о Смоленске в сочинении «Об управлении империей».

В XII веке Смоленск уже блистал классическим образованием, изучая греческий и латинский языки...— Ироническое сближение смоленских «патриотов» с Катковым, ярым сторонником классического образования.

..Смоленск сделался, по выражению наших предков, д о р о г и м о ж е р е л ь е м России . ...не менее Москвы, дорожила и Литва. Смоленск поочередно переходил то к той, то к другой.— Этими словами, по преданию, назвал Смоленск Борис Годунов, посланный в конце XVI в. для укрепления города (см П. Н и к и т и н. История города Смоленска, М. 1848, стр. 126). Такая характеристика Смоленска стала широко распространенной в официально-патриотических кругах (см., например, сб. А. К. Ильенкова «Смоленск, дорогое ожерелье царства русского», СПб. 1894). Упоминание о легкости, с которой Смоленск переходил то на сторону России, то на сторону Литвы, заставляло с особенной иронией воспринимать слова о «глубине и древности его патриотических чувств», о том, что он «всегда горел патриотическим жаром», делало особенно смешным возмущение смоленского дворянства «пропольской» ориентацией Скарятина. Такое упоминание противоречило указаниям негласной цензурной инструкции министерства внутренних дел от 21 декабря 1863 г.: «Противно цензурным правилам <..> доказывать мнимую принадлежность Смоленска Литве» («Сборник распоряжений по делам печати с 1863 по 1 сентября 1865», СПб. 1865).

Стр 50. .. *который целую жизнь не мог забыть, что рижские немцы взяли с него два червонца за десяток яиц.*— Анекдот о жадном трактирщике, взявшем с Петра I, во время путешествия царя, большую сумму денег за провизию, весьма распространен в различных вариантах (см., например, «Семейные вечера», 1867, № 3, стр. 100—101).

Так .. понял свое и других положение Незнакомец.— Под этим псевдонимом печатал свои фельетоны А. С. Суворин. Об открытии дороги, скандале в Смоленске и пр. он писал в большом фельетоне «Недельные очерки и картинки» («СПб. ведомости», 1868, № 280 от 13 октября). Примерно в том же духе излагался материал и в фельетоне Нила Адмирари (Л. К. Панютина) (см. «Голос», 1868, № 283 от 13 октября).

.. а в Пскове даже древностей не забыл.— Имеются в виду следующие слова фельетона: «Древний Псков, в котором мы обедали при оглушительном реве музыки, пробуждал в душе исторические воспоминания».

Стр. 52. *...затаить на этот раз в душе своей свои поворотные убеждения и высказывать одни только б е с п о в о р о т н ы е.*— Имеется в виду, что Скарятин строил свою речь в стиле официального патриотизма, говоря о «русском духе», «русских силах», которые «напрут на окраины», обходя те проблемы, трактовка которых в «Вести» вызывала недовольство сторонников Каткова (о «внутренних язвах» России, о вреде реформ, о необходимости снисходительного отношения к польским помещикам и т. п.).

Стр. 53. *...что он утверждал солидарность русского общества с Каракозовым, что он проповедовал гибельность реформ* — В 1866 г., после

покушения Каракозова, Скарятин в ряде статей возражал против катковского объяснения случившегося происками «польской интриги» («Весть», 1866, №№ 27, 29, 31 от 11, 18, 25 апреля и др.). Он связывал покушение с общественной атмосферой России, с революционным движением, не имеющим ничего общего с Польшей. По словам Скарятина, покушение — результат болезни, «которой заражено русское общество», «тех язв, которые снедают русское общество» (№ 31). О пагубных следствиях реформ Скарятин писал неоднократно, замечая, однако, что речь идет не столько о самих реформах, сколько о выполнении их (см., например, передовую «Вести», 1868, № 122). В № 303 «Русского инвалида» от 5 ноября 1868 г. утверждалось, что все содержание «Вести» направлено против реформ. Так же оценивали направление «Вести» катковские издания. По словам Суворина, подобные толки повторялись и во время смоленского обеда.

Первое известие о скандале.. сообщил сам Скарятин в своей газете «Весть».— В № 114 от 11 октября кратко сообщалось о скандале в Смоленске. Автор старался сгладить происшедшее, говорил, что мнения разделились, что лишь случайно заигравшая музыка помешала ему кончить речь. Он умалчивал о продолжении скандала, завершая свою заметку похвалой Смоленску, его истории, патриотизму его жителей. В № 117 от 18 октября Скарятин вынужден был вновь возвратиться к происшествию в Смоленске. Возражая на отклики «Русского инвалида» и «Московских ведомостей», Скарятин старался доказать, что скандал вызван вовсе не направлением «Вести». Он не соглашался с опасениями Н. Юматова, что, при таком поведении дворян, как в Смоленске, журналисты станут редкими гостями на подобных празднествах («Новое время», № 201 от 14 октября). По Скарятину, не представители «свободного слова», а его ненавистники будут встречать отпор общества. Наиболее сочувственно относится Скарятин к статье «Русских ведомостей» (см. ниже), объясняющих скандал избытком вина.

Стр. 54. *Не вполне понял с у т ь случившегося.* .— Подразумеваются попытки Скарятина преуменьшить значение скандала, объяснить его случайным недовольством немногих из присутствующих, избытком вина и пр. По Салтыкову, в скандале сказалась именно та нетерпимость к независимым, самостоятельным мнениям, которая была характерна для Скарятина.

...известного поступка пермских мужиков в прошедшем году с Сен-Лораном — Летом 1867 г. пермские крестьяне приняли за поджигателя чиновника Сен-Лорана (см. «Голос», 1867, № 251 от 11 сентября. Об истории с Сен-Лораном см. «Новости петербургской жизни».— *ЛН*, т. 71, М. 1963, стр. 272—273).

...отнесся редактор «Нового времени» Юматов.— В №№ 200 и 201 «Нового времени» от 12 и 14 октября с негодованием говорилось о скандале. Особенно резко Юматов осуждал зачинщиков скандала, Каткова, «Московские ведомости», во второй статье, утверждая, что для поддержания порядка среди таких людей, как участники обеда, нужна была бы кавалерийская нагайка и несколько дюжих вахмистров.

Стр 55. *.. двух статей, написанных по поводу смоленского происшествия «Московскими ведомостями».*— О скандале в Смоленске говорилось в передовых №№ 221 и 224 от 13 и 17 октября. Катков оправдывал зачинщиков скандала, обвинял Скарятина в защите интересов «панов и ксендзов». Направление Скарятина объявлялось антирусским, антипатриотическим, враждебным всему, что идет на пользу России. Катков намекал, что деятельность Скарятина так же враждебна России, как выступления Герцена. Резко осуждался и Юматов, призывающий, по словам Каткова, пустить нагайки против русских патриотов. Кроме названных передовых, о скандале в Смоленске, о Скарятине говорилось в письмах «Из Смоленска», «Из Псковской губернии» (№№ 223, 231 от 16 и 26 октября), в заметке «Из Петербурга» (№ 230 от 25 октября), в передовой № 238 от 3 ноября (отклик на выступление «Вести» против «Русского инвалида»).

Стр. 56. *«Русские ведомости» идут еще дальше Юматова...*— Подразумевается передовая № 222 от 13 октября. В ней резко осуждались зачинщики скандала, которые, по мнению редакции, ничем не отличаются от ватаги подгулявших чернорабочих.

Стр 57. *Слово «патриот» в наше время очень скользкое и неопределенное.*— Имеется в виду спекуляция реакционных кругов на слове «патриот» Под знаменем «патриотизма» выступали самые реакционные публицисты, в первую очередь Катков.

...во время Гоголя имело слово: «добродетельный человек».— Подразумеваются рассуждения Гоголя о «добродетельном человеке» в XI главе I тома «Мертвых душ» (см прим. к стр. 27).

...давно ли Москва сомневалась не только в патриотизме всей петербургской литературы вообще, а даже в патриотизме и самого Петербурга? — Речь идет о нападках московской реакционной журналистики на «петербургскую атмосферу», способствующую развитию «нигилизма» (см., например, «Московские ведомости», 1863, статью Щебальского «Наши космополиты» в № 51, передовые №№ 181, 214 и др.).

.. одна из газет... высказала мнение ..— Имеется в виду статья «Нового времени», № 201 (см. выше, прим к стр. 54).

Стр. 58. *.. скандал у нас есть пока единственный двигатель мысли общественной и литературной.*— Эти слова противники «Отечественных записок» пытались истолковать как оправдание «скандалов» (см «Материалы для характеристики современной русской литературы», стр. 196). На самом деле речь шла об ином: «в стране, где нет полной свободы слова, где некоторая свобода слова дана только для опыта, и то избранным», не может быть, по мысли Салтыкова, серьезной литературно-общественной жизни. Она может проявляться лишь в формах, подобных смоленскому скандалу.

Стр. 59. *...начинают говорить о смертной казни.*— См., например, передовую газеты «Москва» (1868, № 18 от 24 апреля), статью «Заграничная жизнь» («СПб ведомости», 1868, № 172 от 26 июня).

...о необходимости новой кодификации свода законов.— См , напри-

мер, передовую «СПб. ведомостей» (1868, № 262 от 25 сентября) о судебной реформе, о необходимости «радикальной кодификации нашего свода законов».

...о замыслах Наполеона на Пруссию. .— См , например, «Москва», 1868, № 16 от 21 апреля.

Кой-где встретится заметка в газетах ..— См , например, упоминания о волнениях в Рязанской губернии, о сборе недоимок, о продаже крестьянского скота («Биржевые ведомости», 1867, № 347 от 25 декабря)

Стр. 60. *...ведь не киргизские у нас степи..* — Киргизская орда, киргизские степи, Ташкент — административный центр этого района — в конце 60-х годов были символом беспорядка, волнений, общественного неустройства. В письме «Из Псковской губернии» (см. выше) Скарятин обвинялся, в частности, в том, что он считает, будто Россия «похожа на Киргизскую орду». Ироническое замечание Салтыкова имеет, видимо, двоякий смысл: 1) мы даже на настоящий «скандал» не способны, нет оснований ожидать у нас серьезных волнений, 2) не так уж мы отличаемся от Киргизской орды, как кажется на первый взгляд. От второго толкования тянутся нити к «Господам ташкентцам».

УЛИЧНАЯ ФИЛОСОФИЯ

(По поводу 6-й главы 5-й части романа «Обрыв»)

(Стр. 61)

Впервые: *ОЗ*, 1869, № 6, отд. «Совр. обозрение», стр. 127—159 (вып. в свет — 5 июня). Без подписи. Авторство Салтыкова указано, без аргументации, А. В. Мезьер («Русская словесность с XI по XIX столетие включ.», ч. II, СПб. 1902, стр. 74), подтверждено на основании письма Салтыкова к Н. А. Некрасову от 22 мая 1869 г. В. Е. Евгеньевым-Максимовым («Печать и революция», 1927, кн. 4, стр. 58).

Статья представляет собой одно из значительных выступлений Салтыкова в защиту революционной молодежи от так называемой «антинигилистической» критики; была отмечена цензурой в годовом обзоре как «предосудительная» и как характеризующая направление «Отечественных записок» (*ЛН*, т. 51—52, М. 1949, стр. 360—362).

Так как изображение «нового человека» — Марка Волохова — в романе Гончарова «Обрыв», по существу, смыкалось с тем представлением о революционерах, которое насаждала «антинигилистическая» литература, Салтыков посвятил свою статью преимущественно этой теме. В письме к Некрасову 22 мая 1869 г. Салтыков сообщал, что написал статью «по поводу «Обрыва», то есть не касаясь собственно романа, а философии Гончарова».

Речь в статье идет о трех основных проблемах, решение которых объясняет салтыковскую оценку произведения Гончарова: 1) об отношении творчества писателя к его мировоззрению, 2) об отношении общества к прогрессу, в частности — к развитию передовой философской и естествен-

ноиаучной мысли, 3) о роли крупнейших литераторов 40-х годов в современном общественном движении.

Салтыков восстает против «ходячего учения» о будто бы индифферентной по отношению к миросозерцанию силе художественности: «...интерес беллетристического произведения, при равных художественных силах, всегда пропорционален степени умственного развития автора». «Литература и пропаганда — одно и то же». В неясности идейной позиции, в «добросовестном заблуждении» видит Салтыков главную причину творческой неудачи Гончарова. Не будучи глубоким мыслителем, Гончаров, по мнению критика, в прежних своих произведениях сохранял необходимый такт, позволявший ему, талантливому художнику, оставаться в рамках «преданий роковых годов» Автору «Обрыва» изменил этот такт, его вторжение в область философии оказалось несостоятельным. Его Волохов — воплощение примитивного «бытового нигилизма» — преподносится читателю как некий «доктринодержатель», идеолог передовой молодежи.

Эволюция Гончарова, по мнению Салтыкова, отражает определенную закономерность в творческой судьбе ряда выдающихся литераторов 40-х годов· «решившись знакомить публику с своим миросозерцанием, все известнейшие русские беллетристы высказали взгляды совершенно однородные, все стали на сторону уличной морали, на сторону заповеданного, общепринятого и установившегося, против сомневающегося, неудовлетворенного и ищущего» (имеются в виду, очевидно, прежде всего Писемский, автор «Взбаламученного моря», отчасти Тургенев, Достоевский и теперь — Гончаров). Высоко оценивая историческую роль людей 40-х годов, вождем которых был Белинский, Салтыков, сам представитель этой славной плеяды русских литераторов, зовет их продолжить начатое великое дело в новых исторических условиях. Салтыков с горечью отмечает, что у большинства деятелей 40-х годов на такой подвиг не хватило ни подготовки, ни решимости, но что именно так «поступили бы те знаменитые покойники» (то есть Белинский и Грановский).

Салтыков не упоминает об авторском предисловии к роману «Обрыв», хотя оно могло бы служить подтверждением его мысли о серьезных переменах, происшедших в сознании писателя. Гончаров признавался, что в первоначальном замысле «Обрыва», относящемся к середине 50-х годов, образ Марка Волохова-нигилиста отсутствовал, что его появление связано с более поздним временем («Вестник Европы», 1869, кн. 1, стр. 5—6).

Анализ рассуждений и поступков Марка Волохова дает возможность Салтыкову всесторонне обосновать главный тезис· изображение «новых людей» в романе Гончарова свидетельствует об антиисторическом, консервативном взгляде на действительность, о защите обывательской, «уличной» философии. Эзоповский образ «улицы», стихийно-консервативной, приверженной к существующему порядку вещей, освященному традицией, широко используется в эти годы и Салтыковым, и другими публицистами «Отечественных записок» (см., например, статьи «Напрасные опасения», «Насущ-

ные потребности литературы», рецензию на роман Омулевского «Шаг за шагом» и др.).

«Улица» — это мир примитивных, обывательских представлений, понятий, перевернутых наизнанку. Обличая этот мир, Салтыков возвращает понятиям их подлинное содержание. Так, название «отрицателей», которым консервативная печать бранит критически настроенную молодежь (нигилистов), он адресует самим охранителям порядка: «..первый акт возбужденной человеческой мысли и составляет то, что на улице слывет под именем отрицания. Очевидно, однако ж, что это совсем не отрицание, а именно только первый шаг к познанию истины, и что отрицанием приличнее было бы, напротив того, назвать такой акт человеческой мысли, который упорно отказывается от познания истины, который согласен, чтоб человечество гибло жертвою своего невежества..». Эти рассуждения Салтыкова предвосхищают его, полный глубокого революционного смысла, парадокс в пятой главе «Итогов», написанной спустя два года и запрещенной цензурой. За это время произошло много перемен. европейская реакция торжествовала победу над парижскими коммунарами, в России готовился судебный процесс по «нечаевскому делу», в связи с чем «уличная» пресса огульно нападала на всю передовую молодежь — «отрицателей» и «анархистов». И вот автор «Итогов» неожиданно называет анархистами... апологетов застоя: Не справедливо ли будет, если мы назовем «анархическим такое состояние общества, когда оно самодовольно засыпает...» (см. наст. изд, т. 7). И далее, там же: анархия-то в том именно и заключается, что ум человеческий утрачивает способность обобщений и весь погружается в тину мелочей и подробностей. Возникает салтыковский термин «анархия успокоения», который определяет социально-политическую почву «уличной философии».

По мнению Салтыкова, Волохов показан с позиций этой именно философии, отождествляющей область недозволенного с областью неверного. Несостоятельность Волохова как борца за передовые идеи Салтыков подчеркнул впоследствии с новой сатирической остротой: в очерке «Помпадур борьбы или проказы будущего» (1873) помпадурша Анна Григорьевна Волшебнова сообщает Феденьке Кротикову, что Волохов стал преданным человеком «— Я знаю это и не раз об этом думал, душа моя!» — отзывается помпадур. «Но Волохов еще так недавно сделался консерватором, что не успел заслужить полного доверия. Не моего, конечно,— я искренно верю его раскаянию! — но доверия общества.» (см. т. 8, стр 184—185).

Псевдогероям вроде Волохова Салтыков противопоставлял в своей статье цельную натуру героя из романа Фр. Шпильгагена «Один в поле не воин», и как бы в подтверждение и разъяснение этой мысли рядом с «Уличной философией» была помещена статья М. К. Цебриковой «Женские типы Шпильгагена» (по романам «Загадочные натуры» и «Из мрака к свету»).

Гончаров с раздражением реагировал на статью «Уличная филосо-

фия» в двух письмах к С. А. Никитенко Писатель не пытался проникнуть в существо спора. «Говорят, в «Отечественных записках» появилась ругательная статья «Уличная философия» на мою книгу. Буренин ли написал ее или сам Щедрин, который все проповедовал, что писать изящно — глупо, а надо писать, как он, *слюнями бешеной собаки*...— и все из того, чтоб быть первым!» [1] И несколько позднее. «Если статью в «Отечественных записках» подписал не Скабичевский, то ее писал Щедрин, то есть Салтыков. А этот господин ровно ничего не понимает в художественной сфере... Он карал и казнил город Глупов, чиновный люд, взяточников-генералов — и, играя на одиой струне, других не признает, требуя, чтобы в литературе все ругались только, как он» [2].

Вскоре, в октябрьском номере «Отечественных записок» за 1869 г., появилась большая статья А. М. Скабичевского об «Обрыве» — «Старая правда». Развивая один из тезисов Салтыкова, критик писал, что Гончаров «увлекся желанием попробовать свои силы на чуждой ему почве, и перестал быть поэтом». Критик ссылается на предисловие к роману, где речь идет о давнишнем замысле произведения и новых лицах, и полемизирует с таким творческим методом. Считая изображение старого мира большой удачей Гончарова, Скабичевский находит, что образы «Веры, и в особенности Волохова, полны несообразностей и противоречий». Стремясь представить Веру титанической натурой, автор, по мнению Скабичевского, подчас рисует ее «нервной, чувствительной и слабой барышней». Эту тему продолжила Цебрикова в статье «Псевдоновая героиня» (1870, № 5).

Значительно более резко, но, по существу, в том же направлении критиковали «Обрыв» публицисты журнала «Дело». Сюда относится прежде всего известная статья Н. В Шелгунова «Талантливая бесталанность» (1869, № 8) и «Новые романы старых романистов» С. С. Окрейца (1869, № 9).

Даже в журнале, напечатавшем роман Гончарова,— «Вестнике Европы»,— в статье Е. И Утина «Литературные споры нашего времени» (1869, № 11) говорилось: «Вместе с законченною ролью Лаврецких, Бельтовых, Рудиных и их последним словом Обломовым <этим мастерским типом, этой славой Гончарова>, закончилась, собственно говоря, и прежняя роль писателей старого направления. <...> Очевидно только, что, изображая молодое поколение в <...> грубой фигуре Марка Волохова, писатели старшего возраста показали, что они имеют мало общего с стремлениями людей новых идей и что они значительно потеряли то чутье, которое прежде не допускало их рисовать ни одного фантастического типа. Так или иначе, старые типы износились, исчерпаны, прежняя роль старых писателей выполнена, и для русской литературы уже несколько лет как наступила новая эпоха».

Среди многих статей, посвященных «Обрыву», хронологически ранней

[1] Л. Утевский. Жизнь Гончарова, М. 1931, стр. 210
[2] А. Г. Цейтлин. И. А. Гончаров, изд-во АН СССР, М. 1950, стр. 275—276.

и наиболее глубокой по смыслу была салтыковская «Уличная философия», в которой критик горячо отстаивал общественные и эстетические убеждения революционной демократии.

Стр. 62. *...в таком философском трактате, как, например, «голубиная книга»* .— См. прим. к стр. 19.

Стр. 63 *..литературою легкого поведения...*— Намек на статью М. А. Антоновича «Литературное лицемерие «Отечественных записок» Вопрос, представляемый на разрешение легкой литературе» («Космос», 1869, № 4). Подробно о позиции Антоновича и причинах его нападок на «Отеч. записки» см. в рецензии Салтыкова на «Материалы для характеристики современной русской литературы» (наст. том, стр 324—335).

Стр 65. *...особливо ежели содержание ее детское...*— Ср рассуждения Салтыкова о «детских мыслях» в наст. томе, стр 281.

Стр 69 *это будет выполнено в одной из ближайших книжек нашего журнала.* — В октябрьской книжке «Отечественных записок» за 1869 г. напечатана статья Скабичевского «Старая правда».

Благочестивые живописцы.. избегают всего, что могло бы напомнить о человеческом образе при взгляде на эту отверженную фигуру.— Свою интерпретацию евангельской легенды об Иуде Салтыков дал в ноябрьской хронике «Нашей общественной жизни» за 1863 г. (текст этот не был пропущен в печать). См т. 6 наст. изд., стр. 153, а также комментарий на стр 616

Стр. 70. *...образцы которых мы видели у гг. Стебницкого и Авенариуса, не говоря уже о г. Писемском..* — Речь идет об «антинигилистических» романах Н. С. Лескова (псевд. М. Стебницкий) «Некуда» (1864), А. Ф. Писемского «Взбаламученное море» (1864) и повестях В. П Авенариуса «Современная идиллия» (1865) и «Поветрие» (1867), изданных вместе под названием «Бродящие силы» (1867). Подробную характеристику романа «Некуда» и книги «Бродящие силы» — см. в рецензиях Салтыкова на стр. 335—373 и 237—242.

..всякого рода киниками...— Возможно, имеется в виду персонаж из «Взбаламученного моря» — Иона-киник.

Стр 72. *Шекспировский Фальстаф* — известный персонаж из пьес Шекспира («Хроника короля Генриха IV», «Виндзорские проказницы»)

Стр. 74. *...устраивает ассоциацию работников, становится во главе социального и политического движения...*— Об отношении Салтыкова к «ассоциациям работников» (то есть рабочих) см. в наст. томе рецензию на кн. «Задельная плата и кооперативные ассоциации» Жюля Муро и комментарий к ней.

Люди порядочные и в врагах своих видят людей порядочных.. — Намек на выступление Антоновича и Жуковского против Некрасова, Елисеева и самого Салтыкова (см. рецензию Салтыкова «Материалы для характеристики современной русской литературы»)

Стр. 74—75. *..по роману Клюшникова «Марево».*— Отрицательную

оценку этого романа, опубликованного в «Русском вестнике» (1864, № 2—3, 5) Салтыков дал в хронике «Наша общественная жизнь» (*С*, 1864, № 3). См. наст. изд., т. 6, стр. 315—321. Критике «Марева» посвящена статья Писарева «Сердитое бессилие» («Русское слово», 1865, № 2).

Стр. 75 *...в недавней повести Гл. Успенского «Разорение».*— Серия очерков Г. И. Успенского «Разоренье». Высоко оценивая многие сцены «Разоренья», Плеханов (в статье «Гл. И. Успенский») замечал, что иногда главный герой играет «роль какого-то Чацкого из рабочих».

Стр. 79. *Самый процесс жизни* и т. д.— Курсив в цитатах из «Обрыва» везде принадлежит Салтыкову.

Стр. 85. *...так ты, значит, отрицаешь в с ё!* — По видимому, Салтыков напоминает здесь читателю спор Базарова с Павлом Кирсановым: «— Мы действуем в силу того, что мы признаем полезным,— промолвил Базаров — В теперешнее время полезнее всего отрицание,— мы отрицаем.— Всё? — Всё.— Как? не только искусство, поэзию... но и... страшно вымолвить ..— Всё,— с невыразимым спокойствием повторил Базаров» («Отцы и дети», глава X).

Стр. 88. *...с прилагательными именами надлежит обращаться с большею разборчивостью, нежели та, с которою обращался повар Ноздрева с ингредиентами стола своего барина.*— «Обед, как видно, не составлял у Ноздрева главного в жизни,— пишет Гоголь,— блюда не играли большой роли; кое-что и пригорело, кое-что и вовсе не сварилось. Видно, что повар руководствовался более каким-то вдохновеньем и клал первое, что попадалось под руку: стоял ли возле него перец — он сыпал перец, капуста ли попалась — совал капусту, пичкал молоко, ветчину, горох, словом, катай-валяй, было бы горячо, а вкус какой-нибудь, верно, выдет» («Мертвые души», т. 1, глава IV).

Стр. 91. *...что новейшие физиологи у низших организмов признают душу и что наши ученые переводят трактаты об этом на русский язык...*— Большой популярностью в те годы у передовых русских биологов и медиков пользовались труды выдающегося французского ученого Клода Бернара, который был основателем экспериментальной физиологии. В русском переводе вышли: «Введение к изучению опытной медицины» (1866), «Лекции физиологии и патологии нервной системы» (1866—1867), «Курс общей физиологии. Свойства живых тканей» (1867) и др. М. А. Антонович начал переводить большой труд К. Бернара «Курс общей физиологии. Жизненные явления, общие животным и растениям». Хотя по своему прямому значению слова́ Салтыкова имеют в виду такие переводы, мысль критика в этой эзоповской форме обращается к событиям более важным для развития русской науки. 60-е годы были временем, когда вышли в свет работы И. М. Сеченова, составившие эпоху в отечественной и мировой науке. Психофизиологический трактат Сеченова «Рефлексы головного мозга» появился в 1863 г. в «Медицинском вестнике». Сеченов доказывал, что явления сознательной и бессознательной жизни по природе своей — рефлексы. Первоначально автор предполагал напечатать эту свою работу под названием «По-

пытка ввести физиологические основы в психические процессы» в «Современнике», поскольку мировоззрение воинствующего материалиста объединяло его с органом революционной демократии. Однако цензура разрешила печатать трактат только в специальном журнале и под другим заглавием. На отдельное издание «Рефлексов головного мозга» в 1866 г. был наложен арест. Стоял вопрос о привлечении автора, «философа нигилизма», к судебной ответственности В 1863 г. Сеченов опубликовал новый труд — «Исследование центров, задерживающих отражение движения в мозгу лягушки», в 1866 г.— «Физиологию нервной системы».

..что новейшая философия все больше и больше отдает предпочтения антропологическому принципу и что книжки об этом также переводятся на русский язык...— Первый русский перевод книги основоположника «антропологического принципа» Л. Фейербаха вышел в Лондоне в 1861 г. (перевод П. Н. Рыбникова), но еще задолго до того, начиная с 40-х годов этот манифест материализма оказывал громадное революционизирующее влияние на деятелей русского освободительного движения. В 1860 г. последователь и продолжатель Фейербаха Чернышевский напечатал свою работу «Антропологический принцип в философии» («Современник», № 4—5), о чем, судя по контексту, и напоминает Салтыков. Имена Чернышевского и Сеченова были знаменем русской революционной молодежи, и то, что автор статьи «Уличная философия» ставил их рядом, вряд ли укрылось от взора внимательного современника.

Стр. 94 *Темно всюду, глухо всюду. Быть тут чуду, быть тут чуду!* — Несколько измененная цитата из второй части поэмы А. Мицкевича «Дзяды».

НАСУЩНЫЕ ПОТРЕБНОСТИ ЛИТЕРАТУРЫ

(Свобода речи, терпимость и наши законы о печати, СПб. 1869)

(Стр. 96)

Впервые — *ОЗ*, 1869, № 10, отд. «Совр. обозрение», стр. 159—180 (вып в свет — 15 октября). Подпись — С. Авторство без аргументации указано Н В Яковлевым (*Письма, 1924,* стр. 57) и предположительно В В. Гиппиусом (*Z. f. sl. Ph.;* S. 184), подтверждено на основании сравнительного тематико-стилистического анализа С. С. Борщевским (*ЛН*, т. 13—14, М. 1934, стр 81—96).

Автором книги о «свободе речи», выход которой в свет дал Салтыкову повод высказаться по кардинальным проблемам литературного развития и современного положения литературы, был известный впоследствии экономист, социолог, публицист народнического толка Василий Васильевич Берви, писавший под псевдонимом «Н. Флеровский». Он выступил в защиту репрессированных студентов после студенческих волнений осени 1861 г., вскоре был арестован и выслан из Петербурга. В 1866 г. в Вологде он встречался с сосланными туда же П Л. Лавровым и Н. В. Шелгуновым.

Книга «Свобода речи, терпимость и наши законы о печати», законченная Берви в Твери (под предисловием стоит дата: 8 мая 1869 г.[1]), представляет собой публицистическое выступление в защиту «свободы слова» в России, подкрепляемое историческим очерком положения «слова», то есть печати, в разных странах Европы, Азии и Америки. Одна из центральных идей книги заключается в том, что дальнейшее развитие России по пути, намеченному реформой 1861 г., невозможно без свободы слова Стеснение же свободы слова цензурой и другими административными мерами никогда не достигает тех целей, которые таким стеснением преследуются Напротив, как сказано в предисловии Берви-Флеровского к его книге, цитируемом Салтыковым, при стеснении свободы слова «развитие государства делается болезненным и сопровождается потрясениями»[2]. Развертывая в настоящей статье всесторонний анализ состояния и задач литературы, Салтыков опирается на идеи, высказанные им ранее, в частности, в «Признаках времени» (в особенности в очерках «Литературное положение» и «Легковесные»), в статьях «Напрасные опасения» и «Уличная философия». Салтыков широко пользуется уже сложившимися в его публицистике эзоповыми образами («призраки», «легковесные», «охочие птицы», «уличные истины» и др.).

Одно из самых характерных проявлений заполонившего общество «торжества легковесности», писал Салтыков в очерке «Легковесные»,— «доходящая до остервенения ненависть к мысли» (т. 7 наст. изд., стр. 47).

«Кодекс легковесности», констатируется уже в самом начале комментируемой статьи, требует «умерщвления свободы слова», заменяет разум призрачной эмпирической истиной, «нелепым и близоруким убеждением», которое «ложится в основу целого порядка вещей, дает начало какой-то фантастической действительности» (так возникает важнейшее в системе салтыковских идей и в его поэтике понятие). Салтыкова тревожит характерное для этой фантастической, неразумной, призрачной действительности извращение отношений литературы и общества

Неизменный и постоянный пропагандист активной общественной роли литературы, Салтыков смотрит на ее современное положение и иде-

[1] В этом же 1869 г. появилась и другая его книга — «Положение рабочего класса в России», которую высоко ценили — как богатый свод фактических сведений о жизни, труде, экономическом положении русского крестьянства — Маркс, Энгельс и Ленин. Вскоре вышло в свет сочинение В. В. Берви-Флеровского, популярное среди революционеров-семидесятников — «Азбука социальных наук» (ч. 1—2, 1871).

[2] Ранее этот тезис был развит, например, М. Антоновичем в статье «Надежды и опасения (По поводу освобождения печати от предварительной цензуры)», напечатанной в августовской книжке «Современника» за 1865 г. (с 1 сентября этого года отменялась предварительная цензура) Эту же мысль высказал Г. З. Елисеев в той части статьи «О направлении в литературе», которая была напечатана в том же номере «Отеч. записок», что и «Насущные потребности литературы» (*ОЗ*, 1869, № 10, стр. 325). Ее безусловно разделял и Салтыков (см. С. С. Борщевский. Щедрин о «вредном направлении» в литературе.— *ЛН*, т. 13—14, М. 1934).

а л ь н о е назначение как просветитель, сохранивший верность «неумирающим» положениям утопического социализма, и ни в коем случае не сводит общественное назначение литературы к служению узко практическим задачам (ср. прим. к статье «Новаторы особого рода»).

Он констатирует главную объективную причину, вызвавшую «бессилие» современной литературы — наступление реакции. Отводя литературе роль агента, обновляющего и двигающего общество, Салтыков считает глубоко ненормальным явлением подчинение ее «толпе», «улице», власти «призраков». Литература — «высший орган общественной мысли», и в этом своем качестве она идет и не может не идти впереди общества. Только благодаря этому качеству она и играет предназначенную ей — в о с п и т а т е л ь н у ю роль (ср. «Итоги. IV», *ОЗ*, 1871, № 4 — см. т. 7 наст. изд., стр 462).

Несколько страниц комментируемой статьи и посвящены, в связи с этой темой, определению понятия «идеальная истина». Безусловно, речь идет о выработке социалистического идеала. «Формула истины идеальной,— пишет Салтыков,— счастье, гармония». Однако, во-первых, эта формула слишком обширна, «содержание ее недостаточно выработано и приготовлено», и, во-вторых, идеальная истина сама есть процесс, зависящий от «каждого нового открытия», от прогресса знания. (Осознание последнего обстоятельства существенно для социалистических воззрений Салтыкова и объясняет его скептическое отношение ко всякой регламентации будущего.)

Общественная мысль, органом которой и является литература, в конечном счете имеет целью — найти рациональные основания для установления отношений человека к человеку и к природе. На этой почве поисков «самые противоположные направления встречаются на каждом шагу». (Салтыков называет четыре таких направления или «школы» — социально-экономическая, политическая, реальная, спиритуалистическая,— явно отдавая предпочтение первой, социально-экономической, то есть утопическому социализму, содержание идей которой он далее излагает подробнее)

В ряду различных направлений общественной мысли и «уличная философия» имеет свое право на существование. Но беда в том, что «легковесные», «алармисты» [1], «охочие люди» [2], вовсе не ограничиваются лишь пропагандой «уличных воззрений». Они клеймят всякое «несогласие мысли с ходячими убеждениями толпы, и даже молчание, названием «вредного направления».

[1] Буквально — паникеры, распространители необоснованных тревожных слухов; в данном случае — обвинители литературы в неблагонадежности или, как сказано дальше у Салтыкова,— «вчинатели всякого рода литературных тревог». «Журнальными алармистами» назвал Герцен в «Письмах к противнику» реакционную журналистику начала 60-х годов — «развратную журналистику, которая рукоплескала казням и дальше подталкивала рассвирепевшее правительство» («Колокол», л. 194 от 1 февраля 1865 г.).

[2] По определению Салтыкова, в статье «Литературное положение», «благонамеренные обыватели, приобретшие некоторую опытность в формулировании обвинений» (т. 7 наст. изд., стр. 60).

Однако понятие «вредного направления» не было досужей выдумкой алармистов. Оно было юридически закреплено в русских законах о печати, в частности, в «законе 6 апреля 1865 года», которым предусматривалось, что «повременные» (то есть периодические) издания, «в случае замеченного в них вредного направления», подвергаются административным взысканиям (а не судебному преследованию) [1]. Тем самым, в сущности, признавалась невозможность законного преследования издания по суду за «направление», в силу неопределенности самого этого понятия. Невозможность дать четкое определение понятию «вредное направление» констатировала и комиссия под председательством кн. Д. Оболенского, готовившая «Проект устава о книгопечатании» [2], легший в основу «закона 6 апреля». «Словами *вредное направление*,— говорилось в комментариях комиссии к соответствующему параграфу проекта,— выражается мысль общая <...> нет никакой возможности даже приблизительно определить бесспорные признаки вредного направления...» [3]. Тем не менее, несмотря на очевидную и признанную неясность формулы «вредное направление», она постоянно использовалась в цензурной практике (за «вредное направление» были закрыты в 1866 г. «Современник» и «Русское слово»).

И если до этого темой размышлений Салтыкова были отношения литературы и общества, «толпы», то теперь он обращается к уяснению отношений литературы и власти. В статье появляется термин «легальность», или законность, и предлагается поставить литературу под защиту «легальности». Пусть сохранится за алармистами «сладостное право обвинения»,— говорит Салтыков,— но литература должна быть защищена законом от произвола уличных мнений и от травли, от голословных обвинений в «излишествах» и «вредном направлении».

Обстоятельно анализируя далее понятие «легальности», Салтыков предлагает ограничить отношения власти к литературе рамками закона, отвергнуть принцип административного вмешательства в дела литературы, заменить «произвол» системой, твердыми основаниями. Говоря об этих основаниях, он упоминает «драгоценную гарантию, которую приобрела в последнее время русская жизнь», имея в виду судебную реформу 1864 г., отделившую судебные органы от административных и обвинительных. Поводом к обвинению, вчиняемому властью, должны быть факты, но не направления, «проступки и преступления», но не мысль. Только строго определенные законом «преступления печати» могут стать причиной судебного

[1] «Материалы, собранные особою комиссиею, высочайше утвержденною 2 ноября 1869 года, для пересмотра действующих постановлений о цензуре и печати. Часть 5. Действующие законоположения и постановления о цензуре и печати», СПб. 1870, стр 13. См. прим. к стр 328.

[2] Об этом проекте Салтыков писал в статье «Несколько слов по поводу «Заметки», помещенной в октябрьской книжке «Русского вестника» за 1862 год» (см. т. 5 наст. изд.).

[3] Проект устава о книгопечатании, СПб. 1862, К § 144.

преследования и соответствующего наказания. Поэтому столкновения литературы и легальности возможны лишь на «почве благочиния», другими словами — преследованию может подлежать насилие, но никак не поиски «истины идеальной».

С этой точки зрения все направления, каким бы ни было их содержание, безличны перед судом легальности (но, и это важно для Салтыкова, не безличны перед судом литературы и науки).

Салтыков, так же как редакция «Отечественных записок» в целом, понимал, однако, что до осуществления на практике подобных отношений легальности и печати еще очень далеко. Одного лишь факта перехода карательных функций от администрации к суду недостаточно для ограждения печати от произвола. Эту точку зрения высказал, например, Г. З. Елисеев, полагавший, что ошибается тот, кто думает, будто «стоит нашей прессе освободиться от кары администрации и поступить в исключительное заведование судебной власти, и тогда она будет вполне обеспечена в своем правильном развитии» («О направлении в литературе».— *ОЗ*, 1869, № 8, отд. «Совр. обозрение», стр. 400). В самом деле, первые же процессы печати показали обоснованность этих опасений. Так, Салтыков указывает на «неравенство меры» наказания, примененной судом по отношению к органам разных направлений, имея в виду процессы демократического «Современника» и крепостнической «Вести», обвинявшихся в нарушении законов о печати (см. прим. к стр. 119). «Легальность» в этом случае оказалась равносильной административному произволу. Результаты этих двух процессов о печати, не имея ничего общего с тем, что разумел под легальностью Салтыков, полностью отвечали требованиям власти, изложенным, например, в секретной инструкции министра внутренних дел цензорам столичных цензурных комитетов от 23 августа 1865 г. (данной за неделю до вступления в действие «закона 6 апреля»). Салтыкову, конечно, был известен этот конфиденциальный документ: его полемика прямо направлена в адрес инструкции П. А. Валуева, в которой, в частности, говорилось «Относительно *повременных изданий* постоянно должно иметь в виду их отличительное свойство непрерывных проводников впечатлений на публику. Посему они могут сообщать свои взгляды и стремиться к своим целям, не формулируя категорически этих взглядов и целей, но выражая их рядом намеков, недоговоров, повторений и других редакторских или издательских приемов. При наблюдении за повременными изданиями цензоры обязаны прежде всего изучить господствующие в них виды и оттенки направления и, усвоив себе таким образом ключ к ближайшему уразумению содержания каждого из них, рассматривать с этой точки зрения отдельные статьи журналов и газет». Издание должно строго преследоваться, если его направление есть «в каком-либо отношении вредное или противоправительственное». «Случайные ошибки или недосмотры,— говорилось далее в инструкции,— не составляющие сознательных последствий предвзятого направления, могут быть, смотря по сопровождавшим оные в каждом отдельном случае обстоятельствам, преследуемы с меньшей строгостью или

составлять предмет некоторого снисхождения относительно журналов и газет, отличающихся дознанною благонамеренностию»[1].

«В силу действующего права печати судебная власть точно так же может из направления делать факт преступления, corpus delicti, как и администрация,— продолжал развивать свою мысль в статье «О направлении в литературе» Елисеев.— В чем же тогда существенная разница между ними и какое существенное приобретение получает пресса из того, что она перейдет в руки судей?» (стр. 400). Больше того, в условиях, когда тон задают «ловкие люди» («охочие люди», «алармисты» — по Салтыкову) и печать подвергается травле, надзор администрации даже предпочтительнее судебного преследования. Все дело в лицах, осуществляющих этот надзор. Трезво оценивая современное положение печати, Салтыков вместе с тем принципиально не мог разделять такого взгляда. Возможно, именно Елисеева имел он в виду, говоря о возражениях против «выхода к легальности», «представляемых людьми совершенно противоположного лагеря». Как бы то ни было, «выход к легальности» есть все-таки наиболее рациональный и наиболее обеспечивающий литературу от случайностей в будущем».

Таким образом, первейшая «насущная потребность литературы», по Салтыкову, заключается в освобождении ее от «соглядатайства» общественной реакции и от административного произвола, от подчинения ее «уличной философии» и преследований за направление. Только при этих условиях литература сможет осуществлять свое истинное предназначение: готовить почву будущего, формулировать идеальную истину.

Стр. 96 .. *утверждение грубых уличных истин, вроде проповедуемых современными беллетристическими знаменитостями...*— См. прим. к статье «Уличная философия».

Стр. 101. *Радикалы... современники «Аонид» и «Подснежников»... в тоске по Хлое влачащие последние дни своего существования, но воспользовавшиеся уничтожением крепостного права, чтобы ожесточиться... по их мнению, все направления одинаково злокачественны...*— Характеризуя архаическое миросозерцание «радикалов», рассматривавших литературу как источник «приятных отдохновений», Салтыков употребляет в нарицательном смысле названия альманахов Н. М. Карамзина «Аониды» (1796—1799) и Е. В. Аладьина «Подснежник» (1829—1830). В 1863 г., рецензируя «Князя Серебряного» А. К. Толстого, Салтыков уже намечал такое нарицательное использование названия карамзинского альманаха, иронически заключая, что роман Толстого «был бы весьма приятным явлением в «Аонидах» (см. т. 5 наст. изд., стр. 352). Хлоя — распространенное в русской сентиментально-романтической поэзии условное имя возлюбленной поэта. Радикалы — характерное для Салтыкова сатирическое переосмысление привыч-

[1] «Сборник распоряжений по делам печати (с 1863 по 1 сентября 1865 года)» <Гриф: «Секретно»>, СПб. 1865, стр. 75—76.

ных понятий (ср. «подтягивательный нигилизм», «анархисты успокоения» и т. п.). Здесь — в первую очередь, по-видимому, крепостники и их орган «Весть», видевший своих противников в «либералах «Колокола», «Русского слова», «Москвы», «Голоса» и «Московских ведомостей» («Весть», 1869, № 121 от 3 мая). Однако, как это видно из дальнейшего, Салтыков относит к лагерю «радикалов» и литераторов, сгруппировавшихся в 1869 г вокруг журнала «Заря» или близких этому журналу. См. след. прим

Стр. 102. *Фет, как стихотворец, Григорий Данилевский, как романист, Шубинский, как историк, Страхов, как критик, и Фрол Скобеев, как драматург,— вот имена, любезные современникам Аонид.*— «Эмбрионической» поэзии Ф е т а Салтыков посвятил в 1863 г. рецензию (см. т. 5 наст изд), о его тенденциозно-крепостнических «письмах» «Из деревни» он писал в апрельской хронике «Нашей общественной жизни» за 1863 г. (см. т. 6 наст. изд). Д а н и л е в с к и й охарактеризован Салтыковым в рецензии на его «Новые сочинения» (*ОЗ*, 1868, № 8; см. наст. том), как «родоначальник школы легкомыслия в литературе». Так как первые романы Данилевского были напечатаны во «Времени», Салтыков связывал его с направлением «почвенничества», «возродившимся» в 1869 г. в журнале «Заря». Исторические изыскания С. Н. Ш у б и н с к о г о Салтыков высмеивал неоднократно, в частности, в «Истории одного города» (см. также в «Приложении» к т. 8 письмо к А. Н. Пыпину от 2 апреля 1871 г.). Литературно-критическая деятельность Н. Н. С т р а х о в а во «Времени» (1861—1863), «Эпохе» (1864—1865), «Отечественных записках» (1866—1867) и, наконец, «Заре» (с 1869 г.) была подчинена борьбе с «нигилизмом», «отрицательным направлением» в литературе. Очень показательно, что этой тенденцией проникнута и его более поздняя статья «во славу» Карамзина («современники «Аонид»!), появившаяся в октябрьской книжке «Зари» за 1870 г. под весьма характерным названием «Вздох на гробе Карамзина». Ф р о л С к о б е е в — под этим именем Салтыков разумеет драматурга Д В. Аверкиева, первое драматическое произведение которого «Мамаево побоище» было напечатано в 1864 г в «Эпохе» Во второй книжке «Зари» за 1869 г. в «Театральных заметках» (подпись: Л. Н. А — въ <Л. Н. Антропов>) был дан благожелательный отзыв о поставленной на петербургской сцене пьесе Аверкиева по мотивам русской повести XVII в. о Фроле Скобееве (или Скабееве) — «Комедия о российском дворянине Фроле Скобееве и стольничьей, Нардын-Нащокина дочери Аннушке». В третьей книжке «Зари» «Комедия.. » была напечатана.

Люди соглашения...— Возможно, имеется в виду официальный либерализм, всецело основанный на «предупредительностях» и «карательностях».

Стр. 103. *Вот между каких двух старцев находится новейшая Сусанна, называемая русскою литературою. .*— Сусанна и старцы — библейский сюжет, особенно распространенный в живописи, об искушении Сусанны двумя старцами.

Стр. 111. *...сладостное право обвинения.. бывают случаи, когда на*

нем одном основывается положение человека в обществе.. — По-видимому, намек на положение, которое занял во второй половине 60-х годов Катков в официальных и правых кругах русского общества.

Стр. 118. *...движение вперед собственно и есть та охранительная сила, которая ограждает общество ..*— См. статью «Человек, который смеется» и прим. к ней

Мы не называем здесь ни одного из наших литературных направлений, но просим .. припомнить то из них, которое .. стремится погрузить русский народ в положение бессрочного детства...— Речь идет о славянофильстве.

Стр. 119. *...задавшись мыслью исключительно поддерживать мнения, дорогие толпе, легальность... встретится лицом к лицу не с одним и не с несколькими, а вдруг со всеми литературными направлениями, и вынуждена будет признать себя обязанною преследовать их все с одинаковою силою.*— Действительно, в 60-х годах административным и судебным преследованиям подвергались издания, служившие явными «вместилищами уличного праха», например, «Московские ведомости» и «Весть» (Катков писал в передовице № 18 «Московских ведомостей» за 1869 г.: «Почти каждая статья наша, имевшая какое-либо значение, появлялась на свет не иначе как после тяжкого предварительного боя с цензурой»). Славянофильская газета «Москва», издававшаяся И. Аксаковым, после многочисленных предостережений и приостановок, была в октябре 1868 г. запрещена.

..по поводу преследования, которому подвергся один из органов русской печати.— Речь идет о происходившем в январе — феврале 1868 г. судебном процессе по делу издателя газеты «Весть» В. Д. Скарятина и его сотрудников Н Н Юматова и Г. И. Кори, обвинявшихся в нарушении постановлений о печати. В ряде статей газеты «Весть» выражалось неодобрение оправдательному приговору, вынесенному С.-Петербургским окружным судом в августе 1866 г. по делу Ю. Г. Жуковского, автора статьи «Вопрос молодого поколения» и А. Н. Пыпина, редактора журнала «Современник», где эта статья, в №№ 2 и 3 за 1866 г, была напечатана (см. «Судебный вестник», 1866, №№ 29 и 30 от 1 и 2 сентября). «Весть», резко и грубо нападая на членов суда, назвала это оправдание «уклонением» судебной власти «от прямого пути», что было квалифицировано обвинением как «колебание общественного доверия к приговорам суда». Говоря о «неравенстве меры относительно отдельных фактов одинакового характера», Салтыков имеет в виду, что, в то время как Жуковский и Пыпин, при вторичном слушании дела, были признаны виновными «в помещении в периодическом издании статьи, заключающей в себе противную благопристойности брань относительно лиц дворянского сословия» («Судебный вестник», 1866, № 55 от 6 октября),— издателям «Вести» их «брань» по адресу судебных учреждений сошла с рук, по причине «дознанной благонамеренности» (см. стр 494 наст. тома), и они были оправданы (см. «Судебный вестник», 1868, №№ 17, 18 и 28 от 23 и 24 января и 8 февраля).

Стр. 120 *...так называемые новаторы никогда не были склонны к насилию, так как один из существеннейших принципов всякого новаторского дела именно заключается в отрицании насилия* — Проблеме «насилия» Салтыков посвятил несколько страниц ненапечатанной октябрьской хроники «Нашей общественной жизни» за 1864 г. Там он, в частности, писал. «В мире разумном, в том идеальном мире, до представления которого может по временам возвыситься наша мысль, насилие немыслимо» (т. 6 наст. изд., стр. 372 и 668—669). В настоящей формулировке его мысль кажется ответом на теории Раскольникова из «Преступления и наказания» Достоевского (роман печатался в «Русском вестнике» в 1866 г. и вышел отдельным изданием в 1867). Характерно, что подобный же ответ находим в посвященной роману Достоевского статье Писарева «Борьба за жизнь».

ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ СМЕЕТСЯ

Наши охранители и наши прогрессисты В. П. Безобразова («Русский вестник», 1869 г., октябрь)

(Стр. 129)

Впервые — *ОЗ*, 1869, № 12, отд. «Совр. обозрение», стр. 255—270 (вып. в свет — 12 декабря). Без подписи. Авторство установлено С. С. Борщевским (*Неизвестные страницы*, стр. 505—510) на основании заявлений Салтыкова в гл. VIII «Круглого года» (см. т. 13 наст. изд.) и анализа текста.

Как по содержанию, так и по форме «Человек, который смеется» — ответ от имени «Отечественных записок» на статью В. П. Безобразова «Наши охранители и наши прогрессисты». Но Салтыков, видимо, не стремился за редакционным характером выступления скрыть свое личное авторство. Об этом свидетельствует ряд мест текста: «...Пишущий эти строки...»; «...Безобразов начинает... уличать нас в тождестве с «Вестью» (имеется в виду прямое сопоставление Безобразовым «Вести» и салтыковского очерка «Хищники»), и другие прозрачные намеки.

С автором «Наших охранителей и наших прогрессистов» Салтыкова связывало давнее знакомство[1]. В. П. Безобразов был младшим лицейским товарищем Салтыкова. В предреформенный период В. Безобразов с дворянско-либеральных позиций ратовал за освобождение крестьян, и его антикрепостнические выступления были поддержаны на страницах «Современника». После возвращения Салтыкова из вятской ссылки и в годы рязанского вице губернаторства его отношения с В. Безобразовым были дружескими. В. Безобразов способствовал публикации «Губернских очерков»; Салтыков посвятил ему «Смерть Пазухина». Но с начала 60-х годов их личные связи прерываются, а идейные позиции становятся откровенно враждебными Опубликованная в 1859 г. в «Русском вестнике» статья В. Безо-

[1] См. С. Макашин. Салтыков-Щедрин. Биография, т. I, изд 2, М. 1951, стр. 111, 140, 176.

бразова «Аристократия и интересы дворянства» вызвала резкие сатирические выпады Салтыкова (см. «Характеры» и «Глупов и глуповцы» в т. 4 наст. изд., стр. 201, 203—206). В реформах 60-х годов дворянский либерализм увидел воплощение всех чаяний, и с этого времени В Безобразов, критикуя отдельные «несовершенства нашего законодательства»[1], превращается в защитника существующих порядков и врага их радикальных критиков

Таким духом проникнута и статья «Наши охранители и наши прогрессисты» («Русский вестник», 1869 г., № 10). По мнению либерального академика, «реформы... дали большой простор нашим народным силам», принеся процветание экономике и разрешив все противоречия между крестьянами и помещиками. («Эта сторона прежнего нашего сельского быта, омрачавшегося изредка при всем миролюбии русского народа кровавыми событиями, теперь совсем забыта...»[2]) С этих позиций В. Безобразов обвиняет демократическую журналистику в беспочвенном подстрекательстве масс.

Статья В. Безобразова, вызвавшая отклики наиболее влиятельных органов печати, фактически стала программным документом дворянского либерализма пореформенной поры[3].

Поэтому и ответное выступление Салтыкова в «Отечественных записках» — отнюдь не рядовой эпизод в текущей журнальной полемике. Придавая своей статье серьезное значение, Салтыков возвращался к ней не только в написанной почти по свежим следам — в 1871 г.— второй главе «Итогов» (см. т. 7 наст. изд.), но и в произведениях, созданных десятилетие спустя: «Убежище Монрепо» и «Круглый год» (см. «Тревоги и радости в Монрепо» и «Первое августа» в т. 13 наст. изд.). В «Круглом годе» писатель прямо указывает, что спор с В. Безобразовым шел не о частностях, а о «знаменах», о принципах отношения к самым основам пореформенных порядков.

Основной тезис статьи Салтыкова — превращение дворянских либералов в «охранителей современности», считающих «современное дело делом окончательным». Такая характеристика либералов вызвала резкие нападки народнической «Недели»: она-де «никуда не годится и только обличает редакцию почтенного журнала в смутности и неясности ее понятий о таком важном вопросе, как вопрос о направлениях и партиях»[4]. Симпатии «Недели» оказались на стороне В. Безобразова не случайно: настаивая на «практической деятельности» в рамках самодержавного строя, газета неизбежно склонялась к либеральному реформизму.

В. Безобразов нападал на прогрессивную литературу за то, что, «заявляя свое недовольство существующим порядком, она не делает даже и на-

[1] В. Безобразов. Экономические этюды — «Голос», 1863, № 128, стр. 497

[2] «Русский вестник», 1869, № 10, стр. 446

[3] «История русской экономической мысли», т. II, ч. 1, М. 1959, стр. 97, 98.

[4] «Неделя»,1870, № 5, стр. 170—171.

меков не только на какую нибудь совокупность государственных мер, но даже на какое-нибудь направление их, которое могло бы удовлетворить ее желаниям и целям»[1]. Подобная критика «Отечественных записок» за «воздержанность от указаний практического либерализма»[2] появлялась на страницах «Недели» неоднократно. Она повторяется и в отзыве о салтыковской статье. Намекая на так называемое нечаевское дело (см. прим. на стр. 519 наст. тома), «Неделя» заявляет, что «Отечественные записки» одним только «настраиванием» на демократический лад без указания возможных действий толкают молодежь на путь «напрасных увлечений, часто гибельных для... личной нравственности»[3].

В «Человеке, который смеется» позиция «Отечественных записок» определена Салтыковым совершенно четко пока в стране нет политических свобод («покуда у нас возможен не спор, а травля») радикальная демократия не может рассчитывать не только на претворение в жизнь своих устремлений через каналы государственной власти, но и на открытое их изложение.

В. Безобразов обвинял революционно-демократическое направление в фактическом единении с крепостниками: «Реакционные партии и прогрессивные (или, лучше, радикальные), не имея ничего общего в своих политических идеалах, как нельзя лучше могут сойтись в своем образе действий и потому в своих практических взглядах на окружающую действительность. Даже ближайшие политические программы у них могут быть одинаковы»[4]. Эта, как отмечал Салтыков, «далеко не новая идея» (ее пропагандировали, в частности, «Московские ведомости»[5]) заслужила Безобразову лестные отзывы «Зари»[6]. Опровергая подобные инвективы, писатель показывает, что в пореформенной России естественными союзниками крепостников являются дворянские либералы, ибо и те и другие стоят на позициях *охранения* основ самодержавно-помещичьего строя.

Особый интерес представляют в статье «Человек, который смеется» сравнительно редкие в творчестве Салтыкова высказывания о рабочем классе и методах его борьбы. Подробно изложив приведенную В. Безобразовым историю волнений на строительстве железной дороги, писатель, по существу, защищает право рабочих на стачку. Насильственное принуждение к труду, указывает Салтыков, свойственно рабству и крепостничеству, по отношению же к лично свободному работнику закон не может требовать

[1] «Русский вестник», 1869, № 10, стр 483—484.
[2] «Неделя», 1870, № 13, стр. 438
[3] «Неделя», 1870, № 5, стр. 172, 173. Это неблаговидное обвинение было подхвачено в славянофильской «Заре» (№ 1 за 1871 г.) Н Страховым («Взгляд на нынешнюю литературу»). Салтыков впоследствии помянул бестактный выпад «Недели» в очерке «Первое октября» (цикл «Круглый год» — см. т. 13 наст. изд.).
[4] «Русский вестник», 1869, № 10, стр 480.
[5] См., напр., передовую «Московских ведомостей» от 3 сент. 1868 г.
[6] См. «Заря», 1869, № 12, стр. 144.

продолжения труда во что бы то ни стало. С этой позиции Салтыков обвиняет В. Безобразова, признающего «законное принуждение к труду» [1], в непозволительной обмолвке, от которой веет духом крепостного права.

С точки зрения формально-юридической, В. Безобразов, конечно, не допустил никакого промаха, ибо законодательство пореформенной России признавало насильственное принуждение к труду. Сенатский указ от 22 апреля 1863 г. предусматривал, что «рабочие могут приносить словесные или письменные жалобы . но до разрешения оной ни под каким предлогом не должны уклоняться от работ» [2]. Решение коллективно оставить работу, даже неосуществленное, рассматривалось согласно ст. 1358 «Уложения о наказаниях» как стачка и каралось арестом до трех месяцев. Салтыков не мог не знать этого. Его высказывания о незаконности принуждения к труду были формой критики крепостнического характера законодательства. Не случайно в статье подчеркивалось, что история с рабочими «доказывает, что реформы... подлежат развитию» [3].

По жанровым особенностям «Человек, который смеется» приближается к памфлету. Сатирически переосмысливая название известного романа В. Гюго, Салтыков изображает В. Безобразова публицистом, говорящим о серьезных и даже трагических вещах «просто на смех».

В этом отношении салтыковские оценки Безобразова весьма близки высказываниям Д. И. Писарева по поводу самого Салтыкова в «Цветах невинного юмора» (1864 г.). Писаревское обвинение, что для Щедрина «главное дело — ракету пустить и смех произвести; эта цель оправдывает все средства, узаконяет собою всякие натяжки...» [4] — почти дословно переадресовано Салтыковым Безобразову. Можно предположить, что сатирик использовал этот прием для того, чтобы показать обвинявшим его в отсутствии программы последователям Писарева, что их критика «смеха ради смеха», будучи правильной в принципе, била по мнимым, а не действительным противникам. Характерно, что в гл. VIII «Круглого года», где писатель вновь поднял вопрос о «знаменах», он возвратился к полемике как с Безобразовым, так и с «Цветами невинного юмора».

Впоследствии Салтыков использовал фигуру академика В. Безобразова, выделявшегося из рядов вульгарной экономической школы особой литературной плодовитостью, как прототип сатирического образа ученого-экономиста (Велентьев — в «Господах ташкентцах», Полосатов — в «Недоконченных беседах», Грызунов — в «Письмах к тетеньке»).

[1] «Русский вестник», 1869, № 10, стр 407.

[2] «Собрание узаконений и распоряжений правительства», СПб. 1863 г., первое полугодие, стр. 456.

[3] Противоположную позицию занял консервативный лагерь, выступив в лице А. Фета с требованием усилить полицейское принуждение к труду (см. А. Фет. По поводу статьи г. Безобразова «Наши охранители и наши прогрессисты».— «Современная летопись», 1870, № 2).

[4] Д И. Писарев, Сочинения, т. 2, ГИХЛ, М. 1955, стр. 340.

Стр. 129 *Скажи, кто ты?* — слова Фарлафа, обращенные к злой волшебнице Наине (сцена и рондо Фарлафа из 2 действия оперы М. И. Глинки «Руслан и Людмила», текст М. Глинки).

Стр. 130. .. *обратились с жалобой к мировому судье* — Судебная реформа 1864 г. создала институт мировых судей для разбора несложных уголовных и небольших по цене иска гражданских дел. Крестьяне были подсудны мировым судьям только за пределами своей волости. В отсутствие участкового мирового судьи его заменял так называемый почетный мировой судья. Апелляционной инстанцией по решениям мировых судей был мировой съезд — периодическое собрание всех мировых судей уезда.

...*потребовали выдачи паспортов.*— Крестьяне не могли отлучаться от места постоянного жительства, не выправив специальный паспорт. Наем рабочих без письменного договора осуществлялся только под залог паспортов (см. «Свод законов Российской империи», т. X, стр. 2226, изд. 1887 г.).

Стр. 131. . *в тех убежищах, где изготовляются бесплодносвистопляющие статьи о китайских ассигнациях, о мерах к распространению пролетариата* ..— Имеется в виду «Русский вестник». Статья В. К. Ржевского (о нем см. т 5 наст. изд, стр 551—552) «О мерах, содействующих развитию пролетариата» помещена в январской и майской книгах этого журнала за 1857 г. Что касается другой упомянутой Салтыковым статьи — «Ассигнации в Китае» Е. И Ламанского, то здесь очевидная ошибка памяти: она опубликована не в «Русском вестнике», где видный финансист Ламанский действительно часто печатался в предреформенные годы, а в «Экономическом указателе», 1857, № 4. Эта же ошибка повторена, уже с прямой ссылкой на «Русский вестник», в гл. IV «Недоконченных бесед» (см. т. 15 наст. изд.). В другом месте Салтыков характеризует указанную статью Ламанского, замаскированно критиковавшую русское министерство финансов за чрезмерный выпуск бумажных денег, как «не имевшую другой цели, кроме дразнения» (см. стр. 433 и 604 наст. тома).

Стр 134. ...*органом которых он считает газету «Весть»* ..— См прим. к статье «Литература на обеде» — в наст. томе, стр. 479—482.

Г. Безобразов уверяет, что автор употребил это слово... в смысле, угрожающем России бедствиями.— В статье Безобразова говорится: «Наши новые люди повествуют о знамениях, *признаках времени,* в которых видят как бы предвестников еще жесточайших бедствий, угрожающих со дня на день нашему отечеству» («Русский вестник», 1869, № 10, стр. 425). Далее он приводит ряд цитат из салтыковского очерка «Хищники», входящего в цикл «Признаки времени».

Стр. 137. ...*перестает быть медью звенящею*...— приобретший крылатость оборот из первого послания апостола Павла коринфянам (гл. 13, ст. 1).

...*как смеялся некоторый гоголевский лейтенант.*— Имеются в виду слова Жевакина из гоголевской «Женитьбы» (действие 2, явл. VIII): «У нас... был мичман Петухов, Антон Иванович; тоже эдак был веселого

нрава Бывало, ему, ничего больше, покажешь эдак один палец — вдруг засмеется, ей-богу, и до самого вечера смеется».

Мы желали бы, чтобы здесь слово «неблагонадежность» было заменено словами: «неправильность» или «неверность».— Статья «Наши охранители и наши прогрессисты» заканчивается призывом «зорко следить за неблагонадежными понятиями, распространяемыми в общественной атмосфере». К числу наиболее вредоносных выступлений «Отечественных записок» — этого «органа прогрессистов» — Безобразов отнес салтыковские «Признаки времени» и «Письма из провинции».— В царской России «неблагонадежность» была официальным термином политической полиции. Безобразовское обвинение прогрессивной журналистики в неблагонадежности придавало его статье доносительский оттенок и могло, как отмечал Салтыков, «иметь довольно серьезные и даже им самим не предугадываемые последствия»

Стр. 139. *...в этом взбаламученном море круглописания...*— Салтыков обыгрывает название опубликованного в 1863 г. в «Русском вестнике» антинигилистического романа А. Ф. Писемского «Взбаламученное море».

...повсюду встречать самый грубый fin de non recevoir...— Салтыков неоднократно употребляет юридическую формулу «отказа в признании» для характеристики положения людей, несущих передовые общественные идеалы (см., напр., октябрьскую хронику «Наша общественная жизнь» за 1864 г. в т. 6 наст. изд., стр. 362).

Стр. 140. *...подкрепить мудростью тургеневскою.*— Имеется в виду роман И. С Тургенева «Отцы и дети», где, в частности, говорится о препарировании лягушек как занятии Базарова в поместье Кирсановых. Об отношении Салтыкова к изображению «новых людей» в этом романе см. т. 5 наст. изд., стр. 581—582.

Стр 141. *Нащипав несколько литературной корпии из сочинений современных «охранителей», к которым впоследствии, ради шикарности, приурочиваемся и мы...*— В. Безобразов, приведя оценку положения России авторами «Вести» (сельское хозяйство гибнет; никто, в том числе и крестьяне, не желает быть собственником земли; в деревне царит анархия и развивается ненависть к дворянству и т. д.), считает, что такой же безотрадностью и пессимизмом пронизаны очерки Салтыкова «Признаки времени».

...разве безмолвие во многих случаях не знаменательнее насилия? — О «знаменательности безмолвия» как предвестника «будущей трагедии», то есть революционного взрыва, Салтыков писал неоднократно. В «Тихом пристанище» наблюдающему за трудом бурлаков слышится «вздох, вылетающий из груди человека, которого смертельно и глубоко оскорбили и который между тем не находит в ту минуту средств отомстить за оскорбление, а только вздыхает... но в этом вздохе уже чуется будущая трагедия» (см т. 4 наст. изд., стр. 265). В «Итогах» дается следующая характеристика пролетариата после поражения Парижской коммуны: «...Неправда, что в этом отсутствии протеста, в этой безгласности имеется какое-

нибудь действительное удовлетворение. Обделенный все-таки не перестает быть обделенным, и ежели он не протестует, то или потому, что находится в оцепенении, или потому, что приберегает свой протест до более благоприятного случая» (см. т. 7 наст. изд., стр. 485).

Стр. 143. *...нам могут указать на сравнительно смелый и откровенный образ действий «Московских ведомостей»...*— Еще в программной передовой статье от 19 июня 1866 г. «Московские ведомости» заявили, что в своем радении «о нераздельных пользах престола и государства» берут на себя «право публичного обсуждения государственных вопросов». На страницах катковского издания систематически выдвигались проекты преобразований в самых различных областях. Так, только в первой половине ноября 1869 г. газета выступала с требованиями отменить круговую поруку в общине, сократить сроки воинской службы для грамотных, отменить паспортную систему, возложить на общины обязанность содержать школы и т. д. При этом «Московские ведомости» не останавливались и перед критикой отдельных министерств. О такой «независимости» катковского издания «Неделя» писала: «Если московская газета вступает в пререкания с каким-либо министерством, то, будьте уверены, эти пререкания имеют себе причину в других закулисных пререканиях между тем же министерством и благоприятелями редакторов *«Московских ведомостей»* в высших правительственных сферах» («Неделя», 1870, № 11, стр. 370).

...переименовывают уже в «лжепрогрессивную» .— Сообщая в № 245, 9 ноября 1869 г., то есть в самый день выхода октябрьской книги «Русского вестника», о «замечательной статье» «Наши охранители и наши прогрессисты», «Московские ведомости» разъясняли: «Под этими ироническими названиями автор разумеет нашу лжеконсервативную партию <.. > и наших лжепрогрессистов, *новых людей ..»*

Одни походы русской журналистики против нее в 1862 г. стоили ей так много...— Развернувшаяся летом 1862 г. под предводительством «Русского вестника» клеветническая кампания реакционной прессы сыграла немалую роль в приостановке по правительственному распоряжению на восемь месяцев «Современника» и «Русского слова» и в аресте и ссылке Н. Г. Чернышевского.

Стр 144. *...министрам, сенату и государственному совету.*— В России того времени вопрос о законодательных функциях высших государственных учреждений был чрезвычайно запутан. Право первоначальной подготовки текста законов для представления на утверждение царя было дано Сенату, основанному Петром I. Фактически Сенат принимал в законодательстве лишь косвенное участие, поручая министрам разработать тот или иной законопроект и передать его в Государственный совет. Государственный совет был создан Александром I специально для обсуждения законопроектов. Полномочия на издание распоряжений, обязательных не только для подведомственных учреждений, но и для всех частных лиц, были предоставлены и некоторым министрам.

ОДИН ИЗ ДЕЯТЕЛЕЙ РУССКОЙ МЫСЛИ

(Тимофей Николаевич Грановский. Биографический очерк А. Станкевича. Москва. 1869 г.)

(Стр. 145)

Впервые — *ОЗ*, 1870, № 1, отд. «Совр. обозрение», стр. 33—56 (вып. в свет — 16 января). Без подписи. Авторство указано Н. В. Яковлевым на основании письма Салтыкова к Некрасову (*Письма, 1924,* стр. 57); подтверждено на основании анализа текста С. С. Борщевским (*Неизвестные страницы*, стр. 510—525).

Девятого июня 1869 г. Салтыков писал Некрасову, что «по соглашению с Елисеевым взялся написать более или менее обширные статьи о Грановском (по поводу книги Станкевича) и о Феофане Прокоповиче». Однако в журнале появилась лишь одна статья о Грановском, названная в подзаголовке «первой статьей». О намерении написать ряд статей, посвященных Грановскому *как «деятелю русской мысли»*, Салтыков дважды упоминает в напечатанном тексте, причем называет и некоторые темы этих следующих статей: «воспитательное значение» деятельности Грановского, «теория так называемого абстенционизма». По-видимому, к написанию этих статей Салтыков так и не приступил.

Статья о Феофане Прокоповиче, которого в рецензии на «Материалы» М. А. Антоновича и Ю. Г. Жуковского Салтыков иронически назвал «известным либералом XVIII века», вовсе не появилась в печати; и, вероятнее всего, написана не была; тематически, возможно, она должна была примыкать к статье о Грановском, трактовавшей также и о путях и судьбах «либерализма». Поводом к возникновению замысла статьи о Прокоповиче, по-видимому, послужила книга И. Чистовича «Феофан Прокопович и его время», СПб. 1868.

Автором книги о Грановском был младший брат Николая Станкевича Александр Владимирович Станкевич, литератор, в 30—40-е годы близкий к кружку брата, а затем Белинского. С Грановским, как сказано в «биографическом очерке», А. В. Станкевич встречался в последние годы жизни историка.

На книгу А. В. Станкевича еще до статьи Салтыкова откликнулись периодические издания разных направлений («Дело», «Вестник Европы», «Заря», «Весть» и др.). Это было симптомом повысившегося интереса к «людям сороковых годов», «старым людям» (Ф. М. Достоевский. Дневник писателя за 1873 год). Несколько позднее в статье «Народный реализм в литературе» Н. Шелгунов следующим образом объяснил этот интерес: «Теперь русская мысль зреет, набирается новых фактов и проверяет себя ими <...> Наше время как бы повторяет сороковые годы»[1]. Отклики печати на книгу Станкевича и заключали в себе не столько ту или иную ее оценку, сколько попытку уяснить историческое значение Грановского как

[1] «Дело», 1871, № 5, отд. «Совр. обозрение», стр. 5.

деятеля определенной эпохи, тесно связанной с последующим развитием русского общества и русской общественной мысли, уяснить ценность наследия самой этой эпохи — «сороковых годов» — для современности. (О полемике на эту тему, развернувшейся в печати на рубеже 60-х — 70-х годов, см. в книге Е. И Покусаева «Революционная сатира Салтыкова-Щедрина», М. 1963, стр. 225—227.)

Одним из первых откликов такого рода была редакционная статья реакционной газеты «Весть» (1869, №№ 121, 125, 126 и 131 от 3, 7, 8 и 13 мая). Статья полна выпадов как против революционно-демократического лагеря, так и против либералов и славянофилов, будто бы «вступивших в союз» с «вожаками» «Современника» и «Колокола». «Вот четыре лица,— сказано в статье «Вести»,— с которыми Грановский уже в 1847 году решительно разошелся во взглядах. Белинский, Киреевский, Герцен и Огарев» (№ 125).

По мнению автора статьи-рецензии под названием «Т Н Грановский в биографическом очерке Станкевича» («Вестник Европы», 1869, № 5; подписано: «Сл. <В И. Герье> Москва, 19 апреля 1869»), книга Станкевича показывает, что в русском обществе 40-х годов, «несмотря на все неблагоприятные обстоятельства», «действовала могучая мысль и были благородные стремления» (стр 425). В. И. Герье особенно подчеркивал «западнический» характер идей Грановского, который «был истым сыном Петровской России», «жаждал цивилизации», как «средства к исцелению от существующего зла» (стр. 431). Рецензент с удовлетворением констатировал, подобно редакции «Вести», но, разумеется, с иных позиций, расхождение Грановского как со славянофилами, так и с «другим направлением, появившимся в 40-х годах и облекавшимся тогда еще в форму строгого, научного материализма» (имеется в виду Герцен).

Разбору книги Станкевича была посвящена большая часть неподписанных (принадлежавших Н. Н. Страхову) «Критических заметок о текущей литературе» в № 7 за 1869 г. славянофильско-почвеннического журнала «Заря». Историческую роль Грановского Страхов также ставил в связь с судьбами «западничества», которое он характеризовал, однако, как направление отвлеченное, в свое время естественное и законное, но давно себя изжившее. Характерным для позиции «почвенничества» на рубеже двух десятилетий является утверждение Страхова о закономерном «вырождении» «чистого» западничества в нигилизм (Значительно более сложное обоснование этой идеи находим в «Бесах» Достоевского.) [1]

Особый интерес в ряду этих отзывов представляет рецензия журнала «Дело», поскольку в ней преломилась тактическая платформа, пропагандировавшаяся в это время некоторыми публицистами демократического лагеря,— платформа своеобразного «утилитаризма» (см. прим к статьям «Новаторы особого рода», «Насущные потребности литературы», «Человек,

[1] 26 февраля/10 марта 1870 г. Достоевский просил Страхова выслать ему «книжку Станкевича о Грановском» — «как материал, необходимейший для моего сочинения», то есть писавшихся тогда «Бесов» (Ф. М. Достоевский Письма, т. 2, стр 256).

который смеется»). Рецензент «Дела» весьма невысоко расценил «биографический очерк» Станкевича, автор, по его мнению, не сделал самого главного: не определил «значение отвлеченной философии в связи с существовавшими во время Грановского общественными порядками», не разъяснил, «что́ способствовало ее влиянию на молодежь, что́ отвлекало лучшие силы от полезного дела и толкало на бесплодную дорогу идеализма», не показал, «почему такая богато одаренная личность, каков был Грановский, принесла обществу такую ничтожную, неуловимую пользу» («Дело», 1869, № 6, отд «Совр обозрение», стр. 30).

Салтыков, конечно, учитывал все эти отклики на книгу о «деятеле русской мысли». Однако его замысел далеко выходит за пределы полемики, смысл статьи гораздо шире и значительнее, нежели та или иная оценка книги Станкевича. О характере замысла говорит уже название статьи, а также и те темы, которые были намечены для разработки в следующих статьях цикла (см. выше). Грановский интересует Салтыкова именно как «один из деятелей русской мысли», его волнуют судьбы «цивилизующей» — ищущей. передовой мысли, волнуют тем более сильно, что Салтыков-просветитель разделяет тезис Грановского: «в разложении масс мыслию заключается процесс истории» [1]. Поэтому одной из тем следующих статей должна была стать важнейшая для Салтыкова тема «воспитательного значения» литературы (см., например, статью «Насущные потребности литературы»). Грановский, так же как и Белинский, был для Салтыкова символом целой эпохи в истории русской мысли— эпохи 40-х годов,— и поэтому он всегда выделяет не то, что их разъединяло, а объединяющее их общее — положение, роль как деятелей русской мысли Имя Грановского Салтыков ставит рядом с именем Белинского (см , например, в «Литературном положении»: «Вспомним Грановского, Белинского и других, которых имена еще так недавно сошли со сцены, вспомним то движение мыслей и чувств, которому было свидетелем современное им поколение, вспомним увлечения, восторги, споры» — т. 7, стр. 56).

Замысел статей о Грановском, лишь частично осуществленный в «статье первой», заключался в анализе, на примере деятельности Грановского, не столько самого содержания общественной мысли и литературы, сколько социальных и политических форм ее бытия и влияния этих форм на содержание мысли. Салтыкова по преимуществу интересуют отношения «мысли» со «средой» — обществом, которое выделяет деятелей мысли, но в целом, за исключением небольшой его части, остается глубоко к ним равнодушным, а также политическими «эманациями» общества, то есть властью, рассматривающей мысль как нечто враждебное; эскизно намечается и проблема отношений мысли с народною массой, деятельное проникновение в

[1] А. В. Станкевич, цит. соч., стр. 158. Ср. в пятой главе «Итогов», вырезанной цензурой из восьмой книжки «Отечественных записок» за 1871 г.: «История человеческих обществ есть не что иное, как история разложения масс под влиянием сознающей себя мысли» (т. 7 наст. изд., стр. 473).

которую составляет насущную потребность и обязанность «цивилизующей мысли» (степенью этого проникновения определяется в конечном счете «воспитательное» значение мысли).

«Либеральная» (в данном случае — передовая), «цивилизующая» мысль входит в общество под покровом «тайны», ее встречает враждебность или, в лучшем случае, равнодушие, ей угрожает «внешний гнет», «травля» (см. статью «Насущные потребности литературы»). Но опасны не эти внешние давления сами по себе, опасны «внутренние» последствия гнета, искажения самого содержания мысли.

Один из центральных тезисов статьи состоит в том, что «мысль», какой бы она ни была по своему содержанию — философской, социальной, экономической, естественнонаучной,— будучи вынужденной отстаивать свою свободу, с неизбежностью становится мыслью п о л и т и ч е с к о ю. Тем самым разработка и пропаганда[1] самого существа мысли, разработка «истины идеальной» (см. статью «Насущные потребности литературы») отходит на второй план или делается и вовсе невозможной.

Другая внутренняя опасность, грозящая исказить содержание мысли,— опасность с о г л а ш е н и я. Мысль живет под страхом «быть затоптанной», уничтоженной, и лишь соглашения и компромиссы дают ей возможность надеяться на спасение И хотя «оговорки» и «уступки» влияют на мысль самым пагубным, «растлевающим» образом, хотя мысль при этом хиреет, «живет жизнью неполною и далеко не нормальною, но, по крайней мере, она не навсегда «вычеркивается» из числа умственных ценностей, обращающихся в человечестве, и со временем, конечно, возвратит себе утраченную силу и достоинство». Таким образом, решая важнейший для революционной мысли тактический вопрос, Салтыков устанавливает принципиальную возможность, а при определенных условиях и необходимость прибегать к соглашениям ради самого «выживания» мысли.

В связи с этим в последних строках статьи Салтыков поднимает тему так называемого а б с т е н ц и о н и з м а. Самое слово «абстенционизм» (*лат.*— abstentio — воздержание, отказ) было извлечено Салтыковым из современной ему французской политической терминологии Абстенционистами называли тех французских политических деятелей — сторонников Прудона,— которые считали, что «будущая революция не должна компрометировать себя никакими сделками с настоящими порядками Франции», и поэтому устранились от участия в избирательном движении[2]. Хотя статья об «абстенционизме» и не была Салтыковым написана, принципиальное понимание им этой проблемы не вызывает сомнений. Салтыков, конечно, имел в виду теорию, подобную той, которая пропагандировалась в свое время на страницах «Русского слова» и была подвергнута им критике в не появившихся тогда в печати — статье «Каплуны» и заключении мартовской хро-

[1] А пропаганда есть непременный атрибут цивилизующей мысли; ср. в статье «Уличная философия»: «Литература и пропаганда — одно и то же».

[2] К л о д Ф р а н к <Шарль Шассен>. Парижские письма.— *ОЗ*, 1869, № 7, стр 152.

ники «Нашей общественной жизни» за 1864 г. В «Отечественных записках» Салтыков вновь коснулся этой темы, например, в рецензии на «Засоренные дороги» А. Михайлова: он считал долгом литературы «анализировать капища», не боясь «прилипающих нечистот», призывал избегать «гадливости», оправдываемой тем, что «слишком близкое общение с жизнью может подвинуть на сделки с нею, сделки же, в свою очередь, могут подорвать чистоту мысли, чистоту убеждения» (см. наст. том, стр. 264). Салтыков никогда не забывал о том высоком идеале, во имя которого в конце концов литература обязывается вступать «в близкое общение с жизнью», не склонялся к практицистскому толкованию задач литературы. Однако отсутствие общения с жизнью, «изолированность», каковы бы ни были ее причины, по глубокому убеждению Салтыкова, омертвляют и искажают мысль. (Этот свой тезис Салтыков иллюстрирует положением французской либеральной мысли после декабрьского переворота 1851 г.[1]) Чистота мысли определяется не ее консервацией, «абстенционизмом», но постоянным развитием, невозможным без общения с движущейся жизнью «Мысль живет и питается практическими применениями».

Перейдя от общих, принципиальных суждений к анализу труда Станкевича, Салтыков, в соответствии со своей задачей, не касается содержания социально-политических и исторических взглядов Грановского, существа его научного метода, изложению которых посвящено немало страниц указанной книги. Салтыкова интересует само положение «одного из деятелей русской мысли» относительно той среды, которая его «выделила» и в которой он вынужден действовать.

Салтыков показывает, что тезис Станкевича о сочувственном отношении «среды» к деятельности Грановского является поверхностным и противоречит фактам (см. постран. прим). «Убеждения истории» (очень важные для Салтыкова-просветителя) как будто бы ни у кого не должны вызвать сомнения в том, что цивилизующая мысль всегда способствует «наилучшему устройству умственных и материальных (наиболее доступных пониманию большинства) интересов человечества». Однако Салтыков очень хорошо видит полную противоположность между интересами мысли (в конечном счете — «интересами человечества») и выгодами данной социальной среды (дворянства), которая поэтому и не может иначе относиться «ко всякой осмысленной деятельности как к злейшему своему врагу». Ведь «разложение под влиянием мысли» замкнутой и цельной дворянско-помещичьей среды неизбежно приведет к ее «поглощению», то есть к утрате этой средой привилегированного положения.

[1] По-видимому, Салтыков в данном случае разумеет и ту часть русских либеральных деятелей 40-х годов, которые оказались несостоятельными в новой социально-политической обстановке 60-х годов. В статье о Грановском он сравнил французских либералов, используя образ Гейне, с остановившимися часами. Но это же сравнение мы находим в главе VII «Дневника провинциала в Петербурге», где оно характеризует «старых болтунов», «которые, как давно заброшенные часы, показывают все тот же час, на котором застал их конец пятидесятых годов».

Выгоды «касты» оказываются сильнее каких бы то ни было «исторических убеждений».

Большой теоретический интерес представляет заключение статьи о Грановском, три ее последние страницы. Салтыков приходит к оптимистическому выводу, что, несмотря ни на какие препятствия, «действие цивилизующей мысли не прекращается», потому что ее хранят «самоотверженные люди», которых обыкновенно называют г е р о я м и: «...На этих-то людях, собственно, и зиждется то непрестающее движение, которое мы замечаем в истории». В цитированных словах Салтыкова нельзя не обнаружить проявления той концепции, которая нашла свое яркое выражение в незадолго до этого опубликованных «Исторических письмах» П. Л. Лаврова и к разработке которой приступил в том же 1869 г. на страницах «Отечественных записок» в цикле статей «Что такое прогресс?» Н. К. Михайловский. Однако понимание Салтыковым роли героев, их места в истории не совпадало с концепцией Лаврова или Михайловского. Теории, заключающейся в том, что история движется «героями», а не «толпой», он не разделял.

Иное, по сравнению с «субъективными социологами», понимание Салтыковым этой проблемы косвенно сказалось на его трактовке так называемых «исторических утешений». Тема эта, подробно развитая Салтыковым в октябрьской хронике «Наша общественная жизнь» за 1864 г.[1], возможно, возникла вновь в связи с публикацией «Исторических писем» П. Л. Лаврова (1868—1869). Обосновывая свою теорию критически мыслящих личностей как двигателей прогресса, Лавров в предпоследнем, четырнадцатом, письме утверждал, что «мысль, одушевляющая его <человека> к деятельности, победит индифферентизм и враждебность, его окружающие. Неудачи не утомляют его, потому что он верит в завтра. Вековой привычке он противопоставляет свою личную мысль, потому что история научила его падению самых упорных общественных привычек перед истиною, в которую верили единицы» (Письмо четырнадцатое — «Критика и вера».— «Неделя», 1869, № 11 от 2/14 марта, стлб 344).

Для Салтыкова же героизм и самоотверженность личности, находящей утешение лишь в истории, являются «ненормальными», лишь «условно уместными», «примеры героизма и самоотвержения, которыми и по настоящее ознаменовывается каждый шаг на пути прогресса, обещают со временем сделаться вовсе ненужными». (О том, какую важность имела для Салтыкова проблема «исторических утешений», свидетельствует также новое, спустя десятилетие, возвращение к ее разработке в заключении «За рубежом» — см. т. 14 наст. изд.)

Наконец, в заключительных строках статьи «Один из деятелей русской мысли» Салтыков раскрыл сокровенный смысл своего понятия «цивилизующая мысль», «цивилизующая идея» — это та же «идея общего блага», то есть в конечном итоге идея с о ц и а л и с т и ч е с к а я.

[1] См. Е. И. П о к у с а е в. Салтыков-Щедрин в шестидесятые годы. Саратов, 1957, стр. 230—232. См. также т. 6 наст. изд., стр. 362 и сл.

Стр. 145. *На глазах ее проходят явления, которые вчера еще поражали своим либерализмом... а сегодня уже сделались принадлежностью самого обыкновенного порядка вещей...*— Имеется в виду крестьянская реформа. См. т. 6, стр. 144 и прим. к ней.

Стр. 149 .. *мудрец московского Зарядья . ничего, собственно, не опровергает, а только цитирует и отдает на поругание...*— В статье «Человек, который смеется», напечатанной в предыдущем, двенадцатом за 1869 г, номере «Отечественных записок», Салтыков охарактеризовал выступления изданий Каткова как «травлю» передовой мысли. В статье «Один из деятелей русской мысли» он вновь говорит о невозможности спора в условиях «травли». Непосредственно, по-видимому, имеется в виду передовая «Московских ведомостей» от 11 декабря 1869 г. (№ 270), направленная против журнала «Дело». К ней ближе всего подходит салтыковская характеристика недобросовестных полемических приемов реакционной журналистики («цитирует и отдает на поругание»). В статье действительно обильно цитировались разнообразные материалы «Дела», причем цитирование сопровождалось «обобщениями», имеющими характер политического доноса.

Стр. 150. *Проповедуется снисходительность, терпимость и уступчивость...*— О терпимости как принципе деятельности Грановского говорилось в книге Станкевича (например, стр. 221).

Стр 153. ...*опровержение самое наглядное и бесповоротное.*— Салтыков говорит о Великой французской революции XVIII в.

...*идея, ставящая прогресс человечества в зависимость от уяснения отношений человека к природе. Еще Сенека говорил: naturalia non sunt turpia.*— Характерную для утопического социализма мысль о разумности природы, уяснение отношений к которой позволит установить разумность и в человеческих — общественных — отношениях, Салтыков развивал уже в своей ранней повести «Противоречия». Там она тоже была сформулирована с помощью взятой в качестве эпиграфа цитаты из того же сочинения Луция Аннея Сенеки «Ad Gallionem de vita beata», из которого извлекает Салтыков и настоящую цитату. В первой главе «Итогов» Салтыков назвал природу миром «действительным, существующим и обращающимся в силу естественных и совершенно вразумительных законов» в отличие от общества — «мира чудес» (см наст. изд., т. 7, стр. 427).

Стр. 154. ..*после декабрьского переворота...*— то есть после государственного переворота 2 декабря 1851 г., осуществленного президентом Франции Людовиком Бонапартом, через год объявившим себя императором под именем Наполеона III. Среди эмигрантов были Виктор Гюго, Луи Блан, Ледрю-Роллен.

...*время убедило даже деятелей декабрьского переворота, что прежняя система стеснений представляет много .. неудобств ..*— В 1867—1869 гг. правительство Наполеона III предприняло ряд либеральных реформ (смягчение цензурного режима, разрешение свободы собраний и т. п.), результатом чего было оживление деятельности оппозиции, в частности, во время выборов 1869 г. Русская печать всех направлений самым внимательным обра-

зом следила за событиями во Франции, публикуя многочисленные статьи, корреспонденции, рецензии (так, например, «Отечественные записки» в июльской книжке за 1869 г. возобновили публикацию «Парижских писем» Клода Франка <Шарля Шассена>, печатавшихся ранее в «Современнике»; первое письмо было посвящено выборам 23 и 24 мая 1869 г).

Стр. 155. *...либеральная партия... не может уладиться ни насчет своих требований, ни насчет своих вождей Прежние вожаки оказываются оставшимися при тех же афоризмах...*— Аналогичная характеристика внутриполитического положения во Франции дана во втором «письме» из Парижа Клода Франка, напечатанном в том же номере «Отечественных записок», что и комментируемая статья Салтыкова: «При первом послаблении возгорелись все прежние распри, несогласия, споры; что ни газета, то и лагерь, что ни статья, то и противник» («Совр. обозрение», стр. 171). Возможно, Салтыкову была известна книга будущего коммунара Огюста Вермореля «Деятели сорок восьмого года», вскоре переведенная на русский язык (СПб 1870), в которой доказывалось, что «деятели сорок восьмого года» (среди них — Одилон Барро, Ламартин, Луи Блан, Ледрю-Роллен) своей политикой во время революции подготовили переворот 1851 г. «...Когда мы видим, что они опять становятся во главе демократического и либерального движения,— писал Верморель,— когда мы видим, что они держат в руках нашу будущность,— нами овладевает уныние» (назв. изд , стр. 515).

Стр 159. *...пример Грановского, которого профессорская деятельность в Москве, по словам его биографа, была встречена общим сочувствием..* — «На лекциях Грановского,— писал Станкевич,— московское общество впервые испытало впечатления и силу живого слова, публичность речи <...> Положительно можно сказать, что со времени публичных чтений Грановского московское общество сильнее, чем когда-нибудь, сознало свою связь с университетом, так же как и университет более прежнего сблизился с обществом в лице лучших представителей своих» и т. д (стр. 140—141). (В этих оценках общественного значения лекций Грановского ощущаются реминисценции из безусловно хорошо известной Станкевичу статьи Герцена «О публичных чтениях г-на Грановского», написанной по окончании цикла этих лекций в 1844 г., под свежим впечатлением их успеха у московской публики — см. А. И. Герцен. Собр. соч. в 30-ти томах, т. 2, М. 1954, стр. 122—123.) Салтыков ограничивает «район воспитательного действия Грановского» лишь молодежью того времени, к которой принадлежал тогда и он сам (см. С. А. Макашин. Салтыков-Щедрин. Биография. 1, изд. 2, стр. 141, 250).

Стр. 161. *...Грановскому внушалось..* — В письме к Н. Х. Кетчеру от 14 января 1844 г. Грановский сообщает, что от него требовали апологий и оправданий в виде лекций: «Реформация и революция должны быть излагаемы с католической точки зрения и как шаги назад. Я предложил не читать вовсе о революции. Реформации уступить я не мог» (цит. соч , стр. 142; первую фразу этого отрывка цитирует Салтыков с следующим изменением: вм. «революция» — «французская революция»). Когда осенью 1849 г. вышла

из печати диссертация Грановского «Аббат Сугерий», «его обвиняли в том, что в чтениях истории он будто бы никогда не упоминает о воле и руке божией, управляющих событиями и судьбою народов» (стр. 241). В конце 1849 г. Грановскому было поручено «предварительное начертание программ» учебника всеобщей истории «в русском духе и с русской точки зрения» (подразумевался монархический принцип). Между тем взгляды Грановского как «западника», высказанные, в частности, в его публичных лекциях, были хорошо известны. «Легко понять,— пишет Станкевич,— как трудно было для Грановского исполнение данного ему поручения ..» (стр. 245).

Стр. 161. *...людей, которые вчера своей деятельностью обращали на себя всеобщее внимание, а нынче уж исчезли неизвестно куда...*— Салтыков напоминает читателям о трагической судьбе «деятелей мысли» 60-х годов, прежде всего — Чернышевского

Стр. 164. *И при этом совершенное отсутствие всякой системы... Что такое этот русский дух . вразумительно разъяснил .. «Русский вестник» в опубликованных статьях «О народности в науке», это же разъясняют нам в настоящее время «Московские ведомости»...*— Салтыков полемически сопоставляет два противоположных мнения о «народности», высказанных в изданиях Каткова в 1856 и 1869 гг. В первом случае имеются в виду напечатанные в «Русском вестнике» антиславянофильские статьи Б. Н. Чичерина «О народности в науке» и редакционные (принадлежавшие Каткову) «Заметки «Русского вестника». Вопрос о народности в науке» (см. об этом т. 6 наст. изд., стр. 610). Во втором случае Салтыков говорит о националистической точке зрения, высказанной в передовой статье «Московских ведомостей» (1869, № 184 от 22 августа) в связи с выходом в свет «Сборника статистических сведений о Кавказе».

Стр. 166. *...до «прекрасной зари» он не дожил ..*— Грановский умер в октябре 1855 г., уже после смерти Николая I, но еще до начала эпохи подготовки и проведения крестьянской реформы. Именно эту эпоху называет в своей книге Станкевич «прекрасной зарей».

Стр. 167. *...в тех застывших и обособившихся его эманациях ..*— Имеется в виду государственный аппарат надзора и подавления в области идеологии (политическая полиция, цензура и т. п.). *Эманация (лат.* emanatio — истечение) — в древнеримской идеалистической философии объяснение происхождения мира путем мистического истечения творческой энергии божества.

НАШИ БУРИ И НЕПОГОДЫ

(Стр 170)

Впервые: *ОЗ*, 1870, № 2, отд. «Современное обозрение», стр. 394—413 (вып. в свет — 18 февр). Без подписи. Авторство установлено С. С. Борщевским на основании анализа текста — *Неизвестные страницы*, стр. 525—532.

По жанру статья граничит с сатирическим очерком. Социально-психологические характеристики здесь персонифицированы в образах автора — известного литератора, его жены, тетушки, его приятеля Феди Горошкова.

Центральный образ рассказчика представляет широкое обобщение психологии русского интеллигента пореформенного времени, а отдельные факты его биографии, взятые из жизни самого Салтыкова (характеристика «архива» писателя, рассказ о неудавшейся попытке создания «своего» журнала и др.), сообщают повествованию тот доверительно-интимный тон, атмосферу острой личной заинтересованности в общественных делах, которая так характерна для салтыковского стиля.

В том же номере «Отечественных записок», где помещена статья «Наши бури и непогоды», напечатана глава V первой части поэмы Некрасова «Кому на Руси жить хорошо» («Помещик»), которая заканчивается словами:

Порвалась цепь великая,
Порвалась,— расскочилася —
Одним концом по барину,
Другим по мужику.

Каким образом «ударила» эта цепь по интеллигенции, показал Салтыков во многих статьях и очерках, начиная со второй половины 60-х годов, в особенности в таких больших циклах, как «Дневник провинциала в Петербурге», «За рубежом», «Благонамеренные речи», «Письма к тетеньке», «Современная идиллия». Этой теме целиком посвящена статья «Наши бури и непогоды». Непосредственным поводом к ней явился ряд грубопровокационных выступлений «Московских ведомостей» против революционной молодежи и либерально-демократической печати в связи с подготовкой «нечаевского процесса» (см. стр. 516—517). Салтыков передает то состояние страха, которое охватило русское общество при первых известиях об арестах, чувство полной беззащитности ни в чем не повинного человека перед неограниченной властью произвола и сыска, олицетворенного в целой плеяде охранителей: от окологочного надзирателя до редактора «Московских ведомостей» Первые разрозненные сведения об арестах членов организации «Народная расправа», о связях Нечаева с Бакуниным, об обстоятельствах убийства студента Иванова (см стр. 519—527) стали появляться в печати в декабре 1869 — январе 1870 г. «Московские ведомости» регулярно отводили таким сообщениям пространное место и сопровождали их комментариями вроде следующих: «Спрашивается, может ли общество оставаться нейтральным относительно этих революционеров? <...> Нет, это отъявленные враги своего отечества, это друзья и пособники его врагов, это их создания и орудия» (1870, № 4 от 6 января). Или. «Пусть гибнут мальчишки, пойманные на удочку нигилизма,— вожди и глашатаи нигилизма потирают себе руки» (1870, № 5 от 8 января). Идеализируя все устои современной русской жизни, от земского мира до общественной инертности массы населения, «Московские ведомости» заявляли: «У нас еще не дошло дело до

столкновения мнений ни в науке, ни в политической жизни, по той простой причине, что у нас пока не имеется ни того, ни другого» (1870, № 14 от 18 января). По-видимому, это утверждение катковской газеты парирует Салтыков, когда с горькой иронией отмечает, «что, не пользуясь в действительности политическим существованием, мы то и дело терпим политические бури». Салтыков глубоко исследует самый процесс влияния этих обстоятельств на сознание и поведение интеллигента, который проходит три стадии эволюции: самоуглубление, самоиспытание и самообыскание. Такая триединая формула отчасти предвосхищает известные ступени морального падения либерала, которые сатирик покажет позднее: «по возможности», «хоть что-нибудь», «применительно к подлости» («Либерал», 1885).

Еще в статье «Один из деятелей русской мысли» Салтыков писал о разрушительном, уродующем влиянии «внешних опасностей» на духовный мир мыслящего человека. Внешние и внутренние опасности, подстерегающие русскую интеллигенцию накануне «нечаевского процесса», во время нового наступления сил реакции обрисовал Салтыков в статье «Наши бури и непогоды». «Недреманное око», неотступно наблюдающее извне за каждым шагом интеллигента, поселяется и внутри его сознания. Возникает салтыковский образ вездесущего «любопытного консерватора», то есть провокатора и доносчика. Развитие этой темы в других произведениях сатирика, в частности в очерке «Охранители» (1874), из цикла «Благонамеренные речи», обратило на себя внимание Достоевского, который записал в одной из черновых тетрадей: «Тема сатир Щедрина — это спрятавшийся где-то квартальный, который его подслушивает и на него доносит; а г-ну Щедрину от этого жить нельзя». Запись эта, опубликованная в первом томе посмертного Собрания сочинений Достоевского («Биография, письма и заметки», СПб. 1883, стр. 370), разумеется, была замечена Салтыковым. Отвечая на этот упрек Достоевского в беседе с Г. И. Успенским, Салтыков разъяснил подлинный смысл своей темы, что имеет прямое отношение и к статье «Наши бури и непогоды»: «Вот Достоевский написал про меня, что, когда я пишу,— квартального опасаюсь. Это правда, только добавить нужно: опасаюсь квартального, который во всех людях российских засел внутри. Этого я опасаюсь» («Голос минувшего», 1913, № 2, стр. 235—236). С новой силой этот образ возрождается в «Современной идиллии». По словам Глумова, доносчик — «гороховое пальто» — «внутри оно у нас, в сердцах наших». Можно сказать, что в творческой истории «Современной идиллии» статье «Наши бури и непогоды» принадлежит важное место

В том же номере журнала, где появились «Наши бури и непогоды», был напечатан обзор «Наши общественные дела» (Н. А. Демерта), который завершался главой «По поводу известия о смерти А. И. Герцена». Автор, подобно Салтыкову, характеризует атмосферу обывательского страха перед именем Герцена. Он описывает, как газета с извещением о смерти великого революционера переходила из рук в руки при полном молчании. Консервативные органы печати затеяли спор о том, кто первый парализовал обще-

ственное влияние издателя «Колокола»: «М. Н. Катков, Б. Н. Чичерин или Н. Ф. Павлов?» В заключение автор говорит. «Каждый мыслящий и не боящийся высказать правду человек очень хорошо знает, что покойный Герцен представляет собою не только замечательного беллетриста, но просто исторический факт, которого впоследствии обойти будет невозможно» (стр. 381).

Скрытое упоминание о Герцене, чья деятельность остается примером высокого гражданского подвига, имеется и в статье Салтыкова (см. ниже прим. на стр. 518).

Заключая статью, Салтыков в иносказательной форме говорит о необходимости коренных социально-политических перемен. Сравнивая временную пòбеду либеральной прессы над «Московскими ведомостями» с сюжетом о погребении кота мышами в лубочных картинках, он заявляет, что «правильно поставлено будет общество только тогда, когда не будет возможности одним делаться котами, а другим — мышами...».

Стр. 170. *...герой «времен очаковских и покоренья Крыма».*— Цитата из монолога Чацкого «А судьи кто?» (А. С. Грибоедов. Горе от ума).

Стр. 171. *.. каждый сидит под виноградом своим и под смоковницею своею...*— Библейское выражение, символизирующее спокойствие и благоденствие (третья «Книга Царств», IV, 25; четвертая «Книга Царств», XVIII, 31).

...вся страна наслаждается, по выражению одного публициста, глубоким земским миром.— Имеется в виду М. Н. Катков.

Стр. 173. *Еще с 1862 г., убежденный И. С. Тургеневым.* — Имеется в виду роман «Отцы и дети». Об отношении к нему Салтыкова см наст. изд., т. 5, стр. 581—582; т. 6, стр. 9, 15—16 и др.

Стр. 175. *Я начинаю с того, что припоминаю всех заподозренных «Московскими ведомостями»...*— Многие статьи «Московских ведомостей» по поводу «нечаевского дела» носили характер неприкрытых доносов. 20 декабря 1869 г. (№ 277) газета объявляла: «Теперь ходят слухи, что этот Нечаев снова появляется на сцену и при весьма странных обстоятельствах: он, говорят, возвратился в свое любезное отечество. Нам пишут из Петербурга: «В прошлом августе здесь появилась из Женевы прокламация на русском языке под заглавием «Начало революции». В ней предписывается всем эмигрантам немедленно прибыть в Россию. Лишь некоторым почетным эмигрантам, Бакунину, Герцену и др., дозволялось быть, где они пожелают. <...> Нам сообщают также, что в Петербург, после сделанного через прокламацию предупреждения, действительно будто бы приехало несколько эмигрантов, и в числе их прибыл благополучно и Нечаев. Мало того, рассказывают, что Нечаев успел уже перенести свою деятельность в Москву и будто бы обретается теперь здесь». На другой день, 21 декабря 1869 г., «Московские ведомости» (№ 278) сообщали: «Всем известно, что с некоторых пор наша учащаяся молодежь стала предметом злонамеренной

агитации Наши учебные заведения осаждены каким-то тайным врагом, который на них пробует свои силы и который, нет сомнения, совсем не то, чем он выдает себя для уловления бедных молодых людей». Далее названа фамилия доктора Н. А Белоголового, автора статьи «Клинический профессор Полунин», напечатанной в декабрьском номере «Архива судебной медицины» 1869 г. Белоголовый возлагал ответственность за студенческие беспорядки на реакционных профессоров медицинского факультета Московского университета.

Стр. 176. . *для преступлений литературных существует особый следственный и судебный процесс.*— Законом от 6 апреля 1865 г. была предусмотрена судебная ответственность за «преступления печати».

Стр 178 . .*Белоголового арестовали.*— Очевидно, Салтыков считал, что такой слух мог быть порожден статьей «Московских ведомостей» от 21 декабря 1869 г. (№ 278), написанной в форме доноса на доктора медицины Н. А. Белоголового, который обвинялся в сочувствии революционной молодежи

...*студентов, исключенных по истории Полунина.*— См стр. 200—202.

Стр. 179 .. *«Почему же и не самообыскаться?»* — Как установил С. С. Борщевский, Белоголовый, в одной из статей издававшейся при его участии заграничной газеты «Общее дело» (1884, № 64), употребил это щедринское словечко, назвав «эпохой самообыскания» время, наступившее после покушения на Александра II, совершенного 2 апреля 1879 г.

...*к карточкам великих, но запрещенных людей.*— Имеются в виду фотографии Герцена и Гарибальди, получившие широкое распространение в России в 60—70-х годах

. *аккомодация* — приспособление.

.*чем пламеннее делается натиск... тем суровее дает она отпор.*— Салтыков перефразирует строку из стихотворения Пушкина «К вельможе» (1830): «Здесь натиск пламенный, а там отпор суровый»

Стр. 180. ...*читала Мизераблей В. Гюго.*— Роман В. Гюго «Les Misérables» («Отверженные») в русском переводе появился в 1862 г. В 1866 г. он вышел в издании В. Генкеля, но вначале был задержан цензурой за «революционные и социалистические тенденции».

. *«Идиот» г. Достоевского* — Оценку этого романа Салтыковым см на стр. 413.

...*хвалили этот роман именно за картинность.*— По-видимому, речь идет о статье Писарева «Борьба за жизнь» («Дело», 1867, № 5; 1868, № 8), в которой «Преступление и наказание» рассматривалось не как идейно-философский, а исключительно как социальный роман, воссоздающий правдивые картины трагически тяжелой борьбы за существование.

...*«Собака», «Лейтенант Ер .».*— Рассказ «Собака» был напечатан в «С.-Петербургских ведомостях», 1866, № 85. Сам Тургенев называл «Собаку» «безделкой», считал, что она «не удалась». «История лейтенанта Ергунова» появилась в «Русском вестнике», 1868, № 1. Тургенев писал, что рассказом «все решительно недовольны, все без исключения».

Стр. 180. ..*Заграничный исторический сборник.*— Имеется в виду «Исторический сборник Вольной русской типографии в Лондоне». Сборник был выпущен Герценом, с его предисловием, в двух книжках (1859 и 1861 гг.). Он состоял из публикаций «разных документов и статей, актов и писем, *невозможных* для печатания в России...» (из предисловия Герцена).

Стр. 181. ...*печатаются в «Архиве» Бартенева* — Исторический журнал «Русский архив», основанный П. И Бартеневым в 1863 г., Салтыков не раз обличал как консервативное издание. Так, «Обращение к читателю от последнего архивариуса-летописца» в начале «Истории одного города» заканчивалось словами, что все летописцы «единую имели опаску, дабы не попали наши тетрадки к г. Бартеневу и дабы не напечатал он их в своем «Архиве». О «Русском архиве» см. стр. 386 («Записки Е. А. Хвостовой»).

...*Семевского, если хочешь, также выпишу.*— В 1870 г. М. И. Семевским начал издаваться исторический журнал «Русская старина». Салтыков относился к Семевскому значительно лучше, чем к Бартеневу, однако причислял и его к историкам «анекдотической школы», а в «Истории одного города» создал пародию на такой тип сочинений («Сказание о шести градоначальницах»). Запись беседы Семевского с Салтыковым от 6 февраля 1882 г. см в кн : «М. Е. Салтыков-Щедрин в воспоминаниях современников», Гослитиздат, М. 1957, стр 523—532. О журнале Семевского — см. также стр 386 («Записки Е. А. Хвостовой»).

Стр. 182. ...*ауто-дафе (лат)* — сожжение на костре.

Стр. 183. *«Вас ждут известные вам .» . Предприятие это не осуществилось* — Имеется в виду эпизод, связанный с деятельностью самого Салтыкова. В 1862 г. Салтыков с А. Унковским задумали издавать журнал «Русская правда». К руководящему участию в издании были приглашены также А А. и А. Ф. Головачевы, А. И. Европеус, Б. И. Утин, А. Н. Плещеев, велись также переговоры с Н. Г. Чернышевским и, на более позднем этапе, с Г. З. Елисеевым и Н. А. Некрасовым. (Подробно см. заметку С. А. Макашина в книге «М. Е. Салтыков-Щедрин в воспоминаниях современников», стр. 833—834) Однако правительство не дало разрешения на это издание

Стр. 187. ...*петербургская литература, вожаками которой в злоумышлениях представляются Шелгунов, Суворин и Генкель.*— 8 января 1870 г. «Московские ведомости» (№ 5) писали: «Невольно спрашиваешь себя: наяву ли это происходит или во сне? ...гг. Генкель, Суворин, Шелгунов и tutti quanti ограждают русское общество от зловредной агитации «Московских ведомостей»?» И здесь же: «Послушайте, как обвиняют нас прокуроры «Недели», издаваемой г. Генкелем.. они восклицают: «Кого более следует остерегаться русскому обществу: таких ли агитаторов, каков, например, Нечаев, или таких, каковы редакторы «Московских ведомостей»?»

...*он давно уже живет вне Петербурга, в изгнании.*— В показаниях по делу Чернышевского предатель Костомаров заявлял о принадлежности Н В. Шелгунова к революционной организации. Обвинение осталось недоказанным. В 1864 г. Шелгунов был выслан в Вологодскую губ. в админи-

стративном порядке. С апреля 1869 г он жил под надзором полиции в Калуге

Не он ли написал: «Всякие».— С 1863 г. Суворин был ближайшим сотрудником «С.-Петербургских ведомостей», где печатал фельетоны и очерки под псевдонимом А. Бобровский. В 1866 г. он издал книжку под заглавием «Всякие. Очерки современной жизни», главный герой которой Ильменев был изображен как «новый человек», конспиратор, близкий к писателю Самарову (то есть Чернышевскому). Вскоре по выходе книги тираж ее был арестован, а Суворин предан суду «за напечатание оскорбительных и направленных к поколебанию общественного доверия отзывов о постановлениях и распоряжениях правительственных установлений...». Окружной суд приговорил Суворина к двум месяцам тюремного заключения, но после его униженной апелляции, со ссылками на Гоголя и Щедрина, которым была дозволена критика чиновников, судебная палата изменила наказание Книга «Всякие» была сожжена, автор приговорен к трем неделям гауптвахты. (См об этом подробно в «Сборнике сведений по книжно-литературному делу за 1866 г.», изд. Черепнина, М. 1867)

Стр. 188. *...упорное отстаивание им своего права на статью Марко Вовчка, без всякого законного на то акта и невзирая на протест последней?* — Имеется в виду протест писательницы М. А. Марко Вовчок против объявления Генкеля о помещении ее произведений в его издании, опубликованный в «С.-Петербургских ведомостях», 1869, № 334. В эти годы Марко Вовчок постоянно печаталась в «Отечественных записках».

ТАК НАЗЫВАЕМОЕ «НЕЧАЕВСКОЕ ДЕЛО» И ОТНОШЕНИЕ К НЕМУ РУССКОЙ ЖУРНАЛИСТИКИ

(Стр. 191)

Впервые *ОЗ*, 1871, № 9, отд. «Современное обозрение», стр. 1—33 (вып. в свет — 20 сентября). Подпись: М. М. Авторство раскрыто в «Указателе к «Отечественным запискам» за 1868—1877 гг.» (*ОЗ*, 1878, № 8, стр. XVII, и отд издание) и в гонорарных ведомостях «Отечественных записок» 1871 г. (*ЛН*, т. 53—54, М. 1949).

В июле — августе 1871 г. происходил первый *открытый* политический процесс в России — над участниками тайного общества «Народная расправа». К суду были привлечены почти все члены организации — 84 человека, разделенные на четыре категории (по тяжести предъявленных обвинений),— в основном интеллигентная молодежь и студенты. Салтыков сам был на процессе (в частности, 27 августа, см. прим. к стр. 191) и многие подробности мог знать от своего друга А. М. Унковского — одного из защитников.

Волнения студентов в конце 1868 — начале 1869 г. явились толчком к созданию «Народной расправы». Как бы продолжая в новых условиях сту-

денческое движение 1861 г., участники его требовали права свободно собирать сходки, устраивать библиотеки, кассы взаимопомощи и т. д. При этом часть молодежи не ограничивалась стремлением к демократизации одной лишь студенческой жизни, а переходила непосредственно к борьбе за освобождение всего народа от гнета самодержавного государства. Вскоре революционная активность студенческой молодежи была использована С. Г. Нечаевым для создания тайной организации анархистского толка. Сам Нечаев, вольнослушатель Петербургского университета, был энергичным участником студенческих волнений, фанатически преданным революции. Значительное влияние на весь характер его деятельности оказал анархизм Бакунина. Однако многие взгляды и дела Нечаева вызвали со стороны Бакунина решительный протест. Это относится, в частности, к известному документу «Катехизис революционера», который до последнего времени считался сочинением Бакунина и Нечаева. Как свидетельствует пространное письмо Бакунина к Нечаеву от 2 июля 1870 г, впервые опубликованное в 1966 г, «Катехизис» принадлежит перу Нечаева. Определяя свои разногласия с Нечаевым, Бакунин ссылается на их прежние споры: «Помните, как Вы сердились на меня, когда я назвал Вас абреком, а Ваш катехизис катехизисом абреков», и далее: « Вы по образу мыслей подходите более к иезуитам, чем к нам. Вы фанатик — в этом Ваша огромная характерная сила, но вместе с тем и ваша слепота, а слепота большая и губительная слабость» («Cahiers du Monde Russe et Soviétique», 1966, Sorbonne, Vol. VII, № 4, p. 632). Формулируя основные принципы, которыми должно руководиться при создании революционного общества, Бакунин отвергал нечаевскую тактику заговора, террора и мистификации. Он писал «Иезуитский контроль, система полицейского опутывания и лжи решительно исключаются из всех 3-х степеней тайной организации: точно так же из уезд<ного> и област<ного>, как и из Народ<ного> братства. Сила всего общества, равно как нравственность, верность, энергия и преданность каждого члена, основаны исключительно и всецело на взаимной истине, на взаимной искренности, *на в<заимном>* доверии и на открытом братском контроле всех над каждым» (т а м ж е, p. 672).

В большой статье «Альянс социалистической демократии и Международное товарищество рабочих», посвященной прежде всего критике бакунизма, Маркс и Энгельс особо рассматривают «Катехизис революционера». «Эти всеразрушительные анархисты,— отмечают они,— которые хотят все привести в состояние аморфности, чтобы установить анархию в области нравственности, доводят до крайности буржуазную безнравственность»[1].

Четвертого марта 1869 г., опасаясь преследований со стороны полиции за участие в студенческих волнениях, Нечаев уезжает за границу и, явившись в Женеву, к Огареву и Бакунину, выдает себя за руководителя студенческого революционного движения, бежавшего из Петропавловской крепости. 1868—1869 гг. были особенно трудными в жизни Огарева: возмож-

[1] К Маркс и Ф Энгельс Сочинения, изд. 2-е, т. 18, стр. 415.

ности издания «Колокола» оказались исчерпанными, разногласия с «молодой эмиграцией» углублялись, живых связей с Россией почти не осталось. Поэтому Огарев с большим энтузиазмом встретил Нечаева и уверял Герцена, что приезд петербургского студента «поворачивает на воскресение заграничной прессы» (письмо от 1 апреля 1869 г., *ЛН*, т. 39—40, стр 545). Огарев, вместе с Нечаевым и Бакуниным, развернул широкую агитационную кампанию, сам написал брошюру («В память людям 14 декабря 1825 г.»), прокламации («От стариков молодым друзьям», «Наша повесть»), а также стихотворение «Студент», посвященное «молодому другу Нечаеву», которое впоследствии фигурировало в материалах процесса.

Следует отметить, что Герцен все время относился к Нечаеву недоверчиво и неприязненно. В письмах «К старому товарищу» (1869), обращенных к Бакунину и отчасти Огареву, он решительно отвергает теорию и тактику анархизма как явления глубоко враждебные революции. Герцен утверждает, что необходимо «окончательно пожертвовать уголовной точкой зрения, а она, по несчастью, прорывается и мешает понятия, вводя личные страсти в общее дело и превратную перестановку невольных событий в преднамеренный заговор»[1]. И далее: «Дикие призывы к тому, чтобы закрыть книгу, оставить науку и идти на какой-то бессмысленный бой разрушения, принадлежат к самой неистовой демагогии и к самой вредной»[2].

В августе 1869 г. Нечаев возвращается в Россию, и в Москве, преимущественно из студентов Петровской земледельческой академии, создает тайное общество «Народная расправа», состоящее из небольших, не связанных между собой кружков. Это давало Нечаеву возможность внушать членам «Народной расправы» иллюзию об огромных масштабах организации, ячейки которой будто бы разбросаны по всей стране и даже по всему миру. Нечаев предъявлял особо доверенным лицам мандат, подписанный Бакуниным от имени «Русского отдела всемирного революционного союза», пользовался специальными бланками с эмблемой «Альянса». Нечаев требовал от членов «Народной расправы» беспрекословного повиновения своим приказам. На этой почве в конце 1869 г. произошло трагическое событие, повлекшее за собой арест почти всех участников подпольной организации. За отказ подчиниться Нечаеву 21 ноября в парке Петровской академии был убит студент И. Иванов. Убийство совершил сам Нечаев с помощью четырех членов «Народной расправы» — П. Успенского, А. Кузнецова, И. Прыжова, Н. Николаева. Нечаев успел бежать за границу, остальные четверо, вместе с другими участниками «Народной расправы», через полтора года предстали перед судом Санкт-Петербургской судебной палаты. (В 1872 г. Нечаев был выдан швейцарскими властями русскому правительству и приговорен к каторжным работам в Сибири.)

Первые сообщения, а затем и статьи о «нечаевской истории» появились

[1] А. И. Герцен. Собр. соч. в 30-ти томах, т. XX, кн. 2, М. 1960, стр. 579—580.

[2] Там же, стр 592.

уже в январе 1870 г. Особенно усердно выступали «Московские ведомости», обвинявшие другие органы печати в либерализме и нигилизме (В статье «Наши бури и непогоды» Салтыков писал, что, по мнению этой газеты, следует арестовывать «не по несомненным уликам, и даже не по уликам, а так просто, по предложению, или, точнее сказать, по вдохновению».) Однако позднее, когда происходил сам процесс и когда его материалы, сначала публиковавшиеся в «Правительственном вестнике», затем перепечатывались и комментировались на страницах многих изданий, наглядно обнаружилось то «литературное единодушие», которое с такой убийственной иронией показал Салтыков. Разумеется, отдельные, иногда даже существенные разногласия были между некоторыми печатными органами. Так, например, «С.-Петербургские ведомости» резонно осуждали «Московские ведомости» за то, что те «думают, что защитники должны были греметь против нигилизма», «изобличить весь вред этого направления». «Во всех образованных государствах,— писали «С.-Петербургские ведомости»,— людей наказывают не за то, что они держатся тех или других ложных воззрений, а за то, что они совершили известные деяния, положительно воспрещаемые законом». И «Московские ведомости» и «Голос» возмущались теми «утонченными оборотами речи», которые употреблялись председателем суда и защитниками по отношению к подсудимым. «С.-Петербургские ведомости», напротив, одобряли эту манеру. Но несмотря на разногласия, органы печати консервативного и буржуазно-либерального направления сходились в главном: отождествляя «нечаевское дело» со всем русским революционным движением, они поносили революционную молодежь в целом, заявляя, что в России нет почвы для революции и что заниматься ею могут лишь безумцы, неучи да Хлестаковы.

Салтыков с глубокой иронией пишет о том слаженном «антинигилистическом» хоре, который, как по команде, возник из разноголосицы современной печати (см. его введение к статье и многочисленные авторские примечания).

«Отечественные записки» не могли прямо и откровенно высказать свой взгляд на «нечаевское дело», не затронув общих проблем революционного движения, что по цензурным причинам было невозможно для радикального издания. Но взгляд этот внимательный читатель мог определить по совокупности материалов, печатавшихся в «Отечественных записках» и прежде всего в том номере, где была помещена статья Салтыкова: «Так называемое «нечаевское дело»...»

Еще в феврале 1870 г., статьей «Наши бури и непогоды», Салтыков откликнулся на подготовку «нечаевского процесса» (см. наст. том, стр. 170—190)

В письме к Некрасову от 17 июля 1871 г. он писал: «По моему мнению, полезно было бы напечатать нечаевское дело в «Отечественных записках» вполне, и начать это печатание в августовской книжке (вероятно, и 2 я категория уже будет кончена к тому времени). Перепечатку можно сделать из «Правительственного вестника», где этот процесс затем и печа-

тается, чтоб его отчетом руководились прочие журналы. Читателям будет интересно иметь в руках полное изложение всего процесса, который он имеет теперь в отрывках, рассеянных во множестве №№ газет.

Затем мне казалось бы нелишним в *сентябрьской книжке* напечатать свод статей, появившихся по этому <делу> в газетах и журналах. Это тоже не лишено будет для читателей интереса; ежели хотите, я возьму этот труд на себя и сделаю его совершенно скромно В сентябрьской книжке это будет удобно сделать, потому что впечатление несколько остынет» (см. т 18 наст. изд.).

Осуществилась лишь вторая половина замысла Салтыкова — его «совершенно скромная» статья о «нечаевском деле» появилась в сентябрьской книжке. Вместе с анонимной статьей «Литературные заметки», напечатанной в том же номере, эта статья Салтыкова вызвала недовольство Александра II, который, как говорится в докладе III Отделения, на полях против этих двух статей «изволил собственной рукою начертать: «обратить на это внимание министра внутренних дел».

Обличая благонамеренную журналистику, Салтыков как бы возвращал мысль читателя к одной из своих статей 1868 г.— «Литература на обеде», где в широком смысле затронуто то же явление. Причину отсутствия «серьезной публицистической литературы» Салтыков объяснял тем, что ее и не может быть «в стране, где нет полной свободы слова» (стр. 59). Передовые статьи, где есть хоть нечто самостоятельное, напоминают, по мнению Салтыкова, «те *челобитья,* которые в древнее время писали государевы сироты» (т а м ж е). И, вероятно, не случайно именно этот образ повторяется в упомянутых «Литературных заметках». «Говоря откровенно, нет ничего трагикомичнее положения публициста, брошенного судьбою на берега Невы <...> Его писания не имеют даже того значения, какое когда-то имели челобитные царских сирот» (*ОЗ,* 1871, № 9, отд. «Современное обозрение», стр 153).

В статье Салтыкова почти нет прямых авторских суждений о позиции той или иной газеты, их заменяет эзоповская фразеология, едкая ирония «похвальных слов» по поводу верноподданной публицистики. Однако в «Литературных заметках» читатель находил своеобразный и подробный комментарий к тому, что он уже узнал из статьи «Так называемое «нечаевское дело» .» (этой статьей открывался отдел «Современное обозрение»). Ссылаясь на те же рассуждения «Московских ведомостей», которые обильно цитировались в статье Салтыкова, автор «Литературных заметок» обвиняет газету в «политической мономании», стремлении видеть везде «заговоры, сепаратизмы», государственные преступления (стр. 167).

На многих примерах критик разъясняет подлинный смысл той «заботы об отечестве», которую уже много лет подряд проявляют «Московские ведомости». Благонамеренному единомыслию он противопоставляет «открытую и свободную» борьбу мнений, ибо «человеческая мысль может мужать и крепнуть только в борьбе разнородных миросозерцаний» (стр. 171). Критик призывает к «трезвому взгляду на политические про-

цессы», на их связь с развитием общественной мысли. Чтобы отделить «нечаевское дело», которое в одной из статей 1873 г. Михайловский назовет «монстром», от дела прогресса, необходимого и неизбежного, он создает прозрачный аллегорический образ: если кто-то выбросился из окна, это еще не повод запретить людям, жаждущим света, приближаться к окнам (стр. 175).

Разбираемый номер «Отечественных записок», как и многие другие книжки этого журнала, скомпонован таким образом, что разные материалы, в нем напечатанные, каждый по-своему разрабатывают одну и ту же тему. Так, например, перед статьей Салтыкова напечатан цикл сатирических стихотворений В Буренина. Первое из них — «Общественное мнение» — предваряет одну из важных тем статьи о «нечаевском деле»:

«— Плохо, Петр Иваныч?
— Плохо, Петр Ильич!
Думал, нынче за ночь
Хватит паралич.
Слышали, в суде-то
Что творится? Ох,
Верьте мне: нас это
Наказует бог!
Школьникам, мальчишкам —
Просто стыд и срам —
Поблажает слишком
Председатель сам!
Вежлив, как в салоне:
«Смею вам сказать...»
В эдаком-то тоне
С ними рассуждать!»

Стихотворение заканчивается такими словами:

«Да-с, прогресс сей ввержет
Нас злосчастья в ров,
Если не поддержит
Господин Катков!»

В этом же номере журнала, после долгого перерыва возобновилось печатание «Парижских писем» Шарля Шассена. Здесь описывались события Парижской коммуны, мысль о которых естественно связывалась в те дни с судьбами русской революции. И хотя Шассен был далек от глубокого понимания причин и характера Коммуны, хотя точка зрения самого Салтыкова (см. «Итоги», т. 7) была существенно иной, тем не менее подробная информация о французских событиях, разоблачительная характеристика палача Коммуны Жюля Фавра представляли большой интерес для русского читателя. Кстати, Шассен в «Парижских письмах» расценивает циркуляр Жюля Фавра от 6 июня, о котором идет речь в статье Салтыкова, как позорный полицейский документ.

Наконец, в этом же номере «Отечественных записок» была помещена глава из новой книги Салтыкова «Господа ташкентцы» — «Ташкентцы при-

готовительного класса», где изображается страх дворянства перед «тайными обществами» нигилистов и жажда мести новым Каракозовым. Обличение консервативной и буржуазно-либеральной («пенкоснимательской») прессы — главную тему статьи «Так называемое «нечаевское дело»...» — Салтыков продолжил в «Дневнике провинциала в Петербурге» (1872).

Стр 191. *...войдя в одно из заседаний суда... мы нашли...*— Судебные заседания, где рассматривались дела подсудимых четвертой категории, происходили от 27 августа 1871 г.

...к отделению от государства обширных частей (Сибири) ..— Обвинение это было предъявлено группе подсудимых четвертой категории: «Кошкин, Долгушин, Дудоладов и Лев Топорков <...> состояли членами кружка сибиряков <...> для кружка этого и был написан Долгушиным устав <...> в собраниях оного рассуждалось об отделении Сибири <..> и в самом уставе общества сибиряков, Долгушиным составленном, было сказано, как говорил Кошкин: «Цели будущей нашей деятельности мы не можем определить потому, что неизвестно, каково будет положение Сибири во время улучшения материального ее благосостояния, нужно ли тогда будет отделить Сибирь или нет» («Правительственный вестник», 1871, № 205 от 28 августа, стр. 2).

Стр. 193. *...формализироваться* — обижаться (от *франц.*— formaliser).

Один талантливый фельетонист... не без ядовитости назвал нас «брать-ями-молчальниками».— Как установил С. С. Борщевский, Салтыков имел в виду фельетон Суворина «Недельные очерки и картинки» («С.-Петербургские ведомости», 1871, от 16 мая), где публицисты «Отечественных записок» были названы «молчаливым легионом» за присущее им будто бы стремление отмалчиваться при обсуждении важных общественных вопросов (см. *изд. 1933—1941*, т. 8, стр. 539).

Стр. 194. *...«Отечественные записки» — издание ежемесячное...*— Этот аргумент выдвигается, конечно, иронически, так как «Вестник Европы», цитируемый Салтыковым,— тоже ежемесячный журнал.

...«металлом звенящим»...— См. прим. к стр. 137.

Стр. 195. *...четверо подсудимых приговорены к каторжной работе...*— 15 июля был зачитан приговор суда, по которому Успенский, Кузнецов, Прыжов и Николаев ссылались в каторжные работы на разные сроки с лишением всех прав состояния.

...отпуская этих последних...— В стенограмме суда читаем: «Председатель: Подсудимые Орлов, Волховский, Корнфский и Томилова! Не угодно ли вам выйти на середину залы.

(Подсудимые вышли).

Подсудимые! Вы свободны от суда и содержания под стражею. Господа! Отныне вам место не на позорной скамье, а среди публики, среди всех нас» («Правительственный вестник», № 168, стр. 6).

Эмфатический...— то есть напыщенный.

Стр. 197. ... *он говорил, как чужой*...— Имеется в виду речь Спасовича в защиту Алексея Кузнецова. См об этом ниже

И вот один рявкнул стихами...— Свое заключительное слово Прыжов закончил стихами Гете. «Вы извините меня, почтенные судьи,— сказал он,— если я позволю себе привести здесь слова величайшего германского поэта Гете, которые как будто прямо относятся к настоящему, крайне прискорбному для всех делу.

Жертвы валятся здесь,
Не телячьи, не бычьи,
Но неслыханные жертвы — человечьи».

По этому поводу автор уже упоминавшихся «Литературных заметок» писал: «Когда по окончании судебных прений Прыжову было дано слово, как оно дается обыкновенно всем подсудимым, он сказал несколько незначащих и бессвязных фраз, заключив их тремя стихами из Гете. «Московские ведомости» возмутились этим и не преминули заметить, «как один подсудимый рявкнул стихами». Признаемся, ничего отвратительнее этой заметки нам не случалось читать в русской литературе. Есть минуты, когда замирает всякая человеческая ненависть; слова приговоренного к смерти, физической ли то или политической, выслушиваются всеми спокойно, если не из уважения и любопытства, то из приличия. Только палач способен остановить жертву сказать последнее в жизни, дозволенное ей законом слово.. » (*ОЗ*, 1871, № 9, стр. 180).

...другой воспользовался случаем... сослался на Брута и Кассия...— Речь идет о заключительном слове Успенского, который стремился оправдать убийство Иванова, разлагавшего тайное общество перед «критической минутой» и претендовавшего на ту роль, которую играл Нечаев. «Тут не было и речи о цементации дела кровью,— говорил Успенский.— У нас была другая связь, более крепкая; это идея, одушевлявшая нас, идея общего дела. Кто же не знает, что пролитая кровь не только не связывает, но разрывает все узы?. Если бы и оставалась какая-нибудь связь, то она чисто внешняя, тяжелая, как цепь невольника. Так Брут и Кассий поссорились накануне Фарсальского сражения Между ними стояла тень Цезаря» («Правительственный вестник», № 168, стр 5).

Стр 198. *.контроверса* — спор.

Но вот катехизис русского революционера. Он был прочитан на суде.— «Катехизис» был опубликован в «Правительственном вестнике», 1871, № 162 от 9 (21) июля.

Стр 205. *...выучить наизусть даже некоторые страницы Канта.*— Прыжов рассказал на суде, что Нечаев цитировал наизусть целые страницы из «Критики чистого разума».

Вообразите себе еще Огарева, Бакунина и Нечаева, составляющих заговор с надежным человеком, присланным в Женеву киевской администрацией (см. заявление одного из защитников в заседании 8-го июля).—

Имеется в виду заявление присяжного поверенного Соколовского: «В деле есть следующее обстоятельство: студенту Киевской Академии Маврицкому были присланы прокламации из Женевы, которые были доставлены им начальству. Вследствие того князь Дундуков-Корсаков воспользовался этим и послал в Женеву надежного человека, который вошел в знакомство с Нечаевым и Бакуниным и привез прокламации, причем Нечаевым были сообщены адреса знакомых ему лиц. Нам желательно было бы познакомиться с этими адресами, чтобы доказать, как мало имел Нечаев соучастников в деле студенческого движения». Прокурор ответил отказом на просьбу защитника («Правительственный вестник», № 162, стр. 5).

Стр. 206. *«в снежных каторгах Сибири»* — строка из стихотворения Огарева «Студент», посвященного Нечаеву:

Жизнь он кончил в этом мире
В снежных каторгах Сибири...

Стр. 208. .. *фемгерихт* — тайное судилище. От *нем.* Femgericht — тайное вестфальское судилище в средние века.

...*как турецкий посланник в рассказе Хлестакова.*— В рассказе Хлестакова иначе: «.. министр иностранных дел, французский посланник, английский, немецкий посланник и я».

Стр. 213. ...*Жюль Фавр счел нужным назвать в своем циркуляре и Россию.*— Министр иностранных дел правительства Тьера Жюль Фавр 6 июня 1871 г. разослал всем европейским державам циркуляр, призывая их бороться с Международным товариществом рабочих, вплоть до его уничтожения. Все документы, приведенные в циркуляре, не имели никакого отношения к Интернационалу, а были связаны с деятельностью бакунинского «Альянса социалистической демократии». Эта подтасовка была вскрыта Марксом и Энгельсом в «Заявлении Генерального Совета по поводу циркуляра Жюля Фавра» (от 12 июня 1871 г) — см К. Маркс и Ф. Энгельс Сочинения, изд. 2-е, т. 17, стр. 372—373.

Стр. 219. ...*кажется, чего-чего не говорили и не писали о панургове стаде...*— «Антинигилистический» роман Вс. Крестовского «Панургово стадо» вышел в 1869 г.

...*все у нас пусто, сухо, голо... прошедшее Польши в пурпуре и злате...*— Имеются в виду следующие слова Спасовича, поляка по национальности: «Это прошлое и возникает перед его глазами в пурпуре и злате, в дивном величии, а он кидается в это национальное прошлое с тем, чтобы осуществить посредством того свои демократические мечтания. Вот каким способом делается он революционером. Другое дело русский юноша. Прошлое его не богато, что ни говори славянофильство, настоящее сухо, бедно, голо, как степь раскатистая, в которой можно разгуляться, но не на чем остановиться» («Правительственный вестник», № 165, стр. 5).

ПЕРВАЯ РУССКАЯ ПЕРЕДВИЖНАЯ ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ВЫСТАВКА

(Стр. 225)

Впервые — *ОЗ*, 1871, № 12, отд «Современное обозрение», стр. 268—276 (вып. в свет — 17 декабря). Подпись М М. Авторство раскрыто в «Указателе к «Отечественным запискам» за 1868—1877 гг» (*ОЗ*, 1878, № 8, приложение, стр. XVII; см. также отд. изд).

Выставка Товарищества передвижных художественных выставок, открывшаяся в залах Академии художеств 29 ноября 1871 г, ознаменовала собой начало деятельности Товарищества, устав которого был утвержден еще 2 ноября 1870 г.

Первая выставка свободной ассоциации художников-реалистов, объединившихся в целях борьбы с господствующим официальным искусством Академии, вызвала живой отклик в печати. Почти все столичные газеты и журналы поместили на нее рецензии. Прогрессивная печать отмечала свежесть, новизну и многообразие сюжетов картин, правдивое и живое отображение действительности в полотнах художников-передвижников. С большим сочувствием была принята и сама идея передвижения художественных произведений по России, что должно было оживить затхлую атмосферу провинции и дать искусству новые средства его демократизации.

Внимание Салтыкова к первой выставке передвижников было, очевидно, вызвано ее большим общественным резонансом. Не случайно писатель особо оговаривает свою некомпетентность в специальных вопросах живописи и сосредоточивает внимание на принципиальных сторонах деятельности Товарищества в целом и на тех произведениях, которые наиболее горячо обсуждались в печати и, несомненно, в литературно-художественных кружках Петербурга. Вся статья пронизана скрытой полемикой.

Писатель подходит к деятельности Товарищества как к факту, имеющему важное общественное значение. Самая организация нового художественного объединения, противостоящего консервативному искусству Академии художеств, находит у него горячую поддержку. Салтыков одобряет «Товарищество за то, что оно при первом своем появлении на суд общества избавило публику от крашенины», утомляющей взор на выставках Академии, и противопоставило ей работы своих членов, производящие «самое приятное впечатление».

Однако перспективы деятельности Товарищества вызывают у Салтыкова серьезные опасения. Он смотрит на будущее передвижничества более трезво, нежели В. В. Стасов, с которым, не называя его имени, полемизирует.

Восторженно приветствуя выставку и давая высокую оценку картинам передвижников, Стасов безоговорочно признал и самый принцип организа-

ции Товарищества («Передвижная выставка 1871 года».— «СПб ведомости», 1871, №№ 333 и 338). В передвижении художественных произведений по России он видел реальную возможность осуществить «пользу не только русской публике, но и русскому народу». Одобрил Стасов и пункт устава Товарищества, гласивший, что «членами Товарищества могут быть только художники, не оставившие занятий» искусством.

Салтыков, напротив, требует ясности в самом уставе относительно идейных целей Общества. Пункт устава, только что процитированный, по мнению писателя, не ограждает Общество от вторжения в него художников академического толка, «от наплыва Моисеев, извлекающих из камня воду, Янов Усьмовичей и т. п. произведений .».

Салтыков поддерживает Товарищество в его стремлении сделать «произведения русского искусства, доселе замкнутые в одном Петербурге, в стенах Академии художеств, или погребенные в галереях или музеях частных лиц < > доступными для всех обывателей Российской империи». Однако он ставит под сомнение, что, «полагая начало эстетическому воспитанию обывателей, художники достигнут хороших результатов». Писатель видит противоречие в самом замысле: сделать искусство достоянием народа не столь просто, как это, в частности, казалось энтузиасту Стасову. Для этого отнюдь не достаточно возить выставку по городам русского захолустья Салтыков отвергает просветительские иллюзии тех, кто, подобно Стасову, возлагал на идею передвижения художественных полотен особые упования. Высмеивая беспочвенные надежды на преображение русской провинции с помощью картин передвижников, писатель-сатирик создает гротескные зарисовки: неутешно плачущего цензора, которого полотно Мясоедова побудило принести публичное покаяние; помещика, при виде «Погорельцев» Прянишникова вынимающего из кармана пятак, чтобы подать нищему милостыню; мирового судью, которого картина Ге заставила «отчетливо понимать, что́ значит суд скорый, милостивый и правый», крестьянина, радостно признавшего в «Голове мужика» Крамского самого себя, и т. п.

Среди произведений выставки в центре внимания оказалась прежде всего картина Н Н Ге «Петр I, допрашивающий царевича Алексея Петровича в Петергофе». «Первое место <...> бесспорно принадлежит картине г. Ге», писала газета «Голос» (1871, № 332, от 1 декабря), подчеркивая ее отличие от традиционных академических полотен на исторические сюжеты.

Живое обсуждение картины в печати вышло за рамки разбора художественных ее достоинств Это объяснялось также и тем, что Россия готовилась к празднованию в 1872 г. двухсотлетнего юбилея со дня рождения Петра I. Передовая демократическая мысль, жаждущая приобщения России к европейским формам жизни, видела в Петре своего предшественника. Сцена допроса Петром своего наследника воспринималась не просто как событие далекого прошлого и не как частный конфликт между отцом и сыном, а как борьба двух начал, борьба двух поколений. Перед нами «в

одной исторической рамке вырисовываются два типа людей, людей двух различных поколений: новое, мыслящее и идущее вперед поколение в лице Петра I; старое, немощное, недужное — в лице сына» («Дело», 1871, № 12. «На своих ногах». Подпись: Художник-любитель).

Однако в оценке картины среди публицистов демократического лагеря не было полного согласия. Наиболее критическую оценку картине дал автор только что цитированной статьи в журнале «Дело». Он считал, что образ Петра неправильно истолкован Ге, который лишил личность царя присущей ему исторической значительности. «Перед вами .. свирепый по темпераменту и недалекий по развитию маленький самодур из исправников или частных приставов». Поэтому, по мнению автора статьи, симпатия зрителя оказывается целиком на стороне царевича, который выглядит «как жертва бессмысленного террора». Отсюда он делает вывод, что произведение Ге «писано .. художником славянофилом, завзятым врагом Петровской реформы и защитником старорусских ретроградных принципов».

Многое, хотя и с иных позиций, не принял в картине Ге и Стасов. Критику импонировал драматизм изображенного события, в котором скрестилась в лице Петра и Алексея борьба двух начал русской жизни. Вместе с тем Стасов хотел, чтобы в облике преобразователя содержалось и критическое начало — обличение произвола. «С чем мы не можем согласиться в этой картине,— писал Стасов,— это — самый взгляд художника на его сюжет, на его задачу». То, что Петр I был великой гениальной личностью, нисколько не оправдывает его варварского деспотизма, тем более жестокого, что Алексей от природы был «ничтожный, ограниченный человек <...> не понимавший великих зачинаний своего отца». В трактовке исторической драмы в картине Ге Стасову почудилась неясность мысли художника, который, видимо, невольно желая «оправдать» поступок Петра, тем самым отступил от правды в изображении его характера. В действительности, пишет он, нрав Петра «был жесток, значит, на допросе сына он был либо формален и равнодушен, либо гневен и грозен до бешенства. Средняя же нота, приданная ему живописцем, вовсе не соответствует его натуре и характеру».

Среди картин выставки Салтыков также концентрирует свое внимание на историческом полотне Н. Н. Ге Писатель высоко ценил этого художника и питал к нему личную симпатию. Дважды пришлось ему обсуждать произведения живописи, и оба раза предметом пристального его разбора были картины Ге (см. толкование картины Ге «Тайная вечеря» в ноябрьской хронике «Нашей общественной жизни» за 1863 г., т. 6 наст. изд., стр. 148—154). В искусстве этого художника Салтыкова привлекала глубина и общественная значительность содержания, реалистическое мастерство. Работы Ге давали писателю материал для размышлений о задачах и смысле подлинно реалистического искусства.

В своей статье, писавшейся, очевидно, по свежим следам цитированных выше откликов, Салтыков воспользовался обсуждением картины, чтобы

развить свое принципиальное понимание эпохи Петра, исторического значения его реформ, самой его личности.

Обращаясь непосредственно к анализу картины, Салтыков решительно противопоставляет свою точку зрения как обвинениям Ге в славянофильской трактовке его сюжета и примитивному толкованию образа Петра публицистом «Дела», так и прямолинейно-схематическому подходу к раскрытию содержания картины. И здесь острие полемики направлено против статьи Стасова.

Салтыков предъявляет к реалистическому искусству более глубокие требования, нежели внешне иллюстративное сближение исторической темы с современностью. «В том-то и состоит тайна искусства,— пишет он,— чтобы драма была ясна сама по себе, чтобы она в самой себе находила достаточное содержание, независимо от внешних ухищрений художника, от опрокинутых столов, сломанных стульев, разбросанных бумаг и т. д.». В этой фразе содержится и очевидный намек на требование Стасова видеть Петра «гневным и грозным до бешенства». И Салтыков уточняет свое несогласие: Петр Великий «не потрясает руками, не сверкает глазами», «даже ни один мускул его лица не сведен судорогой». Но для Салтыкова это не только умение художника «в меру» пользоваться художественными эффектами. Он видит здесь зоркость мастера, сумевшего проникнуть в глубь исторического конфликта· Петр Великий «страстно предан своей стране, но в этой преданности первое место занимает не страстный темперамент, а сознательность, доведенная до страстности». «Воспроизводимое лицо лишь настолько привлекательно, насколько оно человечно, то есть насколько оно доступно всему разнообразию человеческих ощущений».

Вот почему для Салтыкова неприемлемо требование Стасова представить Петра — деспотом, а Алексея — жертвой. Он раскрывает характер царевича, чтобы показать, что в данный момент трагедии не Алексей, обуреваемый тревогами «низменного свойства», а Петр — наиболее трагическая фигура «Во взоре его не видно ни ненависти, ни презрения, ни даже гнева <...> только мучительное чувство, где всего скорее можно видеть скорбь о себе, о поднятом, но неоконченном подвиге жизни, о том, что достаточно одной злополучной минуты, чтобы этот подвиг разлетелся в прах». Не «деспотизм» Петра надо было обличать художнику, как того желал Стасов, но предвидеть в мучительном внутреннем конфликте реформатора и отца, дело которого предал сын, источник «той светящейся красоты, которую дает человеку только несомненно прекрасный внутренний его мир».

С той же мерою «художественной правды», которая «должна говорить сама за себя, а не с помощью комментариев и требований», подходит Салтыков и к другим картинам выставки, в частности, к полотну Перова «Охотники на привале», которому, по мнению писателя, «вредит известная доля преднамеренности». И здесь, отвергая пользование приемами внешней тенденциозности, Салтыков вновь разошелся со Стасовым Последний был в восторге от фигуры крестьянина, недоверчиво усмехающегося рассказам

охотника. Для Салтыкова это — «какой-то актер», «которому роль предписывает говорить в сторону: вот это лгун, а это легковерный.. », отчего и вся картина в целом «производит впечатление не вполне доброкачественное».

Стр. 225 *Перед картиною г. Мясоедова..* — Имеется в виду картина художника-передвижника Г. Г. Мясоедова «Дедушка русского флота» (1871). Находится в Гос. музее искусств УзССР в Ташкенте.

Стр. 226 *...словами Феофана Прокоповича возопил...*— Салтыков неточно цитирует по книге И. Чистовича «Феофан Прокопович и его время» (СПб. 1868) «Слово на погребение всепресветлейшего державнейшего Петра Великого. .» Феофана Прокоповича.

Стр. 227. *...Возьмет напрокат у академии несколько десятков «Янов Усьмовичей»...*— Ян Усмович (Усмошвец, Усмарь) — легендарный богатырь, принимавший участие в борьбе князя Владимира с печенегами Этот сюжет широко использовался в Академии художеств и называется здесь Салтыковым — как и библейская тема «Источение воды из камня Моисеем в пустыне» — в качестве типичного для официального, далекого от жизни искусства.

Стр. 228. *...стоит только забраться в «Товарищество» г. Микешину, чтоб совершенно упразднить эту идею.*— М. О. Микешин приобрел широкую популярность в официальных кругах преимущественно как создатель памятников. Был автором проекта памятника тысячелетию России (1859), сооруженного в Новгороде,— произведения, служившего постоянным предметом насмешек сатирических изданий демократического лагеря («Искра» и др.); в 60-х годах исполнил проекты памятников Екатерине II для площади возле Александринского театра в Петербурге и адмиралу А. С Грейгу в Николаеве. С моделями обоих памятников, находившихся к 1871 г. уже в процессе сооружения, Салтыков мог ознакомиться на выставке в Академии 1869 г.

На первом плане мы встречаемся здесь с картиною профессора Ге.— Картина Н. Н. Ге «Петр I допрашивает царевича Алексея Петровича в Петергофе» (1871) находится в Гос. Третьяковской галерее. Картина неоднократно повторялась автором; повторения 1872 г.— в Гос. Русском музее и в Гос. музее искусств УзССР в Ташкенте.

Стр. 230. *...Петр понял бы своим обширным умом, что дело возрождения... движущееся... в этом убеждает его... реформаторская деятельность.*— Следует заметить, что высказанный в статье взгляд на Петра I и его реформы существенно отличался от того, который имел Салтыков в конце 60-х годов, когда он, по собственному признанию, «сильно гнул в сторону славянофилов». В письме к И. В. Павлову от 15 сентября 1857 г. Салтыков отвечал ему: «Вот ты ругаешь Петра за крепостное состояние и за бюрократию, однако ж и оправдываешь его обстоятельствами времени; а я так и того не делаю, а просто нахожу, что это был величайший самодур своего времени». См. письма к И. В. Павлову и комментарии к ним С. А. Макашина в т. 18 наст. изд. и *ЛН,* т. 67, М. 1959, стр. 456—461.

Стр. 230. *...прелиминарии* — предшествующие моменты.

Стр. 232. *Две картины г. Прянишникова...*— Местонахождение картины И. М. Прянишникова «Погорелые» неизвестно. Картина «Порожняки» (1871) неоднократно повторялась и варьировалась художником. Один из вариантов картины, возможно бывший как раз на 1-й передвижной выставке, находится в Харьковском музее изобразительных искусств. В Гос. Третьяковской галерее — повторение-вариант картины 1871 г., исполненный по заказу П. М. Третьякова в 1872 г.

Стр. 233. *«Охотники на привале».*— Картина «Охотники на привале» (1871) В Г. Перова находится в Гос. Третьяковской галерее.

Г-н Крамской выставил одну большую картину.. и два этюда.— Имеются в виду полотна И. Н. Крамского, одного из лидеров Товарищества передвижных художественных выставок. Его картина «Русалки» (на сюжет из повести Н В. Гоголя «Майская ночь», 1871) находится в Гос. Третьяковской галерее; этюды «Охотник на тяге (В ожидании зверя)» — в частном собрании в Москве; «Голова мужика» — местонахождение неизвестно.

Затем имеется несколько очень хороших портретов и пейзажей.— Портрет писателя Александра Николаевича Островского, исполненный В. Г. Перовым в 1871 г. по заказу П. М Третьякова, и портрет физиолога доктора Морица Шиффа, написанный Н. Н. Ге в 1867 г. во Флоренции, находятся в Гос. Третьяковской галерее.

...прелестная картинка «Грачи прилетели» г. Саврасова.— Картина А. К. Саврасова «Грачи прилетели» (1871) находится в Гос. Третьяковской галерее.

РЕЦЕНЗИИ

Бродящие силы. Две повести В. П Авенариуса
I Современная идиллия. II. Поветрие. СПб. 1867 г.

(Стр. 237)

ОЗ, 1868, № 4, отд. «Новые книги», стр 208—213 (вып. в свет — 10 апреля). Без подписи. Авторство указано В. Е. Евгеньевым-Максимовым на основании письма Салтыкова к Некрасову от 21 марта 1868 г. («Печать и революция», 1927, № 4, стр 53). Перепечатано впервые в книге: В. Е Евгеньев-Максимов и Д. Максимов. Из прошлого русской журналистики. Статьи и материалы, Л. 1930, стр. 42—47.

Рецензия на «Бродящие силы» Авенариуса — первое литературно-критическое выступление Салтыкова в «Отечественных записках» Некрасова. Рецензия была написана еще во время службы писателя в Рязани и выслана в Петербург 21 марта 1868 г. (см. письмо Салтыкова к Некрасову от указанного числа — т. 18 наст. изд).

Девятого января 1868 г. Салтыков писал Некрасову из Рязани: «Я охотно взял бы на себя разбор книг, но не знаю, что разбирать. Подожду романов Стебницкого, Клюшникова и проч., объявленных «Литературною библиотекой» [1]. Салтыкова — литературного критика и рецензента — в первую очередь интересовали, таким образом, произведения, которые следовало подвергнуть сатирическому осмеянию: плоды так называемого «антинигилистического» направления. (Образец сатирического разбора антинигилистического романа был им дан еще в мартовской хронике «Нашей общественной жизни» за 1864 г.— тогда его объектом стал роман Клюшникова «Марево» — см. т. 6 наст. изд., стр. 315—321.)

Уже первая рецензия Салтыкова в «Отечественных записках», в которой в качестве объекта осмеяния и пародирования были избраны повести Авенариуса, показывает, что именно таково было его намерение.

Однако собственно антинигилистической тенденции писаний Авенариуса — попытки связать «поветрие» аморализма, половой распущенности с революционными идеями — Салтыков в своей рецензии не касается. Он просто указывает, что, как мыслитель, Авенариус «принадлежит к партии так называемых клубницистов, нередко, впрочем, именующих себя столпами и консерваторами». Этой рецензией Салтыков начинает анализ «клубницизма» как общественного явления (подробнее см. в прим. к статье «Новаторы особого рода»).

Принципиальный интерес в настоящей рецензии представляет характеристика художественной стороны авенариусовских повестей. «Бродящие силы» — «неслыханная агломерация слов»,— утверждает Салтыков, связывая Авенариуса по самому способу творчества с «новейшей французской литературой», имея в виду, вероятнее всего, первые шаги направления, получившего название натурализма. «Творческий метод» натурализма описывается Салтыковым следующим образом: «...нужно только сесть у окошка и пристально глядеть на улицу. Прошел по улице франт в клетчатых штанах — записать» и т. д. Интересно, что почти так же, разумеется без сатирической утрировки, описан метод натурализма в «Дневнике» бр. Гонкур, в записи, сделанной в 1865 г., когда появился программный для направления роман бр. Гонкур «Жермини Ласертэ» («Дневник» был опубликован лишь в 70-х годах): «...лучшим литературным образованием для писателя было бы <.. > пассивно записывать все, что он видит, что он чувствует, и по возможности забыть все прочитанное» [2]. Салтыков очень внимательно следил за политической и литературной жизнью

[1] В журнале «Литературная библиотека» в 1867 г. были напечатаны драма М. Стебницкого (Лескова) «Расточитель» (см. о ней на стр. 550 наст. тома), роман В. Клюшникова «Большие корабли» и др. На 1868 г. были объявлены: новый роман М. Стебницкого «Резонеры», новый роман Вс. Крестовского «Две силы», продолжение романа Я. Полонского «Признания Сергея Чалыгина», «Свежо предание.. », роман-хроника из недавней истории петербургских нигилистов и заговорщиков, NN.

[2] Э. и Ж. де Гонкур. Дневник, т. 1, М. 1964, стр. 486.

Франции Поэтому ему, конечно, было известно творчество Флобера и бр. Гонкур (впоследствии он познакомился с ними и лично). О Флобере именно как о писателе-натуралисте (без употребления этого термина) Салтыков упоминает в иронической рецензии на роман А. К. Толстого «Князь Серебряный» (см. т. 5 наст. изд., стр. 362). Через несколько лет, в «Культурных людях», а затем и в «За рубежом», он резко писал о «психологическом лганье» французских беллетристов школы Золя и бр. Гонкур. Таким образом, настоящая рецензия интересна, помимо прочего, и тем, что она открывает ряд выступлений Салтыкова против натурализма в 70—80-х годах.

Стр 237. *Г-н Авенариус писатель молодой...*— Первое произведение В. П Авенариуса — антинигилистическая повесть «Современная идиллия» (составившая вместе с продолжением ее, повестью «Поветрие», рецензируемую Салтыковым книгу) была напечатана в 1865 г.

Клубницизм новейшего времени взрастил . Стебницкого ..— Рецензию Салтыкова на «Повести, очерки и рассказы» М Стебницкого (Н С Лескова) см. далее, стр. 335.

...и сам г. Стебницкий... отзывается об нем с снисходительностью более нежели ироническою.— Речь идет о статье-рецензии Н. С. Лескова «Литератор-красавец» («Литературная библиотека», 1867, т. IX, сентябрь, кн. I; без подписи; см. указанную статью в изд.: Н. С. Лесков Собр. соч. в 11-ти томах, т. 10, М. 1958). Лесков рецензировал повесть Авенариуса «Ты знаешь край».

Стр. 238. *...разных Моничек, Наденек, Ластовых, Куницыных и проч.*— персонажи «Бродящих сил».

...новую нашу литературу обвиняют в недостатке творчества...— См. статью «Напрасные опасения» и прим. к ней.

...вот как, например, у Крестовского...— Речь идет о романе Всев. Крестовского «Петербургские трущобы» (1864—1867), в котором, изображая жизнь петербургского преступного мира и «дна», автор использовал сюжетные ходы и ситуации французского авантюрно-социального романа, в частности, романа Эжена Сю «Парижские тайны».

Г-н Погодин в своем «Путешествии за границей»...— в путевом дневнике «Год в чужих краях» (1843). «Незабвенным» это сочинение М. П. Погодина сделала блестящая пародия Герцена («Путевые записки Г. Ведрина»).

Стр. 239 *Сказание о клубнике* — пародия на ряд сюжетных положений и эпизодов «Бродящих сил».

Стр 240. *...доктор Хан* — издатель журнала «Всемирный труд», в котором были напечатаны повести Авенариуса «Ты знаешь край» и «Поветрие».

В сумерках. Сатиры и песни Д. Д. Минаева. СПб. 1868 г.

(Стр. 242)

ОЗ, 1868, № 5, отд. «Новые книги», стр. 63—69 (вып. в свет — 15 мая). Без подписи. Авторство установлено Н В. Яковлевым на основании письма Салтыкова к Некрасову от конца апреля 1868 г.— *Письма, 1924,* стр. 53.

Рецензия представляет первостепенный интерес постановкой проблемы сатиры и тем самым обоснованием собственных творческих принципов Салтыкова, характеристика которых будет развиваться и уточняться им в ряде последующих статей и рецензий (например, в рецензии на «Смешные песни» Иволгина).

Рецензия написана в обычной для большинства рецензий Салтыкова в «Отечественных записках» двухчастной форме: первая часть посвящается общим проблемам, вторая, иногда очень краткая, содержит собственно литературно-критическую оценку рецензируемого издания.

В первой части настоящей рецензии Салтыков устанавливает истинное назначение общественной сатиры в противовес сатире дидактической, руководствующейся целью «искоренения пороков» вообще, и узко-обличительной, локальной, обращающей свое острие против «местных», частных явлений. Ни отвлеченный порок, поражавшийся русской сатирой в ее «золотой век», ни явление случайное, «курьез» не могут стать объектом истинной — общественной — сатиры, потому что «относительно них принцип вменяемости становится совершенно излишним» (см. также рецензию на «Смешные песни» Иволгина, стр. 275 наст. тома). Этот принцип может быть применен к анализу и оценке лишь таких явлений, которые воплощают строй жизни, представляют «силу вещей». Сама же оценка углубляется, чем далее сатирик проникает в тайны народной жизни. Ответственность, «вменяемость» того или иного факта, явления, типа, и тем самым сила и острота его сатирического разоблачения, определяется его отношением к «жизни масс». Очевидно, в этом смысл утверждения Салтыкова, что «единственно плодотворная почва для сатиры есть почва народная» (см. анализ концепции сатиры Салтыкова в книгах: Е. И. Покусаев. Революционная сатира Салтыкова-Щедрина, М. 1963, стр. 14 и сл; А. С. Бушмин. Сатира Салтыкова-Щедрина, М.— Л. 1959, стр. 365—366).

Переходя к рассмотрению сатирических стихотворений Минаева, помещенных в рецензируемом сборнике, Салтыков констатирует их чисто местную, петербургскую тематику, а также неясность, невыдержанность, рутинность мысли и образов.

Помимо принципиально-теоретических и художественных соображений резкий отзыв Салтыкова о Минаеве вызван, по-видимому, также и тем обстоятельством, что Минаев возглавил враждебную кампанию на страницах «Искры» против Некрасова в связи с его так называемой «муравьевской одой» (стихотворения Минаева «Обманутая муза», «Песня Еремушке»). И хотя уже в феврале 1868 г. Минаев вступил в переговоры с Некрасовым о сотрудничестве в «Отечественных записках» (см. его письмо к Некрасову от 27 февраля 1868 г.— *ЛН*, т. 51—52, М. 1949, стр. 390), сборник «В сумерках» он открыл стихотворением «Муза» (Салтыков полностью его приводит), направленным против Некрасова, и вновь включил в сборник стихотворение «Обманутая муза». И в дальнейшем, при сотрудничестве в «Отечественных записках», отношение Минаева к Некрасову, по-видимому, не изменилось (см. об этом, например, в комментарии В. Е. Евгеньева-Максимова к публикации писем Минаева к Некрасову.— *ЛН*, т. 51—52). Несмотря на все это, редакция «Отечественных записок» считала полезным его участие в журнале, в частности, и в качестве поэта-переводчика. Кроме того, редакция, по-видимому, надеялась, что «муза» Минаева выйдет, наконец, «из тесной сферы исключительно петербургских интересов» (на такую возможность указал Салтыков в последних строках настоящей рецензии).

Чрезвычайно раздраженно на рецензию Салтыкова реагировал один из авторов «Материалов для характеристики современной русской литературы» — Ю. Г. Жуковский, полагая, что г л а в н о й причиной выступления Салтыкова против Минаева была позиция последнего в отношении Некрасова Процитировав ту часть вступления, где характеризуется местная, петербургская «сатира» (от слов: «Но с тех пор, как по соображениям высшей важности» до: «стрельбу из пушек по воробьям»), Жуковский делал чрезвычайно резкий выпад против Некрасова и «Отечественных записок». «Прочитав это красноречивое вступление, мы думали, что это не более как подобающая критика на последние стихотворения г. Некрасова <..> но дело выходит иначе. Оказывается, что под эту оценку подходит только г. Минаев, и за что бы вы думали, за то только, что пишет иногда сатиры на гг. Некрасова и Краевского, за то, что называет банкиров «жирными» и т. д. А между тем тот же рецензент и та же редакция находят, вероятно, вовсе не водевильными печатающиеся в «Отечественных записках» стихотворные приглашения г. Некрасова юношеству надевать терновые венцы или прозаические поучения о том, что общество наше может развиваться только скандальчиками»[1]. Впрочем, отвечая авторам «Материалов...» (см. наст. том, стр. 324), Салтыков подобные намеки игнорировал (об отношениях Минаева и редакции «Отечественных записок» см. также в кн. И. Ямпольского «Сатирическая журналистика 60-х годов», М. 1964).

[1] М А. А н т о н о в и ч, Ю. Г. Ж у к о в с к и й. Материалы для характеристики современной русской литературы, СПб. 1869, стр 192.

Гражданский брак. Комедия в 5 действиях Н. И Чернявского с предисловием автора о значении брака. Издание второе. СПб 1868 г.

(Стр. 249)

ОЗ, 1868, № 8, отд. «Новые книги», стр. 144—152 (вып в свет — 7 августа). Без подписи. Авторство указано В. В Гиппиусом. *Z. f. sl. Ph.*, S. 184; подтверждено на основании анализа текста С. С. Борщевским — *изд. 1933—1941*, т. 8, стр. 496—499.

Комедия Чернявского «Гражданский брак», вышедшая в 1868 г. вторым изданием, после того как она уже была поставлена на столичной и многих провинциальных сценах, привлекла внимание Салтыкова как типичное явление «необулгаринской школы», которая укрепилась с наступлением реакции («в 1862 году при зареве пожаров, опустошавших Петербург»). Родоначальником этой «школы» Салтыков еще в рецензии на «Чужую вину» Ф. Устрялова назвал известного в середине 50-х годов драматурга Н. М. Львова (см. т. 5 наст. изд., стр. 443; см. также статью С. А Макашина и В. Э Боград «Против литературы благонамеренных усилий .», где определены идейные истоки отзыва о комедии Чернявского.— *ЛН*, т. 67, М 1959, стр. 351—358). Поскольку теоретическая часть рецензии на «Чужую вину» Устрялова, написанной четыре года назад, из-за цензурного запрета не могла быть напечатана, Салтыков изложил основные ее положения, отнюдь не потерявшие актуальности, в начале рецензии на «Гражданский брак». Салтыков по-прежнему определяет основной смысл сочинений вроде пьесы Чернявского как стремление «утверждать утвержденное, защищать защищенное и ограждать огражденное» и усматривает в них лишь «благонамеренность дерзновения» (то есть охранительную тенденцию). Такая позиция «образованного» или «цивилизованного большинства» (термин для характеристики консерваторов и либералов, вместе взятых) связана с отношением к реформам 60-х годов («прогресс достаточный» в отличие от «прогресса преувеличенного», под которым разумеются прежде всего последовательно демократические требования, выдвигавшиеся в ходе освободительной борьбы). Сторонники «прогресса» в первом варианте называют его критиков «отрицателями», сами, в сущности, являясь отрицателями свободной мысли и естественного, нормального развития жизни. Отсюда возникает сатирическое определение: «положительный нигилизм». Именно к этому направлению «положительного нигилизма» и принадлежит «антинигилистическая» пьеса Чернявского, воюющая против «гражданского брака» и защищающая давно и крепко защищенный церковный брак. Полный антиисторизм Чернявского сказался и в самом тексте комедии, где идея гражданского брака приписывается либеральному влиянию «Отечественных записок», и в авторском предисловии.

Осмеивая благонамеренность во всех формах, Салтыков цитирует почвенников, которые «проводят ту мысль, что в настоящее время не отри-

цать и обличать, а «любить» должно». Хотя почвенники здесь прямо не названы, но слова эти почти буквально воспроизводят призыв журнала «Эпоха» в «Объявлении» на 1865 г.: «не хулить, не осуждать — а любить уметь — вот что надо теперь настоящему русскому». С «Объявлением» Салтыков полемизировал еще в статье «Литературные кусты» (см. т. 6 наст. изд.), а через двадцать лет, в «Пестрых письмах» опять вспомнил: «Мало обличать — любить надо»,— прорицали когда-то наши почвенники...» («Письмо первое»). Если в 1864 г. полемические выступления Салтыкова против почвенников всецело относились и к Ф. М. Достоевскому, то в рецензии на «Гражданский брак» этого, по-видимому, нет. С января 1868 г. в «Русском вестнике» печатался новый роман Достоевского «Идиот», в котором, по словам Салтыкова, автор вступал в область «отдаленнейших исканий человечества». Что же касается проповедников «любви», то в рецензии на «Гражданский брак» их главным свойством признается именно «недальнозоркость», заставляющая «привязываться к интересам ближайшим и осязаемым и в пользу их жертвовать интересами более отдаленными».

В рецензии на «Гражданский брак» нет также полемики с Писаревым, которая содержалась в отзыве на «Чужую вину» (см. т. 5, стр. 445 и 670). Полемика эта в свое время была исчерпана, а с начала 1868 г. Писарев стал активным сотрудником «Отечественных записок» (4 июня этого года он погиб).

Стр. 249. *...г. Львова (автора комедии «Свет не без добрых людей»).*— Комедия появилась в 1857 г и приобрела широкую популярность.

Стр. 251. *...и ежели он продолжает не видеть, то нимало не медля отметает его от общения с жизнью...*— Намек на расправу царского правительства с революционерами: Н. Чернышевским, М. Михайловым, В. Обручевым, Н. Серно-Соловьевичем (см. т. 5 наст. изд., стр. 671).

Стр. 252. *...с точки зрения гигиенической* — то есть гарантирующей безопасность.

...за исключением... г. Львова, который расцвел и увял гораздо ранее...— Пьесы Львова «Предубеждение, или Не место красит человека.» (1858) и «Кампания на акциях» (1859) успеха не имели.

...отнюдь не в том смысле, в каком нередко упрекали этого сочинителя его современники.— Булгарин был осведомителем III Отделения, постоянно поставлявшим туда доносы на писателей.

Стр. 254. *...он первый дал понять, что и в становом приставе может быть нечто положительное.*— «Положительный» становой пристав изображен в пьесе Львова «Предубеждение, или Не место красит человека...».

...г. Манн довел до ясности тип приветливого и исполнительного начальника отделения.— Речь идет о пьесе И. А. Манна «Паутина» (1865). В рецензии на другую его пьесу «Говоруны» (1868) Салтыков определил главное устремление автора — «оградить начальников отделения от наплыва новых идей» (см. стр. 321).

...г. Устрялов показал в перспективе скромный труд и скромную

науку.— Имеется в виду комедия Ф. Устрялова «Слово и дело» (1862). В статье «Петербургские театры» (1863) Салтыков подробно рассматривает постановку пьесы в Александринском театре и называет ее героя Вертяева «новым Молчалиным» (см. т. 5 наст. изд., стр. 170).

...г. Клюшников, в лице Русанова.— См. т. 6 наст. изд., стр 315—319.

...г. Стебницкий и за ним Авенариус пропагандировали клубнику.— Речь идет об отдельных сценах в романе Н. С. Лескова (Стебницкого) «Некуда» и повести В. П Авенариуса «Поветрие».

Стр. 255. *...герой Фонарного переулка и Мещанских улиц* .— Петербургские улицы, где находились публичные дома.

Стр. 255—256. *...вся Россия пересмотрела «Стряпчего под столом» и «Проказы барышень на Черной речке»...*— Водевили Д. Т. Ленского («Стряпчий под столом», 1834) и П. С. Федорова («Проказы барышень ..», 1843).

Стр. 257. *...заклеймить эту барыню именем Жорж-Занд...*— В пьесе «Гражданский брак» баронесса Дах-Реден, вульгарная светская кокетка, исповедует «идеи» женского равноправия.

Новые сочинения Г. П. Данилевского (А. Скавронского, автора «Беглых в Новороссии») Издание исправленное и дополненное А. Ф. Базунова. 2 тома, СПб. 1868 г.

(Стр 257)

ОЗ, 1868, № 8, отд «Новые книги», стр 152—155 (вып. в свет — 7 августа). Без подписи. Авторство указано (предположительно) Н. В. Яковлевым — *Письма, 1924,* стр. 52; подтверждено на основании анализа текста С. С. Борщевским — *Неизвестные страницы,* стр. 538—539.

В рецензируемое Салтыковым двухтомное издание «Новых сочинений» Г П. Данилевского вошли роман «Новые места», повесть «Фенечка, биография институтки» и два рассказа — «Беглый Лаврушка за границей (Из недавнего прошлого)» и «Охота зимой в Малороссии».

Рецензия на «Новые сочинения» Данилевского (а точнее — роман «Новые места», потому что о других произведениях, вошедших в издание, в рецензии не говорится) была не первым откликом Салтыкова на сочинения этого писателя. Указанием, в первой же строке рецензии, на отличающую его «самонадеянность» Салтыков напоминает читателю о своем выступлении 1863 г. по поводу заметки Данилевского (А. Скавронского) «Литературная подпись», а также о рецензии на романы «Беглые в Новороссии» и «Беглые воротились», напечатанные под общим заглавием «Воля» (см. т. 5 наст. изд.). Позицию Данилевского в «Литературной подписи» Салтыков определил тогда как «хлестаковщину в литературе» и «самохвальство» (см. подробнее т. 5 наст. изд., стр. 636—637). Роман «Воля» Салтыков назвал «совершенно исключительным явлением в современной русской литературе» именно в силу «бесцеремонного служения» его

автора «тому, что по-французски зовут словом blague [1], а по-русски просто-напросто хлестаковщиной» (там же, стр. 408). Всем этим оценкам соответствует в настоящей рецензии характеристика Данилевского как писателя, желающего, хотя и безуспешно, стать «родоначальником школы легкомыслия» в литературе. А через полгода, рецензируя постановку «Мещанской семьи» Авдеева, Салтыков вновь упомянул Данилевского (впрочем, не называя его) как «специалиста по части легкомыслия».

В романе «Новые места», первоначально напечатанном в 1867 г. в «Русском вестнике» Каткова, отдана дань и характерной для журнала «антинигилистической» теме. Как свидетельствовал сын писателя М. Г. Данилевский, «центром романа Г. П. избрал волновавшую тогда весь юг скандальную историю подделки государственных серий людьми передовой провинциальной интеллигенции» [2].

В рецензиях 1864 и 1868 гг., критикуя тот тип романа, который был создан Данилевским, Салтыков высказал ряд принципиальных литературно-теоретических положений. Он не случайно назвал этот роман «исключительным явлением» и связал его с традицией А. Дюма и Феваля Эту традицию, в первую очередь, характеризует «внешний, чисто сказочный интерес», чуждый русской литературе, которую, со времен Белинского, всегда отличало «воздержное и трезвое отношение к действительности». Салтыков обосновывает очень важную для его эстетики идею внутренней сущности драматизма и комизма (рецензия 1864 г.; ср. также его статью «Передвижная художественная выставка», стр. 228). В рецензии на «Новые сочинения» Салтыков вновь противопоставляет Данилевского «большинству наших романистов и повествователей», которые «обращают преимущественное внимание на психологическую разработку характеров и на разрешение тех или других жизненных задач, интересующих общество, фабулу же собственно ставят на отдаленный план». Преимущественное внимание к «фабуле», к занимательности отбрасывает, по мнению Салтыкова, творчество Данилевского к литературной эпохе до Белинского.

Впоследствии Данилевский с бóльшим успехом испытал свои силы в жанре не современного, а занимательного исторического романа.

Стр. 258. *...авторы «Некуда», авторы «Марева»...*— Н С Лесков (М. Стебницкий), В. П. Клюшников.

«Беглые в Малороссии».— Салтыков здесь и далее, возможно умышленно (ср. его заметку о «Литературной подписи»), называет роман Данилевского неточно; надо: «Беглые в Новороссии».

...«Беглые в Малороссии» действительно были когда-то. напечатаны.— Роман Данилевского печатался в журнале «Время» (1862, №№ 1 и 2). Там же было напечатано и продолжение — «Беглые воротились» (1863, №№ 1, 2 и 3).

[1] Бахвальство.

[2] «Г. П. Данилевский по личным его письмам и литературной переписке», Харьков, 1893, стр. 61.

Стр 258. *М. Н. Лонгинов . быть может, отыщет могилу его...*— Эта сатирическая формула, высмеивающая «нашего библиографа и гробокопателя» Лонгинова, впервые была употреблена Салтыковым в фельетоне «Характеры» (см. т. 4 наст. изд , стр. 198). Здесь она одновременно указывает на забвение, постигшее первые романы Данилевского.

...этот молодой деятель...— Литературная деятельность Данилевского началась еще в 40-х годах. Однако первым произведением, принесшим ему известность, был роман «Беглые в Новороссии».

Стр. 259 *...взамен правды, его, по малой мере, попотчуют пребыванием во чреве крокодила и чудесным оттуда освобождением.*— Речь идет о рассказе Достоевского «Крокодил» («Необыкновенное событие, или Пассаж в Пассаже» — «Эпоха», 1865, № 2). Рассказ Достоевского не закончен, и «чудесное освобождение» из чрева крокодила в нем изображено не было

Стр. 260. *Куртнеровы диалоги* — учебнсе пособие по французскому языку, составителем которого был преподаватель Московского университета Ф. Ф. Куртенер.

«Засоренные дороги» и «С квартиры на квартиру».

Роман и рассказ соч. А. Михайлова С -Петербург.
Издание В. Е. Генкеля. 1868 г.

ОЗ, 1868, № 9, отд. «Новые книги», стр. 46—52 (вып. в свет — 7 сентября). Без подписи. Авторство указано В. В Гиппиусом — *Z. f. st. Ph.*, S. 184; подтверждено на основании анализа текста С. С. Борщевским — *Неизвестные страницы*, стр. 539, 541—543.

А. К. Шеллер (псевд.— Михайлов) — один из популярных беллетристов 60—70-х годов, посвящавший свои произведения преимущественно теме «новых людей». Известность принес Шеллеру его первый роман «Гнилые болота», опубликованный в «Современнике» (1864, №№ 2, 3) Вскоре в «Современнике» же появился новый роман Шеллера — «Жизнь Шупова, его родных и знакомых». Оба произведения имеют автобиографический характер В первом романе изображается формирование характера молодого разночинца, честного труженика в борьбе с губительным влиянием окружающей среды («гнилых болот»). Салтыков считал «Гнилые болота» наиболее содержательным и правдивым произведением писателя, однако уже здесь в зародыше был выражен тот эстетический кодекс, с которым резко полемизирует критик «Отечественных записок»: «Нам ли, труженикам-мещанам,— заявлял Шеллер,— писать художественные произведения, холодно задуманные, расчетливо-эффектные и с безмятежно-ровным полированным слогом? Мы урывками, в свободные минуты, записываем пережитое и перечувствованное, и радуемся, если удается иногда высказать накопившееся горе и те ясные, непризрачные надежды, которые поддерживают в нас силу в трудовой чернорабочей жизни. Хорошо, если само собою скажется меткое слово, нарисуется ловкая картина и вырвется из-под

сердца огонь поэзии; но если и их не найдется, то горевать нечего — обойдется и так...»

В 1865 г. Шеллер был приглашен в «Русское слово» редактором иностранного отдела. Ту же должность занимал он со следующего, 1866 г. и в журнале «Дело». Будучи близок к направлению этих журналов, Шеллер сделался их активным автором. Один за другим появляются его романы и повести: «Господа Обносковы» (1868), «В разброд» (1869), «Лес рубят — щепки летят» (1871), «Старые гнезда» (1875), «Хлеба и зрелищ» (1876), «Беспечальное житье» (1877) и др. Одновременно Шеллер печатался в «Неделе», «Женском вестнике», а с 1877 г. в течение двадцати трех лет был редактором «Живописного обозрения».

Перу Шеллера принадлежат также социологические и политические статьи. «Очерки из истории рабочего сословия во Франции» (1868), «Жилища рабочих» (1870), «Производительные ассоциации» (1871) и др.

Салтыков, как об этом свидетельствуют три рецензии на романы Шеллера разных лет, помещенные в наст. томе, внимательно следил за творческой эволюцией писателя, видя в ней яркую иллюстрацию несостоятельности утилитарной эстетики, которую отстаивал журнал «Дело». Критические отклики Салтыкова на романы Шеллера (Михайлова) были частью общей полемики «Отечественных записок» с «Делом» по вопросам эстетики. По мнению Салтыкова, противопоставляя чистую тенденциозность глубокому знанию жизни, подлинной художественности, теоретики и беллетристы из журнала «Дело» чрезвычайно суживают возможности литературы, обрекая ее на поверхностное, «разговорное негодование», на «махание картонным мечом», на примитивность и однообразие. Задача литературы — «анализировать и исследовать» действительность, а не отделываться «каким-нибудь общим местом». Иронически называя благие намерения беллетриста «благонамеренностью», Салтыков утверждает, что это качество не может вызывать сочувствия в то время, когда «благонамеренность растет, а талант умаляется». Критик намекает на безопасность для автора таких сочинений, где характеристики различных «капищ», стесняющих свободу человека, подменяются высокодобродетельными рассуждениями и где суесловные доктринеры заслоняют «трудящуюся толпу». Салтыков указывает на возможность для самого автора попасть в «засоренную колею» (характерный щедринский прием сатирического «опрокидывания» символики названий критикуемых им произведений. То же — в рецензиях на романы «В разброд» и «Беспечальное житье»). В последующих рецензиях на романы Михайлова Салтыков значительно расширил проблематику своего спора с эстетическими принципами журнала «Дело».

Стр. 262. *...разительнейший пример в этом смысле представляет г. Н. В. Успенский.*— См. об этом в ст. «Напрасные опасения», на стр. 31 наст. тома.

Стр. 267 *...слышится сквозь видимые миру слезы не менее видимый смех.*— Перефразированная цитата из «Мертвых душ» Гоголя: «И долго

еще определено мне чудной властью идти об руку с моими странными героями, озирать всю громадно-несущуюся жизнь, озирать сквозь видный миру смех и незримые, неведомые ему слезы!» (т. 1, гл VII).

Жюль Муро. Задельная плата и кооперативные ассоциации.
Перевод и издание Ф П. Соллогуба. Москва, 1868.

(Стр. 268)

ОЗ, 1868, № 9, отд. «Новые книги», стр. 56—62 (вып в свет — 7 сентября). Без подписи. Авторство указано В. В. Гиппиусом — *Z f. sl. Ph.*, S. 184; подтверждено С. С. Борщевским на основании анализа текста — *изд. 1933—1941*, т. 8, стр. 500—504.

Постоянный интерес к экономическим проблемам русской жизни побуждал Салтыкова к серьезному изучению политико-экономической литературы. Рецензия на книгу французского вульгарного экономиста Ж. Муро имеет первостепенное значение для понимания воззрений писателя на сущность капиталистической эксплуатации и методы борьбы рабочих за улучшение своего положения.

Муро — сторонник теории «трех факторов»: прибыль рассматривается им как результат производительных услуг капитала, рента — как порождение земли, заработная (по терминологии того времени — «задельная») плата — как доля, внесенная в стоимость продукта трудом. «Этот взгляд на заделыную плату,— пишет он,— <.. > осуждает все утопии, известные под именем социализма, коммунизма и пр.» [1]. Салтыков же вслед за Д. Рикардо считает труд единственным источником стоимости, а прибыль капиталистов рассматривает как присвоение плодов чужого труда. В этом отношении он стоит значительно выше многих своих современников из демократического лагеря, признававших право капитала на «законную долю» в созданном богатстве. Попытки народников построить производство на началах «честной ассоциации» между трудом и капиталом Салтыков высмеял позже в «Благонамеренных речах» (см «Охранители» в т. 11 наст. изд.) Анализируя взгляды Муро на факторы, определяющие размер заработной платы, Салтыков показывает логическую несовместимость утверждений об ассоциации между трудом и капиталом с признанием зависимости заработной платы от цен на предметы потребления рабочих. Действительно, если заработная плата есть полная оплата «трудового вклада» рабочих, то ее размер определяется только величиной этого вклада и никак не зависит от того, дешевы или дороги пища, одежда и т. п. Но рецензия Салтыкова — не академическое разъяснение ошибочности теории «трех факторов», а гневное разоблачение классовой сущности «экономических софизмов», с помощью которых буржуазные фальсификаторы науки стремятся отвлечь рабочих от эффективных методов борьбы за повышение заработной платы.

[1] Ж. Муро. Задельная плата и кооперативные ассоциации, М. 1868, стр. 17.

В рецензии нет прямого указания на эти методы, но читателю нетрудно сделать выводы. Ассоциации потребления Ж. Муро противопоставляет стачкам. Весь ход изложения Салтыковым возражений Муро против стачек, нескрываемо иронический, сатирически заостренный, не оставляет сомнений, какую позицию занимает в этом вопросе рецензент. Весьма вероятно предположение С. Борщевского [1], что в статье допущен пропуск по цензурным условиям: абзац начинается словами «Но из того, что наука дает ему право делать стачки...», хотя до этого ни слова о стачках не было. Следует учесть, что в России стачки были запрещены законом и карались тюремным заключением от двух до восьми месяцев, что исключало возможность их пропаганды в подцензурной печати.

Вопрос о стачках и потребительской кооперации был для России того времени вопросом практическим. За 60-е годы было зарегистрировано около сорока крупных стачек. Еще будучи тверским вице-губернатором, Салтыков принимал участие в разборе дел одной из первых стачек в России на фабрике Морозова, его попытка помочь забастовщикам была пресечена губернатором Барановым, отдавшим зачинщиков под суд [2]. В 1864—1865 гг. возникли первые потребительские общества. Не удивительно, что проблемы потребительской ассоциации и стачек неоднократно привлекали внимание революционно-демократической публицистики второй половины 60-х годов. Но позиция, занятая Салтыковым, резко выделяет его рецензию из числа других выступлений. Салтыков считает потребительские ассоциации экономически и политически выгодными только для буржуазии. П. Ткачев, критикуя их как не устраняющие «радикально основной причины современного экономического зла», в то же время признает, что «ассоциация рабочих для общего потребления <...> значительно улучшает положение рабочего класса и способствует более разумному и равномерному распределению богатств» [3]. П. Гайдебуров, повторяя аргументацию Ткачева, заявляет, что ассоциации потребления все же «значительно выше стачек» [4]. Н. Флеровский в своей знаменитой книге «Положение рабочего класса в России» противопоставляет стачкам «честную ассоциацию между трудом и капиталом» [5].

В своей оценке потребительской кооперации Салтыков опирается на выводы, сделанные из учения Рикардо «антибуржуазной школой». С. Борщевским высказано мнение, что под «антибуржуазной школой» Салтыков подразумевает лассальянцев, активно боровшихся против пропаганды потребительской кооперации. Однако аргументация Салтыкова

[1] См. *изд. 1933—1941*, т. 8, стр. 543.

[2] См. Н. Журавлев. М. Е. Салтыков (Щедрин) в Тверской губернии, Калинин, 1939.

[3] См. рецензию на книгу Эд. Пфейффера «Об ассоциации» в «Русском слове», 1866, № 1, стр. 16—17.

[4] См. Гдб., Социально-экономические попытки в России. — «Дело», 1868, № 5.

[5] См. Н. Флеровский. Положение рабочего класса в России, М. 1869, ч. III, гл. I и II.

значительно отличается от лассалевской. По Лассалю, удешевление предметов потребления приведет к падению заработной платы лишь в сравнительно отдаленном будущем, когда на рынке труда скажется усилившееся благодаря повышению жизненного уровня размножение рабочих. Салтыков же утверждает, что «рабочая плата тотчас же упадет», что объясняется, судя по тексту рецензии, все увеличивающимся вследствие разорения масс предложением рабочих рук. Вероятнее, что Салтыков имел в виду не Лассаля, а широко известную в России книгу Энгельса «Положение рабочего класса в Англии». Ход рассуждений Салтыкова близок проводимому Энгельсом анализу влияния снижения цен товаров народного потребления на заработную плату и прибыли[1]. Почти совпадают текстуально их высказывания по поводу пропаганды мер, обеспечивающих удешевление средств существования: у Энгельса — «...буржуазия надевает на себя личину беспредельной гуманности,— но только тогда, когда этого требуют ее собственные интересы»;[2] у Салтыкова — буржуазные либералы, «хлопоча в пользу буржуазных карманов», прикрываются «личиной доброжелательности и общей пользы».

Стр 269. *...когда, по достоверному рассказу одного очевидца, на наше отечество сделал нашествие генерал Конфузов...*— См. «Сатиры в прозе» в т. 3 наст. изд., стр. 266—267 и 600.

Стр. 270. *...вопрос о «славянских братьях»... проповеди о крестовом походе против нового антихриста, явившегося в лице барона Бейста.*— Самые реакционные газеты типа «Московских ведомостей», выступавшие как убежденные враги освободительного движения поляков в Российской империи, заявляли о своем сочувствии национально-освободительному движению славян в Австро-Венгерской империи. В 1868 г. в газетах различных направлений от либеральных «СПб. ведомостей» до катковских изданий — неоднократным нападкам подвергался австрийский канцлер Фр. Бейст, пригрозивший в связи с волнениями в Чехии «прижать славян к стене».

...обделенным на жизненном пире...— Салтыков использует выражение, приобретшее популярность с выходом в свет «Опыта о законе народонаселения» Т. Мальтуса (изд. 1803 г.). Буквально у Мальтуса сказано о бедняке: «На могучем пиршестве природы нет для него свободного прибора» («An Essay on the principle of population...», London, 1803). В форме «не приглашенные на пир жизни» со ссылкой на Мальтуса употреблено А. И. Герценом в «С того берега» (русские издания 1855 и 1858 гг., см. А. И. Герцен, Собрание сочинений, т. 6, М. 1955, стр. 55). Вероятнее, что Салтыковым это выражение взято из предисловия П. А. Бибикова к русскому переводу книги Мальтуса, где оно дано в форме «на великом

[1] См. подробнее об этом в кн. Р. Левита. Общественно-экономические взгляды М. Е. Салтыкова-Щедрина, гл. IV, Калуга, 1962.
[2] К. Маркс и Ф. Энгельс. Сочинения, изд. 2-е, т. 2, стр. 490.

жизненном пиру» (Мальтус. «Опыт о законе народонаселения...», т. 1, СПб. 1868, стр. 12).

Стр. 270. *...г-же Лукке... готовность, благодаря которой .. собрали почти полтора миллиона рублей серебром...*— В день бенефиса австрийской певицы Паулины Лукка в Большом театре Петербурга ей были преподнесены на собранные по подписке средства золотая корона и бриллианты. Эти богатые подарки на фоне голода, охватившего с осени 1867 г. двенадцать губерний, выглядели, даже по оценке умеренно-либеральных «С.-Петербургских ведомостей», совершенно скандально (см. «Недельные очерки и картинки» в «СПб ведомостях» от 21 и 28 января, а также «Музыкальные заметки» в той же газете от 24 января 1868 г.). Частная благотворительность, к которой призвал императорский рескрипт от 24 января 1868 г. как к единственному средству помощи голодающим, давала скудные результаты. Приведенная Салтыковым цифра пожертвований, заимствованная им из передовой «СПб. ведомостей» от 27 июня, меньше, чем просило о вспомоществовании одно только смоленское земство.

Стр. 271. *..«право на труд», «право труда», «минимум задельной платы».*— Эти требования, то есть гарантии от безработицы, свободы объединения в производственные ассоциации, законодательного установления минимума заработной платы, выдвигал в период революции 1848 г. французский пролетариат под влиянием агитации фурьеристов, утописта Пьера Леру и особенно мелкобуржуазного социалиста Луи Блана.

«Смешные песни» Александра Иволгина (Чижик).
Издание А. Каспари. СПб. 1868.

(Стр. 275)

ОЗ, 1868, № 9, отд. «Новые книги», стр. 52—56 (вып. в свет — 7 сентября). Без подписи. Авторство указано В. В Гиппиусом — *Z. f. sl. Ph., S.* 184; подтверждено на основании анализа текста С. С. Борщевским — *изд. 1933—1941*, т 8, стр. 499—500.

Настоящая рецензия — одно из важнейших литературно-теоретических выступлений Салтыкова, посвященных проблемам русской сатиры. Рецензия продолжает и развивает идеи, высказанные несколько ранее в рецензии на сборник Д. Д. Минаева «В сумерках».

Кратко остановившись на самом факте «оскудения русской сатирической литературы», уже подробно описанном в упомянутой рецензии, и опять назвав в качестве главной причины «бессилия» сатиры ее направленность на разрозненные «явления», а не на то «положение», которое эти явления вызывает, Салтыков далее углубляет свою трактовку современной сатиры. Умение изобличать «положение» «во имя целого строя понятий и представлений», противоположных описываемым, было свойственно и Гоголю. И все же его сатира оставалась «на почве личной и психологической». Эта качественная особенность гоголевской сатиры определяется са-

мым характером общественных типов, которые были ее объектом. Во времена Гоголя не появились еще «моровые поветрия», поглощающие целые массы («язва либерализма, язва празднословия, язва легкомыслия..»). Теперь предметом сатиры становится не «психологический» тип со всей его индивидуально-личностной определенностью (разумеется, выражающей у Гоголя в конечном счете то или другое общественное «положение»), но именно та или другая «язва», «моровое поветрие». Индивидуально-психологические особенности одержимых этими «поветриями» не только не имеют значения, но они попросту исчезают, стираются, «поглощаются». Иными словами: «сатира с почвы психологической ищет перейти на почву общественную». Так возникает давно отмеченный нашей наукой «групповой», «стадный» образ салтыковской сатиры (см, например, Е. И. Покусаев. Революционная сатира Салтыкова-Щедрина). Следует добавить, что на этой почве вырастают и фантастические образы Салтыкова.

Что касается поэта Александра Иволгина, автора «Смешных песен», сотрудника юмористического журнала «Будильник», то Салтыков безусловно относит и его к той «школе», к которой он несколько ранее отнес Минаева,— местно-петербургской, но, разумеется, рангом ниже. «Сатира» Иволгина уже граничит с водевилем.

Стр. 277. *...выше лба уши не растут*..— Русская поговорка, органически вошедшая в систему эзопова языка Салтыкова. В данном случае речь идет о цензуре, резко ограничивающей возможности сатиры.

Стр. 278. ..*золотого века молчания нашей литературы*..— Подразумевается николаевское время, когда писал и пользовался большой популярностью знаменитый водевилист Д. Т. Ленский. В другом месте Салтыков иронически называет «нашим золотым веком наук и искусств» годы реакции после каракозовского выстрела — «эпоху приведения литературы к одному знаменателю» («Литературное положение» — т. 7 наст. изд., стр. 63).

А. Большаков. Роман в двух частях И. Д. Кошкарова. СПб. 1868 г.

(Стр. 278)

ОЗ, 1868, № 10, отд. «Новые книги», стр 194—196 (вып. в свет — 9 октября). Без подписи. Авторство установлено С. С. Борщевским на основании анализа текста — *Неизвестные страницы*, стр. 540; позднее подтверждено найденным автографом Салтыкова — *ИРЛИ*.

В бездарном романе либерально-дворянского писателя И. Д. Кошкарова, выступавшего в печати также под псевдонимом «Н. Витняков» (см. далее рецензию Салтыкова на его роман «Русские демократы»), изо-

бражалась еще одна разновидность «нового человека», современного деятеля.

Герой романа, А. Большаков, зачитывавшийся в молодости Прудоном и Миллем «до головокружения», выступает в романе чуть ли не как «предвестник всеми ожидаемой новой жизни». Однако вся «новизна» его идей не идет дальше плоских сентенций и общих мест, вроде приводимых Салтыковым (наиболее нейтральных) или следующей: «...лучшая, то есть наиболее выгодная и самая приятная ассоциация есть семейство, в котором распределение труда, сообразно стремлениям каждого члена, составляет основание и залог счастья» и т. п.

Практическая деятельность Большакова находит свое наиболее определенное выражение в эпизоде, сатирически интерпретированном Салтыковым: «Отделив межою крестьянский надел, он нанял себе хорошего сторожа, который днем и ночью оберегал его землю от потрав». В конце концов Большаков становится почетным мировым судьей, и в этой роли путь его как «деятеля» логически завершается.

Салтыков в своей рецензии эзоповски вскрывает охранительный смысл «романа» И. Д. Кошкарова: истины, которые изрекает этот «копеечный мудрец»,— «найдены где-нибудь в будке» (место пребывания будочника, то есть полицейского)

Перемелется — мука будет. Комедия в пяти действиях И. В. Самарина.

(Стр. 280)

ОЗ, 1868, № 11, отд. «Современное обозрение», рубрика «Петербургские театры», стр. 108—119 (вып. в свет — 11 ноября). Без подписи. Авторство установлено С. С. Борщевским на основании анализа текста — *Неизвестные страницы*, стр. 500—503.

В самом начале своей рецензии Салтыков отделяет комедию И. В Самарина «Перемелется — мука будет» от антинигилистических пьес «прошлого сезона» Александринского театра (см. прим. к стр. 280). В этом произведении нет явного «положительного нигилизма», больше того, комедия Самарина «желает что-то выразить, что-то справдать, кому-то оказать услугу», на сцене появляется «новый герой» — студент Решетов. Однако автор комедии уклонился от какой бы то ни было попытки определить суть проповеди Решетова.

Истина, которую хочет утвердить автор, «давным-давно свила себе гнездо в сердце каждого извозчика». Эта характеристика «идей» пьесы Самарина связывает ее с романом И. Д. Кошкарова «А. Большаков», рецензированным Салтыковым в предыдущей книжке «Отечественных записок» Подобные плоские истины и общие места («детские мысли») рождаются «на Сенной и в Гостином дворе». В конечном счете все они имеют охранительный смысл (их вполне вмещают «капельдинеры Александрин-

ского театра», то есть члены Театрально литературного комитета при императорских театрах, см. т. 5 наст. изд., стр. 163 и 580).

Известный актер, уже свыше тридцати лет игравший первые роли в московском Малом театре, И. В. Самарин не был сколько-нибудь значительным драматургом и писал для собственных бенефисов. К 1864 г. относится его двухактная бытовая комедия «Утро вечера мудренее», к 1867 г.— историческая мелодрама «Самозванец Луба». Комедия «Перемелется — мука будет» прошла в его бенефис на сцене Малого театра еще 10 декабря 1865 г.

Александринский театр поставил ее 27 сентября 1868 г., в бенефис П. И. Малышева.

Стр. 280 *В прошлый театральный сезон мы имели драму г Стебницкого, комедию г. Чернявского и, наконец, комедию г-жи Себиновой...*— Подразумеваются постановки «антинигилистических» пьес, собственно, в двух смежных сезонах Александринского театра. «Расточитель» М. Стебницкого (Н. С. Лескова) был впервые представлен там 1 ноября 1867 г, «Гражданский брак» Н. И. Чернявского — 25 ноября 1866 г., «Демократический подвиг» Т Себиновой (псевдоним Е. В Новосильцевой) — 4 октября 1867 г. В суровых оценках Салтыкова отразились общие взгляды демократии. Так же отзывался об этих пьесах и В. А. Слепцов в «Женском вестнике» (см. *ЛН*, т. 71, М. 1963, стр. 266).

...положительный нигилизм...— Это часто употреблявшееся Салтыковым сатирическое понятие наиболее подробно разъяснено в рецензии на «Гражданский брак» Чернявского (см. наст. том, стр. 253).

О первых двух пьесах мы уже отдали отчет в нашем журнале.. — В феврале 1868 г. «Отечественные записки» поместили (без подписи) статью В. А. Слепцова о «Расточителе» на Александринской сцене. Салтыков специально об этой пьесе не высказывался, но посвятил критический разбор «Повестям, очеркам и рассказам» Стебницкого (Лескова). Комедию Чернявского «Гражданский брак» Салтыков рецензировал в августовской книжке журнала за тот же 1868 г. (см. наст. том, стр. 249—257 и 335—343).

Стр 281. *Чтобы до масленицы ..*— Начиная с «масленой» недели и затем в продолжение всей недели поста спектаклей не было.

...для начала наших бесед о петербургских театрах...— Статьи под этой рубрикой в «Отечественных записках» писали М. Салтыков, П. Ковалевский, В. Слепцов и Ф. Толстой.

В соседстве с «Прекрасною Еленой»...— Оперетта Жака Оффенбаха впервые прошла в Александринском театре 18 октября 1868 г., через три недели после премьеры комедии Самарина.

Стр. 282. *...г-же Оноре в «Жизни за царя» не аплодировал, а потому и мировым судьей Нероновым ни к какому наказанию приговорен не был...*— Ирина Ивановна Оноре, певица-контральто московского Большого

театра, дебютировала 4 января 1866 г. в партии Вани в опере Глинки «Жизнь за царя» («Иван Сусанин»), явившейся одной из ее коронных ролей. П И Чайковский назвал И. И. Оноре «украшением нашей русской оперы» (П. Чайковский. Полн. собр. соч., т. II, М. 1953, стр. 128). За неумеренные вызовы певицы на представлении «Жизни за царя» 14 ноября 1867 г. восемь ее поклонников, среди них трое студентов, были сданы в тверской участок, где провели ночь; судья Неронов приговорил каждого к 25 руб. штрафа с заменой трехдневным арестом. В своих воспоминаниях «Одиннадцать лет в театре» И. И. Оноре описала этот инцидент как «образец самоуправства власть имеющих и бесцеремонного их обращения с публикой и артистами...».

Стр 282 *.. г. Жанен или г. Дьёдонне...*— Актеры на роли комических любовников и фатов в французской труппе петербургского Михайловского театра. Филипп Жанен играл там в 1867—1872 гг., Альфонс-Эмиль Дьёдонне — в 1864—1874 гг. В частности, Дьёдонне исполнял роль Париса в «Прекрасной Елене», поставленной Михайловским театром еще 9 апреля 1866 г.

Стр 283 *...несмотря на утраты, понесенные тобою в лице гг. Чичерина, Дмитриева и чуть-чуть не Соловьева...*— Министр народного просвещения Л В. Головнин утвердил на новый срок в должности декана юридического факультета В. Н. Лешкова, не собравшего положенных двух третей голосов при баллотировке 22 января 1866 г. Проф. Б. Н. Чичерин, избранный тогда же на эту должность, а с ним Ф. М. Дмитриев, С. М. Соловьев и трое других профессоров заявили протест; но, узнав, что новый министр Д. А. Толстой подтвердил решение своего предшественника и Александр II недоволен их поступком, продолжали занятия. В начале 1868 г. Чичерин, а за ним Дмитриев все-таки покинули Московский университет; Соловьев же остался. Газета Каткова «Московские ведомости» в длиннейших статьях защищала честь университетского мундира и осуждала вольнодумных профессоров (1868, №№ 38, 42, 53, 59, 63 и др).

...акцизно-социально-демократическому либерализму...— См. т. 7 наст. изд., стр. 190—191.

Стр. 284. *...вместо книжки, завертывают им «Бродящие силы» г. Авенариуса...*— Книгу В. П. Авенариуса Салтыков рецензировал в апрельской книжке «Отечественных записок» (см. наст. том, стр. 237).

...ознакомился с «Новейшими основаниями науки психологии»...— Намек на книгу социолога и философа-позитивиста Герберта Спенсера «Основы психологии» (1859). Сравнивая с ней натуралистически описательную беллетристику Авенариуса и Боборыкина, Салтыков осмеивал претензии последних на анализ психологии прогрессивной молодежи.

...прочитал «Воительницу» г. Стебницкого...— Эта повесть М. Стебницкого (Н. С. Лескова) появилась в июльской книжке «Отечественных записок» 1866 г. и, на взгляд Салтыкова, проповедовала «учение о безделице».

...дал ему злата и преэрел его...— Иронический парафраз на тему «Черной шали» Пушкина («Я дал ему злата и проклял его»).

Стр. 285. *...в глюковском «Орфее».*— Опера Глюка «Орфей» (точнее — «Орфей и Эвридика») была поставлена в петербургском Большом театре 15 апреля 1868 г.

Убедился ли он в несостоятельности афоризмов «Вести» и стал подписываться на «Московские ведомости»? Или он подкрепил себя еще афоризмами «Нового времени»...— Подразумевается общность позиций реакционных газет «Весть» В. Д. Скарятина и Н. Н. Юматова, «Московские ведомости» М. Н. Каткова и только что (в 1868 г.) основанной А. К. Киркором и Н. Н. Юматовым газеты «Новое время».

Не он ли, прикрывшись именем г. Скарятина, отправляется с тоски на торжество открытия Орловско-Витебской железной дороги? — См. в наст. томе статью «Литература на обеде» и прим. к ней.

Стр. 289. *...вторая часть «Жертвы вечерней» г. Боборыкина?* — Вторую часть этого романа Боборыкина Салтыков считал откровенно порнографической. В ней изображались «афинские вечера» в аристократическом доме свиданий (см. статью «Новаторы особого рода»).

Стр 290. *Вместо «Булочной» и «Героев пференса»...*— Одноактный водевиль П. А. Каратыгина «Булочная, или Петербургский немец» шел впервые в Александринском театре 26 октября 1843 г. «Герои пференса, или Душа общества» — трехактная комедия-водевиль П. И. Григорьева, поставленная в Александринском театре 7 ноября 1844 г. Оба автора были актерами этого театра.

...мы слишком часто видим гг. Озерова и Шемаева...— Актер Д. И. Озеров (Дудкин) служил в Александринском театре в 1844—1854 и 1859—1880 гг., В. Р. Шемаев — в 1854—1903 гг. Оба, не блистая талантами, были непременными исполнителями ходовых комедий, водевилей и оперетт. Озеров, например, в сезоне 1868/69 г. выступал в опереттах Оффенбаха «Орфей в аду», «Званый вечер с итальянцами», «Прекрасная Елена».

Из прежних актеров остался один Самойлов...— О сложно менявшемся отношении Салтыкова к В. В. Самойлову см. т. 5, стр. 583.

Подумайте, читатель, что не только Мартынов, но даже Максимов до сих пор не заменен...— А. Е. Мартынов, выдающийся актер Александринского театра с 1835 г., художник демократической складки, талантливо воплощал на сцене протестующую тему «маленького человека»,— например, был первым исполнителем роли Тихона в «Грозе» Островского. Он принадлежал к числу самых ценимых Салтыковым актеров. 10 марта 1859 г. писатель принял участие в чествовании Мартынова: «Тургенев и Салтыков-Щедрин увенчали артиста лавровым венком, ленты которого поддерживали Л. Толстой и Гончаров» («Ежегодник императорских театров», сезон 1904/05, приложение, стр. 323—329). А. М. Максимов, одаренный актер Александринского театра с 1834 г., не обладал такой определенностью творческого и гражданского облика, как Мартынов, с 1853 г., после смерти трагика В. А. Каратыгина, занял его амплуа.

Стр. 291. *Загляните... в балет, и там вы убедитесь, что каждый год непременно приносит что-нибудь новое: то г-жу Канцыреву, то г-жу Вергину, то г-жу Вазем.*— Названные танцовщицы были недавно выпущены из Петербургского театрального училища в балетную труппу: К. И. Канцырева — в 1866, Е. О. Вазем — в 1867 и А. Ф. Вергина — в 1868 г. В статье «Проект современного балета» Салтыков одобрительно упомянул Канцыреву, исполнившую заглавную роль в осмеянном им балете «Золотая рыбка» (1867).

Внучка панцырного боярина. Роман из времени последнего польского мятежа И. И. Лажечникова. В трех частях. СПб. 1868 г.

(Стр. 292)

ОЗ, 1868, № 12, отд. «Новые книги», стр. 252—256 (вып. в свет — 11 декабря). Без подписи. Авторство указано В. В. Гиппиусом — *Z. f. sl. Ph.*, S. 184; подтверждено на основании анализа текста С. С. Борщевским — *изд. 1933—1941*, т. 8, стр. 504—505.

Рецензия Салтыкова на новый роман И. И. Лажечникова, темой которого было польское восстание 1863 г., повторяет и развивает ряд тезисов, высказанных в рецензии на его предыдущий роман — «Немного лет назад» (*С*, 1863, № 1—2; см. т. 5 наст. изд., стр. 307—319). Салтыков вновь противопоставляет «прежнего» Лажечникова, автора исторических романов, написанных в 30-е годы и тогда заслуживших высокую оценку критики и популярность у читателя,— Лажечникову «новому», пытавшемуся изобразить современную действительность в шаблонах «старой дорафаэлевской манеры» — наивноромантической поэтики нравоописательного романа начала XIX века («Герои почтенного автора разделяются на добродетельных и порочных»; ср. в рецензии на роман «Немного лет назад»: «изображаемые им лица разделяются на две половины: на добродетельных и плутов» и т. д — т. 5, стр. 310).

Новая рецензия Салтыкова, однако, является более резкой, чем предыдущая. Это, несомненно, объясняется тем обстоятельством, что, напечатанный первоначально в 1868 г. в журнале «Всемирный труд», роман «Внучка панцырного боярина»[1] был проникнут антинигилистической и антипольской тенденцией. Он оказался реакционным не только в чисто литературном смысле, по самому типу художественного мышления автора, но и по своей идейной направленности. Этим объясняется, в частности, ироническое замечание Салтыкова, что добродетельные герои Лажечникова «не читают ни Бокля, ни Молешотта, ни даже Либиха» — авторов, популярных среди передовой молодежи начала 60-х годов (см., например, в «Отцах и детях» Тургенева). Для идейной тенденции романа показательна следую-

[1] Панцырные бояре — особый род польской пограничной стражи.

щая характеристика главного героя, участника польского «повстания» Владислава Стабровского: «Ему предстояло защищать дело темное, революционное, которое он сам в душе осуждал; но он продал душу свою этому делу, как сатане, и должен был стоять за него...» Поэтому Салтыков не мог теперь повторить того, что им было сказано в рецензии 1863 г.: «г. Лажечников самая сочувственная молодому поколению личность из всей фаланги старых литераторов» (т. 5, стр. 308).

Стр. 295. ...*выставкой магазина Дациаро*...— Известные в свое время магазины гравюр и эстампов в Петербурге на Невском проспекте и в Москве на Кузнецком мосту.

...*тип Авзония*...— то есть итальянца.

...*не бежал бы до лясу* — то есть в лес (*польск.*— do lasu), иными словами — не стал бы повстанцем.

Стр. 297. *Когда-то г. Лажечникову был высказан совет оставить область творчества и заняться... изданием мемуаров, которые во всяком случае должны быть небезынтересны* — Этот совет высказал сам Салтыков в рецензии 1863 г, руководствуясь, вероятно, успехом воспоминаний Лажечникова о Белинском, напечатанных в 1859 г.

Воспоминания прошедшего. Были, рассказы, портреты, очерки и проч. Автора «Провинциальных воспоминаний». Москва, 1868 г.

(Стр. 297)

ОЗ, 1868, № 12, отд. «Новые книги», стр. 256—258 (вып. в свет — 11 декабря). Без подписи. Авторство указано В. В. Гиппиусом — *Z. f. sl. Ph*, S. 184; подтверждено на основании анализа текста С. С. Борщевским — *изд. 1933—1941*, т. 8, стр. 505.

Автором «Воспоминаний прошедшего» был И. В. Селиванов — один из представителей дворянской интеллигенции 40-х годов, проделавший характерную эволюцию от сочувствия Герцену, с которым он встречался за границей в 40-х годах, и революции 1848 г., которую наблюдал в Париже, через либеральное обличительство — к активному участию, в качестве русского чиновника, в проведении правительственной политики в Польше после усмирения восстания 1863 г. (подробнее см в сообщении Б. П. Козьмина «И. В. Селиванов и его письмо из революционной Франции 1848 г.».— *ЛН*, т. 67, М. 1959).

Широкой известностью пользовались в свое время «Провинциальные воспоминания» Селиванова, в которых «обличалось» русское чиновничество; они печатались в 50-х годах на страницах «Современника» (отд. изд.: ч 1 — 1857 г ; ч. 2 — 1858 г.; ч. 3 — 1861 г.). Этим «воспоминаниям» Чернышевский дал такую характеристику: «Плохо, разумеется, со стороны та-

ланта и ума, но эффектно и выгодно по своей резкости»[1]. В 50 х годах имя Селиванова как литератора «обличительного направления» упоминалось нередко рядом с именем Салтыкова — автора «Губернских очерков».

«Воспоминания прошедшего» уже решительно отличались от «Провинциальных воспоминаний», о чем свидетельствует хотя бы предисловие, приводимое Салтыковым в его рецензии. Салтыкову, конечно, был известен и факт службы Селиванова в Польше, что также могло повлиять на характер его отзыва.

Стр. 297. *Вот и еще старичок...*— Рецензия на «Воспоминания прошедшего» И. В. Селиванова была напечатана в «Отечественных записках» непосредственно после рецензии на роман И. И. Лажечникова «Внучка панцырного боярина».

Говорят, что юмористы наши нередко впадают в преувеличения и что, например, повествования г. Щедрина о разных губернских помпадурах и помпадуршах представляют некоторые юмористические излишества, ни для кого будто бы несомненные.— В таком духе высказался о «Старой помпадурше» (*ОЗ*, 1868, № 11) Ф. Толстой в письме к Некрасову (см. прим. к названному очерку в т. 8 наст. изд.; а также статью и публикацию К И Чуковского «Ф М. Толстой и его письма к Некрасову».— *ЛН*, т. 51—52, М. 1949). Подобные характеристики сатиры Салтыкова появлялись и в печати. Так, например, М Загуляев писал в обозрении «Столичная жизнь» о «Новом Нарциссе»: «Г-н Салтыков представляет нам преувеличенную до невозможности карикатуру <...> земских собраний» («Всемирный труд», 1868, № 2, стр. 132—133 второй пагинации).

...некоторые помпадуры сами о себе и притом самым серьезным образом писали такие юмористические сочинения, перед которыми бледнеет самая резкая русская юмористика...— Возможно, Салтыков говорит здесь о печатавшихся в 1864—1865 гг. в «Русском вестнике» Каткова знаменитых «Записках» Ф. Ф. Вигеля, отец которого был пензенским губернатором в конце XVIII в., а сам Вигель бессарабским вице-губернатором и градоначальником в Керчи. В начале 1868 г. Салтыков пародировал «Записки» Вигеля в «мемуарах» отставного помпадура («Старый кот на покое»). Может быть, речь идет и о воспоминаниях И. И. Лажечникова, бывшего тверского и витебского вице-губернатора,— «Беленькие, черненькие и серенькие» (1858). Одна из тем записок Вигеля и Лажечникова — «помпадурство» (Вигель писал, например, об одном из губернаторов: «...добрый и честный князь завел свою мадам де Помпадур».— Ф. Ф. Вигель. Записки, том первый, М. 1928, стр. 59). О «Записках» Вигеля как одном из источников «Истории одного города» см. в комм в т. 8 наст. изд.

[1] Н. Г. Чернышевский. Литературное наследие, т. 2, 1928, стр 353

Меж двух огней. Роман в трех частях М. В. Авдеева. С.-Петербург. 1869.

(Стр. 299)

ОЗ, 1869, № 1, отд. «Новые книги», стр. 94—105 (вып. в свет — 12 января) Без подписи. Авторство указано В. В. Гиппиусом — *Z. f sl. Ph.,* S. 184; подтверждено на основании анализа текста С. С. Борщевским — *изд. 1933—1941,* т. 8, стр. 505—508.

Уже после первой повести М. В. Авдеева «Варенька. Рассказ Ивана Васильевича», составившей вместе с «Тетрадью из записок Тамарина» и повестью «Иванов» роман под названием «Тамарин» (*С,* 1849—1851), за автором установилась репутация талантливого, но несамостоятельного рассказчика, легко поддающегося влиянию чужой манеры (о Тамарине как слабой «копии» Печорина писал, например, Чернышевский в рецензии 1854 г. на «Романы и повести» М. Авдеева). После появления следующих произведений Авдеева, в особенности романа «Подводный камень», эта репутация укрепилась, только в качестве образца, которому Авдеев подражает, чаще всего назывался теперь Тургенев. С появлением нового романа Авдеева «Меж двух огней» бедность его таланта обнаружилась еще нагляднее.

Не ограничившись изображением, в тургеневской манере, психологии любовной «страсти» (как это было, например, в «Подводном камне»), автор вознамерился нарисовать обширную картину «интереснейших общественных компликаций» (противоречий) периода крестьянской реформы[1]. Однако обращение Авдеева к социальной проблематике оказалось неудачным. Авдеев, как сказано в настоящей рецензии Салтыкова, «не воспользовался ничем из богатого материала, который находился у него под руками». Именно на этом основании, по-видимому, и было отклонено предложение Авдеева о публикации романа «Меж двух огней» в «Отечественных записках»[2] (роман был напечатан в «Современном обозрении», 1868, №№ 1—3).

Анализ «итогов» десятилетия реформ составлял одну из центральных тем публицистики Салтыкова конца 60-х годов («Признаки времени», «Письма о провинции», «Итоги»). И в рецензии на романи Авдеева Салтыков определил свою позицию в этом вопросе. Говоря о «резкой черте, которая круто заканчивает едва начатое и начинает вновь едва законченное», черте, которая сама по себе уже была своего рода «итогом», Салтыков безусловно имел в виду события 1862 г., положившие предел эпохе общественного подъема, связанной с крестьянской реформой. «Упразднение крепостного права» Салтыков рассматривал, в отличие от либералов, «охранителей современности» (см. статью «Человек, который смеется»), лишь как начало и условие дальнейших преобразований, но не как единственную цель и завершение их. Тяжелое положение России в конце деся-

[1] Действие романа начинается в июле 1860 г. и завершается летом 1862 г. Время действия эпилога — весна 1866 г.

[2] См. Н. А. Некрасов. Полн. собр. соч. и писем, т. XI, М. 1952, стр. 96—97.

тилетия реформ он объяснял неустраненным владычеством крепостных отношений во всех сферах жизни, фактическим возвратом к «едва законченному», то есть обстоятельствам и порядкам дореформенного времени.

С этой точки зрения следовало бы, по мнению Салтыкова, подходить и к уяснению «нравственной и умственной смуты», охватившей русское общество в годы реформ. Это Авдеевым не сделано. Салтыков не мог согласиться и с идеализацией «деятелей» вроде главного героя романа Камышлинцева и их якобы «большого дела». Признавая субъективную честность («горячность») этих деятелей, Салтыков не мог не увидеть в них еще одну разновидность типа «гулящего русского человека». Действуя «бессознательно», бросаясь «на защиту подробностей и частностей», они не в состоянии понять «ни общего смысла дела, ни тех выводов, которыми оно так богато». Общий же смысл дела состоял не только в формальном освобождении крестьян, но в освобождении всей русской жизни. Сама позиция Камышлинцева между крепостниками и сторонниками «хирургии» (таковым в романе выступает студент-нигилист Благолепов), то есть позиция «меж двух огней», была глубоко чужда Салтыкову.

Столь же иронически, как «большое дело» Камышлинцева, трактует Салтыков и его «большую любовь». Напомнив читателю о романе Боборыкина «Жертва вечерняя», он приравнивает «пошлую теорию отношений мужчины к женщине», рекомендуемую Авдеевым и его героем, к «учению о безделице». Это «учение» незадолго перед этим Салтыков сатирически охарактеризовал в статье «Новаторы особого рода», написанной именно по поводу «Жертвы вечерней».

Стр. 307. *...приобрел популярность в той низменной среде...*— Камышлинцев, в период проведения реформы, был членом специально созданного органа — так называемого «губернского присутствия по крестьянским делам», куда могли обратиться со своими нуждами крестьяне. «К Камышлинцеву,— пишет Авдеев,— все чаще и больше потянулось разных зипунов, сермяков и засаленных сюртуков, между низшими слоями утвердилось убеждение, что Камышлинцев, Митрий Петрович, за нас!»

Стр. 308. *...у Ольги, как выражается г. Боборыкин, есть «перси».*— См. статью «Новаторы особого рода» в наст. томе, стр. 39.

Мещанская семья. Комедия в четырех действиях М. В. Авдеева.

(Стр. 311)

ОЗ, 1869, № 2, отд. «Совр. обозрение», рубрика «Петербургские театры», стр. 362—369 (вып. в свет — 2 февраля) Без подписи. Авторство установлено С С Борщевским на основании анализа текста — *Неизвестные страницы*, стр. 503—506.

Комедия М. В. Авдеева «Мещанская семья» явилась поводом для новой атаки Салтыкова на «учение о безделице» в беллетристике и на драматургию «детских мыслей». Бессодержательность, натуралистическая бес-

крылость пьесы Авдеева для Салтыкова — еще один показатель идейного разброда в литературе и театре. Перечень репертуарных новинок, приведенный в статье, дает обрамление и фон неудачной пьесе, позволяет поместить ее в ряд сопутствующих однородных явлений.

У Салтыкова все они были на виду. В самом деле, если прибавить к двум статьям из раздела «Петербургские театры» тогда же написанные рецензии Салтыкова на комедии «Гражданский брак» Н. И. Чернявского, «Гозоруны» И. А. Манна и другие (эти рецензии входят в настоящий том), окажется, что Салтыков, как строгий летописец, дал исчерпывающий обзор трех сезонов Александринского театра. Все мало-мальски заметные пьесы, появившиеся там с осени 1866 г. до весны 1869 г., получили его оценку, то более, то менее подробную.

Первое представление «Мещанской семьи» в Александринском театре состоялось 17 января 1869 г., в бенефис Е. Н. Жулевой.

Текст пьесы был напечатан в февральской книжке журнала «Дело» за 1869 г. и позднее пересматривался автором. В частности, были заменены фамилии некоторых персонажей: Кубаревы переименованы в Кондрашовых, князь Жижимский — в князя Хилковатого.

Из сопоставления статьи Салтыкова, театральной афиши и текста пятиактной пьесы следует, что рецензируемый спектакль шел без первого действия — пролога, происходящего в уездном городе, на родине Кубаревых — Кондрашовых. Соответственно в статье Салтыкова сдвинуто порядковое обозначение актов.

Стр 311. *...и был у них подводный камень такой-то (смотри Жорж Занда, Бальзака, Тургенева и других изобретателей)...*— Намек на подражательность романа Авдеева «Подводный камень». См. прим. к рецензии Салтыкова на роман Авдеева «Меж двух огней».

Стр. 314. *У нас есть специалисты по части вольной клубнички...*— К ним Салтыков относил тогда М. Стебницкого (Н. С. Лескова) с его повестью «Воительница», В. П. Авенариуса со сборником «Бродящие силы», П. Д. Боборыкина с романом «Жертва вечерняя» и др.

...специалисты по части извещения...— то есть литераторы охранительного и доносительного толка, авторы антинигилистических произведений.

...специалисты по части чиновнических обличений...— Салтыков постоянно осмеивал псевдообличительные пьесы этого рода, начиная от «Чиновника» В. А. Соллогуба и комедии Н. М. Львова «Свет не без добрых людей». См. в т. 5 наст. изд рецензию на комедию Ф. Н. Устрялова «Чужая вина».

..есть даже специалист по части легкомыслия.— Имеется в виду Г. П. Данилевский. См. в наст. томе рецензию на его «Новые сочинения».

Стр 315. *...комедия Ожье «Le gendre de monsieur Poirier».*— Эта комедия, написанная Эмилем Ожье в сотрудничестве с Жюлем Сандо (1854), подтрунивает над «выскочками» буржуа и все же отдает им предпочтение

перед разоряющейся, теряющей историческую перспективу и жизненные силы светской аристократией. Разбогатевший негоциант Пуарье утверждает при явном сочувствии авторов: «Коммерция — лучшая школа для государственных людей... Кому взять в руки бразды правления, как не тем, кто доказал, что способен вести собственные дела». Зять господина Пуарье, обедневший маркиз де Прель, в конце концов берется за «буржуазные дела» и оказывается «достоин быть буржуа». С осени 1854 г. пьеса Ожье и Сандо вошла в репертуар петербургской французской труппы. В следующем году ее переделал на русские нравы Н. Сазиков под названием «Зять любит взять, а тесть любит честь». 4 ноября 1855 г. эта переделка впервые шла в Малом театре со Щепкиным в роли Разумова, 7 ноября — в Александринском театре с Мартыновым в роли Дьячкова. Салтыков указывает, таким образом, на достаточно известный источник комедии Авдеева.

Стр. 317. *...кутил целую ночь на Средней Рогатке...*— Средняя Рогатка — перекресток московской и киевской шоссейных дорог при въезде в Петербург; в те времена черта города.

С легкой руки автора «Окраин России» вошло во всеобщее обыкновение обращаться с остзейскими баронами без церемонии.— В 1868 г. славянофил Ю. Ф. Самарин выпустил в Праге труд «Окраины России. Серия первая: Русское Балтийское поморие», направленный против онемечения населения прибалтийских губерний. А. В Никитенко записывал в дневнике 19 сентября 1868 г.: «Говорят, Самарин выпустил за границей «страшную» книгу против остзейских немцев» (А. В. Никитенко. Дневник, т. 3, Гослитиздат, Л 1956, стр. 130).

Стр 318. *.. и занавес падает среди громаднейшего шиканья.*— 24 января 1869 г. актер Александринского театра Ф. А. Бурдин писал А. Н Островскому: «Мещанская семья» Авдеева так провалилась, что я и не запомню такого фиаско — а сам автор весьма недоволен исполнением, которое действительно нельзя назвать удачным; Васильев не знал роли, а Н. Самойлов был очень вял и бесцветен» («А. Н. Островский и Ф. А. Бурдин. Неизданные письма», ГИЗ, М.— Пг. 1923, стр. 88).

...когда бы мы ни заглянули в театр, мы ни под каким видом не разминемся либо с «Пробным камнем», либо с «Фролом Скобеевым», либо с «Прекрасной Еленой».— Все эти новинки появились на Александринской сцене в непосредственной близости от «Мещанской семьи», в конце 1868 г. Оперетта Жака Оффенбаха «Прекрасная Елена» была впервые представлена там 18 октября, комедия В. А. Дьяченко «Пробный камень» — 4 декабря, «Комедия о российском дворянине Фроле Скобееве и стольничьей, Нардын-Нащокина, дочери Аннушке» Д. В. Аверкиева — 30 декабря.

...в ту минуту, когда я дописываю эти строки, «Прекрасная Елена» выдерживает тридцатое представление...— Оно состоялось 21 января 1869 г., на четвертый день после премьеры «Мещанской семьи», что позволяет точно датировать работу Салтыкова над статьей.

Говоруны. Комедия в четырех действиях И. А. Манна. Издание Кожанчикова. СПб. 1868 г.

(Стр. 319)

ОЗ, 1869, № 2, отд. «Новые книги», стр. 344—346 (вып. в свет — 2 февраля). Без подписи. Авторство указано В. В. Гиппиусом — *Z. f. sl. Ph.*, S. 184; подтверждено на основании анализа текста С. С. Борщевским — *изд. 1933—1941*, т. 8, стр. 508—509.

Еще в № 1—2 «Современника» за 1863 г., разбирая постановку в Александринском театре комедии Ф. Устрялова «Слово и дело», Салтыков с иронией отозвался об И. А. Манне как члене Театрально-литературного комитета, заметив, что тот, так же как и другие члены этого комитета, «никакого отношения к русской литературе не имеет» (т. 5 наст. изд стр 173).

П. М. Ковалевский, рецензируя в «Отечественных записках» 1868 г. под рубрикой «Петербургские театры» спектакль того же Александринского театра по пьесе И. А. Манна «Говоруны», связал новую комедию с хорошо известной читателям и зрителям комедией Устрялова и тем самым указал на ее тенденцию: «Задача пьесы: слово и дело, то есть — ино слово говорить, а ино делать,— как видите, не новая; но прием автора в ее развитии <нов>: г. Нильский, например, проповедует против бюрократии — бац, г. Монахов в ту же минуту предлагает ему хорошее место, в 5-м классе, и г. Нильский в ту же минуту его с признательностью принимает...» и т. д «Современнее «Говорунов»,— сказано было также в обзоре Ковалевского,— трудно себе и представить что-либо все язвы современности тут раскрыты и осмеяны — земство, администрация, женский труд, ну и, разумеется, нигилизм» (*ОЗ*, 1868, № 2, отд. «Современное обозрение», стр. 330, 331). Однако далее этого беглого указания на антинигилистическую направленность пьесы Ковалевский не пошел. Салтыков воспользовался ее отдельным изданием, чтобы дать отпор клеветам литературствующего чиновника, драматурга «необулгаринской школы» (см. рецензию на «Гражданский брак» Чернявского, наст. том, стр. 249). «Новые идеи», в интерпретации сочинителя такого пошиба,— как раз «по плечу зрителям-столоначальникам»[1]. Эти будто бы «новые идеи», констатирует Салтыков, «перешли к нам <...> по прямой линии от начальников отделения». Несколько позже, развивая эту мысль в статье «Уличная философия», Салтыков скажет о гончаровском Волохове, что тот «совершал подлог, выдавая за новое учение то, что, в сущности, содержалось и в старом учении» (см. наст. том, стр. 84).

Стр. 319. *...мед дивий...*— то есть дикий.

Стр. 321. *С кого они портреты пишут? Где разговоры эти слышут?* — Из стихотворения Лермонтова «Журналист, читатель и писатель».

[1] О «начальниках отделения» и «столоначальниках» как публике Александринского театра Салтыков писал, разбирая комедию Самарина «Перемелется — мука будет» (см. выше, стр. 284).

Где лучше? Роман в двух частях Ф. Решетникова. СПб. 1869 г.

(Стр. 321)

ОЗ, 1869, № 4, отд. «Новые книги», стр. 270—273 (вып. в свет — 11 апреля). Без подписи. Авторство аргументировано С. С. Борщевским на основании анализа текста — *изд. 1933—1941*, т. 8, стр. 509—510.

В конце 60-х — начале 70-х годов творчество Решетникова оказалось в центре внимания русской критики. Не было, пожалуй, ни одного органа журналистики, который не откликнулся бы так или иначе на его романы [1].

«Отечественные записки» уже в первом номере 1868 г. поместили рецензию на новое издание романа Решетникова «Подлиповцы», первоначально напечатанного в «Современнике» (1864, №№ 3, 4, 5). Через три месяца А. М. Скабичевский в статье «Живая струя» выделил Решетникова среди беллетристов народной темы — Н. Успенского, В. Слепцова и др. (*ОЗ*, 1868, № 4, по-видимому, и рецензия на «Подлиповцев» была написана Скабичевским).

В пяти книжках «Отечественных записок» за 1868 г. (№№ 6—10) печатался новый роман Решетникова «Где лучше?» — самое значительное произведение писателя. Роман Решетникова редактировался Салтыковым [2], и он же, опираясь прежде всего на этот роман, дал принципиальную оценку творчеству Решетникова как выражению нового направления литературы (статья «Напрасные опасения», напечатанная в той же, десятой, книжке «Отечественных записок», что и окончание «Где лучше?»). И хотя Решетников, так же как и другие писатели этого направления, еще не смог выйти за пределы «собирания» и «частной разработки» материала, его творчество стоит «выше обыкновенного уровня: именно он сумел показать, что «внутренняя сущность» простолюдина есть «сущность общечеловеческая». Из этого положения, очевидно, проистекает другой важный для Салтыкова вывод — о принципиальной возможности и, в конечном счете, неизбежности появления из крестьянской, будто бы пассивной, «воспитываемой» среды положительного героя (см. подробнее прим. к статье «Напрасные опасения», стр 470).

Вся многочисленная «решетниковская» критическая литература после «Напрасных опасений», в сущности, исходила из мысли Салтыкова о Решетникове как самом значительном представителе особого направления лите-

[1] См. статьи И. И Векслера «Ф. М. Решетников в критике. К истории классовой борьбы в русской критической литературе».— «Известия АН СССР», Отделение обществ. наук, 1932, №№ 6 и 8.

[2] В ряде писем к Некрасову Салтыков, занимавшийся «исправлением» романа «Где лучше?», чрезвычайно резко отзывался о его художественных недостатках, в частности — длиннотах (см., например, письма от 25 и 26 марта 1868 г.). Итоговое мнение Салтыкова — в письме от 12 мая: «В этом романе такая бездна ненужных и ни с чем не вяжущихся подробностей <..> Затем общее впечатление — хорошее, наглядно рисующее безвыходность некоторых отношений».

ратуры, чаще всего определяемого как новое по отношению к старому — творчеству литераторов поколение 40-х годов [1].

Среди высказываний о Решетникове (непосредственно следовавших за журнальной публикацией романа «Где лучше?» и статьи «Напрасные опасения» и, с другой стороны, предшествовавших настоящей рецензии) наибольший принципиальный интерес представляют напечатанные в журнале «Дело» статьи П. Ткачева «Разбитые иллюзии» и «Внутреннее обозрение» П. Гайдебурова (№№ 11 и 12 «Дела» за 1868 г). Эти материалы, собственно, не дают литературно-критического анализа произведений Решетникова, представляя собой рассуждение «по поводу» [2]. Публицисты «Дела» разделяют мысль Салтыкова о целостной народной среде как объекте изображения Решетникова. Однако в ряде существенных моментов суждения расходятся Так, рассматривая отношения «цивилизованной» и «нецивилизованной» толпы (то есть интеллигенции и народной массы), публицисты «Дела» склонны квалифицировать выраженные в «Напрасных опасениях» надежды Салтыкова на возможность появления положительного героя в самой «воспитываемой среде» как «иллюзии саморазвития» (Ткачев), почти «славянофильство» (Гайдебуров) По мнению Ткачева, эти надежды ни в какой степени не вытекают из той картины народной жизни, которую представил Решетников (отсюда название статьи — «Разбитые иллюзии») «Нецивилизованная» толпа способна *лишь* на разрозненные, «индивидуальные поиски за *лучшим*», не меняющие ее положения К «общей, совокупной деятельности» ее может подвигнуть сила, которую «цивилизованная толпа» должна найти «в *самой* себе, в своем знании, в своем более высоком умственном развитии, в своих нравственных и интеллектуальных условиях...» («Дело», 1868, № 12, отд «Совр обозрение», стр. 59).

Решетников, считает Ткачев, ошибается, когда думает, что пишет роман: грубая, невежественная среда не дает содержания для романа («это просто ряд очерков, характеризующих с поразительною рельефностью хозяйственный быт нашего мастерового, заводского, трудящегося люда» — т а м ж е, № 11, отд. «Совр. обозрение», стр. 22).

---

[1] Показательно утверждение В П Буренина в фельетоне «Журналистика» «С.-Петербургских ведомостей», написанном по поводу статьи «Напрасные опасения»: «...роман «Где лучше?» и роман «Идиот» могут служить крайними представителями двух противоположных школ в искусстве — старой и новой» (№ 303 от 5 ноября 1868 г.). С этой точки зрения рассматривалось творчество Решетникова в двух статьях Евг. Утина «Литературные споры нашего времени» и «Задачи новейшей литературы» («Вестник Европы», 1869, №№ 11 и 12). В грубой и тенденциозной статье «Зари», впрочем метавшей стрелы не столько в Решетникова, сколько в «Отечественные записки», писатель был отнесен к «антихудожественной школе» (1869, № 9; автором статьи, по предположению И. И. Векслера в указанном исследовании, был В. Г. Авсеенко) Интересно также, что Достоевский противопоставил произведения Решетникова, хотя и «безобразные», отживающей «помещичьей литературе» (см его письмо к Н. Н. Страхову от 18/30 мая 1871 г — Письма, т. 2, стр. 369).

[2] См И. Г. Я м п о л ь с к и й П. Н. Ткачев как литературный критик.— «Литература», 1931, № 1, стр. 39—40.

Комментируемая рецензия основывается на тезисе «Напрасных опасений» об общечеловеческом смысле рисуемой Решетниковым жизни «простолюдина» — русского крестьянина и рабочего. Не курьезные случаи, имеющие лишь этнографическое значение, а общечеловеческая драма, называемая борьбою за существование, дала содержание роману Решетникова. Но это уже не роман старого типа — личный, психологический,— а роман народный, в котором «главным действующим лицом и главным типом является целая народная среда». Личная драма в этой среде полностью поглощается драмою общей, и личность оказывается «перед безвыходностью некоторых отношений».

Но обречен ли народный роман на изображение лишь целостной, нерасчленимой среды? «Такая точка зрения на художественное воспроизведение народной жизни есть единственно верная», констатируется в заключении рецензии, но верная до тех пор, «покуда народные массы еще не в состоянии выделять из себя отдельных героических личностей». Ткачев скептически относился к самой такой возможности.

Стр. 323. ...*совокупность неделимых*...— Неделимое — термин «субъективной социологии» Н. К. Михайловского, обозначающий человеческую личность, индивидуальность как неразложимую, «неделимую» единицу в условиях общественного разделения труда. Общество, по Михайловскому,— «агрегат неделимых».

Материалы для характеристики современной русской литературы. I. Литературное объяснение с Н. А. Некрасовым М. А. Антоновича. II. Post-scriptum. Содержание и программа «Отечественных записок» за прошлый год Ю. Г. Жуковского. СПб. 1869.

(Стр. 324)

ОЗ, 1869, № 4, отд. «Новые книги», стр. 273—283 (вып. в свет — 11 апреля). Без подписи. Авторство, без аргументации, указано Н. К. Михайловским (предисловие к первому тому сочинений Г. З. Елисеева, сожженному цензурой). Подтверждено В. Е. Евгеньевым-Максимовым на основании писем Салтыкова к Некрасову, от 18 апреля и 22 мая 1869 г. («Печать и революция», 1927, № 4, стр. 57 и 58).

Когда в 1868 г. Некрасов, Салтыков и другие бывшие сотрудники «Современника» взяли в свои руки, при формальном сохранении редакции Краевского, издание «Отечественных записок», не вся руководящая группа «Современника», в силу различных причин, могла быть привлечена к участию в преобразованном журнале. За бортом его оказались М. А. Антонович, Ю. Г. Жуковский, А. Н. Пыпин. Цензурное ведомство решительно возражало против сотрудничества Антоновича и Жуковского в «Отечественных записках», завышенно оценивая степень их революционности. Неприемлемым для редакции оказалось и требование Жуковского стать «хозяином самого журнала наравне с г. Некрасовым» (об этом писал Жуковский

в «Материалах для характеристики современной русской литературы», СПб. 1869, стр. 194). Сказались, видимо, и идейные противоречия, которые начали намечаться между группой Антоновича — Жуковского и Салтыковым еще в «Современнике» [1].

В томе I журнала «Современное обозрение» (1868, февраль) было опубликовано «Письмо гг. Ю. Жуковского и А. Пыпина», в котором авторы, в сущности, отмежевывались от «Отечественных записок», заявляя, что их письмо «имеет еще в виду предупреждение различных слухов касательно их отношений к другим журналам» (стр. 106). С начала 1869 г. Антонович и Жуковский выступают с планомерными нападками на «Отечественные записки» со страниц журнала «Космос» (1-е полугодие, № 4, «Литературное лицемерие «Отечественных записок». Вопрос, представляемый на разрешение легкой литературы»; № 8, «Журнально-научное обозрение»; 2-е полугодие, № 1, «По поводу письма Белинского, напечатанного в «С.-Петербургских ведомостях»; приложение к № 1, «Новые материалы для биографии и характеристики Белинского»). В марте того же года появилась их брошюра-памфлет «Материалы для характеристики современной русской литературы. I. Литературное объяснение с Н. А. Некрасовым М. А. Антоновича. II. Post-scriptum — Содержание и программа «Отечественных записок» за прошлый год. Ю. Г. Жуковского», полная пасквильных выпадов против Некрасова, Елисеева, Слепцова. Салтыков прямо в ней не назывался, но весьма прозрачные намеки на него встречались в брошюре многократно. Упоминалась «разная шушера и шелуха из «Современника», готовая лететь туда, куда подует ветер» (стр. 54). В этой общей формуле Салтыкову «предоставлялось узнать себя» (Н. К. Михайловский. Литературные воспоминания и современная смута, т. I, СПб. 1900, стр. 73—74). Говорилось о «литературе на обеде», к этой литературе причислялись «Отечественные записки», их сотрудники (стр. 39, 53). Утверждалось, что «Отечественные записки», не зная о чем писать, прибегают к издевкам над Скарятиным (стр. 78), «вашим коием остается один изъезженный Скарятин с братиею» (стр. 80). Перечисляя материалы, которые делали невозможным его участие в «Отечественных записках», Жуковский называл статью о «скандалах» [2], говорил, что не мог принять на себя ответственность «за теорию скандалов» (стр. 130, 196). Приводились слова Салтыкова из январской хроники «Нашей общественной жизни» (1864): «все *там* будем» (см. т. 6 наст. изд., стр. 234). По утверждению Антоновича, «сбылось оное знаменитое пророчество», «там», то есть в лагере реакции, среди единомышленников Краевского, оказались сотрудники «Отечественных записок» (стр. 55, 70, 79). Намекая на мартовскую хронику «Нашей обществен-

[1] О причинах и сущности конфликта редакции «Отечественных записок» с Антоновичем и Жуковским см. статью Б. Папковского и С. Макашина «Некрасов и литературная политика самодержавия» (*ЛН*, № 49—50), книгу М. В. Теплинского «Отечественные записки», Южно-Сахалинск, 1966, стр. 52—63.

[2] То есть статью «Литература на обеде».

ной жизни» (1863), в которой под названием «Куриное эхо» высмеивалась газета Краевского «Голос» (см. т. 6 наст. изд., стр. 41), Антонович замечал: прежде сотрудники нынешних «Отечественных записок» «очень любили писать статейки о «Курином эхе». Позвольте же вас спросить, почему вы теперь ничего не пишете об этом интересном сюжете?» (стр. 77). Салтыкову и другим сотрудникам «Отечественных записок» переадресовывается уподобление снегирям, сделанное сатириком в «Нашей общественной жизни», в полемике с «Русским словом» (см. т. 6 наст. изд., стр. 336). По словам Жуковского, есть литераторы-обличители, каждый из которых, «как истый снегирь, подхватил себе какую-нибудь нотку и пошел на всю жизнь развивать ее по-своему на все литературные лады» (стр. 147). В брошюре с иронией замечалось, что надворные, действительные статские и прочие советники могут быть отличными обличителями и отрицателями (стр. 90). Адресат таких нападок, Салтыков, угадывался без всякого труда. Не исключено, что разрешение «Материалов» цензурой скрывало провокационный замысел раскола демократической журналистики (см. *ЛН*, т. 49—50, стр. 450—452).

Статья Салтыкова — вынужденное объяснение редакции «Отечественных записок» с авторами «Материалов», отпор инсинуациям Антоновича и Жуковского. В том же номере журнала печатает свой «Ответ на критику» Елисеев.

Возмущение Салтыкова «Материалами» отразилось в его письмах к Некрасову от 18 апреля и 22 мая 1869 г. О том, что Салтыков «рвал и метал», читая «Материалы», пишет и Михайловский («Литературные воспоминания и современная смута», т I, СПб. 1900, стр. 74). О «Материалах» см. воспоминания Антоновича и Елисеева (сб. «Шестидесятые годы», М — Л. 1933), брошюру Ив. Рождественского «Литературное падение гг. Антоновича и Жуковского», СПб 1869, статью «Искры» «Господа, потише!» (1869, № 11), фельетон Д. Минаева «С Невского берега» («Дело», 1869, № 4).

Стр. 324 *После довольно продолжительного молчания...* — Последняя статья Антоновича в «Современнике» была опубликована в № 11—12 за 1865 г., Жуковского — в № 3 за 1866 г.

...горькое воспоминание о некоторых личных неудачах и разочарованиях... — Подразумевается стремление Жуковского стать, наряду с Некрасовым, хозяином «Отечественных записок» (см. выше).

..выместить эти неудачи и разочарования даже не на тех, кто был главною и действительною их причиной... — Видимо, намек на вмешательство властей, потребовавших устранения Антоновича и Жуковского (см. *ЛН*, т 49—50, стр 450).

Первый из них целых три года, последний в продолжение пяти месяцев .. — Антонович был членом редакции «Современника» с января 1863 по декабрь 1865 г. Жуковский близок редакционным делам с сентября 1865 по март 1866 г.

Боа-констрикторы — удавы, «очаровывающие» взглядом свои жертвы.

Стоило г. Некрасову произнести «страстную речь», сказать <...> несколько искренних слов о литературных и не литературных звонарях...— Антонович в «Материалах» писал, что, соглашаясь на сотрудничество в «Современнике», он потребовал от Некрасова объяснения тех неблагоприятных слухов, которые о нем распространялись «Страстная речь» Некрасова, опровергавшего эти слухи, убедила Антоновича («Материалы», стр. 28). В качестве примера мнимолиберальных фраз, которые должны ввести в заблуждение общественное мнение, Антонович приводил отрывок из «Внутреннего обозрения» Елисеева («Современник», 1861, № 2, стр. 346—347), где говорилось об уважении к добросовестным убеждениям, о ненависти к литературным и не литературным звонарям («Материалы», стр. 48). К таким «звонарям» Антонович «относит» самих Некрасова и Елисеева.

Стр. 325. *...г. Благосветлов имеет обыкновение спать в лакейских на барских шубах.*— В полемике с «Русским словом» Антонович упрекал Благосветлова в том, что тот «некогда в графской передней почивали, вместо лавров, на связке парадных гербовых ливрей» («Глуповцы в «Русском слове»,— *С*, 1865, № 2, стр. 371). Этот же упрек повторяется в статьях «Барские лакеи в «Русском слове» (т а м ж е, № 3, стр. 204) и «К читателям» (т а м ж е, № 5, стр. 106). Об «остроумном выражении» Салтыкова, высмеявшего Антоновича, который сделал центром полемики вопрос о «барских шубах», писал в своих воспоминаниях Елисеев (см. сб. «Шестидесятые годы», стр 284).

Стр. 327. *...представьте себе, читатель, что вы русский литератор..*— Грустные размышления о трудном пути русского литератора имеют автобиографический характер. К ним писатель возвращается неоднократно («Имярек», «Круглый год», «Приключение с Крамольниковым» и др.).

«Платоны» и «славные разумом Невтоны» — из оды Ломоносова «На день восшествия на престол императрицы Елизаветы Петровны». У Ломоносова: «быстрых разумом Невтонов». Последних Салтыков упоминает и в цикле «За рубежом», с грустью говоря о судьбах просвещения в царской России (сцена «Граф и репортер»).

Стр. 328 *...это закон 6 апреля 1865 года* — то есть новый цензурный устав, отменивший для ряда изданий на определенных условиях предварительную цензуру (см. стр 493). Слова Салтыкова о том, что этот закон — «единственное ограничение», можно толковать двояко: 1) редакция «Отечественных записок» будет ориентироваться лишь на закон, а не на желания Краевского, 2) закон, а не Краевский, ограничивает редакцию, мешает ей высказать свою точку зрения. Второе толкование перекликается со статьями Салтыкова «Несколько слов по поводу «Заметки», «Насущные потребности литературы» и др.

Стр. 329. *...как видно из его признаний, имел даже переговоры об участии в нашем журнале...*— См. об этом «Материалы», стр. 126—131. См. также письма Некрасова Жуковскому, Пыпину, Краевскому (Н. А. Н е к р а с о в. Полн. собр. соч. и писем, т. XI, М. 1952, стр. 89, 91, 105, 106).

...будто бы он пробовал средство заставить вас замолчать или не пустить в литературу...— Антонович намекал, что Некрасов, стараясь выгородить себя, обвинял перед лицом властей своих сотрудников в «неблагонадежности», в том, что они ответственны за «крамольное» направление «Современника». По словам Антоновича, слухи об этом дошли до него из «нелитературной среды», но «имеющей влияние на литературу» («Материалы», стр 13). Возможно, власти нарочно распускали подобные слухи, стремясь расколоть демократический лагерь.

Первый из этих «маневров» заключается в том...— Говоря о различных «маневрах», при помощи которых можно обойти цензурные препятствия, Антонович замечал, что следует вести речь не об определенных идеях, а о личностях, их олицетворяющих, например о Каткове и Леонтьеве. Он намекал, что теперь к этой паре реакционных журналистов прибавилась другая пара (Краевский — Некрасов). Салтыков, возражая Антоновичу, сопоставляет с московской парой (Катков — Леонтьев) «петербургскую пару» (Антонович — Жуковский).

Стр. 331. *...г. Жуковский вдруг из упорных маневристов делается поборником «элементарных изложений»...*— Жуковский утверждал в «Материалах», что «одно представление фактических статей <...> одно элементарное представление сведений» полезнее всех либеральных обличений (стр. 153—154). Салтыков готов видеть в этих формулировках лишь «неловкий полемический прием». На самом деле утверждения Жуковского, что «разъяснение всех <...> вопросов <...> вполне доступно для либеральной литературы», что возможна плодотворная деятельность в рамках дозволенных границ, внимание к проблеме «накопления», а не «перераспределения» богатств (см. журнал «Современное обозрение», 1868, т. I, стр 4, объявление об издании), являлись свидетельством отказа Жуковского от прежнего радикализма. Дальнейшая судьба Жуковского, служба управляющим Государственным банком — закономерное завершение эволюции его взглядов.

Стр 332. *...причина этого... в чем-то другом...*— намек на цензурные препятствия.

...«Отечественные записки» не препираются с г. Краевским.— Под давлением Краевского в договор о передаче журнала Некрасову был внесен пункт, исключающий полемику с «Голосом» (*ЛН,* т. 53—54, М. 1949, стр. 341). Такое соглашение отчасти оправдывалось и цензурными соображениями, иначе было бы сразу ясно, что Краевский остался лишь номинальным редактором «Отечественных записок». Антонович, задевая лично Салтыкова, вспоминая о «Курином эхе», намекал, что прекращение полемики с «Голосом» — свидетельство потери прежними сотрудниками «Современника» их самостоятельности, полного подчинения Краевскому.

...это маневр не всегда полезный... чему блестящим примером может послужить полемика г. Антоновича с гг. Благосветловым и Писаревым.— Разбирая «Материалы», Салтыков несколько раз отрицательно высказывается о полемике Антоновича с «Русским словом», критикует методы

спора, в котором приходилось «есть друг друга и самих себя» (стр. 330 наст. изд.). Такое отношение к полемике вызвано, в частности, сближением Писарева с «Отечественными записками», пересмотром вопроса о значении его наследия (см. статью А. М. Скабичевского «Дмитрий Иванович Писарев» — *ОЗ*, 1869, № 3).

Стр. 334. *...какие-то визитные карточки...*— Антонович говорил о дружбе Некрасова с «так называемой высшей» сферой, о визитных карточках на его столе от особ, известных своей враждой к прогрессивной литературе («Материалы», стр. 31).

...какой разговор имели с ним когда-то гг. Елисеев и Слепцов.— Чтобы поссорить сотрудников «Отечественных записок», Антонович сообщал, что Слепцов некогда подбивал сотрудников «Современника» на бунт против Некрасова, а Елисеев зло высмеивал жалобы Некрасова на финансовые трудности («Материалы», стр. 32—34).

Торквемадство — оправдание всякой подлости, ренегатства, от имени Томаса Торквемады, «великого инквизитора» Испании, считавшего дозволенными любые средства для искоренения «ереси».

...таким образом формулировал допросные пункты. .— Салтыков с некоторыми сокращениями цитирует вопросы, заданные во время так называемого «Иверского следствия» Феофаном Прокоповичем Михаилу Аврамову (см. И. Чистович, Феофан Прокопович и его время, СПб. 1868, стр. 452—453).

Повести, очерки и рассказы М. Стебницкого (автора романов «Некуда» и «Обойденные»). 2 тома. С портретом автора. 1868 и 1869.

(Стр. 335)

ОЗ, 1869, № 7, отд. «Новые книги», стр. 53—61 (вып. в свет — 10 июля). Без подписи. Авторство указано Н. В. Яковлевым — *Письма, 1924,* стр. 51, подтверждено на основании анализа текста С. С. Борщевским — *изд. 1933—1941,* т. 8, стр. 510—511.

Еще в апреле 1865 г. Салтыков, служивший тогда в Пензе, намеревался написать для «Современника» разбор романа Лескова «Некуда», незадолго перед тем законченного печатанием («Библиотека для чтения», 1864, № 12) [1]. (См. письмо к Некрасову от 8 апреля 1865 г.) Неоднократные упоминания Лескова (Стебницкого) в статьях и рецензиях Салтыкова, печатавшихся уже в «Отеч. записках» (до наст. рецензии), характеризуют его как представителя «школы клубницизма» (см., например, рец. на «Бродящие силы» Авенариуса) и разумеют, по-видимому, не столько «Некуда», сколько рассказ «Воительница» (см. наст. том, стр. 237 и 284).

Однако именно роман «Некуда», сразу и навсегда, определил для Салтыкова, как и для всей демократической критики 60-х годов, «лицо»,

[1] В первых строках рецензии Салтыков ошибочно называет годом появления в печати «Некуда» — 1863.

репутацию Лескова, и в этом смысле действительно имел для писателя «роковое и почти трагическое значение».

Поэтому Салтыков и воспользовался появлением двухтомника произведений Лескова, чтобы высказаться о политическом смысле первого антинигилистического романа Лескова, не входившего в это издание, а также «писем» «Русское общество в Париже», публиковавшихся на страницах «Библиотеки для чтения» в 1863 г. (№№ 5, 6, 9) и перепечатанных, с резким заострением антинигилистической тенденции, в первом томе рецензируемого Салтыковым сборника.

Отрицая всякую возможность относиться к «повестям, очеркам и рассказам» М. Стебницкого как к литературным произведениям, Салтыков и аргументирует свою позицию характеристикой этих двух сочинений Лескова Между тем в рецензируемый им двухтомник входили и такие художественно значительные повести и рассказы Лескова, как «Овцебык», «Леди Макбет Мценского уезда», «Старые годы в селе Плодомасове» и др. [1].

Салтыков отмечает характерную особенность всех «отзывов» русской печати на роман Лескова: «Отзывы эти были не более как частные взрывы личного негодования, это была просто-напросто брань». В самом деле, современники увидели в «Некуда» прежде всего п а с к в и л ь на вполне определенные и легко узнававшиеся лица, так или иначе прикосновенные к освободительному движению. Такое прозрачное указание на лица и квалифицировалось как доносительство или, по выражению Салтыкова, «личный подвиг», подлежащий суду не литературной критики, а общественного мнения Ближайшим образом Салтыков имеет в виду следующие высказывания печати.

Одним из первых, именно в таком духе, откликнулся на роман, еще до завершения его публикации, Варф. Зайцев в статье «Перлы и адаманты русской журналистики», уподобив «Некуда» материалам полицейских изданий. «В сущности, это плохо подслушанные сплетни, перенесенные в литературу» [2],— писал Зайцев.

Особый поворот «брани» и «поголовным ругательствам» дал А. С. Суворин, так же как и Лесков, сотрудничавший одно время в «Русской речи» Евг. Тур В фельетоне под названием «Пропущенные главы из романа «Некуда». 1. Вместо вступления: Письмо к редактору «С.-Петербургских

[1] Первый том — «Повести, очерки, и рассказы М. Стебницкого» — вышел в свет в феврале 1868 г. (хотя на титульном листе значится 1867), второй том, под названием «Рассказы Стебницкого (Н. С. Лескова)»,— в апреле 1869 г. (К. П. Б о г а е в с к а я. Хронологическая канва жизни и деятельности Н. С Лескова — Н. С. Л е с к о в. Собр. соч. в 11-ти томах, т. 11, М. 1958, стр. 809, 810).

[2] «Русское слово», 1864, № 6, отд. II, стр. 47, 48. «Сплетнический» характер романа был отмечен П. Н. Полевым в «С -Петербургских ведомостях». «Стебницкий основал свое произведение на сплетнях и злоречьях»,— писал позднее и Скабичевский («Русское недомыслие».— *ОЗ*, 1868, № 9).

ведомостей», он характеризует сочинение Лескова как «произведение совершенно субъективное», как откровение «*темной* стороны темной личности». Суворин, по-видимому, намеревался дать памфлетное изображение участия самого Лескова (доктора Розанова) в радикальных кружках. «В последующих главах,— заключал он свой фельетон,— которые будут появляться параллельно с появлением в «Библиотеке для чтения» глав романа «Некуда», я постараюсь восстановить события, частию уже рассказанные г. Стебницким, частию им предположенные, в их настоящем свете» [1]. «Такая угроза должна была цепенить душу» [2]. Впрочем, продолжения фельетона Суворина не последовало.

На эти первые отзывы Лесков тоже отвечал «бранью». Салтыков имеет в виду, конечно, «Объяснение г. Стебницкого», напечатанное в двенадцатой книжке «Библиотеки для чтения» за 1864 г.— той же книжке, что и заключение «Некуда». В этом «объяснении», наряду с многими новыми выпадами памфлетного характера, Лесков пытался и оправдаться, в частности, следующим образом: «Нападать на меня прямо за направление романа было неудобно по многим существующим положениям, а простить этого направления мне не могли и придрались к подысканному кем-то *внешнему* сходству некоторых лиц романа с лицами живыми из литературного мира». Это, по меньшей мере весьма неловкое, «оправдание» вызвало отповедь Писарева, со всей резкостью заявившего о неприглядности «искусственной неприкосновенности». «Внешнее» же, но не случайное, сходство персонажей романа с известными лицами, в сущности признанное Лесковым в его «объяснении», Писарев квалифицирует как «наглую мистификацию» («Прогулка по садам российской словесности».— «Русское слово», 1865, № 3).

Полемика вокруг романа «Некуда» наложила печать на второе издание «писем» «Русское общество в Париже», занявших больше половины первого тома «Повестей, очерков и рассказов» Стебницкого. (Именно поэтому Салтыков и назвал книгу Лескова «апелляционной жалобой».) Все, за исключением одного, приводимые Салтыковым выпады против нигилистов (а также и многие другие) появились только в издании 1868 г., «дополненном» вставками, часто совершенно неорганичными, именно такого содержания (на подобный характер «дополнений» и обратил внимание Салтыков — см. постран. прим). Так, например, критики «Некуда» названы в новом издании «писем» «поборниками насильственных переворотов», «партией беспорядка» и т п (стр. 389, 390).

Выступления революционно-демократической критики против Лескова были, по-видимому, тем резче, что она видела в нем ренегата, изменившего идеалам и друзьям молодости. Именно на это обстоятельство намекают слова Салтыкова: «Нигилизм для него — это поэма всей его жизни, это нечто вроде «потерянного рая».

[1] «С.-Петербургские ведомости», 1864, № 200 от 11 сентября; подпись: «Знакомый г. Стебницкого».

[2] Андрей Лесков. Жизнь Николая Лескова, М. 1954, стр. 176.

Стр 336. *.. из людей, сочувствующих г-ну Стебницкому... ни один не решился вступиться за него печатно...*— За Лескова, еще до окончания печатания романа, «вступилась» редакция «Библиотеки для чтения» в заметке «Необходимое объяснение» (1864, № 6). Однако через полгода публикация «Объяснения г. Стебницкого» (см. выше) сопровождалась уже следующим дезавуирующим примечанием редакции: «Не имея права отказать автору, мы сообщаем его объяснение, хотя далеко не разделяем высказанных в нем мнений».

Стр. 338. *...какое участие г. Стебницкий принимал в журналистике, какую роль он играл в истории петербургских пожаров и почему уехал за границу, что он там делал и как разочаровался в «новых людях».*— Этим темам посвящена главка «Искандер и ходящие о нем толки», включенная в состав «писем» только в изд. 1868 г.

Стр 339. *...он <русский слуга>... ни «Современника», ни «Русского слова» не читал...*— Цитата из главы «Русская прислуга в Париже», стр. 327 первого тома «Повестей, очерков и рассказов» Стебницкого. Текст этот имелся в «Библиотеке для чтения».

«А свои родные нигилисты еще лучше обработывают» — из главки «Какие отношения существуют между обществом русским к польскому обществу в Париже?» (вставка в изд. 1868 г., стр. 437).

...скомпрометировать г-на Стебницкого перед правительством...— из главы «Скандалы, устроенные русскими в Париже», стр. 388, изд. 1868 г. Эпизод с компрометирующим письмом и выпад против Писарева отсутствовали в тексте «Библиотеки для чтения». В главе «Скандалы...» Лесков, в частности, рассказывает и об инциденте с русским эмигрантом, изгнанным из Прадо. Этот инцидент комментирован Салтыковым в «Русских гулящих людях».

Стр. 340. *.. о возвращении г-на Кельсиева...*— О возвращении В. Кельсиева Лесков упомянул в главе «Образ жизни русских Латинского квартала», вновь при этом не удержавшись от выпада против «мелких, безнатурных людей резонирующего нигилизма» (стр. 345).

Рассуждая... о деликатности чехов...— глава «Парижские чехи», стр. 464—465, изд. 1868 г, где и появился весь этот цитируемый Салтыковым фрагмент о «наших наглых и невежественных революционерах».

Стр. 341. *...о нигилистах-чиновниках...*— О чиновниках, «способных в одно и то же время и нигилистничать и присягать на верность службы, носить и форменный мундир и в нем социалистические прокламации», Лесков пишет в главе «Скандалы...» (стр. 386).

...он отлично знает русский народ, совсем не то, что... Успенский и Якушкин, а гораздо лучше.— В главе «Русская прислуга в Париже» в изд. 1868 г. говорилось: «Я ни разу не увлекался во время погасшего разгара народничанья в русской литературе, когда Успенский с своим «чифирем», а Якушкин с своими мужиками, едущими «сечься», ставились выше Шекспира, и не увлекаюсь теперь, в эпоху безобразной литературной реакции против народа. Я смело,

даже, может быть, дерзко, думаю, что я знаю русского человека в самую его глубь, а не ставлю себе этого ни в какую заслугу. Я не изучал народ по разговорам с петербургскими извощиками, а я вырос в народе на гостомельском выгоне» и т. д. (стр. 319—320). Выделенное разрядкой отсутствовало в тексте «Библиотеки для чтения» (ср. «Библиотека для чтения», 1863, № 5, отд. IV, стр. 18).

Стр. 341. .. *к лаю...*— Здесь и дальше в цитате курсив Салтыкова.

Стр. 342. *«Посмотрите.. на этих дочерей...»* — Весь цитируемый Салтыковым фрагмент был вставлен в изд. 1868 г. после следующих слов: «Мы хвалились перед Западною Европою непоколебимою крепостью семейного начала, а посмотрите-ка, что делается нынче с этим крепким семейным началом в нашем так называемом просвещенном, да даже и не в просвещенном городском кружке! Где там эта крепость этого начала?» (стр. 495, гл. «Русские барыни»).

Даже г. Гончаров...— См. статью «Уличная философия».

Сочинения Я. П. Полонского. Два тома. СПб. 1869.

(Стр. 243)

ОЗ, 1869, № 9, отд. «Новые книги», стр. 46—50 (вып. в свет — 12 сентября). Без подписи. Авторство указано В. В. Гиппиусом — *Z. f sl. Ph.*, S. 184; подтверждено С. С. Борщевским на основании свидетельства автора рецензии на «Снопы» Полонского (а им был Салтыков) о принадлежности ему также и настоящей рецензии — *изд. 1933—1941*, т 8, стр. 519.

Разбирая стихотворения Я. П. Полонского, представленные в двух вышедших в 1869 г. томах его четырехтомного собрания сочинений, Салтыков, в сущности, лишь резко сформулировал то, что к концу 60-х годов стало фактом (и что было с понятной горечью констатировано самим поэтом в его письмах к Тургеневу) [1],— охлаждение, невнимание публики и критики к поэзии Полонского. Салтыков определил и причины этого охлаждения: неопределенность творческой личности, «физиономии» поэта, эклектизм, отсутствие тенденции (см. далее рецензию на «Снопы» Полонского).

Руководствуясь этим критическим мерилом, Салтыков использует свой излюбленный прием: подвергает своеобразному ироническому анализу наиболее характерное, с его точки зрения, стихотворение Полонского — «Царство науки не знает предела.. » (1856), где «пугливость», неясность мысли, больше чем в каком-либо другом из его стихотворений, выражается в неточности образов.

Иначе воспринимал поэзию Полонского Тургенев, что и было причиной

[1] См. публикацию писем Полонского к Тургеневу.— *ЛН*, т. 73, кн. 2.

его резкого письма-протеста в редакцию «С.-Петербургских ведомостей», вызванного рецензией «Отечественных записок»[1]. Тургенев согласен, что стихотворение «Царство науки...» — слабое, но не в этом стихотворении сказалась истинная и сильная сторона таланта Полонского. Поэтому Тургенев и пишет о «неискусной» и «недобросовестной» критике, идущей «не по следу»: произведения Полонского «встречаются одним лишь глухим молчанием или гаерскими завываниями, свистом и кривляньями наших псевдосатириков». Заканчивается письмо недоброжелательной характеристикой поэзии Некрасова и намеком на пристрастное отношение критики «Отечественных записок» к Полонскому в угоду «патрону» — Некрасову (см. рецензию Салтыкова на «Снопы» Полонского, где, в частности, дан ответ и на это обвинение в «клиентизме»).

Другим наиболее значительным откликом на рецензию Салтыкова была статья Страхова о «Сочинениях» Полонского, напечатанная ровно через год («Заря», 1870, № 9). Страхов обильно цитировал рецензию Салтыкова и включил в свою статью «письмо» Тургенева в «С.-Петербургские ведомости». Замечание Тургенева о «клиентизме» критики «Отечественных записок» Страхов сделал центральным тезисом своей статьи — о вражде «журналов, руководимых г. Некрасовым», «ко всякой поэзии, кроме той, которою занимается г. Некрасов» (стр. 129 второй пагинации). У Полонского, писал Страхов, действительно нет «резкого и узкого направления, как у г. Некрасова». Он — «человек сороковых годов». «Это отсутствие односторонних, кидающихся в глаза тенденций «Отечественные записки» считают главным недостатком г. Полонского; в направлении для них главное дело, и потому писатель без направления должен быть объявлен не только плохим, но, если можно, даже вовсе несуществующим и никому не известным» (стр. 134). Между тем Полонский — «настоящий, прирожденный поэт» (стр. 147)[2]. (См. далее рецензию Салтыкова на «Снопы» Полонского.)

Стр. 343. *...в качестве вульгаризаторов чужих идей...* — Здесь в значении популяризаторов.

Стр. 345. *.. г. Авдеев совсем не г. Авдеев, а просто псевдоним Тургенева* .— См. рецензию на роман Авдеева «Меж двух огней» и прим. к ней.

Стр. 346. *...нам известны целые учреждения, которые заведены именно с целью противодействовать победам науки...* — Намек на цензурное ведомство, в котором служил в это время Полонский, неоднократно, впрочем, писавший о «ненавистном» для него «звании цензора» (см., например: И. С. Тургенев. Полн. собр. соч. и писем. Письма, т. VIII, стр. 468) и вскоре оставивший службу в цензуре.

[1] «С.-Петербургские ведомости», 1870, № 8 от 8 января; ср И. С. Тургенев. Полн. собр соч. и писем, т. XV, стр. 154—160.

[2] О статье Страхова с одобрением отозвался Достоевский (см. его письмо к Страхову от 9 октября 1870 г.— Письма, т. 2, стр. 295); ее отметил также Тургенев (Письма, т. VIII, стр. 302).

Записки о современных вопросах России, составленные Георгием Палеологом.
СПб. 1869 г.

(Стр 347)

ОЗ, 1869, № 9, отд «Новые книги», стр. 50—55 (вып. в свет — 12 сентября). Без подписи Авторство указано В. В. Гиппиусом — *Z. f. sl. Ph.*, S. 184; подтверждено на основании анализа текста С. С. Борщевским — *изд. 1933—1941*, т. 8, стр. 511—513.

Гусарский полковник Г. Н. Палеолог в пореформенные годы выступал как заурядный военный историк и довольно плодовитый публицист. Примыкая в крайнем шовинизме к «Московским ведомостям», по своей откровенно крепостнической направленности он был ближе к «Вести». Рецензируемая Салтыковым книга представляет собой сборник связанных только общим реакционным духом тринадцати статей, посвященных самым различным вопросам — от положения народного хозяйства при вольнонаемном труде до устройства полковых комитетов для контроля за расходованием хозяйственных денег. Как указывается в рецензии, не обошлось в книге и без обычного для подобной литературы доносительства на «увлечения журналистики». Салтыков не только разоблачает крепостническую направленность сборника — он использует его содержание, чтобы тонко провести мысль, что самодержавная власть по своей природе противится реформам и вынуждена идти на них лишь под давлением обстоятельств

Стр. 348. *...явились Н. А. Безобразов и Гр. Бланк... «Московские ведомости», имея во главе публициста В. Ржевского.*— О Н. А. Безобразове см. т. 5 наст. изд., стр. 638—639; о Гр. Бланке — наст. том, стр. 577—578, о В. Ржевском — т. 5, стр. 551—552.

...отделив его от нигилизма и сепаратизма...— Если «Московские ведомости» заявляли о своей поддержке реформы 1861 г. и обвиняли во всех общественных неурядицах «нигилистов» и «польскую интригу», стремящуюся к отторжению Польши от Российской империи, то «Весть» прямо заявляла, что упразднение крепостного права «положило начало повальной ломке, ниспровержению наиболее крупных результатов всей нашей истории...» («Весть», 1869, № 1 от 1 января).

Стр. 349. *...отмена телесных наказаний... есть факт уже совершившийся.*— Закон от 17 апреля 1863 г., отменив в принципе телесные наказания, сохранил их по отношению к крестьянам (по приговору земского суда с утверждения земского начальника — до 20 ударов розгами), нижним чинам, арестантам и малолетним ремесленникам.

Стр. 350. *...свидетельством Свода законов Российской империи* — Ст. I «Свода законов» гласила: «Император Всероссийский есть монарх самодержавный и неограниченный»; ст. 47: «Империя Российская управляется на твердых основаниях положительных законов, учреждений и уста-

вов, от самодержавной власти исходящих» («Свод законов Российской империи», изд. 1857 г., т. I, ч. 1, СПб. 1857, стр. 1, 11).

Стр. 356 ...*смягчение дисциплинарных наказаний... введение системы военно-окружных управлений... отмена откупов...*— Высочайшим повелением от 17 апреля 1863 г. были отменены шпицрутены, а дисциплинарные взыскания ограничены 50 ударами розг, причем этому наказанию могли быть подвергнуты лишь те нижние чины, которые за прежние проступки занесены в штрафной журнал. В целях устранения крайней централизации военного руководства с 1862 г. началось создание военных округов, законодательно оформленное в 1864 г. Откупа в 1861 г. были заменены акцизным обложением алкогольных напитков (см. т. 7, прим. к стр. 190).

Стр. 351. ...*о чем и «не снилось нашим мудрецам»...*— Из трагедии Шекспира «Гамлет» в переводе М. Вронченко: «Есть многое в природе, друг Горацио, что и не снилось нашим мудрецам» (действ. I, сц. 5).

Недоразумение. Повесть в трех частях Данкевича. С.-Петербург. 1869.

(Стр. 353)

ОЗ, 1869, № 10, отд. «Новые книги», стр. 241—244 (вып. в свет — 15 октября). Без подписи. Авторство установлено на основании анализа текста С. С. Борщевским — *изд. 1933—1941*, т. 8, стр. 513—515.

По традиции, идущей от П. В. Быкова [1], автором повести «Недоразумение», скрывшимся за псевдонимом Данкевич, считается некий Е. Толстой, о котором, однако, не имеется никаких сведений. По весьма вероятному предположению С. А. Макашина, повесть написана известным в свое время литератором Ф. М. Толстым. В качестве члена Главного управления по делам печати Ф. М. Толстой «наблюдал» за «Отечественными записками» и одновременно печатал там свои статьи на музыкальные темы. Повесть была предложена для публикации в обновленных «Отечественных записках» именно Ф. Толстым. Рекомендуя повесть Некрасову, Ф. Толстой назвал ее «поэтически-описательной болтовней» «с примесью психического анализа» и видел в ней некий необходимый противовес произведениям Решетникова и Гл. Успенского, которые превращают «Отечественные записки» в «вместилище подземных, грязных вод» [2].

Рецензируемая Салтыковым повесть Данкевича действительно была подчеркнуто «очищена» от какой бы то ни было общественной проблематики, все содержание ее ограничено детальной разработкой различных проявлений и оттенков психологии любовного чувства. Действие повести развертывается в Италии, сюжет ее — сложные отношения двух приятелей — русских, по-видимому, из светской молодежи, и сестер-итальянок. В конце концов выясняется, что герой повести любит не ту из сестер, на

[1] «Российская библиография», 1881, № 93 (17), стр. 364.

[2] К. Чуковский. Ф. М. Толстой и его письма к Некрасову.— *ЛН*, т 51—52, стр. 584, 586.

которой женится, а приятель любит его жену — в этом и заключается «недоразумение», разрешающееся драматической развязкой.

В переписке Некрасова с Ф. Толстым по поводу «Недоразумения» было названо и имя Салтыкова, которому Некрасов, по-видимому, собирался поручить редактирование «Недоразумения». Салтыков, писал Ф. Толстой Некрасову 7 августа 1868 г., «несмотря на проницательный его ум и громадный талант публициста, не может безапелляционно резать, кромсать и кольми паче изменять произведение, написанное в чисто художественном духе, без малейшей примеси какой-либо политической или социальной тенденциозности»[1]. Письмо Ф. Толстого стало, вероятно, известно Салтыкову, так как заключительная часть его рецензии является, в сущности, ответом на эту хвалу «чистой художественности». «Недоразумение» было, естественно, отклонено редакцией «Отечественных записок».

Когда в 1869 г. «Недоразумение» вышло отдельным изданием, Ф. Толстой послал Салтыкову экземпляр с (несохранившимся) сопроводительным письмом В письме же к А. А. Краевскому от 31 июля 1869 г., отправленном одновременно с письмом к Салтыкову и, по-видимому, сходном по содержанию, он выражал надежду на снисходительное отношение «Отечественных записок» к протежируемому автору[2]. Отзыв журнала оказался, однако, по существу безусловно отрицательным, хотя по форме довольно мягким. (Возможно, по настоянию Ф. Толстого анализирующая, критическая часть рецензии была сокращена)

Салтыков, руководствуясь просветительски-социалистическими идеями, дает замечательное толкование «недоразумения», послужившего темой повести Данкевича. Вновь, как ранее в «Современных призраках», пишет он о неразумности, «призрачности» «известных форм жизни», об «искусственности общественных отношений», которая и является в конечном счете источником многоразличных «недоразумений», в том числе и того, которое изображено в повести Данкевича. Причина этого последнего — с одной стороны, общественная регламентация, ограничение и искажение отношений мужчины и женщины и, с другой, необходимо вытекающее из этого ограничения и вместе с тем «противное человеческой совести» уклонение от установленных «регламентов». Регламенты же эти, регулирующие отношения мужчины и женщины, оказываются необходимыми в силу исключительного, гипертрофированного, за счет всех остальных, развития любовной страсти, которая, в глазах общества (и в глазах автора рецензируемой Салтыковым повести), является «страстью по преимуществу». Салтыков, вслед за Фурье, полагает, что «недоразумения» этого рода исчезнут, когда место исключительности займет гармония страстей, «гармоническое развитие всех сил и способностей человека». Поэтому так называемый «женский вопрос», освобождение женщины, не существует для Салтыкова

[1] *ЛН*, т. 51—52, стр. 588.

[2] М. В. Теплинский. «Отечественные записки», Южно-Сахалинск, 1966, стр. 78.

сам по себе, он неотделим от «стеснений обоюдных», то есть вопроса об общественном освобождении.

В заключение Салтыков с исключительной ясностью формулирует один из центральных тезисов своей эстетики — о глубоком единстве «тенденции», «задачи», мысли и истинно-художественного творчества.

Движение законодательства в России. Отделы I, II, III и IV. Д. с. с. Григория Бланка, СПб. 1869.

(Стр. 356)

ОЗ, 1869, № 10, отд. «Новые книги», стр. 238—241 (вып. в свет — 15 октября). Без подписи. Авторство установлено С. С. Борщевским на основании анализа текста — *Неизвестные страницы,* стр. 540—541.

Тамбовский помещик, отставной чиновник Г. Б. Бланк, еще до реформы приобретший известность своими печатными выступлениями в защиту крепостного права, в 60-е годы был ведущим публицистом «Вести». В рецензируемой Салтыковым книге Г. Бланк стремится доказать, что все «движение законодательства» под влиянием пагубных идей ведет помещиков к гибели, а страну — к революции. Он требует ликвидации земства и сельского самоуправления, законодательного повышения роли поместного дворянства и «устройства сильного рабочего класса» путем возврата крестьянских наделов помещикам.

Салтыков отказывается от полемики с Бланком по существу его взглядов — он только издевается над мнимым глубокомыслием и литературным косноязычием пропагандиста «упраздненных мыслей». Однако он специально останавливается на прозрачных намеках Бланка на существующую будто бы прямую связь революционно-демократических идей (под влиянием которых якобы и осуществлены все реформы) с покушением Д. Каракозова 4 апреля 1866 г. на Александра II. «Верховный суд разобрал виновность преступных *лиц,*— пишет Г. Бланк,— ...но что делать с преступными *идеями?* <...> Как уловить всех затаенных деятелей нигилизма и тонкой, глухой пропаганды, часто скрывающихся даже под влиятельностью общественных, мировых, земских и других служебных учреждений?» (стр. 14). В свете изложенной «концепции» Бланка об идейном источнике крестьянской реформы ясно, что, выступая против утверждений о связи реформы с покушением на цареубийство, Салтыков по существу отрицает отождествление революционно-демократических идей с тактикой терроризма. Такое отрицание не только служило защите органа революционной демократии от полицейских нападок — оно отражало подлинные взгляды Салтыкова, никогда не поддерживавшего «этих бессмысленных убийств и покушений» (см. его письмо к Н. А. Энгельгардту от 6 февраля 1879 г.).

Стр. 357. *Заветная мысль... Григория Бланка известна давно...*— Еще в 1856 г. в статье «Русский помещичий крестьянин» («Труды Вольного экономического общества», № 6, т. II, 1856) Г. Бланк заявил, что крепостное

состояние не имеет ничего общего ни с рабством, ни с «невольничеством» времен феодализма в Западной Европе, ибо единственная забота русского помещика — «о благосостоянии, здоровье и счастье своих крестьян». В развернувшейся вокруг этой статьи полемике В. Безобразова с Г. Бланком принял участие Чернышевский (см. «Заметки о журналах».— *С*, № 9, 1856; ср. Н. Г. Чернышевский. Полн. собр. соч., т. III, М. 1947, стр. 705—708).

...он уплачивал за крестьян подати, он ставил рекрут, наряжал подводы...— «Устав о податях» возлагал на помещика раскладку между крестьянскими хозяйствами обязательных платежей в казну и сбор этих податей. Перед каждым рекрутским набором для пополнения армии власти определяли только общее число рекрутов, порядок же отбывания этой повинности также устанавливал помещик.

Стр. 358. *Он смешивает «исполнительность» с «исполнимостью», он придумывает смешное слово «актальность».*— В книге Г. Бланка на стр. 5 «Каждый закон должен соединять в себе <...> силу мысли и силу исполнительности <...> Одна сила составляет *дух законов,* другая *исполнимость,* которая выражается повсеместным единообразием актальности.»

Стр. 359. *...заводит речь о «пролетариате неразвитых масс» и о «пролетариате развитого меньшинства»...*— Главным носителем революционных идей Бланк считает разночинскую интеллигенцию. «Где вообще гнездится элемент революций? Бесспорно, в *пролетариате,* который определяется *недостатком средств к удовлетворению потребностей.* Он бывает двух родов. *пролетариат неразвитых масс и пролетариат развитого меньшинства.* Последний опаснее первого... Эта болячка тем сильнее чувствуется в государстве, чем оно неосновательнее надрывается над образованием своего умственно развитого пролетариата, который — например, в России — составил бы полезный ремесленный класс...» (стр. 24—25).

В разброд. Роман в двух частях А. Михайлова, СПб. 1870 г.

(Стр 359)

ОЗ, 1870, № 2, отд. «Новые книги», стр 265—270 (вып. в свет — 18 февраля). Без подписи Авторство установлено С. С. Борщевским на основании анализа текста — *Неизвестные страницы,* стр. 541—543.

Вторая рецензия Салтыкова на произведения Михайлова явилась продолжением полемики «Отечественных записок» с журналом «Дело» по важнейшим проблемам эстетики.

Настаивая на верности своего прошлогоднего отзыва о Михайлове и связанных с ним общих теоретических выводах, Салтыков показывает, что новый роман «В разброд» служит ярким тому доказательством. Основной эстетический тезис Салтыкова приобретает здесь наиболее полное и точное выражение «Истины самые полезные нередко получают репутацию мертво-

рожденных, благодаря недостаточности или спутанности приемов, которые допускаются при их пропаганде». Когда в «Уличной философии» Салтыков писал: «Литература и пропаганда — одно и то же», это была лишь одна часть его мысли, другая состояла в том, что отнюдь не всякая пропаганда — литература, что пропаганда может стать искусством лишь при глубоком исследовании законов жизни и при несомненном оригинальном таланте автора. Салтыков утверждает, что отсутствие художественности не возместят никакие актуальные вопросы, вплоть до «либерализма со ссылкою, куда Макар телят не гонял».

Другая тема, развитая в полемике с «Делом» и имеющая столь же широкий смысл,— о реальных возможностях в современных условиях, или, как выражается Салтыков, в «особой обстановке», правдиво и ясно представить нового человека. Осознавая исключительные трудности этой задачи, Салтыков все же считает ее разрешимой. Он ссылается на опыт 40-х годов, на то, что «Белинского и Добролюбова понимали все», понимали также Круповых, Бельтовых, Рудиных. Упоминание о героях Герцена и Тургенева свидетельствовало, что возможности передовой литературы гораздо шире того, как они представляются поверхностным беллетристам.

Спустя три года в защиту Михайлова от критики Салтыкова с пространной статьей, напечатанной в трех книжках «Дела» (1873, №№ 2, 6, 7) под названием «Тенденциозный роман», выступил П. Н. Ткачев (псевд — Постный). Непосредственным поводом для статьи послужил выход в свет пяти томов Собрания сочинений Михайлова (СПб. 1873). Ткачев упрекает «Отечественные записки» («либералов») в том, что они недооценивают Михайлова как выразителя передовых идеалов и превозносят Гл. Успенского: «Михайлов,— говорит теперь либеральная пресса,— не имеет ни крошечки художественного таланта, изображаемые им лица — не живые люди, а ходячие марионетки, говорящие фигурки без крови и плоти» («Дело», 1873, № 2, стр. 2).

Именно в рецензии Салтыкова на роман «В разброд» герои Михайлова названы «деревянными куклами», «марионетками, сохраняющими лишь наружные признаки людей».

В № 13 «Искры» за 1873 г. появилась статья, полемизирующая с Ткачевым: «Щедрин и его критики». Анонимный автор упрекает Ткачева в примитивном понимании тенденциозности. Во второй статье («Дело», № 6) Ткачев так формулировал свою точку зрения, прямо противоположную позиции Салтыкова: «Тенденциозность, само собою понятно, не исключает художественности, хотя, с другой стороны, она и не предполагает ее» (стр. 5).

Ответом Ткачеву явилась в «Отечественных записках» статья Скабичевского «Сентиментальное прекраснодушие в мундире реализма» (1873, № 9). Скабичевский дает обзор беллетристики «Дела» (романов Н Ф. Бажина, И. В Омулевского, и прежде всего — Михайлова) как одного направления. Критик полагает, что беллетристы «Дела» забывают элементар-

ную истину: «тенденция ценна лишь тогда, когда опирается на глубокое знание жизни». «Да, гг. Михайлов, Бажин, Омулевский и проч., конечно, вы ставите выше всего поэзию реальную, вы стоите за нее горой и уж, разумеется, воображаете, что с вас-то только и началась на Руси истинная реальная поэзия. Так знайте же, что ваши произведения отстоят от почвы реализма, как небо от земли; вы создатели не реальной школы в нашей литературе, а воскресители сентиментального прекраснодушия тридцатых годов, эпохи Н. Полевого, кн. Одоевского и Марлинского» (стр. 25). В целом статья Скабичевского была написана в развитие идей Салтыкова, который, однако, в отличие от Скабичевского, выделял роман Омулевского «Шаг за шагом» из общей массы беллетристики «Дела» (см. его рецензию на стр. 411—419).

К оценке творчества Михайлова Салтыков вернулся в отзыве на роман «Беспечальное житье» (1878) — см. стр. 443—447.

Стр. 363. *...марионетки, сохраняющие лишь наружные признаки людей...*— Тема эта легла впоследствии в основу замысла сказки Салтыкова «Игрушечного дела людишки» (1880).

Стр. 364. *...напоминает сцену возвращения жены Лаврецкого в «Дворянском гнезде».*— О подражании Тургеневу говорится и в рецензии на «Засоренные дороги» (стр. 266).

Нерон. Трагедия в пяти действиях Н. П. Жандра. С.-Петербург. 1870.

(Стр. 365)

ОЗ, 1870, № 7, отд «Новые книги», стр. 46—49 (вып. в свет — 6 июля). Без подписи. Авторство установлено С. С. Борщевским на основании анализа текста — *Неизвестные страницы,* стр. 543—545.

Автор трагедии «Нерон» Н. П. Жандр — «генерал, занимавший должность директора в какой-то канцелярии»[1]. Выступал он и как литератор, в частиости, переводил из Байрона.

Трагедия Жандра была поставлена на Александринской (а не Мариинской, как пишет Салтыков) сцене в сезон 1869/70 г. за счет казны «по протекции одной знатной барыни, покровительствовавшей автору»[2]. Бельэтаж был закуплен Жандром для его светских знакомых Спектакль шел в бенефис А. А. Нильского, который «получил незначительную роль благородного раба, угнетаемого своим господином» (Плавта). Роль Нерона исполнял Самойлов. «Пьеса не имела никакого успеха и после пятого представления была снята с репертуара на вечные времена»[3].

Спектакль был встречен отрицательными отзывами театральных обозревателей. Так, например, А. С Суворин писал в фельетоне «Недельные очер-

[1] А А. Нильский. Закулисная хроника, изд. 2-е, СПб. 1900, стр. 155.
[2] А И. Вольф. Хроника петербургских театров с конца 1855 до начала 1881 года, СПб. 1884, стр. 42.
[3] А. А. Нильский. Закулисная хроника, стр. 158.

ки и картинки. Послание к Нерону»· «На днях один писатель, гражданин высокого чина, именем Жандр, изобразил тебя в трагедии, которая дана была на одном из самых больших наших театров <...> Хорошо, что ни на минуту нельзя было забыть, чго передо мною актеры,— иначе я составил бы о тебе еще более жалкое понятие, чем то, которое имею теперь. Принадлежа к высшему кругу, гражданин Жандр наполнил театр благоуханием своих знакомых и друзей <...>всюду благодатный сон носился, навевая грезы аристократам и демократам от созерцания твоих деяний, представленных упомянутым гражданином в такой грубой нелитературной форме, что ты, Цезарь, мог бы счесть себя в сравнении с ним великим поэтом» и т. д [1].

Все эти обстоятельства и имеет в виду Салтыков в своей иронической рецензии.

Новые русские люди. Роман Д. Мордовцева.

(Стр 368)

ОЗ, 1870, № 7, отд. «Новые книги», стр. 46—49 (вып. в свет — 6 июля). Без подписи. Авторство установлено С. С. Борщевским — *Неизвестные страницы*, стр 545.

Д. Л. Мордовцев — беллетрист и историк, начиная с 50-х годов печатался в журналах «Отечественные записки», «Русское слово», «Дело». Его перу принадлежат, в частности, обширные исторические сочинения: «Самозванцы и понизовая вольница», «Гайдамачина», «Политические движения русского народа». На последнее в девятом номере «Отечественных записок» за 1870 г. помещена положительная рецензия (без подписи). Романы Мордовцева в ней критикуются так же, как и в настоящей рецензии Салтыкова, но Мордовцеву — историческому писателю дается высокая оценка: «Под именем Мордовцева подвизаются в русской литературе два писателя. Очень может быть, что эти два писателя соединяются в одной личности, но и в таком случае они не имеют между собою ничего общего в литературном отношении. Один из двух гг. Мордовцевых известен как беллетрист, другой — как историк; один пишет романы и повести, представляющие болезненный бред крайне расстроенной фантазии; другой, напротив того, в своих исторических монографиях проявляет трезвый, положительный, иногда довольно осторожный и часто вполне светлый взгляд на события минувшей истории нашего отечества; один — тщетно старается уловить дух современности, окружающей его со всех сторон, и, изображая жизнь, нравы, идеалы новых людей — словно как будто переселяет вас на другую планету, изображая перед вами нравы Меркурия или Марса,— другой же, напротив того, углубляясь в чуждое ему прошлое,— весьма рельефно выставляет минувшую жизнь, умея воскресить ее из сухих и пыльных исторических источни-

[1] «С.-Петербургские ведомости», 1869, № 344 от 14/26 декабря, псевд. «Незнакомец».

ков» (отд. «Новые книги», стр. 41—42). И далее: «Если эти два писателя, столь различные, чтобы не сказать — противоположные, существуют независимо друг от друга, то вещь эта, разумеется, естественная и простая, но если только они соединяются в одном человеке, в таком случае мы имеем дело с неразгаданным чудом природы, способным поразить вас до крайности не только тем, что две такие различные деятельности и по характеру и по содержанию могут исходить от одного лица, но и тем, как станет одного человека на такую курьезную раздвоенность» (там же, стр. 42).

Есть основания предполагать, что и вторая рецензия на сочинения Мордовцева написана Салтыковым. Стилистическая манера в приведенном отрывке (о «двух писателях», выступающих под одним именем) очень напоминает рецензию «Литературная подпись» (см. т. 5 наст. изд.). К тому же Салтыкову-критику было свойственно почти одновременное обращение к разным произведениям одного автора (см., например, в наст. томе три рецензии на романы А. Михайлова).

Хотя Мордовцев сочувствовал героям своего романа «Новые русские люди», пытаясь выдать их за последователей Белинского, Чернышевского, Добролюбова, незнание и непонимание той среды, о которой он пишет, полностью компрометировало тему. Вряд ли Салтыковым не был замечен и такой характерный диалог в романе Мордовцева: «А слышали,— спросил Елеонский, — Некрасов просыпается. — Да, мне вчера что-то говорили на лекции, да я забыла, потому что спешила записать одно удачное выражение профессора о женщинах-специалистах.— Некрасов переходит в «Отечественные записки». Туда же, говорят, идут Елисеев, Островский, Якушкин, Марко-Вовчок и много других писателей.— Как это Некрасов и Краевский сошлись? Ведь они были враги.— Время не то,— заметил Елеонский.— Разве вы не чувствуете чего-то в воздухе? — Что ж, опять порыв? Но надолго ли?» Эпизод этот может служить еще одной яркой иллюстрацией той «печальной поспешности», с которой, по словам Салтыкова, Мордовцев исследовал неизвестную ему область общественных отношений. Салтыков считает героев Мордовцева идеализированными «Гамлетами Щигровского уезда», легкомысленно выдаваемыми за новых людей (см. ниже).

Стр. 368. . *по выражению Гоголя, показал одни «свиные рыла».*— Имеются в виду слова Городничего в «Ревизоре» (действие пятое, явл. VIII): «Ничего не вижу: вижу какие-то свиные рыла вместо лиц, а больше ничего...»

Стр. 369. *«Шел в комнату — попал в другую»* — слова Софьи о Молчалине в «Горе от ума» Грибоедова (действие первое, явл. 4).

Стр. 370. *Велика исковерканность «Гамлета Щигровского уезда».* — В рассказе «Гамлет Щигровского уезда» из цикла «Записки охотника» Тургенев подробно передает все обстоятельства, в которых складывался характер некоего Василия Васильевича, ставшего несчастным и озлобленным человеком.

Стр. 373. *...факты, конкретность которых ни для кого не тайна.* — Речь идет о подготовке судебного процесса над участниками организации «Народная расправа» (см. наст. том. стр. 191—224).

Своим путем. Роман в четырех частях Л. А. Ожигиной. СПб. 1870.

(Стр. 373)

ОЗ, 1870, № 9, отд. «Новые книги», стр. 32—36 (вып. в свет — 4 сентября). Без подписи. Авторство установлено С. С. Борщевским на основании анализа текста — *Неизвестные страницы*, стр. 545.

Роман Л. А. Ожигиной «Своим путем» был опубликован в «Отечественных записках» за 1869 г. (№№ 3, 5—7). Роман имел подзаголовок «Из записок современной девушки» и повествовал о трудной судьбе девушки из разорившегося дворянского семейства, ищущей «своего пути» в духе передовой молодежи 60-х годов — пути анализа и критики, пути «личного труда» Поэтому Салтыков и отнес это произведение к тому направлению русской беллетристики, которое названо им в настоящей рецензии «положительным» и к которому, в соответствии с салтыковской характеристикой, принадлежали романы А. Михайлова, Н. Бажина, возможно, Д. Мордовцева и других подобных писателей, рисовавших «новых людей» с симпатией, но в художественном отношении весьма несовершенно — поверхностно и декларативно. Вместе с тем роман Ожигиной «выгодно выделяется», по мнению Салтыкова, среди беллетристических произведений этого направления, «отсутствием декламаций». Впрочем, как это было отмечено С. С. Борщевским [1], в своей первоначальной редакции роман, возможно, не был свободен от мелодраматизма и декламации, но, по воспоминанию Скабичевского, подвергся радикальной редакторской правке Салтыкова [2].

Очень невысоко расценил роман Ожигиной Н. Шелгунов («Творческое целомудрие».— «Дело», 1871, № 1).

Стр. 373. *...сокращения средств и путей для беспечального существования при помощи чужого содействия.* — То есть сокращение тех «средств и путей», которые предоставлялись дворянину-помещику и дворянину-чиновнику крепостным правом и дореформенной государственной администрацией (ср. ниже «разливанное море», «прежнее положение», «господствовавший факт»).

...«под каждым листком готов и стол и дом»... — Неточная цитата из басни И. А. Крылова «Стрекоза и муравей»

Стр. 375. *Существует целая литературная партия... которая подлинно*

[1] См. *изд. 1933—1941*, т. 8, стр. 547.

[2] А. М. Скабичевский. Литературные воспоминания, М.—Л. 1928, стр. 289; см. также: «М. Е. Салтыков-Щедрин в воспоминаниях современников», М. 1957, стр. 284.

заслуживает наименования нигилистов — О «положительно-нигилистической» литературе Салтыков писал, например, в рецензии на комедию Чернявского «Гражданский брак».

Стр. 376. ...*успехи скандала*...— Имеется в виду реакция на появление произведений вроде «Некуда» Лескова (см. стр. 364 и прим. на стр. 569).

Даже талантливость перестала подкупать .— В первую очередь разумеется, по-видимому, роман Гончарова «Обрыв» (см. статью «Уличная философия»).

Повести и рассказы Анатолия Брянчанинова. Москва, 1870 г.

(Стр 377)

ОЗ, 1870, № 9, отд. «Новые книги», стр. 36—37 (вып в свет — 4 сентября). Без подписи. Авторство установлено С. С. Борщевским на основании анализа текста — *Неизвестные страницы,* стр 545—546.

Ироническим упоминанием, в последних строках рецензии, Тургенева, который первым провозгласил «идею прекрасной помещицы, ожидающей под кустом прекрасного помещика», Салтыков ставит А. А. Брянчанинова в ряд эпигонов тургеневского стиля. Характерно, что Тургенев, впрочем нередко и раньше преувеличивавший таланты начинающих писателей, познакомившись с Брянчаниновым в середине 70-х годов, проявил интерес к его творчеству, рекомендовал его произведения для публикации в «Вестнике Европы» и даже написал хвалебное предисловие к его «Русским народным сказкам в стихах» [1].

Дворянство в России от начала XVIII века до отмены крепостного права А. Романовича-Славатинского, профессора государственного права в Университете св. Владимира, С.-Петербург, 1870 г.

(Стр. 379)

ОЗ, 1870, № 11, отд. «Новые книги», стр 16—20 (вып. в свет 19 ноября) Без подписи Авторство указано С. С Борщевским — *Неизвестные страницы,* стр. 546—547. Вопрос о правильности атрибуции осложняется, однако, обстоятельством, указанным В Э Бограда м. В статье о Н. А. Демерте, помещенной в «Большой энциклопедии» (т. 8, 1902, стр 309) в числе «наиболее выдающихся его статей» в «Отечественных записках», постоянным сотрудником которых он был, назван «Критический разбор книги проф Романовича-Славатинского». В «Отечественных записках» работы названного историка рецензировались один раз и именно, как указывается в «Большой энциклопедии», в 1870 г Следовательно, хотя заглавие рецензии не упомянуто, речь может идти только о рецензии на известный труд Рома-

[1] См. И. С. Тургенев. Полн собр. соч и писем Письма, т. XII, стр. 201, 343; Сочинения, т. XV

новича-Славатинского «Дворянство в России от начала XVIII века до отмены крепостного права», приписываемой С. С. Борщевским Салтыкову. Сведения о Н. А. Демерте в «Большой энциклопедии» заслуживают известного доверия. Издание это выходило под общей редакцией С. Н. Южакова, а редактором по отделу русской литературы XIX в. в нем был А. М. Скабичевский Оба эти лица, как известно, являлись ближайшими (особенно Скабичевский) сотрудниками «Отечественных записок» и могли быть хорошо осведомлены в редакционных делах. Но признание Н. А. Демерта автором рецензии на книгу А. Романовича-Славатинского затрудняется тем, что с рецензией этой тесно связана напечатанная рядом с ней рецензия на брошюру безыменного помещика «Слияние сословий, или Дворянство, другие состояния и земство». «Брошюрка эта...— пишет автор,— появилась в продаже одновременно с книгой, только что нами разобранной», то есть с книгой Романовича-Славатинского. Но «отнять» вторую рецензию от Салтыкова «в пользу» Демерта более чем затруднительно: своеобразие салтыковского языка, стиля и полемической манеры в этой рецензии на «Слияние сословий...» представляется очевидным. По тем же причинам не менее трудно «передать» Демерту от Салтыкова и другую рецензию — на «Записки Е. А. Хвостовой» — на том основании, что в этой рецензии имеются такие слова по поводу книги Романовича-Славатинского: «Об этой книге мы дали отчет в ноябрьской книге нашего журнала за 1870 год». Возможно, что Н. А. Демерту принадлежит рецензия на книгу Романовича-Славатинского, появившаяся в то же время в «Вестнике Европы» — 1870, кн. 11, стр. 478—488.

Рецензируемая книга представляет собой докторскую диссертацию либерального профессора Киевского университета А. В. Романовича-Славатинского, в молодости испытавшего влияние Белинского и Герцена. Н. Ф. Даниельсон рекомендовал К. Марксу это исследование как один из немногих источников по истории русских поземельных отношений [1].

Романович-Славатинский придерживается концепции так называемой государственной школы, основные положения которой были сформулированы Б. Н Чичериным. Согласно этой концепции, в отличие от западноевропейского, русское дворянство (или «шляхетство», как оно именовалось в официальных документах первой половины XVIII в.) «всегда было *установлением политическим*, существовавшим и видоизменявшимся *сообразно целям и потребностям правительственным*» [2]. Крепостное право рассматривается так же, как искусственно созданный институт: «Мотив укрепления крестьян был государственный — доставить служилому классу постоянных работников, чтоб было с чего царскую службу служить <...> Шляхетство < .> было таким же крепостным сословием относительно государства, каким относительно его были крестьяне. На первом лежала барщина в

[1] См. письмо Н. Ф. Даниельсона К. Марксу от 20 марта 1873 г. в кн. «К. Маркс, Ф. Энгельс и революционная Россия», М. 1967, стр. 286.
[2] А. Романович-Славатинский. Дворянство в России..., стр. 1.

пользу государства — обязательная служба; на втором — барщина в пользу шляхетства...» [1]

Салтыков использует эту теорию «закрепощения сословий», чтобы показать, что с падением крепостного права исчезают внутренние основы сословного деления.

Характеризуя книгу А. Романовича-Славатинского как обстоятельное исследование, Салтыков далеко не во всем разделяет взгляды ее автора, не вступая, однако, с ним в открытую полемику. Романович-Славатинский, в частности, высоко оценивает введенную Петром I в 1722 г. «Табель о рангах», установившую дробную градацию всех чинов и званий: «По духу своему она была поистине демократическою <...> Она широко открыла двери, чрез которые <...> к шляхетству постоянно приливали новые силы из народа, и оно не могло, при всем своем стремлении, замкнуться в особую касту...» [2] По мнению же Салтыкова, «с самого начала парализованное табелью о рангах, дворянство наше пошло путем <..> отчужденности от истинных интересов народной жизни» (см. также характеристику табели о рангах в рецензии на «Записки Е А. Хвостовой»).

В изложении своих взглядов на дворянство Салтыков скован цензурными запретами. Так, в высочайшем рескрипте от 13 мая 1866 г, изданном в связи с покушением на царя, подчеркивалось· «Надлежит прекратить повторяющиеся попытки к возбуждению вражды между разными сословиями, и в особенности к возбуждению вражды против дворянства и вообще против землевладельцев, в которых враги общественного порядка естественно усматривают своих прямых противников» [3].

Стр. 380. *...с изданием закона 6-го апреля 1865 года ..*— См. прим к стр. 328.

Мы, по крайней мере, думаем, что преобладание обличительного элемента выработано нашей литературой не свободно...— Возможно, что эта часть рецензии, развивающая основные положения памфлета «Человек, который смеется», является откликом на выступление «Недели» («Либеральная печать и администрация»). Отмечая, что радикальную журналистику обвиняют в «отрицательном направлении», «Неделя» категорически заявляет, что это направление уже отжило свой век и не может возродиться. Оно было естественным во времена крепостного права, когда перед прогрессивным писателем «не было ничего, чем бы он дорожил». Передовая же печать пореформенного периода отрицает лишь пережитки прошлого, но является «самым искренним сторонником того направления, представителем которого заявило себя само правительство» («Неделя», 1870, № 26, стр. 850—852). В такой постановке вопроса, резко отличающейся от салтыковской, проявилось свойственное «Неделе» тяготение к либерализму с его призывами к разработке «положительной программы».

[1] А. Романович-Славатинский, Дворянство в России..., стр. 277.
[2] Там же, стр. 14—15.
[3] См. «Русский инвалид», 1866, 15 мая.

Стр. 382. ...*в своих письмах из России (1781 г.)*...— Явная ошибка: немецкий историк А. Л. Шлецер окончательно покинул Россию в 1767 г. Салтыков приводит письмо Шлецера с этой датировкой по книге А. Романовича-Славатинского, который, в свою очередь, заимствовал его из книги «Voyage en Pologne, Russia, Suéde, Dannemarc». Par M. W. Coxe. T. 2, Geneve, MDCCLXXXVI, p. 318.

Стр. 383. . *«мог пользоваться...»* и т. д.— Не совсем точная цитата из книги А. Романовича-Славатинского (стр. 19).

Слияние сословий, или Дворянство, другие состояния и земство. Ответ гг. Аксакову, Кошелеву и кн. Васильчикову. С.-Петербург. 1870 г. Председателя приходского попечительства, члена земства, нового судебного состава и разных обществ, участвовавшего в крестьянской реформе.

(Стр. 383)

ОЗ, 1870, № 11, отд. «Новые книги», стр 20—22 (вып. в свет — 19 ноября) Без подписи. Авторство указано и аргументировано путем анализа текста С С Борщевским — *Неизвестные страницы*, стр. 547. См. также прим. к рецензии на «Дворянство в России...», стр. 584 наст. тома.

Брошюра неизвестного автора повторяет и развивает идеи книги Г. Бланка «Движение законодательства в России» с прямыми ссылками на этот источник (о кн. Г. Бланка см в наст. т., стр. 577). По форме она представляет собой полемику со статьями И. С. Аксакова, опубликованными как передовые в газете «День» от 2 и 9 декабря 1861 г., и книгами А. И Кошелева «Голос из земства», вып. 1, М. 1869, и А. П. Васильчикова «О самоуправлении», СПб. 1869. Основная идея анонима — защита дворянского землевладения. Он утверждает, что «полный коммунизм логично вытекает из социального учения о равиом разделе земли и о праве на нее масс»[1]. С проблемой землевладения он связывает и слияние сословий. Аноним указывает на противоречивость позиций либерального славянофильства: оно выступает за слияние сословий, но с тем, чтобы дворяне, по выражению Кошелева, «остались с преимуществами по землевладению». Такое слияние, заявляет автор брошюры, есть обман, который массы поймут рано или поздно. С учетом позиций анонима ясно, что Салтыков в своей рецензии выступает, по существу, не в защиту права крестьян на имеющиеся наделы, а с требованием ликвидации помещичьего землевладения. Открытое провозглашение такого требования было под цензурным запретом.

Стр. 383 ...*заглянул в «Наказ» Екатерины II да в книгу Machiavelli «Il Principe»*. .— «Наказ ее имп. вел Екатерины Второй, самодержицы всероссийской, данный комиссии о сочинении Проекта нового уложения» со-

[1] «Слияние сословий, или Дворянство, другие состояния и земство», СПб. 1870, стр. 137.

здан в 1765—1767 гг. Аноним, назвав этот документ «гениальным», опирается на те статьи «Наказа», где подчеркивается землевладельческий характер дворянского сословия как единственно соответствующий «существу самодержавного правления». Из книги итальянского политического деятеля Д. Макиавелли «Государь» автор брошюры заимствует следующее утверждение: «Где равенство, там ие может быть монархии, где его нет, там не может быть республики».

Стр. 384. *...что хотел сказать г. Аксаков (см. стр. 31).*— Выписка из Аксакова, к которой относится реплика анонима, помещена на стр. 29 и, действительно, довольно туманно говорит о сближении дворянства с общинниками. На стр. 31, к которой отсылает Салтыков читателя, приводится другая цитата из Аксакова, гораздо более определенная: «Дворянству предстоит <...> определить свое настоящее место вне сословных привилегий и преимуществ» («Еще раз о русском дворянстве», «День», 1861, № 9).

Кн. Васильчиков в своей книге... совершенно основательно говорит...— Салтыков почти дословно приводит высказывания А. И. Васильчикова, но придает им несколько иной смысл. По Васильчикову, «поземельное владение <...> составляло и составляет поныне обязательную повинность низших сословий, и земство выражает <...> совокупность интересов тех местных жителей, которые держат землю и доходами от нее обеспечивают исправное отбывание повинностей и уплату податей» (А. В а с и л ь ч и к о в. О самоуправлении, т. 1, СПб. 1869, стр. XXXIII).

Стр. 385. *...этот, уволенный с 19-го февраля 1861 года, п о л и ц е й м е й с т е р...*— Своими полицеймейстерами назвал помещиков Павел I (см. «Любопытные и достопамятные деяния и анекдоты государя императора Павла Петровича (Из записок А. Т. Болотова)».— «Русский архив», 1864, вып. 1, стр. 78. Возможно, что Салтыков заимствовал свидетельство Болотова из кн. А. Романовича-Славатинского «Дворянство в России...»).

...обращение прислуги совсем уж иное, менее д е л и к а т н о е.— Иронический намек Салтыкова на следующее место в брошюре: «Взгляды на цивилизацию, жизнь и правду составляют нередко глубокое разноречие <...> между невежественною и деликатно воспитанною частию общества» (стр. 28).

...«Весть» куда-то исчезла с лица земли..— В № 108 за 1870 г. издатель-редактор крепостнической газеты «Весть» В. Скарятин объявил, что «вследствие совершенного истощения денежных средств он не может продолжать издание газеты».

...в окружных домах, воздвигаемых ныне для всех скорбящих —В конце 60-х годов оживились работы по строительству при крупных городах окружных домов для умалишенных. Используемое Салтыковым название этих заведений восходит к известной петербургской больнице для душевнобольных, воздвигнутой в 40-е годы во имя «божьей матери всех скорбящих радосте».

Записки Е. А. Хвостовой. 1812—1841. Материалы для биографии М. Ю. Лермонтова, СПб. 1870.

Прошедшее и настоящее. Из рассказов князя Ю. Н. Голицына, СПб. 1870.

(Стр. 385)

ОЗ, 1871, № 1, отд «Новые книги», стр. 48—54 (вып. в свет — 17 января). Без подписи Авторство указано и аргументировано путем анализа текста С С. Борщевским — *Неизвестные страницы*, стр. 547—548. См. также прим к рецензии на «Дворянство в России...», стр. 585 наст. тома.

Полное название первой из рецензируемых Салтыковым книг: «Записки Е. А. Хвостовой, рожденной Сушковой, 1812—1841. Материалы для биографии М. Ю. Лермонтова. Издание второе с значительными против первого издания, напечатанного в «Вестнике Европы» 1869 г, дополнениями и приложениями», СПб. 1870. (Среди приложений были воспоминания А. М. Меринского, М. Н. Лонгинова, Ф. Боденштедта, отрывки из «Литературных воспоминаний» И И. Панаева.) По словам современного исследователя, Салтыков в своей рецензии подчеркнул «досадную неадекватность рассказов Сушковой-Хвостовой тем представлениям о поэте, которые уже сложились у читателей «Героя нашего времени», «Мцыри» и «Сказки для детей» [1]. Не был удовлетворен Салтыков и другими воспоминаниями о Лермонтове.

Другое издание, рецензируемое Салтыковым,— воспоминания кн. Ю. Н. Голицына, известного музыканта-капельмейстера, в 50-х годах — корреспондента «Колокола», в 1858—1862 гг.— эмигранта [2]. (Первоначально воспоминания Голицына были напечатаны в «Отечественных записках», 1869, № 10.)

Отзывы об этих изданиях Салтыков предваряет размышлениями на некоторые социально-политические темы, разрабатывавшиеся им в конце 60-х — начале 70-х годов в художественных произведениях, публицистических циклах и статьях. Главная тема этих размышлений — отношение к «нашему прошлому», весьма осязательно и определенно вставшему со страниц многочисленных исторических и мемуарных публикаций 60-х годов, в том числе и рецензируемых (см. далее постраничные прим.).

Рецензия Салтыкова насквозь иронична, иносказательна. Он будто бы отмежевывается от тех, кто утверждает, что «это совсем и не прошлое, а просто-напросто настоящее, ради чувства деликатности рассказывающее о себе в прошедшем времени». Между тем в основу «Истории одного города» была положена именно эта мысль [3].

[1] «М. Ю. Лермонтов в воспоминаниях современников», М. 1964, стр. 439.

[2] О своеобразной фигуре «аристократа-капельмейстера», его похождениях и концертах в Лондоне писал в «Былом и думах» Герцен (Собр. соч. в 30-ти томах, т. XI, стр. 313—329).

[3] См., например, Е. И Покусаев. Революционная сатира Салтыкова-Щедрина, М. 1963, стр. 22.

«Все эти распоряжения, изречения и факты», столь ярко живописующие «прошлое», лишь по форме могут быть названы «чудачеством», по существу же они полностью выражают собою общество, построенное по принципу регламентации, общество, в котором «не могло быть места для личной инициативы», которому чужда идея об общих «пользах и нуждах». И если форма стала теперь преданием, то существо осталось прежним. «Прошлое» — не отрезанный ломоть.

Обращение к прошлому поучительно и в другом отношении ведь «наше прошлое было не лишено своего рода светлых точек, или «опытов». Ссылкой на слова Вольтера из стихотворного «Послания» Екатерине II [1] Салтыков намекает на те «опыты», которые и вызывали восхищение великого просветителя,— интерес русской императрицы к идеям энциклопедистов, создание ряда новых учреждений. Однако все эти «опыты» никак не были связаны «с целой системой», не затрагивали «общего строя жизни», а потому могли закончиться лишь «неуспехом». К такого рода «опытам» относит Салтыков далее, в рассуждении о «прекраснейших учреждениях» и «полезнейших уставах», и реформы 60-х годов.

Салтыков вновь (как ранее, например, в статье «Один из деятелей русской мысли») говорит о месте и роли в общественном процессе, в осуществлении «опытов», деятеля мысли. В «прошлом» человеку, «сколько-нибудь причастному к сознательной жизни», приходилось слышать одно: «не твое дело» Но изменилось ли что-нибудь в настоящем? Салтыков в иносказательной форме дает на этот вопрос отрицательный ответ.

Стр. 386 *Распоряжение о «неувертывании шей платками, косынками и шарфами»* .— В «Русской старине» Семевского (1870, № 11) было напечатано «Предложение управе благочиния гр. Буксгевдена, С.-Петербургского военного губернатора» от 20 января 1798 г., в котором, в частности, предписывалось «не увертывать шею безмерно платками, галстухами или косынками, а повязывать оные приличным образом без излишней толстоты» (стр. 517).

...распоряжение о «неношении прихотливых причесок...» — Имеется в виду распоряжение Николая I — «вменить в непременную обязанность всем гг. начальникам строго наблюдать, дабы ни у кого из подчиненных их не было прихотливости в прическе волос» («Русская старина», 1870, № 7, стр. 95).

...«русских надо менее учить и более бить»...— Это «изречение» сообщалось в мемуаре Н. А. Титова «Малолетное отделение 1-го кадетского корпуса в 1808 г.» («Русская старина», 1870, № 5, стр. 420).

...факты, сгруппированные в книге г. Романовича-Славатинского...— См. выше, стр 385.

[1] «C'est du Nord que nous vient la lumiere!» (в переводе И. Богдановича: «От Севера днесь свет лиется во Вселенну».— «Переписка российской императрицы Екатерины II и господина Вольтера», М 1812, стр. 167).

Стр 387. *...см статью г. Ефремова «Степан Иванович Шешковский»...*— Приводимые Салтыковым факты находятся в заметке П. А. Радищева о Шешковском, опубликованной П. А Ефремовым («Русская старина», 1870, № 12, стр. 637).

Стр. 388. *...много других, которых называть еще неудобно и которые протестовали безвременною своею гибелью...*— Речь идет о декабристах, петрашевцах и революционерах 60-х годов.

...М. И. Глинка... послал родной стране энергический, но далеко не лестный прощальный привет...— В воспоминаниях сестры Глинки, Л. И. Шестаковой,— «Последние годы жизни и кончина М. И. Глинки» — передавались слова композитора при его отъезде за границу в 1856 г: «Когда бы мне никогда более этой гадкой страны не видать!» («Русская старина», 1870, № 12, стр. 621).

..недавно изданные его записки...— «Записки» Глинки печатались в «Русской старине» за 1870 г. и вскоре вышли отдельным изданием.

...даже Кукольник (см. там же).— Это восклицание Кукольника, вызванное реакцией русского общества на смерть Глинки, находится в его записках, напечатанных в выдержках в двенадцатой книжке «Русской старины» за 1870 г (стр. 636).

Стр 391 *...Лермонтов был постоянным участником одного из лучших журналов своего времени...*— С первой книжки за 1839 г. Лермонтов постоянно сотрудничал в «Отечественных записках».

...«Лермонтов всякий раз отделывался шуткой»...— Цитата из «Литературных воспоминаний» И. И. Панаева.

Суета сует. Соч Николая Соловьева, Москва 1870.
(Стр 392)

ОЗ, 1871, № 1, отд. «Новые книги», стр. 60—63 (вып. в свет — 17 января). Без подписи. Авторство установлено С С. Борщевским на основании анализа текста — *Неизвестные страницы*, стр 548—549.

Идейной борьбе с журналами «почвенников», «Время» и «Эпоха», посвящены многие полемические выступления Салтыкова в «Современнике» (см. об этом подробно т. 6 наст. изд, стр. 471—528, 692—714, а также т 5, стр. 303—304, 334—337, 460—469).

Одним из активных сотрудников «Эпохи» (1864—1865) был Н. И. Соловьев, который после смерти Ап. Григорьева, наряду с Н. Н. Страховым, стал ведущим критиком журнала. Здесь были напечатаны его пространные статьи, направленные против этики и эстетики революционных демократов. «Теория безобразия», «Бесплодная плодовитость», «Теория пользы и выгоды» и др. С разоблачением теоретической несостоятельности рассуждений Соловьева сразу же горячо выступил Писарев. В статье «Роман кисейной девушки» («Русское слово», 1865, № 1) он назвал своего противника «одним из новейших мудрецов «Эпохи», попавшим в эту журнальную бога-

дельню»[1]. В следующей книжке «Русского слова» (№ 2), в статье «Сердитое бессилие», Писарев дает более подробную характеристику Соловьева: «...г. Николай Соловьев, начавший с недавнего времени украшать своими статьями критический отдел «Эпохи». Невинность и простодушие этого писателя сквозят в каждой его строке. А между тем в каждой из этих невинных и бессвязных строк притаилась — незаметная для простодушного автора, но очевидная для внимательного читателя — злокачественная инсинуация»[2].

Наконец, в статье «Прогулка по садам российской словесности» («Русское слово», 1865, № 3) Писарев определяет Соловьева как эклектического («пегого») критика[3].

После закрытия в 1865 г. «Эпохи» (издававшейся после смерти М. Достоевского от имени «семейства М. М. Достоевского») ее сотрудники стали выступать отдельно, в разных изданиях, сделались «холостыми», по выражению Салтыкова. В самом конце 60-х годов возобновилась активность бывших сотрудников почвеннических журналов и наметилась тенденция к консолидации. Страхов стремится сплотить бывших авторов «Времени» и «Эпохи» вокруг журнала «Заря» (начал выходить в 1869 г.). «Замечается стремление сорганизоваться, образовать из всех наличных стрижиных сил стройный и сильный стрижиный хор»,— пишет Салтыков. Кроме Н. Н. Страхова, в «Заре» печатались Ф. М. Достоевский, Н. Я. Данилевский, А. Н. Майков, Ф. Н. Берг и др. Соловьев же сотрудничал и в «Отечественных записках» (до 1868 г.), и во «Всемирном труде», и в «Русском вестнике». Статья Соловьева «Принципы жизни», напечатанная во «Всемирном труде», 1867, № 1, вызвала резкую отповедь Огарева: «Читал и читал сегодня статью Соловьева, и чем больше читал, тем больше думаю, что это одно из самых вредных литературных произведений, которое бьет в руку правительству и реакции» (*ЛН*, т. 39—40, стр. 413—414. См. там же статьи Огарева о Соловьеве). В 1869 г. Соловьев напечатал свои статьи, и прежде всего те, что публиковались в «Эпохе», в трех томах под названием «Искусство в жизнь» (этим, кстати, и объясняются слова Салтыкова, что Соловьев «ведет свое дело особняком»). Соловьев выступает против эстетики Чернышевского, именуя ее «теорией отрицания искусства», «антиэстетическим направлением» и «теорией безобразия». Он в тоне сожаления говорит о связи статей Добролюбова с этой теорией. Испещряет свои рассуждения нападками на Писарева и, касаясь полемики между «Русским словом» и «Современником», пишет о Щедрине: «Г-н Щедрин по свойственной всем сатирикам невоздержности подтрунил раз в «Современнике» над романом «Что делать?», Писарев на это вознегодовал. Антонович огрызнулся, и пошло писать. С тех пор уже не встречалось ни одного такого вопроса, по которому бы Писарев не расходился с Антоновичем. Полемика приняла мало-помалу самые грандиозные размеры; образо-

[1] Д. И Писарев. Соч., т. 3, М. 1956, стр. 201.
[2] Там же, стр. 224.
[3] Там же, стр. 286.

вался новый литературный род — ругня. Это был самый неудавшийся плод, произведенный теориею воспроизведения или теориею отрицания искусства. И как разнообразен был этот литературный род!» (т. 1, стр. 179). К приведенным словам автор делает следующее подстрочное примечание: «Теперь уже она <то есть «ругня»> поутихла — ругаться стало некому; но будущему историку литературы знать об этом не мешает». Далее Соловьев пишет: «Мы тоже угодили в эту литературную свалку». Возможно, что Салтыков обратил внимание на это заявление, которое вызывало на продолжение полемики. Салтыков хотел, по-видимому, показать, что и в настоящее время «Отечественные записки» готовы отвечать на подобные выпады, а главное — он имел в виду оставить «будущему историку литературы» еще одну объективную, итоговую оценку «Эпохи» и ее эпигонов.

Салтыков не удостоил Соловьева критическим разбором всех трех его томов. Поскольку отдельные главы этого сочинения выходили в виде небольших брошюр, сатирик остановился на одной из них — с выразительным заглавием «Суета сует». Самая затея такой навязчивой популяризации книги Соловьева, которая рекламировалась издателем как «замечательное произведение», не могла не показаться Салтыкову претенциозной, пошлой и удивительно соответствующей названию «Суета сует». Брошюра трактовала нравственные проблемы с той отвлеченно-моралистической точки зрения, которую Салтыков еще в «Современнике» заклеймил именем «стрижиной» философии (см. т. 6 наст. изд., раздел «Журнальная полемика»). Заканчивалась брошюра характерной сентенцией о благотворности тех форм жизни, какие уже существуют: «Жизнь нужно поправлять, а не перестраивать. Все формы ее более или менее годны; их надо только улучшить, вдохнуть животворное начало красоты. И тогда только человек, оставляя свой рабочий пост, не разочаруется в жизни и из его души не вырвется под конец того горького восклицания, которое когда-то вырвалось из уст царя Соломона: «О суета сует, всяческая суета!» Ответом на эту «мудрость» Соловьева были последние слова рецензии: «На бога надейся, а сам не плошай».

После «Отечественных записок» с критикой книги Соловьева «Искусство и жизнь» выступил и журнал «Дело» (1870, № 10), где была напечатана статья Н. В. Шелгунова «Двоедушие эстетического консерватизма».

Стр. 393. *«О влиянии романса «Во саду ли, в огороде» на силу русского смирения».*— Ирония относится, по-видимому, к той части третьего тома «Искусства и жизни», где речь идет о народной поэзии. Так, например, на стр. 120 рассматривается песня: «Я вечор млада во пиру была, во беседушке», как пример произведения, в котором горе, «что называется, завивается веревочкой». Далее приводится песня «Веселая голова // Не ходи мимо сада» и делается вывод: «Нет, видно, народ наш еще далеко не унывает, несмотря на все беды, которые висят и проносятся над ним». Соловьев обобщает: «Нет, в глубине души русского человека сохранились и другие, более веселые ноты, и источник его радостей еще далеко не иссяк».

...вдохновленный сражением при Гравелоте.— В августе 1870 г. у Гравелота (вблизи Меца) французские войска потерпели серьезное поражение от германской армии.

Стр. 394. *«Сегодня»* —стихотворение Ф. Н. Берга (псевд.— Н. Боев), напечатанное в «Заре», 1870, № 10.

Снопы. Стихи и проза Я. П. Полонского. СПб. 1871.

(Стр. 391)

ОЗ, 1871, № 2, отд. «Новые книги», стр. 199—208 (вып в свет — 22 февраля). Без подписи Авторство указано В В Гиппиусом — *Z. f. sl Ph.*, S 184; подтверждено С. С. Борщевским на основании свидетельства письма Тургенева к Полонскому от 24 апреля 1871 г., а также путем анализа текста — *изд. 1933—1941,* т. 8, стр 516—519

Салтыков начинает настоящую рецензию с парирования обвинений в «клиентизме» и «наездничестве», вызванных его предыдущей рецензией на «Сочинения» Полонского (см. стр. 343 наст. тома). Он повторяет свою прежнюю оценку творчества Полонского и подтверждает ее анализом двух произведений поэта, включенных в новый сборник (роман «Признания Сергея Чалыгина», аллегория «Ночь в Летнем саду») [1]. И то и другое, по его мнению, свидетельствуют о том, что «неясность миросозерцания есть недостаток настолько важный, что всю творческую деятельность художника сводит к нулю». Так Салтыков еще раз формулирует одно из главных положений своей эстетики.

Свое основное внимание Салтыков сосредоточивает на сатирическом произведении «Ночь в Летнем саду», в котором действуют аллегорические персонажи. Это произведение уже не может быть названо бестенденциозным. Его тенденция — «антинигилистическая» (протест против «буйственного духа времени» [2]), проистекающая, однако, на сей раз не из явной реакционности воззрений, а из их неясности, либеральной расплывчатости и эклектизма. Расшифровывая объективный смысл аллегорических образов «Ночи в Летнем саду», Салтыков резко формулирует в заключение «идеалы» «литератора-прогрессиста», родившиеся «первоначально на улице (едва ли даже не в среде городовых)». Еще более сатирически заостренно иносказания Полонского интерпретированы в четвертой главе «Итогов» (*ОЗ*, 1871, № 4.— См т. 7 наст изд, стр. 464 [3]).

[1] Кроме этих произведений, сборник «Снопы» включал рассказ «Женитьба Атуева» и двадцать стихотворений

[2] В И. Кельсиев писал о «Ночи в Летнем саду» в реакционном «Всемирном труде»: «Из поэта — кроткого, мягкого, безответного, одним словом, из Полонского, вышел борец и каратель нашего современного литературного и общественного направления» (1868, № 9, стр. 125 второй пагинации) См. также отзыв о «Ночи...» Полонского в «Деле» (1868, № 12, Совр. обозрение, стр 89—93).

[3] Этот острый пассаж из «Итогов» безусловно является ответом на брошюру Полонского «Рецензент «Отечественных записок»...» — см. далее.

На рецензии Салтыкова Полонский ответил резкой полемической брошюрой «Рецензент «Отечественных записок» и ответ ему Я. П. Полонского» (СПб. 1871, ценз. разр. 14 марта). Полонский обвинял Салтыкова в тенденциозном и неверном истолковании его сатиры, в искажении его убеждений: «Издавая «Снопы» мои, разве мог я предвидеть, что журнал, печатающий такие дельные рассуждения о том, что такое справедливость, назовет меня, бывшего сотрудника «Современника», врагом народного образования или поборником невежества. Я думал, напротив, вы осмеете меня и за излишнее рвение к свету, и за излишнюю ненависть ко всякой лжи и невежеству» (стр 12). Либеральный эклектизм миросозерцания оказался роковым для Полонского, субъективно, возможно, не желавшего выступить против революционно-демократических идей и эстетики.

Стр. 396. *...уже со времен Белинского его следует считать упраздненным.*— В своем «протесте» Тургенев противопоставлял критику Белинского, которая всегда «шла по следу», критическим принципам «Отечественных записок».

..«Признания Сергея Чалыгина», которые г. Тургенев особенно рекомендовал нашему вниманию...— в указанном письме-протесте в редакцию «С-Петербургских ведомостей» (см. И. С. Тургенев. Полн. собр. соч. и писем., т. XV, стр. 155).

Стр. 402. *..еще г Даль в оное время отстаивал право русского мужика на безграмотность ..*— См. т. 2 наст. изд., стр. 539.

Стр. 403. *Патагонцы...*— Как указал С. С. Борщевский, впервые Салтыков употребил этот синоним глуповца в «Письмах о провинции» (письмо двенадцатое — См. т. 7 наст. изд, стр. 336), а затем — в пятой главе «Итогов» (там же, стр. 472) и рецензии на «Повести» Н. Лейкина (наст. том, стр. 421).

Мандарин. Роман в четырех частях Н Д. Ахшарумова. СПб. 1870 г.

(Стр 405)

ОЗ, 1871, № 2, отд «Новые книги», стр. 199—208 (вып. в свет — 22 февраля). Без подписи. Авторство указано В. В. Гиппиусом — *Z. f. sl. Ph.*; S. 184; подтверждено на основании анализа текста С. С. Борщевским — *изд. 1933—1941*, т. 8, стр. 519.

Рецензия Салтыкова на роман Н. Д. Ахшарумова [1] тесно связана с напечатанной в том же номере «Отечественных записок» его же рецензией на «Снопы» Полонского. Салтыков продолжает по-своему истолковывать аллегорические образы из «Ночи в Летнем саду» Полонского, прежде всего — образ «орлов». «Презрительны» не снегири, кроты и ежи, а орлы — те же

[1] Плодовитый беллетрист и литературный критик, Н. Д. Ахшарумов в 40-е годы был близок к петрашевцам; так же как и Салтыков, он служил тогда в канцелярии военного министерства.

«хищники», тип, разработанный Салтыковым в одноименном очерке («Признаки времени».— *ОЗ,* 1869, № 1). «Всю общественную ниву заполонило хищничество...» — сказано было в очерке (см. т. 7 наст. изд., стр. 143). Об «обилии хищников, со всех сторон заполонивших человеческую ниву», говорится и в настоящей рецензии. Именно в этом «обилии» видит Салтыков источник общественных страданий.

Герой романа Ахшарумова принадлежит к типу «орлов». Однако он сам становится жертвой орлов-хищников еще более высокого полета. Название романа и его смысл — безжалостная борьба хищников — разъясняются, в частности, следующими размышлениями героя: «Эх, если бы одного желания было достаточно, чтобы отправить к праотцам этого юношу и спокойно занять его место, в его экипаже <...> — И он вспомнил задачу Руссо о мандарине[1].— «Что же! — думал он.— Я, пожалуй, и сам мандарин, и, конечно, не из последних!.. И я пари держу, этот юноша, в свою очередь, не шутя завидует мне» и т. д.

Одновременно с Салтыковым роман Ахшарумова рецензировал Н. Шелгунов, не увидевший в нем никаких достоинств («Превращение мошек и букашек в героев».— «Дело», 1871, № 2).

Ошибки молодости. Оригинальная комедия в 5-ти действиях Петра Штеллера. СПб. 1871 г.

(Стр. 407)

ОЗ, 1871, № 3, отд. «Новые книги», стр. 86—90 (вып. в свет — 17 марта). Без подписи. Авторство аргументировано путем анализа текста С. С. Борщевским — *изд. 1933—1941*, т. 8, стр. 520—521.

Основное место в рецензии занимают соображения, вызванные, как пишет сам Салтыков, не столько комедией Штеллера, сколько названием ее. Рецензия является еще одним выступлением Салтыкова в защиту «мальчишек» — «ошибающейся» молодости — от «пятящейся назад» старости (ср. январскую хронику «Нашей общественной жизни» за 1863 г.— т. 6 наст. изд.). В следующей, апрельской книжке «Отечественных записок» Салтыков вновь обратится к этой теме в рецензии на роман Омулевского «Светлов» в связи с анализом творчества Достоевского.

Комедия Штеллера[2] лишь поверхностно и косвенно затрагивала острые общественные проблемы. Мелодраматический сюжет ее — падение бедного семейства разночинцев, собиравшихся жить «личным трудом», и спасение их на краю гибели добродетельной княгиней. Штеллеру «посчастливилось

[1] Параболу Руссо о мандарине вспоминает бальзаковский Растиньяк в диалоге с Бьяншоном («Отец Горио»); она была источником разговора студента и офицера о старухе-процентщице в «Преступлении и наказании» Достоевского. Позднее о «нравственной задаче», поставленной этой параболой, писал Достоевский в одном из черновых вариантов «Дневника писателя».

[2] Премьера состоялась в Александринском театре 11 декабря 1870 г.

написать пьесу, которая пришлась вполне по вкусу александринской публике В комедии его <...> были всевозможные элементы для произведения поразительного эффекта и потрясения слабых нервов у жалостливых зрителей и особенно зрительниц» [1].

Светлов, его взгляды, характер и деятельность («Шаг за шагом»). Роман в трех частях Омулевского, СПб. 1871.

(Стр. 411)

ОЗ, 1871, № 4, отд. «Новые книги», стр. 300—308 (вып. в свет — 16 апреля). Без подписи. Авторство установлено С. С. Борщевским на основании анализа текста — *Неизвестные страницы,* стр. 549—552.

По содержанию и значению настоящая рецензия примыкает к статьям «Напрасные опасения», «Уличная философия» и другим программным выступлениям критика. Современное состояние русской литературы Салтыков рассматривает в двух главных аспектах: 1) идейные тенденции в творчестве крупнейших писателей, 2) лучшие достижения передовой демократической беллетристики, к которым он относит роман И. В. Федорова-Омулевского «Шаг за шагом». Как и в «Уличной философии», Салтыков видит существенный недостаток творчества «известнейших представителей современной русской беллетристики» в том, что они как бы протестуют «против господства реализма», иными словами — не желают анализировать истинные причины происходящих общественных сдвигов и стремятся предписывать жизни чуждые ей законы («дидактизм задним числом», «дидактизм, полемизирующий в пользу интересов отживающих и в ущерб интересам нарождающимся»). Верный своему пониманию глубокой внутренней связи между мировоззрением и художественным творчеством, Салтыков показывает, как консервативная тенденция вредит художественности: «В результате получается шарж, пятно — и что всего прискорбнее — пятно, искажающее нередко картину, довольно замечательную». Говоря о писателях, чей талант терпит заметный ущерб от «всевозможных недоумений», Салтыков имеет в виду прежде всего Гончарова («об этом было уже достаточно говорено» — в статье «Уличная философия»). Характеристика Достоевского из рецензии Салтыкова давно уже стала классической. В самом деле, оценка эта имеет обобщающий, во многом итоговый характер. В середине 60-х годов Салтыков на страницах «Современника» резко полемизировал с журналами «почвенников» «Время» и «Эпоха» и больше всего — с Ф. М. Достоевским, идейным вдохновителем и редактором этих изданий (см. т. 5, наст. изд., стр. 303—304, 334—337, 460—469; т. 6, стр. 471—528). Однако и тогда Салтыков отмечал особое место, занимаемое Достоевским — великим художником — в лагере почвенников. Новая оценка Салтыкова определялась теми высокими достижениями в творчестве Достоевского, ка-

[1] А. И. Вольф. Хроника петербургских театров с конца 1855 до начала 1881 года, СПб. 1884, стр. 45.

кими явились романы «Преступление и наказание» (1866) и «Идиот» (1868).

По словам Л. Ф. Пантелеева, «лучшим произведением Достоевского Михаил Евграфович считал «Идиота» [1].

Глубина замысла, ширина задач нравственного мира, сочетание интересов современности с умением вступить «в область предведений и предчувствий, которые составляют цель не непосредственных, а отдаленнейших исканий человечества»,— все эти качества Достоевского представлялись Салтыкову не только объективно значительными, во многом они были близки ему самому. С каким энтузиазмом опровергал он, например, во вступлении к циклу «Благонамеренные речи» тех «лгунов-дельцов», которые противопоставляют «вопрос о всеобщей воинской повинности» или «вопрос об устройстве земских больниц» «вопросам общим». Еще важнее, «интимнее» для Салтыкова была проблема создания гармонической личности, которая легла в основу романа «Идиот». Мысль о подлинно прекрасном человеке в сознании Салтыкова, как и Достоевского, связывалась с мечтой о «золотом веке», вдохновившей их обоих еще в обществе петрашевцев. «Золотой век не назади, а впереди нас»,— сказал один из лучших людей нашего времени, и, конечно, в этой фразе нет ничего ни смешного, ни преувеличенного, потому что человек так уж устроен, что ему непременно хочется золотого века...» — писал Салтыков в пятой главе «Итогов». О «золотом веке» постоянно говорит и Достоевский. И хотя содержание этого идеала, тем более пути к его осуществлению представлялись обоим писателям совершенно различно, их сближала великая мечта, пронесенная сквозь все «бури и непогоды» страшной российской действительности Заканчивая очерки «За рубежом», Салтыков вспоминает о своих неудавшихся попытках создать образ гармонического человека: «Несомненно, такие личности бывают, для которых история служит только свидетельством неуклонного нарастания добра в мире; но ведь это личности исключительные, насквозь проникнутые светом... Этот изумительный тип глубоко верующего человека нередко смущал мое воображение, и я не раз пытался воспроизвести его. Но задача оказывалась непосильною». Салтыков с горячим сочувствием отнесся к попытке Достоевского выполнить эту «непосильную задачу». Но, вероятно, потому, что содержание «веры» воображаемого героя Салтыкова принципиально отличалось от религиозной веры Мышкина, он и после того, как «Идиот» был написан, считал создание образа прекрасного человека делом будущего: «Но спрашиваю по совести: где тот художник, которому были бы под силу такие глубины?» («За рубежом»). Тенденциозное отношение к прогрессивному движению современности, «дешевое глумление над так называемым нигилизмом» — вот, по мнению Салтыкова, главный порок Достоевского — мыслителя и художника. В рецензии лаконично сформулирована суть противоречий Достоевского, в результате которых: «с одной

[1] «М Е. Салтыков-Щедрин в воспоминаниях современников», М. 1957, стр 184.

стороны, у него являются лица, полные жизни и правды, с другой — какие-то загадочные и словно во сне мечущиеся марионетки, сделанные руками, дрожащими от гнева...». В уже цитированных воспоминаниях Л. Ф. Пантелеева приводятся слова Салтыкова об «Идиоте»: «Это — гениально задуманная вещь, в ней есть места поразительные, но еще больше плохо высказанного и бог знает как скомканного».

Рецензия Салтыкова поддерживала писателей, которые, изображая революционную молодежь, шли от серьезного знания этой среды, стремились, в меру своих способностей, пропагандировать ее высокие идеалы. Характерно, что единственная обширная выписка из романа Омулевского «Шаг за шагом», которую дает Салтыков в своей рецензии, посвящена теме современного положительного героя. Роман был впервые напечатан в 1870 г. в журнале «Дело». Полемизируя с беллетристами «Дела» (см, в частности, в наст. томе рецензии на сочинения А. Михайлова), Салтыков отдавал предпочтение роману Омулевского, который «с полной добросовестностью» относится «к насущным вопросам современности». Салтыков особое внимание обращает на главного героя романа Александра Светлова, созданного под влиянием Чернышевского. В нем соединились такие черты, как твердость характера, благородство, непреклонная воля к борьбе за светлое будущее. Впервые в русской литературе в романе «Шаг за шагом» правдиво изображалось рабочее движение (бунт на Ельцинской фабрике). Отдельное издание романа в 1871 г. было запрещено. Два следующих издания — 1874 г. и 1896 г. по распоряжению цензуры были уничтожены.

Стр. 414. ...*deus ex machina* — буквально: бог из машины (*лат.*); здесь: неожиданность

Стр. 417. *Писатель этот только начинает свое литературное поприще...*— Роман «Шаг за шагом» был первым беллетристическим произведением И В Федорова (Омулевского). До этого он писал стихотворения в некрасовской традиции, которые печатались на страницах «Современника», «Русского слова», «Дела» и «Женского вестника».

Стр. 418 ...*не подают никаких надежд на освобождение от голословности.*—Очевидно, имеется в виду А. Михайлов.

Русские демократы. Роман в двух частях Н. Витнякова. СПб. 1871.

(Стр. 419)

ОЗ, 1871, № 4, отд. «Новые книги», стр. 308—310 (вып. в свет — 16 апреля). Без подписи. Авторство указано В В. Гиппиусом — *Z. f. sl. Ph.*; S. 184; подтверждено С. С. Борщевским на основании анализа текста — *изд. 1933—1941,* т. 8, стр. 521—522.

Роман Н. Витнякова (псевд И. Д. Кошкарова [1]) — бездарная, грубо

[1] См. выше рецензию Салтыкова на его роман «А. Большаков».

опошляющая и искажающая тему попытка изобразить «новых людей» — «русских демократов». Один из двух центральных героев романа «решился поднять производительность крестьянского хозяйства и главным образом начал изучать одну из его отраслей — сыроварение»; в эпилоге он принимает на себя звание предводителя дворянства и гласного в земстве. Другой — «поступил на службу в министерство государственных имуществ» и «работал над проектом об улучшении быта русского народа».

Вскоре «Отечественные записки» выступили с общей характеристикой эпигонских произведений школы антинигилистического романа. Поводом было появление следующего романа Витнякова «Честные люди» (*ОЗ*, 1871, № 9).

Драма или роман под названием «Зазевался! или Ошибки молодости», с изложения которого начинается рецензия, пародирует сюжетную канву комедии Штеллера «Ошибки молодости» (см. выше, стр. 407).

Стр. 420. *...департамент дивидендов и раздач... департамент недоумений и оговорок... департамент отказов и удовлетворений...* — Сатирические обозначения различных ведомств (министерств торговли и юстиции и сената), имеющиеся также в четвертой главе «Итогов», напечатанной в той же книжке «Отечественных записок», что и настоящая рецензия (см. т. 7 наст. изд., стр. 457 и 666).

...«плод любви прсступной»... — неточная цитата из стихотворения Пушкина «Романс» («Под вечер, осенью ненастной...»). У Пушкина: «плод любви несчастной».

Повести, рассказы и драматические сочинения Н. А. Лейкина.
2 тома, СПб. 1871.

(Стр. 421)

ОЗ, 1871, № 5, отд. «Новые книги», стр. 57—61 (вып. в свет — 12 мая). Без подписи Авторство установлено Р. Ивановым-Разумником в статье «Неизвестные страницы Салтыкова» — «Былое», 1926, № 1 (35), стр. 48—54.

Н. А. Лейкин — автор юмористических рассказов, известный впоследствии редактор-издатель журнала «Осколки», в котором в течение пяти лет печатался А. П. Чехов,— начал свою литературную деятельность в 1860 г. Рассказы Лейкина публиковались в ряде журналов, в том числе в «Современнике» и «Искре». Редакторы «Современника» ценили в произведениях Лейкина правдивое воспроизведение быта и нравов преимущественно мелкого купечества. В воспоминаниях Лейкина сохранилось описание того, как Салтыков специально приезжал к нему домой с приглашением сотрудничать в «Современнике» [1].

В рецензии на двухтомное издание сочинений Лейкина 1871 г. Салтыков

[1] «М. Е. Салтыков-Щедрин в воспоминаниях современников», М. 1957, стр. 69.

прежде всего отмечает, что они дают «правильное понятие о бытовой стороне русской жизни». Критик значительно выше ценит «этнографическое» значение рассказов Лейкина, нежели их собственно беллетристические достоинства. Произведения Лейкина Салтыков рассматривает, как правдивые, почти документальные, свидетельства о темном «языческом мире» обывателей. Именно этот мир — опора существующего режима. Изложенная здесь теория «краеугольных камней», ранее намеченная, например, в «Литературном положении» (см. т. 7, стр. 56), вскоре станет основой идейной проблематики и всей системы образов в новом цикле «Благонамеренные речи». Однако основной смысл рецензии на повести Лейкина заключался для Салтыкова в полемике с А. С. Суворинным, выступившим в апрельской книжке «Вестника Европы» 1871 г. с критической статьей об «Истории одного города». Статья, подписанная псевдонимом «А. Б — ов», одним своим названием — «Историческая сатира» — свидетельствовала о полном непонимании замысла Салтыкова Суворин упрекал сатирика в «глумлении» над русским народом и русской историей (см. об этом подробно в примечаниях к «Истории одного города», в т. 8 наст. изд., стр. 537—538, 544). На эти обвинения Салтыков сразу же ответил в «Письме в редакцию» журнала «Вестник Европы» и в частном письме близкому сотруднику редакции А. Н. Пыпину (тексты обоих писем см. в т. 8, стр. 451—458). Будучи уверен, что «Вестник Европы» не поместит его протеста, Салтыков одновременно ввел основные возражения Суворину по поводу отношения к народу и сформулированной им теории «юмора» в рецензию на повести Лейкина, которая появилась в очередном майском номере «Отечественных записок». Поскольку письмо Салтыкова так и не было напечатано «Вестником Европы», рецензия стала первым публичным ответом писателя на суворинскую критику «Истории одного города».

Стр. 449. *«Придите ко мне все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас»* — слова Христа из «Евангелия от Матфея», XI, ст. 28.

Цыгане. Роман в трех частях. Соч В. Клюшникова. СПб. 1871.

(Стр. 426)

ОЗ, 1871, № 9, отд. «Новые книги», стр. 63—66 (вып. в свет — 20 сентября). Без подписи. Авторство установлено С. С. Борщевским на основании анализа текста — *Неизвестные страницы*, стр. 552—554.

В. П. Клюшников — автор нашумевшего в середине 60-х годов «антинигилистического» романа «Марево». Об этом романе и его главном герое Русанове («Дон-Кихоте консерватизма») писал Салтыков в мартовской хронике «Наша общественная жизнь» 1864 г. (см. т. 6 наст. изд., стр. 315—321). В статье Писарева «Сердитое бессилие» успех «Марева» характеризуется как «скандальное торжество бездарности», а содержание романа — как «риторическая ложь».

Последующие произведения Клюшникова не привлекли большого внимания публики и критики. «Цыгане» — название символическое; речь идет о людях, которые «бродят по жизни», не умея найти ее разумное основание Герой романа — Лев Зарницын, начавший свою карьеру среди «отрицающей партии в нашей литературе», вскоре разочаровывается и живет по воле инстинкта, по прихоти мгновенного чувства. Антинигилистическая направленность очевидна и в этом романе, поскольку моральные устои Зарницын, по уверению автора, потерял именно в те годы, когда дышал «зараженным воздухом». Однако главная тема романа — описание любовных интриг «троеженца» Зарницына и в результате — его покаянного возвращения к первой семье. В романе Клюшникова «Цыгане» Салтыков разоблачает очередную мимикрию антинигилистической литературы — попытку выступить под лозунгом свободы искусства, которая представляет собой новый вариант «теории обуздания мысли».

Стр. 426. *...развратная леди, влюбленная в Гуинплена (герой романа «L'homme qui rit»).*— Об этой героине романа В. Гюго «Человек, который смеется» упоминается и в цикле «Господа ташкентцы» («Ташкентцы приготовительного класса. Параллель первая»). Эта глава была помещена в том же номере «Отечественных записок», где и рецензия на «Цыган». Здесь скандальные похождения госпожи Персиановой иронически приписываются дурному влиянию романа Гюго.

Стр. 427. *...«представители собственной разгоряченной фантазии».*— В передовой статье от 3 июля 1871 г. «С -Петербургские ведомости» (№ 180) называли подсудимых по «нечаевскому делу» «представителями лишь своей собственной разгоряченной фантазии». Определение это приведено Салтыковым в двух других произведениях, напечатанных в том же номере «Отечественных записок», где появилась и рецензия на роман Клюшникова: «Так называемое «нечаевское дело»...» (см. наст. том., стр. 191) и уже упомянутые «Ташкентцы приготовительного класса».

...он написал два романа — «Большие корабли» (1866) и «Цыгане».

...редактирует целый журнал без мысли.— С 1870 г. Клюшников был редактором журнала «Нива».

...совсем в другом журнале.— «Цыгане» печатались в 1869 г. в журнале «Заря».

Теория обуздания мысли у нас никогда не была новою.— О «теории обуздания» как основе «миросозерцания громадного большинства людей», подробно говорится во вступлении «К читателю», открывающем цикл «Благонамеренные речи».

Г-н Клюшников тот же афоризм <об «обуздании»> *проповедует под именем свободы искусства.*— В февральской хронике «Наша общественная жизнь» за 1864 г., когда в «Русском вестнике» начал печататься роман «Марево», Салтыков иронически указывал на «живую органическую связь между целями, которые преследует искусство, и теми, которым служит полиция».

Темное дело. Народная драма в 5-ти действиях Дмитрия Лобанова. СПб. 1871.

(Стр. 429)

ОЗ, 1871, № 9, отд. «Новые книги», стр. 66—68 (вып. в свет — 20 сентября). Без подписи. Авторство установлено С. С. Борщевским на основании анализа текста — *Неизвестные страницы*, стр. 554—555.

Две темы занимают в настоящей, хотя и очень краткой рецензии центральное место — во-первых, изображение в литературе народной жизни, во-вторых, в связи с первой темой — роль народа, «мужика», в истории. Кто же «пишет» русскую историю — те, кого Салтыков в «Признаках времени» назвал «историографами», или мужик, находящийся вне пределов исторической жизни? Весьма посредственный драматург Д. И Лобанов[1] следует в своей якобы «народной» драме (на самом деле — исторической мелодраме) традиции, согласно которой значение мужика равняется значению мухи, чем и объясняется резко отрицательный отзыв Салтыкова о драме «Темное дело»

Стр. 431. *...страшное и имевшее громадные последствия убийство...*— убийство царевича Димитрия.

Заметки в поездку во Францию, С. Италию, Бельгию и Голландию. Н. И. Тарасенко-Отрешков. СПб. 1871.

(Стр 432)

ОЗ, 1871, № 10, отд «Новые книги», стр 256—260 (вып. в свет — 16 октября). Без подписи Авторство указано Р В Ивановым-Разумником — М. Е Салтыков (Щедрин). Сочинения, т. IV, М.— Л. 1927, стр 642; подтверждено на основании анализа текста С. С. Борщевским — *Неизвестные страницы*, стр. 555—557.

Автором книги был чиновник и литературный делец, писавший главным образом на экономические темы (еще в 1832 г. он был навязан Пушкину III Отделением в качестве ответственного редактора проектировавшейся поэтом, но несостоявшейся газеты «Дневник»).

Как это часто бывало в рецензиях Салтыкова, и в настоящем случае рецензируемая книга — собрание поверхностных и мало связанных «заметок» на разные темы — послужила лишь внешним поводом для того, чтобы

[1] Д И. Лобанов одно время был близок с композитором А. Н Серовым и принимал участие в составлении либретто его оперы «Юдифь». Об этом сотрудничестве он вспоминает в мемуарной статье «А. Н. Серов и его опера «Юдифь», опубликованной в шестой книжке «Вестника Европы» за 1871 г, незадолго до напечатания «Темного дела» (ценз. разр.— 4 августа 1871 г) и появления рецензии Салтыкова. В этой статье Лобанов, в частности, противопоставляет «Юдифь» «бытовой драме», о которой отзывается неодобрительно.

высказать ряд принципиальных соображений, здесь — об «отношениях русских людей к заграничным порядкам».

Тема «русский человек за границей» бегло затрагивается Салтыковым уже в очерке «Глупов и глуповцы» в связи с иронической характеристикой «Сидорычей» «вне их родного логовища» (см. т. 4, стр. 205) и затем обстоятельно разрабатывается в майской хронике «Нашей общественной жизни» за 1863 г.[1]. Тогда Салтыков сосредоточил свое внимание на сатирическом типе «гулящего человека», «желудочно-полового космополита», безусловно принадлежащего к «отцам», то есть крепостническому дворянству (подробнее см. прим. к майской хронике и очерку «Русские «гулящие люди» за границей» — тт. 6 и 7). В рецензии на книгу Тарасенко-Отрешкова Салтыков вновь вспоминает об этом типе «гулящего шалопая». Однако теперь он усматривает и «добрую» сторону в «стремлении пользоваться *чужими* порядками», даже когда это стремление ограничено «животненными» наслаждениями. И если в хронике, например, говорилось о «россиянине, выползшем из своей скорлупы, чтобы себя показать и людей посмотреть», то в рецензии уже утверждается, что «русский человек стремился за границу совсем не для того только, чтобы людей посмотреть и себя показать, а прежде всего для того, чтобы вкусить иных порядков, ощутить себя в иных жизненных условиях», то есть в условиях «свободы».

В связи с этим Салтыков предлагает припомнить и таких русских путешественников, как, например, автор «Писем из Avenue Marigny», то есть Герцен. Сравнение «своего» и «чужого» в «заметках и письмах путешественников сороковых годов» (здесь, кроме Герцена, разумелись, конечно, П. В. Анненков, автор «Писем из-за границы» и «Парижских писем», В. П. Боткин, автор «Писем об Испании», и др.) было, во всяком случае, положительно, хотя и производило иной раз всего лишь впечатление свойства «дразнящего и вызывающего».

Позднее Салтыков еще не раз обратится к сюжету о русском человеке за границей (например, «Культурные люди») и особенно полно, в рамках более широкой темы — «Россия и Запад», на материале собственных заграничных впечатлений, разработает его в «За рубежом» (1880—1881).

Стр. 433. *...статьи о Броках и Бруках, о китайских ассигнациях...* — Эти статьи появились не в 40-х, а в середине 50-х годов, в начале подъема освободительного движения накануне реформ, и имели иносказательный смысл. Так, например, либеральный тогда «Русский вестник», не имея возможности прямо высказаться о деятельности русского министра финансов П. Ф. Брока, рассуждал об австрийском министре Бруке. Китайские ассигнации — эзопово наименование обесцененных русских бумажных денег; этой

[1] См. т. 6 наст. изд., стр. 99—111; этот раздел хроники под названием «Русские «гулящие люди» за границей» был включен в 1869 г. в сб. «Признаки времени» — т. 7, стр. 86—99.

теме была посвящена статья Е. И Ламанского «Ассигнации в Китае» (см. прим. к стр. 126).

Стр. 434. ...*police correctionelle* — исправительная полиция.

Стр. 435. .. *человек, который разбивал целые армии ямщиков... в каждом обер-кондукторе готов видеть высший организм...*— Ср. в «Нашей общественной жизни» (т. 6, стр. 100): «Всякий иностранец кажется ему <гуляющему человеку> высшим организмом <...> В России он ехал на перекладных и колотил по зубам ямщиков; за границей он <...>заигрывает с кондуктором <...>».

...*выгоду шнельцугов и ретурбилетов...*— Шнельцуг — скорый поезд (*нем.* Schnellzug). Ретурбилет — обратный билет, билет на проезд в оба конца.

Стр 436. ...*фраза «к которым прикосновение» и т. д. окажется истиною.*— Тарасенко-Отрешков, как это видно из цитируемой Салтыковым заключительной фразы его книги, полагал, что реформы 60-х годов в России, «улучшая быт рабочих», разрешают тем самым «рабочий вопрос», столь остро стоявший в развитых капиталистических странах. Салтыкову, напротив, было ясно, что реформы создают предпосылки и условия для появления рабочего класса в европейском смысле, ибо «те преобразования, которые ныне совершаются в России, на Западе Европы давно уж совершились».

Лесная глушь. Картины народного быта С. Максимова. 2 тома СПб. 1871.

(Стр 436)

ОЗ, 1871, № 12, отд. «Новые книги», стр. 225—229 (вып. в свет — 17 декабря). Без подписи Авторство указано В. В. Гиппиусом — *Z. f. sl. Ph.*, S 184, подтверждено на основании анализа текста С. С. Борщевским — *изд. 1933—1941*, т. 8, стр. 522—524.

Случилось так, что эта рецензия оказалась последней рецензией Салтыкова в «Отечественных записках», в которой ставятся общие проблемы русского литературного развития и, прежде всего, центральный для его литературной критики вопрос — об отношениях беллетристики к современной русской жизни. Тем самым рецензия на «Лесную глушь» приобретает значение итоговой, завершающей (хотя после нее и было напечатано несколько других рецензий Салтыкова). По вопросам эстетическим и литературным Салтыков высказывался после 1871 г. уже не в литературно-критических статьях и рецензиях, а в художественно-публицистических произведениях

Салтыков видит в современной беллетристике несколько направлений, и ни одно из них его не удовлетворяет, ибо ни одно из них не достигает самого важного — воспроизведения «внутреннего содержания» русской жизни в ее, при всей внешней хаотичности, целом.

Среди многих направлений выделяются два главных, различающихся

как по времени своего возникновения, так и по содержанию и жанрам (ср. статью «Напрасные опасения»). Первое из них рождено 40-мн годами, почва его — психологическая, жанр, созданный им,— роман. Второе появилось в 60-х годах, оно пытается встать на иную почву — общественную. Это направление чаще всего предлагает читателям «отрывки, очерки, сцены, картинки». Если же оно обращается к романическому творчеству, то роман этот — «косноязычный» (вероятно, в первую очередь разумеется самый крупный представитель «нового направления», скончавшийся в 1871 г. Ф. М. Решетников — см. статью «Напрасные опасения» и рецензию на роман «Где лучше?»).

Беллетристы первого направления, при всех их неоспоримых заслугах, в общем, проявили враждебность по отношению «к интересам, занимающим современное мыслящее русское общество» (рец. на роман Омулевского «Светлов», см. наст. том, стр. 411). Результатом этой враждебности были или, как сказано в той же рецензии, «дидактизм, полемизирующий в пользу интересов отживающих и в ущерб интересам нарождающимся» (то есть так называемая антинигилистическая тенденция), или, в лучшем случае, разработка «помещичьих любовных дел» (наст. рецензия). Ни о каком общественном романе в этом случае не может быть и речи, а являются лишь «постыдная вакханалия» или «византийский иконостас».

Беллетристы второго направления всецело сочувствуют движению современности, но и они оказываются неспособными создать общественный роман. Одна из причин этой фатальной неспособности, на которую особо обращает внимание Салтыков в настоящей рецензии,— отсутствие «свободного доступа ко всем общественным сферам».

Руководствуясь своей собственной художественной практикой, Салтыков формулирует некоторые существенные признаки общественного романа, это — новая тематика («общество, находящееся под игом недоразумения», «беспрерывное развитие хищничества», «бездонный запас легкомыслия, хвастовства, наглости, самонадеянности» и т. д.), новые герои («земский деятель, нигилист, мировой судья, а, пожалуй, даже и губернатор»), сюжет, принципиально отличающийся от сюжета «психологического» романа, хотя и не новый («провести своего героя через все общественные слои»), и т. д.

Стр. 438. ...*«пленной мысли раздраженье»*...— из стихотворения Лермонтова «Не верь себе».

На распутьи. Роман в двух частях В. Г. Авсеенко. СПб. 1871.

(Стр. 441)

ОЗ, 1871, № 12, отд. «Новые книги», стр. 229—232 (вып. в свет — 17 декабря). Без подписи. Авторство указано В. В. Гиппиусом — *Z. f. sl. Ph.*, S. 184; подтверждено на основании анализа текста С. С. Борщевским — *изд. 1933—1941*, т. 8, стр. 524—525.

Роман В. Г. Авсеенко первоначально печатался в журнале «Заря» (1870, №№ 9—12). Хотя герой романа — помещик, служащий мировым посредником, автора меньше всего занимает его служебная деятельность. Суть романа — «помещичьи любовные дела» (см. предыд рец.). Первую часть рецензии Салтыков посвящает обоснованию реалистического принципа мотивированности характера героя и его действий. Этот принцип не соблюден в романе Авсеенко Поэтому Салтыков и причисляет главного героя его к разряду «не помнящих родства» (ср. рец. на роман Авдеева «Меж двух огней»), а сам роман «На распутьи» относит к «раечному роду, который допускает «показывание» всякого рода картинок меж малейшей связи между ними».

Авсеенко запомнил этот уничтожающий отзыв Салтыкова и в 1873 г. в статье «Опять щедринские помпадуры» писал по поводу очерка «Он!!»: «Без сомнения, многим из читателей «Отечественных записок», и даже большинству этих читателей, все выше приведенное покажется очень смешным и будет принятым за сатиру на современные нравы. Но, вероятно, и сам автор не разделяет такого мнения большинства своих читателей. Автор, по всей вероятности, сам понимает, что он просто подшутил над райком <...> беллетрист, пишущий так много, как пишет г. Щедрин, иначе не может писать, как для райка» [1].

Беспечальное житье. А. Михайлов. Роман. СПб 1878.

(Стр. 443)

ОЗ, 1878, № 8, отд «Новые книги», стр 234—237 (вып в свет — 17 августа). Без подписи Авторство установлено С. С. Борщевским на основании анализа текста — *Неизвестные страницы*, стр. 557—558.

Третий, завершающий отзыв Салтыкова о произведениях А Михайлова (Шеллера) еще более резок, чем предыдущие (см. стр. 261, 359). Десять лет назад Салтыков предупреждал Михайлова, что авторы с небольшим, односторонним запасом жизненных впечатлений очень скоро исчерпывают его, и если желают продолжать работать, то бывают вынуждены подражать самим себе (см. стр. 261). Роман «Беспечальное житье», по мнению Салтыкова, и есть результат такого писательского оскудения Нетрудно заметить, что ирония сатирика в этой рецензии приобретает гневные ноты, и они несомненно связаны с тем, что поверхностное «тенденциозничанье» Михайлова, мелкость его тематики, неумение вникнуть в суть общественных явлений лишают роман «Беспечальное житье» какого бы то ни было прогрессивного значения. По своему смыслу картины, нарисованные Михайловым, сродни тем сочинениям, которые появлялись в реакционных журналах «Гражданин» или «Домашняя беседа». По-видимому, это и побудило Сал-

[1] «Русский мир», 1873, № 95 от 14 апреля.

тыкова сравнить Михайлова с хитроумным героем древнегреческого эпоса Одиссеем. (По предложению Одиссея, греки посадили своих воинов в деревянного коня, которого доверчивые троянцы, видя отступление противника, ввели в город. Салтыков использует этот образ как символ враждебных действий в благовидном обличье)

Стр. 444. ...*«и жить торопимся и чувствовать спешим».*— Цитата из стихотворения П. А. Вяземского «Первый снег», использованная Пушкиным как эпиграф к первой главе «Евгения Онегина».

...*шуметь по-репетиловски о выеденном яйце* ..— Репетилов в «Горе от ума» Грибоедова говорит Чацкому: «Шумим, братец, шумим...» (действие 4, явл. 4).

Стр. 445. . *в своих первых романах «Гнилые болота» и «Жизнь Шупова»*...— См. стр. 363.

Сквозь видимые миру слезы г. Михайлова... чудится незримый миру смех.— Перефразированная цитата из «Мертвых душ» (см. стр. 543).

Стр. 446. ...*из сотен грозящих рук Бриарея-жизни* .— В мифологии древних греков Бриарей — сторукий великан, которого боялись даже боги Олимпа.

...*о плачевной общественной метаморфозе, постигшей спутников Улисса.*— Имеется в виду эпизод из «Одиссеи» Гомера о пребывании Одиссея (Улисса) на острове волшебницы Цирцеи, которая превратила его спутников в свиней.

Стр. 447. ...*гороховое пугало* — эзоповский образ для обозначения политического сыска. Ср. в «Современной идиллии» — «щеголь в гороховом пальто».

Энциклопедия ума, или Словарь избранных мыслей авторов всех народов и всех веков. Составил по французским источникам и перевел Н. Макаров. С.-Петербург. 1878 г.

(Стр. 447)

ОЗ, 1878, № 12, отд «Новые книги», стр. 192—195 (вып. в свет — 21 декабря). Без подписи. Авторство указано без аргументации Н. Ф. Анненским.— Н. К. Михайловский. Полн. собр. соч., т. 10, изд. 2, стр. X, XI; подтверждено на основании анализа текста С. С. Борщевским — *Неизвестные страницы,* стр 558.

Составителем «Энциклопедии ума» был Николай Петрович Макаров [1], известный лексикограф, а ранее автор бездарных романов, высмеянных Писаревым; в 70-х годах писал, по его собственным словам, «бичующие сатиры» (например, «Кровавый призрак») с выпадами против «демагогов,

[1] Салтыков находился с ним в отношениях родства, хотя и очень далекого. Макаров был женат на А. П. Болтиной, тетке жены Салтыкова.

радикалов, анархистов, хартистов, памфлетистов, социалистов, коммунистов» и т. д. [1].

По сведениям Б. М. Эйхенбаума, Макаров был агентом III Отделения, куда не замедлил сообщить и о рецензии Салтыкова на свою «Энциклопедию ума» [2]. Может быть, принадлежность Макарова к названному учреждению и побудила Салтыкова взяться за перо, чтобы написать свою уничтожающую рецензию (по словам Герцена, «мы не прощаем только тех, которые бежали в III Отделение») [3].

Характерно, что в основу отбора материалов для своего «Словаря избранных мыслей» Макаров положил именно беспринципность. В предисловии к книге, например, говорилось: «Такая масса мыслей представляет бесконечное разнообразие идей, понятий, мнений самых различных, весьма часто противоречивых, так что всякий может найти то, что ему нужно для подкрепления сказанного или в положительном, или в отрицательном смысле, для того чтобы доказать или опровергнуть».

Стр. 450. *..на бал к госпоже Гулак-Артемовской...*— Гулак-Артемовская — великосветская авантюристка, замешанная в скандальных аферах. Процесс Гулак-Артемовской, говорилось в предыдущем номере «Отеч. записок», «представил нам картину страшной деморализации нашего культурного общества» (*ОЗ*, 1878, № 11, отд. «Совр. обозрение», стр. 119).

НЕКРОЛОГИЧЕСКИЕ ЗАМЕТКИ

ЕГОР ПЕТРОВИЧ КОВАЛЕВСКИЙ

(Стр. 455)

ОЗ, 1868, № 10, отд. «Совр. обозрение», стр. 273—274 (вып. в свет — 9 октября). Без подписи. Авторство указано В. Е. Евгеньевым-Максимовым на основании письма Салтыкова к Н. А. Некрасову, датируемого концом сентября — началом октября 1868 г. («Печать и революция», 1927, кн 4, стр. 55).

В названном письме Салтыков писал Некрасову: «Посылаю Вам <...> некролог Ковалевского. Я извлек, что мог, из «Вестника Европы», но так как я знал покойного очень мало, то статья моя вышла весьма слаба. Вы, конечно, дадите себе труд исправить ее и дополнить». Внес ли Некрасов в полученный текст какие-либо изменения — неизвестно. Автором использованной Салтыковым, в отношении биографических фактов, некрологической

[1] Н. Макаров. Мои семидесятилетние воспоминания, СПб. 1882.
[2] Б. Эйхенбаум. Маршрут в бессмертие. Жизнь и подвиги чухломского дворянина и международного лексикографа Николая Петровича Макарова, М 1933, стр. 238—239.
[3] А. И. Герцен, Собр. соч. в 30-ти томах, т. XIV, стр. 120.

заметки о Е. П. Ковалевском в «Вестнике Европы» (1868, № 10), подписанной инициалами М. С., был М. М Стасюлевич.

В 1856—1862 гг. Е. П. Ковалевский занимал пост помощника председателя Императорского российского географического общества. Он присутствовал на заседании общества 27 октября 1856 г., когда происходила баллотировка Салтыкова в члены общества («Вестник Императорского российского географического общества», кн. 5, СПб. 1856, Приложение, стр. 4 и 11). По-видимому, при этих обстоятельствах и произошло знакомство Салтыкова с Е. П. Ковалевским.

В своей заметке Салтыков не мог, по понятным причинам, указать на одну скрытую сторону в деятельности Е. П. Ковалевского, относящуюся к «Современнику», чьим сотрудником он был с конца 1840 г. Пользуясь тем, что в 1858—1861 гг. его брат Евграф Петрович занимал пост министра народного просвещения и, в этом качестве, являлся главою ведомства политического контроля над печатью, Егор Петрович не раз, по просьбам Некрасова, помогал «Современнику» в его борьбе с цензурой.

И. С. ТУРГЕНЕВ

(Стр. 457)

ОЗ, 1883, № 9, вкладная страница, с особой нумерацией 1—2 (вып в свет после 16 сентября). Без подписи. На основании анализа текста авторство установлено Я. Е. Эльсбергом, в сообщении «И. С. Тургенев. Неизвестная статья М. Е. Салтыкова-Щедрина» («Лит. газета», М. 1939, № 5, 26 января, стр. 4). Мемуарные и библиографические свидетельства принадлежности статьи Салтыкову названы С. А. Макашиным в статье «Щедрин и реакция 80-х годов» («Лит. обозрение», М. 1940, № 22, стр. 36—43) и И. Т. Трофимовым в заметке «Новые материалы об авторе некролога «И С. Тургенев» («Научные доклады высшей школы. Филологические науки», М. 1958, № 2, стр 153—154). В первом случае в качестве документального источника атрибуции указана статья Виктора Бибикова «Из рассказов о М. Е Салтыкове» («День», СПб. 1889, № 383, 28 июня, стр. 2—3), во втором — статья Е. П. Кавелиной «И. С. Тургенев в оценке своих ближайших современников» (журн «Библиограф», год второй, 1886, СПб. 1887, стр 124, и отд изд в том же 1887 г., то есть обе публикации — при жизни Салтыкова).

Обследование в библиотеках Москвы, Ленинграда, а также Иркутска экземпляров сентябрьской за 1883 г. книжки «Отечественных записок» показало, что вкладная страница, с некрологической заметкой о Тургеневе, во многих экземплярах отсутствует. По-видимому, в большую часть тиража заметка не попала, то ли потому, что была написана тогда, когда эта часть была уже отпечатана и сброшюрована, то ли вследствие вмешательства властей, хотя в цензурных документах никаких следов его не найдено.

Известно, что Салтыков обещал — «с величайшей готовностью» — участвовать в посвященном памяти Тургенева вечере Литературного фонда

28 сентября 1883 г. С чем именно намеревался выступить Салтыков — сведений нет. Но вряд ли можно сомневаться, что предполагавшееся выступление должно было заключаться либо в чтении только что написанной заметки, либо в развитии изложенных в ней мыслей. Однако выполнить свое обещание Салтыков не смог. В письме к распорядителю вечера, П. А. Гайдебурову, он сослался на обострение «в последние дни» болезни (письмо появилось в «Неделе» 2 октября 1883 г., № 40, и в тот же день было оглашено на Тургеневском вечере). Но накануне, в день похорон Тургенева (27 сентября), Салтыков был здоров и присутствовал на поминальном по писателю обеде группы литераторов (А. Полтавский. Петербургские письма.— «Крымский вестник», Севастополь, 1889, № 101, 13 мая, стр. 2, и № 104, 17 мая, стр. 2). Вполне возможно, что выступлению Салтыкова помешала не болезнь, а «блюстители порядка», отношение которых к чествованию памяти автора «Записок охотника» В. П. Гаевский охарактеризовал в своем дневнике словами: «Мертвый Тургенев продолжает пугать министров и полицию» («Красный архив», 1940, № 3, стр. 231). Известно, что речи, произнесенные на кладбище, должны были пройти через цензуру петербургского градоначальника Грессера. Также известно, что Тургеневский вечер в Москве, на котором должен был выступить Л. Н. Толстой, распоряжением из Петербурга был отменен (*ЛН*, т. 76, М. 1967, стр. 328). Нет сомнений, что подготовка и проведение вечера Литературного фонда в столице также были взяты под контроль органами политической полиции.

Среди множества откликов на смерть Тургенева анонимное выступление Салтыкова принадлежит к числу наиболее замечательных. По глубине и масштабности исторического осмысления Тургенева, его значения для русской жизни, с этим выступлением соседствовало в те дни лишь одно — «тургеневская прокламация» народовольцев, написанная П. Ф. Якубовичем и распространявшаяся в Петербурге в день похорон писателя (*ЛН*, т. 76, М. 1967, стр. 239). В обстановке, когда в русском обществе уже явственно наметился поворот к эстетизму и развертывалась борьба за отказ от наследства 60-х годов, за эмансипацию литературы и искусства от оппозиционных традиций, Салтыков, от имени демократических «Отечественных записок», и Якубович, от имени «действующих революционеров», выступили с оценкой Тургенева, исходя из ясно и громко заявленного принимата общественных интересов. Оба выступления резко противостояли ходовому тезису некрологических статей о Тургеневе в большинстве органов печати: «все достоинство его произведений заключается в чистой художественности» («Моск. ведомости», 1883, № 261). С суровой энергией и прямотой «шестидесятника» формулирует Салтыков исходную позицию своей оценки Тургенева. «Как ни замечателен сам по себе художественный талант его, но не в нем заключается тайна той глубокой симпатии и сердечных привязанностей, которые он сумел пробудить к себе во всех мыслящих русских людях, а в том, что воспроизведенные им жизненные образы были полны глубоких поучений».

«Главной и неоцененной заслугой» Тургенева, в просветительско-этическом представлении Салтыкова, является приверженность его «общечеловеческим идеалам» гуманизма и «сознательное постоянство», с которым писатель проводил эти идеалы в русскую жизнь. В этом смысле Салтыков считает Тургенева «прямым продолжателем Пушкина».

Ставя, далее, имя Тургенева в ряд с именами Некрасова, Белинского, Добролюбова и, несомненно, Чернышевского, а может быть, и Герцена, о которых нельзя было упоминать, Салтыков указывал тем самым на «руководящее значение», которое литературная деятельность Тургенева имела для русского общества в деле воспитания в нем гражданского самосознания и политического протеста, то есть в деле освободительной борьбы.

Наконец, предлагая вопрос «что сделал Тургенев для русского народа, в смысле простонародья» и «не обинуясь» отвечая: «Несомненно, сделал очень многое и посредственно, и непосредственно»,— Салтыков определяет выдающееся значение автора «Записок охотника» с точки зрения высшего критерия эстетики демократического лагеря — критерия н а р о д н о с т и

В заметке Салтыкова сжато и сильно резюмирован своего рода итог его сложно-противоречивого восприятия Тургенева — созданных им образов и самой личности писателя. При этом некоторые из прежних критических суждений Салтыкова, продиктованные в свое время требованиями исторического момента, «интересами минуты», в особенности о Базарове, претерпевают глубокое и принципиальное изменение (ср., например, в т. 5 наст. изд , стр. 581—582).

О литературно-общественных и личных взаимоотношениях Салтыкова и Тургенева см. в комментариях к томам Сочинений и писем наст. изд. (по указателю имен), а также в работах: М. О. Габель «Щедрин и Тургенев» («Наукові зап. Харьківського держ. пед. ін-ту ім. Г. С. Сковороди», т. X, 1947, стр. 48—89) и С. Ф. Баранов «М. Е. Салтыков-Щедрин и И. С. Тургенев» (в кн. того же автора «Великий русский сатирик М. Е Салтыков-Щедрин», Иркутск, 1950, стр. 44—71).

УКАЗАТЕЛЬ ЛИЧНЫХ ИМЕН И НАЗВАНИЙ ПЕРИОДИЧЕСКОЙ ПЕЧАТИ[1]

Авдеев Михаил Васильевич (1821—1876), писатель; сотрудничал в журналах «Современник» и «Дело» — 299, 302—304, 306, 308, 310—315, 317, 318, 345, *541, 556—559, 573, 607.*

«Варенька. Рассказ Ивана Васильевича» — 303, *556.*

«Иванов» — *556.*

«Меж двух огней» — 299, 302—311, *556—558, 573, 607;* Благолепов — *557;* Камышлинцев — 304—310, *557;* Мытищев — 305, 310; Мытищева Ольга — 307, 308

«Мещанская семья» — 311, 312, 315, 318, *541, 557—559.*

«Подводный камень» — 303, *556, 558.*

«Романы и повести» — *556.*

«Тамарин» — 303, *556.*

«Тетрадь из записок Тамарина» — *556.*

Авенариус Василий Петрович (1839—1923), беллетрист, автор «антинигилистических» произведений, впоследствии — детский писатель — 46, 70, 237—240, 254, 284, *475, 488, 533, 534, 540, 551, 558, 568.*

«Бродящие силы» — 237, 284, *475, 488, 533—535, 551, 558, 568.*

«Поветрие» — 237, *475, 488, 533—535, 540.*

«Современная идиллия» — 237, *488, 533, 535.*

«Ты знаешь край» — *535.*

Аверкиев (у Салтыкова — Фрол Скобеев) Дмитрий Васильевич (1836—1905), драматург, беллетрист и критик; сотрудничал в журнале «Эпоха» — 102, 103, *496, 559.*

«Комедия о российском дворянине Фроле Скобееве и стольничьей Нардын-Нащокина дочери Аннушке» — 318, *496, 559.*

«Мамаево побоище» — *496.*

Аврамов Михаил Петрович, директор основанной при императоре Петре I петербургской типографии — 334, *568.*

Авсеенко Василий Григорьевич (1842—1913), писатель; в 1860—1861 гг. сотрудничал в «Русском слове»; в 70-х годах выступал со статьями в «Русском вестнике»; автор «антинигилистических» романов — 441—443, *562, 606, 607.*

«На распутьи» — 441—443, *606, 607.*

«Опять щедринские помпадуры» — *607.*

Агриппина Юлия Младшая (16—59), жена римского императора Клавдия, которого отравила, стремясь доставить императорскую корону своему сыну Нерону, была убита Нероном — 265

Аксаков Иван Сергеевич (1823—1886), поэт, публицист и литературный критик славянофильского направления, издатель-редактор газет «День» (1861—1865), «Москва» (1867—1868) и «Русь» (1880—1885) — 383, 384, *497, 587, 588.*

«Еще раз о русском дворянстве» — *588.*

Аладьин Егор Васильевич (1796—1860),

[1] В указатель входят личные имена и названия периодических изданий, имеющиеся как в текстах Салтыкова, так и в примечаниях. В первом случае цифры, указывающие страницы, набраны прямым шрифтом, во втором — курсивом. Имена и названия, упоминаемые только в библиографическом аппарате, в указатель не введены. Составила указатель А. М. Малахова.

писатель, поэт и журналист, издатель «Невского альманаха» (1825—1833 и 1846—1848) и альманаха «Подснежник» (1830) — *495*

Александр I (1777—1825), российский император с 1801 г — *504*

Александр II (1818—1881), всероссийский император с 1855 г — 212, 218, 219, *517, 523, 551, 577, 586*

Александр Македонский (356—323 гг. до н э), царь Македонии с 336 г. до н э — 167

Алексей Петрович (1690—1718), царевич, старший сын Петра I, возглавил заговор против отца реакционной оппозиции бояр и духовенства, приговорен к смерти в 1718 г — 228, 230, 231, *529—532.*

Анненков Павел Васильевич (1812 или 1813—1887), литературный критик и историк литературы, мемуарист, сотрудничал в «Отечественных записках» и «Современнике»; друг и корреспондент Салтыкова — *604*

«Парижские письма» — *604*

«Письма из за границы» — *604.*

Анненский Николай Федорович (1843—1912), публицист и статистик, земский деятель близкий к народникам 80 х годов — *608.*

Антонович Максим Алексеевич (1835—1918), демократ просветитель, философ-материалист, естествоиспытатель и литературный критик, в 1862—1866 гг — один из руководителей «Современника» — 324—334, *478, 480, 488—491, 505, 537, 563—568, 592.*

«Барские лакеи в «Русском слове» — *566.*

«Глуповцы в «Русском слове» — *566.*

«К читателям» — *566*

«Курс общей физиологии Жизненные явления, общие животным и растениям» (перевод) — *489*

«Литературное лицемерие «Отечественных записок» Вопрос, представляемый на разрешение легкой литературе» — *488*

«Материалы для характеристики современной русской литературы» — 324—334, *478, 480, 483, 488, 505, 537, 563—568.*

«Надежды и опасения. (По поводу освобождения печати от цензуры)» — *491.*

Антропов (литературный псевдоним — А—в) Лука Николаевич (1843—1881), драматург и критик — *496.*

«Театральные заметки» — *496*

«Аониды, или Собрание разных новых стихотворений», альманах, издававшийся Н. М. Карамзиным в Москве в 1796, 1797 и 1799 гг , вышли три книги, содержавшие стихи Карамзина, Державина, Дмитриева, Капниста — 101—103, *495, 496.*

Арсеньев Никита Васильевич (1775—1847), брат деда М Ю Лермонтова, во время пребывания в Петербурге поэт останавливался в его доме — 391

Арсеньев Константин Константинович (1837—1919), публицист, критик, историк литературы, с 1866 г сотрудничал в «Вестнике Европы» — 207.

«Архив» — см «Русский архив».

«Архив судебной медицины и общественной гигиены», журнал, выходивший в Петербурге в 1865—1871 гг Редактор С П Ловцов, в 1871 г — Г. И Архангельский — *517.*

Аскоченский Виктор Ипатьевич (1813—1879), реакционный журналист, в 1858—1877 гг редактор издатель журнала «Домашняя беседа для народного чтения» — 360

Афросинья (Ефросинья) Федоровна, крепостная князя Н Вяземского, затем любовница царевича Алексея Петровича, который в 1717 г добился от отца разрешения на брак с ней — 230.

Ахшарумов (литературный псевдоним — Н. А) Николай Дмитриевич (1819—1893), беллетрист и критик; сотрудничал в «Отечественных записках» и «Русском вестнике» — 405, 406, *595, 596.*

«Мандарин» — 405, *595, 596.*

Бажин (литературные псевдонимы — Холодов, Серый) Николай Федорович (1843—1908), писатель; сотрудничал в «Русском слове» (1864—1865) и «Деле» (1867—1887), где с 1880 г редактировал беллетристический отдел — 439, *471, 579, 580, 583*

«Степан Рулев» — *471, 579*

«Чужие меж своими» — *471, 579.*

Базунов Алексей Федорович (ум в 1899 г), издатель и книгопродавец, владелец книжных магазинов в Москве и Петербурге в 1854—1870 гг — 257 *540.*

Байрон Джордж Ноэл Гордон, лорд (1788—1824) — 397, *473, 582.*

«Дон Жуан»; Дон Жуан — 282, 426, Эльвира — 282
«Паломничество Чайльд Гарольда» — *473*, Чайльд Гарольд — 21, 397. *473*.

Бакунин Михаил Александрович (1814—1876), революционер и публицист, один из идеологов народничества и анархизма — 198, 205, 206, 212—214, 216, 223, 224, *514, 516, 520—521, 526, 527*.

Бальзак Оноре де (1799—1850) — 311, 312, *558, 596*.
«Отец Горио» — *596*, Бьяншон — *596*, Растиньяк — *596*

Баранов Павел Трофимович, граф (1814—1864), генерал майор, в 1857—1862 гг. тверской военный и гражданский губернатор — *545*.

Баранов Сергей Федорович, литературовед — *612*.
«М. Е. Салтыков Щедрин и И. С. Тургенев» — *612*.

Барков Иван Семенович (по другим данным — Степанович; ок. 1732—1768), поэт и переводчик, известный скабрезными стихами, расходившимися в списках — 45, 265.

Барро Одилон (1791—1873), французский государственный деятель, монархист — *512*.

Бартенев Петр Иванович (1829—1912), археограф и библиограф, ввел в научный оборот новые документальные материалы по истории России XVIII и XIX вв., издавал исторический журнал «Русский архив» с 1863 г.— 181, 386, *518*.

Безобразов Владимир Павлович (1828—1889), экономист и географ, академик, преподаватель политической экономии в Александровском лицее, член совета министра финансов, с 1885 г — сенатор, лицейский товарищ Салтыкова — 129—144, *498—504, 578*.
«Аристократия и интересы дворянства» — *499*.
«Наши охранители и наши прогрессисты» — 129, 136, 144, *498, 499, 502—504*
«Экономические этюды» — *499*.

Безобразов Николай Александрович (1816—1867), публицист, автор брошюр по крестьянскому вопросу, предводитель дворянства Петербургского уезда, камергер — 348, *574*.

Бейст Фридрих Фердинанд, граф (1809—1886), саксонский и австрийский государственный деятель, с 1866 г. министр иностранных дел в Австрии, в 1871—1878 гг. посол в Лондоне — 270, *546*.

Белинский Виссарион Григорьевич (1811—1848) — 17, 66, 67, 363, 388, 391, 396, 457, *485, 505—507, 541, 554, 564, 579, 582, 585, 595, 612*.

Белоголовый Николай Андреевич (1834—1895), врач, общественный деятель и литератор; в 50-е годы сотрудничал в «Колоколе», в 70-е годы был близок к редакции «Отечественных записок»; автор многочисленных воспоминаний, друг Салтыкова — 178, 188, *517*.
«Клинический профессор Полуинин» — *517*.

Беляева (Коновалова) Елизавета Ивановна (род. в 1843 г.), член сначала первого московского нечаевского кружка, затем кружка Н. С. Долгова, имела задание организовать революционный кружок на Высших женских курсах; в 1870 г. арестована; причисленная ко второй группе сообщников Нечаева, приговорена к двухмесячному тюремному заключению и к отдаче под строгий надзор полиции на пять лет — 220.

Берви (литературный псевдоним — Н. Флеровский) Василий Васильевич (Вильгельм Вильгельмович) (1829—1918), социолог, писатель и публицист, сотрудничал в журналах «Дело» и «Отечественные записки» — 127, *490, 491, 545*.
«Азбука социальных наук» — *491*.
«Положение рабочего класса в России» — *491, 545*
«Свобода речи, терпимость и наши законы о печати» — 96, 104, 105, 111, 126, 127, *490, 491*.

Берг (литературный псевдоним — Н. Боев) Федор Николаевич (1839—1906), поэт, публицист и переводчик, один из редакторов «Русского вестника» — *592, 594*.
«Сегодня» — 394, *594*

Бернар Клод (1813—1878), французский ученый, основатель экспериментальной физиологии — 91, *489*.
«Введение к изучению опытной медицины» — *489*.
«Курс общей физиологии Жизненные явления, общие животным и растениям» — *489*.
«Курс общей физиологии. Свойства живых тканей» — *489*.

«Лекции физиологии и патологии иервной системы» — *489.*

Бернардаки Дмитрий Егорович (ок. 1802—1870), миллиоиер откупщик, золотопромышленник, петербургский домовладелец — 177.

Бестужев (литературный псевдоним — Марлинский) Александр Александрович (1797—1837), писатель-романтик, декабрист, член Северного общества — *580*

Бибиков Виктор Иванович (1863—1892), писатель — *610.*

«Из рассказов о М. Е Салтыкове» — *610*

Бибиков Петр Алексеевнч (1832 или 1833—1875), литературиый критик, публицист, переводчик, сотрудничал в «Современнике» (1859—1860) и «Русском слове» (1861—1864) — *546*

«Библиограф», ежемесячный журнал, выходил в Петербурге в октябре — декабре 1869 г, орган народников, вышло три номера, издатель К Н Дудышкин, официальный редактор — А. Н Стругов щиков, фактический — М. Ф Негре скул — *610*

«Библиотека для чтения», ежемесяч ный журнал «словесности, наук, худо жеств, промышленности, новостей и мод», издававшийся в Петербурге в 1834—1865 гг; основан О И Сенковским, в 1863—1865 гг редактор П Д Боборыкин — 340, 455, *568—572*

Библия — 171, *473, 496, 516.*

«Биржевые ведомости», ежедневная литературно-политическая и коммерче ская газета, выходившая в Петербурге (с перерывами) с 1861 по 1876 г, издатели редакторы К В. Трубников и П С Усов, а с 1874 г — В. А Полетика — 194, 220, *484.*

Благосветлов Григорий Евлампиевич (1824—1880), публицист, член «Земли и воли» 60 х годов, фактический редактор «Русского слова» в 1860—1866 гг., редактор-издатель журнала «Дело» в 1866—1880 гг — 325, 330, 332, *472, 566, 567.*

Блан Луи (1811—1882), французский социалист-утопист, историк — 181, *511, 512, 547.*

Бланк Григорий Борисович (1811—1889), публицист, члеи Тамбовского губернского комитета — 348, 356—359, *574, 577, 578, 587.*

«Движение законодательства в России» — 356, *577—578, 587.*

«Русский помещичий крестьянин» — *577.*

Боборыкин Петр Дмитриевич (1836—1921), писатель, в 1863—1865 гг. редактор издатель «Библиотеки для чтения»; в 1871 г был направлен в Париж корреспондентом «Отечественных записок»; сотрудничал также в «Вестнике Европы», «Северном вестнике» и др — 36, 38, 39, 42, 45—47, 284, 289, 308, 340, *474—478, 551, 552, 557, 558*

«Жертва вечерняя» — 36, 38—47, 284, 289, *474—478, 552, 557, 558;* Домбрович—40—42, 44—47, *478*, Кротков—45, 46, *476*, Плавиков — 40, Софи — 40; Степа — 43—46, *476.*

«За полвека (Воспоминания)» — *475—477.*

«Солидные добродетели» — *477.*

Боград Владимир Эммануилович, литературовед и текстолог — *538, 584.*

«Против «литературы благонамеренных усилий»...» — *538.*

Боденштедт Фридрих (1819—1892), немецкий писатель, переводчик и журналист, один из самых активных пропагандистов русской литературы в Германии, переводил на немецкий язык Батюшкова, Пушкина, Кольцова, Державина, Фета и др, был лично знаком с Лермонтовым; в 1852 г. выпустил в Берлине двухтомное издание «Поэтическое наследне Лермонтова» — 391, 392, *589.*

«Воспоминания» — *589.*

Бокль Генри Томас (1821—1862), аиглийский историк и социолог-позитивист — 293, *553.*

Болотов Андрей Тимофеевич (1738—1833), писатель и мемуарист — *588*

«Любопытные и достопамятные деяния и анекдоты государя императора Павла Петровича (Из записок ..)» — *588.*

Борщевский Соломон Самойлович (1895—1962), литературовед и текстолог — *464—467, 475, 478, 480, 490, 498, 505, 513, 517, 525, 538, 540, 542, 544—545, 547, 549, 553, 554, 556, 557, 560, 561, 568, 572, 574, 575, 577, 578, 580, 581, 583, 584, 585, 587, 589, 591, 594, 597, 599, 601, 603, 605—608*

«Еще раз о фетишизации документа, а также о фальсификации» — *465.*

«Письмо в редакцию «Литературной газеты» — *465.*

«Пример некритического отношения к документу» — *465.*
«М. Е Салтыков Щедрин. Неизвестные страницы» — *464, 467, 498, 505, 513, 540, 542, 548, 549, 557, 577, 578, 580, 581, 583, 584, 587, 589, 591, 597, 601, 603, 607, 608.*
«Щедрин о «вредном направлении» в литературе» — *491.*

Боткин Василий Петрович (1812—1869), писатель и литературный критик — *604.*
«Письма об Испании» — *604.*

Британник Клавдий Тиберий (ок. 41—55), сын римского императора Клавдия и Мессалины, устраненный от престола своей мачехой Агриппиной и убитый сводным братом Нероном — 365

Брок Петр Федорович (1805—1875), министр финансов в 1852—1858 гг., член Государственного совета — 433, *604.*

Брук Карл Людвиг (1798—1860), австрийский государственный деятель, в 1848—1851 гг.— министр торговли и общественных работ, с 1855 г.— министр финансов — 433, *604.*

Брут Марк Юний (85—42 гг. до н. э.), римский политический деятель, республиканец, один из инициаторов заговора против Юлия Цезаря и участник его убийства — 198, *526*

Брянчанинов Анатолий Александрович (1839—1918), орловский чиновник, писатель-дилетант, собиратель русских народных сказок, с 1878 г. сотрудник «Русской газеты», корреспондент И. С. Тургенева — 377, *584.*
«Повести и рассказы» — 377, *584.*
«Русские народные сказки в стихах» — *584*
«Три свидания» — 378

«Будильник», иллюстрированный сатирический журнал, издаваемый в 1865—1871 гг. в Петербурге и в 1873—1917 гг. в Москве, основатель и редактор (до 1877 г.) — Н. А. Степанов — *548*

Буксгеведен Федор Федорович, граф (1750—1811), генерал от инфантерии, с 1796 по сентябрь 1798 г. санкт-петербургский военный генерал-губернатор — *588.*

Булгарин Фаддей Венедиктович (1789—1859), реакционный журналист и беллетрист, осведомитель политической полиции — 253, 335, *538, 539, 560.*

Бурдин Федор Алексеевич (1827—1887), актер, драматург и переводчик; в 1847—1883 гг. играл на сцене петербургского Александринского театра — 281, 292, *559.*

Буренин (литературный псевдоним — В. Монумеитов) Виктор Петрович (1841—1926), поэт и публицист, в 1863—1865 гг. сотрудничал в «Искре», «Современнике», «Отечественных записках», «Будильнике»; вел еженедельные обзоры журналистики в «Санкт-Петербургских ведомостях» — *479, 480, 487, 524, 562.*
«Журналистика» — *479, 480, 562.*
«Общественное мнение» — *524*

Бурр Афраний (ум. в 65 г.), римский государственный деятель и полководец, за противодействие Нерону при убийстве Агриппины и Октавии был умерщвлен Нероном — 365.

Бушмин Алексей Сергеевич, литературовед — *536.*
«Сатира Салтыкова Щедрина» — *536.*

Быков Петр Васильевич (ок. 1843—1930), поэт, критик и библиограф — *575.*

Бэкон Фрэнсис (1561—1626), английский философ-материалист, ученый и политический деятель — 181

Вазем Екатерина Оттовна (1848—1937), балерина и педагог, в 1867 г. была принята в Петербургскую балетную труппу императорских театров, в 1886—1896 гг. преподавала в петербургском балетном училище — 291, *553.*

Валуев Петр Александрович (1814—1890), министр внутренних дел в 1861—1868 гг., министр государственных имуществ в 1872—1879 гг. — *494.*

Варвинский Иосиф Васильевич (род. в 1811 г.), с 1846 г. ординарный профессор госпитальной терапевтической клиники Московского университета — 200.

Васильев (2) Павел Васильевич (1832—1879), актер Александринского театра в Петербурге с 1860 г., в 1874 г. вынужден был уйти из казенного театра — 316, 318, 320, *559.*

Васильев Сергей Васильевич (1827—1862), актер московского Малого театра — 101.

Васильчиков Александр Илларионович, князь (1818—1881), крупный помещик, дворянский земский деятель, экономист и публицист, с 1871 г. председа-

тель основанного по его инициативе Петербургского комитета кредитных и ссудо сберегательных товариществ — 383—385, *587, 588.*

«О самоуправлении» — 384, *587, 588*

Ваханский, петербургский игрушечный мастер — 161.

«Ведомости Санкт-Петербургской городской полиции» («Полицейские ведомости»), официальная газета, выходившая с 1859 г до марта 1917 г; публиковала правительственные и административные сообщения — 275—276, 411

Векслер Иван Иванович (1885—1954), литературовед — *561, 562*

«Ф М Решетников в критике » — *561, 562.*

Венгеров Семен Афанасьевич (1855—1920), историк литературы и библиограф — *474.*

«Критико-биографический словарь русских писателей и ученых От начала русской образованности до наших дней» — *474.*

Вергина Александра Федоровна (1848—1901), артистка петербургского балета с 1868 по 1873 г — 291, *553.*

Верморель Огюст (1841—1871), французский журналист, прудонист, участник Парижской коммуны 1871 г, редактор газеты «Французский курьер» (1866—1867) — *512.*

«Деятели сорок восьмого года (и их роль в событиях как 1848 г, так и последующих лет)» — *512.*

«Веселая голова» || «Не ходи мимо сада », русская народная песня — *593*

«Вестник Европы», ежемесячный журнал, основанный в Москве в 1866 г М М Стасюлевичем при ближайшем участии Н И. Костомарова, В Д Спасовича, К Д. Кавелина, А Н Пыпина; выходил по март 1918 г — 424, 456, *485, 487, 505, 506, 525, 562, 584, 585, 589, 601, 603, 609, 610*

«Весть», политическая и литературная газета, издававшаяся в Петербурге в 1863—1870 гг; издатели редакторы В. Д Скарятин и Н. Н. Юматов, с 1867 г — С Д Скарятин — 50, 51, 53, 55, 58, 134, 136, 141, 142, 283—285, 348, 385, *479, 481—483, 494, 496, 497, 498, 502, 503, 505, 506, 552, 574, 577, 588.*

Вигель Филипп, отец Ф Ф. Вигеля, пензенский губернатор в конце XVIII в.— *555.*

Вигель Филипп Филиппович (1786—1856), писатель мемуарист, бессарабский вице губернатор, градоначальник в Керчи — *555.*

«Записки» — *555.*

Виноградов Виктор Владимирович (1895—1969), академик, филолог — *465, 466.*

«Проблема авторства и теория стилей» — *465*

Витичков Н — литературный псевдоним Кошкарова К Д (см).

Владимир Святославич (ум в 1015 г), великий князь Киевский с 978 г — *532*

Вовчок Марко, литературный псевдоним Марии Александровны Вилинской Маркович (1834—1907), украинская и русская писательница революционно демократического направления — 188, *519, 582.*

Волховский Феликс Вадимович (1846—1914), революционный деятель, с 1871 г член кружка «чайковцев» в Петербурге, в 1872 г организовал отделения кружка в Одессе и Херсоне; арестован в 1874 г по делу нечаевцев, приговорен к ссылке в Тобольскую губернию — 195, 206, 207, 216—218, *525.*

Вольтер (Мари-Франсуа Аруэ, 1694—1778) — *590.*

Вомперский Валентин Павлович, языковед и литературовед — *466.*

«Неизвестная рецензия М. Е Салтыкова Щедрина» — *466.*

«Вперед!», журнал народнического направления, издававшийся в Цюрихе и Лондоне П Л Лавровым в 1873—1877 гг — *464.*

«Время», ежемесячный литературный и политический журнал, издававшийся в Петербурге М М Достоевским при ближайшем участии Ф М Достоевского в 1861—1863 гг ; орган «почвенников» — 392, *496, 541, 591, 597.*

Вронченко Михаил Павлович (1802—1855), генерал майор, переводчик Шекспира, Байрона, Мицкевича, Гете и др — *575.*

«Всемирный труд», ученo литературный журнал, издавался в Петербурге М А. Ханом и С. С. Окрейцем в 1867—1872 гг.— 36, *474, 535, 553, 555, 592, 594*

Вяземский Петр Андреевич, князь (1792—1878), поэт и переводчик — *608.*

«Первый снег» — 444, *608.*

Габель Маргарита Осиповна, литературовед — *612.*

«Щедрин и Тургенев» — *612.*

Гаевский Виктор Павлович (1826—1888), чиновник министерств народного просвещения и финансов в 60-х годах, журналист и историк литературы, в 1862 г привлекался к следствию по делу о «лицах, обвиняемых в сношениях с лондонскими пропагандистами» Общественный деятель 70—80 х годов, один из основателей Литературного фонда — *611.*

«Дневник» — *611.*

Гайдебуров (литературный псевдоним — Гдб) Павел Александрович (1841—1893), публицист, в 1867—1869 гг. заведовал отделом беллетристики и составлял внутренние обозрения в журнале «Дело», с 1869 г сотрудник и издатель газеты «Неделя», с 1876 г — ее редактор издатель — *472, 476, 477, 545, 562, 611*

«Внутреннее обозрение» — *472, 476, 562.*

«Социально экономические попытки в России» — *545.*

Гарибальди Джузеппе (1807—1882), вождь национально-освободительного демократического движения в Италии — 179, *517.*

Ге Николай Николаевич (1831—1894), художник — 226, 228—231, 233, *529, 530 — 533.*

«Петр I допрашивает царевича Алексея Петровича в Петергофе» («Петр Великий, допрашивающий своего сына») — 226—229, *529—532*

«Портрет М Шиффа» — 233, *533.*

«Тайная вечеря» — *530.*

Гегель Георг Вильгельм Фридрих (1770—1831) — 138, 357

Гейне Генрих (1797—1856) — 154, *509.*

Генкель Вильгельм (Василий Егорович; 1825—1910), петербургский издатель и книготорговец, редактор издатель газеты «Неделя», переводчик русских писателей на немецкий язык — 187, 188, 261, *517, 518, 519, 542.*

Генслер Иван Семенович (1820—1870), врач и писатель, автор юмористических рассказов из быта мелкого петербургского чиновничества; печатался в 60-е годы в «Библиотеке для чтения» и «Заре» — 429

«Биография кота Василия Ивановича, рассказанная им самим» («Похождения кота Василия Ивановича») — 429

Герито, знакомая семьи Грановского — 165

Герцен Александр Иванович (1812—1870) — 179, 213, 432, *472, 473, 483, 492, 505, 512, 515, 516, 517, 518, 535, 546, 554, 571, 579, 585, 589, 604, 609, 612*

«Былое и думы» — *589.*

«Доктор Крупов»; Крупов — 363, *579.*

«К старому товарищу» — 213, *521.*

«Кто виноват?», Бельтов — 363, *487, 579*

«О публичных чтениях г на Грановского» — *512.*

«Письма из Avenue Marygny» — 432, *604.*

«Письма к противнику» — *492.*

«Путевые записки г. Ведрина» — *535.*

«С того берега» — *546*

Герье Владимир Иванович (1837—1919), историк, с 1868 г. профессор Московского университета по кафедре всеобщей истории — *505.*

«Т. Н Грановский в биографическом очерке Станкевича» — *506.*

Гете Иоганн Вольфганг (1749—1832) — 397, *473, 526.*

«Страдания юного Вертера» — *473,* Вертер — 21, *473.*

«Фауст» — 397.

Гиппиус Василий Васильевич (1890—1942), литературовед и переводчик — *464—466, 490, 538, 542, 544, 547, 553, 554, 556, 560, 572, 574, 594, 595, 599, 605, 606.*

«Ergebnisse und Probleme der Saltykow Forschung» — *467, 490, 538, 542, 544, 547, 553, 554, 556, 560, 572, 574, 594, 595, 605, 606.*

Глинка Михаил Иванович (1804—1857) — 388, *502, 551, 591.*

«Записки» — 388, *591.*

«Иван Сусанин» («Жизнь за царя») — 282, *550, 551.*

«Руслан и Людмила» — *502;* Наина — *502;* Фарлаф — 129, *502.*

Глюк Кристоф Виллибальд (1714—1787), немецкий композитор — 285, *551.*

«Орфей и Эвридика» («Орфей») — 285, *551*

Гоголь Николай Васильевич (1809—1852) — *9, 17, 21, 23, 27, 57, 103, 137, 275,*

276, 311, 368, 369, 439, 440, 444, 459, 460, 470, *473, 474, 483, 489, 502, 519, 533, 543, 548, 582*

«Выбранные места из переписки с друзьями» — 22, *473.*

«Женитьба» — *502;* Жевакин — *502;* Петухов — 137, *502*

«Майская ночь, или Утопленница» — *533*

«Мертвые души» — 23, 27, 267, 445, *473, 474, 483, 489, 543, 608,* Костанжогло — *473,* Муразов — *473;* Ноздрев — 21, 88, 426, *475, 489;* Петрушка — 369; повар Ноздрева — 88, *488;* Собакевич — 21, Улинька — *473.*

«Ревизор» — 368, *582;* Осип — 205; Сквозник Дмухановский — 206, 433, *582,* Хлестаков — 204—206, 233, *522, 527, 540, 541.*

Годунов Борис Федорович (ок. 1551—1605), правитель государства при царе Федоре Иоанновиче, с 1598 г — русский царь — *481.*

Голицын Юрий Николаевич, князь (1823—1872), хоровой дирижер и композитор дилетант, сотрудничал в 1858 г. в «Колоколе», за что был выслан в Козлов; в 1860 г. эмигрировал, вернулся в 1862 г.— 385, 392, *589*

«Прошедшее и настоящее (Из записок .)» — 385, 392, *589, 590.*

Голицыны, древний русский княжеский род — 383

Головачев Алексей Адрианович (1819—1903), общественный деятель и публицист; сотрудничал с 1858 г. в «Русском вестнике», «Вестнике Европы», «Русской мысли» и др.— *518.*

Головачев Аполлон Филиппович (ум. в 1877 г.), публицист, секретарь редакции журнала «Современник» в 1863—1866 гг — *518.*

Головнин Александр Васильевич (1826—1886), министр народного просвещения в 1861—1866 гг., затем — член Государственного совета — *551.*

«Голос», ежедневная политическая и литературная газета, издававшаяся в Петербурге А. А. Краевским в 1863—1884 гг.; с 1871 г. помощником редактора стал В. А. Бильбасов — 50—52, 58, 192, 194, 211, 329, *480—482, 496, 499, 522, 529, 565, 567.*

«Голос минувшего», журнал «истории и истории литературы», издававшийся в Москве в 1913—1923 гг., редакторы-издатели С. П. Мельгунов и В. И. Семевский (1914—1916) — *515.*

«Голубиная книга» («Глубинная книга»), памятник русской апокрифической литературы — 19, 62, 95, *473, 488*

Гомер, легендарный эпический поэт Древней Греции, жил между XII и VII вв. до н. э — *608.*

«Одиссея» — *608,* Одиссей — 206, 446, *608;* Цирцея — *608*

Гонкур де, братья, Эдмон (1822—1896) и Жюль (1830—1870), французские писатели — *534, 535*

«Дневник» — *534.*

«Жермини Ласертэ» («Germinie Lacerteux») — *534.*

Гончаров Иван Александрович (1812—1891) — 69—73, 75, 77, 81, 82, 84, 89—93, 95, 342, 438, 439, *484—487, 552, 560, 572, 584, 597.*

«Обломов», Обломов — *487.*

«Обрыв» — 61, 69, 71, 72, 81, 84, 90, 95, *484—489, 584;* Вера — 75, 76, 78, 79, 92—94, *486;* Волохов — *69—72,* 74—79, 81, 84, 88, 90, 92—94, 431, *484—487, 560;* Марфинька — 77, 342, Райский — 72, 74, 77, 90, 93, 94, Татьяна Марковна — 88, 89, 94, 342

Гораций (Квинт Гораций Флакк, 65—8 гг. до н. э.) — 444.

Горбунов Иван Федорович (1831—1895), писатель, актер петербургского Александринского театра, автор и исполнитель юмористических сцен из жизни мещан, мастеровых и крестьян — 292, 373

Горчаков Михаил Дмитриевич, князь (1793—1861), генерал адъютант, главнокомандующий Дунайской армией, с февраля 1855 г. руководил Севастопольской обороной, в 1856—1861 гг. наместник Царства Польского — 455.

Гостомысл (IX в.), легендарный новгородский посадник или князь, с именем которого связывается предание о призвании на Русь варяжских князей — 242

«Гражданин», политическая и литературная газета-журнал, основанная в Петербурге князем В. П. Мещерским в 1872 г.; выходила до 1914 г. (с перерывом в 1880—1881 гг.); в 1872 г — редактор-издатель Г. К. Градовский, с начала 1873 до апреля 1874 г. редактировалась Ф. М. Достоевским (вел еженедельное политическое обозрение) — 447, *607*

Грановский Тимофей Николаевич

(1813—1855), ученый и общественный деятель, профессор всеобщей истории в Московском университете с 1839 г — 67, 145, 156, 159—161, 163, 165—167, *485*, *505—507*, *509—513*

«Аббат Сугерий (об общинах во Франции)» — 161, *513*

Гранье-де-Кассаньяк Адольф (1806—1848), французский публицист, бонапартист — 154.

Грейг Алексей Самуилович (1775—1845), адмирал, с 1816 г. главный командир Черноморского флота и портов; николаевский и севастопольский военный губернатор — *532*.

Грессер Петр Аполлонович (1833—1892), генерал лейтенант, в 1882 г санкт-петербургский градоначальник — *611*.

Грибоедов Александр Сергеевич (1795 или 1794—1829) — 318, *516*, *582*, *608*.

«Горе от ума» — 170, 317, 369, *516*, *582*, *608*, Молчалин — *540*, *582*; Репетилов — 444, *608*; Софья — *582*; Чацкий — *489*, *516*, *608*.

Григорович Дмитрий Васильевич (1822—1899), писатель — 9, 30, 31, 438, *474*

«Антон-Горемыка» — 9, *474*.

«Деревня» — 9, *474*

«Переселенцы» — 9, *474*.

«Рыбаки» — 9, *474*.

Григорьев Аполлон Александрович (1822—1864), литературный критик и поэт, с 1861 г сотрудничал в журналах «Время» и «Эпоха» — *591*.

Григорьев Петр Иванович (1806—1871), драматург-водевилист и актер петербургского Александринского театра с 1826 г — 290, *552*.

«Герои пефепанса, или Душа общества» — 290, *552*.

Губонин Петр Ионович, железнодорожный предприниматель и концессионер — 49

Гулак-Артемовская, великосветская авантюристка — 450, *609*.

Гумбольдт Вильгельм (1769—1859), немецкий естествоиспытатель и путешественник — 138.

Гюго Виктор-Мари (1802—1885) — 180, *501*, *511*, *517*, *602*.

«Отверженные» («Мизерабли» — «Les misérables») — 180, *517*

«Человек, который смеется» («L'homme qui rit») — 426, *497*, *501*, *602*; Гуинплен — 426, *602*, Леди — 426, *602*.

Дажук В., украинский литературовед — *466*.

«Нові сторінки Салтыкова критика» — *466*

Даль (литературный псевдоним — Казак Лугаиский) Владимир Иванович (1801—1872), ученый диалектолог, этнограф, писатель, составитель «Толкового словаря живого великорусского языка» и «Пословиц русского народа» — 402, 440, *595*.

Даниельсон Николай Францевич (1844—1918), литератор, один из идеологов либерального народничества, во время работы над переводом «Капитала» вел оживленную переписку с Марксом и Энгельсом — *585*.

Данилевский (литературный псевдоним — А Скавронский) Григорий Петрович (1829—1890), писатель, автор исторических романов, в 1869—1890 гг редактировал официальную газету «Правительственный вестник» — 102, 257—261, *496*, *540—542*, *558*

«Воля» — *540*.

«Беглые в Новороссии» («Воля») — 257, 258, *540—542*.

«Беглые воротились» («Воля») — *540*, *541*.

«Беглый Лаврушка за границей (Из недавнего прошлого)» — *540*.

«Литературная подпись» — *540*, *541*.

«Новые места» — 259, *540*, *541*.

«Новые сочинения» — 258, *496*, *540*, *541*, *558*

«Охота зимой в Малороссии» — *540*.

«Феничка, биография институтки» — *540*

Данилевский Михаил Григорьевич, сын Г П Данилевского, беллетрист и драматург 90 х годов — *541*.

«Г П Данилевский по личным его письмам и литературной переписке» — *541*

Данилевский Николай Яковлевич (1822—1885), публицист-петрашевец — *592*.

Данкевич, литературный псевдоним Ф. М Толстого (см).

Дарвин Чарлз Роберт (1809—1882), английский естествоиспытатель, творец эволюционного учения — 360

Дациаро, владелец магазинов гравюр и эстампов в Петербурге и в Москве — 295, *554*.

«Дело», ежемесячный учеио литературный журнал, выходивший в Петербурге в 1866—1888 гг, официальный редактор до 1880 г — Н И. Шульгин, издатель и фактический редактор — Г Е Благосветлов — *472, 476, 477, 487, 505—507, 511, 517, 530, 531, 543 545, 558, 562, 565, 578—581, 583, 587, 593, 594, 599*

Дельвиг Антон Антонович, барон (1798—1831), поэт и переводчик — 298

Дементьева Александра Дмитриевна (1850—1922), жена П. Н Ткачева, участница революционного движения 60 х годов, привлекалась к суду по «нечаевскому делу»; в начале 70 х годов сослана в Калугу; затем эмигрировала — 206, 207.

Демерт Николай Александрович (1835—1876), писатель и публицист, вел внутреннее обозрение в «Искре» (1867—1869), «Неделе» (1869—1870) и «Отечественных записках» (1869—1875) — *515, 516, 584, 585.*

«Наши общественные дела» — *515, 516.*

«День», еженедельная газета, издававшаяся в Москве И С. Аксаковым в 1861—1865 гг, орган славянофилов — *587, 588, 610*

Державин Гаврила Романович (1743—1816) — 30, *474*

«Русские девушки» — 30, *474.*

Дефо Даниель (1660 или 1661—1731), аиглийский писатель

«Робинзон Крузо»; Робинзон — 260.

Диккенс (Dickens) Чарлз (1812—1870) — 425, 439

Димитрий, царевич (1582—1591), сын царя Ивана IV и Марии Нагой, погиб в Угличе, причины смерти не выяснены — 431, *603.*

Длинник, упоминается в воспоминаниях И. В Селиванова — 298

Дмитриев Федор Михайлович (1829—1894), публицист, историк русского права, профессор Московского университета — 283, *551.*

Добролюбов Николай Александрович (1836—1851) — 363, 457, *473, 579, 582, 592, 612.*

Долгов Николай Степанович (род в 1844 г), слушатель Московской петровской земледельческой академии, в 1869 г. член первого московского нечаевского кружка, затем организовал свой кружок, арестован в 1870 г.; приговорен к году тюремного заключения и строгому полицейскому надзору на пять лет — 195, 216—218, 229

Долгушин Александр Васильевич (1848—1885), революционер народник, вольнослушатель Петербургского технологического института; в 1870 г был арестован, судился по делу С. Г. Нечаева, но был освобожден; в 1872 г организовал революционный кружок; умер в тюрьме — *525.*

«Домашняя беседа» (до 1866 г — «Домашняя беседа для народного чтения»), реакционная еженедельная газета, выходившая в Петербурге с июля 1858 до ноября 1877 г., редактор-издатель В И. Аскочеиский — 447, *607.*

Достоевский Михаил Михайлович (1820—1864), писатель, переводчик и журналист, редактировал вместе с Ф М. Достоевским журналы «Время» (1861—1864) и «Эпоха» (1864) — *592.*

Достоевский Федор Михайлович (1821—1881) — 180, 412, *472, 480, 485, 498, 505, 506, 515, 517, 539, 542, 562, 573, 592, 596, 597, 598*

«Бесы» — *506*

«Дневник писателя» — *480, 505, 596.*

«Идиот» — 180, 413, *472, 517, 539, 562, 598, 599;* Мышкин — *598*

«Крокодил (Необыкновенное событие, или Пассаж в Пассаже)» — 259, *542.*

«Преступление и наказание» — 180, *498, 517, 596, 598,* Раскольников — *498.*

Дудоладов Александр Ефимович (род в 1848 г), студент Московской медико хирургической академии, член сибирского кружка Долгушина; арестован в 1870 г; был причислен к IV группе сообщников Нечаева и оправдан — *525.*

Дьёдонне Альфонс Эмиль, актер французской труппы петербургского Михайловского театра с 1864 по 1874 г.— 282, *551.*

Дьяченко Виктор Антонович (1818—1876), драматург — *559.*

«Пробный камень» — 318, *559.*

Дюма (отец) Александр (1802—1870), французский писатель романист — *541.*

Дюпон де Л'Эр (Лер) Жак Шарль (1767—1855), французский буржуазный

политический деятель, в феврале — мае 1848 г председатель Временного правительства — 67

Дюссо, владелец петербургского фешенебельного ресторана — 50

Евангелие — 449, *488*, *601*.

Евгеньев-Максимов (наст. фамилия — Максимов) Владислав Евгеньевич (1883—1955), литературовед — *464*, *484*, *533*, *537*, *563*, *609*.

«Из прошлого русской журнали стики Статьи и материалы» (сов местно с Д Е. Максимовым) — *533*.

Европеус Александр Иванович (1826—1885), общественный деятель, петрашевец — *518*.

Екатерина II (Алексеевна) (1729—1796), императрица всероссийская с 1762 г.— 219, 328, 382, 383, 385, *532*, *587*, *590*

«Наказ < > данный комиссии о сочинении проекта иового уложения» — 383, 385, *587*.

Елисеев, владелец гастрономических и винных магазинов в Москве и Петер бурге — 103, 243, 244, 253

Елисеев (литературный псевдоним — Грицько) Григорий Захарович (1821—1891), публицист, сотрудник «Современника» в 1858—1866 гг, где с 1861 г. вел «Внутреннее обозрение», одии из ре дакторов «Искры» (1859—1863), а также «Отечественных записок» (с 1868 г) — 324, 325, 334, *463*, *488*, *478*, *479*, *491*, *494*, *495*, *505*, *518*, *563*, *564—566*, *568*, *582*.

«Внутреннее обозрение» — *566*.

«О направлении в литературе» — *491*, *494*, *495*.

«Ответ на критику» — *565*.

Ермак Тимофеевич (ум. в 1585 г) — 431.

Ефремов Петр Александрович (1830—1907), библиограф и литературовед, публиковал библиографические статьи и материалы по истории русской литературы в «Отечественных записках», «Голосе» и др ; 1864—1865 гг редактировал «Книжный вестник» — 387, *591*.

«Степан Иванович Шешковский» (публикация) — 387, *591*.

Жандр Николай Павлович (1818—1895), писатель, поэт и драматург — 365—367, *580*, *581*.

«Нерон» — 365—368, *580*, *581*.

Жанен Филипп, актер французской труппы петербургского Михайловского театра в 1867—1872 гг.— 282, *551*.

«Женский вестник», журнал, издававшийся в Петербурге в 1866—1868 гг.; официальный редактор Н. И. Мессарош, фактическими редакторами были Н А. Благовещенский и А К Шеллер (Михайлов) — *542*, *550*, *599*.

«Живописное обозрение», еженедельный иллюстрированный журнал «для семейного чтения», издававшийся в Петербурге в 1872—1905 гг., среди издателей редакторов были А К Шеллер (Михайлов) в 1897—1899 гг, И. Н. Потапенко (1904) — *543*.

Жуковский Юлий Галактионович (1833 или 1822—1907), экономист и публицист, сотрудиик «Современника» в 1860—1866 гг, где печатал статьи по экономическим и юридическим вопросам; в 70 х годах отошел к либерализму, сотрудничал в «Вестнике Европы» — 324—334, *478*, *480*, *488*, *497*, *505*, *537*, *563—567*.

«Вопрос молодого поколения» — *497*.

«Материалы для характеристики современной русской литературы» — 324—334, *478*, *480*, *483*, *488*, *505*, *537*, *563—568*.

Жулева (по мужу Небольсина) Екатерина Николаевна (1830—1905), актриса петербургского Александринского театра с 1847 г — 311, 315, 316, *558*.

Журин Николай Алексеевич (1847—1894), актер петербургского Александринского театра в 1868—1869, 1872—1873 и 1875 гг — 316.

«Заграничный исторический сборник», см «Исторический сборник Вольной русской типографии в Лондоне»

Загуляев Михаил Аидреевич (1834—1900), журналист, с 1852 г. сотрудник «Голоса», с 1884 г — «Нового времени» — *555*.

«Столичная жизнь» — *555*.

Зазубрин (Заборовский) (ум в 1853 г. или 1854 г), упоминается в воспомииаииях И. В. Селиванова — 298.

Зайцев Варфоломей Александрович (1842—1882), публицист и критик, с 1863 г. сотрудиик «Русского слова», в 1869 г. эмигрировал, был члеиом I Интернационала, где примкнул к М А Бакуиииу;

в последние годы сблизился с Г В Плехановым — *569.*

«Перлы и адаманты русской журналистики» — *569.*

«Заря», ежемесячный литературный и политический журнал, издававшийся в Петербурге с 1869 по февраль 1872 г, редактор-издатель В. В. Кашпирев — 426, *496, 500, 505, 506, 562, 592, 594, 602, 607*

Засодимский Павел Владимирович (1843—1912), писатель народник, сотрудничал в журналах «Дело», «Отечественные записки», «Русское богатство» — 439

Зенон Элейский (род ок. 500 г до н э), древнегреческий философ — 44.

Золя Эмиль (1840—1902) — *535.*

Зотов Рафаил Михайлович (1795 или 1796—1871), драматург и театральный деятель, с 1818 г. служил в дирекции императорских театров в Петербурге, был начальником репертуара немецкой, а в 1826—1836 гг — русской драматических трупп, до 1858 г вел театральную хронику и политическую летопись в «Северной пчеле» — 290

Зотов Захар, камердинер и фаворит Екатерины II — 383.

Зубров Петр Иванович (1822—1873), актер петербургского Александринского театра, играл преимущественно характерные комедийные роли — 320.

Иванов Иван Иванович (ум в 1869 г), студент Московской земледельческой академии, участник студенческих волнений, член общества «Народная расправа», затем организовал свой революционный кружок, за отказ подчиниться Нечаеву убит — 198, 206, 212, 215—217, 224, *514, 521, 526.*

Иванов-Разумник (наст. фамилия — Иванов) Разумник Васильевич (1878—1946), историк литературы и социолог, в годы Великой Отечественной войны изменил Родине, умер в Германии — *464, 600, 603*

«Неизвестные страницы Салтыкова» — *600.*

Иволгин (литературный псевдоним — Чижик) Александр Николаевич (ум в 1869 г), поэт и писатель, сотрудничал в «Искре» (1866—1869), печатался в «Будильнике» — 275, 277, *536, 547, 548.*

«Смешные песни» — 275, 277, *536, 547, 548.*

Изабелла II (1830—1904), королева Испании с 1833 г, в 1868 г в результате начавшейся буржуазной революции была низложена — 442

Иисус Христос (библ.) — 288, 449, *601.*

Ильенко Александр Клавдиевич, поручик, военный историк — *481.*

«Смоленск, дорогое ожерелье царства русского» — *481.*

Исав (библ.) — 248

«Искра», еженедельный сатирический журнал революционно-демократического направления, издававшийся в Петербурге Н А Степановым (вышел из состава редакции в 1864 г.) и В С Курочкиным в 1859—1873 гг.— 298, *532, 537, 565, 579, 600.*

«Исторический сборник Вольной русской типографии в Лондоне» («Заграничный исторический сборник»), сборники статей, изданных А И Герценом и Н П Огаревым в Лондоне; вышло две книги, первая — в 1859 г, вторая — в 1861 г — 180, 181, *518.*

Ищенко И Т, литературовед — *466.*

«Щедрин и народное творчество» — *466*

Кавелина Евгения Павловна (род. в 1859 г), писательница, знакомая и корреспондент И С Тургенева — *610.*

«И. С. Тургенев в оценке своих ближайших современников» — *610.*

Казаков Александр Константинович (ум в 1881 г), генерал, возглавлял строительство Орловско-Витебской железной дороги — 49—51

Каин (библ.) — 409

Кант Иммануил (1724—1804), немецкий философ идеалист — 205, *526*

«Критика чистого разума» — 205, *526*

Канцырева Клавдия Ивановна, артистка петербургского балета в 1866—1870 гг — 291, *553.*

Каракозов Дмитрий Владимирович (1840—1866), член ишутинского революционного кружка, неудачно стрелявший 4 апреля 1866 г. в Александра II, казнен 3 сентября — 53, *481, 482, 525, 577.*

Карамзин Николай Михайлович (1766—1826), историк и писатель — 30, *495, 496.*

Каратыгин Василий Андреевич (1802—1853), актер-трагик, с 1832 г играл в петербургском Александринском театре — *551.*

Каратыгин Петр Андреевич (1805—1879), актер и драматург, исполнитель эпизодических комических ролей — 290, *552.*

«Булочная, или Петербургский немец» — 290, *552.*

Каспари Альвин Андреевич (1836—1912), издатель, редактор издатель журналов «Родина» и «Всемирная новь» — *275, 547.*

Кассий Лонгин Гай (I в. до н. э.), римский политический деятель, участник заговора против Цезаря — 198, *526.*

Катков Михаил Никифорович (1818—1887), публицист, редактор издатель «Московских ведомостей» в 1815—1855 и 1863—1887 гг и «Русского вестника» в 1856—1887 гг — 149, 171, 188, *329,* 332, *473, 479, 481—483, 497, 504, 511, 513, 515, 516, 524, 541, 546, 551, 552, 555, 567*

«Заметки «Русского вестника». Вопрос о народности в науке» — 164, *512*

Кельсиев Василий Иванович (1835—1872), публицист, деятель революционного движения 60 х годов, был близок к Герцеиу; в 1859 г. эмигрировал; в 1867 г. вернулся в Россию, заявив о раскаянии, и был прощен Александром II — 340, *571, 594.*

«Прожитое и продуманное» - 340

Кеплер Иоганн (1571—1630), немецкий астроном, открывший законы движения планет — 181.

Керр, см Кэри Г -Ч

Кетчер Николай Христофорович (1809 - 1886), писатель и переводчик, в 1831 г член московского кружка Герцеиа и Огарева — *512*

Киреевский Иван Васильевич (1806—1856), философ, публицист и литературный критик, славяиофил — *506*

Киркор Адам Карлович (1819—1886), археолог и публицист, редактор газеты «Виленский вестник» (1860—1864) и «Новое время» (1868—1871) — *552.*

Клеменц Дмитрий Александрович (1848—1914), революционный деятель, этиограф и археолог, в 1875—1878 гг. редактировал журиал «Община» — *464.*

«Письмо к графу Д. А Толстому» — *464*

Клингер Федор Иваиович (1752—1831), генерал лейтенант, с 1801 по 1820 г ди ректор сухолутного шляхетского кор пуса, с 1804 г. попечитель Дерптского университета и округа и член комитета по заведованию военными учебиыми заведениями — 386.

Клюшников Виктор Петрович (1841—1892), писатель, автор антинигилистических романов; с 1870 по 1892 г. (с перерывом) был редактором журиала «Нива» — 75, 254, 258, 426, 427, 429, *488, 489, 534, 540, 541, 601, 602*

«Большие корабли» — 427, *534, 602*

«Марево» — 75, 258, 427, 428, *488, 489, 534, 541, 601, 602;* Горобец — 75; Русанов — 254, *540, 601.*

«Цыгане» — 426, 427, 429, *601, 602;* Зарницын — *602*

Ковалевский Евграф Петрович (1790 или 1792—1867), государственный деятель, в 1858—1861 гг министр народного просвещения — *609.*

Ковалевский (литературные псевдонимы — Нил Безымянный, Е Горев) Егор Петрович (1811—1868), путешественник, писатель, дипломат, сенатор, в 1857—1864 гг. помощник председателя Русского географического общества, оргаинзатор и первый председатель Литературного фонда; с 1840 г. сотрудничал в «Современнике» — 455, 456, *464, 609, 610.*

«Восточные дела в двадцатых годах» — 456.

«Граф Блудов и его время» — 456

«История России в XIX столетии» (не завершена) — 456

«Петербург днем и ночью» — 455

«Путешествие в Китай» — 455.

«Путешествие во внутреннюю Африку» — 455

«Странствователь по суше и морям» — 455

«Четыре месяца в Черногории» («Четыре месяца у черногорцев») — 455

Ковалевский Павел Михайлович (1828—1907), критик и поэт, сотрудничал в «Современнике» и «Отечественных записках» — *550, 560.*

Кожанчиков Дмитрий Ефимович (ум в 1877 г), книготорговец и издатель — 319, *560.*

Козьма Прутков, коллективный псевдоним группы писателей· А К Толстого и братьев А М и В М. Жемчужниковых, выступавших со стихами, басиями,

афоризмами, комедиями, литературными пародиями — *480*

Козьмин Борис Павлович (1883—1958), историк и литературовед — *554*.

«И. В Селиванов и его письмо из революционной Франции 1848 г» — *554*.

Кокорев Василий Александрович (1817—1889), откупщик миллионер, руководитель ряда промышленных и финансовых предприятий, в конце 50-х — начале 60-х годов выступал с либеральными статьями и речами — 177.

«Миллиард в тумане» — 333

«Колокол», газета, издававшаяся Герценом и Огаревым с июля 1857 до апреля 1865 г в Лондоне и с мая 1865 до июля 1867 г в Женеве — *492, 496, 506, 516, 521, 589*.

Колумб Христофор (1451—1506) — 79.

Конрад Лилиеншвагер, псевдоним Н А Добролюбова и сатирическая маска либерального обличителя, созданная в его стихах — *480*.

Константин VII Багрянородный (905—959), византийский император из Македонской династии с 913 г (фактически с 945 г) — 49, 95, *480, 481*

«Об управлении империей» («De administrando Imperio») — *481*.

Коперник Николай (1473—1543) — 88

Кори Густав Иванович, журналист, один из редакторов петербургской газеты «Русский листок» — *497*.

Коринфский Михаил Петрович (род. ок 1844 г), студент Московской медико-хирургической академии, знакомый Нечаева, за участие в студенческих волнениях в 1868—1869 гг. был уволен из академии, после чего ушел «в народ»; арестован в 1870 г, однако за недостаточностью улик был оправдан — 195, 206, 207, 216—218, *525*.

Коровин С. С, знакомый И. В Селиванова — 298

«Космос, еженедельное популярно-научное обозрение с рисунками и приложением», журнал, выходил в Петербурге в 1869 г, официальный издатель-редактор Л. Н. Симонов, фактически редактировался М. А. Антоновичем и Ю. Г Жуковским — *488, 564*.

Костомаров Всеволод Дмитриевич (1837—1865), поэт-переводчик, отставной офицер, арестованный в 1861 г. по делу «Великоруса», сыграл предательскую роль в процессе Чернышевского, изготовив по предложению III Отделения подложные документы — *518*.

Кошелев Александр Иванович (1806—1883), публицист и общественный деятель, славянофил, редактор издатель «Русской беседы» (1856—1860), затем «Беседы» (1871—1872) — 383, 384, *587*.

«Голос из земства» — *587*

Кошкаров (литературный псевдоним — Н Витняков) И. Д, беллетрист — 278, 419, 421, 463, *548, 549, 599, 600*

«А. Большаков» — 278, 463, *548, 549, 599*, Большаков — *549*

«Русские демократы» — 419, 421, *548, 599*.

«Честные люди» — *600*

Кошкин Петр Михайлович (род ок 1850 г), студент Московской медико-хирургической академии, член сибирского кружка Долгушина в 1869 г, арестован в 1870 г; причисленный к IV группе сообщников Нечаева, признан затем невиновным; с 1872 г находился под надзором полиции в Самаре — *525*.

Краевский Андрей Александрович (1810—1889), литератор, издатель «Отечественных записок» в 1839—1884 гг (с 1868 г только номинальный) и газеты «Голос» (1863—1884) — 328, 329, 332, *467, 473, 537, 563, 564, 565—567, 576, 582*.

Крамской Иван Николаевич (1837—1887), живописец и прогрессивный художественный деятель, член Товарищества передвижных художественных выставок — 226, 232, 233, *529, 533*.

«Голова мужика» — 226, 233, *529, 533*.

«Охотник на тяге (В ожидании зверя)» — 233, *533*.

«Русалки» («Майская ночь») — 226, 233, *533*.

«Красный архив», исторический журнал, издававшийся с 1922 по 1941 г — *611*.

Крестовский Всеволод Владимирович (1840—1895), поэт и писатель, автор антинигилистических романов — 238, *527, 534, 535*.

«Две силы» — *534*.

«Панургово стадо» — 219, *527*.

«Петербургские трущобы» — *535*.

Крылов Иван Андреевич (1768 или 1769—1844) — 400, 403, *583*.

«Стрекоза и Муравей» — 373, *583*.

«Крымский вестник», ежедневная политическая, общественная и литературная газета, выходила в Севастополе с 1888 по февраль 1918 г — *611.*

Кузнецов Алексей Кириллович (род в 1846 г.), студент Московской земледельческой академии, член общества «Народная расправа» в 1869 г.; принимал участие в убийстве И. Иванова, арестован в 1870 г., причисленный к I группе сообщников Нечаева, приговорен к каторжным работам на 10 лет, затем к пожизненному поселению в Сибири — 192, 195, 206, 215—218, 220, *521, 525, 526.*

Кукольник Нестор Васильевич (1809—1868), драматург, беллетрист и поэт, представитель казенно-патриотического направления в театральном репертуаре — 290, 365—367, 388, *591.*

«Жизнь за царя» («Иван Сусанин», либретто) — 282

«Записки» — *591*

Куракины, древний русский княжеский род — 383

Курганов Николай Гаврилович (1725—1796), литератор, составитель «Письмовника», очень популярного (особенно в провинции) в конце XVIII — начале XIX в., переиздавался 10 раз.

«Письмовник» — 448

Куртенер Федор Федорович (1795—1870 е годы), лектор французского языка в Московском университете, автор учебников по французскому языку и литературе — 260, *542.*

Кушаков Анатолий Васильевич, литературовед — *466.*

«Неизвестная статья М. Е. Салтыкова-Щедрина» — *466.*

Кэри (Керр) Генри Чарлз (1793—1879), американский вульгарный буржуазный экономист, автор теории «гармонии классовых интересов» — 271.

Лавров Петр Лаврович (1823—1900), революционный деятель, философ, публицист и критик, член «Земли и воли»; в 1870 г. эмигрировал, вступил в I Интернационал, участвовал в Парижской коммуне — *464, 476, 477, 490, 510*

«Исторические письма» — *510.*

«Письмо провинциала о задачах современной критики» — *476, 477*

Ладыженский Н. Ф., масон; упоминается в «Воспоминаниях прошедшего» И. В. Селиванова — 298

Лажечников Иван Иванович (1792—1869), писатель и драматург, тверской и витебский вице-губернатор — 292–297, *553—555.*

«Басурман» — 293.

«Беленькие, черненькие и серенькие» — *555.*

«Внучка панцырного боярина» — 292, 294, 295, *553, 555;* Стабровский — *554.*

«Заметки для биографии Белинского» — *554.*

«Ледяной дом» — 293.

«Немного лет назад» — *553.*

«Последний Новик» — 293.

Ламанский Евгений Иванович (1825—1902), финансист и государственный деятель, с 1860 г. — товарищ управляющего, затем управляющий Государственным банком — *502, 605.*

«Ассигнации в Китае» («Китайские ассигнации») — 131, 133, *502, 605.*

Ламартин Альфонс Мари Луи де (1790—1869), французский поэт-романтик, публицист, политический деятель — *512.*

Лассаль Фердинанд (1825—1864), немецкий публицист, философ и критик — *545, 546.*

Лафайет Мари Мадлен, графиня (1634—1693), французская писательница — 67, 68

Ледрю-Роллен (Роллень) Александр Огюст (1807—1874), французский политический деятель, мелкобуржуазный демократ, в 1848 г. министр внутренних дел Временного правительства; в 1849 г. бежал в Англию и оставался в эмиграции до низложения Наполеона III — *511, 512.*

Лейкин Николай Александрович (1841—1906), писатель и журналист; в 1860 г. сотрудничал в «Библиотеке для чтения», «Современнике», «Отечественных записках», «Искре», с начала 70-х годов сотрудник «Петербургской газеты», с 1882 г. редактор-издатель юмористического журнала «Осколки» — 421, 423—425, 439, *595, 600, 601.*

«Повести, рассказы и драматические сочинения» — 421, *595, 600, 601.*

«Ряженые» — 423.

Ленин Владимир Ильич (1870—1924) — *491.*

Ленский (наст. фамилия — Воробьев) Дмитрий Тимофеевич (1805—1860), водевилист и артист Малого театра — 278, *540, 548.*

«Девица-кавалерист» — 278.
«Стряпчий под столом» — 256. 278, *540*

Леонтьев Павел Михайлович (1822—1874), профессор римской словесности в Московском университете, публицист, ближайший сотрудник М Каткова, принимал участие в издании «Русского вестника» (с 1856 г.) и «Московских ведомостей» (с 1863 г) — 329, *567*.

Лермонтов Михаил Юрьевич (1814—1841) — 303, 385, 388, 390—392, *560, 589, 591, 606*
«Герой нашего времени» — 303, 390, *589*, Бэла — 303; Грушницкий — 303; Максим Максимович — 303, Мери — 303, Печорин — 303, *556*
«Журналист, читатель и писатель» — 321, *560*.
«Маскарад» — 391
«Мцыри» — 390, *589*.
«Не верь себе » — 437, *606*
«Сказка для детей» — 390, *589*

Леру Пьер (1797—1871), французский буржуазный социалист утопист — *547*.

Лесков (литературный псевдоним — Стебницкий) Николай Семенович (1831—1895), писатель — 46, 70, 237, 254, 258, 280, 284, 335—343, 429, *475, 488, 534, 535, 540, 541, 550, 551, 558, 568—571, 584*
«Воительница» — 284, *475, 551, 558, 568*.
«Леди Макбет Мценского уезда» — 341, *569*.
«Литератор красавец» — *535*.
«Некуда» — 258, 335—338, *475, 487, 488, 539, 540, 541 568—570, 584*.
«Обойденные» — 335, *568*.
«Объяснение г Стебницкого» — *570, 571*.
«Овцебык» — 343, *569*
«Повести, очерки и рассказы М Стебницкого» — *535, 550, 568—571*.
«Рассказы Стебницкого (Н. С. Лескова)» — *569*
«Расточитель» — 280, *534, 550*.
«Резонеры» — *534*.
«Русское общество в Париже» — 338, 340, *569, 570*.
«Старые годы в селе Плодомасове» — *569*.

Лешков Василий Николаевич (1810—1881), юрист, профессор по кафедре международного, а затем полицейского права в Московском университете — *551*

Лжедимитрий I (ум. в 1606 г.), вероятно, беглый монах Григорий Отрепьев, выдавал себя за сына Ивана IV, ставленник польско-шляхетских интервентов и Ватикана, на русском престоле в 1605—1606 гг — 230.

Лжедимитрий II («Тушинский вор», ум в 1610 г), ставленник польско-шляхетских интервентов и Ватикана, авантюрист, выдававший себя за сына Ивана IV Димитрия — 230

Либих Юстус (1803—1873), немецкий химик — 293, *553*.

Линская (урожд Коробьина) Юлия Николаевна (1820—1871), актриса петербургского Александринского театра в 1841—1850 и 1853—1871 гг — 318, 320

«Литературная библиотека», журнал, издававшийся в Петербурге Ю. М. Богушевичем в 1866—1868 гг.— *534, 535*

«Литературная газета», орган Правления Союза советских писателей СССР, издается с 1929 г — *610*

«Литературное наследство» — *464, 467, 475, 478, 482, 484, 490, 491, 519, 521, 532, 537, 538, 550, 554, 555, 564, 565, 567, 572, 575, 576, 592, 611*

«Литературное обозрение», критико-библиографический двухнедельный журнал, издавался в Москве в 1936—1941 гг.— *610*

Лобанов Дмитрий Иванович, драматург и либреттист — 429, 431, *603*.
«А Н Серов и его опера «Юдифь» — *603*.
«Темное дело» — 429, 431, *603*.
«Юдифь» (либретто) — *603*

Ломоносов Михаил Васильевич (1711—1765) — *566*.
«На день восшествия на престол императрицы Елизаветы Петровны» — 327, 438, *566*

Лонгинов Михаил Николаевич (1823—1875), библиограф и историк литературы, с 1871 по 1875 г. начальник Главного управления по делам печати, сотрудничал в «Русском вестнике», сослуживец Салтыкова по канцелярии военного министерства, знакомый Лермонтова — 258, 391, *542, 589*.
«Заметки» о Лермонтове» — 391

Лукка Паолина (1841—1909), австрийская артистка оперы, с 1861 по 1872 г пела в Берлинской, а в 1874—1889 гг. в Венской придворных операх, в 1868—1869 и 1877 гг. гастролировала в России — 270, *547*.

Львов Николай Михайлович (1821—1872), драматург, автор комедий — 249, 253, 254, *538*, *539*, *558*.

«Кампания на акциях» — *539*

«Предубеждение, или Не место красит человека» — 254, *539*

«Свет не без добрых людей» — 249, 254, *539*, *558*.

Людовик XIV (1638—1715), французский король с 1643 г — 152.

Людовик XV (1710—1774), французский король с 1715 г — *478*.

Маврицкий Василий Абрамович (род. ок 1847 г.), студент Киевской духовной академии, был знаком с Нечаевым через своего брата, который был членом «Народной расправы», арестован в 1870 г., причислен к I группе сообщников Нечаева, однако за недостаточностью улик оправдан — *527*.

Майков Аполлон Николаевич (1821—1897), поэт и переводчик — *592*

Макаров Николай Петрович (1810—1890), лексикограф и беллетрист, агент III Отделения — 447—451, *608*.

«Кровавый призрак» — *608*.

«Мои семидесятилетние воспоминания» — *609*.

«Энциклопедия ума, или Словарь избранных мыслей авторов всех народов и всех веков» — 447—451, *608*, *609*.

Макашин Сергей Александрович, литературовед — *475*, *477*, *498*, *512*, *518*, *532*, *538*, *564*, *575*, *610*

«Некрасов и литературная политика самодержавия» — *564*.

«Против «литературы благонамеренных усилий» » — *538*.

«Салтыков Щедрин. Биография» — *498*, *512*.

«Щедрин и реакция 80 х годов» — *610*.

Макиавелли (Machiavelli) Никколо (1469—1527), итальянский писатель, историк, политический деятель эпохи Возрождения, проповедовал политику пренебрежения к законам морали, допускал убийство, предательство, клятвопреступление — 383, 385, *587—588*

«Государь» («Il Principe») — 383, *587—588*.

Максимов Алексей Мнхайлович (1813—1861), артист петербургского Александринского театра с 1834 г.— 290, *552*.

Максимов Сергей Васильевич (1831—1901), писатель и этнограф, приобрел известность очерками из народного быта — 436, 440, *605*.

«Лесная глушь» — 436, *605*.

Малышев Павел Иванович (1836—1882), актер Александрииского театра в Петербурге — 281, *550*.

Мальтус Томас Роберт (1766—1834), аиглийский экономист — 273, *546—547*.

«Опыт о законе народонаселения» — *546*, *547*

Манн Ипполит Александрович (1823—1894), драматург и музыкальный критик, автор комедий и водевилей, член Петербургского театрально-литературного комитета — 254, 319, 320, *539*, *558*, *560*.

«Говоруны» — 319, 320, *539*, *558*, *560*.

«Паутина» — 254, *539*.

Марков Михаил Александрович (ум в 1876 г), генерал лейтенант, писатель и журналист, сотрудничал в «Русском инвалиде» — 50—52, 58, *478*.

Маркс Карл (1818—1883) — *491*, *520*, *527*, *546*, *585*.

«Альянс социалистической демократии и Международное товарищество рабочих» — *520*

«Заявление Генерального совета по поводу циркуляра Жюля Фавра» — *527*.

Мартынов Александр Евстафьевич (1816—1860), актер петербургского Александринского театра с 1836 г., ученик В. Каратыгина — 290, *552*, *559*.

«Медицинский вестник», еженедельная газета, выходила с 1861 по 1885 г., сначала под редакцией Я. А Чистовича, издатель И А. Никитин, затем редактор издатель Дмитровский — *489*

Мезьер Августа Владимировна (1869—1935), библиограф, переводчица и литератор — *475*, *484*.

«Русская словесность с XI по XIX столетие включительно» — *475*, *484*.

Мейер Г, знакомый И В. Селиванова, упоминается в его «Воспоминаниях прошедшего» — 298.

Мельников (литературный псевдоним — Андрей Печерский) Павел Иванович (1818—1883), писатель — 440, *466*.

«Княжна Тараканова» — *466*.

Меринский Александр Матвеевич (ум. в 1873 г), соученик М Ю. Лермонтова по юнкерской школе — *589*.

«Воспоминание о Лермонтове»—*589*

Микешин Михаил Осипович (1836—1896), художник баталист, график-сатирик и иллюстратор, автор многочисленных проектов памятников — 228, *532*.

Милль Джон Стюарт (1806—1873), английский философ и экономист — 271, *549*.

Мильтон Джон (1608—1674), английский поэт.

«Потерянный рай» — 343.

Минаев Дмитрий Дмитриевич (1835—1889), поэт, в 60 х годах постоянный сотрудник «Современника», «Русского слова», «Искры», с 1865 г — «Будильника» — 242, 246, 248, 249, *478*, *536*, *537*, *547*, *548*, *565*.

«В сумерках» — 242, *478*, *536*, *537*, *547*.

«Вампир» — 249.

«Добрый совет» — 249

«Загадка» — 248

«Золотой телец» — 248.

«Муза» — 247, *537*.

«На сон грядущий» — 248

«Обманутая муза» — 248, *537*.

«Одна из многих» — 248

«Песня Еремушке» — *537*.

«Прерванные куплеты» — 248.

«Приап» — 249

«Раут» — 246, 248.

«С Невского берега» — *565*.

Минкус Людвиг (Алоизий) Федорович (1827—1907), скрипач и композитор, с начала 50 х годов жил в России, в 1861—1872 гг солист оркестра Большого театра в Москве.

«Золотая рыбка» — *553*.

Михайлов А., литературный псевдоним Шеллера А К (см.).

Михайлов Михаил Ларионович (Илларионович; 1829—1865), поэт, публицист и переводчик, революционный деятель — *539*

Михайловский Николай Константинович (1842—1904), публицист, социолог и литературный критик, теоретик народничества — *464*, *510*, *524*, *563—565*, *608*.

«Литературные воспоминания и современная смута» — *564*, *565*.

«Что такое прогресс?» — *510*

Мицкевич Адам (1798—1855) — *490*.

«Дзяды» — 94, *490*

Молешотт Якоб (1822—1893), немецкий физиолог, в философии — вульгарный материалист — 293, *553*.

Монахов Ипполит Иванович (1842—1877), драматический актер, с 1865 г состоявший в труппе Александринского театра, был широко известен как чтец — *560*.

Мордовцев Даниил Лукич (1830—1905), русский и украинский писатель и историк, сотрудничал в демократических журналах «Русское слово», «Отечественные записки», «Дело» — 368, 373, *581*, *582*, *583*.

«Гайдамачина» — *581*.

«Новые русские люди» — 368, 370—373, *581*, *582*.

«Политические движения русского народа» — *581*.

«Самозванцы и понизовая вольница» — *581*.

Морозов, промышленник, владелец фабрик в Тверской губернии — *545*.

«Москва», ежедневная политическая газета славянофильского направления, издававшаяся И С Аксаковым в 1867—1868 гг — *479*, *483*, *484*, *496*, *497*.

«Московские ведомости», официальная газета, издававшаяся в 1756—1917 гг., в 1863—1887 гг. выходила под редакцией М П Каткова — 48, 55, 57, 60, 143, 144, 164, 175, 186—190, 192, 194, 195, 209—211, 285, 348, *479*, *482—483*, *496*, *497*, *500*, *504*, *511*, *513—518*, *522*, *523*, *526*, *546*, *551*, *552*, *574*, *611*.

Муравьев («Вешатель») Михаил Николаевич, граф Виленский (1796—1866), генерал адъютант, член Государственного совета, министр государственных имуществ в 1857—1862 гг; в 1863 г в качестве военного губернатора Северо-Западного края жестоко подавлял восстания в Литве и Белоруссии — *537*

Муро Жюль, французский экономист — 268, 272, 274, *488*, *544*, *545*.

«Задельная плата и кооперативные ассоциации» — 268, 270, 271, *488*, *544*, *545*.

Мясоедов Григорий Григорьевич (1835—1911), художник, член Товарищества передвижных художественных выставок — 225, 226, 231, *529*, *532*

«Дедушка русского флота» — 225, 231, 232, *532*.

Наполеон I Бонапарт (1769—1821) — 96, 298

Наполеон III (Луи Наполеон Бонапарт, 1808—1873), французский император с 1852 г, свергнут с престола революцией 4 сентября 1870 г — 59, 433, *484*, *511*.

«Неделя», еженедельная либерально-

народническая политическая и литературная газета; издавалась в Петербурге с марта 1866 по 1901 г; в 1876—1893 гг. редактор — П А Гайдебуров — *499, 500, 504, 510, 518, 586, 611.*

Незнакомец — литературный псевдоним Суворина А С. (см).

Некрасов Николай Алексеевич (1821—1877) — 324—329, 332—334, 457, *467, 478—480, 484, 488, 505, 514, 518, 522, 533, 534, 536, 537, 555, 556, 561, 563—568, 573, 575, 576, 580, 582, 609, 610, 612.*

«Кому на Руси жить хорошо» — *514.*

«Муравьевская ода» — *537.*

Нерон Клавдий Цезарь Август Германик (37—68), римский император с 54 г — 365, *580*

Неронов, московский судья — *282, 551.*

Нестерова А. А.— 298.

Нечаев Геннадий, отец С Г и А Г. Нечаевых, рабочий-ремесленник — 204, 217, 218.

Нечаев Сергей Геннадиевич (1847—1882), революционер заговорщик, в 1869 г. организовал общество «Народная расправа»; после убийства студента Иванова бежал за границу, в 1872 г. швейцарскими властями выдан русскому правительству, осужден в 1873 г. к 20 годам каторги — 171—173, 187, 189, 191, 193, 198—200, 203—205, 209—224, *463, 486, 514, 516, 518—525, 526, 527, 602.*

«Катехизис революционера» — 198, 212, *520, 526.*

Нечаева (в замужестве Сомова) Анна Геннадиевна, сестра С. Г. Нечаева, студентка медик, арестована в 1869 г., но по делу Нечаева не привлекалась, в 1870 г. освобождена и отправлена на родину под надзор полиции — 204, 217.

Нибур Бартольд Георг (1776—1831), немецкий историк античности, автор «Римской истории» — 167.

«Нива», еженедельный иллюстрированный журнал, выходивший в Петербурге в 1870—1918 гг., в 1870—1892 гг редактор В. П. Клюшников, затем до 1904 г. издавался А Ф Марксом — 427, *602*

Никитенко Александр Васильевич (1804—1877), мемуарист и литературный критик, в 1847—1848 гг. официальный редактор «Современника» — *559.*

«Дневник» — *559.*

Никитенко Софья Александровна (1840—1901), переводчица, дочь А В Никитенко, один из самых близких друзей Гончарова в 60—80-е годы — *487.*

Никитин П., историк — *481.*

«История города Смоленска» — *481*

Никитников, служащий в горном правлении — 298.

Николаев Николай Николаевич (род ок 1850 г), надзиратель арестантского дома; в 1869 г. отдал свой паспорт Нечаеву для отъезда за границу; член общества «Народная расправа», принимал участие в убийстве И Иванова; арестован в 1869 г., приговорен к семи годам каторжных работ, а затем пожизненному поселению в Сибири — 195, 206 216—218, 220, *521, 525.*

Николай I (1796—1855), всероссийский император с 1825 г — *513, 548, 590.*

Нильский (наст фамилия — Нилус) Александр Александрович (1841—1899), артист петербургского Александринского театра, мемуарист, с 1873 г — член Театрально литературного комитета — 282, 285, 287, 289 292, 316, 366, 367, *560, 580.*

«Закулисная хроника» — *580.*

Новиков Николай Иванович (1744—1818), просветитель, писатель, журналист, критик и книгоиздатель; в 1769 г. начал издавать журнал «Трутень», затем «Пустомеля» (1770), «Живописец» (1772—1773) и «Кошелек» (1774) — 17, 446

«Новое время», политическая и литературная газета, издававшаяся в Петербурге в 1868—1917 гг., с 1869 г — ежедневно; издатель редактор с 1876 г — А С. Суворин — 54, 285, *482, 483, 552.*

Новосильцева (литературный псевдоним — Т. Себинова) Екатерина Владимировна (ум. в 1885 г), писательница и историк — 280, *550.*

«Демократический подвиг» — 280, 281, *550.*

Ньютон Исаак (1642—1727) — 181, 327, 438, *566.*

Оболенский Дмитрий Александрович, князь (1822—1881), член Государственного совета, товарищ министра государственных имуществ, в 1862—1865 гг председатель комиссии для устройства цензуры и выработки нового закона о печати — *493.*

Обручев Владимир Александрович (1836—1912), публицист, сотрудник «Современника» (1859—1861) и «Отечествен-

ных записок», арестован в 1861 г за распространение прокламаций «Великорус» — *539*

«Общее дело», русская политическая и литературная газета, выходившая ежемесячно в Женеве с мая 1877 по ноябрь 1890 г Основателем и руководителем газеты был А. Х Христофоров, ведущими сотрудниками — Н А Белоголовый, В А Зайцев, Н О Осипов, в газете печатались произведения Салтыкова, запрещенные цензурой — *517*

Огарев Николай Платонович (1813—1877), поэт и публицист — 205, 206, 212—214, *472, 506, 520, 521, 526, 527, 592.*

«В память людям 14 декабря 1825 г» — *521.*

«Наша повесть» — *521.*

«От стариков молодым друзьям» — *521.*

«Студент» — 205, 206, 212, *521, 527.*

Одоевский Александр Иванович, князь (1802—1839), поэт, декабрист — *580.*

Ожигина Людмила Александровна (1837—1899), писательница — 373, 376, 377, *583.*

«Своим путем (Из записок современной девушки)» — 373, 376, 377, *583.*

Ожье Эмиль (1820—1889), французский драматург, член Французской академии с 1857 г, один из противников романтизма — 315, 317, *558, 559.*

«Le gendre de monsieur Poirier» («Зять господина Пуарье») — 315, 317, *558, 559.*

Озеров (Дудкин) Дмитрий Иванович (1834—1889), драматург и актер Александринского театра в Петербурге в 1844—1854 и 1859—1880 гг славился в комических ролях — 290, *552.*

Окрейц Станислав Станиславович, публицист, критик и писатель — *487.*

«Новые романы старых романистов» — *487.*

Октавия, дочь императора Клавдия и Мессалины, жена Нерона, им убитая — 365

Омулевский (наст. фамилия — Федоров) Иннокентий Васильевич (1836 или 1837—1884), писатель и поэт, революционный демократ — 411, 417, 418, 438, 439, *472, 486, 579, 580, 596, 597, 599, 606*

«Шаг за шагом» («Светлов, его взгляды, характер и деятельность») — 411, 417, 418, *472, 486, 580, 596, 597, 599, 606*

Онноре Ириа Ивановна, певица московского Большого театра с 1866 г — 282, *550, 551*

«Одиннадцать лет в театре» — *551.*

Орлов Владимир Федорович (род ок. 1843 г), учитель, принимал участие в студенческих волнениях, жил вместе с Нечаевым; арестован в 1869 г, однако из за недостаточности улик оправдан — 195, 206, 216—218, *525*

«Осколки», юмористический художественно литературный журнал с карикатурами, выходил в Петербурге в 1881—1916 гг. еженедельно, основатель Р. Р Голике, в 1882—1905 гг редактор издатель Н. А Лейкин — *600*

Осмоловский Виктор Федорович, литературовед — *466.*

«Салтыков-Щедрин и украинская литература» — *466.*

Островский Александр Николаевич (1823—1886) — 311, 312, *533, 552, 559, 582.*

«Гроза» — *552*, Тихон — *552*

«Отечественные записки», ежемесячный литературно-политический журнал, издавался в Петербурге с 1818 г.; с 1868 г при Некрасове и Салтыкове Щедрине орган революционной демократии, закрыт в 1884 г — 134, 142, 194, 321, 324, 326, 328—333, 391, 392, *463—468, 472, 474—479, 480, 483—488, 490—492, 494, 496, 498—500, 503, 505, 507—512, 514, 519, 522—526, 528, 533, 534, 536—540, 542, 543, 548—551, 555, 556, 560, 561—569, 573, 575, 576, 578, 579, 581, 583—585, 589, 591—596, 600—602, 605—611.*

Оффенбах Жак (Якоб, 1819—1880), французский композитор, один из основоположников классической оперетты — *550, 552, 559*

«Званый вечер с итальянцами» — *552*

«Орфей в аду» — *552.*

«Прекрасная Елена» — 281, 318, *550—552, 559*, Парис — *551*

Павел I (1754—1801), российский император с 1796 г — *588.*

Павел (библ.) — *502.*

Павлов (литературный псевдоним — И. Оптухин) Иван Васильевич (1823—1904), журналист; учился с Салтыковым в Московском благородном пансионе и в лицее, был близок к славянофилам; в

1860 г издавал журнал «Московский вестник» — *532.*

Павлов Николай Филиппович (1803—1864), писатель; издавал газеты «Наше время» (1860—1863) и «Русские ведомости» (1863—1864) — *473, 516.*

Палеолог Георгий, гусарский полковник, военный историк и публицист — 347, 349—352, *574.*

«Записки о современных вопросах России» — 347, 349, *574.*

Панаев Иван Иванович (1812—1862), писатель, в 1847 г вместе с Некрасовым основал журнал «Современник» — *589, 591*

«Литературные воспоминания» — *589, 591.*

Пантелеев Лонгин Федорович (1840—1919), общественный деятель, публицист, мемуарист и издатель, член петербургского комитета «Земля и воля» — *598, 599.*

Панютин (литературный псевдоним — Нил Адмирари) Лев Константинович (1829—1882), фельетонист и поэт, сотрудничал в «Голосе» — 50—52, 58, *478, 481.*

Папковский Борис Васильевич, литературовед — *465, 466, 564*

«Архив журнала «Отечественных записок» — *465.*

«Некрасов и литературная политика самодержавия» — *564.*

«О щедринском наследстве и методе литературно идеологических и текстовых параллелей» — *465.*

Пастрана Юлия, женщина с бородой и усами, которую показывали в Петербурге и в Москве в конце 50 х годов — 337

Патти Аделина (1843—1919), итальянская певица, колоратурное сопрано, дебютировала в Петербурге в начале января 1869 г. и оставалась до 1877 г — 101

Перикл (493—429 гг до н э), государственный деятель Афинской республики, оратор и полководец — 424

Перов Василий Григорьевич (1833—1882), живописец и график, один из крупнейших представителей демократического реалистического искусства, член-учредитель Товарищества передвижных художественных выставок — 232, 233, *531, 533.*

«Охотники на привале» — 233, *531, 533.*

«Портрет А. Н Островского» — 233, *533.*

«Петербургские ведомости», см «Санкт-Петербургские ведомости»

Петр I Алексеевич (1672—1725), российский царь с 1682 г, император — с 1721 г — 50, 219, 225, 226, 229—232, *481, 504, 506, 529—532, 586.*

«Печать и революция», ежемесячный журнал литературы, искусства, критики и библиографии, издавался в Москве в 1921—1930 гг — *484, 533, 563, 609*

Пибоди Джордж (1795—1869), американский миллионер, филантроп, основатель фонда его имени для помощи бедным — 177.

Писарев Дмитрий Иванович (1840—1868) — 332, 340, *489, 498, 501, 517, 539, 567, 568, 570, 571, 591, 592, 601, 608.*

«Борьба за жизнь» — *498, 517.*

«Прогулка по садам российской словесности» — *570, 592.*

«Роман кисейной девушки» — *591.*

«Сердитое бессилие» — *489, 592, 601.*

«Цветы невинного юмора» — *501.*

Писемский Алексей Феофилактович (1821—1881), писатель; в 1857—1860 гг. совместо с А. В. Дружининым, а в 1860—1863 гг. единолично редактировал «Библиотеку для чтения» — 70, 342, 438, 439, *473, 485, 488, 503.*

«Взбаламученное море» — 70, 71, 139, *473, 485, 488, 503;* Иона киник — *488.*

«Письмовник», см. Курганов Н Г

Платон (427—347 гг до н э.), древнегреческий философ-идеалист — 327, *566*

Плеханов Георгий Валентинович (1856—1918) — *489.*

«Гл И Успенский» — *489.*

Плещеев Александр Николаевич (1825—1893), поэт, прозаик и критик, сотрудничал в «Современнике» и «Отечественных записках» — *518*

Погодин Михаил Петрович (1800—1875), историк, писатель и журналист, профессор Московского университета, академик с 1841 г, в 1841—1856 гг. редактор журнала «Москвитянин», автор драмы «Марфа Посадница» и рассказов из народного быта — 238, 432, *535.*

«Год в чужих краях» («Путешествие за границу») — 238, 432, *535*

«Подснежник», альманах, выходил в Петербурге в 1829—1830 гг; вышло две книги; издатели в 1829 г — А А Дельвиг

и М О Сомов, в 1830 г — С. В Аладьин — 101, *495.*

Покусаев Евграф Иванович, литературовед — *506, 510, 536, 548, 589.*

«Революционная сатира Салтыкова-Щедрина» — *506, 536, 548, 589.*

«Салтыков Щедрин в шестидесятые годы» — *510.*

Полевой Николай Алексеевич (1796—1846), беллетрист, драматург, критик, историк, автор казенно патриотических драм — 290, *580.*

Полевой Петр Николаевич, сын Н А Полевого, журналист — *569.*

«Полицейские ведомости», см. «Ведомости Саикт-Петербургской городской полиции».

Полонский Яков Петрович (1819—1898), поэт и писатель, в 1859—1860 гг. один из редакторов «Русского слова», в 1860—1896 гг служил в Комитете иностранной цензуры, в Совете главного управления по делам печати, сотрудничал в «Отечественных записках» и «Современнике», затем в журналах «Время» и «Эпоха» — 343—345, 395, 396, 398—401, 403—405, *534, 572, 573, 594, 595.*

«Женитьба Атуева» — *594*

«Ночь в Летием саду» — 396, 399, *594, 595*

«Признаиия Сергея Чалыгина» — 396, 398, *534, 594, 595.*

«Рецензент «Отечественных записок» и ответ ему Я П Полонского» — *594, 595.*

«Снопы Стихи и проза» — 395, 396, *572, 573, 594, 595.*

«Сочннения» — 243, *572, 573, 594.*

«Царство науки не знает предела » — *572, 573.*

Полтавский А., корреспондент «Крымского вестника» — *611.*

«Петербургские шсьма» — *611*

Полунин Алексей Иванович (род. в 1820 г), ординарный профессор патологоанатомии и физиологии медицинского факультета Московского университета — 179, 188, 200—202, *517.*

Поляков Самуил Соломонович (1837—1888), петербургский домовладелец и коммерсант, миллионер, держатель большинства акций общества по постройке и эксплуатации железных дорог — 177

Помпадур (наст имя — Жанна Антуанетта Пуассон), маркиза де (1721—1764), фаворитка (с 1745 г) французского короля Людовика XV, оказывавшая большое влияние на государственные дела — *555.*

Поппея Сабина Младшая (ум. в 65 г.), жена Марка Сильвия Отона, затем Нерона; побудила его к убийству матери, Агриппины, а потом была им убита — 365

Потемкин Григорий Александрович (1739—1791), государственный и военный деятель, генерал фельдмаршал, фаворит Екатерины II, в 1776 г. генерал губернатор Новороссийской, Азовской и Астраханской губерний — 383, 387

«Правительственный вестник», ежедневная официальная газета, выходившая в Петербурге в 1869—1917 гг — 200, *522, 525—527.*

Прокопович Феофан (1681—1736), церковный и общественный деятель, ученый и поэт, с 1724 г архиепископ новгородский, стороиник петровских преобразований — 226, 334, *505, 532, 568.*

«Слово иа погребении всепресветлейшего державнейшего Петра Великого» — 226, *532.*

Прудон Пьер Жозеф (1809—1865), французский мелкобуржуазный социалист, теоретик анархизма — 181, *508, 549*

Прыжов Иван Гаврилович (1827—1885), историк, этнограф и публицист; в 1869 г вступил в нечаевскую организацию «Народная расправа», за участие в убийстве студента Иванова осужден на каторжиые работы, с 1881 г — иа поселении в Сибири, где занимался научной и литературной деятельностью — 197, 204, 206, 207, 214, 215—218, 220, *521, 525, 526.*

Прянишников Илларион Михайлович (1840—1894), живописец передвижник — 226, 232, *529, 533.*

«Погорелые» — 226, 232, *529, 533.*

«Порожняки» («Мужики, возвращающиеся из города порожняком») — 232, *533.*

Пугачев Емельяи Иванович (ок 1742—1775) — *580*

Пушкин Александр Сергеевич (1799—1837) — 388, 457, 459, *517, 552, 600, 603, 608, 612.*

«Евгений Онегин» — 304, *608.*

«К вельможе» — 179, *517.*

«Памятник» — 457

«Романс» — 420, *600.*

«Черная шаль» — 284, *552.*

Пфейффер Иоган Фридрих (1718—1787), немецкий экономист, профессор в Майнце, автор сочинений о лесоводстве, финансах и экономике — *545.*

«Об ассоциации» — *545.*

Пыпин Александр Николаевич (1833—1904), историк литературы и критик, профессор Петербургского университета, с 1898 г.— академик, с 1853 г — активный сотрудник «Современника», в 1866—1904 гг. один из редакторов «Вестника Европы» — *496, 497, 563, 564, 566, 601*

Радищев Павел Александрович (1783—1866), сын А. Н. Радищева, издатель сочинений своего отца — *591.*

«Степан Иванович Шешковский» — 387, *591.*

Рафаэль Санти (1483—1520) — 259, *553*

Решетников Федор Михайлович (1841—1871), писатель-демократ — 34, 35, 276, 321—324, *471, 472, 561—563, 575, 606.*

«Где лучше?» — 35, 321, 323, *471, 472, 561, 562, 563, 606.*

«Подлиповцы» — 35, 321, 323, *471, 561.*

Ржевский (литературный псевдоним — Заочный) Владимир Константинович (1811—1885), публицист, сотрудник «Русского вестника», а затем «Северной почты» и «Вести», член совета министра внутренних дел — 348, *502, 574.*

«О мерах, содействующих развитию пролетариата» («Меры к распространению пролетариата») — 131, 132, *502.*

Рикардо Давид (1772—1823), английский экономист — 274, *544, 545.*

Рипман Федор Федорович (род ок 1842 г.), с 1868 г. слушатель Московской петровской земледельческой академии; участвовал в студенческих волнениях; член первого московского нечаевского кружка, затем вошел в кружок Прыжова, арестован в 1870 г; причисленный ко II группе сообщников Нечаева, приговорен к годичному тюремному заключению и строгому надзору полиции на пять лет — 220

Рождественский Иван Александрович (1849—1876), публицист, критик и беллетрист — *480, 565.*

«Литературное падение гг. Антоновича и Жуковского» — *480, 565.*

Романович-Славатинский Александр Васильевич (1832—1910), историк, профессор государственного права Киевского университета — 379, 382, 383, 386, *584—588, 590.*

«Дворянство в России от начала XVIII века до отмены крепостного права» — 379, 382, 383, 386, *584—589, 590*

Росси Пеллегрино Луиджи Эдоардо (1787—1848), итальянский экономист и политический деятель — 272.

«Русская речь», газета, издавалась в Москве в 1861 г два раза в неделю под редакцией Евгении Тур, а после объединения с «Московским вестником» («Русская речь и Московский вестник»), под редакцией Е М. Феоктистова — *569.*

«Русская старина», ежемесячный исторический журнал, выходил в Петербурге в 1870—1918 гг., до 1892 г редактор издатель М И Семевский — 181, 386—388, *518, 590, 591.*

«Русские ведомости», общественно-политическая газета, издававшаяся в Москве в 1863—1918 гг.— 56, *482, 483*

«Русский архив», историко литературный журнал, издававшийся в Москве П И. Бартеневым в 1863—1912 гг. (в 1913—1917 гг — его наследниками) — *518, 588*

«Русский вестник», литературно политический журиал, издававшийся в Москве М Н. Катковым в 1856—1887 гг (до 1861 г придерживался умеренно либерального направления, затем перешел на охранительные позиции) — *488, 498—504, 513, 517, 539, 541, 555, 592, 602, 604*

«Русский инвалид», военная, литературная и политическая газета, издававшаяся в Петербурге в 1813—1917 гг., в 1862—1863 гг — официальный орган военного министерства — 48, 50—52, 58, *479, 482, 483, 586.*

«Русский мир», еженедельная общественно-политическая и литературная газета, издававшаяся в Петербурге в 1859—1863 гг., с осени 1860 г — под редакцией А С Гиероглифова — *607.*

«Русское слово», ежемесячный литературно политический журнал, выходивший в Петербурге в 1859—1866 гг., основан Г. А Кушелевым Безбородко, с 1860 г. редактор Г. Е Благосветлов, с 1861 г. при руководящей роли Д И Писарева — 325, 339, *471, 489, 493, 496, 504,*

508, 543, 545, 565, 566, 567, 569—571, 581, 591, 592, 599

Руссо Жан Жак (1712—1778) — *478, 596*

«Исповедь» («Les confessions de Jean Jeacques») — 42, *478.*

Рыбников Павел Николаевич (1831—1885), этнограф, собиратель народного творчества — *490*

Саврасов Алексей Кондратьевич (1830—1897), живописец, один из основоположников реалистического пейзажа, член учредитель Товарищества передвижных художественных выставок — 233, *533.*

«Грачи прилетели» — 233, *533.*

Сазиков Н., переводчик и драматург — *559*

«Зять любит взять, а тесть любит честь» — *559,* Дьячков — *559,* Разумов — *559*

Салиас-де Турнемир (литературный псевдоним — Евгения Тур) Елизавета Васильевна (1815—1892), писательница, с 1857 г печаталась в «Русском вестнике», редактировала с 1861 г. газету «Русская речь» — *569.*

Салтыков (Н Щедрин) Михаил Евграфович (1826—1889).

«Благонамеренные речи» — *475, 478, 514, 515, 544, 598, 601, 602.*

«Больное место» («Сборник») — *478.*

«Глупов и глуповцы» — *499, 604*

«Господа ташкентцы» — *475, 484, 501, 524, 602;* Велентьев — *501.*

«Губернские очерки» — *498, 555*

«Дневник провинциала в Петербурге» — *468, 509, 514, 525.*

«Еще переписка» («Благонамеренные речи») — *475.*

«За рубежом» — *510, 514, 535, 566, 598, 604.*

«Игрушечного дела людишки» («Сказки») — *580*

«Имярек» («Мелочи жизни») *566*

«История одного города» — *496, 518, 555, 589, 601.*

«Итоги» — *486, 492, 499, 503, 507, 511, 524, 556, 594, 595, 598, 600.*

«К читателю» («Благонамеренные речи») — *602.*

«Каплуны» — *508.*

«Круглый год» — *468, 475, 498—501, 566.*

«Культурные люди» — *535, 604*

«Легковесные» («Признаки времени») — *491*

«Либерал» («Сказки») — *515.*

«Литературная подпись» — *582*

«Литературное положение» («Признаки времени») — *477, 491, 492, 507, 548, 601*

«Литературные кусты» — *539*

«Литературные мелочи» — *473.*

«Наша общественная жизнь» — *468, 474, 475, 478, 488, 496, 498, 503, 509, 510, 530, 534, 564, 565, 596, 601—604, 605*

«Недокоичеиные беседы» — *501, 502,* Полосатов — *501*

«Непочтительный Кориат» («Благонамеренные речи») — *478*

«Несколько слов по поводу «Заметки», помещенной в октябрьской книжке «Русского вестника» за 1862 год» — *493, 566.*

«Новые стихотворения А Н Майкова» — *468—469.*

«Новый Нарцисс» («Помпадуры и помпадурши») — *555*

«Он!» («Помпадуры и помпадурши») — *607*

«Охранители» («Благонамеренные речи») — *515 544*

«Первое августа» («Круглый год») — *499*

«Первое октября» («Круглый год») — *500.*

«Пестрые письма» — *539*

«Петербургские театры» — *540*

«Письма к тетеньке» — *468, 472, 475, 501, 514;* Грызунов — *501.*

«Письма о провинции» — *477, 503, 556. 595*

«Письмо в редакцию журнала «Вестник Европы» — *601*

«Полуобразованность и жадность — родные сестры» («Наша общественная жизнь») — *474*

«Помпадур борьбы или проказы будущего» («Помпадуры и помпадурши») — *486;* Волшебнова — *486;* Кротиков — *486.*

«Помпадуры и помпадурши» — 297, *555.*

«Признаки времени» — 134, *477, 491, 503, 556, 596, 603, 604*

«Приключение с Крамольниковым» («Сказки») — *566*

«Проект современного балета («Признаки времени») — *553*
«Противоречия» — *511*
«Русские гулящие люди за границей» («Признаки времени») — *571, 604*
«Сатиры в прозе» — *468, 546*, Коифузов — 269, *546*.
«Сенечкин яд» («Признаки времени») — *468*.
«Смерть Пазухина» — *498*
«Современная идиллия» — *514, 515, 608*, Глумов — *515*
«Современные призраки» — *576*
«Старая помпадурша» («Помпадуры и помпадурши») — 297, *555*
«Старый кот на покое» («Помпадуры и помпадурши») — *555*
«Ташкентцы приготовительного класса Параллель первая» («Господа ташкентцы») — *475, 524—525, 602*, Персианова — *475, 602*
«Тихое пристанище» — *503*.
«Тревоги и радости в Монрепо» («Убежище Монрепо») — *499*.
«Убежище Монрепо» — *499*.
«Характеры» — *499, 542*.
«Хищники» («Признаки времени») — *498, 502, 503*

Салтыкова (урожд Болтина) Елизавета Аполлоновна (1839—1910), жена М Е Салтыкова — *464, 608*

Самарин Иван Васильевич (1817—1885), актер и театральный педагог, ученик и последователь М С Щепкина, с 1837 г актер Малого театра, автор пьес — 280, 281, 283, 285—289, *549, 550, 560*

«Перемелется — мука будет» — 280, 281, 288, 289, 292, *549, 550, 560*
«Самозванец Луба» — *550*.
«Утро вечера мудренее» — *559*

Самарин Юрий Федорович (1819—1876), публицист, общественный деятель, славянофил, автор книг, посвященных прибалтийским губерниям России, за критику пронемецкой политики царизма в Прибалтике был переведен на службу в Симбирск — 317, *559*

«Окраины России Серия первая Русское Балтийское поморие» — 317, *559*

Самойлов Василий Васильевич (1817—1887), актер петербургского Александринского театра с 1834 по 1875 г — 283, 290, 292, 317—320, *552, 560*.

Самойлов (2) Николай Васильевич (1838—1897), актер, некоторое время выступал на сцене петербургского Александринского театра (с 1867 г) 318, *559*.

Санд Жорж (псевдоним Авроры Дюдеван, 1804—1876) — 31, 257, 301, 311, 439, *474, 540, 558*.

«Кадио» — 301
«Маленькая Фадетта» — *474*.
«Франсуа-найденыш» — *474*.
«Чертова лужа» — *474*.

Сандо Жюль, французский драматург — *558—559*

«Le gendre de monsieur Poirier» («Зять господина Пуарье») — 315, 317, *558—559*, Прель — *559*, Пуарье — *559*

«Санкт-Петербургские ведомости», официальная ежедневная газета, выходившая в 1728—1917 гг — *479—481, 483, 484, 517, 519, 522, 525, 529, 546, 547, 562, 564, 569, 570, 572, 573, 595, 602*

«Свисток», сатирический отдел в журнале «Современник», созданный Н А Добролюбовым, всего вышло девять номеров за 1859—1863 гг — 18, *480*

«Свод законов Российской империи» — 350, *502, 574, 575*

Себинова, литературный псевдоним Новосильцевой Е В. (см)

Селиванов Илья Васильевич (1810—1882), писатель и журналист — 297, *554, 555*.

«Воспоминания прошедшего» — 297, 298, *554, 555*
«Провинциальные воспоминания» — 297—299, *554, 555*.

Семевский Михаил Иванович (1837—1892), историк и публицист, автор популярных работ, посвященных главным образом характеристике быта и придворной жизни в России первой половины XVIII в, с 1870 г начал издавать журнал «Русская старина» — 181, 386, 390, 391, *518, 590*

«Семейные вечера», ежемесячный журнал для детей и юношества (с 1870 г), выходил в Петербурге в 1854—1891 гг, издатели редакторы М. Ф Ростовская и Майков, с 1870 г — С С Кашпирова — *481*.

Сенанкур Этьенн Пивер де (1770—1846), французский писатель романтик — *473*.

«Оберман» — *473;* Оберман — 21, *473.*

Сенека Луций Анней (4 г до н. э — 65 г и. э), римский оратор, поэт, драматург и философ стоик, проповедовавший добродетель и воздержание; обвиненный в участии в заговоре против Нерона, окончил жизнь самоубийством — 153, 365, *511.*

«Ad gallionem de vita beata» — 153, *511.*

Сен Леон (наст. имя — Шарль Виктор, Артюр Мишель, 1821—1870), французский артист балета и балетмейстер, автор многочисленных балетов, работал в петербургских театрах.

«Золотая рыбка» (постановка) — *553.*

Сен-Лоран (ум. в 1867 г), чиновник, убитый пермскими крестьянами — 54, *482.*

Сервантес де Сааведра Мигель (1547—1616) — 397.

«Хитроумный идальго Дон Кихот Ламанчский» — 397, Дон Кихот — *601.*

Серно-Соловьевич Николай Александрович (1834—1866), революционер демократ — *539.*

Серов Александр Николаевич (1820—1871), композитор, музыковед, музыкальный критик — *603.*

«Юдифь» — *603.*

Сеченов Иван Михайлович (1829—1905), естествоиспытатель, мыслитель материалист, основоположник физиологической школы, создатель естественнонаучного направления в психологии — *489, 490.*

«Исследование центров, задерживающих отраженные движения в мозгу лягушки» — *490.*

«Рефлексы головного мозга» — *489, 490.*

«Физиология нервной системы» — *490.*

Сийес Эммануэль Жозеф (1748—1836), аббат, деятель Великой французской революции — 155

Скабичевский Александр Михайлович (1838—1910), критик и историк литературы, народник, с 1868 г. постоянный сотрудник «Отечественных записок», с 1874 г. писал литературные фельетоны в «Биржевых ведомостях» — *474, 487, 561, 568, 569, 579, 580, 583, 585.*

«Дмитрий Иванович Писарев» — *568.*

«Живая струя (Вопрос о народности литературы)» — *474, 561.*

«Литературные воспоминания» — *583.*

«Русское недомыслие» — *569.*

«Сентиментальное прекраснодушие в мундире реализма» — *579, 580*

«Старая правда» — 69, *437, 488.*

Скавронский А , литературный псевдоним Данилевского Г. П (см)

Скарятин Владимир Дмитриевич, журналист, редактор газеты «Весть» (1863—1870) — *478—484, 497, 552, 564, 588.*

Скобеев Фрол, см. Аверкиев Д В

Слепцов Василий Алексеевич (1836—1878), писатель, революционный демократ, в 70 х годах секретарь редакции «Отечественных записок» — 334, *550, 561, 564, 568.*

«Слияние сословий, или Дворянство, другие состояния и земство», брошюра анонимного автора — *587, 588*

«Современник», литературный журнал, основанный Пушкиным в Петербурге, издавался с 1836 г ; с 1847 г , при Некрасове и Панаеве, орган революционной демократии, в 1866 г закрыт — 324, 325, 327, 333, 339, *463, 467, 472, 474, 488—491, 493, 494, 497, 498, 504, 506, 512, 542, 553, 554, 560, 561, 563—568, 571, 578, 591—593, 595, 597, 599, 600, 610.*

Соколовский, присяжный поверенный, выступал защитником на процессе Нечаева — 205, *526, 527*

Сократ (ок 469—399 гг до н э), древнегреческий философ-идеалист — 426

Сологуб Владимир Александрович, граф (1813—1882), писатель и драматург-водевилист, примыкал к писателям «натуральной школы» — *558.*

«Чиновник» — *558.*

Сологуб Ф. П , издатель и переводчик — 268, 270, 271, *544*

Соловьев Николай Иванович (1831—1874), литературный критик, сотрудник «Эпохи», «Отечественных записок» Краевского, «Всемирного труда» — 392, 394, 395, *591—593.*

«Бесплодная плодовитость» — *591.*

«Искусство и жизнь» — *592, 593.*

«Принципы жизни» — *592.*

«Суета сует» — 392, *591, 593.*

«Теория безобразия» — *591.*

«Теория пользы и выгоды» — *591.*

Соловьев Сергей Михайлович (1820—1879), историк, профессор Московского университета в 1847—1879 гг., с 1872 г. — академик, автор многотомной «Истории России с древнейших времен» — 283, *551*.

Соломон (библ.) — *593*

Спасович Владимир Данилович (1829—1906), юрист, публицист и литературовед; в 1857—1861 гг. занимал кафедру уголовного права в Петербургском университете — 192, 197, 219, *526*, *527*.

Спенсер Герберт (1820—1903), английский философ, психолог и социолог, позитивист — *551*.

«Основы психологии» («Новейшие основания науки психологии») — 284, *551*.

Станкевич Александр Владимирович (1821—1912), писатель и критик, в 40-х годах сотрудник «Современника» — 145, 159, 161, 165—167, *505—507*, *509*, *511—513*.

«Тимофей Николаевич Грановский. Биографический очерк» — 145, 163, 165, *505—507*, *509*, *511—513*.

Станкевич Николай Владимирович (1813—1840), кандидат словесных наук Московского университета, глава философского идеалистического кружка — *505*.

Стасов Владимир Васильевич (1824—1906), художественный и музыкальный критик, историк искусства, археолог — *528—531*.

«Передвижная выставка 1871 года» — *529—531*

Стасюлевич Михаил Матвеевич (1826—1911), историк и публицист, редактор-издатель журнала «Вестник Европы» в 1866—1908 гг. и газеты «Порядок» в 1881—1882 гг — *610*.

«Е. П. Ковалевский» (некролог)—*610*.

Стебницкий, литературный псевдоним Н. С. Лескова (см.).

Страхов (литературный псевдоним — Н. Косица) Николай Николаевич (1828—1896), публицист, критик, философ-идеалист, один из идеологов «почвенничества»; с 1861 г. сотрудничал в журналах «Время» и «Эпоха», затем в «Заре» — 102, 103, *467*, *468*, *496*, *500*, *506*, *562*, *573*, *591*, *592*.

«Бедность нашей литературы» — *467*, *468*.

«Взгляд на иынешнюю литературу» — *500*.

«Вздох на гробе Карамзина» — *496*

«Критические заметки о текущей литературе» — *506*

Струйская (1-я) Елена Павловна (1845—1903), актриса петербургского Александринского театра с 1861 по 1881 г. — 283, 285, 292.

Суворин (литературные псевдонимы — А. Бобровский, Незнакомец) Алексей Сергеевич (1834—1912), журналист и книгоиздатель; сотрудничал в журналах «Отечественные записки», «Современник», «Вестник Европы», с 1876 г. владелец газеты «Новое время» — 50—54, 56, 58, 187, 188, 193, 424, *478*, *481*, *482*, *518*, *519*, *525*, *569*, *570*, *580*, *581*, *601*

«Всякие Очерки современной жизни» — 187, *519*; Ильменев — *519*, Самаров — *519*.

«Историческая сатира» — 424, *601*.

«Недельные очерки и картинки» — 193, *481*, *525*.

«Недельные очерки и картинки. Послание к Нерону» — *580*, *581*.

«Пропущенные главы из романа «Некуда». 1. Вместо вступления. Письмо к редактору «Санкт-Петербургских ведомостей» — *569*, *570*.

«Судебный вестник», газета (с 1869 г. ежедневная), издававшаяся в 1866—1877 гг. в Петербурге; в 1866—1868 гг. официальный орган министерства юстиции — *497*.

Сю Эжен (1804—1857), французский писатель, представитель «социального романа» — 276, *535*.

«Парижские тайны» — *535*.

Тарасенко-Отрешков Наркис Иванович (1805—1873), журналист и экономист — 432, 435, *603*, *604*, *605*.

«Заметки в поездку во Францию, С Италию, Бельгию и Голландию» — 432, *603*, *604*, *605*.

Тенирс (у Салтыкова — Теньер) Давид Младший (1610—1690), фламандский художник, придворный живописец и хранитель картинной галереи правителей Фландрии — 349.

Тизенгаузен, прокурор судебной палаты — 187.

Титов Николай Алексеевич (1800—1875), генерал-майор, композитор-самоучка, «дедушка русского романса» — 386, *590*.

«Малолетное отделение 1-го кадетского корпуса в 1808 г.» («Записки») — 386, *590*.

Ткачев (литературный псевдоним — Постный) Петр Никитич (1844—1885), революционер, один из идеологов народничества, литературный критик, с 1865 г сотрудник «Русского слова», затем «Дела», в 1869 г. за участие в руководстве студенческим движением был арестован, в 1871 г. выслан в Великие Луки, в 1873 г эмигрировал — 195, 206, 214, 216—218, *545, 562, 563, 579*

«Разбитые иллюзии» — *562*.

«Тенденциозный роман» — *579*.

Толстой Алексей Константинович, граф (1817—1875), поэт и драматург — *495, 535*

«Князь Серебряный» — *495, 535*.

Толстой Дмитрий Андреевич, граф (1823—1889), обер-прокурор Синода с 1865 г, с 1866 до 1880 г совмещал эту должность с управлением министерством народного просвещения — *464, 551*.

Толстой Лев Николаевич (1828—1910) — 7, *472, 552, 611*.

Толстой (литературный псевдоним — Данкевич?) Феофил Матвеевич (1809—1881), публицист, музыкальный критик, композитор и писатель, член совета Главного управления по делам печати — 353, 355, *550, 555, 575, 576*.

«Недоразумение» — 353, 355, *575, 576*.

Томилова (урожд Дриттенпрейс) Елизавета Христиановна (род ок. 1839 г), за письмо от Нечаева, присланное из за границы, арестована в 1869 г; причислена к I группе сообщников Нечаева, однако была оправдана из-за недостаточности улик — 195, 206, 207, 216—218, *525*.

Топорков Лев Александрович (род ок. 1847 г), студент технологического института, революционный деятель, в 1869 г входил в кружок «сибиряков» в Петербурге, в 1870 г был арестован, но признан невиновным; в 1873 г. привлекался к дознанию по делу долгушинцев — *525*

Торквемада Томас (1420—1498), доминиканский монах, «великий инквизитор» в Испании (1483—1494) — 334, *568*.

Третьяков Павел Михайлович (1832—1898), основатель картинной галереи в Москве — *533*.

Трофимов Иван Трофимович, литературовед — *466, 610*.

«Новые материалы об авторе некролога «И. С. Тургенев» — *610*

Трубников Константин Васильевич (род в 1829 г), публицист, в 1860—1875 гг редактор газеты «Биржевые ведомости» — 332

Тур Евгения, литературный псевдоним Е В. Салиас де Турнемир (см).

Тургенев Иван Сергеевич (1818—1883) — 7—13, 15, 17, 21, 31, 33, 136, 140, 173, 180, 258, 266, 303, 311, 312, 342, 345, 369, 379, 396, 398, 438, 439, 442, 457—459, *464, 469, 471, 476, 485, 503, 516, 517, 552, 553, 556, 558, 572, 573, 579, 580, 582, 584, 594, 595, 610—612*

«Бирюк» («Записки охотника»); Бирюк — 33

«Гамлет Щигровского уезда» («Записки охотника») — 369. 370, *582;* Василий Васильевич — *582*.

«Дворянское гнездо» — 8. 364, *580;* Лаврецкая — 364, *580;* Лаврецкий — 10, 258, 266, 364, *469, 487, 580*.

«Ермолай и мельничиха» («Записки охотника»); Ермолай — 33

«Записки охотника» — 258, 440, 459, *611, 612*.

«История лейтенанта Ергунова» («Лейтенант Ер ») — 180, *517*.

«Касьян с Красивой Мечи» («Записки охотника»), Касьян — 33

«Льгов» («Записки охотника»), Сучок — 33

«Накануне» Инсаров — 458

«Отцы и дети» — 173, *489, 503, 516, 553;* Базаров — 442, 458, *471, 476, 489, 503, 612;* Кирсанов (младший) — 309, Кирсановы (братья) — 305, 342, 442, *489, 503*, Одинцова — 342

«Рудин» — 8; Рудин — 10, 363, 458, *469, 487, 579*

«Собака» — 180, *517*.

Тьер Адольф (1797—1877), французский историк, публицист и политический деятель, в годы Июльской монархии премьер-министр и министр внутренних дел — *527*.

«*Указатель экономический, политический и промышленный*» («Экономический указатель»), еженедельный статистический и промышленный журнал, издававшийся И В Вернадским в Петербурге в

1859—1861 гг (в 1859 г под названием «Указатель политико экономический») — *502.*

Унковский Алексей Михайлович (1828—1893), общественный деятель, в 1857—1859 гг. предводитель дворянства Тверской губернии и председатель губернского комитета, в 60-е годы выступал как публицист по крестьянскому и судебному вопросам, вместе с Салтыковым собирался издавать журнал «Русская правда» — *518, 519.*

Успенский Глеб Ивановнч (1843—1902), писатель — 75, *489, 515, 571, 575, 579.*

«Разоренье» («Наблюдения Михаила Ивановича») — 75, *489.*

«Чифирь» — *571.*

Успенский Николай Васильевич (1837—1889), писатель-демократ, автор рассказов и очерков из народного быта — 31, 262, 341, *474, 543, 561.*

Успенский Пётр Гаврилович (ок 1847—1881), заведовал в Москве книжным магазином, один из учредителей в 1869 г. общества «Народная расправа», был хранителем его документации, участвовал в убийстве И. Иванова; арестован в 1870 г., приговорен к 15 годам каторжных работ, затем к пожизненному поселению в Сибири — 195, 197, 198, 206, 207, 216—218, 220, *521, 525, 526.*

Устрялов Федор Николаевич (1836—1885), журналист, переводчик и драматург — 254, *538, 539, 540, 558, 560.*

«Слово и дело» — 254, *540, 560;* Вертяев — *540.*

«Чужая вина» — *538, 539, 558.*

Утин Борис Исаакович (1832—1872), петрашевец, юрист и публицист, профессор Петербургского университета, оставил его во время студенческих волнений 1861 г — *518.*

Утин Евгений Исаакович (1843—1894), критик, сотрудничал в журнале «Вестник Европы» — *487, 562*

«Задачи новейшей литературы» — *562.*

«Литературные споры нашего времени» — *487, 562.*

Утин Исаак Осипович (1812—1876), отец Б. И и Е И Утиных, петербургский миллионер откупщик; в его доме на Галерной улице Салтыков жил после своей женитьбы с июня 1856 г и до отъезда в Рязань в начале марта 1858 г — 177.

Фавр Жюль (1809—1880), французский политический деятель и публицист, буржуазный республиканец; при Наполеоне III возглавлял оппозицию в Законодательном корпусе; в 1870—1871 гг.— министр иностранных дел, принимал активное участие в разгроме Парижской коммуны — 213, *524, 527*

Феваль Поль (1817—1887), французский бсллетрист, автор бульварных романов — *541.*

Федоров Павел Степанович (1803—1879), водевилист и переводчик, с 1853 г — управляющий репертуарной частью в петербургском Александринском театре — *540.*

«Проказы барышень на Черной речке» — 256, *540.*

Фейербах Людвиг Андреас (1804—1872), немецкий философ материалист — *490.*

Фет (Шеншин) Афанасий Афанасьевич (1820—1892) — 102, 103, *496, 501.*

«Из деревни» — *496.*

«По поводу статьи г Безобразова «Наши охранители и наши прогрессисты» — *501.*

Филарет (до пострижения — Василий Михайлович Дроздов, 1783 или 1782—1867), московский митрополит с 1826 г, историк церкви — 161.

Филипп II Орлеанский (1674—1723), регент Франции в 1715—1723 гг при малолетнем Людовике XV — *478*

Филиппов, владелец булочных в Москве и Петербурге — 372

Флеровский Н, литературный псевдоним Берви В В (см).

Флобер Гюстав (1821—1880) — *535*

Флоринский Иван Иванович (род ок. 1845 г), студент Московской земледельческой академии, знакомый Нечаева, исполнял его поручения, в 1870 г арестован, причислен к I группе сообщников Нечаева, однако за недостаточностью улик был приговорен к шести месяцам тюремного заключения и к отдаче затем под строгий надзор полиции на пять лет — 195, 206, 216—218

Фонвизин Денис Иванович (1744—1792) — 17.

«Недоросль»; Правдин — 343, Стародум — 342—343

Франк Клод, литературный псевдоним Шарля Шассеиа (см)

Фультон Роберт (1765—1815), амерн-

канский изобретатель, создатель первого парохода — 298

Фурье Шарль (1772—1837), французский социалист-утопист — 181, *576*.

Фуше Жозеф (1759—1820), французский буржуазный политический деятель; в 1799 г. помог Наполеону совершить государственный переворот — 96

Хан Эммануил Алексеевич (1826—1892), доктор медицины, редактор издатель журнала «Всемирный труд» в 1867—1872 гг — 240, *535*.

Хвостова (урожд Сушкова) Екатерина Александровна (1812—1863), знакомая М Ю Лермонтова — 385, 390, *518, 585, 589*.

«Записки Е А. Хвостовой 1812—1841 Материалы для биографии М Ю Лермонтова» — 385, 390, *518, 585, 586, 589*

Хемницер Иван Иванович (1745—1785), поэт баснописец — 12, *473*.

«Метафизик» — 12, *473*

Художник-любитель, псевдоним автора статьи в журнале «Дело» — *530*.

«На своих ногах» — *530*.

Щебрикова Мария Константиновна (1835—1917), писательница, критик и публицист, сотрудничала в журналах «Отечественные записки», «Дело», «Русское богатство» — *486, 487*.

«Женские типы Шпильгагена» — *486*.

«Псевдоновая героиня» — *487*.

Цезарь Гай Юлий (100—44 гг до н. э) — 198, *526, 531*

Чайковский Петр Ильич (1840—1893) — *551*.

Чернышевский Николай Гаврилович (1828—1889) — *471, 473, 490, 504, 513, 518, 519, 539, 554, 556, 578, 582, 592, 599, 612*.

«Антропологический принцип в философии» — *490*.

«Заметки о журналах» — *578*.

«Что делать?» — *471, 592*.

Чернявский Николай Иванович (1840—1871), писатель и драматург, сотрудник «Петербургского листка» — 249, 255—257, 280, 462, *492, 538, 539, 550, 558, 560, 584*.

«Гражданский брак» — 249, 255—257, 280, 281, 462, *470, 492, 538—540, 550, 558, 560, 584*, Дах-Реден — 257, *540*.

Чехов Антон Павлович (1860—1904) — *600*

Чистович Иллариои Алексеевич (1828—1893), историк, профессор Петербургской духовиой академии — 334, *505, 532, 568*.

«Феофан Прокопович и его время» — 334, *505, 532, 568*.

Читау Александра Матвеевна (1832—1912), актриса петербургского Александринского театра с 1849 по 1855 и с 1858 по 1882 г , сначала играла роли драматических любовниц, затем перешла иа характерные роли — 316

Чичерин Борис Николаевич (1828—1904) юрист, историк и публицист, профессор государственного права Московского университета в 1861—1868 гг.— 283, *513, 516, 551, 585*.

«О иародности в науке» — 164, *513*

Чуковский Корней Иванович (1882—1969), писатель и литературовед — *555, 575*.

«Ф М Толстой и его письма к Некрасову» — *555, 575*.

Шармер, петербургский портной — 243

Шассен (литературный псевдоним — Клод Франк) Шарль Луи (1831—1901), французский историк и журналист демократического направления — *508, 512, 524*.

«Парижские письма» — *508, 512, 524*

Шатобриан Франсуа-Ренэ (1768—1848) французский писатель-романтик — *473*.

«Ренэ» — *473;* Ренэ — 21, *473*.

Шекспир Вильям (1564—1616) — 72, 298 299, 365—367, 426, *488, 571, 575*

«Виндзорские проказницы» — *488*, Фальстаф — 72, *488*

«Гамлет» — 351, *575*, Гамлет — 45, Горацио — *575*.

«Макбет», леди Макбет — 431

«Хроника короля Генриха IV» — *488*, Фальстаф — 72, *488*.

Шелгунов Николай Васильевич (1824—1891), общественный деятель, публицист, литературный критик; революционный демократ — 187, 188, *487, 490, 505, 518, 583, 593, 596*

«Двоедушие эстетического консерватизма» — *593*.

«Народиый реализм в литературе» — *505*.

«Превращение мошек и букашек в героев» — *596*.

«Талаитливая бесталанность» — *487.*
«Творческое целомудрие» — *583.*
Шеллер (литературный псевдоним — А Михайлов) Александр Константинович (1838—1900), писатель, сотрудничал в «Современнике», «Русском слове» и «Деле» — 261, 262, 264—266, 268, 359—364, 439, 443—447, *471, 477, 509, 542, 543, 578, 579, 580, 582, 583, 599, 607, 608.*
«Беспечальное житье» — 443, 445—447, *543, 580, 607.*
«В разброд» — 359, 360, 364, *543, 578, 579.*
«Гнилые болота» — 261, 262, 263, 363, 444, *542, 608.*
«Господа Обносковы» — *543.*
«Жизнь Шупова, его родных и знакомых» — 363, 444, *542, 608*
«Жилища рабочих» — *543*
«Засоренные дороги» — 265, *471, 477, 509, 542, 580*
«Лес рубят — щепки летят» — *543*
«Очерки из истории рабочего сословия во Франции» — *543.*
«Производительные ассоциации» — *543.*
«С квартиры на квартиру» — 261, 361, 364, *477, 542.*
«Старые гнезда» — *543*
«Хлеба и зрелищ» — *543.*
Шемаев Василий Романович (1836—1903), актер петербургского Александринского театра в 1854—1903 гг — 290, *552.*
Шереметьев — 204, 217.
Шестакова Людмила Ивановна (1816—1906), сестра М И Глинки — 388, *591*
«Последние годы жизни и кончина М И Глинки» — *591.*
Шешковский Степан Иванович (1727—1793), начальник тайной экспедиции с 1767 г, затем обер секретарь Сената — 387, *591.*
Шиллер Иоганн Фридрих (1759—1805) — 397.
«Разбойники» — 397
Ширков Валериан Федорович (1805—1856), помещик Харьковской губернии, поэт, любитель музыки, друг М И Глинки — *502.*
«Руслан и Людмила» (либретто) — *502.*
Шифф Мориц (1823—1894), немецкий физиолог, профессор физиологии во Флоренции в 1863 г, в 1876 г — в Женеве — 233, *533.*
Шлецер Август Людвиг (1735—1809), немецкий историк — 382, *587.*
Шодерло де Лакло Пьер Амбруаз-Франсуа (1741—1803), французский писатель — *478.*
«Опасные связи» («Liaisons dongereuses») — 42, 46, *478.*
Шпильгаген Фридрих (1829—1911), немецкий писатель и драматург — 63, 64, 74, 439, *486.*
«Загадочные натуры» — *486.*
«Из мрака к свету» — *486.*
«Один в поле — не воин» — 74, *486.*
Штеллер Петр или Павел Павлович, член общества русских драматических писателей в 1874—1914 гг — 407, *596, 597, 600.*
«Ошибки молодости» — 407, *596, 597, 600.*
Шубинский Сергей Николаевич (1834—1913), журналист и историк, автор научно популярных работ по истории русского быта XVIII в, в 1875—1879 гг. редактор журнала «Древняя и новая Россия», с 1880 г редактировал «Исторический вестник» — 102, *496.*
Щебальский Петр Карлович (1815—1886), историк, журналист, сотрудник «Русского вестника» — *483.*
«Наши космополиты» — *483.*
Щепкин Михаил Семенович (1788—1863) — *559.*
Эйхенбаум Борис Михайлович (1886—1960), литературовед — *609.*
«Маршрут в бессмертие. Жизнь и подвиги чухломского дворянина и международного лексикографа Николая Петровича Макарова» — *609.*
«*Экономический указатель*», см. «Указатель экономический, политический и промышленный»
Эльсберг Яков Ефимович, литературовед — *610.*
«И. С. Тургенев Неизвестная статья М Е Салтыкова Щедрина» — *610.*
Энгельгардт Александр Николаевич (1832—1893), публицист, автор «Писем из деревни», печатавшихся в «Отечественных записках» в 70 х годах, корреспондент Салтыкова — *577.*
Энгельс Фридрих (1820—1895) — *491, 520, 527, 546, 585.*
«Альянс социалистической демо-

кратии и Международное товарищество рабочих» — *520*

«Заявление Генерального совета по поводу циркуляра Жюля Фавра» — *527*.

«Положение рабочего класса в Англии» — *546*.

«Эпоха», ежемесячный литературный и политический журнал, издавался в Петербурге в 1864—1865 гг сначала М. М Достоевским, после его смерти (июнь 1864) — его семьей Идейным руководителем журнала был Ф М Достоевский. Сотрудники Н Н Страхов, А А. Григорьев, Д. В Аверкиев — *496, 539, 542, 591, 592, 593, 597*

Ювенал Децим Юний (род в 60 х годах — ум после 127 г), римский поэт-сатирик — 244

Южаков Сергей Николаевич (1849—1910), публицист, в 1868 г сотрудничал, а в 1876—1879 гг редактировал «Одесский вестник»; в 1879 г сослан, с 1893 г главный редактор «Большой энциклопедии» — *585*

Юматов (литературный псевдоним — Юхманов) Николай Николаевич, журналист, в 1863—1867 гг редактор-издатель «Вести» (совместно с В Д Скарятиным), в 1868—1869 гг «Нового времени» (совместно с А. Киркором) — 54, 56, 58, 100, 102 *482, 483, 497, 552.*

«Я вечор млада во пиру была, во беседушке», русская народная песня — *593.*

Яблочкина (1) Серафима Васильевна (1842—1898), актриса петербургского Александрийского театра в 1862—1876 гг.— 316.

Яковлев Николай Васильевич, литературовед — *464, 475, 490, 505, 536, 540, 568*

Якубович (псевдоним — Мельшин) Петр Филиппович (1860—1911), поэт и беллетрист, участник революционного движения, печатался в журналах «Дело», «Отечественные записки» и «Слово», член «Народной воли»; в 1884 г. арестован, в 1887 г сослан, в последние годы редактировал «Русское богатство» — *611*

«И С. Тургенев» (прокламация) — *611.*

Якушкин Павел Иванович (1820—1872), этнограф и фольклорист; свыше 20 лет собирал материалы по русскому фольклору, странствуя по России под видом разносчика, в 60 е годы сблизился с революционными демократами — 341, 440, *571, 582*

Ямпольский Исаак Григорьевич, литературовед — *537, 562*

«Сатирическая журналистика 60 х годов» — *537*

«П Н. Ткачев как литературный критик» — *562*

Ян Усмович (Усмошвец), легендарный богатырь, упоминается в русских летописях X—XI вв — 227, *529, 532.*

Lanfrey (Ланфре) Пьер (1828—1877) — французский историк, публицист и политический деятель — 96

«Histoire de Napoleon I^er^» — 96

«Gaudeamus igitur», старинная студенческая песня — 283, 287.

СОДЕРЖАНИЕ

СТАТЬИ

Наши опасения 7
Новаторы особого рода * 36
Литература на обеде 48
Уличная философия * 61
Насущные потребности литературы 96
Человек, который смеется * 129
Один из деятелей русской мысли * 145
Наши бури и непогоды 170
Так называемое «нечаевское дело» и отношение к нему русской журналистики * 191
Первая русская передвижная художественная выставка * 225

РЕЦЕНЗИИ

Бродящие силы Две повести В. П. Авенариуса * 237
В сумерках. Сатиры и песни Д. Д. Минаева * 242
Гражданский брак. Комедия Н. И. Чернявского * 249
Новые сочинения Г. П. Данилевского 257
Засоренные дороги и С квартиры на квартиру. Роман и рассказ А. Михайлова 261
«Задельная плата и кооперативные ассоциации» Жюля Муро 268
Смешные песни Александра Иволгина (Чижик) 275
А Большаков. Роман И. Д. Кошкарова * 278

Знаком * обозначаются произведения, принадлежность которых М Е Салтыкову подтверждается объективными свидетельствами — *Ред.*

Перемелется — мука будет. Комедия в пяти действиях И. В. Самарина 280
Внучка панцырного боярина. Роман И. И. Лажечникова 292
Воспоминания прошедшего... Автора «Провинциальных воспоминаний» 297
Меж двух огней. Роман М. В. Авдеева 299
Мещанская семья Комедия в четырех действиях М. В. Авдеева 311
Говоруны Комедия И. А. Манна 319
Где лучше? Роман Ф. Решетникова 321
Материалы для характеристики современной русской литературы М. А. Антоновича и Ю. Г. Жуковского * . . 324
Повести, очерки и рассказы М. Стебницкого * 335
Сочинения Я. П Полонского * 343
Записки о современных вопросах России Георгия Палеолога 347
Недоразумение. Повесть Данкевича 353
«Движение законодательства в России» Григория Блашка 356
В разброд. Роман А Михайлова 359
Нерон Трагедия Н. П. Жандра 365
Новые русские люди. Роман Д Мордовцева 368
Своим путем. Роман Л. А. Ожигиной 373
Повести и рассказы Анатолия Брянчанинова 377
«Дворянство в России от начала XVIII века до отмены крепостного права» А Романовича-Славатинского 379
Слияние сословий, или Дворянство, другие состояния и земство 383
Записки Е. А. Хвостовой.— Прошедшее и настоящее Из рассказов Ю Н. Голицына 385
Суета сует. Соч Николая Соловьева 392
Снопы Стихи и проза Я. П. Полонского * . . . . . , 395
Мандарин Роман Н. Д. Ахшарумова 405
Ошибки молодости. Комедия Петра Штеллера 407
Светлов, его взгляды, характер и деятельность («Шаг за шагом»). Роман Омулевского 411
Русские демократы. Роман Н. Витнякова 419
Повести, рассказы и драматические сочинения Н. А. Лейкина * 421
Цыгане Роман В. Клюшникова 426
Темное дело. Народная драма Дмитрия Лобанова 429

Заметки в поездку во Францию, С. Италию, Бельгию и Голландию Н И. Тарасенко-Отрешкова 432
Лесная глушь. Картины народного быта С Максимова . . 436
На распутьи. Роман В. Г. Авсеенко 441
Беспечальное житье. Роман А Михайлова 443
Энциклопедия ума, или Словарь избранных мыслей авторов всех народов и всех веков Н Макарова 447

НЕКРОЛОГИЧЕСКИЕ ЗАМЕТКИ

Егор Петрович Ковалевский * 455
И. С. Тургенев * 457
Примечания 463
Указатель личных имен и названий периодической печати 613

Михаил Евграфович

САЛТЫКОВ-ЩЕДРИН

Собрание сочинений, т. 9

Редактор *В. Фридлянд*

Художественный редактор
С. Данилов

Технический редактор
Ф. Артемьева

Корректор *М. Доценко*

Сдано в набор 14/XI 1968 г. Подписано к печати 18/I 1970 г. Бумага типогр. № 1. 60 × 90¹/₁₆. 40,5 печ. л. Уч.-изд. л. 41,09 + 1 вкл. = 41,15 л. Тираж 56 500. Заказ № 97. Цена 1 р. 35 к.

Издательство
«Художественная литература»
Москва, Б-66, Ново-Басманная, 19

Отпечатано с матриц ордена Ленина типографии «Красный пролетарий» полиграфкомбинатом им. Я. Коласа Государственного комитета Совета Министров БССР по печати, Минск, Красная, 23.